

ЖЕОБЪИ  
МИР

10

---

---

1988

10

ЖЕОБЪИ  
МИР

10



# НОВОЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1988 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО — Из разных тетрадей, стихи	3
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Из новых стихов	5
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Факультет ненужных вещей, роман. Продолжение. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой	7
ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ — Необязательные даты, стихи	93
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ — На маяк, роман. Окончание. Перевела с английского Е. Суриц	95
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ — Председатель чеки. Новое о поэте. Вступление, подготовка текста и комментарии А. Е. Парниса	147
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ФЕДОР БУРАЦКИЙ — После Сталина. Заметки о политической оттепели	153
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО — Письма к Луначарскому. Комментарии А. В. Храбровицкого. Вступительное слово С. Залыгина	198
Г. А. ФЕДОРОВ — «Помещик. Отца убили...», или История одной судьбы. Предисловие С. Г. Бочарова	219
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Е. ЛЕБЕДЕВ — Кое-что об ошибках сердца. Эстрадная песня как социальный симптом	239

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>А. Зверев.</b> Поле надежды.	
<b>Валентин Курбатов.</b> «Пред очами небесными грозными...».	255
<i>Политика и наука</i>	
<b>В. Острогорский.</b> Забвению не подлежат.	264
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
<b>БОРИС СУШКОВ.</b> В поисках «зеленой палочки».	266
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
<b>Виктор Малухин.</b> — Марк Костров. Русское озеро. Очерки, рассказы. ✦	
<b>Елена Черникова.</b> — Нина Горланова. Радуга каждый день. Рассказы	270
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

---

---

НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО



ИЗ РАЗНЫХ ТЕТРАДЕЙ

Республика

О, родина,— Китайская стена,  
Сырая Петропавловская крепость.

О, женщина, священная страна,  
Республика царей и босяков,  
Последняя утеха палача,  
Последнее убежище поэта,  
Когда глаза  
    без внутреннего света —  
Ведут его неведомо куда.

Тебе ли до жеманства, до стыда —  
Республике святых и прокаженных,  
С младенчества до гроба обнаженных  
Перед тобою, как перед собой.

Висит над миром зонтик голубой,  
Клубится вверх высокая дорога.

Республика, мне данная от Бога,  
Не знает человеческих границ.

Она не отречется от меня,  
Вместит меня, как белая страница.

Я пахарь твой, не дай мне усомниться,  
Республика, родившая меня...

1953, 1966.



Не бойся, если упрекнут  
полупрозрением как пороком:  
когда в руках не штык и кнут —  
поэт становится пророком.

И, как пророк, он — гол, и бос,  
и непонятен,  
несозвучен,  
и каждый кормленный барбос  
его облаивать обучен...

1962.

\* \* \*

Играйте, играйте, играйте!  
Играйте — перстом и кнутом,  
На вече вождей выбирайте,  
Чтоб с ними бороться потом.

Играйте в борьбу и в свободу.  
Играйте в славян и в хазар.  
Пусть дяди играют в работу.  
Пусть тети играют в базар.

Играйте в горелки и в прятки.  
Играйте в иные миры.  
И строго блюдите порядки,  
Как правила вашей игры.

Пусть дети пеленки марают,  
А в пору избранья путей  
Юнцы со скопцами играют  
В проблему отцов и детей.

Пусть в штабе веселый полковник  
Играет в войну, как в буру.  
И пусть не играет покойник —  
Он слушает чью-то игру.

И пусть недвижим паралитик —  
Он видит события дня,  
В которых какой-то политик  
Играет в тебя и в меня.

Играйте — и розно и кучно.  
Играйте — в семью и в лото.  
Играйте — но чтобы не скучно!  
И чтобы не плакал никто...

1962.

\* \* \*

Шестидесятилетняя война —  
Шальной снаряд.  
Не достигает цели.  
Не чудо, что комбриги уцелели  
Отдельные, но выжила страна!

Не то чтоб там — угожья да леса,  
В бесхозе и водица и земляца.  
Но вижу человеческие лица  
И человеческие слышу голоса.

Они раскрылись — так в последний бой  
Вставали их обманутые деды,  
Платя с лихвой за каждый шаг победы  
Своей непоправимую судьбой...

1988.



---

---

## АЛЕКСАНДР КУШНЕР



### ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

\*.\*

Не так ли мы стихов не чувствуем порой,  
Как запаха цветов не чувствуем? Сознание  
Притуплено у нас полднневною жарой,  
Заботами... Мы спим... В нас дремлет обонянье...  
Мы бодрствуем... Увы, оно заслонено  
То спешкой деловой, то новостью, то зреньем.  
Нам прозу подавай: все просто в ней, умно,  
Лишь скована душа каким-то сожаленьем.  
Но вдруг... как будто в сад распахнуто окно, —  
А это Бог вошел к нам со стихотвореньем!

#### Водопад

Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,  
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,  
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг, —  
Вот кто все берет от жизни, погибая каждый миг.

Весь Шекспир с его витийством — только слепок, младший брат.  
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!  
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,  
В каменном амфитеатре все заполнены места!

Пусть церквушка на церквушке там вздымаются подряд,  
Как подушка на подушке горы плоские лежат,  
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим,  
Даже ветер на вершине мешковат в сравнение с ним!

Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.  
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!  
Он живой, а ты живущий, проживающий, слегка  
Умирающий, жующий жизнь, желанья, облака...

\*.\*

Объясни мне, как можно расстреливать жен?  
Расстреляли мужей, отобрали детей.  
Как, скажи, наложив резолюцию, он  
Жил потом, сочинитель речей и статей,  
Как не снились они по ночам ему, как  
Он обедал, смеялся, смотрел на часы?  
Объясни эту жизнь, этот мир, этот мрак,  
О, не тайны его, объясни мне азы.

Я не спрашиваю о маньяке, как раз  
 Он понятен, народов отец и пастух,  
 Так лукаво-приветливо щуривший глаз,  
 Но вот этот, в очках, по-бухгалтерски сух,  
 В полосатом костюме, любивший дела  
 Иностранные, чистенький, тихий такой...  
 Объясни эту жизнь, что как сажа бела,  
 Этот ад, что шипит у тебя под рукой...

\* \* \*

Пой, пой, но только тихо, тихо.  
 Чем тише музыка, тем безобманней.  
 Пусть сердца темная неразбериха  
 Перед дорогою смирится дальней.

Счастливый рок, печальная улыбка,  
 Беспечная гримаса.  
 Играй, рояль, а ты умолкни, скрипка,  
 Не раздирай мне сердце, кареглаза.

Простоволоса, в обморочной позе.  
 Чистосердечен и разумен,  
 Рояль подобен выверенной прозе.  
 И самый сильный стих чуть-чуть приструнен.

Я помню море в час разлуки:  
 Оно не плакало — еще сильней сверкало!  
 Подруга жизнь, займи мне камнем руки,  
 Мелком, улиткою, похожей на лекало.

И я с задворками бывал учтив и дружен,  
 Да будет возраст нам не страшен.  
 Пусть он глядит на нас, обезоружен  
 Тем, что в глазах блеск тихий не погашен.

К нам не имеет отношенья  
 Неблагодарности унылый грех, тяжелый.  
 Был дан прекрасный смысл нам в утешенье  
 В нарядах царских, а не голый.

\* \* \*

Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.  
 Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.  
 Тем пронзительней южные краски,  
 Пыхание роз, пенный гребень на синей волне,  
 Не желающий знать ничего о смертельной развязке,  
 Подходящий с упреком ко мне.

Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.  
 Отшучусь, может быть.  
 Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,  
 Все не можешь о смерти забыть,  
 Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,  
 Продеваешь в ушко синеокое черную нить.



---

---

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

★

## ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ\*

Роман

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Он посмотрел на себя в зеркало, отошел — и тотчас забыл, каков он.

*Послание Иакова, 1, 24.*

#### Глава I

— Товарищ Сталин уже проснулся. Доброе вам утро, товарищ Сталин! Солнышко-то, солнышко какое сегодня, товарищ Сталин, а?

Солдат усмехнулся, опустил железное веко глазка и отошел. Это была особая камера. Около нее не надо было ни стучать, ни кричать, потому что это была даже и не камера вовсе, а карцер, и не простой карцер, а особый, для голодающих. Этот зек сидел здесь четвертый день. Ему каждое утро приносят хлеб и жестяную кружку с кипятком, кипяток он берет, а хлеб возвращает. А сегодня и кипяток тоже не взял, это значит, с простой голодовки он перешел на решительную, смертельную. О смертельных голодовках коридорный обязан был немедленно извещать корпусного. Так он и сделал сегодня утром. Корпусной пришел сейчас же и, подняв круглую железку, долго смотрел на зека.

А зек лежал.

Он как-то очень вольготно и приятно лежал: скрючил ноги, во-брал голову, свернулся калачиком и покоился как на перине. В обыкновенных карцерах полагаются на ночь деревянные плахи: просто три или четыре плотно сбитых горбыля. Их приносят в карцер в одиннадцать часов и забирают с подъемом в шесть; они голые, они мокрые и сучкастые, и лежать на них очень трудно, но в этой камере и таких не было. Заключение лежал просто на цементе. Днем лежать не полагалось, и корпусной для порядка стукнул пару раз ключом и крикнул: «Эй, не лежать! Встаньте! Слышите, зек? Встаньте сейчас же!» И отошел. А зек и не шевельнулся.

— Прокурора вызывает? — спросил он у коридорного. — Ну будет ему, кажется, прокурор. Стой здесь, не отходи. Пойду докладывать.

— И чего они с ним нянчатся? — болезненно скривился заместитель начальника тюрьмы по оперативной части, выслушав все. — Хорошо! Я приду.

Корпусной хотел ему рассказать, что заключенный каждое утро здоровается с товарищем Сталиным да и днем тоже обращается к не-

---

Публикация К. Ф. ДОМБРОВСКОЙ-ТУРУМОВОЙ.

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8, 9 с. г.

му по несколько раз, но подумал и ничего не сказал. А только, выйдя от начальства, опять зашел в коридор и объявил надзирателю:

— Черт с ним, пусть лежит — но только головой к двери! И еще смотри, чтоб рубашку не скидывал!

Скинутой рубашки здесь боялись. В прошлом году один зек исхитрился, разорвал пиджак на полосы, свил петлю, прикрепил ее к спинке кровати, лег и как-то очень ловко и быстро сумел удавиться лежа. Но случилось это не в карцере, а в камере. А в карцере и петлю привязать не к чему. Пусто. Но все равно часовой стукнул ключом несколько раз в железную обшивку: «Заключенный, повернитесь головой ко мне! Заключенный, вы слышите?».

Заключенный, конечно, гад такой, слышал, но даже не пошелохнулся. Да и солдат кричал не особо, он понимал, что здесь его власть, и даже не его, а всей системы,— кончилась. Потому что ничего уже более страшного для этого зека выдумать она не в состоянии. Поэтому солдат только пригрозил: «Ну подожди же!» И отошел от глазка. И чуть нос к носу не столкнулся с прокурором.

Прокурор входил в камеру в сопровождении начальника тюрьмы, полного и с виду добродушного казаха. Зыбин знал его. В прошлое благословенное лето тридцать шестого года в городе сразу открылось несколько новых кабачков и пятачков, и все они были пресвеселыми. А начальник обладал характером легким, жизнерадостным и своей мрачной должности соответствовал не больно (то есть, конечно, соответствовал, и вполне даже, иначе разве бы его держали? Но, очевидно, соответствие это шло по особым каким-то, простым глазом не видимым основаниям). Как бы там ни было, они встретились довольно часто, а один раз даже преотлично и весело просидели целый вечер в ресторане. Ели шашлык, пили коньяк, заказывали музыку и угощали друг друга анекдотами. Сейчас, войдя в камеру и увидя зека на полу носом к стене, задом к ним, начальник мгновенно побагровел и гаркнул: «Встать!» Но зек даже и не шевельнулся. Начальник скрипнул зубами, наклонился и схватил зека за плечо. Но прокурор сделал какой-то почти неразличимый жест, и начальник сразу же спокойно выпрямился.

— Здравствуйте, Георгий Николаевич,— почтительно сказал прокурор,— моя фамилия Мячин. Я пришел по вашему заявлению. Вы говорить можете?

Зек повернулся, поднялся и сел.

Прокурор по спецделам Мячин был упитанным, хорошо выглаженным, краснощеким, благоухающим товарищем. Он носил зачес назад и роговые очки.

«Какие они все благородные!» — вскользь подумал Зыбин и хмуро сказал:

— Я вас жду уже пять дней.

— А я вернулся из командировки только вчера,— мягко съязвил и даже слегка словно поклонился Мячин.— Здесь не вполне удобно говорить, так, может, пройдем в кабинет?

Выводить голодающих из камеры не полагалось. Тюрьма не отпускала их даже на допросы (поэтому следствие тормозилось, следователи гуляли — начальство терпеть не могло такие истории, и опытные, старые зеки этим широко пользовались). Зыбин свободно мог отказаться, но он оперся о пол, встал. И тут его так мотнуло и качнуло, что он больно приложился о косяк.

— Тише! — крикнул начальник тюрьмы, бросаясь вперед и вытягивая руки, но зек удержался. Он прислонился к стене и несколько секунд простоял так. Потом вздохнул, открыл глаза и вышел в открытую дверь.

— Помогите же! — шипанул прокурор коридорному и не оглядываясь пошел вперед. Эта история здорово начинала ему действо-

вать на нервы. И какого черта они с ним путаются? Ведь уже ясно, что тут где сядешь, там и слезешь. Вот следствие только началось, а он уже сидит в карцере, объявил голодовку. А сегодня с утра смертельную — что же дальше? Бить его? Вязать? Ну молоти его, пожалуй, вяжи ему ласточки, а он будет держать голодовку, и все. А ты полмесяца пробудешь в простое и получишь строгача! А потом и вообще по шею! И иди в коллегии защитников или директором картины «Амангельды». Потому что надо соображать, а не воображать! Не надо воображать из себя черт знает что! За братцем ты погнался! За начальником следственного отдела прокуратуры Союза. Как он сочиняет процессы в Москве, так ты хочешь того же в Алма-Ате. Дурак! Да до братца тебе, как свинье до неба! Обрадовался приказу наркома об активных методах допроса. Болван! Приказ этот для настоящих людей — троцкистов, японских и немецких шпионов, начальников железных дорог, секретарей ЦК. А это кто? Говнюк! Пьяница! Трепач! Таких, как он, только в этом году стали подбирать по-настоящему, а ты его хочешь оформлять в лидеры!

Прокурор зашел в кабинет начальника тюрьмы по оперработке, махнул ему рукой, чтоб он не вставал, и сказал:

— С Зыбиным надо кончать! Я вчера просматривал его дело. Вот буду говорить с Нейманом. Что они там затеяли, честное слово! Здесь даже и на одиннадцатый пункт не натянешь. Ведь кроме него никто не привлекается, значит, ОСО, восемь лет Колымы, вот и все.

Прокурор был симпатяга, он не строил из себя Вышинского и не показывал, что он какого-то другого, высшего, угэбэвского круга. А просто приходил, садился за стол, и если ты пил чай, то и он с тобой тоже пил чай. А за чаем делился вот подобными соображениями. И служащие тюрьмы это ценили и тоже не позволяли себе принимать его простоту в полный серьез, задавать вопросы или советовать. Люди тут были дисциплинированные, и каждый сверчок отлично знал свой шесток. Поэтому сейчас зам по оперчасти только скромно развел руками.

Прокурор удобно уселся, протянул ноги и поднял газету.

— «Новые времена», — прочел он. — Чарли Чаплин! Так что ж, покажут нам в конце концов Чарли Чаплина или нет? Мы, выходит, уже самые последние, до нас весь город посмотрел.

— Хотели завтра сделать ночной сеанс, — ответил зам нач. по оперчасти, — да женщины запротестовали: мы, мол, хотим детей привести, а куда же ночью! Странно, конечно, что ж, на весь город один экземпляр, что ли? — Он пожал плечами.

— План, план! — проворчал прокурор. — Хозрасчет, дорогой! Валютка! Потому его и не покупают у нас. А наше культурное воспитание дело десятое. Слава Богу, двадцать лет революции! Сами уж других должны воспитывать!

Он усмехнулся, показывая, что хотя это и так, но говорит он все-таки не в полный серьез, несколько, так сказать, сгущает краски, опошляет действительность, как он непременно квалифицировал бы эти слова («высказывания»), если бы их произнес не он, а кто-то другой, и не в кабинете начальника, а, скажем, выходя из кино.

— Да, это точно, — согласился зам начальника по оперчасти, улыбаясь и показывая этим, что он все эти оттенки понимает отлично, — да, это так.

Он обожал ходить на закрытые особые просмотры. Происходили они в самом здании наркомата после работы. Иногда действительно ночью. В просмотрный зал тогда сходились все — от наркома до машинисток и работников тюрьмы. Зал был большой, светлый — горели белые трубки, — очень уютный, в скромных зеленых сукнах. И люди рассаживались неторопливо, по-семейному здороваясь, улыбаясь, уступая друг другу дорогу. Каждый старался держаться как можно дружелюбнее и скромнее. А в длинном узком фойе висели картины

самого что ни на есть мирного штатского содержания: «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Аленушка», «Мишки на лесозаготовках» (за эту вот шуточку кое-кто и в самом деле поехал на лесозаготовки к этим самым мишкам), «Вождь за газетой „Правда“», «Великая стройка». И около буфета, где стояли столики с пирожным и пивом, тоже было тихо, скромно и уютно. Каждый, конечно, знал свое место, но все уважали друг друга и были как одна семья. Тут замнаркома, например, мог запросто опуститься около коридорного и завести с ним разговор о матче «Спартак» — «Динамо» либо справиться, где тот думает проводить отпуск, и даже порекомендовать что-нибудь стоящее из собственного опыта, скажем, ехать не в Сочи, а в Геленджик: там народу меньше. Или рассказать очень по-простецки о том, как они взялись раз с товарищем плыть наперегонки да и заплыли до самой запретки, а береговая охрана прилетела за ними на моторке: «Кто вы такие? Откуда? Предъявите документы». И тут оба собеседника добродушно смеялись: тоже ведь бдительность проявляют! Вот это приобщение, эту вхожесть в высший мир зам. нач. по оперчасти ценил больше всего. И, пожалуй, не только от одного чувства приобщенности, но еще и потому, что вместе с этим он приобретал еще целый ряд чувств, ему при его работе совершенно необходимых. Он тут ощущал «чувство локтя», спайку коллектива — одним словом, настоящую демократию. Все, с кем он тут встречался — от наркома до такого же маленького администратора, как он, — все друг с другом были вежливы, добропорядочны, честны. И невольно припоминалось другое, совсем недавнее. Когда жена работала в детской кухне и приходила поздно, усталая и взбудораженная, и сколько же всяких разговоров о склоках, подсиживаниях, доносах, анонимках, подхалимаже, хамстве, мелком ловкачестве приносила она ему каждый день! Разве здесь могло быть что-нибудь подобное? Да никогда! Здесь чистота! Но было и еще одно. Тайнственное и жутковатое. Там, в гражданскойке, все эти начальники, замы, завывы, просто служащие слетали с места, как чурки в игре в городки, — шумно, легко, бестолково. Они ходили, жаловались, сплетничали, писали заявления то туда, то сюда, оправдывались, валили на других, и иногда это им даже удавалось.

Здесь люди просто пропадали. Был — и нет. И никто не вспомнит. И было в этом что-то совершенно мистическое, никогда не постижимое до конца, но неотвратимое, как рок, как внезапная смерть в фойе за стаканом пива (он видел однажды такое). Человек сразу изглаживался из памяти. Даже случайно вспомнить о нем считалось дурным тоном или бестактностью. Зона всеобщего кругового молчания существовала здесь, как и везде... Но тут она была совсем иной — глубоко осознанной и потому почти естественной, свободной (назвал же кто-то из классиков марксизма свободу осознанной необходимостью).

И лишь однажды Гуляев — какая-то очень высокая и особая шишка — нарушил этот закон. На том сеансе их места оказались рядом, и, пока еще было светло, Гуляев спросил его:

— Вы своего нового начальника совсем раньше не знали?

Речь шла о том, что прежний начальник тюрьмы был вызван в Москву на совещание и исчез сразу же. Осталась от него только одна телеграмма: «Долетел благополучно. Целую».

И в тот же день в его кабинете появился новый человек из охраны первого секретаря ЦК. Первого секретаря точно так же месяц назад вызвали в Москву, и он оттуда уже давал уличающие показания. И по ним тоже сажали. Так и попал комендант его дачи в начальники тюрьмы. А когда-то они оба работали дежурными комендантами в так называемом тире (а это был тот тир!), и раз случилось, что на наркоматовских соревнованиях по револьверной стрельбе их обоих наградили одинаковыми грамотами и именными часами.

Он сказал об этом Гуляеву. Этой подробности Гуляев почему-то не знал и очень ей обрадовался.

— Ах, значит, вон он откуда! — воскликнул он. И вдруг спросил: — А с Назаровым (тем исчезнувшим) вы, кажется, ладили?

Вопрос был задан легким, ничего не значащим тоном, поэтому он так же легко и ответил:

— А что же не ладить? Выпить он, правда, любил. А так что же... — Сказал и спохватился: а не лишнее ли? Но Гуляев только улыбнулся и коротко кивнул ему головой. А тут уже и свет потушили. И так и осталось у замначальника впечатление легкой интимности, мимолетной откровенности, которая связала их обоих — Гуляева и его.

Нет, любил, любил зам начальника тюрьмы по оперчасти эти закрытые, недоступные простым смертным кинопросмотры.

— Надо вообще ввести какие-то определенные дни для просмотров, — сказал вдруг деловито прокурор Мячин. — Почему обязательно ходить в кино ночью? У меня вот дочь приезжает из Москвы на каникулы.

Потом он сразу посерьезнел.

— Сейчас буду разговаривать с Зыбиным, — сказал он и поморщился. — После голодовки он падает — так чтобы не подниматься на второй этаж, можно у вас?

— Да, пожалуйста, пожалуйста, — учтиво всполошился замначальника и начал поспешно собирать бумаги.

— Да нет, сидите, сидите, вы, может быть, как раз и понадобятся, — остановил его прокурор, — он что, так все время и лежит?

— А что с ним поделаешь? — развел руками замначальника. — Он ведь уже бредит.

— Бредит? — удивился прокурор.

— Бредит. Я подошел раз к двери, а он лежит и с товарищем Сталиным беседует.

— То есть как же? — встрепенулся и всполошился прокурор. — С товарищем...? — И они оба невольно обернулись к двери. — Ругает его?

— Нет! Просто говорит: «Товарищ Сталин идет обедать. Товарищ Сталин сел за стол. За столом гости. «Посмотрим, чем нас будут кормить», — говорит товарищ Сталин гостям». Вот так.

— Черт знает что! — выругался прокурор. — А вы следовательно говорили?

— Да нет, только вот вам, — сказал зам. нач. по оперчасти и искренне поглядел на прокурора.

Прокурор с минуту молча смотрел в окно и о чем-то думал.

— Вот что, — решил он наконец, — вы его психиатру покажите, Я распоряжусь. Не по следственной части, а сами, от тюрьмы. Может, он просто сумасшедший. Я слышал, и на воле-то он был тоже фикс-фикс! Может, тут и дела нет никакого, а отправить его в Казань в специзолятор, и пусть там сдыхает.

В это время в дверь постучали, привели зека.

Зек шел твердо и ровно. По дороге он попросился в уборную и там несколько раз накрепко обтер ладонями лицо. Утром он объявил сухую, а уж на второй день сухой рот воспаляется, губы трескаются, сочатся и начинает пахнуть трупом. Зыбин знал это и поэтому сегодня тщательно ополоснул рот и вычистил пальцем зубы. Однако пить ему еще не хотелось.

Вместе с ним вошли начальник тюрьмы и корпусной.

— Вот, пожалуйста, сюда, — сказал ласково прокурор и показал Зыбину на шахматный столик около окна.

Зыбин сел и чуть не вскрикнул. Окно было большое, полное солнца, и выходило оно на тюремный двор в аллею тополей. Тополя эти посадили еще при самом основании города. Тогда тут была не тюрь-

ма, а просто шла широкая дорога в горы, и вдоль ее обочины и шумели эти тополя.

И Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством. Веток, сучьев, побегов. Все они шумели, переливались, жили ежеминутно, ежесекундно каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой! Они были веселье, свободные, живые. И ему, в течение стольких дней видевшему только серый цемент пола, да белую лампу в черной клетке, да гладкую стену цвета болотной тины, на которой глазу не за что зацепиться, это сказочное богатство и нежность показались просто чудом. Он уже и позабыл, что и такое существует. А ведь оно-то и есть самое главное.

Он смотрел и не мог глаз отвести. Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали, ползли — дерево дышало, по его жилкам пробегала зеленая кровь, в нем бились миллионы крохотных сердечек. И какими же живыми, дружественными, сердечными, настоящими показались ему эти тополя. И плевать ему было в ту минуту на начальников! И плевать ему было на тюрьму, прокурора, оперативников!

И, наверно, это отразилось на его лице, потому что прокурор глядел на зека и тоже молчал. Наконец зек вздохнул, оторвался от окна и повернулся к нему. Все! Он опять был в тюрьме, сидел в камере и держал смертельную голодовку.

— Так я получил ваше заявление, — сказал прокурор ласково. — Но я не особенно понял, что вы хотите.

— Следствия, — ответил Зыбин.

— А это не следствие?

Зыбин пожал плечами.

— Ну так что, следовательно кричит на вас, бьет, искажает ваши показания? Вы говорите одно, а он пишет другое? Чем вы конкретно недовольны? Но только конкретно, конкретно!

Зыбин подумал.

— Следователь хочет, чтобы я сам себе придумывал дело, а меня это не устраивает, я на это не подряжался. Хочет получать зарплату, пусть работает. Это ему не баранку крутить!

— Какую баранку? — снова удивился и улыбнулся прокурор.

— Ну он же из бывших шоферов. Раньше начальников возил, а теперь сам начальником стал.

— Ай-ай-ай! «Из грязи в князи». Так? Нехорошо. Недемократично! — сказал Мячин с легкой укоризной. — Значит, по-вашему, все дело в следователе. Этот следователь плох и поэтому держит, а другой, хороший, взял бы да отпустил. Да как же вы не понимаете того, что если бы он, я, майор Нейман вместе с вами бы сели за этот стол и стали придумывать, как бы вас вызволить и освободить, то и тогда из этого ничего не вышло бы!

— Да, пожалуй, — согласился Зыбин, — это тот лабиринт! Войти войдешь, а выйти — черта выйдешь.

— Вот именно! — воскликнул Мячин. — Преступление всегда лабиринт! Вот поэтому я смотрю на вас и удивляюсь: умный человек, а доводит себя черт знает до чего. Что невозможно — то невозможно. Ну вот стена — бейтесь об нее головой, что выйдет?

— У одного вышло, — усмехнулся Зыбин.

— Что?

— Сдох!

Прокурор засмеялся.

— И вы верите этим парашам? Нет, Георгий Николаевич, ничего тут выйти не может. Шишку набьете — это да, а сдохнуть не дадим! Лабиринт! Так что глупо все это, — он развел руками, — и карцеры ваши глупые, и голодовка глупая, и то, что вы от воды отказываетесь, — глупо все это.

— Да, — согласился Зыбин, — очевидно, в этом вы правы — глупо.

Но все равно работать я за вашего работника не буду. Пусть сам себе ломает башку.

— Ну а правду-то говорить будете?

— Да я только и делаю что говорю ее. Только не нужна она тут никому.

— Ну так вот мне она нужна. Давайте-ка потолкуем немного. Без всякой записи. Тут и для вас кое-что прояснится. Скажите, ваша работа в музее вас удовлетворяла? Вы были довольны тем, как работаете?

Зыбин подумал. Работали они плохо, и он ответил коротко:

— Нет.

— Отлично, — мотнул головой Мячин, — чему же вы это приписываете? Себе? Своим сотрудникам? Руководству?

— Прежде всего себе, конечно. Хуже всего было то, что мы влезли в эту экспедицию. Надо было просто писать в Москву и требовать специалистов. Но мы решили, что раз это просто разведка, то покопаем, обнаружим что-нибудь стоящее, тогда и напишем. Вот и копали. А копать не умели. Я не археолог, Корнилов — тот археолог, но никогда он в поле не был. Получалось не то.

— И все же это с ведома директора?

Зыбин помолчал, подумал.

— Да, конечно. Но что вы из этого заключаете?

— Ну вот, — засмеялся Мячин, — вот теперь мне и понятно, что у вас происходит со следователем. Где вам надо ему отвечать, там вы его спрашиваете. Нет, Георгий Николаевич, тут спрашиваю только я. А вы отвечаете мне. И таким образом мы оба и доходим до истины. А какое я буду из этого делать заключение — это вас не касается. Понятно? Идем дальше. Вот про эту самую экспедицию. Какой ветер занес вас в этот фруктовый колхоз? Яблочек вам захотелось? Или ближе к городу? Утром там, вечером тут?

— Да очень просто. Нам принесли черепки крупных сосудов с узорами согдианского типа, и мы решили...

— А, извините, кто это вы? Вы, Георгий Николаевич? Корнилов? Директор ведь ничего не решал, он мог только поверить вам на слово и отпустить средства. Он и отпустил. И вы на них поехали на колхозные прилавки и начали раскапывать старое скотское кладбище. Отчего пошли всякие слухи о сапе и прочие неприятности. А золото, настоящее, натуральное золото, которого никогда не было в этих местах, тем временем спокойно утекло. Прямо из музея. Из-под вашего, так сказать, носа. Ясно?

— Меня тогда там не было.

— Правильно, не было, а вы обязаны были быть. Вы же все время говорили и даже писали, что золото где-то ходит по рукам. Почему же, как только директор показал вам это золото, вы не плюнули на ваши бараньи мослаки, не сели в его машину и не поехали в город? Вот и цело было бы золото! Ну? (Зыбин молчал.) Ну, ну, Георгий Николаевич! Как это надо нам расценивать?

— Как бесхозяйственность?

— А если поточнее?

— Халатность?

— А если еще точнее?

— Преступная халатность?

— Не то, не то, Георгий Николаевич, не те слова, не тот язык.

— Злоупотребление по должности? Должностное преступление?

— Уже ближе, но тоже не то. Вы все выражаетесь бытовым языком, газетным языком, а вы перейдите на язык политический — и мы сразу сговоримся. Скажите «вредительство». И все.

— Здорово!

— Да нет, еще не здорово. Пойдем дальше. Копали вы около города, дадимеу нащди тоже около города, только в другой стороне,

на реке Карагалинке, а арестовали-то вас на Или, за пятьдесят верст от города. После пропажи вы сразу туда махнули. Что вам там понадобилось? Вы никому ничего не объяснили. Быстро собрались, закупили продуктов, забрали с собой свою сотрудницу и исчезли. Ей сказали: поедем, мол, купаться! Странно? Странно! Дальше. Как выяснилось, в музее вы потребовали себе все карты — все они крупномасштабные, с подробным обозначением, я смотрел их. А места эти вплотную прилегают к границе.

— Да карты же археологические! Им в обед сто лет!

— Да хоть порнографические! С бабами! Важно не название, а масштабность и район. А что в обед сто лет, то ведь рельефы-то тут все в основном сохранились. Скажите, как все это объяснить? Я вот не знаю как.

— Хорошо! Вы сказали, что я взял сотрудницу. Какую роль вы ей отводите?

— Ну вот опять вы меня спрашиваете. Действительно бедный ваш следователь. Так вот, Георгий Николаевич, пока никакой роли я никому не отвою, а только прошу мне объяснить. Ведь как разворачиваются события? В музей поступают сигналы: где-то обнаружено археологическое золото. Вы быстро сколачиваете так называемую партию и едете копать землю в колхоз «Горный гигант», то есть туда, где никакого золота заведомо быть не может. Копаете, конечно, впустую. Тут приезжает к вам директор и сообщает, что где-то возле Карагалинки обнаружен большой клад. Показывает вам кое-что, говорит, что завтра эти люди к нему явятся и он с ними отправится на место находки. Вы очень этому радуетесь, но в город почему-то с ним не едете, чего-то как будто ожидаете. Чего? На следующий день вам сообщают, что в музее произошла кража. Кладоискатели выкрали свои документы и скрылись. Тут вы уж сразу прилетаете в город и берете старые архивные карты. Но изучаете-то вы их как-то странно. С директором смотрите карты Карагалинского района, а у себя в кабинете просматриваете карты Или, то есть пограничного района. Даже заносите в блокнот какой-то чертежик. К пропавшему золоту он никакого отношения не имеет. Дальше, вы закупаете много водки, уйму всяких продуктов и, сговорившись с той самой сотрудницей, которая последняя видела пропавших золотоискателей, самым ранним поездом отправляетесь на Или. Еще раз подчеркиваю, Георгий Николаевич, на Или, а не на Карагалинку. Зачем? С кем вы там должны были встретиться? Кому предназначалась эта водка? Для вас одного много даже при ваших уникальных способностях, девушка вообще не пьет — так что ж, вы действительно купаться поехали или хотели кого-то встретить и распить все это? Объясните, пожалуйста.

Зыбин молчал.

— Видите, на все эти вопросы при всей вашей находчивости вы ответить не можете. Хорошо, сейчас у нас не допрос, вы подумаете и ответите следователю. Дальше. Вы жалуетесь на Хрипушина? Хорошо. Мы назначим другого. Но давайте сразу же — вот тут, при товарище начальнике — сговоримся: вы будете не спрашивать, а отвечать, рассказывать. И расскажете все. И об этой странной поездке расскажете, и о том, что происходило в музее в последнее время, расскажете, и о вашей настроенности, и о вашем окружении, ну и так далее.

Зыбин поднял голову. До сих пор он сидел и слушал.

— Если вас интересует мое настроение, то я могу хоть сейчас. Прокурор засмеялся.

— Настроенность! Настроенность, а никак не настроение нас интересует, Георгий Николаевич, — сказал он. — Настроение — это одно, сейчас оно такое, через час другое. Оно для романов хорошо, а не для следственного производства. — Он обернулся к начальнику тюрьмы по оперработе. — Так вот, Георгий Николаевич голодовку снима-

ет. Переведете его в хорошую камеру, дайте хлеба, воды, пусть немножко отдохнет. А дня через три переведете опять в прежнюю. Ну,— он поднялся,— я надеюсь, Георгий Николаевич, что на этом наши недоразумения кончились. Будем работать вместе.

Он сказал, что товарищ Сталин проснулся. Он зря это сказал. Было еще десять часов утра, и товарищ Сталин спал. Он спал на спине, спокойно, ровно, крепко, ни разу не пробуждаясь, но, как и всегда, тяжело. Вчера он из Москвы вернулся поздно, прихватил с собой еще несколько человек, и они часов до двух сидели за столом, и он за разговором, потихоньку-помаленечку, а рюмка за рюмкой выпил, наверно, с полбутылки красного вина. Вино это было из самых его любимых — красное, терпкое, очень кислое, такое делали только в одной местности в Грузии. Году в восьмом или девятом он в этом местечке по обстоятельствам, теперь уже забытым, а тогда для него чрезвычайно важным, прожил целое лето и пристрастился к этому вину. Там был такой дядя Шалва, который всегда ставил перед ним на стол целый глиняный кувшинчик. С тех пор прошла целая вечность, и он забыл и это место, и дядю Шалву, и длинный строганный стол в холодном полутемном погребе, где они сидели, разговаривали и потягивали вино. И вдруг совсем недавно в Тбилиси перед ним на столе появился точно такой же кувшинчик из той же крепкой красной глины, и в сопровождении первого секретаря вошел самый настоящий дядя Шалва — такой же усатый, быстроглазый, жульковатый, как в те годы, и лет ему было примерно столько же. Оказалось, что племянник дяди Шалвы, замнаркома НКВД. Это пришлось очень кстати, у Лаврентия в этом отношении был безупречный нюх. И только они уселись и он пригубил стакан, как вместе с острой терпкостью, терновой кислинкой и вкусом сырости и свежести к нему пришли все обстоятельства того лета, и он вспомнил как есть все.

Память тела, вкус, запахи, мускульные ощущения у него всегда были очень сильны и крепки. Достаточно было какой-нибудь малости — запаха, ветерка, песни, ветки, ударившей по лицу, — и он сразу вспоминал все давно забытое. С иной памятью у него становилось с последними годами хуже. Кое-что он забывал совершенно или вспоминал не так, как оно было. Но сейчас с этим вином у него сплелась история совсем иного рода. Вчера Берия передал ему письмо одного заключенного. Он прочел его и засмеялся. И весь остаток дня был в хорошем настроении. Это была хорошая, грустная и веселая история. Ее можно было рассказывать за столом и даже, пожалуй, пустить в народ.

Завтракая, а потом просматривая газеты, он все еще был под этим впечатлением и внутренне улыбался, пока ему не попался номер «Большевика» со статьей Молотова. Тогда он вспомнил, что вчера между прочим зашел разговор и о ней, то есть о том, что нельзя сейчас поручать техническое обследование предприятий, если поступили сигналы, одним специалистам, какого бы высокого ранга они ни были. Вредители, диверсанты, троцкисты прошли хорошую партийную выучку, точно такую же, как и все они, старые большевики, и всегда сумеют обвести вокруг пальца самого прозорливого специалиста. Об этом говорил Молотов, и говорил, как всегда, когда его особенно что-то задевало, в повышенном тоне, краснел и заикался больше чем обычно. И он, хозяин стола, догадывался, что стоит за этим разговором. Очевидно, Молотову кто-то аккуратно и ласково положил что-то на стол или просто ткнул носом. Лаврентий умеет это делать вежливо и неотвратно. Он, Сталин, никогда не был особенно по-человечески привязан к Молотову, но ценил его чрезвычайно. Молотова, например, невозможно было заставить сорваться. Он был туп, упрям, последователен и, как утюг, начисто выжигал и проглаживал полосу, за полосой. И это было таким его исконным природным качеством,

что даже то, что последнее время он бывал груб, нетерпим, запальчив и мог на каком-нибудь совещании хозяйственников (всегда, впрочем, не особенно ответственном) оборвать оратора на полуслове, а то и выставить из зала, никак не отменяло это качество. Тут, на этих малых высотах, он просто разрешал себе разряжаться. И это тоже было правильно. Ну а Берия, конечно, мог поднести ему любую пилюлю. Перелистывая журнал, Сталин нашел то, о чем говорили вчера. Это была, так сказать, директивная статья ЦК. Вся печать ее обязана была перепечатать. Он читал:

«Секретарем парткомитета на Уралвагонстрое был вредитель троцкист Шалико Окуджава. Несколько месяцев как вредители разоблачены. В феврале сего года по поручению Наркомтяжпрома для проверки вредительских дел на Уралвагонстрой выехала специальная авторитетная комиссия. Во главе этой комиссии были поставлены такие тт., как нач. Главстройпрома товарищ Гинзбург и кандидат в члены ЦК ВКП(б) Павлунский. Эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что матерый вредитель Марьясин вместе с другим вредителем, Окуджавой, сами на себя наклеветали. Между тем, пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новые показания, где более конкретно указывает, в чем заключалась его вредительская работа на стройке. Он указывает при этом на целый ряд фактов вредительства на Уралвагонстрое, которые прошли мимо глаз уважаемой комиссии».

Это место он прочел еще раз и поморщился: опять Наркомтяжпром! Распустил же Серго эту публику! Бесценный был когда-то работник, борец, герой, а уже, оказывается, давно не годился в дело. Было ему отчего в горький час раздумья и раскаянья пустить себе пулю!

От мысли о Серго ему стало грустно. Но по-хорошему, по-красивому грустно. Он уважал и любил себя в такие минуты. Он встал и подошел к двери. Она вела на террасу, большую, открытую, каменную, перед ней на небольшой лужайке росла молодая березовая рощица, вся белая, светлая насквозь, сияющая каким-то особым, ясным внутренним светом.

Он спустился с террасы и пошел к ней. Вина его, конечно, совсем не в том, в чем обвинила его эта сумасшедшая Зинаида. Когда они все приехали на квартиру Серго, она лежала на диване без чувств. Как вбежала в кабинет на выстрел и увидела мужа на полу возле письменного стола, а рядом браунинг, так вот и рухнула. Потом уж ее перенесли на диван, и когда она пришла в себя и увидела их всех — его, Молотова, Кагановича, Кагановича, Микояна, Ежова и Берия, — то вскочила и крикнула: «Вы не сумели его сохранить ни для меня, ни для себя!» Тогда и он не выдержал — сам был подавлен и расстроен и вообще терпеть не мог бабьих истерик, его начинало мутить от них, — тогда он выступил вперед и сказал ей тихо и вразумительно: «Зина, держи язык за зубами! Ты меня знаешь! Я очень прошу, держи язык за зубами». И тут она разревелась, а он вышел. Да, хороший был человек Серго, очень хороший.

И вдруг чей-то голос совершенно явственно спросил его: «А разве Авель Енукидзе, крестный отец твоей жены, был плох?! А этот Окуджава? А...? А...? А...?» Он проглотил ряд имен.

Да в том-то и беда вся, что плох или хорош сюда не подходит. И это вот «Каин, Каин, где твой брат Авель?» тоже не подходит. Ничего сюда не подходит, никакое человеческое чувство, никакое веление сердца. Он потому и победил, что с юности знал — это не подходит. И раз навсегда избавил себя от всяких сомнений. Все на свете может быть, ничего нельзя предпринять или принимать на веру, если дело касается людей. Всяк человек слаб, грешен и податлив, ни про кого нельзя сказать: «На это он не способен». Каждый, про кого ты думал так, тебя продавал, когда приходил его срок, — начни с жены,

кончи Серго, а сколько людей и привязанностей легло еще между ними!

Он шел по березовой рощице, вдыхал горьковатый запах травы, земли, березы и думал (вчерашний разговор, очевидно, дал его размышлениям соответствующее направление) — значит, после того как правительственная комиссия сделала благоприятные выводы для Марьясина и Окуджавы и уехала восвояси, Марьясин снова был вызван к следователю и дал, как пишет «Большевик», новые, уличающие его показания. И этим, конечно, подписал смертный приговор себе и Окуджаве. А вот Окуджава тогда ничего не дал — ни на себя, ни на Марьясина. Да он, очевидно, и сначала ничего не давал. Вот грузин! Если стоит, так уж до смерти! Вот таким был и Авель. Черта с два от него можно было чего-то добиться! Орджоникидзе! Покончил, а не покаялся! Упрямые, упрямые люди! Марьясин показал, а Шалико Окуджава нет! А ведь допрашивали их одинаково. И вот Марьясин — да, а Окуджава — нет.

Эти слова все звучали и звучали у него в уме, пока он не дошел до своего любимого уголка, дощатого помоста с плетеным ивовым креслом, и не сел на него. Он любил грубую, непритязательную мебель, как вообще любил все простое, добротное и удобное. И поэтому такие кресла стояли по всему саду.

## Глава II

*Прокурору по спецделам от ЗК (имя, фамилия, установочные данные — то есть где арестован, где содержится, с какого времени, какая статья предъявлена /статья 58, пункт 10 — антисоветская агитация/).*

*Хочу внести полную ясность в наши отношения. В лиге самоубийц я не состою и гробить себя не согласен. О чем и предупреждаю. Я не шпион, не валютчик, не изменник, я — лояльнейший и вернейший гражданин Советского Союза, если хотите — просто обыватель. Политики боюсь. Не мое она дело. Все это я изложил следователю Хрипушину, и он мне ответил: «Не подпишешь добром, подпишешь под кулаком. Понятно?» Как не понять! Это-то я давно понял, только и Хрипушин пусть поймет: кулак-то есть и у меня, а бью я, пожалуй, похлестче Хрипушина. А так как в делах подобного рода «крайняя степень недобросовестности связана с необыкновенной юридической тщательностью» (А. В. Луначарский), то в результате получит Хрипушин пищик, а крови я испорчу ему целое ведро. На мне лишние лычки не заработаешь — пусть это запомнят все великие инквизиторы, которыми, по словам Хрипушина, здесь хоть пруд пруди.*

*К сему Зыбин.*

*Нач. внутренней тюрьмы НКВД  
от ЗК (те же данные)*

### Объяснение

*На Ваш вопрос: «К кому конкретно из работников органов относятся ваши оскорбительные антисоветские выпады?» — отвечаю: конкретно ни к кому, я писал вообще. Если же, как Вы мне сообщили, никто ничего на мне не собирается зарабатывать, а просто ведется следствие, то ясно, что никому я ничем не пригрозил и никого никак не обозвал.*

*На Ваш второй вопрос: «Что заставило вас представлять советское правосудие как великую инквизицию?» — объясняю: не что, а кто — мой следователь Хрипушин. Он обещал сделать из меня «свиную отбивную» и сказал, что ему в этом патриоты помогут — «их у нас знаешь сколько?». Если сомневаетесь, устройте очную.*

*А вот с товарищем Луначарским мне устраивать ее не надо. Он уже давно спит в «земле сырой», не в земле, а в стене. Заинтересовавшее же Вас, как Вы определили, «антисоветское высказывание» находится в книге А. Франса «Жизнь Жанны г'Арк» (предисловие).*

*На вопрос: «Расскажите чистосердечно об антисоветской террористической организации «лига самоубийц» и о вашем участии в ней» — отвечаю: никак эта лига не могла быть антисоветской, так как она существовала еще до Советов. По причине моего тогдашнего малолетства участвовать я в ней никак не мог. Впрочем, ее, кажется, и вообще не было. Вероятно, ее придумал какой-нибудь тогдашний Хрипушин с какой-нибудь тогдашней Сонькой Золотой Ручкой.*

*На вопрос: «Объясните, какими конкретно актами террора вы грозите следствию?» — отвечаю: актами я не грожу, а если ударят, то отвечу здорово. И из камеры больше не выйду. Придется вам меня тащить на руках. И сразу же объявлю голодовку. И прокурора республики вызову. Но так как Вы сказали, что «меры» только для «стоящих» и «настоящих», а об такого говнюка, как я, даже руки марать не стоит, то, значит, и говорить не о чем.*

*Еще очень прошу прислать библиотекаря: целый месяц в камере лежат «Как закалялась сталь» и «Княжна Джаваха» Л. Чарской, а я эти труды успел проштудировать еще до тюрьмы. Прошу не отказать.*

*К сему ЗК Г. Зыбин.*

— Да дело не в тоне! Тон как тон! Они часто так пишут! Главное — «к сему»! Главное — это наглое, издевательское «к сему Г. Зыбин». Ну показал бы я тебе, Г. Зыбин, «к сему»! Сразу бы все стало тебе ни к чему! Барин пишет дворнику! Ах ты! — Нейман раздраженно швырнул по столу оба заявления, вынул трубку и стал ее набивать. А набивал ее он не просто, а по некоему высокому образцу: выбирал из коробки «Герцеговина флор» пару папирос, обрывал мундштуки, срывал папиросную бумагу, уминал табак в люльку оттопыренным большим желтым пальцем, под конец же высекал из зажигалки огонь, закуривал и с наслаждением затягивался. «Ух,— говорил он,— хорошо».

Прокурор Мячин молча смотрел на него. Не любил он Неймана. То есть он этого толстого, жизнерадостного, розовощекого и ясноглазого карапуза с его туманным загадочным взором попросту терпеть не мог.

— Так покажите! — сказал он любезно.

Нейман взглянул на него и выпустил длинную струю дыма.

— А почему вас заинтересовал Луначарский? — спросил он отрывисто.

Прокурор привстал, поднял со стола оба заявления, спрятал их в портфель, запер его и только после этого ответил:

— Он же какое-то время работал в его секретариате порученцем!

— А-а, да-да, был, был! Еще студентом! — кивнул головой Нейман. — И вы, значит, подумали, что нарком мог пооткровенничать в добрую минуту со своим студентом. — Он вдруг добродушно засмеялся. — Нет, нет, дорогой Аркадий Альфредович, такое исключается. Философствовать Анатолий Васильевич — ваша правда — очень любил. И разговаривал со студентами тоже свободно, легко, широко. Я когда учился на историческом, слышал, как он разливается, — но чтоб такое... нет, нет, никогда!

— Ну хорошо, а что же мы все-таки будем решать вот с этим красавцем? А? Очевидно, теперь уж ничего не поделаешь — придется послать в ОСО. Как вы?

Нейман по-прежнему курил. Мячин уколол его очень больно. В Особое совещание, как правило, посылались только фактически уже

проигранные дела — такие, которые даже суды не принимали. «На нет и суда нет, но есть Особое совещание», — острили заключенные, а за ними и потихонечку следователи. Высокому начальству эти шуточки совсем не нравились. Циников оно не любило, потому что больше всего ценило идеалы.

«Будьте щепетильны, будьте крайне щепетильны в отношении ОСО, — заклинал на общем собрании наркомата Роман Львович Штерн, высокий гость из Москвы и двоюродный брат этого самого Неймана. — Не теряйте чувства стиля! Каждый должен получить то, что заслуживает! Да! Верно! Троцкист, диверсант, агент иностранной разведки — это все поручики Кижэ, «арестанты секретные, фигуры не имеющие». Из нашей жизни эти черные тени должны исчезать бесследно и бесшумно. Ваш наркомат должен быть могильным склепом для этих врагов народа. Но, повторяю, — в р а г о в! А вот, например, такой случай: арестовывается какой-нибудь любитель политических бесед и анекдотов. Скажем, бухгалтер Иван Иванович Иванов. А вместе с ним заодно Марья, Дарья и тетка Агафья — и вот вся эта компания пропадает без суда и приговора. Вот это уже крупный просчет, товарищи! Ибо что, по совести, может сказать рядовому человеку вот такая бумажка: «Ваш родственник осужден тогда-то постановлением Особого совещания на восемь лет лагерей за КРД»? Ведь это же темный лес, товарищи! Что это за совещание? Почему оно Особое? Где оно? Зачем оно, если есть суды? И почему в бумажке какие-то буквы, когда в Уголовном кодексе цифры? Я вот даже не представляю, как вы сможете все это объяснить! И совсем другое дело суд. Тут — председательствующий, заседатели, защитник, прокурор. Свидетель уличает, защитник защищает, прокурор обвиняет, судья осуждает. Обвинили, осудили, усадили в «воронок» и покатали! Подавайте кассации! Адрес такой-то! Срок для обжалования такой-то! Все ясно, зримо, просто. К сожалению, далеко-далеко не всегда бывает так. Попадают случаи, и их даже немало, когда следственные работники стараются спихнуть любое неприятное дело в ОСО. Но почему именно в ОСО? Отвечаю: для суда надо свидетелей, а их нет! Ну знаете, когда я от вашего работника слышу эдакое, я ему очень ласково и тихо говорю: «Дорогой товарищ! А не рано ли вас поставили на эту труднейшую работу?» Потому что перед настоящим следователем преступнику все время хочется упасть на колени, и никакие тут свидетели не нужны. Товарищи, берегите ОСО! Это острейшее орудие борьбы за идейную чистоту и сплоченность нашего общества. Простого невозможно, чтоб кто-нибудь из нас использовал его для оправдания своей плохой, неряшливой работы! Ведь тогда и ошибки возможны! Впрочем, я уж давно отказался от этого слова. Я говорю — преступление! «Объективно или субъективно — это все равно» — так сказал наш Вождь. И последнее. Будьте гуманны и справедливы. Оттуда уже не возвращаются! Там нет ни пересмотров, ни амнистий! Кто осужден вами, тот осужден навеки! Вы — его последняя инстанция, и мы, прокуроры, не глядя — слышите, не глядя и не споря — подписываем ваши заключения! Потому что не имеем права заглядывать в них! Никогда никому не было оказано такого доверия! Только вам! Только вам! Вдумайтесь, товарищи, хорошенькс в это!»

После этой речи Романа Львовича количество дел, поступающих в ОСО из наркомата КазССР, резко сократилось: Москва стала оценивать работу следователя в зависимости от количества дел, прошедших через суд. Неймана это не затронуло. Он всегда умел доставать свидетелей.

— Ну что ж, — сказал он, — если ничего так и не отыщем, пошлем в ОСО. Не выпускать же! — И добавил: — Испортил мне песню, дурак!

— Это вы так о Белоусове? — улыбнулся Мячин.

— О нем, идиоте! Шерлок Холмс говенный! «Только сейчас, толь-

ко сейчас! Сейчас к нему баба приехала! Как возьмем по горячему следу — он сразу колонется! Он же псих!» Вот и взял. И схватил полную пригоршню горяченького! Предъявить-то нечего!

— А десятый?

— Во-во-во! — словно обрадовался Нейман. — Этого дерьма мне только и не хватало! Ходило ботало десять лет, ну и еще бы походило годик! Может, что-нибудь и получше себе за этот срок наговорил бы! Десятый! Бросьте, пожалуйста! Я от шпионов и террористов задыхаюсь, а вы мне десятый! — Он схватил трубку, закурил ее и выхватил обратно. — Кадров у меня нет! Кадров! Захлебнулись! Вот вы позавчера не приняли у моего следователя обвинительное заключение. Ну что ж, правильно. Ну а кто у меня работает, вы знаете? Практиканты, курсанты третьего курса! Племянницу свою к нам сватаю! Только что кончила с отличием, девчонке отдохнуть надо, а я ее сюда! Сюда! А в городской пересылке вы уже бывали? Ну и что, понравилось? — И Нейман снова закурил.

— Да-а,— протянул прокурор,— да, пересылка — картина, как говорится, достойная кисти Айвазовского.

Он и в самом деле был потрясен до глубины души. Не тюрьму он увидел, а развеселый цыганский табор, вокзал, барахолку, московский пляж! Огромный квадрат двора администрация заставила палатками, шалашами, юртами, чем-то вроде харчевок. Когда прокурор вместе с начальником проходил по двору, вся эта рвань высыпала наружу. Кто-то что-то сказанул, и все захохотали. «А ну порядочек! А то сейчас эти веселые пойдут в карцер!» — крикнул для приличия старший надзиратель, прохаживающийся между палатками, но его так и не услышали. А взглянув на зека, прокурор понял и другое. Эти оборванцы и доходяги были счастливейшими людьми на свете. Они уж ничего больше не боялись! Их не расстреляли. Их не забили. И все страшное — глазурованные боксы, цементные одиночки, ледяные карцеры, стойки, бессонница — осталось позади. Они снова топтали траву, мокли под дождем, жарились на солнце. А чего же человеку, по совести, еще надо? Шум, гам, смех висели над этим проклятым местом. Оправдывалась старинная тюремная прибаутка: «Там вечно пляшут и поют». Да, и плясали, и пели, и, кроме того, еще забивали козла, гадали на бобах, меняли хлеб на тряпки, тряпки на сахар, сахар на махорку и все это на конверт, марку и лист бумаги — письмо можно будет выбросить по дороге на вокзал или даже из окна вагона. Всюду сидели «адвокаты» и строчили жалобы. Писали Сталину, Кагановичу, Ежову. А с воли просачивались вести одна отрадней другой. Вот посажен начальник тюрьмы, на столе у Вождя лежит проект нового Уголовного кодекса — расстрела нет, самый большой срок пять лет; на приеме какой-то делегации иностранных рабочих Вождь сказал: «Мы можем дать такую амнистию, которую еще мир не видал»; на Колыме второй уж месяц работает правительственная комиссия по пересмотру. Только бы скорее попасть туда, а там уж... и менялись адресами, и звали друг друга в гости, и назначали встречи. «Через год — дома», — говорили они.

И только начальник пересылки, старая осторожная крыса, работавший в тюрьме с начала века, знал и сказал прокурору, что через год из них останется половина, через два года четверть и только, может быть, один из десяти дотянет до свободы.

(Их осталось четверо из сотни, и, встречаясь, они удивлялись, что их столько уцелело! «Нет, есть, есть Бог», — говорили они.)

— Именно,— сказал Нейман,— именно картина, достойная Айвазовского! Так вот, Аркадий Альфредович, с теми данными, что мы имеем, я бы Зыбина никогда не стал брать. Я бы ждал. Это фигура с горизонтами, за ним многое что ходит. Пускать его сейчас по делячке, да еще через ОСО,— это просто преступление. Я так работать не привык. И вот видите, приходится. Да, да, оперотдел подвел.

— А золото? — поддразнил прокурор.

— Что? Зо-ло-то? — как будто удивился Нейман. — Так для золота и требуется зо-ло-то, уважаемый Аркадий Альфредович! Это вам не разговорчики, а благородный металл! Вот сейчас, если он мне пришлет полное признание, я изорву и брошу в корзину. А его пошлю в карцер. Потому что это значит, что опять что-то надумал подлец. Нет, из этого, видно, уж ничего не извлечешь! ОСО! Конечно, если бы мне разрешили санкции... Но вы ведь не разрешите? — спросил он в упор.

Мячин слегка передернул плечами.

— Я? Нет! Я просто не имею права на это. Вы же знаете директиву! Просите свое начальство, он может. Вот ведь... — Он полез за чем-то в портфель.

— Не надо, — с отвращением отмахнулся Нейман. — «С ответственностью! Как исключение! В оправданных случаях! В соответствующих обстоятельствах! К бешеным агентам буржуазии! К смертельным врагам!» — После каждого восклицания он скидывал ладонь. — А Зыбин проходит как болтун, а не как бешеный пес!

— А если так, по-домашнему? Закрывать глаза на все, — улыбнулся прокурор, — вызвать двух практикантов поздравить да часа в два ночи и поговорить с ним, а? — Было непонятно, говорит ли он всерьез или опять поддразнивает.

— Да, — грубо усмехнулся Нейман, — как раз! И закатит он мне хорошую голодовку и будет держать ее с полмесяца. А врачи, которые будут кормить его через задницу, подадут на меня рапорт. И вы тоже напишете: «Без всяких разумных на то оснований майор Нейман усложнил следствие. Профессиональная беспомощность майора привела к тому, что...» Это же ваш стиль! И получу я по вашей милости хо-о-роший выговор. А если он сдохнет, тогда что?

Прокурор засмеялся.

— Еще вам и этого бояться! — сказал он. — При ваших-то... — Он нарочно не окончил.

— Во-во! — подхватил азартно Нейман. — Во-во! Вот это самое и есть! За это самое вы меня все и ненавидите...

— Ну! Я вас ненавижу, — снова улыбнулся прокурор и сделал движение встать. Нет, он, конечно, не ненавидел этого Неймана, это не то слово, просто Нейман, этот мясник с лицом младенца, ему был физически противен, но сейчас он еще и недоумевал: в первый раз он видел, чтоб Нейман отступал перед своей жертвой. И под каким еще дурацким предлогом! Закатит ему этот болван голодовку! Придется его кормить! А вдруг сдохнет? Действительно, нашел, кому дурить голову! Да пусть все они задыхают! Первый раз, что ли, майору Нейману вбивать человека в гроб! И вдруг его как кольнуло. Глядя в голубые загадочные глаза Неймана, этого брата своего брата, он остро подумал: «А ведь это, пожалуй, неспроста! Верно, что-то такое случилось в Москве, чего никто еще не знает. Может быть, спущены новые установки? Может быть, Вождь что-то изрек? Или кто-то из руководящих проштрафился? Уже было однажды такое!»

Приподнявшись, он неуверенно смотрел на Неймана, не зная, что сказать или сделать. И тут звонил телефон. Нейман хмуро снял трубку, послушал и вдруг заулыбался.

— А, доброе утро, доброе утро, дорогая, — сказал он очень по-доброму. — То есть те, которые работающие, те уж давно отобедали, а всякие бездельницы да мамыны дочки... Да, представь себе, уже два часа. Ну как нога-то? А кто у тебя был? Так и сказал? Ну слава Богу! А теперь вот подумай: что, если бы ты трахнулась не колленкой, а головой. Ну да тебе на все наплевать, а вот что бы я моей дражайшей сестре стал бы говорить? Ну вот то-то и оно-то! Теперь возьми карандаш, запиши: Анатолий Франс, «Жизнь Жанны д'Арк». Знаю, что нет. Позвони в библиотеку. Если и у них нет, пусть от мое-

го имени закажут в Публичной. Да, очень надо! Слушай, да не будь ты уж чрезмерно-то догадливой! У нас был один чрезмерно догадливый, так ему потом родственники посылки посылали. Да, вот так. Буду как обычно. Лежи смиренно и никого не приглашай. Отлично! Исполняйте!

Он повесил трубку и поглядел на прокурора. Лицо его было теперь ласковым и простым. А глаза, как глаза у всякого пожилого, потрепанного жизнью человека, — усталые и с прожельтью.

— Вот какая она у меня, — похвалился он, — лед и пламень!

— А что это у нее с ногой? — поинтересовался Мячин.

— Да сумасшедшая же, дура! — выругался Нейман нежно и восторженно. — Поехала на моем велосипеде ночью провожать подругу, ну и шарханулась в темноте о столб. Когда подруга позвонила мне и я примчался, у нее на месте колени была пачка подмокшего киселя, меня даже замутило, не переносу кровь! Видеть не могу! А она смеется! Что же, видно, родовое, отец — грузин. Тамара Георгиевна Долидзе — как? Звучит?

— Звучит, — улыбнулся Мячин, удивленно приглядываясь к Нейману, таким он его еще не видел.

— Но и наша кровь тоже есть в девчонке! Мой дед был кантонистом, а отец...

Снова зазвонил телефон, теперь вертушка. Нейман снял трубку и сразу погрузнел и потяжелел.

— Да, — сказал он скучным голосом, — майор Нейман вас слушает. Да, слушаю вас, Петр Ильич. Так точно! Так Аркадий Альфредович как раз сейчас у меня. Да вот сидим, разговариваем о жизни. Слушаюсь. Ждем. — Он положил трубку. — Сейчас полковник придет, какие-то вопросы у него к вам.

Он плотно уселся в кресле, вынул трубку, набил и закурил.

— Ух! Хорошо! — сказал он.

### Глава III

— Ну, привет громадянам, — сказал Гуляев, входя. — Привет, привет!

Был он низкорослый, тщедушный, мальчишистый (его дразнили хорьком), в огромных роговых очках. Когда он снимал их, то становились видны его неожиданно маленькие, постоянно моргающие и воспаленные глазки. И тогда все его лицо теряло свою зловещую и таинственную значительность. Мужик как мужик.

— Куда же ты это пропадаешь, прокурор? — продолжал он, проходя к столу. — В прокуратуру звоню, говорят — ушел в наркомат, звоню в прокурорскую комнату, говорят — был, да весь вышел. Так куда же ты это все выходишь, а?

— Да вот видишь куда, — хмуро усмехнулся Мячин, — сидим уже час, вентилируем твоего Зыбина.

— А что такое?

— Ноту он нам прислал, — объяснил Нейман.

— Ноту? Ну это он умеет, — равнодушно согласился Гуляев, ожидая, пока Нейман встанет и уступит ему свое место, — этому-то мы его обучили! — Он сел, вынул блокнот и положил его перед собой. — «Полина Юрьевна Потоцкая, — прочитал он, — сотрудница Ветзооинститута» — говорит вам это что-нибудь?

— Мне даже очень много, — усмехнулся Нейман, — коронная свидетельница Хрипушина. Его от нее чуть удар не хватил. Ну как же? Вызвал ее повесткой на дом — не явилась! Оказывается, дома не было, а повестку подруга приняла. Тогда вручили на службе лично — и олять не явилась! В институте нет, дома тоже. Только через три дня узнали: попала в больницу. У нее там какой-то привычный вывих, вот и обморозилась в горах.

— Так что ж, так и не допросили? — удивился Гуляев.

— Ну почему же нет! Допросили! — Голос Неймана иронически подрагивал. — Да еще как! Десять листов с обеих сторон они с Хрипушиным на пару исписали. Потом еще пять прибавили. Принес он их мне. Я прочел и говорю ему: «Ну вот, теперь все это, значит, чистенько перепечатайте, сколите и отошлите в «Огонек», чтоб там печатали с картинками. Гонорар пополам».

— И что там, так ни одного дельного слова и нет? — засмеялся Мячин.

— Ну как нет! Там пятнадцать страниц этих слов. Целый роман! Море. Ночь. Луна. Он. Она. Памятник какой-то немислимый, краб величины необычайной. Они его с Зыбиным под кровать ему засунули, потом вынули, в море отпустили. Вот такой протокольчик! А не хочешь, говорю, посылать его в журнал, тогда тащи-ка его в сортир. Так сказать, по прямому его назначению. Ну а что вы о ней вспомнили?

— Так вот, звонит она мне. Просит принять. — На минуту Гуляев задумался. — Ну так что ж, может, тогда и отослать ее к Хрипушину? Или вы с ней сами поговорите? — Он взглянул на Неймана.

— Ну нет! Пусть она идет к своей бабушке, — серьезно сказал тот, — может, вот Аркадий Альфредович захочет ее увидеть. Вот ведь! — Он прошел к столу, достал из него папку, из папки черный конверт с фотографиями, выбрал одну из них и подал Мячину. — Взгляните-ка! Как?

— Да-а, — сказал Мячин, вертя фотографию в руках, и вздохнул. — Да-а, — он протянул фото Гуляеву, — посмотри!

— «Люблю сердечно, дарю навечно», — прочел Гуляев. — Да что это она? Такая барыня, и вдруг...

— А это юмор у них такой особый, — зло ухмыльнулся Нейман. Он был раздражен и взвинчен, хотя и старался не показать этого. — Для нас, дураков, конечно. И он ей тоже — «Во первых строках моего письма, любезная наша Полина, спешу вам сообщить...» или: «К сему Зыбин». Остряки-самоучки, мать их так!

— А прическа-то, прическа, — сказал Гуляев.

— А наимоднейшая! Как у звезд! У этой прически даже особое название есть. Путти? Мутти? Лили? Пути? Аркадий Альфредович, не слышали?

— Нет, не слышал, — сказал серьезно прокурор и отобрал у Гуляева карточку, — у Лилиан Путти не прическа, а стрижка, и очень низкая, вроде нашей польки. А она тут под Глорию Свенсон. Такие прически года три тому назад были очень модными.

— В самом деле? — Гуляев взглянул на прокурора (тот все рассматривал фото) и снял трубку. — Миля, — сказал он, — тут сейчас будет звонить опять Потоцкая, так я у Якова Абрамовича в триста пятидесятой — ведите ее сюда. А вообще меня нет. — Он положил трубку и прищурился. — Аркадий Альфредович, — сказал он деловито, — вот мы в прошлом году отмечали твои именины. Это сколько же тебе исполнилось?

— Тридцать тли, — недовольно ответил прокурор и отдал карточку Нейману.

— Точно, точно! Тридцать три плюс пятнадцать! И ты все еще о каких-то футти-нутти думаешь? Вот что значит отец — присяжный поверенный! А ты взгляни на майора! Ему этих пути... на дух не нужно! А ведь не нам с тобой, старичкам, чета, молодой, здоровый, румянец во всю щеку! А ты его когда-нибудь с женщиной видел? Он — как это в стихах пишется? — анахорет!

— А может, я у себя оргии устраиваю, — неприятно скривился Нейман.

— Да сразу видно, что устраиваете! Вот ты, прокурор, все по этим путти, кутти, ножки гнути стреляешь, а он знаешь чье сердце по-

корил? Марья Саввишны, то-варища Кашириной! Управляющей нашими домами! Ну ты ее знаешь — Екатерина Великая! В буклях! Ее ни одна пила не берет. Дочку развела и мужа ее посадила. А когда она о Якове Абрамовиче говорит, у нее голос, как у перепелочки, — то-о-ненький! «Ну чистота! Ну порядок! Взглянуть любо-дорого! Взойдешь — и не ушел бы. И воздух свежий! Все фортки настезь! И порядок! Порядок! Как у барышни! И у каждой вещи свое место. Все сразу отыщешь». Вот как об нашем о Якове Абрамовиче наш рабочий класс отзывается. О нас черта с два так скажет. Что ж? Анахорет!

— Да,— сказал прокурор рассеянно,— это очень, очень...

— Но знаете, чем вы ее больше всего купили, Яков Абрамович,— обернулся за Нейману Гуляев.— Своими монетками! Такая, говорит, у них красота, такая научность! Все монетки в особой витрине, ровно часики в еврейской мастерской. И все одна к одной! Серебряшечки к серебряшечкам, медяшечки к медяшечкам, а золотые, ну, те уж, конечно, в отдельной коробке, в сундуке. Они не показываются, а есть, есть! Я такой красоты, говорит, даже у купцов Юховых не видала, когда с ними по ярмаркам ездила.

Пропадал, пропадал в полковнике Гуляеве незаурядный характерный актер. Недаром говорили, что мальчишкой он пел в архиерейском хоре. До последнего года он даже активно участвовал в драмкружке, которым руководил заслуженный артист республики — добродушный пухлячок, вечно подшафе, но обязательно жаждущий самых-самых распоследних ста грамм. С ним Гуляев дружил и провел его сначала в агентуру, а потом в заслуженные. Нейман знал об этом, потому что после последней стопки, когда его вели уже домой, заслуженный внезапно садился на тумбу, начинал плакать и говорил, что он пропал, абсолютно и безусловно, потому что... И очень драматично рассказывал почему. Но обязанности свои при этом выполнял аккуратно, был на хорошем счету и, кажется, даже поощрялся. Эту историю Нейман держал еще про запас.

— Пойдите,— спросил Мячин ошалело,— да вы что? Нумизмат, что ли?

Он был в самом деле не только огорошен, но даже и огорчен. В их домах собирали всякое: открытки, голыши из Ялты и Коктебеля, фарфор с Арбата, мебель со всяких распродаж. У его предшественника в спальне над кроватью висел даже ящик с африканскими бабочками, а в столовой на особом столике блистала и переливалась голубым и розовым перламутром горка колибри (мир праху вашего хозяина, птички!). Все это было в порядке вещей, но чтоб какой-нибудь следователь занимался нумизматикой! Да еще такой следователь, толстый местечковый пошлячок и ловчила, в этом для сына столичного приносящего доверие, старого московского интеллигента, было что-то почти оскорбительное. Но, впрочем, если подумать, то и это норма! Мало ли археологов и историков провалились в землю через полы тихих кабинетов пятого этажа! А дальше все уже было проще простого: сначала «и с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества», затем «столько-то килограмм белого и желтого металла по цене рубль килограмм».

— И много у вас монет? — спросил прокурор.

— А ты знаешь, что у него есть? — воскликнул Гуляев.— Рубль Александра Македонского! На одной стороне он в профиль, а на другой конница! Нет, ты представь себе, сам Александр Благословенный две тысячи лет тому назад этот рубль или дубль держал в руках! Да за него любой музей мира сейчас отвалит десять тысяч золотом!

— И давно вы их собираете? — спросил Мячин.

— Да занимался когда-то,— небрежно махнул рукой Нейман.

Рука у него была толстая, с пухлыми пальцами, перетянута у запястья красной ниточкой (он отлично понимал чувства прокурора, и они попросту забавляли его).

— Я даже, если хотите знать, — продолжал он, — два года ходил на семинар профессора Массона. — Он усмехнулся. — «Дела давно минувших дней»!

— А вот мы заставим показать нам их, — жизнерадостно крикнул Гуляев. — А правда, Яков Абрамович, а что бы вам не пригласить нас к себе? Ведь сейчас и хозяйка у вас имеется! Прокурор, ты не знаком с племянницей Якова Абрамовича? Ну! Сразу всех пути-кути забудешь! Вот только прячет он ее от нас. Ну ничего, ничего, поступит к нам работать, тогда уж мы...

— Да нет, товарищи, что вы, что вы, — запротестовал Нейман, — я и сам думаю, как бы ее ввести в наш тесный круг, да вот видите, какая беда-то, лежит она!

— Да, а врач был? — спросил Гуляев. — Может, ее госпитализировать?

И все трое вздрогнули. Это было очень страшное слово. Почти каждый день приходилось кого-то госпитализировать; вчера госпитализировали директора элеватора с отбитыми легкими, позавчера свезли двоих: у одного были раздавлены пальцы, у другого случилось внутреннее кровоизлияние. Это часто бывает от удара сапога.

— Да нет, какая там госпитализация, — поморщился Нейман, — ненавидит она всякие больницы, совершенно безумная девка!

— Ну, ну, — улыбнулся Гуляев, — не надо на нее так! Очень славная девочка, умница, тонкая душа! Из нее получится настоящий следователь. Это, наверно, у вас наследственное, Яков Абрамович! Вы знаете, что она мне сказала, когда побывала на допросе вашего Зыбина? «По-моему, у вас с Хрипушиным ничего не получится, товарищ полковник, надо идти иным путем. Ищите женщину!» Поняли, что она хотела сказать? Нет? А я вот сразу понял! Надо следовательницу! А? Что скажете? Во всяком случае, какая-то творческая мысль в этом есть? Может, попробуем?

Наступила короткая тишина.

— А вы знаете — верно! — воскликнул вдруг прокурор и ударил кулаком по спинке кресла. — Вообще-то я не верю в этих молодых следовательниц, двадцатипятилетних прокурорш и оперативниц. Старухи — другое дело. — Он хохотнул. — Вы знаете, что выкинул Пуришкевич в тысяча девятьсот двенадцатом году? Какой-то дамский журнал прислал ему анкету о женском труде, и он написал крупными буквами поперек нее: «Их труд — когда их трут». А? Голова, сукин сын! Но точно, работники они никудышные. Сначала крутят без толку, потом рубят, тоже без толку. Раз его в карцер! Два его в карцер! Три его в карцер! Он сидит, а время идет. И следствие, конечно, стоит, и получается чепуха. Надо снимать. Их снимаешь, а они плачут. Но в данном случае я, пожалуй, согласен. Можно бы было попробовать и следовательницу. Можно бы! Но тут у меня возникает вот какой вопрос, с ним я и пришел к вам, — повернулся он к Нейману. — Чего мы от него, собственно говоря, добиваемся? Три дня тому назад я с ним говорил в присутствии зам. начальника тюрьмы, и у меня создалось вполне определенное впечатление. Конечно, он лжет, вертится, чего-то не договаривает, что-то скрывает. Вообще личность грязная, болтун, пьяница, антисоветчик, все это так. Но это и все, товарищи. А дальше пустота. Так стоит ли мудрить? Тем более что вы сами мне сказали, Яков Абрамович, что из-за одного десятого пункта вы бы с ним сейчас связываться не стали. Так для чего нам тогда менять следователя? Что это может дать конкретно? Та же болтовня, то есть десятый пункт! Правда, не через ОСО, а через суд. Конечно, это более желательный исход, но, право же, Яков Абрамович, стоит ли из-за одного этого...

— Нет, нет, Аркадий Альфредович,— энергично замотал головой Нейман,— совсем не из-за одного этого. Я же все время вам повтoряю: не из-за этого. Зыбин — птица крупная. Он не болтун, он деятель, а болтает он, может, так, для сокрытия всего остального. И деятельность свою он начал рано. Вот это дело с изнасилованием студентки...

— Извините, как вы сказали? — встрепенулся прокурор.— Я ведь ничего не знаю.

— Да не можем, не можем мы ему это предъявлять,— ворчливо сказал Гуляев. Он терпеть не мог ни такие разговоры, ни бессильные потуги навязать что-то лишнее.— Он вообще тут с боку припека: заступился за товарища, и все. Его тогда же отпустили. Что об этом попусту говорить?! И дела у нас этого нету, одни выписки.

— Разрешите не согласиться, товарищ полковник,— упрямо и скромно наклонил голову Нейман,— конечно, сейчас уж ему ничего не предъявишь, это безусловно так, но я думаю, что именно с этого началась его карьера. Было собрание, выступил Зыбин и весьма квалифицированно сумел повести за собой весь коллектив. В результате полетела резолюция, подготовленная райкомом партии. Я думаю, что это все совсем не случайно. Тут работала целая группа. Один выступал, другие поддерживали. Но дело в конце концов даже не в этом. Дело в вопросе: что его сюда привело? Ведь Алма-Ата — край ссыльных. Половина его товарищей очутились либо в Сибири, либо тут. Кого же он из них тут искал? И если искал, то, конечно, и нашел, так? На этот вопрос опять-таки ответа нет. Но вот посмотрите.— Он взял конверт и встряхнул его над столом. Выпало несколько фотографий. Он выбрал из них пару.— Вот одна интересная деталь. Он перед фасадом какого-то дома стоит, прижимает к груди какую-то книгу. Фотография как фотография, но знаете, что это за дом? Это улица Красина, номер семьдесят четыре. Госархив.

Прокурор взял снимок, мельком взглянул на него и положил.

— Ну и что? — спросил он.

— А то, что этот дом известен всему миру как дом Льва Давыдовича Троцкого. Здесь он жил во время ссылки в двадцать девятом году, тут был его штаб, сюда собиралась его агентура, из этого дома его и выпроводили за границу. Так вот Зыбин стоит около бывших апартаментов врага народа и прижимает к груди какую-то книгу. Формат ее как будто точно соответствует тому из собрания сочинений Л. Троцкого. Я справлялся: такое выходило в двадцать третьем году. А посмотрите, как встал, апостол же с Евангелием!

— Любопытно,— сказал прокурор и опять покосился на Гуляева, но тот по-прежнему смотрел в окно, курил и скучал.— Очень, очень даже здорово! Но в облсуд такую фотографию представить нельзя — не примет! — Он положил снимок и снова взял карточку Потоцкой.— Не сочтет облсуд это за вещественную улику,— продолжал он, рассматривая карточку.— Работал человек в архиве и снялся возле. А в доме этом не один архив — я его знаю,— там еще и Союз писателей, так что там много кто фотографировался.

— А книга? — спросил Нейман.

— А что книга? Он скажет: «Это сочинения Пушкина, том третий, а года издания не помню», — вот и все.

— А ОСО и спрашивать ничего не будет,— решительно сказал Гуляев и повернулся от окна,— так что посылаем в ОСО, и конец. Ну а в бумагах-то его вы ничего не обнаружили? Там он много их что-то исписал. И письма есть. Правда, почерк... Курица лапой водила. Так что, ничего там нет?

— Да как сказать,— пожал плечами Нейман,— чтоб явного, так опять ничего, а любопытного много. Ну вот, например, выписки из сочинения Карла Маркса «18 брюмера Бонапарта». Не из самого сочинения, а из предисловия.

— Ага,— оживился Гуляев.— Чье предисловие?

— Да нет, Энгельса,— поморщился Нейман,— так что ничего мы тут... но вот выписки интересные. Сделанные со значением. Выписано место, где Энгельс отказывается от революционных мер борьбы. Зачем нам идти на баррикады, когда мы можем просто голосовать и собирать большинство? Пускай уж тогда буржуазия идет на баррикады. В общем, идея желтых профсоюзов.

— Ну, положим, не желтых профсоюзов,— строго поглядел на него Гуляев,— а Фридриха Энгельса, так что не мешайте божий дар с яичницей.

— Во-во-во! — фыркнул Нейман.— Он мне примерно так и отрезал. Готовился к политзанятию и выписывал тезисы.

— Логично, очень логично,— улыбнулся Мячин.

— Еще бы не логично! Я говорю, крупная птица! И была у него какая-то цель, а может быть, даже и задание! Определенно была! Вот вы его спрашивали, Аркадий Альфредович, зачем он на Или поехал? Что же он вам сказал? Ничего он вам не сказал! Но ведь ездил же! Ездил! Да и как! Вдруг его словно кольнуло. Утром в воскресенье неожиданно собирается, берет водки, закуски, сговаривается с девушкой и едет на товарняке. Зачем?

— Ну там, пожалуй, все ясно,— усмехнулся Гуляев,— водка, закуска, девка, воскресенье! Нет, это понятно!

— Ну вот так он и режет. Люблю выпить по холодку. Река течет, людей нет, девочка под боком, выпил, закусил, спрятал «железный звон свой в мягкое, в женское», и порядок.

Все засмеялись.

— Тут даже у него и психология есть,— сказал прокурор.

— Извиняюсь,— покачал головой Нейман,— но вот психология-то его как раз тут и подводит. Ведь если бы он хоть неделю, хоть три дня назад до того поехал, тогда и спрашивать, конечно, было нечего. Но ведь тут что получается? Приезжает эта самая Полина, его давнишняя любовь, он сам не свой: ждет ее, готовится, убивается, что вот никак они не встретятся. Он и в камере все время бредит ею. То они с ней купаются, то на гору лезут, то под гору, то он ее на руках куда-то тащит. Хорошо. Сговариваются на вечер воскресенья, и вот он утром в воскресенье забирает секретаршу и дует с ней куда-то к черту на рога — на Или, в колхоз «Первое мая». Зачем? Неизвестно.

— Да,— сказал прокурор задумчиво.— Да, я спрашивал, он молчит.

— Вот он молчит! — возбужденно воскликнул Нейман.— Он и будет молчать — не дурак! А вы знаете, что там за места! Я специально ездил! Это два часа от города. Голая пустая степь, скалы и река. Ни одной души. И так до самого Китая. А по берегу километров на сорок рыбацкие землянки. Ловят маринку. И кто там рыбак, а кто просто так, ни один дьявол не знает. Ни паспортов, ни прописки, ни участкового — ничего нет. А сведенья нам попадают: там и раскулаченные, и беглые, и даже, может, перебежчики из Китая, и черт знает кто еще.

— Ловили? — спросил прокурор.

— Да всякую шпану ловили, а крупная рыба, конечно, уходила сразу же. Ведь туда незаметно не подойдешь, все пусто — степь! За десять верст человека видно. А ночью они, конечно, свои посты расставляют. Так вот зачем он туда сунулся? Да еще с водкой? С девкой? Узнала бы его любовь про девку, что было бы? А?

— Да,— сказал прокурор,— действительно, тут что-то не так. А вы этой Полине ничего не говорили? А то ведь бабья ревность в наших делах — великая сила. Если ее умело использовать.

— Ой,— покачал головой Нейман,— разве же их проймешь? Я вот велел Хрипушину сказать ему: «Будешь молчать, мы ее посадим!» Порядочный человек, конечно, призадумался сы: а вдруг прав-

да! Так эта сволочь к Хрипушину чуть не на шею: «Правильно! Посадить! Пусть сидит, меня дожидается! А то я тут, а она там будет с кем-то гулять? Какая же это справедливость!»

Гуляев посмотрел на прокурора, и они оба опять рассмеялись.

— Силен бродяга,— сказал прокурор с удовольствием.

— И она так же отвечает — я ей про Или и с кем его захватили, а она мне: «Ну вот видите, товарищ следователь, я же сразу вам сказала, что у нас были чисто товарищеские отношения и не больше. Он и там меня знакомил со своими приятельницами». Вот и весь ее ответ.

— Да! Так когда же ваша племянница встанет? — вдруг спросил Гуляев. — С неделю еще пролежит? Вот когда встанет, мы ей это дело и поручим, как вы думаете, Аркадий Альфредович?

— А не получится первый блин комом? — осторожно спросил прокурор. — Ведь хотя тут, кроме десятого пункта, пока ничего не собрали, но вот сейчас я соглашаюсь с Яковом Абрамовичем: это дичь крупная, она требует особого подхода. Деликатного. Выпускница может и не справиться.

— Хм, выпускница! — усмехнулся Гуляев. — Допотопное у тебя представление о нашей молодежи, прокурор! Яков Абрамович, а ну в двух словах расскажите нам про то краснодарское дело. За что Тамара Георгиевна получила благодарность от начальника управления. Она ведь, прокурор, целую отлично законспирированную антисоветскую организацию открыла. Что, неужели не слышал? А ну, Яков Абрамович, просветите прокурора.

— Да вы, наверно, слышали,— поморщился Нейман. — Сначала задержали в станице старуху шинкарку. Ну, конечно, самогон, там все его гонят. Шестьдесят восемь лет ей, ни одного зуба, кривая, косяя, не слышит, ходит еле-еле, хотели уже выгонять, да спохватились. Как так: и самогон гонит и шинкарствует, а живет на одном хлебе и молоке — и денег нет. Где они? Начали спрашивать — ревет, и все: «Да сыны вы мои! Да деточки вы мои милые! Ничего у меня нет! Где хотите, там и смотрите. Только на похороны и накопила себе малость». «Да где они? Покажи, мы не возьмем, только посмотрим!» «Ой, сыночки мои, нету их у меня, нету! Сын приезжал, отдала на сохранение». А сын зимовщиком где-то. Далеко-далеко! «Была у меня бумажка, сколько дала, да затеряла, видно, а то все за иконой лежала!» Ну и совсем решили уже выгонять. И дали моей племяннице оформить окончание дела. Так она бабку вызвала, с утра до полуночи просидела и все до точки выявила. Оказывается, десять лет в районе под самым носом властей работала организация «Лепта вдовицы». Не только старые станичники, но и их дети, невестки, внуки отчисляли по пять процентов со всех доходов, и шло это на помощь осужденным попам и религиозникам. Работали так, что любо-дорого. Бабка эта в агентах состояла. А был еще казначей, экспедиторы, даже счетовод. Посылали посылки, передачи делали, вызывали родственников на свиданья и дорогу оплачивали. Нанимали защитников, чтоб те подавали кассационные. А самое главное — в нескольких случаях даже переквалифицировали статьи и снижали срок до фактически отбытого. Вот какие чудеса творились у нас за спиной. Вот тебе и наша бдительность!

— Действительно черт знает что! — возмутился прокурор. — Ну и чем это все кончилось?

— Очень хорошо кончилось,— гордо воскликнул Нейман,— трем по десятке, четверем по пяти, двенадцать человек на высылку, адвокатам-голубчикам всем по пяти Колымы. Один не доехал: урки в дороге придушили. Вот что девчонка сделала! А мы сидели, слюни распускали!

— Да, внушительно, внушительно,— согласился прокурор,— молодец девчонка. А бабке что?

— Да бабку на другой день после этого допроса пришлось гос-

питализировать. Нет, нет, ничего такого, просто сердце, и кажется, что с концами: в приговоре не числится. Да и, собственно говоря, она уже была не нужна.

— Да, что хорошо, то хорошо, ничего уж тут не скажешь, молодец, молодец,— повторил прокурор.— Ну что ж,— обернулся он к Гуляеву,— по-моему, давайте попробуем!

В дверь постучали.

— Ага, пришла,— встал с места Гуляев,— значит, так. Начинаю разговор я, передаю его тебе как представителю надзора, товарищ Нейман нам помогает.

Он собрал со стола фотографии, засунул их в конверт и крикнул:

— Войдите!

Вошла секретарша, а за ней та, чью фотографию они только что все трое рассматривали и критиковали.

И пахло духами.

Однако на звезду она не походила. И прическа у нее была не такая, как у Глории Свенсон, и ресницы не были длинными, и даже губ она не накрасила. Так что, конечно, не Глория Свенсон, а может быть, даже героиня фильма о советских женщинах. Она вошла и остановилась на пороге.

— Здравствуйте,— сказала она.

— Здравствуйте, здравствуйте, Полина Юрьевна,— гостеприимно и просто ответил ей Гуляев,— проходите, пожалуйста, садитесь. Вот в это кресло. Итак, какая нужда вас к нам занесла?

— Я пришла поговорить,— сказала она.

— Ага! Отлично! Поговорим! О чем?

— Меня вызывали по делу Зыбина!

— Ага, значит, с Яковом Абрамовичем вы знакомы. Я начальник отдела, моя фамилия Гуляев Петр Ильич, а это облпрокурор по спецделам. Все налицо. Так что, если есть у вас какие вопросы и неясности... Это что у вас? Заявление? Давайте-ка его сюда!

Он взял бумагу и погрузился в чтение. Читал он внимательно, взял красный карандаш и что-то длинно подчеркнул в тексте.

— Так,— сказал он,— понятно! — И протянул бумагу Нейману.— Но ведь такие справки, Полина Юрьевна, мы на руки не выдаем. Пусть нас официально запросят — мы ответим. Вас что, кто-нибудь направил сюда?

— Нет, я сама пришла,— ответила она.

— Сама! Тогда совсем непонятно, зачем вам понадобилась такая справка? Вы специалист, советская гражданка, читаете лекции студентам. Так что кто у вас может потребовать? Совершенно непонятно! Нейман прочел заявление и молча отдал его Гуляеву.

— Разрешите, я поинтересуюсь? — перехватил его руку прокурор.

Он быстро пробежал листок и засмеялся.

— Вот где сидят-то настоящие остряки-самоучки! — сказал он Нейману.— Да шлите вы их всех, Полина Юрьевна, подальше со всяким их сомнением и вопросами! Обыватели, и все!

— Да нет, они ни при чем,— сказала Потоцкая,— просто когда в ректорат пришел ваш работник и стал про меня расспрашивать, то по институту загуляли всякие слухи. Это же понятно. Когда ваши органы интересуются человеком, все становится очень непросто.

— Когда наши органы интересуются человеком, Полина Юрьевна,— объяснил Нейман,— то они поступают очень просто: просят его прийти для разговора в определенное время. И тогда этому человеку лучше всего и проще всего так и сделать и явиться в назначенный час. Вы, конечно, Полина Юрьевна, очень интересная женщина, но, простите, следствию до этого никакого дела нет: в данном случае мы интересовались не вами, а вашим добрым знакомым Зыбиным. Для

этого мы вас так упорно и звали. Послали две повестки. Впрочем, вы сказали правду, при первом же разговоре выяснилось, что отлично можно было бы вас и не беспокоить.

— Что так? — удивился Гуляев.

— Да вот не пожелала нам помочь Полина Юрьевна, никак не пожелала, — вздохнул Нейман.

— Ну зачем же так, Полина Юрьевна? — укоризненно покачал головой Гуляев. — Следствию нужно всемерно помогать. Зачем же что-то скрывать? Чем скорее мы выясним правду, тем всем нам будет лучше.

— Все, что я могла сказать, я сказала, — ответила посетительница.

— Ну если так, то, значит, вы многое еще не можете нам сказать, Полина Юрьевна, — мягко и зло улыбнулся Нейман.

— Ну так что же, было что-то выяснено или нет? — нахмурился Гуляев.

— Да вот, пожалуйста, могу продемонстрировать. Все под руками. — Нейман встал, вынул из стола папку с документами и стоя стал их перебирать. — Вот первая встреча. Вот вторая. Прогулка — одна, вторая, третья. Разговоры о живописи, К современному монументальному искусству он равнодушен, она — нет. Вот они купались. Вот они в ресторане сидят втроем. Вот опять-таки втроем они — третий какой-то отдыхающий — гуляют всю ночь со студенческой компанией. Разжигают костры. Вот вдвоем полезли на гору, там старое, заброшенное кладбище. Ангел какой-то там неимоверный мраморный — это все собственноручные показания. Вот послушайте: «Памятник при луне был прекрасен. Когда пошли обратно, камни сыпались из-под ног, и если бы не сторож с разбитым фонарем...» Страница о стороже. «Он жил в склепе» и т. д. Спустились и пошли домой. Конец. Вот пятнадцать страниц, и все они такие. Словом, то, что могла написать любая случайная знакомая. А у него — что верно, то верно! — их было... было...!

— Да ведь я и есть случайная знакомая, — сказала она и как-то очень хорошо улыбнулась, — я ведь тоже из этого «было... было»!

Она сидела совершенно свободно, даже руки вот положила на поручни кресла и говорила так, как будто совсем не на площади Дзержинского, не в кабинете триста пятидесятом происходил этот разговор, а просто забежала она на минуточку в свой деканат и там ее усадили заполнить анкету. Прокурор смотрел на нее, не скрывая улыбки, — на таких он клевал. Гуляеву было просто скучно. Он участвовал и не участвовал в разговоре. И вдруг Нейман почувствовал дуновение приближающегося бешенства. В такие минуты ему становилось горячо: предметы начинали косо прыгать перед глазами, а голос дрожал и становился мурлыкающим. Он уважал себя за эти минуты гнева, остервенения, ярости, потому что они — хоть они-то! — были настоящими, но сейчас все это было ни к чему, он подавил, проглотил удушье и сказал:

— Ну зачем же так скромничать? Вы случайная курортная знакомая? Ну вы же сами знаете, что это не так! Вспомните-ка!

— Ну, конечно же, не случайная, — ласково подтвердил прокурор и даже чуть ли не подмигнул.

— Ну, если вы говорите о том, что Зыбин помог мне выбраться из очень неприятного положения, — сказала она, — конечно, вероятно, вы правы. Но ведь так же он помог бы и другому.

— А если не секрет, то что за история? — спросил прокурор и поспешно оговорился: — Если, конечно, тут нет ничего интимного...

— Да какое там интимное, — слегка поморщилась Потоцкая, — я купалась, поскользнулась и вывихнула ногу. Было очень больно...

— А, вот в чем дело, — с почтительным пониманием кивнул прокурор.

— Да. И случилось это очень рано. Часов в шесть утра. В это время пляж совершенно пуст — позвать было некого. Я лежала и стояла, наверно, и тут вылез какой-то парень. Подошел ко мне. У меня на платочке лежала всякая мелочь: ну, ручные часы, перламутровый бинокль, сумка. Он схватил это и кинулся бежать. Я стала кричать. И тут откуда-то наперерез ему бросился Зыбин, нагнал его и отобрал. Вот так мы и познакомились.

— Ну я же говорю, иллюстрированный журнал «Огонек», роман с продолжениями,— усмехнулся Нейман,— что говорить! Умеете, умеете подносить события, Полина Юрьевна. А дело-то было так. Когда этот босикант подхватил сумку, Полина Юрьевна, конечно, закричала, а тут где-то шатался с великого перепоя и ждал похмелиться — это он сам нам объяснил — рыцарь Зыбин. Когда он услышал эти крики, он и гаркнул во всю глотку: «Ложь взад!» — а глотка у него луженая, труба. Босикант испугался, кинул сумочку и драпанул, а Зыбин подобрал и чин чином вручил все Полине Юрьевне. Вот так они и познакомились. Говорю все это с его слов и его слогом. История, конечно, чудесная, но нам она вроде бы ни к чему. Так что я велел Хрипушину изложить ее в самом сокращенном варианте.

— Нет, верно, все так и было? — спросил восхищенно Мячин.

— Примерно,— кивнула головой Потоцкая.— Если не вдаваться в некоторые детали. Но вы тоже умеете подать материал, товарищ майор!

— Да уж будьте спокойны! Как-нибудь! — с легкой наглостью ответил Нейман.

— Но, значит, было и еще кое-что? — скромно поинтересовался прокурор.

— Было,— кивнула головой Потоцкая.

— Так вот это как раз «кое-что» нас больше всего и интересует,— сказал Нейман,— но вы как раз этого-то нам и не открыли.

— Ну, может быть, там какие-нибудь деликатные женские подробности,— шутиво нахмурился прокурор.— Вот все вам так уж и выложить! Нельзя!

— Нас женские подробности ни с какого бока не интересуют, товарищ прокурор,— жестко обрезал Нейман, чувствуя, что удушье его захватывает все глубже и глубже. На вопросах он с ним справлялся сразу же: рывкнул, топнул, раз по столу, р-раз по скуле зека, и словно прорвался в горле и груди какой-то давящий пузырь, и начался обычный продуктивный допрос без всяких дурочек.— Нас никакие женские дела абсолютно не интересуют,— продолжал он с тихой яростью,— мы просто просили Полину Юрьевну рассказать нам о политических настроениях Зыбина. Ну хорошо, встречались, купались, гуляли, так что ж, и все это молча? Были же и высказыванья какие-то! Конечно были!

Она ничего не сказала, только как-то особо поглядела на него. И от этого взгляда его снова замутило — он подошел к столику с графином, осторожно налил стакан до краев и так же бесшумно опорожнил его. Но удушье, то единственное в своем роде чувство — что сейчас все сорвется и полетит к черту, что сию минуту он заорет, застучит, заматерится, и разговор будет кончен,— не уходило. Но в то же время он отлично понимал, что ровно ничего не произойдет. Было ли это чувство мгновенной, все перехлестывающей ярости настоящим, или же он сам его придумал и взрастил, то есть и вообще чувство ли это было или профессиональное приспособление, необходимое для его работы,— об этом Нейман никогда не думал и, следовательно, даже и не знал этого.

— И не надо нам говорить, что таких разговоров не было,— сказал он, отставляя стакан,— в наше время каждая колхозница, каждый дед на печи говорят о политике. Будет война или нет? Как с хлебом? Будет ли снижение?

— Так это дед на печи, а не Зыбин.

Он ее сейчас по-настоящему ненавидел! За все: за то, что она сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась разрешением курить и курила так, как в этом кабинете, кажется, еще никто до нее не курил — откинув острый локоть и легко стряхивая пепел в панцирь черепахи — его ей поднес прокурор, — за взгляд, который она бросила на него, за прямую и открытую несовместимость с этой комнатой.

— Да, конечно, Зыбин говорил не как дед на печи, — согласился Нейман, медленно выговаривая слова, — и поэтому, скажем, будет война или нет, его должно было интересоваться.

— Это его, конечно, интересовало, — согласилась она небрежно и, как ему показалось, насмешливо, — я даже помню такой разговор. Мимо нас по дороге шли пионеры и пели «Если завтра война, если завтра в поход», и он послушал и сказал: «Да, точно! Вот мы с вами планы строим, а если, верно, завтра война и завтра в поход? Тогда что?»

— Ну и что тогда? — спросил Нейман.

— Не знаю. Мы заговорили о другом. Слушайте, — взмолилась она вдруг, — да что у нас, других разговоров не было, что ли? Вы гуляли когда-нибудь с интересной женщиной хотя бы в парке Горького? И что, вы с ней о войне тогда разговаривали?

— Нет, меня уж прошу оставить в покое, но вы же сами сказали, — несколько сбился с толку Нейман, потому что прокурор тихонько фыркнул, — сами же сказали, что его интересовали такие вопросы, как...

— Ну правильно, — согласилась она, уже улыбаясь ему как маленькому, — интересовали! Но я-то, наверно, его интересовала еще больше. А о войне у него было с кем поговорить!

— Было?

— Да, было, было! Был у него такой человек, с которым он охотно говорил о войне, о политике и о всем таком...

— А фамилию не помните?

— Почему не помню? Роман Львович Штерн.

Надо сказать, что удар был мастерский. Его даже по-настоящему качнуло. На некоторое время он вообще выбыл из строя, просто сидел и глядел на нее.

— А кто это такой? — спросил он наконец.

— Отдыхающий, — ответила она очень просто.

— Так о чем же они говорили?

Он очень медленно собирался с мыслями, но все-таки собирался.

— Но откуда же я знаю? Его спросите.

В кабинете было тихо. Даже прокурор приутих.

— А как спросить? Вы же не знаете его адреса?

— Почему? Знаю. Пожалуйста. Прокуратура Союза. Следственный отдел. Он его начальник.

— А... — двинулся было Мячин, но его прервал спокойный голос Гуляева:

— А еще он кто, не знаете? Ну этот ваш знакомый по пляжу. Кто он? Ну собеседник Зыбина, ну говорил с ним о политике, ну начальник отдела прокуратуры, а еще кто?

— Писатель? — спросила она неуверенно.

— Правильно! Писатель! Член Союза писателей Советского Союза! А еще кто, знаете? Так вот я вам скажу: еще он брат Якова Абрамовича Неймана, в кабинете которого мы сейчас находимся и который ведет дело вашего знакомого.

Он говорил твердо, сухо, и на какое-то время Потоцкая смешалась и покраснела.

— И все это вы отлично знали, Полина Юрьевна. Поэтому и звонили и вчера и сегодня, что знали. Только это вас и интересовало. А не какие-то там бумажки. И если бы мы не были предупреждены

заранее тем же Романом Львовичем, то действительно могли бы на первое время растеряться и повести себя как-нибудь не так, но мы все отлично знали. Так что вы не поразили нас, Полина Юрьевна, нет, никак не поразили.

— Да я и не собиралась вас поражать,— пролепетала Потоцкая. Она сидела бледная и напряженная.

— Да? — добродушно удивился Гуляев.— Так не надо, не надо нас ничем поражать! Не к чему! Да и к тому же мы очень не любим, когда нас чем-нибудь поражают! Мы ведь сами мастера поражать! Где у вас пропуск? — Он быстро подписал его.— Пожалуйста! Только прошу, если захотите куда-нибудь ехать, то известите, пожалуйста!

Но тут вмешался прокурор — в тот момент, когда была названа фамилия Штерна, он вздрогнул, вытянулся и застыл, просто сделал настоящую охотничью стойку, а потом засопел, задвигался, полез зачем-то в карманы, словом, постарался показать, что он страшно поражен и заинтересован.

— Извините,— сказал он почти заискивающе и поглядел на Потоцкую,— но скажите, как вы могли быть уверены в том, что вас не обманули? Ну мало ли в домах отдыха всяких самозванцев? Ведь удостоверение вы не смотрели? Правда? Так как же вы?..

— Нет, смотрела,— коротко кивнула головой Потоцкая.

— Странно! — пожал плечами Мячин (нарочно, ну конечно нарочно — ничего ему не было странно).— Служебное удостоверение — это такой документ, который... А вы не напутали чего-нибудь, Полина Юрьевна?

— Нет, не напутала. Он же мне сделал предложение.

— К-а-ак? — почти каркнул прокурор и на секунду верно лишился языка.— Да он же женатый человек! Мы же знаем его жену! Нет! Нет!

— Возьмите ваш пропуск,— сказал Гуляев,— вот! До свиданья!

Потоцкая протянула руку, взяла пропуск, встала и пошла к двери.

— Одну секунду,— кинулся к ней прокурор.— Что же вы ему ответили? Нет же, это надо знать,— объяснил он Гуляеву и Нейману.— Так что? — Они оба стояли в дверях.

— Я поблагодарила и сказала, что не могу.

— Потому что в это время... — вдохновенно изрек прокурор.

— Да, потому что в это время мне нравился другой человек, и как раз в этот день я собиралась сказать ему это.

— И это был...

— Да, это был Зыбин.

Гуляев встал, подошел к двери и открыл ее.

— Прошу,— сказал он любезно, но настойчиво,— очень был рад вас увидеть. Вы действительно прояснили нам очень многое. Так справочку я сегодня же вам изготовлю и пришлю. И знаете, если вам потребуется — вполне можете ехать куда хотите! До свиданья. Желаю всего наилучшего, Полина Юрьевна!

#### Глава IV

Нейман от здания наркомата жил недалеко и домой возвращался всегда пешком. Правда, утром ему все равно приходилось забираться в голубой служебный автобус. Автобус этот аккуратно подкатывал к их дому в восемь часов утра — стоял, порывкивал, и в него постепенно собиралось почти все население дома. Дом был наркоматовский, постройки Хозу НКВД (значит, один из лучших в городе), а верхний этаж занимал первый заместитель.

Сейчас, однако, Нейман пошел не как всегда по проспекту, изумительно прямому и правильному, вычертанному лет восемьдесят тому назад взмахом стремительной генеральской руки, а побрел через широкие проходные дворы с саманными избушками, через пыш-

ные багровые сады с мелко полыхающим осинником и барбарисом, по скверу с вялыми, утомленными кленами, сладкими липами и дальше, дальше, мимо глиняных заплотов, плетенок, частоколов и водоразборных сторожек — белые, в этот час они сначала голубели до синевы, а потом синели дочерна. Было часов десять. На углах зажглись фонари, и почти сейчас же и разом в окнах вдруг вспыхнули красные, зеленые и синие занавески. У ворот на лавочках сидели люди, лузгали семечки, смеялись и по-вечернему мирно судачили. Кто-то быстрый, невидимый проскользнул мимо и тихо его поприветствовал, в ответ он слегка пригнул голову. С тех пор как он замечал несколько месяцев начальника одного из оперотделов, такие встречи для него были не редкостью. Он дошел до Головного арыка и остановился. «Так-так,— сказал он вполголоса,— значит, вот эдак». Он любил эти тихие часы, это место и его каменную ледниковую прохладу. Здесь около бетонного мостика кончался город: горел первый загородный фонарь и стояла последняя городская скамейка. Внизу по круглому цементному ложу бесшумно и стремительно неслась с гор снеговая вода. В такие глухие вечерние часы он скидывал со своих плеч, как тяжелую ведомственную шинель, все это серое длинное здание с площадью Дзержинского, со всеми его постами, секретками, кабинетами, нестораемыми шкапами, тюремными камерами, голыми коридорами и бессонными лампами — и оставался простым немудрящим человеком. Ведь он и верно был таким по ограниченности желаний и потребностей, по самой сути своего скучного, бедного существованья. Даже вспышки ярости, которые он теперь испытывал все чаще и чаще, и те, по существу, ничего не меняли. Это было как ракета над заснеженным таежным лагерем. Он видел однажды такие. Она взорвалась, взлетела, побежала, рассыпалась десятками звезд и огненных перьев, пустила по фиолетовому снегу длинные панические тени — все бежит, полыхает, все куда-то рушится, а прошла минута — и снова ничего нет, и только безмолвно летят в сугроб с неба черные картонные трубки.

«Я так же беден, как природа», — прочел он раз в каких-то арестованных и поэтому, очевидно, преступных стихах и рассмеялся. Вот писака-то! Вот чудило мученик! Он беден, как природа! А откуда же все тогда берется?! И пишут вот такую чепуху. Но, наверно, это была все-таки не чепуха, а часть какой-то правды, а может быть, дело даже не в этой правде, а в том, что эти строки имели и какой-то особый, более обширный смысл. Одним словом, как бы там ни было, но в минуты раздумья он всегда про себя повторял эту строку. И сейчас, когда надо было ему идти домой и написать обо всем брату, он несколько раз, словно убеждая самого себя, повторил: «Я просто беден. Я беден, и все тут», потому что домой его никак не тянуло.

В такие тихие сумрачные часы он часто прикидывал, а что случится, если он вдруг сорвется и однажды среди работы встанет из-за стола, оденется и тихонечко-легонечко, никого ни о чем не предупреждая, выйдет и пойдет прямо-прямо до последней городской скамейки. Тут как раз стоят автобусы, он сядет в любой из них: все они идут в горы. Проедет первый мостик, проедет второй, тут кончается предместье, и к шоссе подступают горы — освежает, запахнет снегом, хвоей и землей, — и замелькают станции со странными ласковыми названиями: Веригина Гора, Лесной Питомник, Каменское Плато, Березовая Роща, Горельник — и наконец стоп! Конец пути — Мохнатая Сопка, дом отдыха «Медео». В доме этом всегда шумно, весело, бестолково, толпятся лыжники, инструктора спорта, просто студенты и школьники. Когда автобус подойдет, они все кинутся к нему, зашумят, закричат, загремят котелками и полезут все разом, а он спрыгнет и пройдет через мостик к буфету. Тут у него давнишняя хохлящая знакомая Мариетта Ивановна. Она увидит его и сейчас же заулыбается. Она пышная, белокожая, розовощекая, как тот осенний

георгин, что всегда стоит в хрустале над ее коробками, вазами и бутылками. И он тоже улыбнется ей, потому что соскучился по всему этому и рад, что наконец добрался сюда. Он знает про Мариетту все: то есть то, что она живет с пятилетней дочкой, служит в буфете уж третий год, а мужа нет — не то его забрали, не то он сбежал. И Мариетта знает про него тоже все: то, что он геолог какой-то редкой специальности, раньше работал в своем управлении, теперь же перешел в органы, в отдел охраны недр, поэтому его часто посылают в командировки. Во время одной такой командировки от него ушла жена, не то что уж больно любимая, но все-таки... все-таки... И главное, обидно, что он не заслужил такого! И вот он растерян, огорчен, порой даже тоскует, и тогда он приезжает сюда. Человек он тихий, безвредный, ну а что он еврей — так что ж? Ведь есть жида и есть еврей. В «Медео» он берет только пиво. Выйдет на балкон, выберет столик, сидит тихо, пьет, закусывает бараночкой и смотрит на горы. Разговаривают они тогда через буфетное окно. Она все время приглашает его в гости, а он отшучивается. А в этот раз пошел бы. Заказал бы не пива, а, скажем, фин шампань, потребовал бы шоколадный набор «Москва» и пошел бы с ней. «Ну что ж, — сказал бы он и налил бы пару стопок, — что ж ты тут поделаешь, Мариетта Ивановна? Раз такая уж жизнь у нас. Сегодня день моего рожденья. Выразите мне свои соболезнования и давай поднимем бокалы». И они бы выпили по одной — колом, по другой — соколом, по третьей — мелкой пташечкой.

Дальше этого его воображение не шло, потому что он отлично знал, что даже и это неосуществимо. Попробуй уйди-ка! Войдет секретарша, увидит, что бумаги на столе, а плаща нет, позвонит по одному телефону, по другому, там тоже позвонят куда-нибудь, и начнется кутерьма. Вызовут четырех практикантов, усадят их, жеребцов, по двое на мотоциклы, и одна пара полетит по городу, а другая в горы. Найдут и примчат к Гуляеву. А Гуляев потом скажет: «Ну это не в счет! Вот если бы я удрал в горы...» Но ни Гуляев, ни он, Нейман, никогда никуда не уедут. А он, кроме прочего, парторг отдела, крепкий, опытный работник и подлинный мастер своего дела. Вышинский на каком-то совещании сказал: «Я всегда предпочту пусть уклончивое и частичное, но собственноручно написанное признание любому полному, но написанному рукой следователя». Так вот, все признания, которые Яков Абрамович представлял в прокуратуру и начальству, были только собственноручные. И брат всегда хвалил его за это. А он такие похвалы брата ценил превыше всего. И вообще он любил вспоминать и думать о брате: о его словах, хохмочках, рассказах, о его легкой удачливости, о веселом бодрящем цинизме; но с некоторой пор к этим мыслям стало примешиваться и что-то другое — непонятное и тревожное. Был у них один разговор наедине, когда брат, обычно сдержанный и осторожный — это у него отлично сочеталось с простотой и душой нараспашку, — рассказал об одной встрече на курорте. Он не назвал ни фамилии, ни места, где это произошло, но сегодня, допрашивая Потоцкую, эту неискреннюю и нечестную свидетельницу, Яков Абрамович представил себе, как это все примерно было. Нарочно заводя и растревоживая самого себя, он снова вспомнил, как она сидит в кресле, как курит, далеко отставляя локоток, улыбается, заводит этого олуха царя небесного Мячина, отмалчивается, изворачивается, а когда ей все это надоедает, попросту швыряет им, как говорится, на отмазку голову брата. И тогда уже охотно отвечает на вопросы прокурора. И черт знает до чего бы они договорились, если бы не умница Гуляев. Он сразу поставил все на место.

Эх, брат, брат! Эх ты, дорогой мой Роман Львович, лицо чрезвычайное и полномочное, как же это ты угодил в эдакую поганую лужу! Ведь слушки же пойдут, анекдотики, хохмочки с подковырочками, рассказы на ушко, под самое честное-пречестное! Эх, брат, брат! И

надо же так, чтоб случилось это как нарочно при этом паршивце Мячине! Ты помнишь, как он раз потешал публику? Тогда ты рассказал что-то из своей практики, а он после этого подошел к тебе, взял тебя за локоть и по-голубиному застонал, заиграл белками: «Вот вы рассказывали, а я сидел и думал, почему они это не напишут! Куда же подевались наши советские Чеховы? Вот увижу своего боевого друга Александра Александровича и прямо без всякого якова скажу ему: «Саша! Посади-ка ты, брат, своих маститых на жесткие пайки, пусть порастрясут свои зады и подумают, а то пишут черт знает что!» И он посадит, я его знаю». (С Фадеевым Мячин как будто учился в гимназии и каждое лето гостил у него на даче. «Вот уж мы дрозда тогда задали! Чудо человек! Простой, ясный! Бесконечно его люблю!») А ты ведь тоже, брат, тогда подсмеивался. Вхожий! Авторитетнейший! Второй Чехов! Он ведь тебе и такое поднес — второй Чехов: мол, рассказы о следователях в русской литературе хорошо писали только Чехов да вот вы, Роман Львович, но если уж по совести говорить, то я предпочитаю вас! Чехов писал понаслышке, а вы пишете про пережитое, поэтому у вас все получается жизненно, рельефно, впечатляюще! И ты слушал и улыбался, брат. Так вот посмейся сейчас над собой! А помнишь это дерьмецо, этого лощеного субчика в желтых туфлях-лодочках, с наколочками, писателя, мать его так! «У нашего Ромаши масса наивности и неистраченного природного юмора! Не знаю, как уж ему удалось сохранить эту первозданность при его страшной, тяжелейшей работе, но когда он смеется, то у него, как говорили про Пушкина, все кишки видны!» Так вот покажи-ка им, сукиным детям, кишки! Эту жидконогую дрянь с папирской — в собачник! А прокурора в желтых лодочках так шугани, чтоб он засунул свой поганый язычок куда поглубже. Да уж не сделаешь, не сможешь, попал уж на крючок!

Эх, брат, брат! Хоть не брат ты мне на самом деле, но... Да, братья-то они были, конечно, сомнительные — троюродные, даже четверокорродные, хотя и жили в одном доме. Только брат Роман жил, как тогда почтительно говорили, в «бельэтаже», а он, брат Яков, ютился в полуподвале, и это никого не удивляло: отец Романа был владелец самой большой в уезде мельницы, а отец Якова служил метранпажем в городской газете и безмерно боялся двоюродного или троюродного брата! «О, это аидише копф,— говорил он чуть не с суевренным страхом, прикладывая ко лбу изуродованный прессом, похожий на кривой корень палец,— это же голова!» Когда брату Роману исполнилось четырнадцать, он стал бойскаутом и ему купили велосипед. С тех пор он носил костюм цвета хаки, ходил в поход, пел какие-то особые песни, ночевал вместе со всем отрядом в вигваме собственной постройки и хвалился, что может разжечь костер одной спичкой. А скоро у него появился еще фотоаппарат «кодак» и пистолет «монте-кристо». Из гимназии он приносил и показывал украдкой сестрам романы «Яма», «Санин» и «Записки госпожи Ванды Захер Мазох». Он читал их и говорил, что современному человеку все это надо знать, потому что в этом нерв века. Когда ему исполнилось пятнадцать, открылось, что он гений. Он написал драму в пяти актах «Смерч», перепечатал, прошнуровал розовой ленточкой и послал Вере Холодной (он долго носил по городу эту бумажную трубу с надписью «Санкт-Петербург, кинематографическое заведение Хонженкова»). Из писателей рукопись читал фельетонист газеты «Родной край» Анджело Кальяри, хвалил и говорил, что автор очень талантлив, но печататься ему пока рано: надо поглубже узнать жизнь во всей ее красоте и многообразии. Все это, однако, протекало там, вверху, и до Якова доходило только какой-то стороной. В его полуподвале не было ни взрослых романов, ни мечты о Вере Холодной, там всегда стоял подводный сумрак, и читал он не «Записки госпожи Ванды Захер Мазох», а Ника Картера и Ната Пинкертон, жидкие грошовые книжеч-

ки в пестрых обложках, и компанию его составляли типографские пацаны. Они вообще-то были неплохие ребята и когда участвовали в «громке» фруктовых садов или водили в казаки-разбойники, то лучше их и не найдешь, но, скажем, играть с ними в козны или расшибалочку на интерес было скверно. Когда кто-нибудь ему проигрывал, то сердился и начинал его звать Абрам или, еще того хуже, Абхам, с гнусным картавым «р». Хотя все отлично знали, что он Яков, «Яшка — медная пряжка», а Абрамом был его отец — тихий тайный выпивоха, золотые руки, смиреннейший и добрейший человек в мире, всегда чем-то безмерно удрученный и в чем-то виноватый и тихо оправдывающийся. И еще дразнили типографские его «узе, узе»: «Вы узе куда же пошли, а-а-а?» И пели, убегая (у него были здоровые кулаки): «Жид пархатый номер пятый, на булабочке распятый». А попробовал бы кто-нибудь спеть такое при брате, гимназисте, бойскауте, писателе, шикарном мордастом молодом человеке с черным «кодаком» через плечо и желтой кобурой у пояса. Крикнули бы они это юродливое «узе, узе» Роману Львовичу Штерну, названному Романом не просто, а в честь дома Романовых, сыну почетного попечителя острога, чья фамилия через день жирным шрифтом красовалась в отделе реклам в газете, а газету эту читал весь город. Отец, Лев Яковлевич, в свою очередь благоговел перед ловкостью, светскостью и талантливостью сына, он ничего ему не навязывал, но мечтал, чтоб тот стал столичным адвокатом и переехал в Петербург. «А там он может писать сколько ему заблагорассудится», — махал рукой отец и подсовывал сыну речи Плевако. Но сын отвечал друзьям: «Да плевать я хотел на этого Плеваку! Подумаешь, дело об убийстве в Варшаве артистки Васновской! Ну и что? Когда я стану писателем, разве я про такие дела писать буду?»

Когда произошла февральская революция, Роману было восемнадцать, а Якову четырнадцать. Когда Яков кончал школу, Роман был председателем учкома, участвовал в педагогическом совете и, очевидно, выполнял первые деликатные поручения (во всяком случае именно такой у него был вид). Когда через несколько лет, поддавшись уговорам, Яков перешел с истфака в некую особую юридическую школу, Роман уже занимал в прокуратуре особую комнату с надписью «Стучать».

Да, так вот настоящими братьями они никогда не были, и дистанция между подвальным этажом и бельэтажем продолжала существовать и дальше. Тем не менее друг к другу они чувствовали настоящую приязнь и разговаривали обо всем совершенно свободно. А один разговор — тот, о котором Яков вспоминал сейчас, — даже был чрезвычайно, чрезмерно значительным. Яков в то лето возвращался с курорта и делал остановку в Москве. А брат тоже только что вернулся с курорта и жил с женой на даче. Вот там вечером в саду и произошел этот необычайный разговор. Начал Роман издали. Сначала он похвалил Якова за то, что тот до сих пор еще не женился, потому что, сказал брат, он фактически женат был трижды, один раз официально, и вот, оборачиваясь назад, он просто ужасается, неужели все это был он. «Ты знаешь, — сказал он, хватая Якова за руку, — ни одна подлая профессия, даже палача и стукача, ни одно самое подлое правительство — даже гитлеровское — не может так выдавить душу по капле, как скверная баба. Знаю, брат, по себе. А ты бы поглядел, что делается в нашем Солнечногорске, в нашем дачном городке! Обычная семья: мать (необязательно!), муж, жена и ребенок. Муж и жена обрыдли друг другу до того, что и глядеть друг на друга не могут. Вот как сокамерники, что год просидели вдвоем. И знаешь, иногда в театре я наблюдал, как во время действия вдруг муж неожиданно отворачивается от сцены и с такой ненавистью взглядывает на жену. Тут, мол, музыка, красивые женщины, свобода, а со мною рядом вот ты, ты... И она это понимает, тупится и тоже отворачивается. И все это

молча, молча! Они и ссорятся не так часто, потому что незачем им ссориться, а вот унижить, осечь, осмеять — это пожалуйста! Это для них радость! Сразу поднимается настроение, отошьет ей и ходит, улыбается: „Ага, стерва! Проглотила язычок! То-то! Ага!“

— А ребенок? — спросил Яков.

Роман поморщился.

— А ребенок давным-давно их понял: говнюки, дешевки, боталы, трусы, хамы! Вырастет, уйдет и забудет, если в нем есть что-то, а если такая же сволочь, ну что ж? Тогда еще прощай! Теперь ты мне вот что скажи. Мы говорим «жена», «самый близкий человек», «мать моих детей», ну и разное такое! И ведь все это верно, верно! Ну, а при всем том, разве у нас муж может поделиться чем-нибудь с этим самым близким человеком? Да что ты! Да никогда! И не потому что нельзя, нет, а иногда даже можно, а просто — ну зачем? Она только испугается до смерти. Ведь этот подлый страх у нее всю жизнь в печенках сидит, хоть она и чурка, а видит же — был человек, и ау! Сгорел, и дыма не пошло! Вот ходит она, ходит, хвост как у паблина, хвастается: «Вот что у нас есть! И вот еще что! И вот, вот...» — а ведь отлично знает, что ни хрена собачьего у нее нет! Все это не ее.

Крепче, кажется, брат не выражался даже на допросах.

— А чье же оно? — спросил Яков и даже передернул плечами.

Чрезмерность этого разговора действовала на него почти физически, его по-настоящему знобило.

— А я знаю? Черт ее душу знает чье! — широко выругался Роман. — Дядино! Вот она знает, что дядино, и нюнит, и сопит, и плачет. А тебе слезы ее проклятые нужны? Нос ее разбухший, красный, губы раскисшие подлые бабьи — тебе это надо? Нет, брат, коль тебе станет плохо, так ты тогда уж молчи! Ты тогда уж лучше как проклятый молчи! Ты отыщи в поле какую-нибудь развалюшку или старый курятник, залезь туда, и чтоб ни одна душа не знала, где ты. Вот тут уж плачь или вешайся, это уж сам решишь по обстоятельствам. Ведь жизнь-то, она не твоя, а государева, а вот горе, оно уж точно твое и больше ничье. Никому ты его не спихнешь, потому что тебе-то смерть, а всем-то смех! Всем-то хаханьки! «Что, получил свое, сволочь?», «За что боролся, на то и напоролся??!» Вот так-то, брат. — Он остановился и как-то очень жалко, беспомощно взглянул на Якова.

А у Якова уже и голова зашлась. Он не знал, как все это понять. Неужели же с братом что-то стряслось и вот теперь он сообщает об этом ему первому?

Но тут Роман взглянул на него и улыбнулся.

— Постой, вот тут скамейка, давай присядем. Нет, это я пока не про себя, то есть не все про себя. И в пустой курятник мне пока тоже лезть незачем, тут, брат, другое. На жизнь я оглядываться стал. Ведь чем я все время себя тешил? Что все это у меня еще впереди и это так... временное, я, мол, еще покажу, каков я таков. Ведь я писатель, черт возьми! Творец! У меня не только следственный корпус со смертниками, но еще и творчество. Я не только «Ромка-Фомка — ласковая смерть», как меня тут зовут мои покойнички, но и еще кто-то. Ведь вот выйду я из этих серых стен, пройду два квартала, и сразу друзья, поклонники, поклонницы, актрисы одна лучше другой. Они же все таланты, красавицы, умницы. Но вот понимаешь, смотрю я на этих своих друзей-писателей, гигантов мысли, и думаю: кем бы я хотел быть из них? Да никем! Смотрю на своих красавиц и думаю: какую бы я из этих стерв хотел бы в жены? Да никакую! А вот с некоторого времени запала у меня другая мысль. А что, если бы меня полюбила хорошая молодая девушка? С кудряшечками. Такая, чтоб я в ней был уверен! Знал бы, что она не перебежит! А главное, в случае чего, будет меня помнить! Не вспоминать, а именно помнить! Ах, какое это великое дело, брат, чтоб тебя помнили! Это все, все! Меня тут один случай потряс. И случай-то такой пустяшный. Понимаешь,

арестовали органы одного газетчика из таких — штаны клещ, из модных, да ранний. Ну что про него сказать? Я таких видел-перевидел: Фрейд, Джойс, Пикассо, Модильяни, театр «Кабуки» и все такое. И знает, что нельзя трепаться, а трепется же, болван. Ну а дальше все понятно — лучший дружок и сдал, а органы тоже не поскупились, отсыпала червончик, там папа у него еще какой-то не такой был, так вот уже и за папу. Отправили в Колыму, литера ТД — троцкистская деятельность, — понятно, что это такое? И вот когда ко мне пришла его жена, такая тоненькая, беленькая, в кудряшках, видать, хохотунья, заводила, я посмотрел на нее и сказал — не-не-не! не по обязанности, не мое это дело, а так, по-доброму, по-хорошему: «Выходите-ка вы, дорогая, замуж. А с разводом поможем». И знаешь, что она мне ответила: «А что вы с моим вторым мужем сделаете?» И ушла! Ушла, и все.

Он замолчал.

— И все? — спросил Яков.

— Все до точки, брат. А через день рано утром мне позвонили...

Он снова замолчал и молчал так долго, что Яков спросил:

— Ну и что?

— Ничего! Нашли ее рано утром на шестидесятом километре, где-то возле Валахернской, под насыпью. Тело изломало, изрезало, а голову отбросило в кусты. Мне фотографию принесли. Стоит голова на какой-то подставке, чистая, белая, ни кровинки, ни капельки, стоит и подмигивает. Вот тогда меня как осенило: вот какую мне надо! Ее! С ее смешком и кудряшками! Но где ж мне такую взять? Разве у нас на наших дачах такие водятся? Да, вот так я, брат, подумал, и стало мне очень невесело.

— Но ты ведь сам сказал, что пишешь, — робко напомнил Яков, — и что компания есть, друзья, женщины. Так неужели они...

— Ну вот и понял ты меня, — скорбно улыбнулся Роман, — как есть все понял! Пишу! Я пишу, а ты вот монеты собираешь, — крикнул он вдруг, — ты вон ведь сколько их насобирал! Ученым хотел стать, да? Так что ж не стал ученым-то? А? Что помешало? Почему ты не этот самый... как его? Не нумизмат, а? Что тебе помешало?

— Постой, постой, это-то к чему? — по-настоящему растерялся Яков. — Ну, когда учился на историческом, я собирал монеты, а потом...

— А потом они стали тебе ни к чему. Так? Историк-то они были, конечно, к чему, а следователю-то они зачем? Так? Ну так? — Он спрашивал яростно, настойчиво, так, что Яков неохотно ответил: «Ну, положим, так, но что ты из этого...» — Ага, ни к чему, вот ты и бросил собирать, и правильно сделал! И я вот правильно сделал, что свое настоящее писанье бросил! Я теперь случаи из практики описываю, «Записки следователя», и все охают. Такой гуманный! Такой человечный! Такой тонкий! И монета кругленькая идет! Еще бы — «Записки следователя!» Это же все равно что мемуары бабы-яги. Все хотят знать, как там у нас кипят котлы чугунные. Вот и покупают. И издают! И переиздают! И во всех газетах рецензии!

— И что это, плохо? — спросил Яков.

— Да нет, наоборот, очень хорошо! Отлично! У нас же с моей легкой руки все теперь пишут! Мы самый пишущий наркомат в Союзе! Да нет — в мире! Мы все мастера психологического рисунка! Мы психологи, мать вашу так! У нас и наивысшее начальство сочиняет драмы в пяти актах для МХАТа. И чем начальство выше, тем психологичнее у него выходит. — Он засмеялся. — А что? «Слабо, не отработано, вот возьмите почитайте рецензию и подумайте над ней, а потом поговорим». Нет, это не для нас! Это к черту! У нас такие номера не проходят! Какая там, к дьяволу, рецензия и черта ли мне ее читать! Ты сядь, отредактируй, допиши — на то ты редактор или режиссер, за то тебе, олуху, и деньги государство платит! А мое дело дать ма-

териал и протащить его где надо, вот и все! А в театре аншлаг. Билеты в драку, все пропуска отменены. Сидят в проходах. Вот как! Да ты что, не видел сам, что ли! Неужели у вас в Алма-Ате не то же самое?

— Да нет, и у нас то же самое, конечно,— засмеялся Яков,— только я удивляюсь почему. Ведь все эти драмы-то, по совести...

— Ну вот, по совести,— усмехнулся Роман,— тебе что? Совесть нужна? Так читай Фадеева и Федина! Они по части совести мастера. Нет, ты в другой конец смотри — вот свет погас, занавесь взвилась, и открылось тайное тайных, святая святых — кабинет начальника следственной части НКВД. За столом полковник, вводят шпиона. Часы на Спасской башне бьют полночь. Начинается допрос. «Кем и когда вы были завербованы гестапо? Ну?!» От одного этого у зала душа в пятки ушла. Ведь этого ни одна живая душа не видела и не слышала, а если видела, то она уж и не живая. И потому это вовсе не литература, а акт государственного доверия советскому человеку! Психологи называют это эффектом присутствия. От этого самого эффекта у зрителей зубы мерзнут. Посмотри, как они расходятся! Тихо, тихо! А буфет торгует коньяком в два раза больше, чем, скажем, на «Ревизоре». Наши психологи и буфет точно засекали! Так вот я и без этого эффекта проживу. Потому что я настоящий писатель. Вот! Я когда еще бегал по нашему двору и играл с тобой в расшибалочку (никогда не бегал Роман по двору и не играл с ним в расшибалочку), чувствовал в себе этот огонь.

— Это когда ты свой «Смерч» посылал? — не удержался Яков.

— Оставь! Глупо! — поморщился Роман. — Так вот со всеми этими настроениями я уехал отдыхать. И встретил одну беспартийную особу. И, как говорят наши социально близкие друзья-уголовники, упал на нее. Потому что смертельно она мне понравилась.

— А кто она? — спросил Яков.

— Да ровно никто! Баба! Хорошая, красивая, умная — это что, мало? Да этого до ужаса много, брат! Вот я и заметался и затосковал. Вообще-то, говоря по совести, я сейчас понимаю, что все это было вроде как гипноз. «Амок» — слышал такое слово? Это когда с ума сходят. Так вот и со мной случился амок. Но получив отказ, я пришел к себе, рухнул на постель и подумал уже по-умному, по-трезвому: ну вот она сказала «нет», а если бы сказала «да», тогда что? Как бы я ее потащил на себе, с собой? С ее остротой, холодком, свободой, ясностью, с эдакой женской терпкостью? Как кто-то из них сказал, «с муравьиной кислоткой». Как бы я мог присвоить все это себе? Она и я — ведь это же бред! Бред же это собачий, и все! Первое, что случилось бы, это бы мы смертельно возненавидели друг друга, не так, как я свою Фаину ненавижу — я ее спокойно, равнодушно, даже порой любовно ненавижу, — а остро, до тошноты, до истерики! И тогда бы она попыталась свернуть мне шею! Потому что перевоспитать меня — пустой номер, не такой я товарищ. Значит — катастрофа. И погибла бы, конечно, она, а не я. Понимаешь?

— Нет,— ответил Яков добросовестно,— абсолютно не понимаю! То есть я вот что не могу понять: если ты все это хорошо знаешь и предвидишь, зачем же...

— А ты всегда делаешь, что предвидишь? Оставь! А потом, я же говорю — амок,— досадливо поморщился Роман,— амок, и все. Или еще, по-нашему, солнечный удар. Есть у Бунина такой рассказ. А точнее сказать, конечно, все дело было в моем настроении. Ух, какой я тогда был несчастный! Какие у меня в душе кошки скреблись! А вот встретился с ней, и все прояснилось: и мир стал хорош, и люди хороши, да и сам я ничего.

— А как ты с ней встретился, если не секрет, конечно? — спросил Яков.

— Да как вообще встречаются на курорте? Шлялся по пляжу и

встретился. Она там с одним фертом ходила, знаешь, из этаких, из свободных художников. А я с ним как раз случайно познакомился дней за десять до этого, то есть встретились мы тогда случайно, но я его сразу узнал, как только он заговорил со мной: вызывал я его свидетелем лет семь тому назад по одному скандальному делу. Тоже с выкидончиками тип! Я его по этим выкидончикам и запомнил, а он меня нет. Так вот он мне первый на пляже и закричал спьяну: «А, мой полночный друг, докучный собеседник! Один? Ну-ка идемте, познакомлю с интересной женщиной!» Ну, мы целый день и прошатались, в развалюху одну зашли, вино пили, я один целый кувшин выдул. Ну и вино! Ох и вино! Умирать буду, не забуду! Вспомнишь — до сих пор скулы сводит. Я ведь, знаешь, насчет вина и вообще-то не больно... а тут такое попало! Это на жаре-то, после трех часов ходьбы!

— Так после этого ты и упал на нее? — рассмеялся Яков. — Эх, брат, брат! Какой же тут, к дьяволу, амок? Тут пьяная башка, жара да усталость. Вот и все. Есть о чем говорить!

— Есть, брат, есть! — серьезно качнул головой Роман. — Я ведь и пить-то никак не хотел. Я, понимаешь, и выпил только потому, что она на меня смотрела. Я как-то вдруг случайно поднял на нее глаза, поглядел да чуть и не рухнул: такая она сидела передо мной. И вдруг я почувствовал, как бы тебе это объяснить, — высокое освобождение! Освобождение от всего моего!! От моей грубости, грузности, недоверчивости и уж не знаю от чего! Она такая была свободная, легкая, простая, раскованная, как говорят актеры, что я чуть не взвыл! Правда, правда! И вспомнил вдруг свою Фаину, как утром она ходит по комнатам в халате, потом возле зеркала стоит зевает, зуб ковыряет, и тут вдруг телефон звонит, какая-то подруга вызывает. Разговаривает с ней, смеется, какие-то намеки, полувопросики, полответики, недоговорки, фырк, фырк! «А-а? Да? А-а?» Там ведь все понимается по одному звуку. Трубку положит, начнет мне шарики вкручивать, щупает, какое у меня настроение, то есть что ей сегодня можно, что нельзя. Вот представил я себе все это и такую муть в душе почувствовал, что даже застонал. Ну нет, думаю, конец! Бери свои цапки и иди от меня к чертовой матери. Не могу больше! Так сижу, мычу, а она через стол дотронулась до моей руки и спрашивает: «Вы что-то сейчас неприятное вспомнили, про дом, наверно?» Ну как вот она сумела понять, как? А?

— Эх, брат, брат, — повторил Яков и слегка поворошил ему волосы. — Эх, брательник ты мой знаменитый! Ну что, плохо тебе живется? Свободы тебе мало? Так если уж так дома невтерпех, что? Разве не можешь на стороне завести? Квартиру ей снять? Денег нет? Давай я подброшу, если ты уж так обеднел! Смотри — накаркаешь! Судьба, она такая! Ее рассердишь — будет худо! Я с некоторых пор в это очень верю!

Брат ничего не ответил, только тихо снял его руку и молча крепко пожал ее.

— Да я ведь сам понимаю, что глупость, — сказал он угрюмо. — Да, да! Видно, не часто мне в жизни бывало хорошо! Это верно!

Он замолчал и молчал так долго, что Яков сплосил:

— Ну а дальше-то что?

— А дальше вот что. Пришел домой часа в два ночи и долго, что-то дней десять, не видел ее. Куда-то она уезжала. А приехала — сразу позвонила: «Знаете, я уже по зас соскучилась». И опять мы все втроем шатались по берегу. А потом купались в море, оно знаешь какое вечером? Оно ласковое, парное, по нему от весел, от рук голубые светлячки бегают. Ты вот на море ни разу почему-то не был, а зря, зря — его твои горы никак не заменят! Там и дышится, и думается, и чувствуется совсем иначе.

— То-то ты там...

— Да, да, может быть, и от этого! От моря, может, это отчасти! Но сколько раз я на море бывал, а ничего похожего не испытывал. Не знаю, брат, ничего тут не знаю и не понимаю. Так вот купались мы, на луну смотрели в морской бинокль, а уж под утро пристали к какой-то студенческой компании — и пошло! На гору с ними лазили, хворост собирали, я костер разжигал, мне за это хлопали! Затем водку и вино откуда-то принесли. Была пара стаканов, так женщины из них пили, а мы по кругу из консервной банки. Хорошо! — Он pokrutil головой и засмеялся. — Потом какую-то невероятную «моржу» они затанули, а я подпевал. И тут вот что случилось. Стало прохладно, и этот ферт снял пиджак и ей на плечи набросил, а она его под руку взяла. Тут одна студентка меня спрашивает: «Это его жена? Какая красивая!» И тут меня что-то ровно толкнуло. «Нет, — отвечаю, — это моя жена такая красивая». И так спокойно, даже строго ей сказал, как будто в самом деле это так и что за глупые вопросы. И сразу в меня как будто вступило: «Ну и правильно! Жена! Встрети, так не отпускай! Это твое счастье на тебя набрело, дурак! А она пойдет, ты ей понравился, а больше ей и не надо». Нет, ты чувствуешь этот ужас? Так чего же я, дурак, олух царя небесного, тогда ищущу? И чего я в ней нашел? Если ей ничего не надо? Бред же? Вот как ты правильно сказал — пьяный бред с перепоя. А вот в таком бреду люди и творят черт знает что.

— Стой, — нахмурился Яков, — а что ж такое они творят? Убивают? Сами стреляются? Или по пьяному делу расписываются черт знает с какой? Ну что, что? Ты уж говори до конца! Я же понять хочу.

— Да нет, — поморщился Роман, — ты опять все не про то, как бы тебе это объяснить, чтоб ты понял. — Он задумался.

— Да сначала ты себе объясни, а там и я пойму как-нибудь, — усмехнулся Яков.

— Да, это верно, — погладил себя по волосам Роман и вздохнул. — В том-то, конечно, и беда, что я и сам-то себе никак не... Но тут, вероятно, надо, как говорит мой шеф, судить по аналогии. — Он подумал. — Вот когда я вернулся оттуда, мне передали дело каких-то федосеевцев, есть такая секта на Кавказе. Так вот что случилось там. В субботу они, преподобные, оделись в белые рубахи до колен, с рукавами вот такой длинноты, вот такой широты, вышли в колхозное поле, запели что-то свое дикое, улеглись навзничь, рукава раскинули, а у каждого в кулаке по горящей свечке. Лежат, поют и ждут. Вот-вот слетят к ним ангелы и, значит, заберут их в царство небесное. Ну понятно, народ сбегался, стоят, смотрят: они лежат, поют свое загробное, свечи горят, бабы воют. Народ на колени повалился, с одним припадок. Жуть, конечно! Живые же трупы! И так часа три было, пока кто-то не догадался позвонить. Ну, тут все быстро завертелось. Через десять минут прилетели на мотоциклах ангелы-архангелы в красных фуражках, похватали, побросали в пятитонки и на полном газу в город. А потом рядовых в ДПЗ, а главварей в Москву. Я приехал, а их дело у меня уж на столе. Следователь в неделю со всеми справился, потому что все ясно, никто ничего и не отрицает. Отдали шефу. Ну шеф полистал дело и приказал отправить ко мне на заключение, чтоб я, значит, определил состав преступления и интерпретировал это их лежание в белых рубахах по соответствующим статьям УК. Я же еще с двадцать восьмого года считаясь специалистом по всяким духовным делам. Помнишь тех расстрелянных братьев Шульцев? Один инженер, другой преподаватель иностранных языков. Ну вот, с тех пор все христосики идут ко мне. Я посмотрел — дело ясное: чистая пятьдесят восемь, десять, часть вторая, «антисоветская агитация с использованием религиозных предрассудков, приведшая к народным волнениям», — десятка или вышка. Но знаешь, что меня больше всего поразило? Они в камере

верили, что чудо было! То самое, которое не совершилось, понимаешь? Ангелы к ним прилетели!

— Нет,— ответил Яков,— не понимаю, что же это, галлюцинация была? Массовый гипноз?

— Да какой там, к шуту, гипноз! Вот разговариваешь с ним: «Так вы же не полетели! Вы же как легли, так и пролежали, пока вас не похватали! Ну так или не так?» «Так точно! Что верно, то верно: похватали и морды еще начистили». «Так какие же тогда ангелы, а?» Молчит. «Так, значит, не было никаких ангелов?» — «Так точно, не было». — «Не было?» — «Для вас нет». — «А для тебя?» — «А что я? Я темный мужик, вахлак, дурак, для меня и Бог есть, и ангелы есть, и власть есть, для меня все на свете есть». Вот и весь тебе разговор. И учти, не юродивые — один кузнец, другой тракторист, третий шофер, коновал! Однажды они меня так довели, что я не выдержал и сказал их вожаку: «Вот получишь пулю, тогда и будут тебе ангелы!» А он мне: «Так точно, гражданин начальник, вот и будут мне ангелы и будет небесное жито — все правильно, гражданин начальник, все по писанию: не пострадаешь — не спасешься. Как от нас это ни прятали, а мы давно это поняли».

— Расстреляли? — спросил Яков.

— Да в лагере уже, наверно, расстреляли за саботаж, они ж там не работают, а поют. Мы-то не стали мараться, сунули по десятке и отправили, ну а там уж, конечно... Пойдем походим, а то что-то прохладно.

И пока они ходили по саду, все лился и лился из окон второго этажа золотистый свет, громыхал рояль и пели две женщины.

— Слышишь? — усмехнулся Роман. — Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Поет, поет моя канареечка, уничтожает пренебрежением.

На секунду рояль замолчал, затем вдруг ржанул, взвизгнул и рассыпался на сотни острых осколков. И женщины тоже взвизгнули, и в воздухе заскакало-заплясало что-то мелкое, подпрыгивающее и подмигивающее. И рояль тоже стал подпрыгивать с ножки на ножку.

— Французский шансонет — это она себе такую подружку нашла, — очень серьезно прокомментировал Роман, — дочку моего оппонента, одного адвоката из самых, самых главных. Третий муж уж ее, стерву, выгоняет, вот она и упражняется, хочет четвертого заплучить. Это убиться надо, как моя таких вот любит! — Он вздохнул и взял Якова под руку. — Я как соображаю, Фаина к ее папаше насчет меня нырляла, там они и познакомились. Не знаю, что уж он ей посоветовал. Ведь накануне той моей встречи она собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о бытовом разложении, на большее-то у них котелок-то не варит. Причем не просто в ЦК, а Хозяину, слышишь, как произносится? С большой буквы и с таким клекотом в горле: «Хооо-зяину! Я твоим друзьям писать не буду, я Хо-ооо-зяину напишу. Он семьянин, прекрасный муж! Он меня сразу поймет». И смотрит на меня, как факир на кобру: а вдруг я сорвусь да ляпну что-нибудь про этого-то верного мужа, как он свою-то жену...

— Зачем это ей? — удивился Яков.

— Ну вот, зачем! Тогда, по ее бабьему рассуждению, я сразу буду у нее за пазухой, под самыми ее сиськами! Говорю же — безмозгая! — Он встал со скамейки. — Идем ужинать! А то и коньяка-то не попробуем! Фаина-то пьет мало, а адвокатская дочка хлещет, как лошадь!

Он уж засыпал, когда к нему пришел Роман.

— Тс, тсс,— пригрозил он ему пальцем,— тихо! — В руках у него был поднос, а на подносе бутылка коньяка и две стопки. — Из моих подкожных запасов, тихо! Она за стеной! По идее, я сейчас сижу

в кабинете и работаю и спать там же лягу на диване. Ну-ка на грядущий, чтоб сны были легкие.

— А не перебор это? — посомневался Яков. — И закуски нет!

— Да ты что, адвокатская дочка? Трюфеля любишь? Какая тебе закуска? Хотя постой, постой, кажется, у меня... ага, есть! — Он выгреб из кармана горсть конфет. — Заключенных угощаю, когда в перерыве пьем чай. Да смотри какие — «Мишка на Севере». Бери! Ну за все хорошее! — Они тихонько чокнулись, и Яков закусил конфетой.

— Богато живете, — сказал он.

— Ну а ты что думал! Москва! — усмехнулся Роман. — А во Франции и того чище, там перед гильотиной ромом угощают, мы еще до этого не дошли.

— А может, Зиновьева и Каменева тоже...

— Не знаю, не присутствовал, — слегка поморщился Роман, — я от этого отказался раз навсегда. Нервы слабые. Ну что ты! Какой там ром! Слушай, а что, если нам вот с такой штучкой да закатиться в Сандуны, в особое номерное отделение, там у меня такой чудесный грузин есть, он так промассирует, что либо с ходу инфаркт схватишь, либо десять лет с плеч сбросишь. Пойдем?

— Там видно будет.

— Ну и отлично! А теперь я тебе вот какую загадку загадаю. Вот как, хорошо я живу? Просторно или нет? Ведь все это, — он сделал круг в воздухе, — это ведь все не казенное, а кровное, так сказать, благоприобретенное. Так с какого же дохода оно? В американской разведке я не работаю, взяток не беру, существую на зарплате плюс премиальные и командировочные. Пакетов нет. Всего этого и на одну комнату не хватит, а у меня их восемь! И своя машина! Так откуда же это, а?

— Правительственный подарок? — спросил Яков.

— Да что я — Папанин или академик? — рассмеялся Роман. — Нет, брат, нам такое не подносят. Ну, я тебе открою. Все это цена одного газетного подвала в «Известиях» на четыреста строк.

— Да неужели там так платят? — обомлел Яков. — Один подвал?

— Да, всего один подвал. Только потом я этот подвал переделал в рассказ, рассказ в либретто, либретто в сценарий, сценарий в драму, драму в радиопередачу — собрал все до кучи, слепил и смотрю — дача. Это пока что дача, а там еще капает, капает. Правда, приходится делиться, но пока я в прокуратуре второе лицо, это еще так... не очень чувствительно — берут, но по-божески, смущаясь. Драть потом уж будут.

— Пока ты еще...! — воскликнул Яков.

— Тише, — поморщился Роман, — ну-ка повторим, — он налил еще по стопке, — на-ка еще парочку трюфелей. Когда-то я той в адвокатский ее ротик... Она и губки вытянет! Страсть как она, стерва, сладенькое любит... — Он проглотил какое-то ругательство. — Да, брат, думаю, думаю. Во-первых, и заработаю я в десять раз больше, а во-вторых, силы уже не те. Нервишки зашалили. Знаешь, все чаще что-то вспоминаю Гамлета. Хорошо это место во Втором МХАТе у Чехова выходило: «Я бы в ореховой скорлупке чувствовал себя царем вселенной, когда б не сны». Так вот недавно такое привиделось, что в холодном поту вскочил. Так только во сне можно испугаться. Вскочил, смотрю: рядом жена лежит, гудит-дудит, полипы у нее, что ли, там? Мощно гудит, как ведерный самовар перед бедой, помнишь, как у нас в семнадцатом году самовар гудел? Я помню. Моя нянька все ходила и обмирала: быть беде, быть беде! Вот так и моя гудит. Зажег свет: лежит на боку, рубашка задралась, а бок крутой, сырой, лошадиный, лоснится, как у пони. Ах ты! И такая тоска опять на меня навалилась. Такая смертельная, что я даже замычал в подушку.

— А с доктором ты не советовался? — осторожно спросил Яков.

— Нет еще, с этим я не тороплюсь. Когда все согласую, обговорю, тогда и пойду за заключением. Ну-ка давай-ка еще по последней и спать, спать, а то слышишь, там за стеной что-то загудело.

— А сон расскажешь?

— Расскажу потом, в другой раз, сейчас не могу, а то, чего доброго, опять приснится.

Однако сон свой брат рассказал тут же, минут через двадцать. К тому времени бутылка была уже опорожнена, а сам Роман сидел на стуле верхом, держался за спинку и покачивался, а Яков смотрел на него и думал: «Плохо, совсем плохо! Вот что значит наша работа! Сверхсрочный выход на пенсию. Брат, видать, уже весь вышел». Но а сон был-то как раз как сон. Обыкновенный сон переутомившегося следственного работника — ничего удивительного в нем не было. Брату приснилась его черноморская чаровница. Будто ее арестовали и он ее допрашивает. Ну что ж? И такое иногда случается, и никто от этого на стену не лезет. Опять-таки — такова уж профессия. Будто она стоит перед Романом, вперилась в него и молчит. А он отлично знает, что у нее или в ней таится какой-то страшный секрет, и как только этот секрет откроется — а для этого ей только стоит заговорить, — так ему тут же и конец. И вот он сидит за столом, смотрит на нее и не знает, что сказать, что сделать, как зажать ей рот. А она стоит, руки назад, пуговицы срезаны, смотрит на него и молчит.

— Так ты что, и срезанные пуговицы заметил? — спросил Яков.

— Их-то всего яснее, — ответил Роман, — обратил еще внимание: черные ниточки болтаются. Так вот так я испугался, так испугался! Будто дверь сейчас отворится, войдут и схватят меня. И от этого такая слабость, такая слабость! Будто вот — а-аа-а! — и упаду. И главное, сказать я ничего не могу, голоса нет, и смотреть на нее тоже не могу, вот так.

— А у тебя было что-нибудь подобное? — спросил Яков. — Ну, когда знакомого приходилось...

— Было, — поморщился Роман. — Даже и хуже того было.

— И что?

— Да ничего. Когда я в своем кабинете за столом, у меня в голове полный порядок, я власть, государство, Закон! Ну а как же мой шеф с Николай Ивановичем, своим благодетелем, можно сказать, посаженным отцом своим, «разумом века», недавно разговаривал в одном кабинете? А ведь того тоже без шурупков, без пуговиц привезли. Как-нибудь расскажу тебе про это.

— И ничего? — спросил Яков.

— Еще как ничего! На самом высшем уровне ничего! А-аа! Ты хочешь спросить, так как же я тогда пишу, что людям нужно доверять, что бдительность и подозрительность ничего общего между собой не имеют и все такое. Ты ведь это хочешь спросить? Так вот так и пишу. С легкой душой пишу. И рассказы и трагедии об этом пишу. Вот психологическую драму собираюсь еще выдать на эту тему. Под Стриндберга, во всех театрах пойдет. В сукнах! Посмотришь — заплачешься!

— О чем же?

— О духовном перерождении бывшего вредителя под влиянием гуманных методов советского следствия. Монодрама. Хотя нет. Участвуют только два человека. В сукнах. Вот так. И никакого тут противоречия нет. Там — идеальное, тут — реальное, там должное, тут существующее, там художественный вымысел, тут наша суровая советская действительность. Что, удовлетворяет тебя такая форма?

— Вполне, — усмехнулся Яков. — Сам придумал?

— Да нет, где же мне! Это за меня один следственный выдумал. Ну что ты так на меня смотришь? Правда, правда! И все мои драмы мне подследственные пишут: сидят в одиночке и того... стро-

чат, строчат! А я их за это «Мишками» потчую. А когда уж очень здорово потрафят, так, что до слез продерет, я им коньяк приношу. Не ром, нет, у нас его не производят, а три звездочки или старку. Опять не веришь? Зря! Сейчас у меня такой американский резидент сидит, что я его думаю сразу за трехтомную эпопею усадить — на материале капиталистических разведок. И в это не веришь? Эх ты, Фома неверующий!

Но тут вошла Фаина в японском халате с голубыми цветами и цапками, а сзади нее показалось улыбающееся козье лицо дочки адвоката, — засмеялась, заужасалась, замахала на них развевающимися душистыми рукавами, погнала мужа наверх и потушила свет.

И стало темно и тихо.

Он долго лежал в этой теплой темноте и тишине, вспоминал и думал. А ведь у Романа это все неспроста: их бабушка по матери, как тогда говорили, сбилась с панталыку тридцати пяти лет от роду и еще столько же провела в одном частном пансионе для тронутых. А про его собственного отца, Абрама Ноевича, говорили, что он, конечно, прекрасный, сочувственный, честный человек, золотые руки, работяга, если нужно, может сутками не выходить из типографии, только вот не в пример брату: маленько он тряхнутый, из-за угла пыльным мешком его ударили, пьет много, а пьяный рассуждать любит, жена рано померла, сына оставила, а сын тоже не утешает, растет ворлаганом, по двору целый день бегаёт, голубей гоняет, с типографскими в бабки сшибается, и никому-то до него дела нет. Так выйдет ли из него толк? Ой, сомнительно!

Вышел толк, папа, вышел. Посмотрел бы ты сейчас, Абрам Ноевич, какой я мундир ношу, с какими он у меня нашивками, значками, опущечками, в каком кабинете я сижу, чем занимаюсь! Небось расстроился бы, замахал бы руками, заплакал: «Ой, Яша, зачем же ты так? Разве можно!» Можно, старик, можно! Теперь уж не я перед людьми виноват, а они передо мной. И безысходно, пожизненно, без пощады и выкупа виноваты! Отошли их времена, настали наши. А вот к лучшему они или к худшему, я уж и сам не знаю. Ну ничего, торопиться нам некуда — подождем, узнаем. Все скоро выяснится! Все! Теперь ведь до конца рукой подать. Я чувствую, чувствую это, папа!

Зыбин проснулся внезапно, среди ночи, как будто от толчка и увидел, что кровать напротив занята. На ней лежит кто-то длинный, худой и старый. Желто-бурая кожа лица, впалые черные виски, острый колючий подбородок.

— Черт, — сказал Зыбин ошалело. — Неужели опять кого-то подбросили из городской колонии?

Он осторожно поднялся, так, чтобы ничего не звякнуло, и сел. Да, скорее всего этот тоже из лагеря — узбек или таджик. А впрочем, может быть, кавказец. Как-то он видел целую колонну таких. Посреди мостовой их вели в тюрьму. Конвой шел рядом вразвалку, заходил на тротуар, глядел по сторонам, улыбался встречным. Да и арестованные чувствовали себя довольно вольготно, разговаривали, смеялись, курили, махали руками. Обычно этапиремые так себя не ведут. Было много прохожих, и они стояли, смотрели.

— Что это? — спросил Зыбин у стоящего рядом усатого дядьки. Тот махнул рукой.

— А перебежчики, — ответил он с каким-то непонятным и неприятным подтекстом. — Из Синьцзяна. Видишь, так и несет их в тюрьму! Водят и водят.

— И что им будет? — спросил Зыбин.

— А известно что — два года, — пренебрежительно улыбнулся дядька, — раз в тюрьму с Дзержинского погнали, то это верные два года.

— Могут и вышака дать,— сказал хмуро какой-то парень рядом.

— Не-е,— мотнул головой дядька.— Которому вышака, тот там и остается, а если вывели, то два года.

Так вот, очевидно, такой перебежчик и находился сейчас перед Зыбиным. Да, не молод, очень даже не молод, но жилист и еще крепок. Очень высок, ступни в шерстяных носках упираются в стену. А на столе квадратиком лежит комбинезон и плотная серая куртка железнодорожника на крюках. Под столом туго набитая и зашнурованная туристская — именно туристская, а не красноармейская! — сумка с ляжками. Тут же ботинки. Все приведено к некоему несложному, но строгому лагерному идеалу. И он, видно, тоже идеальный лагерник. Вот как и Буддо. Так что ж, его тоже привезли на переследствие? Может быть, но и на Буддо он не похож. Он похож еще на кого-то и, кажется, того же плана, но на кого же, на кого же? Он осторожно встал и зашел с другой стороны. Спит ровно, спокойно, непробудно. Крепким хозяйским сном. Видно, что ко всему привык: тюрьма, лагерь, переезды — это его стихия. Ну ладно, пусть спит. Утром посмотрим.

Наутро он разглядел его как следует. Да, это был старик, высокий, очень худой — остро выделялись ключицы, — с черными клочкастыми жесткими бровями, но глаза под этими разбойничьими бровями были тихие и какие-то выжидающие.

— Позвольте представиться,— произнес старик с какой-то даже легчайшей светскостью и поднялся с койки,— Георгий Матвеевич Каландарашвили. Имею восемь лет по ОСО. Вчера ночью на самолете был доставлен сюда. Как полагаю, на новое следствие.

«Недурно,— весело подумал Зыбин.— И этот на новое следствие! Ну халтурщики!»

Он назвал себя и, не вдаваясь больше ни в какие подробности, спросил: а не знает ли Георгий Матвеевич такого Александра Ивановича Буддо, он тоже был привезен из лагеря на новое следствие, и они сидели в одной камере.

— Как говорите? Буддо? — нахмурился старик.— Нет, в нашем лагере такого не было. А вы верно знаете, что он из Карлага? Ах, из городской колонии! Ну так это совсем другое дело. У него какая статья-то?

Зыбин сказал: 58—8 через 17. Старик снисходительно улыбнулся.

— Болгун! Посочувствовал кому не надо. Нет, встречаться с ним мы никак не могли. Таких, как я, в городских колониях не держат. У меня же ПШ! Караганда, Балхаш, Сухо-Безводное — вот наши родные края. И давно, Георгий Николаевич, вы имеете честь тут припухать?

— Как вы сказали? — удивился Зыбин.— Припухать?

— Припухать, припухать,— улыбнулся старик.— А вы разве не слышали этого слова? Как же это сосед-то вас не образовал? Дело в том, что у нашего брата, лагерника, бывают только три состояния: мы можем мантулить (или, что то же самое, «упираться рогами»), то есть работать, или же кантоваться, то есть не работать, и, наконец, припухать, то есть ждать у моря погоды. Вот мы с вами сейчас припухаем. Хорошо! А вот вы не знаете, с какого конца сейчас оправка? С того? Ну, это значит, еще минимум полчаса придется ждать, тут коридоры большие. Тогда извините.

Он отошел в угол к параше.

«И все-то ты знаешь»,— подумал Зыбин неприязненно. И спросил:

— А что такое ПШ?

— О-о, это серьезное дело,— ответил Каландарашвили, возвращаясь.— С этими литерками вы не шутите — это подозрение в шпионаже. А получил я эту литерку потому, что прожил в Грузии беспре-

ривно с рожденья по тридцатый год, значит, присутствовал при основании и падении так называемой кукурузной республики. Ну, конечно, был знаком кое с кем из будущих грузинских эмигрантов. А они, как следует из газет, все шпионы. Так что тут логика полная, но то, что я сейчас здесь, никакого отношения ни к кукурузной республике, ни к ПШ не имеет, это у меня уже благоприобретенное, заработанное в лагере!

«Ну все как у Буддо,— отметил про себя Зыбин.— Ах ты Господи! Хорошо, хорошо, не буду забегать вперед, сам все скажет». И неожиданно сказал:

— Ну возобновят вам старый срок, и все!

— Срок! — покачал головой старик.— Да я бы старый срок у них с закрытыми глазами схватил бы. Но для этого они меня не стали бы вывозить на самолете. На месте сунули бы, и все! Нет, тут дело иное, серьезнее!

— А какое же? — не удержался Зыбин.

Каландарашвили взглянул на него и улыбнулся.

— А вот какое,— сказал он, протянул костлявый палец и приставил его к переносью.— Вот какое,— повторил он и слегка щелкнул себя по виску.

— Господи, да за что же это? — невольно воскликнул Зыбин.— Вы извините, конечно, что спрашиваю...

— Ничего, ничего, спрашивайте. Да нет, ничего особенного я не сотворил. Никого не убил, не зарезал, не ограбил, просто в один прекрасный день написал и отправил одно частное, чисто деловое письмо в Москву. Потребовал у должника его еще дореволюционный должок. Вот и все. И никаких там высказываний, эмоций или упреков — ничего!

— И что же, письмо это задержали? И полагаете, что вас за это...— Голос у Зыбина насмешливо дрогнул.

— Да нет, раз взяли, значит, оно точно дошло по адресу,— не заметил его тона старик.— Ну, конечно, стлупил я страшно, потребовал, как говорится, у каменного попа железной просфоры, а поп этот — человек действительно каменный, без всяких там сантиментов, он на это письмо посмотрел с государственной точки зрения.

— И что ж теперь будет?

— Да плохо будет. Начальник намекнул, когда меня выводили из лагеря, что очень плохо будет. Ему, бедняге, самому, конечно, здорово влетело. Выходит, что скорее всего получу я из всей суммы девять копеек натурой. И все!

— Это что ж такое? — спросил Зыбин. «Игра? Провокация? Просто порет чепуху? Да нет, не похоже что-то».

— Вот сразу видно, что вы в лагере не были,— засмеялся Каландарашвили.— Это, так говорят, выразился один из адвокатов в защитной речи. «Мой подзащитный, граждане судьи, не стоит даже тех девяти копеек, которые на него затратит наше государство». Следовательно очень любят этот анекдот. А впрочем, вряд ли это и анекдот. Теперь адвокаты мудрые. Они научились говорить с судьями на понятном для них языке. Так! — Он вдруг сделался совершенно серьезным.— А теперь, разрешите, я на минуту займусь своим хозяйством.— Он поднял сумку и поставил ее на стол.— Понимаете, меня выдернули ночью с такой скоропалительностью,— продолжал он, распуская шнурки,— что даже и не обыскали. А этот вот рюкзачок принесли на машину прямо из каптерки. Так что я и друзьям даже не смог ничего оставить. А как раз недавно посылка была. Да еще от старой оставалось.— Он наклонился над сумкой.— Вы курите, Георгий Николаевич? Ах, жалко, жалко! В лагере или в тюрьме это большая поддержка, особенно когда волнуешься. Ну а курящих-то вы ничего, выносите?

— Да ради Бога,— всполошился Зыбин,— я даже люблю, когда дымят...

— Благодарствуйте! Но только вы не стесняйтесь, я теперь дымлю не много, так что мне и двух оправок утром и вечером вполне хватило бы.— Он вынул из сумки и положил на стол несколько коробок.— Ну вот взгляните, что за папиросы-то мне прислали! «Герцеговина флор»! Раньше мне никогда их не присылали, так что, может быть, это и намек! Вы знаете, кто их курит? Нет? Вот! — Он быстро двумя пальцами пририсовал себе усы.

— Так вы!..— воскликнул Зыбин и вскочил.

— Тс-с, садитесь, садитесь, потом, если меня не выдернут. А сейчас мы будем пить чай.— Он снова наклонился над сумкой.— Да, сегодня нам есть с чем попить. Поразительно, что здесь ничего не отобрали, даже не осмотрели! Ох, боюсь я этих добрых данайцев! У них беспричинных даров не бывает. Так! Чай! Настоящий, фамильный, с цветком. Сейчас сварим. Вот и кружка для этого лежит. Даже ее не отобрали, чудеса! «Мишки». Целый пакет, попробуйте, пожалуйста, очень, очень прошу. И вот — наш кавказский сыр. Эх, хорош он с молодым вином да на чистом воздухе! Так уж хорош! Но не все его понимают и любят, и поэтому вот — кусок рокфора. Вот его-то надо быстро кончать, а то, видите, уже черствеет. Сахар. Масло. Икра. Смотрите, какие у меня дома умные, все разложили в розовые туалетные коробки из пластмассы. Их не отбирают. Ну вот и разговеемся! А скептики говорят, что еще жизнь не прекрасна! Нет, она прекрасна, вот существование-то часто невыносимо, это да! Но это уж другое.

Загремел ключ, дверь приотворилась, и в образовавшуюся щель въехал и закачался на половине порога большой медный чайник, а полная белая женщина протянула в эту щель две аккуратные горбушки и на них четыре кусочка сахара.

День начался.

Чай они пили молча и сосредоточенно, то есть сосредоточенно пил его он, а Каландарашвили сидел, ломал маленькие кусочки хлеба и аккуратно намазывал их маслом, для этого у него была хорошо обструганная и отполированная щепочка, что-то вроде деревянного ножа. Один раз он поймал на себе взгляд Зыбина и улыбнулся.

— А вы кушайте, кушайте, пожалуйста, Георгий Николаевич! На меня не обращайтесь внимания, я вот утром никогда много не ем, а все это надо быстро уничтожить, видите, какая жара.

И Зыбин ел, ел, наконец он с некоторым усилием отставил от себя кружку и откинулся к стене.

— Ух,— сказал он,— спасибо! Уже забыл, что все это существует. А теперь...— Он лег, вытянулся, закрыл глаза и словно в колодец ухнул. Это было как обморок.

Когда он снова поднял голову, стол был пуст, а Каландарашвили сидел и читал какую-то очень толстую, как карманный молитвенник, книжку в белом переплете.

— Вот здорово! — сказал Зыбин изумленно.— Заснул. Никогда со мной так не бывало.

— Ну что ж, на здоровье,— очень добро сказал Каландарашвили и отложил книжку.— Но меня вот что удивляет: они что, разрешают вам спать когда угодно? У вас что, следствие, что ли, кончилось?

— Нет, не думаю,— покачал головой Зыбин.— Хотя черт его знает! Может, они его и кончили, уже недели три как не вызывают. Тут такое дело: держал голодовку, только неделю как ее снял.

— Ах вот что,— кивнул головой Каландарашвили.— И что ж, этот Буддо сидел с вами до голодовки или во время ее? Они ведь хитрят, первые три дня оставляют в той же камере, и, значит, голодовка не считается.

— Да нет, мы с ним встретились как раз во время допросов, и даже очень активных допросов.

— Ах так...— Каландарашвили с полминуты думал.— А он вас о чем-нибудь расспрашивал? Ну за что вас забрали, что вам предъявляют, кто следователь, как следствие идет?

— Да пожалуй что нет. А вообще, что я бы мог сказать? Не о следствии, а о своем деле. Я ведь ничего не знаю. Решительно ничего. И в чем виноват, тоже не знаю.

— Угу,— кивнул головой старик,— так бывает при доносе, когда не хотят выдать доносчика. Послушайте, раз так, то я вам дам действительно ценный совет: твердо помните три тюремных правила — ничего не бойся, ничему не верь, ничего не проси! Если вы будете им следовать, то все образуется.

— То есть они меня выпустят? — усмехнулся Зыбин.

— Сейчас? Нет, вряд ли. А вот потом, конечно, отпустят. А затем другое — ведь в лагере люди живут и из лагеря людьми выходят. И даже неплохо живут и выходят. Другзей настоящих имеют, книги хорошие читают, учатся, но только к этому надо уже сейчас готовиться — подобраться, затянуться, все на себя прикинуть, все мысленно пройти, быть ко всему готовым, а главное, всегда помнить эти три правила — вот это, конечно, самое трудное.

— Запомнить-то их нетрудно,— усмехнулся Зыбин.

— Придерживаться их трудно, ох как трудно, Георгий Николаевич! У них же все в руках, а у вас ничегошеньки, только одно — «нет!». А нет и есть нет — пустое место. Как бы вы ни держались, они все равно вас на чем-нибудь да проведут, надо только, чтоб это было не самое главное, чтоб они вам черное в белое не превратили. Хм,— он чему-то усмехнулся,— насчет черного и белого у меня есть одно хорошее воспоминание. Как-то меня допрашивал мой коллега, мы одного с ним выпуска, даже на фотографии наши медальоны стояли рядом, я на «К», он на «М», и потом как-то раза два с ним встречались. Он, когда приехал на Кавказ по делам, заходил ко мне советоваться, я ему одно дело еще помог выиграть, кроме того, он писал, правда, не больно охотно его печатали, все больше в безгонорарных альманахах, но ведь важен сам факт — писатель! Тогда это очень много стоило, ну а после Октября он сразу же пришел в органы и сделался важной шишкой! Еще бы! Высшее образование, опыт, хитер, начитан, и язык подвешен хорошо, там таких сейчас совсем нет. Вы видели, кто вас допрашивал? Ваньки! Так вот, когда меня арестовали в Москве второй раз, вызвал он меня к себе. Тюрьма была переполненной, я же очень кашлял, так что засунули меня в одиночку — такой каменный чуланчик без окон: все время лампочка горела. А привели к нему — так тоже люстра горит. А на окнах плотные шторы. Встретились по-дружески: он меня усадил, чаем с печеньем угостил. Курили. Вспомнили тех и этих. Ну, конечно, одних уж нет, а те далече. А потом начали спорить. Про мое дело не говорили, потому что, собственно говоря, и дела-то не было, одна принадлежность. Так что мы с высшей точки зрения спорили, скорее даже не о политике, а об историософии.

— Что, и такие у них были времена? — удивился Зыбин.

— Да, были в самом начале. Когда в этом милом учреждении еще сидели люди, а не ваньки-встаньки с большими кулаками. Я ему и говорю под конец: беда в том, дорогой имярек, что наш спор нескончаем, это старый, как мир, вопрос — что есть истина? Христос, как вы помните, Пилату на это не ответил. А он мне: «Ну а вы, дорогой Георгий Матвеевич, ответили бы? Для вас тут, по совести, все ясно?» «Да вот если именно по совести, то все ясно».— «То есть?..» — «Белое есть белое, а черное черное».— «Понятно! Ну а как же различить-то, где черное, где белое?» — «Очень просто: надо смотреть».— «Да, тогда действительно все просто. Ну хорошо.— Подошел к ок-

ну.— Вот тут между двумя нашими корпусами есть прогулочный дворик. Вы там, я видел, как-то гуляли. Так вот не помните ли, какие стены у этих корпусов: черные или белые?» «Белые, штукатуренные». — «Это точно?» — «Точно!» «Смотрите! — Отдернул занавеску, а там ночь, ночь! — Ну какие же они белые, если, смотрите, они черные?» «Ну, ночью они, конечно, черные...» — «Ну какие же они черные, если они белые. Вон фонарь горит, подойдите, посмотрите — белые?» «Там, — говорю, — белые». «Так черные или белые? Видите, оказывается, не так-то легко ответить на это, по природе-то оно, может, и белое, а по секундной сущности своей черное. Вы, либералы, работали средь бела дня, а потом вышли из игры, а мы пришли черной ночью, вот цвета-то у нас с вами и оказались разные. Вот так». Ну что, глупо, скажете?

— Да не особенно умно, — ответил Зыбин. — Словесная игра, фокусы какие-то.

— Да, согласен, неумно, но вместе с тем и совершенно неопровержимо. И беда в том, что с этими глупыми, но неопровержимыми вещами и порядками приходится встречаться теперь каждый день.

Он снова взял книгу и стал ее листать.

— Что это у вас? — спросил Зыбин. — Латинский молитвенник?

— Да нет, не молитвенник, посмотрите, посмотрите, — улыбнулся Каландарашвили. — Любопытная книжица. В тюрьме особенно. Тацит. Амстердам, тысяча шестьсот семьдесят второй год. Таскаю ее с собой вот уже четверть века.

— И у вас не отобрали? — удивился Зыбин.

Он взял томик и стал его перелистывать. Геометрически четкая планировка страниц, поля, шрифт, похожий на мелкие выпавшие кристаллики, — это успокаивало, как глоток ледяной воды. Такие книги для него были как бы сама вечность. Ни в чем другом XVII век так независимо, как равный к равному, не обращался к XVIII, XIX, XX, XXI, XXII векам, как тут. И была в них еще какая-то высшая корректность истины, то вечное, что никогда не дряхлеет.

— Говорят, эти шрифты отливали из серебра, — сказал Зыбин.

— Может быть, хотя я не знаю, для чего это было бы нужно, — улыбнулся Каландарашвили. — Да, все тюрьмы и ссылки прошла со мной эта книжица. Отец подарил мне ее, когда я защитил магистерскую. Видите, на первой странице разрешение на вынос. Старое, а действует. Вы по-латыни-то читаете?

— Когда-то читал довольно бойко. Но не Тацита. Тацита мне трудно читать. Уж слишком сжат и своеволен.

— Да, это есть. А я его очень люблю. Ни один историк меня так не интересует, как он. Вот все думаю, и думаю, и понять не могу — кто ж он, обделенный и разочаровавшийся соучастник злодеяний или смирившийся и уцелевший свидетель их? Никак я его не пойму.

— Интересно будет поговорить, — сказал Зыбин, глядя на старика. Он сидел легко и непринужденно, поставив локти на стол, прямой, стройный, задумчиво улыбающийся.

— Что ж, будет время, обо всем поговорим, — пообещал он. — Только вряд ли они меня тут долго продержат. С такими делами копаться не любят.

— С какими такими?

— Совершенно ясными. Ведь расследовать нечего. Письмо написано моей рукой. Я не отрекаюсь! Ну и все! Слушайте, а что, если я, глядя на вас, тоже прилягу? Как это будет?

— Да конечно, ложитесь. Никто вас не потревожит.

— В карцер могут посадить. Ну хорошо, попробую.

Он снял ботинки и лег. Полежал так с минуту с закрытыми глазами и вдруг засмеялся и сел.

— Нет, не усну. Привычки нет. А вот я лежал и думал. С детства я мечтал о полете, раза два в юности даже билеты брал на кру-

говые полеты над городом. Один раз еще в гимназии, другой — в университете. Оба раза не вышло. Первый раз инспектор увидел, отругал и за ручку к отцу привел, другой раз ливень пошел. В двадцать шестом году уж совсем собрался лететь в Кёнигсберг к кузине, так арестовали! И вот уж всякую надежду потерял — что ж, лагерь, восемь лет, я старик, и вдруг вызывают меня вчера и прямо на самолет. Лечу и думаю: ну теперь мне и умирать не страшно — все уже видел. Как земля из-за туч выглядит, и то видел. А больше человеку, наверно, и видеть не положено. Прилип к стеклу, смотрю, а часовой рядом глядит и улыбается — смотри, дед, смотри. Он, конечно, уже знал, на что меня везет. Им ведь намекают об этом. Вы никогда не летали?

— Нет.

— Так вы обязательно, обязательно полетайте! Это ж такое впечатление! Когда над тучами летишь, кажется, что на другую планету попал — на Уран или Сатурн, и они все в снегу, во льдах, в айсбергах каких-то. Ничего живого не осталось, все там околело, одни глыбины мерзлой углекислоты. И вдруг мелькнуло чистое, ясное окошечко с разноцветными прозрачными стеклами: желтые, синие, зеленые! Это уж наша Земля — города, поля, пустыни, леса. В них птицы поют, дети по грибы и ягоды ходят. До чего хорошо! Да! А история-то моя простая, очень простая — слушайте, я расскажу.

История и верно оказалась очень простой, но в то же время и совершенно необычайной.

Ранняя весна 1937 года была очень тяжелой и злой для ЗК того засушливого степного лагеря, где находился Каландарашвили. Злой по всем статьям. Сначала прокатилась волна совершенно непонятных увозов. Утром заходили в барак нарядчик с надзирателем. В руках у нарядчика была обычная фанерная дощечка (все списки в лагере пишут на фанере — она не мнется, не рвется, хорошо соскабливается стеклышком и поэтому всегда чистая и свежая). Нарядчик смотрел на нее и вызывал пять или шесть человек с вещами. Надзиратель их спешно обыскивал, выводил за ворота и передавал военному спецконвою. Тут их всех снова выкликали по фамилии — в руках старшего был формуляр, — считали, затем погружали (лицом назад) в грузовичок и увозили на станцию. Вот, собственно, и все. Этап как этап. Из одного барака вызвали пятерых, из другого тройку, из третьего десять человек. В основном брали работяг, но пару раз заходили и в инвалидные бараки. А один раз выкликнули оттуда такого дремучего параличного деда, что его пришлось тащить на носилках. Это сбilo все догадки. Раньше говорили о новом лагере и спецработах, теперь стали толковать о переследствиях. Таких разговоров в лагере всегда хватает. Пишут в лагере все. Пишут генеральному прокурору, в Верховный Суд, в ЦК партии — и в ответ получают одинаковые красиво отстуканные узкие бумажки: «Ваше заявление о пересмотре получено, проверено и отклонено ввиду отсутствия оснований». И внизу подпись — эдакая стремительная фиолетовая, зеленая или черная молния. Правда, все эти отказы тоже много не стоили — после них порой получали иногда и такое: «Ваше дело вытребовано для проверки». И опять молния. Только тогда уж что-то в слишком многие лагерные головы ударяли эти анилиновые молнии, но, может быть, говорили еще, полоса такая нашла? Может, нарком новый назначен? Но в кабинете начальника над столом по-прежнему висела та же хрупкая хорьковая мордочка с острыми глазками.

А братья все продолжали. Прошел еще один смутный месяц, и тут наконец поступило первое в чем-то вполне достоверное известие. Одного вернули обратно. Оказывается, забрали не того Прокофьева. Вернулся он сильно подавший, хмурый, раздражительный и дня три

спал. А потом поползли слухи. Оказалось, всех везут в один и тот же ОЛП (отдельный лагерный пункт). Стоит этот ОЛП в стороне от железной дороги в степи, и никакого объекта рядом с ним нет, так что и работать там негде. По словам плотников, строивших его, это огромная голая зона и пятнадцать новеньких, пахнущих смолой пустых бараков. Вот и все. Потом кто-то из строителей вспомнил, что однажды ночью туда привезли решетки и сгрузили их в каптерку. Хорошего во всем этом, конечно, было мало. Возвращенный рассказал: теперь в каждом бараке человек по двести. Спят на полу. На окнах решетки, на дверях замки. Прогулок нет. Жарища, дышать нечем. Кормят так: утром пятьсот грамм хлеба и кружка кипятка; в обед черпак «байкала» (рыбной баланды, прозрачной, как вода) и полчерпака жидкого могоара; на ужин тот же «байкал». Сахар не положен, на работу не водят — просто сидят и ждут чего-то, а чего именно? Никто не знает. И Прокофьев тоже не знал. Дня через три у него опухли ноги и открылся безудержный лагерный понос, от которого спасенья нет. Его спешно отправили в больницу, и надзиратель, провозжая его до ворот, сказал: «А я ведь думал, что он после этого сто лет обязан жить». И опять никто ничего не понимал, потому что главного-то Прокофьев так и не сказал. Все выяснилось только через неделю.

Утром собрали всех на линейку. Там возле клуба и щита для объявлений стоял уже стол под кумачом, висела стенгазета «Перековка» — экстренный выпуск — и прохаживалось несколько надзирателей. Две тысячи человек в течение доброго часа стояли на солнышке по команде «смирно» перед этим пустым столом (надзиратели похаживали и покрикивали: «Как стойте! Животы! Разговорчики!»). Потом раздалось: «Внимание!» — дверь клуба открылась, и оттуда вывалилось сразу несколько человек: сержант, лейтенант, старший лейтенант, капитан и под конец вышел кто-то очень толстый и косолапый, без всяких знаков различия. У него были квадратные плечи и огромное серое ноздреватое лицо, похожее на сырой кирпич. В руках он держал афишку, скатанную трубкой. Ему принесли стул. Он сел и скомандовал:

— Здравствуйте, заключенные!

Ему бодро ответили. Он раскатал трубку и встал.

— Так вот, зачитывается вам приказ Гулага за номером пятьсот. Приказ Гулага номер пятьсот: «За злостный саботаж и вредительство, а также за попытку к побегам с целью нанесения убытка Гулагу, то есть за совершение преступлений, предусмотренных статьей пятьдесят восемь УК РСФСР пунктами семь (вредительство), восемь (террор), девять (диверсия), выездная сессия военного трибунала, рассматривая в своем закрытом заседании без участия сторон дела заключенных (следовало сорок фамилий с именами-отчествами), приговорила, — восторженно и грозно поглядев на колонны, — заключенных, — далее следовали те же сорок фамилий, их он пролетел бегом, бормотом, — к высшей мере наказания. Расстрелу!» — Стукнул кулаком. — Приговор приведен в исполнение, — произнес удовлетворенно и сел. По рядам раздался вздох, или толпа словно разом простонала. Он тоже перевел дыхание.

— Вот, заключенные, — сказал он и кивнул надзирателям на афишу, те сразу ее прикололи на щит «Перековка». — Вот, заключенные, я прочел вам приказ Гулага за номером пятьсот. Убедительный приказ, заключенные, правда? И так будет со всеми, кто думает продолжать свою вредительскую деятельность. И правильно! Тебе дали полную возможность перековываться, да? Жилье, белье, трехразовое горячее питание, клуб, стенгазета — дали тебе, так? Значит, трудись! Значит, осознавай! Не осознал? Ну и все! Советский народ панькаться с тобой и все такое не согласен. Заслужил — получай! Вот так, заключенные! Вопросы есть? Можете расходиться.

Из сорока человек расстрелянных пятеро были из этого ОЛПа. Однако никто возле этой афишки не останавливался. Но скоро на доске появился второй и третий приказ. К ним привыкли, стали читать и разыскивать своих.

А людей все выдергивали и выдергивали, и поначалу еще можно было нащупать если не логику, то какую-то свою сумасшедшую систему: брали троцкистов; повторников; вернувшихся из-за границы; отказчиков от работ (то есть тех, кого местный фельдшер — начальник санчасти — шел симулянтами), — но потом начали таскать и бытовиков, и колхозников, и работяг, а под конец дошла очередь до самых истовых лагерных псов: нарядчиков, старост, бригадиров — и ох как они выли, как ругались, божились, размазывая слезы кулаками по лицу, когда их выводили за ворота. Взяли даже одного старого врача, латыша Диле, — мрачного негодая, известного любовью к латинским цитатам, угодливостью и безжалостностью. Видимо, какие-то люди с маслом в голове уже поняли что к чему и успешно подключились к кампании.

И вдруг все разом прекратилось. Сняли афиши, вернули последний этап. И эти вернувшиеся рассказали то, о чем смолчал Прокофьев. Расстреливали там утром около глинистого оврага, под звуки танго, то есть под шум двух заведенных тракторов, — это чтоб не слышно было криков (хотя кому они там помешали бы?). Приходили и вызывали по списку. Было ли очень страшно? Нет, очень страшно, пожалуй, не было. Кое-кто даже радовался: «Эх, дайте-ка доем последнюю пайку и пойду! И шли бы вы все к едрене фене! Я уже свое отмучился!» Забирали всегда после раздачи хлеба. Именно после, а не до. И может быть, в этом порядке (сначала хлеб, потом пуля) отразился слышанный кем-то рассказ о последнем завтраке осужденного.

Недели через две в лагерь пожаловала комиссия; они прошеле-стели — белые ангелы — по стационару, заглянули в бараки, побывали в столовой, проверили в кухне закладку в котел, спросили, часто ли меняют белье, хороша ли баня, и исчезли, как светлые виденья. После этого уже громко заговорили, что красномордого сняли, разжаловали и расстреляли. То, что его сняли, это было бесспорно, а а вот во все остальное верили мало. Но все равно слушать о конце негодая было приятно, и все слушали.

Таково было первое несчастье, постигшее лагерь весной 1937 года.

Старик рассказывал о нем сухо, жестоко, четко, без всяких отклонений и объяснений. О втором несчастье он в этот день рассказать так не успел. Пробыл отбой, а порядок в этом отношении был очень строг. За разговоры в ночное время сразу уводили в карцер.

— Так что же это все-таки было? — спросил на другое утро Зыбин. Его всю ночь мутило от этого рассказа, а тон старика так даже и раздражал. Что он, в самом деле, из себя строит? Кому нужна эта дурацкая бравада?

А старик был опять в хорошем и ясном настроении. По коридору уже двигались чайники, и он хлопотал за столом, готовя завтрак.

— Что было-то? — Старик вынул папиросу и слегка размочили ее конец. — Не возражаете? Да кто же это знает, Георгий Николаевич. Разное тогда говорили на начальство, например через бригадиров пустили слух, что это была японская диверсия.

— Здравствуйте! Это как же?

— А очень просто. Ехал из Магадана на океанском пароходе вновь назначенный начальник лагеря. Ну, конечно, патриот, гуманист и все такое. А к нему в каюту забрался японский диверсант; ну и дальше как по фильму: свернул ему шею, выбросил в окно, а сам переоделся в его форму, забрал документы и приехал на место на-

значения. Стал выполнять задание. Все. А разоблачили его случайно: жена приехала и увидела, что это не тот. Вот такая была версия.

— И верили? — спросил Зыбин злобно.

— Ну это кто как. Я-то, например, не очень.

— Ну Господи, что за чепуха! — тоскливо воскликнул Зыбин.

— Э нет, дорогой Георгий Николаевич, это не чепуха! Это далеко не чепуха! Вы подумайте: диверсант два месяца уничтожал людей и все считали, что это в порядке вещей. Это значит, что вы японского диверсанта от сталинского сокола по его поступкам никак уж не различите. Значит, правового чувства нет ни у кого — ни у того, кто врет, ни у того, кто его слушает. Вот в чем страшный смысл этой японской легенды. А вы — чепуха!

— Да, да, — вздохнул Зыбин, — совершенно правильно! Слышал, слышал! Факультет ненужных вещей. Право — это факультет ненужных вещей. В мире существует только социалистическая целесообразность! Это мне моя следовательница внушала.

— Да-а? — слегка удивился старик. — Ну, значит, вам очень эрудированная следовательница попалась! Очень! Дама с ясным философским умом! Но только знаете, она самую-самую чуточку запоздала. Пришел товарищ Вышинский и снова все поставил на место. Не бойтесь, сказал он, права, мы с ним отлично уживемся. Вот только кое-что ему вырежем. И вырезал, к общему удовольствию. А ведь десять лет тому назад, в двадцатые годы, тогда профессора вот это самое «долой право!» заявили прямо с высоты университетских кафедр. Да какие еще профессора! Светочи! Мыслители! Мозг и совесть революционной интеллигенции! Так и говорили: право — это одна из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат! Но мы освободим его от этого бремени. И освободили. Их была целая стая, таких славных.

— Послушайте! — воскликнул Зыбин. — Но ведь из этой стаи славных, если не ошибаюсь, один оказался агентом охраны.

Старик засмеялся и замахал руками. Он был, кажется, очень доволен.

— Не доказано, не доказано! И потом это, как говорится, уж совсем из другой оперы. Так вот вам первая версия — японский диверсант. Существовала и вторая — это была мера предупредительная. Мол, выяснилось на процессе Тухачевского, что этот заядлый враг народа считал лагерников своими кадрами. Вот эти кадры-то и уничтожались. Ну это что-то уже гораздо реальнее. Под этим, пожалуй, и товарищ Вышинский подписался бы. Но мне кажется, что дело было еще проще. Состоялось генеральное решение о том, как окончательно разрешить вопрос о врагах народа. Мы идем к коммунизму — это доказано. При коммунизме преступников не будет — это тоже доказано, но идти к нему нам мешают враги — это совершенно бесспорно. Так вот, врагов уничтожить, а бытовиков, то есть заблуждающихся, разогнать: иди и больше не греши! Помните, у Маяковского: «Нужная вещь — хорошо, годится, не нужная — к черту, черный крест»?

— А вы любите Маяковского? — спросил Зыбин.

— Раннего? Очень любил. Ну а этого, позднего, мне в начале тридцатых годов прочел мой следователь и сказал: «А вы, уважаемый имярек, в нашем социалистическом хозяйстве вещь не только совершенно не нужная, но и объективно вредная. Поэтому мы на вас поставим крест. И что вы мне толкуете о праве? Право помогало вам бороться с нами — вот вы за него и уцепились. Но мы давно поняли, что это за штучка. У нас много Сперанских, чтоб построить право, но где нам найти хоть одного Разина, чтоб разрушить его?» Знаете, кто это сказал? Увы, я-то знал!

— Это тот охранник?

— Нет, нет. Только его преданный ученик и поклонник. Чест-

нейший коммунист. Теперь тоже, кажется, сторел или близок к этому. Слишком они уж открыто обо всем этом трубили: «Уничтожить! Уничтожить!» Не надо было так. Потихе, похитрее надо было. Вышинский это правильно понял. А вот на охранника вы зря нападаете. Он человек убежденный. Ведь по любому праву его надо было бы засадить по крайней мере на пять лет. Он, конечно, послабее Окладского, это тому дали десять, а этот по закону вот этой самой социалистической целесообразности имел и кафедру, и почет, и признание, и учеников. И все это было правильно, ибо целесообразно.

— А совесть?

— Ну а что совесть, Георгий Николаевич! Да что это за понятие вообще? Тут ведь почти пилатовский вопрос: «Что есть истина?» Это что? «Ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают»? Ну если так, то, конечно, она страшная вещь, но то же пушкинская совесть.

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и прокливаю.

А есть и другая. «А совесть у тебя есть?»— спросил карась у щуки. А щука разинула пасть да и проглотила карася. Вот и сказочка вся. Это уж другая совесть, щучья. Читайте, Георгий Николаевич, Щедрина, обязательно читайте. Это многое вам в мире объяснит. Вы знаете, как его наш Вождь уважает?

— Так у этого светоча какая же совесть? Щучья?

— Э нет. Она у него профессорская! Он бы вам популярно объяснил, что совесть — понятие строго классовое, исторически детерминированное, и поэтому просто-напросто совести как таковой вообще-то и нет! Это раз. А затем он бы вам сказал и вот что: «Молодой мой друг! Настоящих ценных людей я не трогал: я знал, кто они, и работал в тесном контакте с историей среди субъектов, объективно вредных,— эсеров, эсдеков, кадетов, меньшевиков, анархистов, бундовцев и прочей гнили, нечисти и накипи истории — это два. В-третьих, благодаря этому мелкому, в сущности, моему компромиссу я сохранил для социализма такую великую ценность, как моя жизнь, а она нужна пролетариату в сто раз больше тех хлюпиков, которых потом все равно нам пришлось бы сгноить в лагерях. А посмотрите, какую молодежь я вам вырастил! Красивую, сильную, передовую. Вы же сами на них молитесь как на святых». Вот и все! И он был бы со своей точки зрения безусловно прав. Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич! Совесть-то совестью, конечно, но у каждого есть своя собственная модель, и он в нее верит свято. В особенности если он негодяй!

— И даже свято?

— Безусловно! Потому что он не верит, а верует! Но «верую, верую, Господи, помоги моему неверию» — это одно. Бог возьмет да и не поможет. Есть другое — демаркационная линия в нашем лукавом и хитреньком мозгу. Она, как при роже, не пропускает через себя яды разложения. Человек не притворяется, а действительно иммунен к правде. Ну не ко всей, конечно, а к некоторым ее сторонам. Все опасное остается по ту сторону линии. И это не от лукавого — нет, нет! Это сознание не хочет умирать и ставит щит перед смертью: «Уходи! Все правильно! Все хорошо! Все разумно! Не верю клеветникам и паникерам! Они слепы, как кроты. Все правильно, все хорошо, все разумно!»

— А приказ номер пятьсот?

— А вот он-то и есть святая истина! Раз по нему расстреливают, значит, он, сударь мой, и есть сама правда! Ладно, кончаем! Это такая древняя сказка, что о ней и говорить скучно. Лучше теперь я расскажу вам о второй нашей беде. Она в конце концов и привела меня сюда. Да, подвела меня моя демаркационная линия.

Беда — это был голод. Он давно подкрадывался к лагерю. Весной лагерь почему-то всегда голодает, начинаются непонятные перебои: то хлеба не выдали (печь развалилась), то мясо заменили тьolkой, то крупы нет, один сухой картофель, баланда от него горькая и черная, а то и вовсе вместо баланды раздают «байкал». То хоть спасали посылки, а теперь вдруг и их как обрезало. То ли, верно, дорогу размыло, не подвезешь, то ли экспедитор сошел с ума от водки и лежит в больнице (это бывало уж неоднократно). А унижительнее голода в лагере нет ничего.

— Ведь тут, Георгий Николаевич, ведь что страшно: не совесть люди теряют, а голову. Мы, пятьдесят восьмая, красть не умеем, а крадем. Нас за это бьют смертным боем, а мы отлежимся и опять за свое. И еще раз, и еще — пока не сдохнем. Это раз. Затем на компромиссы, на всякое унижение, на любую расплюевщину падче нас нет. И понятно: у воров все, у нас ничего. Так мы им за сто грамм хлеба или черпак баланды готовы всю ночь «тискать романа». Марочки (платки носовые) мы им стираем, пятки чешем, еще на всякое непотребство идем — так как же им нас-то, скажите, не презирать? Я голову склоню перед этим презрением, правы они, сто раз правы! А потом мы еще ведь и ученые, сидим по-научному и вычисляем: двести грамм сахара на килограмм хлеба — как это? выгодно это или нет? сколько калорий? Вот и сидим высчитываем калории! Блатари от смеха давятся. И от презрения тоже. От самого заслуженного, справедливого презрения. К тому же эти ужасные помойки! Ах! — На его лице появилось выражение гнева и омерзения. — Все собираем! Селедочные головки, картофельные очистки, кости всякие, любую гнусность! От некоторых несет на версту! Ходят обвешанные банками, склянками, вонючими мешочками и вот с такими карманищами! Целый брезентовый мешок подшит под бушлат и доверху набит разной дрянью. Или вот еще. Получает какой-нибудь интеллигент пайку хлеба, это, значит, грамм четыреста—пятьсот, кладет их в полведерную банку из-под огурцов и варит, варит, варит, пока не получится какая-то бурая эмульсия, потом чинно садится на нары и начинает ее хлебать ложкой. Представляете? Это значит, литров пять соленой воды он в себя влил. Ну, конечно, результаты буквально сразу налицо. Опухает, как клоп, под глазами вот такие водяные мозоли, ноги слоновьи, подавишь — ямина, идет, шатается. А ведь профессор, а может даже, и академик. А в лагере ему одно название — водохлеб! По любому пункту бродят всегда два или три таких милых призрака. А одного вот профессора так в помойном ящике заперли. Он туда залез за «калориями», вот его и подкараулили. Хорошо, что летом было, а то бы сдох. Но все равно достали еле живого. Вот смеху-то было!

— Смеху? — спросил Зыбин. Его пугал и смущал беспощадно злорадный тон старика, и было странно и страшновато: можно ли так издеваться над человеческой нуждой и слабостью? Ну хорошо, если ты такой огнеупорный, но другие-то чем виноваты, если они не такие? Они-то за что страдают?

— Да, смеху, — жестоко подтвердил старик. — И потому что это действительно смешно. Вы что думаете, что человек недостаточно силен? Что он не может не затаптывать себя в грязь? Не делаться предметом издевательства? Эдакой жестянкой на собачьем хвосте. Чепуха, дорогой! Может, сто раз может! И что самое, пожалуй, гнусное: ведь культурная оболочка — этикие словечки, притязания, эрудиция, гордый вид — это все у нас сохраняется. Как же — венец творения, «будьте любезны... не могу ли я вас попросить?.. не будете ли вы столь добры», все, все как в лучших домах Филадельфии. — Он коротко хохотнул. — Вы никогда не слышали про Сидора Поликарповича и Фан Фаныча? Ну в лагере вам и расскажут и покажут. Это мы с вами — культуртрегеры и интеллектуэли! Те, что по помойкам лазают и

о рыцарях духа говорят. Ах ты...— Он что-то слотнул про себя.— У блатных даже есть замечательная сценка об этих самых господах. Но это надо уметь рассказывать! Я не умею. А среди блатных попадаются такие актеры! Таких и во МХАТе сейчас не найдешь. Вот они бы вам изобразили!

— Так вы хоть перескажите,— попросил Зыбин.— Ведь это, наверно, очень интересно.

— То есть это страшно интересно! Животики надорвешь, как интересно! Но на это надо особый талант.— Он подумал.— В общем, так. Фан Фаныч — значит, вы — уходит на работу и просит Сидора Поликарповича — значит, меня — сохранить до его прихода паечку!— Старик произнес это слово размягченным, дрогнувшим от нежности голосом.— Приношу я ее и говорю: «Сидор Поликарпыч, разрешите, будьте добры, оставить у вас паечку». «Пожалуйста, пожалуйста, Фан Фаныч». Прихожу с работы. «Здравствуйте, Сидор Поликарпыч, как вы себя чувствуете?»— «Благодарю вас, Фан Фаныч, прекрасно, прекрасно...»— «Ну и слава Богу, разрешите-ка мою паечку».— «Вы знаете, Фан Фаныч, я вдруг ощутил такой голод, что съел ее».— «Как же так, Сидор Поликарпыч, пайка-то моя».— «Я убедительно прошу меня простить».— «Да на кой хрен мне ваша просьба, что я, ее себе в задницу, что ли, засуну? (Говорят, конечно, крепче.) Давайте пайку — вот и все».— «Не кричите на меня, будьте любезны, Фан Фаныч».— «Да я вас сейчас в рот употреблю (крепче, крепче, конечно), Сидор Поликарпыч!»— «Я вас сам туда же, Фан Фаныч».— «Сосали бы вы, Сидор Поликарпыч...» — «Сами сосите, если голодны, Фан Фаныч». Ну и драка, и волосы летят.— Старик опять зло и даже как-то мстительно захохотал.

У двери что-то звякнуло — это коридорный подошел и поглядел в глазок, поднявши его железное веко.

— Да, не полагается! Смеемся!— сказал старик.— Хорошо, не будем. Так вот в это милое время сидит ваш покорнейший слуга с одним своим старым другом на лавочке после баланды из тухлой капусты и тыльки и говорит: «Есть, собственно говоря, один должок, только не знаю, как его востребовать». А должок вот какой. Когда-то, еще при царе Горохе, когда Иосиф Виссарионович отправлялся в Енисейск, я и одолжил ему пятьдесят рублей — как сейчас помню,— а кроме того медвежью шубу и прекрасные валенки из тонкой белой шерсти с красным узором на бортах. А то одет он был очень легко, а должны были ударить морозы. Я знал его еще до этого, мне его поручали встретить, когда он выходил в ссылку из Петербургского арестного дома. Вот тогда мы — несколько товарищей-кавказцев — провели целый день вместе. Даже в цирке были. И знаете? Он мне тогда очень понравился — рассказывал много интересного, ничего не преувеличивал, не хвастал, был такой живой, простой, общительный и даже — вот, я знаю, в это трудно поверить — по-настоящему остроумным был. Во всяком случае, мы смеялись. Таким он мне и запомнился. И вот через несколько лет я узнал через двоюродную сестру — она ходила на свидания к арестованному,— что он опять арестован и сидит совершенно без денег. Ехать ему не в чем. Я тогда жил в Москве, уже женился, практика была богатая: провел несколько крупных дел в Баку и Тифлисе — одно даже банковое,— так что деньги были. Вот я с верной оказией и послал ему денег и эти вещи. И написал, что если что потребуется еще, пусть не стесняется, а сразу даст знать. И в ответ получил телеграмму, вот как сейчас помню: «Благодарю. Больше ничего не надо. Очень тронут предложением. Ваш...» И вскоре после этого его отправили по этапу.

Зыбин сидел и слушал, забыв про все. Этот рассказ был чудесен так же, как его постоянные мучительные сны об этом человеке или страшная сказка. Он знал, что все оно так и было, но все-таки представить, что Сталин ходит с этим стариком (впрочем, тогда они были молодцы, молодцы!), сидит с ним за одним столом, занимает у него деньги,

благодарит, пишет «ваш» — все это выглядело совсем как чудо. Хотя это и было, конечно, чудо. «Время — отец чудес», — говорят арабы.

— И больше вы его не видели? — спросил он.

— Да нет, видел. Раз он даже собирался отдать мне что-то, но я засмеялся и сказал: «Отдадите после революции или когда я буду в таком положении, как вы были тогда». Ну, конечно, рассмеялись и заговорили о чем-то другом. Вот это я и рассказал товарищу. «Да, — говорит товарищ, — точно, этот должок требовать было бы неплохо, только как это сделать-то? Ведь письмо не дойдет, вернут и в карцер еще посадят, надо, чтоб кто-нибудь бросил конверт в ящик в самом здании ЦК на Старой площади. Да и то гарантии нет». А что за это письмо могут голову снять — об этом никто из нас и не подумал. На этом разговор и кончился. И вот примерно через месяц приезжает мой сын. А надо сказать, что за этот месяц у нас все переменялось. Все! Так только в лагерях бывает. Сначала начальника посадили, затем вот эта самая комиссия наскочила. Сразу всю задолженность погасили. Сахару каждому досталось около килограмма. Это же в лагере богатство! Старого пьяницу фельдшера — в шею! Назначили молодого врача из только что кончивших. Он сразу всех больных отправил в больничку. Нас с Ашотом — он был армянин — в первую очередь. И вот тут в больницу приезжает сын. До этого я от него полгода не только посылок, но и писем не имел, все, оказывается, шло обратно. Несмотря на это, он все время хлопотал о свидании, но ему на заявления даже не отвечали, а тут случай подвернулся. У него друг вышел вдруг в большие люди — стал заведующим секретариатом одного воротилы. Сын ему и пожаловался: вот женюсь, мол, хочу, по обычаю предков, привести невесту к отцу, так сколько ни пишу, так, сволочи, ни разу не ответили. «Ну, это мы быстро устроим», — сказал друг, и через три дня пришло разрешение. Вот они и приехали. И навезли мне, навезли всего! Командование на это уж сквозь пальцы смотрело. В лагере всегда так: или жить не дают, либо ничего не видят и не знают. Хорошо. Встречаюсь я с сыном, приглядываюсь, прислушиваюсь к нему, все думаю: надо попробовать! Надо, надо! Чем черт не шутит. Тут ведь никакой политики нет. Личный долг — вот и все! И вот перед самым отъездом, уже после отбоя, я и спрашиваю товарища — а мы все время в бараке устраивались рядом: «Ашот, ты помнишь наш разговор о должке?» «Помню, — говорит, — да ведь ты, по-моему, раздумал». «Наоборот, — отвечаю, — только думаю». «А, так! — говорит. — Ну, думай, думай». И отвернулся к стене. Хорошо! Теперь, значит, никак уж нельзя отступить. И вот утром после завтрака пошел я в красный уголок и написал цидулю. Помню наизусть:

«Гр-ну Джугашвили (Сталину). Иосиф Виссарионович, находясь в затруднительном материальном положении, напоминаю Вам, что в 1904 году на станции Енисей мною Вам в порядке помощи в столыпинский вагон были переданы: 50 рублей деньгами, шуба на меху стоимостью в 120 руб. и пимы сибирские стоимостью 5 руб. Всего 175 руб. Прошу вернуть долг по курсу. Напоминаю, что вышеуказанные вещи принадлежали мне и не имели отношения к партийной кассе». Подпись. Число. Месяц. Год.

Вот такое, значит, письмо. Написал я, склеил конверт из толстой ватманской бумаги, выпросил у культурника сургуча от чернильных пузырьков, запечатал, написал: «Члену ЦК такому-то. Лично, для передачи...» — и отдал сыну. «Вот очень важное дело». Сын, как прочел адрес, даже в лице изменился. «Папа, что? Опять жалоба? Но почему же ему? И зачем лично?» «Потому, сын, и лично, — отвечаю, — что в этом конверте важнейшая тайна, и если ее посторонний прочтет — я погиб». «А какая тайна, сказать не можешь?» — «Нет, прости, не могу». — «Ну, а как же я передам? Ведь я его (того воротилу) совсем не знаю». — «Вот через своего друга и передай». — «А если не возьмет?» — «Возьмет! Ты только поклянись ему, что это дело государственной

важности. А вскрывать не давай. Ну а если что—уничтожь». Побледнел слегка. «Хорошо. Сделаю». Ну попрощались мы, даже прослезились, а невеста его, та даже навзрыд расплакалась у меня на плече. Очень, скажу вам, Георгий Николаевич, она мне понравилась. Очень! Такая высокая, стройная, красивая блондинка. Вы хорошо помните «Рождение Венеры» Боттичелли? Видите ее сейчас? Ну вот она точно такого же типа. Мне кажется, что даже совершенно такая же. Но это, конечно, только кажется. Обнялись мы. Сын говорит: «Ну терпи еще, папа, ты у меня железный». «Терплю, сынок, терплю,— отвечаю.— Но доколе же еще терпеть?» Вспомнил я тогда, конечно, из Аввакума «до самаы смерти, Марковна», оба мы, наверно, вспомнили, потому что он улыбнулся. Ушел сын. Пришел я в барак выздоравливающих, Ашот спрашивает: «Ну как?» «Простились,— говорю.— Отдал!» «Отдал? Ну теперь жди — либо пулю, либо свободу». — «За что свободу-то?» — «За то, что не забыл своего добра». — «А пулю тогда за что?» — «А чтобы больше не вспоминал про свое добро». «Да,— отвечаю,— это логично». «Только боюсь,— говорит Ашот,— пожалеет сын тебя, не передаст». «И это может быть», — отвечаю, хотя знаю — мы не из жалостливых. Ну, ждем-пождем, нет ничего. К тому времени нас из больнички перевезли в зону тоже выздоравливающих — это что-то вроде лагерного санатория. Работать только в зоне на самообслуживании — ну там клумбы разбивать, солнечные часы из кирпичиков выкладывать, бараки подметать. Питание у половины больничное — диетное, у половины полное рабочее, это тоже неплохо. Так что голодных нет. Я вам так скажу, Георгий Николаевич, отвлекусь немного от темы, — лагерь перемальвает только самых крепких, самых сильных, категорию ТФТ и СФТ — тяжелый и средний физический труд, — вот те идут на лесоповал, в забой, тачки возить, топь мостить. Это нечеловеческий труд. В условиях лагеря его никак не выдержишь, какой бы тебе паек ни давали. Двенадцать часов на такой работе, считая дорогу и развод, — с семи до семи — нет, это никогда не выдержишь! Ведь выходных фактически нет, жилье плохое, одежка гнилая, доктора освобожденные дают только умирающим. Значит, работай, работай, работай, пока не упадешь. Ну а там уж очень быстро все пойдет. Я вам скажу, что сильный мужчина куда уж скорее доплывет, чем какой-нибудь доходяга, скелет в бинтах. В лагере действительно скрипучее дерево два века живет. Ну а совсем негодные для эксплуатации, тем и помирать не надо. Слепые, глухонемые, помешанные, безрукие, безногие, волчаночные, сифилисные — те живут и живут. Из амбулатории в стационар, из стационара в больницу, из больницы в больничную зону, из больничной зоны в инвалидный лагпункт, и опять весь круг по новой. И таких много! Очень много таких! Да при самой жестокой дисциплине в лагере половина не работает. Ведь, по существу-то, весь лагерь — это фабрика уродов, огромный агрегат, работающий на самоперевариванье. Не подбрось ему вовремя свежей человечины, он сразу задохнется. Но подбрасывают и подбрасывают. А он перемальвает и перемальвает и снова просит. Вот так, дорогой. Впрочем, это я опять в сторону. Так вот, месяца через два попали с Ашотом мы в лагерь выздоравливающих. Я старшим дневальным, то есть старостой барака, старик Ашот садовником. И как взял он ящик с рассадой, так и рассмеялся: «Ну наконец я работаю опять по специальности». Он был профессором Петровской академии. А посылки мне поступают регулярно, в начале месяца и в конце. И в каждой посылке видна она — то надушенный лавандой платочек, то рубашка с моими инициалами шелком, то опись ее рукой сделана. Так прошло еще два месяца. Ашот говорит: «Ну теперь живи, ждать уж нечего. Порвал твой Георгий твое письмо. И хорошо сделал. Видишь ведь, какое время...»

И через два дня после этих его слов меня и выдернули. Да как! Ночью! Пришел сам начальник отделения вместе с начальником лагпункта — так еще никого не забирали. Даже и на расстрел так не заби-

рали. Проверили по формуляру и велели собираться с вещами. Уж по дороге начальник лагеря спросил тихо: «Писал ты?» «Писал». «Ну вот и дописался на свою голову». Когда я шел мимо нар, весь барак молчал. Ашот лежал около меня, спал. Когда пришли, даже глаз не открыл, только когда я уже, выходя, наклонился над ним, он, так же не открывая глаз, сказал тихо: «Прощай, Георгий! Прости. Понадеялся я на скота. Ну ничего, скоро все там будем. Я тоже теперь уже и постараюсь, не задержусь». Вот так я и очутился в одной камере с вами. Вот и все. Он вздохнул, лег на койку и вытянулся.

Взяли старика на другой день после обеда. Вызвали на допрос и и через десять минут пришли за вещами. Забрали все, даже матрац и одеяло. И опять рядом с койкой Зыбина стоял голый черный железный скелет. Он глядел на эту железку и думал: «Вот и кончилась жизнь хорошего, доброго человека — Георгия Матвеевича Каландарашвили. всю жизнь он верил в правду, и ему полностью показали, что оно такое. Почти же его память мысленно вставанием, потому что по-настоящему мне вставать сейчас не хочется да и незачем. Мир праху твоему, товарищ! Ах, почему тебя действительно не отговорил этот старый армянин. И ведь вот беда, смерть пришла к тебе как раз в тот момент, когда тебе снова захотелось жить. Стеклышки, стеклышки — зеленые, красные, синие, — ведь всегда дело только в них!»

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### Глава I

За золотыми и перламутровыми стеклами в парке играл оркестр: труба, саксофон и мелкие-мелкие тарелочки.

Зыбин шел по лестнице между двумя конвойными и как ни старался, а все равно отставал. Развилась, как говорил дед-столяр, нога, и каждый шаг был болезнен. В камере он этого не замечал, его уже месяц не выводили гулять. «Тут не положено, — объяснил ему дежурный, — вот переведут в следственный...» В каком же корпусе или коридоре он был тогда? Дежурный на этот вопрос не ответил, но он уже и сам стал замечать кое-что. Например, начиная с его камеры, коридор был зачем-то обтянут плотным серым брезентом. Однажды, идя с оправки, он нарочно привалился к нему плечом и почувствовал тугие отбрасывающие тенты. Да, к такой стене уж не прижмешься спиной!

— Пощупай, пощупай! Вот я тебе пощупаю! — крикнул на него солдат.

А утром во время обхода сдающий дежурство сказал:

— Предупреждаю: еще раз так сделаете — получите карцер.

— Или пойдете в те же камеры, — добавил принимающий.

— В какие — те же?

Опять ничего не ответили. Повернулись и вышли.

А те камеры находились в другом конце. В них-то и вел коридор, обтянутый брезентом. Днем оттуда всегда доносился глухой гул большого людского присутствия. Очевидно, кроме одиночек, там были еще и общие. Туда три раза в день по звонкому плиточному полу пропихивали круглые бачки и огромные медные чайники. Раз в три недели после отбоя мимо его двери проходило какое-то молчаливое шествие. Прижавшись к двери, он прислушивался: шагали четыре пары сапог и пара ботинок. Дальше шаги сразу пропадали — там лежали дорожки. Пауза. Где-то щелкала дверь. Гул сразу обрывался. Тишина. Потом дверь щелкала вторично, и все опять смолкало. Теперь уж до утра. Значит, кого-то выкликнули, велели собираться и увели. Куда? Зачем? Почему ночью? Он скоро понял, зачем, куда и почему. Однажды испортилась канализация, и его на оправку повели в другую уборную. Она находилась в противоположном конце — огромная, цементная, по-

ходя на баню с душевыми щитками в потолке и деревянными решетчатыми плахами на полу. В стену была врезана железная дверь, заложённая засовами, и из-под нее несло ледяным ветром. Вот куда, значит, уводили этих людей! Его сбивало только то, что он никогда не слышал криков — значит, можно заставить человека идти на смерть, как на оправку. Или просто приравнять смерть к оправке. Он догадывался, что даже очень можно, только не понимал, что для этого нужно. И однажды понял. Его тогда для чего-то перевели в соседнюю одинокую (справа и слева его камеры почему-то всегда пустовали). Он вошел в нее, и у него все так и оборвалось. Было утро, а в этой камере стояли редкие сырые сумерки. Вместо окна под потолком мутно желтела решетчатая полоска света шириной в кирпич. Деревянная кровать уходила ножками в цемент. Параша сидела на цепи и на замке. Из стены торчала дощечка — стол. Четверть камеры занимала массивная, как русская печка, выпяченная кирпичная стена. Ходить было негде. Он сел на кровать, поднес к лицу руку и не увидел ладони. Через час ему казалось, что он провел тут уже много часов, еще через час он потерял счет времени. Когда его наконец вечером перевели в прежнюю камеру с книгами, миской, с кружкой и ложкой, он взглянул на них и чуть не заплакал от тихой радости. Да, понял он, проведя в таком ящике месяц, и на смерть пойдешь посвистывая. Чья-то умная башка позаботилась об этом.

...Труба за золотым окном вдруг рывкнула и замолкла, и сейчас же мерзко зазвенели тарелочки.

— «Тили-тили-ти-ли бом, загорелся кошкин дом!»— пропел он и остановился, чтоб передохнуть.— Что там?

— Разговорчики!— прикрикнул разводящий и даже постучал ключом о ключ. Но сейчас же и посочувствовал:— К врачу надо проситься! Что же ты так? Ведь вот еле идешь.

— Ничего! — ответил он.— Уже прошло. Пошли!

Пошли.

— Праздник там,— сказал солдат виновато.— Бал с призами.

Они поднялись на площадку и вышли в коридор. Там шел ремонт. Стояли ведра и банки. Пахло мокрой известью и олифой. Щит со стенгазетой «Залп» стоял у стены.

— Руки назад,— шепнул разводящий и постучался в кожаную дверь.

— Войдите,— ответили ему.

Они вошли. Задний конвойный остался стоять. Очевидно, его еще только натаскивали.

Нейман — такой же, как и месяц назад, румяный, культурный, чисто выбритый — сидел за столом и смотрел на него.

— Здравствуйте,— сказал Нейман.— Пожалуйста, вот сюда.— И указал на стул в углу.

Он подписал пропуск, отпустил солдата и поднял на Зыбина голубые круглые глаза, и опять Зыбин подметил в них то же выражение глубоко запрятанного страха и тревоги, но само-то лицо было ясно и спокойно.

— Как вы себя чувствуете?— спросил он.

— Ничего, спасибо.

— Не стоит благодарности. Но сейчас-то вы отдохнули, окрепли? Мы же нарочно вас не тревожили столько времени и перевели в наш самый тихий уголок. И следователя вам тоже сменили. Так что теперь у вас будет... Да! Войдите.

Вошла та высокая, красивая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже видел у Хрипушина. Не глядя на подследственного, она подошла сбоку к столу и положила перед Нейманом какую-то тонкую голубую папку. Тот открыл, посмотрел, радостно сказал «ну и отлично» и встал.

— Я буду у себя,— сказал он, выходя.— Позвоню.

Секретарша подождала, пока дверь закрылась, потом отодвинула кресло и села. «Да, распустилась сучка!— подумал Зыбин.— Только она, конечно, не Неймана, а кого-то повыше. У Неймана до таких штук еще нос не дорос. Небось какой-нибудь зам из Москвы прихватил. Но хороша! До черта хороша! Или мне с отвычки все уже кажутся красавицами? Да и так может быть. Ах ты канальство!»

Черноволосая сидела прямо, молчаливо улыбалась и давала себя разглядеть со всех сторон. Да на нее и следовало поглядеть, конечно. Все в ней было подобрано, подтянуто, схвачено; жакет в крупный бурый кубик, талия, манжеты, прическа, тугие часы-браслетка. Кажется, не русская, но и на еврейку, пожалуй, не похожа. Розовый маникюр. Лицо смугловатое, почти кремовое, с какой-то неуловимой матовой лиловатостью у глаз; брови вычерчены и подчищены. Синие загнутые ресницы. Взгляд от этого кажется каким-то мохнатым. Зато рот стандартный — такие выкроенные из малинового целлулоида губы можно увидеть в любой мало-мальски порядочной парикмахерской. В общем, отличная модель — года двадцать три, да тертая. «Интересно бы смотреть с ней в горы. Хотя нет, такие на меня не клюют. Я всегда у них в замаске. Вот Корнилов, тот сразу бы ее разобрал по кирпичикам. А сейчас он небось Лину обрабатывает. Ах ты дьявол!»

— Здравствуйте, Георгий Николаевич!— вдруг ласково и очень отчетливо сказала секретарша, но он думал о Лине, смешался и ответил невпопад:

— Здравствуйте, барышня.

Она улыбнулась.

— Да не барышня я, Георгий Николаевич.

«Да неужели ей еще и такое разрешают?! Ну Нейман! Ну болван! Сломаешь ты на ней себе умную голову»,— изумился он и сказал любезно, на штатских нотах:

— Извините, но не столь опытен, чтобы мог...

— Я ваш следователь, Георгий Николаевич,— мягко сказала она.

«Вот это номер,— ошалел он.— Ну, теперь держись, Мишка, начинается! Первая — психическая. Для слабонервных. Сейчас станет материться. Но против той, московской, наверно, все равно не потянет».

Про ту, московскую, он слышал года четыре назад. Рассказывали, что она не то начальник СПО — секретно-политического отдела, — не то его заместитель, во всяком случае не простая следовательница. Говорили также, что она из старой интеллигентной, либеральной семьи. Красива, культурна, утонченна, может и о Прусте поговорить и Сельвинского процитировать. А ее большие и малые загибы потрясали молодых воров. Они визжали от восторга, цитируя ее. Он же, слушая их, не восторгался и даже не улыбался, а просто верил, что она действительно сестра одной известной талантливой советской писательницы, специализировавшейся на бдительности, жена другого литератора, почти классика — его проходят в седьмом классе,— и свояченица генерального секретаря Союза писателей.

— Я просто вне себя от восторга,— сказал он,— видеть в этих мрачных стенах такую очаровательную женщину, слушать ее! Говорить с ней! О!

— Да уж вижу, вижу, Георгий Николаевич,— улыбнулась она почти добродушно.— Вижу ваш восторг и понимаю, чем он вызван. Ну что ж? Я тоже думаю, что мы столкнемся. Я человек нетребовательный, и много мне от вас не надо.

— Буду рад служить, если только смогу,— сказал он.

— Сможете, Георгий Николаевич, вполне сможете. Ничего сверхъестественного от вас мне не надо. Ваших интимных дел касаться не буду. В случае нашего доброго согласия могу даже устроить свидание в своем кабинете. А вы расскажите мне только о вашей поездке на Или. Вот и все. Сговорились?

— Буду рад...

— Ну, может быть, и не очень рады будете, но придется. И знаете почему? Потому что ругаться я с вами не буду: во-первых, не научилась, а во-вторых, как я понимаю, это не больно-то на вас и действует. Так?

— Святая истина, гражданочка следовательно, святые ваши слова! Я... Простите, вот не знаю вашего имени-отчества.

— Да, да! Давайте познакомимся,— улыбнулась она.— Следовательно Долидзе. Так вот, Георгий Николаевич...

— Извините, а имя-отчество?

— Да ни к чему оно, пожалуй, вам, мое имя-отчество-то. В наших же отношениях будет фигурировать только моя фамилия. Лейтенант Долидзе. Этого вполне достаточно. Так вот, Георгий Николаевич, говорить правду вам все-таки придется. Потому что если я увижу, что вы лжете или вертитесь, то попросту, не ругаясь и не нервничая, тихо и мирно отправлю вас в карцер, понимаете?

Он улыбнулся мягко и снисходительно.

— Вполне понимаю, гражданочка следовательно лейтенант Долидзе. Какое же это следствие без карцера? Это что, у тещи в гостях, что ли?

Она добродушно засмеялась.

— Знаю, знаю, как вы это умеете. Только не надо пока. С Хрипушиным еще это было хорошо, а со мной ни к чему...

— Слушаюсь, лейтенант... Нет, как хотите, а это невозможно. Вы меня вот называете по имени-отчеству, как милая и культурная женщина, а я вас должен, как хам какой-то, звать по фамилии, да по званию! Нехорошо. Я человек деликатный, это меня травмирует. Я смущаюсь.

— Ну хорошо,— сдалась она.— Тогда Тамара Георгиевна.

— Вот это уже другое дело. Прекрасное у вас имя и особенно отчество, Тамара Георгиевна. Мы, Георгии, чего-то стоим. Была бы у меня дочка, тоже была бы Георгиевна. Так вот в карцере я, Тамара Георгиевна, уже сидел. Десять суток там провел. Всю жизнь свою там продумал. Выйду — роман напишу.

Она покачала головой.

— Да нет, Георгий Николаевич, в таком вы еще не были. Я ведь вас в темный, в холодный отправлю. С мокрым полом, так что не ляжете и не сядете. И дует! В таком больше пяти суток не держат. Вот я вас через пять суток вызову и спрошу: «Ну что, будем говорить правду?» И тут может быть два случая: или вы скажете «нет» — и тогда я вас отправлю снова на пять суток и вы там, как говорится, дойдете, или вы скажете «да» — и мы с вами начнем по-деловому разговаривать, но тогда к чему же были вот эти пять суток? Ведь они тогда просто как налог на глупость.

«Ну, если ты сейчас поддашься,— сказал он себе, за этот месяц он научился разговаривать сам с собой,— если ты сейчас скривишься или состроишь морду, я просто, как горшок, расшибу тебя о стену, дурацкая башка! И будет тебе конец! Это совершенно серьезно, слышишь?» «Слышу,— ответила ему его дурацкая башка,— не беспокойся, не подведу. Все будет как надо».

— Ну что ж,— сказал он,— буду все эти пять суток думать о ваших черных глазах и вспоминать нашего великого поэта: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла». Она была ваша тетка и соотечественница.

Она поморщилась.

— Всякая историческая параллель рискованна, Георгий Николаевич, данная параллель — просто бессмысленна. Известно вам, чьи это слова? Тамара — феодальная царица, я — советский следователь, она избавлялась от любовников, я расследую дело преступника, ею двигала похоть, мной — долг. Так что, видите, ничего общего нет.

Ее кроткий деловой тон сбил его, и он впервые не нашелся.

Она посмотрела на него и сняла трубку.

— Да, вот так!.. В триста пятидесятью комнату за арестованным Зыбиным!.. Ну, во всяком случае, мы теперь познакомились. Для нас обоих будет лучше, если мы и сговоримся... Во всяком случае, запомните: и не зла и не коварна. И если что обещаю, то выполняю. Но если за что взялась, то выполню. Вот мне поручили ваше дело — и я его закончу. Даю вам в этом честное слово, Георгий Николаевич!

## Глава II

Было девять или десять часов вечера. Моросил дождичек — мелкий, серенький, прилипчивый. Длинные струйки текли по стеклу. И было ветрено; по двору на свет большого желтого фонаря летели листья. Дядька дня три уже находился в командировке. В кухне мыла полы и пела под нос что-то тягучее и божественное старушка Ниловна. А она вообразила себя школьницей, залезла в легкий синий, еще студенческий халатик да так до вечера и не вылезала из него. Сидела с ногами на софе, грызла огромное красное яблоко и думала: Гуляев при первом же деловом разговоре наедине, выслушав ее, сказал, что раз так, он просит ее представить ему докладную и изложить все свои доводы.

— Вы понимаете, — сказал Гуляев, — то, что вы и ваш дядя предлагаете, это, по существу, изменение всей формулы обвинения. И тут, конечно, встает вопрос: а зачем? Стойте, стойте! Есть новая инструкция: все дела такого рода, если они тянутся более полутора месяцев, посылают в Москву. Хрипушин обязательно этим воспользуется и подаст на вас рапорт. Вот я и размышляю, дорогая моя Тамара Георгиевна: а не лезем ли мы с вами с самого начала не туда, а? Потому что очень уж не хотелось бы, чтобы наш первый блин да вышел комом. Ведь мы тогда очень огорчим всех наших доброжелателей. Вы этого не боитесь, а?

Он говорил с ней уважительно, ласково смотрел в лицо, и она ему ответила так же:

— Нет, Петр Ильич. Вот вы сказали «дела такого рода». Так вот это как раз дело совершенно иного рода. За ним ясно выступает второй план.

Он поморщился.

— Ох уж эти мне планы — вторые, и третьи, и четвертые. Очень я их всегда боюсь! Ведь у нас не театр. («Значит, знает, что я два года проучилась в ГИТИСе», — быстро решила она.) У нас же следствие, то есть аресты, тюрьмы, карцеры, этапы, а не... Вот смотрите, — он слегка похлопал ладонью по папке, которая лежала перед ним, — оперативное дело по обвинению Зыбина Гэ Эн по статье пятьдесят восемь, пункт десятый, часть первая УК РСФСР. Девяносто шесть листов. Кончено и подшито. Но надо еще ведь и следственное. По нему и по нашей спецзаписке этот самый социально опасный и нехороший гражданин Зыбин безусловно получит свои законные восемь лет. А там будет видно. Вел это дело майор Хрипушин. Вел, правда, не с полным блеском, мы у него за это дело забираем и передаем вам. Теперь: чем же вы-то нас порадуете? Стойте, стойте! Все, что вы сказали, это ведь общие соображения, а я хотел бы знать, как вы поведете самое следствие. С чего начнете?

— С того, что задам этому социально опасному и нехорошему гражданину Зыбину всего-навсего один вопрос и послушаю, что он мне на него ответит: «Почему вам так внезапно понадобилось поехать на реку Или?»

— Ну, он вам нахально и скажет — этого ему не занимать: «Да ничего мне там особенного и не было надо. Просто купил водку, захватил девку да и поехал. Водку пить, а девку...» — Он засмеялся и вдруг закашлялся. И кашлял долго, мучительно, затяжно. — Ну и что

вы ему ответите?— сказал он, переводя дыхание и обтирая платком рот и лицо.— Ведь это и в самом деле не погранзона, не полигон, не секретное производство. Туда, может, еще полгорода по таким делам ездит.

Она хотела что-то возразить.

— Пойдите. Я-то вас понимаю: все это очень подозрительно. Сорвался внезапно, водки накупил невпроворот, девушку зачем-то захватил — и все это произошло в тот день, как приехала его раскрасавица, а тут еще и золото через пальцы утекло,— разумеется, что-то не так. Но все это будет иметь значение только при одном непременном условии: если у вас есть еще хотя бы один бесспорный козырь. Так вот ищите же его. Снова просмотрите все дело, проверьте все документы, перечитайте все протоколы, вызовите его самого, прочувствуйте хорошенько, что это за штука капитана Кука, и тогда уж бейте наотмашь этим козырем. А что у Хрипушина тут ничего не вытанцевалось — это пусть вас не смущает. Ведь известно: плохому танцору всегда... ну, скажем для деликатности, каблуки, что ли, мешают?— Он засмеялся и опять закашлялся и кашлял снова долго, сухо и мучительно.— И не слушайте дядю! — кричал он надсадно в перерывах.— Сами думайте! Сами!— Он вынул платок, обтер глаза — пальцы дрожали — и некоторое время сидел так, откинувшись на спинку кресла. Лицо его было совершенно пусто и черно. Она в испуге смотрела на него. Наконец он вздохнул, улыбнулся, выдвинул ящик стола, вынул из него плоскую красную бумажную коробочку, разорвал ее, достал пару белых шариков и положил себе в рот. Потом пододвинул коробку к ней.

— Попробуйте. Мятное драже. Специально для некурящих.

Она покачала головой.

— А я курю.

Он строго нахмурился.

— Девчонка! В институте, поди, научилась?

— Нет, еще в восьмом классе.

— Вот когда бы надо было вас выпороть,— сказал он мечтательно.— И здорово бы! А я уж свое три года как откурил!— Он опять пошарил в столе и достал коробочку папирос «Осман».— Будьте любезны. (Она покачала головой.) Да нет, курите, курите! — Он достал из кармана зажигалку и высек огонь.— Специально для курящих держу — никогда почему-то у них спичек не бывает.

Пришлось закурить. Гуляев сидел, перекатывал языком за щекой драже и улыбался.

— Вы к врачу-то обращались?— спросила она.

— А-а!— безнадежно и тихо отмахнулся он.

Тут ей вдруг стало очень жалко его, и она сказала:

— В общем-то, вы прекрасно выглядите.

— Да?— Он проглотил драже, зло улыбнулся, встал, вышел из-за стола, подошел к шкафу и поманил ее.

Она подошла, он одной рукой слегка обнял ее — вернее, только прикоснулся сзади к ее плечу тремя пальцами,— а другой распахнул дверцу. Косо метнулся и погас синий зеркальный свет.

— Посмотрите,— сказал он.

Стояли двое.

Красивая черная молодница — гибкая, длинноногая, длиннорукая, с целой бурей волос — и рядом, по плечо ей, заморыш в военном френче. Он казался почти черным от глубоких височных впадин и мертвенно-серой кожи, похожей на больничную клеенку, и особенно жалко выглядела его немощная лапка, лежащая на плече молодницы.

— Ну,— сказал он.— Как я, по-вашему, выгляжу? Хорошо?

Она не нашлась, что сказать, и они еще немного простояли так. Потом он снял руку с ее плеча, закрыл шкаф, возвратился к столу и сел.

— Ладно,— сказал он,— лет на десять меня еще хватит. А больше,

наверно, и нэ трэба. К этому времени уже коммунизм построят и всех нас в пожарники переведут. Будем в золотых касках ездить по городу. Чем плохо?

— И давно это у вас?— спросила она.

Он подумал.

— Да как сказать. Наверно, с детства, но в детстве я только так... покашливал. Да как же не кашлять? Для вас «проклятое старое время» — это так, сказка, а я-то его нахлебался досыта. У меня отец холодный сапожник был, то есть без вывески. Подметки и каблуки подкидывал. А жили мы, как полагаются, в подвале. Большая комната на пятых. Шестая — сестра матери из деревни с больным ребенком. Вот кричал, вот кричал! В комнате, как положено, всегда темно. Во-первых, окна маленькие, подвальные, их не намоешься, а во-вторых, на подоконниках вот та-акие бальзамини: матери они от какой-то старухи генеральши достались по наследству — она у нее пол мыла. Так мать их никому трогать не давала: «Это от чахотки первое средство — от них воздух лечебный». И действительно, — он усмехнулся, — чахоткой не болели. А это у меня бронхиальная астма после плеврита. Я в Сочи его схватил, в правительственной санатории. Вот такой анекдот.

— Ну от бронхиальной астмы не умирают, — сказала она.

— Хм! И как уверенно ведь говорите! От нее-то, положим, не умирают, а вот с ней-то умирают, да еще как! Ладно, давайте, как говорится, уж не будем. Так вот, девочка, берите дело и двигайте его со всей своей молодой энергией. Только не слушайте никого. Пошлите этих всех советчиков... — Он махнул рукой. — А мне подайте рапорт с подробным обоснованием, план следствия, чтоб я имел документ.

...И вот она сидела, перечитывала свои выписки, грызла яблоко и думала. На листке блокнота у нее было записано: «Изложить 3. весь план следствия. Ругаться не буду, буду сажать. Затем ответьте:

1) К чему была такая поспешность?

а) Именно в этот день?

б) С Кларой? Ведь приехала Лина;

в) Зачем столько водки — четыре пол-литра. Это на четырех здоровых человек. Кто ж они?

2) Что он думает о пропавшем золоте? (Его милицейская записка.)

3) Козырь».

После этого «kozyря» стояло множество вопросительных знаков — наверно, столько, сколько поставила рука, — и один большой восклицательный знак.

Позвонил телефон. Она сняла трубку. «Слушаю», — сказала она. В трубке молчали. «Да!» — повторила она. В трубке молчали и дышали. «Ну, когда надумаете, тогда и позвоните», — сказала она и бросила трубку.

Вошла Ниловна, сухонькая беленькая старушка с желтой ваткой в ухе: у нее постоянно что-то стреляло в виске.

— Звала?— спросила она.

— Ниловна, вы смотрите, какая красота! Держите!— И она ловко кинула старухе пару яблок.

— Спасибо. Не ем. Ну разве в чай для запаха. Вот видишь, — она пальцем обнажила сиреневую десну и показала бурые гнилушки, — только кутние и остались! Что звала-то?

— Да нет, это телефон зазвонил.

— А-а! Это у нас бывает. Станция путает. Кушать тут будешь или в столовую пойдешь?

— Да я уж накушатая, — ответила она. — А вы сами-то поели?

— Да неуж голодная буду сидеть?— усмехнулась Ниловна. — Тут тебе из библиотеки звонили, велели какую-то книгу, не то франсу, не то францию принести, если уж не нужна. Сказали, ты знаешь.

— Спасибо, Ниловна, знаю.

Она подошла к полкам — ходить все-таки приходилось, опираясь

на палочку: нога еще болела,— сняла «Жизнь Жанны д'Арк» Анатоля Франса, снова забралась на софу, открыла книгу на закладке и переписала в блокнот:

«3) Козырь??

„Прокуроры рисковали более, нежели остальные граждане, и не один, проходя по двору, где приводили в исполнение смертные приговоры, вероятно, размышлял о том, что не пройдет года, как его будут судить на этом месте“ (А. Франс, „Ж. Ж.“, стр. 177) — на полях написано хим. кар.: „А наши дураки ни о чем не размышляют и ничего не боятся — зря! На них и фонарей не хватит“».

Она наткнулась на эти отчеркнутые строки и пометку на поле, когда ей только что прислали эту книгу с посыльным и она стала ее просматривать. Тогда же она показала это место Якову Абрамовичу, он посмотрел и печально сказал: «Да, только почерк-то не его. Но все равно задержи, это вообще-то очень любопытно. Он тоже пользовался этой библиотекой». «А что, это вообще-то что-то стоит?» — спросила она. Он удивленно посмотрел на нее и негромко воскликнул: «Умница! Да это же готовые восемь лет!» Так книга у нее и осталась.

Снова зазвонил телефон. Теперь женский голос очень уверенно попросил Якова Абрамовича. Она ответила, что его нет. В трубке помолчали, а потом спросили, скоро ли он придет,— голос был молодой, гибкий и, как ей показалось, немного пьяный.

— Не знаю,— ответила она и предложила оставить телефон. (В трубке опять наступила тишина.) — Это говорит его племянница,— добавила она.

Тут, наверно, трубку на секунду отняли от уха, потому что она слышала перезвон стекла, голоса и обрывок фразы: «...предпочитаю чему угодно». Голос был грубый, мужской: очевидно, там пили.

— Да нет, ничего особенного,— сказала трубка,— это звонит одна из его знакомых.

— А-а,— сказала она.

— Из «Медео»,— добавила трубка, смущенно засмеялась и замялась.— Я просто хотела пригласить Якова Абрамовича на свои именины.

— Ах так,— сказала она,— ну спасибо. Позвольте вас тогда тоже поздравить. Я обязательно передам. Я его племянница.

В трубке помолчали, подумали и потом спросили:

— А вы тут живете?

— Да нет,— объяснила она словоохотливо.— Я недавно только приехала из Москвы. Закончила институт и приехала отдохнуть, а там видно будет. Может, работать буду.

— А здесь работы много,— заверила трубка.— Вы по дядиной специальности?

— По дядиной,— ответила она весело. Ей очень нравилось так трепаться с неизвестной женщиной.

— Здесь геологи очень требуются,— сказала трубка серьезно.— Так милости прошу и вас с дядей. Я теперь не в «Медео», правда, но это я ему позвоню, лично объясню. Меня звать Мариетта Ивановна.

— Спасибо, Мариетта Ивановна. Приеду. «Медео»— ведь это в горах?

— В самых, в самых горах. В ущелье. Только я-то теперь... не совсем там — ну да я еще позвоню. Праздновать-то там будем.— Трубка совсем успокоилась и сейчас просто ворковала. Наверно, там уже пили.

— Спасибо, спасибо, Мариетта Ивановна. Обязательно постараюсь приехать.

Она опустила трубку, усмехнулась и пошла на кухню. Ниловна стояла над столом и зубным порошком чистила ножи.

— Дозвонилась?— спросила Ниловна.

Она засмеялась и села на табуретку рядом со старухой.

— Вот пригласила Мариетта Ивановна из «Медео»,— сказала она.— Это далеко?

Ниловна положила нож.

— Так туда от зеленого базара автобусы ходят. Как сядешь, так на последней и слезешь. Дальше они не идут. А что это за Мариетта? Я ровно такой не слышала. Не та, что книгу приносила?

— Та, та самая! («Ах Яков Абрамович! Ах шустряк, геолог!»)

— Ну съезди, съезди, горы там замечательные! Мохнатая Сопка,— сказала Ниловна.— Там и перекусить, и отдохнуть, и заночевать есть где. Там, не доезжая три остановки, у вас ведь дом отдыха, меня раз туда Мария Саввишна возила, кто-то приезжал, так надо было залу убрать, посуду помыть...

— А дядя там часто живет? — спросила она.

— Яков Абрамович-то? Нет, их туда на аркане не затащишь. Их дело — вот! Волга, они на нее все летают да к морю. А туда нет. «А что я там не видел? Я на эти сопки каждый день из окна гляжу. Надоели!..» Вот и весь их разговор.

«Так, прекрасно,— подумала она, выходя от Ниловны.— Яков Абрамович, вы у меня в кармане! Мариетта Ивановна, скажи пожалуйста! А видать, молодая, стеснительная! Яков Абрамович, вы пропали!»

— Ну кого еще на ночь глядя Господь посылает!— проворчала Ниловна и пошла в переднюю.

Она же быстро юркнула к себе. Для гостей, конечно, поздно, но это не дядя — у него ключ.

В передней щелкнул замок и зазвенела цепочка. Молодой сочный бас — она узнала Мячина — произнес:

— А вот и его хозяйка! Марья Ниловна, молитвенница вы наша! Принимайте дорогого гостя! Это брат Якова Абрамовича — Роман Львович, наш самый-самый большой начальник.

— Ну-ну, не пугайте хозяйку! — сказал гость.— А где же наша молодая очаровательная родственница? Спит или в гостях?

Она тихонько наложила крючок и на цыпочках подошла к шкафу, бесшумно открыла его, посмотрела и сняла вечернее платье, но потом подумала, отложила его и вытащила строгий костюм в клетку.

Это был Штерн — десятая вода на киселе, ее троюродный или четверюродный дядя. В доме о нем почти не говорили, но после того, как она поступила в институт, его имя там ей приходилось слышать почти каждый день. Говорили, что это добродушный, обаятельный и страшноватый человек. Великий мастер своего дела. Остряк! Эрудит! О встрече с ним она мечтала давно.

Утром в дверь ее комнаты громко застучали, а затем веселый басок не то пропел, не то продекламировал:

Я пришел к тебе с рассветом  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно...

— С приветом, а не с рассветом,— поправила она с софы через дверь.

— Наплевать. Что оно та-та-та светом по та-та затрепетало! Вставайте, соня! Вы посмотрите, что на дворе-то делается!

Она открыла глаза и тотчас же зажмурилась. Вся комната была полна солнцем.

— Сколько сейчас?— спросила она.

— Здравствуйте пожалуйста! Уже полных десять. Вставайте, вставайте! Я уже и кофе сварил.

— Встаю,— сказала она.— Через десять минут буду.

— Да не через десять, а сию минуту! Сию минуту! А еще следовательно! Следовательно должен быть... Знаете, каким он должен быть? У-у! Ладно, вставайте, я расскажу вам, каким он должен быть.

Но в столовой она появилась не сразу. Сначала перед зеркалом бритвой подчистила брови — они у нее всегда норовили срастись,—потом прошла в ванную и пробыла там нарочно долго. Вышла с еще влажными волосами, свежая и сверкающая.

Роман Львович, толстенький, добродушенький, в полной форме, в ярком костюме приветствовал ее, стоя над кофейником. Она протянула ему руку, он почтительно приложился к ней.

— Вам крепкого?— спросил он.

Она кофе не пила, пила чай, но ответила, что да, самого крепкого, без молока.

— О, это по-нашему,— похвалил он.— Знаете, Екатерина Вторая раз угостила чашкой кофе фельдъегеря. Он только что прискакал к ней с пакетом, а она любила красивых молодых людей, так вот, когда он выпил ее кофе, у него закружилась голова. Вот какой кофе делали в старину!

Был Роман Львович роста невысокого, но сложения широкого и крепкого и так же, как и Яков Абрамович, лицом походил он на толстого полнощекоего младенца, радость мамы,— так в старину рисовали амуров, а на старых картах так, с раздутыми щеками, изображались четыре ветра. «А человек он хоть и не умнейший, но подлейший»,— вспомнила она чью-то сказанную про него в их доме фразу.

— Ну, дорогая, дайте хоть посмотреть на вас при солнце,— сказал Штерн,— а то вчера я вас даже и увидеть не сумел. Что вы так сразу скрылись?

— Ну, у вас были свои разговоры,— сказала она с легким уколом.

— У меня разговоры? С прокурором?— как будто удивился он.— Да нет, какие? О чем? Да, а брови и глаза-то у вас батюшкины. Давно, давно я не видел Георгия, как он?

Она слегка пожала плечами.

— Хорошо.

— А более конкретно?

— Жив, здоров, работает.

— И по-прежнему на пятый этаж бегом?— Он вздохнул.— Вот что значит родиться на Кавказе, а не в Смоленске или на Арбате. Скажите ему — когда мне будет совсем плохо, приползу и рухну у него в кабинете, потому что больше никому не верю. И я знаю — он все для меня сделает.

Она слегка улыбнулась. Да в том-то и дело, что для него, человека постороннего и ему неприятного, отец действительно сделает все. Георгий Долидзе был знаменитый сердечник — человек пылкий, страстный, взрывчатый; спортсмен, альпинист, охотник, прекрасный товарищ, заботливый, как все считали, семьянин, из таких, которые не потерпят, чтоб их семья нуждалась в чем-то, но в то же время — и это почти никто не знал — совершенно к этой семье равнодушный. Равнодушен он был и к дочери. И из этого самого равнодушия, вернее ласкового безразличья, так и не поинтересовался, в какой именно юридический институт она поступила, бросив ГИТИС, и что ее кольнуло бросить его на четвертом курсе. Родственников же со стороны матери Георгий Долидзе совершенно не терпел, хотя говорил об этом мало и слова об «умнейшем и подлейшем» принадлежали не ему — Штерна он вообще даже и очень умным не считал.

— Да, давненько, давненько мы с вами не виделись,— сказал Роман Львович.— Последний раз я был у вас когда?— Он задумался.— Да, летом двадцать восьмого года. Тогда привез я вам из Тбилиси от родственников ящик «дамских пальчиков». Вот ведь когда я вас увидел в первый раз. Вы тогда в саду играли в индейцев. Так с луком я вас и помню. Лихой индеец вы были! Волосы на лицо, а в них белые перья какие-то! Помните, а?— Он засмеялся.

Она не помнила, конечно, но воскликнула: «Конечно!» И так искренне, что сама себе удивилась. (Опять эти обрыдшие ей индейцы!

Этот проклятый лук и стрелы. Взрослые решили за нее, что она обязательно должна запоем читать Майн Рида, бредить индейцами, скальпами, бизонами, томагавками, и она, чтоб не подвести их, с воинственными криками носилась по саду, собирала гусиные перья и пачкала лицо дикими разводами под глазами — марать одежду ей запрещали.)

— Да! А вот теперь застаю такую очаровательную взрослую племянницу. Это, конечно, всего приятнее. Я слышал, вы тут будете стажироваться?

— Работать я тут буду, Роман Львович, — сказала она, — служить. Меня берут по разверстке. Я еще думаю тут собрать материал для диссертации.

— Это на какую же тему? — спросил он.

— «Основы тактики предварительного следствия по делам об КР агитации». — Она отбарабанила это быстро, не задумываясь, потому что эту тему ей подсказал и сформулировал руководитель кафедры, в которого она была давно и, видимо, безнадежно влюблена. Тот самый молодой специалист по праву, которого однажды пригласили в ГИТИС консультантом на учебную постановку их курса. Тогда они и стали встречаться.

— О-о, — сказал Штерн уважительно и стал вдруг очень серьезен. — Прекрасная тема. Но и труднейшая. Всецело связанная, во-первых, с новым учением товарища Вышинского о преступном соучастии и сообществе — знаете? слышали? это не гроздь, а цепочка, — а во-вторых, с новой советской теорией косвенных улик. Мы, советские правоведы, впервые... С сахаром, с сахаром! — закричал он и сунул ей сахарницу. — Два куска на чашку! И пейте мелкими глотками. А ГИТИС что же? (Она слегка повела плечами. Так ли, не так ли, а уже не переиграешь, и потом, это куда более теплое и верное место под солнцем.) — Он отчески положил ей руку на плечо. — Ничего, — сказал он, — жалеть не будете. Я вот тоже готовился стать писателем!

— Но вы же и есть крупный писатель! — сказала она.

Он махнул рукой, и на его лице промелькнуло и исчезло быстрое выражение боли, наверно, впрочем, наигранное.

— А-а, что там говорить! Прокурор я! Прокурор Прокурорыч, самый доподлинный работник надзора! И все!

— Ну вот видите, а сначала учились в Брюсовском институте. Это я вам отвечаю на ваш вопрос.

— Понимаю. Простите. Ну, со мной все было проще простого. Просто сунули мне в комитете комсомольскую путевку и сказали: «С завтрашнего дня будешь ходить не сюда, а туда». Вот и все. Я и пошел не сюда, а туда. С тех пор и хожу.

— И не жалели?

— Ну как то есть не жалел? Очень даже жалел. Спал плохо. Бежать хотел, комсомольский билет забросить. Ну еще бы! Мечтал о доблести, о подвиге, о славе, а тут зубри судебную статистику, дежурь в отделении, составляя протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Да еще и на вскрытие потащат. А люди-то какие? Товарищи — это милиционеры, агенты, сексоты, патологоанатомы, а противники — абортмахерши, бандерши, карманники, убийцы — тьфу! И всю, значит, жизнь с ними?! А в той жизни остались и литература, и Художественный театр, и Блок, и Чехов, и Пушкин, и Шекспир — вот как я думал тогда.

— А в результате через несколько лет стали известнейшим писателем, — польстила она. — Ваш «Поединок» в «Известиях» у нас ходил с лекции на лекцию целую неделю.

Он слегка поморщился.

— Да ведь это однодневка, очаровательница. (Подбирал же он подходящие словечки.) Прочел — и в урну его! На полках такие вещи не стоят. Нет, моя любя, настоящую вещь я напишу, если хватит силенок, лет так через десять — пятнадцать, когда выйду на пенсию, а

это все так — вехи, вехи! Этапы большого пути! Да, писателем я не стал. Но,— он строго нахмурился,— то, что я выбрал именно эту дорогу, я теперь не раскаиваюсь! Нет! Тысячу раз нет! И знаете почему? Потому что скоро понял, что никуда я от того же Чехова и Шекспира не ушел. Все они оказались со мной, в моем кабинете.— Она хотела что-то сказать, он он перебил ее.— Стойте! Слушайте! Вот приходит ко мне человек. Ну, скажем, раз уж мы об этом заговорили, герой «Поединка», то есть тот врач, судебный эксперт, который убил на квартире свою жену, разрубил ее на куски, а потом пришел ко мне в прокуратуру ее искать. Мы здороваемся, я усаживаю его, любезно осведомляюсь о здоровье, о настроении. Он скорбно улыбается: «Ну какое там настроение, когда у меня такое горе!» «Понимаю, понимаю! Ищем, принимаем меры! Авось найдем!» Вот так сидим, курим, потом переходим к самой сути. Тоже полегонечку. Я подвигаю к себе бланк протокола допроса свидетеля. Ничего особенного. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Записываю все беспрекословно. Он уж успокоился. И тут вдруг я высываю уголочек своего джокера: «А скажите, уважаемый коллега, почему, если, как вы предполагаете, ваша жена ушла от вас с кем-то, осталась ее любимая серебряная пудреница? Ведь женщины с такими вещами не любят расставаться». Он смотрит на меня. Я на него. И он сразу все понял, молодец, быстро парирует: «Это был мой подарок ей в день свадьбы, она, наверно, не хотела его брать». Ну что ж? Деловой ответ, но уже все, все! Что-то щелкнуло во мне, и вот человек, сидящий передо мной, редеет, редеет, и выступает совсем иное лицо — преступника, убийцы, не теперешнего, а того, прошлого, который убил жену и расчленил ее труп на части; и я уж ясно представляю, как это он сделал, что при этом думал и как заметал следы. И он понимает тоже, что я расколол его, и начинает вдруг метаться, путаться, проговариваться, завираться. Страх все перепутал, все сместил. Ведь до сих пор он жил в одиночке, отгородившись от всех, и думал, что нет к нему входа никому, и вот вдруг дверь распахнулась — и на пороге стою я. Все! Соппротивление кончено, и он сдается.

— Как тот врач?— спросила она.

Роман Львович бросил на нее быстрый острый взгляд, встал и подошел к окну. За окном был мирный, обычный двор, акации, зной, пыльные мальвы, обессилевшие куры в пыльных ямках, солнцепек и розовые, синие маки на проволоке. Он постоял, посмотрел, вернулся к столу, сел и спросил:

— Ну, еще кофею?

Это дело с врачом кончилось тайным, но грандиозным провалом. После вынесения смертного приговора убийце (а он был осужден как террорист. Ну как же! Разве советские люди убивают? Значит, убийца — личность антисоветская. Так по какой причине антисоветчик может убить советского человека — свою жену? Только потому, что его жена, как человек советский, хотела разоблачить антисоветчика. Значит, это не простое убийство, а убийство на политической почве, то есть террор), — так вот после объявления приговора в зале появилась вдруг убитая. Дело в том, что Роман Львович перемудрил. Слишком уж широко он пустил по свету историю врача-убийцы. И попался номер «Известий» с его «Поединком» и к соседям убитой. А она в то время уже третий год преотлично жила на Дальнем Востоке с новым мужем. Но ведь есть люди, которым всегда нужно больше всех. Начались скандалы. Пришел участковый. Составил протокол. Пришлось срочно ехать в Москву и являться. Никому другому, кроме Романа Львовича, эта дурацкая хохма не сошла бы с рук — но как можно обидеть такого чистого, прекрасного, наивного, честнейшего человека? Ни у кого из властей на это рука не поднялась бы! Только посмеялись и ткнули: «Вот! И не считай себя тоже богом!» — и поместили в каких-то закрытых бюллетенях статью в рубрике «Из судебной практики».

— Да,— продолжал Роман Львович, отодвигая чашку,— преступ-

ника надо отпереть, как запертый сейф, и вот вы равномерно перебираете ключи — один, другой, третий. Не дай Бог вам нервничать! Это только покажет ваше бессилие. Нет, будьте спокойны, улыбайтесь и пускайте в ход ключи: психологический, логический, эмоциональный и наконец — увы! — когда это необходимо, большой грубый ключ физического принуждения. Пусть он будет у вас последний, но и самый надежный. Понятно? Самый надежный!

— Не совсем, — сказала она. — Что это такое... Бить? Ругаться? Он поморщился.

— Ну, товарищ следователь, от вас я таких вопросов мог бы меньше всего ожидать! Люба моя! — закричал он. — А вы умеете, умеете вы бить, ругаться? Так что же вы спрашиваете? Не бить и не ругаться, а просто подать рапорт — вам в институте объяснили, что это такое? Так вот, подать рапорт начальнику, а у него уж там есть карцеры на любой вкус: и холодные, и горячие, и стоячие, и темные, и с прожекторами, и просто боксы, а для самых буйных мокрая смирительная рубаха из хо-орошего сурового холста. Люди после нее становятся добрыми и послушными! Но это надо сделать вовремя, вовремя — не раньше и не позже, а в некий совершенно определенный момент. И тут я вам скажу: вы не зря были в ГИТИСе. Это великая школа для следователя. Все всецело зависит от вашей способности входить в образ, перевоплощаться. В этом и писатель, и следователь, и артист едины. Потому что если такая способность у следователя отсутствует, то грош ему цена. Ломаный! Если он не чувствует, что такое трагизм мысли... а ведь даже из наших великих мало-мало кто понимал, с чем эту штуку кушают! Достоевский — вот это да! Этот понимал! Я часто думаю: какой бы из него следователь вышел! Вот с кем бы мне поработать! Он знал, где таится преступление! В мозгу! Мысль — преступна. Вот что он знал! Сама мысль! Это после него уже забыли накрепко! Все начинается с нее — задушите ее в зародыше, и не будет преступления. Да, так вот, если следователь не способен понять всего этого, ему у нас делать нечего, пусть идет в милицию. Там всегда нужда в честных и исполнительных. А нам нужны творцы.

— Так, значит, следователь — творец? — спросила она.

На следующий день был выходной. К четырем она уже кончила докладную записку и отпечатала ее на дядюшкином «ундервуде». Тут к ней и поступался Роман Львович.

Он только что вернулся из наркомата и весь сиял и лучился.

— Ну племянница! — сказал он, входя. — Ну умница! Очаровали вы нашего почтеннейшего гомункула. После делового разговора — я тут выполняю одно препотешное поручение, после расскажу — он меня вдруг спрашивает: «Ну а как вы отнеслись к тому, что ваша племянница стала нашей сотрудницей?» И так лукаво-лукаво на меня смотрит. «Ну как, — говорю, — радуюсь и горжусь». «Да, — говорит, — она у вас, видать, умница». «А в нашем роду, уважаемый Петр Ильич, — отвечаю ему, — дураков не бывало, я — самый глупый!» — Он довольно засмеялся. — Вы его слушайте. Он с башкой и, как ни странно, человек не особенно плохой. И всегда может подсказать что-то дельное. Ну, пошли пить кофе.

В столовой он сказал еще:

— И узнал я от него, что он отобрал от Хрипушина и передал вам дело Зыбина. Знал я этого Георгия Николаевича когда-то.

— Вот как! — негромко воскликнула она.

— Да, было такое! Встретились в Анапе. — Он разлил кофе по чашечкам. У Якова Абрамовича были специальные, крошечные, розовые, тончайшие, почти прозрачные. — Даже раз выпили с ним. Было, было дело. Впрочем, с тех пор три года прошло. Теперь он, наверно, переменялся.

— А каким он был тогда? — спросила она.

Он засмеялся.

— Тот типус! Очень себе на уме. Скользкий, увертливый. Хотел быть душою общества. Таскался там с одной дамочкой и всех зазывал в свою компанию. Ну и меня подхватил. Прямо с пляжа. Скука была страшная, и я пошел. Ездили мы на какую-то экскурсию, пили, пели, она что-то там читала. Кстати, и она тоже сюда прилетела! Вам, наверно, придется ее вызывать, хотя глубоко уверен, что это бесполезно: хитрейшая баба! Да, а почему я не нашел в деле вашего протокола? Ведь вы уже встречались.

— Именно мы только встречались, — улыбнулась она.

— Ну и ваше впечатление?

— Да, пожалуй, похоже на ваше. Хитрый и скрытный. Все время стремится прощупать. Не прочь, пожалуй, спровоцировать на крик и ругань. Но я его предупредила, что ругаться с ним не буду.

— Правильно! — воскликнул он. — Умница!

— Да и уговаривать тоже.

— Правильно.

— Но если он будет саботировать следствие или затеет со мной игру в жмурки, я его просто отправлю в карцер.

— Вот это уж, пожалуй, неправильно. То есть правильно, но рано. Подследственный ничего не должен знать о ваших планах. Это одно из неперемных условий. Ну, в данном-то случае это, положим, не важно, но вообще-то все повороты в ходе следствия должны следовать абсолютно неожиданно. В особенности с такими, как Зыбин, — это тип, тип! Я видел, как он с этой дамочкой обрабатывал одного — правда, тот оказался хитрее, но тут им все было пущено в ход: лодка, водка, луна, гитара! Ну а как он держится, скажите?

— Очень раскованно! Как в гостях! Я смотрела протоколы Хрипушина. Страшно много накладок. Очевидно, их все придется уничтожить: ничего существенного там нет. А следовательно, кажется, опытный, так что странно.

Штерн посмотрел на нее и усмехнулся.

— А Гуляев вам ничего не объяснял? (Она покачала головой.) А Яков Абрамович?.. Ну ясно! Кому охота сознаваться в своих глупостях? А тут даже и не глупость, а политическая незрелость. Они же, олухи царя небесного, да простит мне Бог, что так про своего любимого брата говорю, они, олухи, хотели тут, в Алма-Ате, большой групповой процесс организовать: вредительство в области литературы, науки и искусства в Казахстане. Этот несчастный Зыбин — авантюрист и пройда — должен был быть главным обвиняемым. С его показаний все бы и началось. У них еще с десятков подсудимых намечалось. В общем, все, как в Москве, — с полосами в газетах, речью прокурора, кинохроникой и все такое. Тут на них из Москвы хорошенько и цыкнули. Это что вам за всесоюзный культурный центр — Алма-Ата! Почему все вредители туда переползли, а Москва чем же им не понравилась? А во-вторых, если уж хотите организовывать процесс, то прежде всего начинайте трясти алашординцев, националистов и прочую нечисть, их тут хватает, а при чем тут русские? Это же политически неграмотно. Русские в России вредят, а казахи в Казахстане! Зачем же все путать и затушевывать националистическую-то опасность? Для Зыбина же облсуда, в крайнем случае ОСО, хватит. Вам никто ничего не говорил об этом?

— Нет.

— Ну конечно! И хорошо, что арестованный сразу не поддался, очевидно, почувствовал что-то не то, а то стал бы валить одного за другим, и наломали бы они дров. Такие дела делаются только по прямому указанию Москвы, а они, видишь, хотели сюрприз ей преподнести. А потом и совсем скандал разыгрался. Каким-то образом все это дошло до директора музея: вот, мол, что хотят устроить. В общем, кто-то его предупредил. Тот, не будь дурак, — в Москву. Добился прие-

ма и все там изложил. Человек он умный, грамотный, весь в орденах, все подал как нужно. В результате и нагоняй. А что теперь делать с Зыбиным? Вот следствие и забегало. Пускать просто по десятому пункту — обидно, пускать по измене родине — невозможно. Вот придумали сейчас какое-то пропавшее золото двухтысячелетней давности! Сказка! Опера! Что вы качаете головой?

— Золото не выдуманно, — сказала она. — Оно действительно было. Вот послушайте...

И она стала ему рассказывать. Он выслушал до конца не перебивая и сказал серьезно:

— Да, если все обстоит действительно так, как вы изложили, то да, этим стоит заняться. Тайнственная пропажа, посещение ларешницы, таинственный отъезд, водка на четырех человек... и никто из них не известен. Ах, ну что же они, идиоты, не дали этому Зыбину доделывать все до конца? Ведь все бы сейчас было в наших руках! Ну идиоты! У вас уже есть план допроса? Ну-ка покажите.

Он прочел план до конца и потом сказал:

— Молодец! Умница! Действуйте. Я только чуть-чуть изменил бы редакцию вопросов. Ну-ка пойдем к вам, посоветуемся.

Она вызвала на допрос деда Середу — столяра центрального музея. Старик оказался широк в кости, высок и крепок. На нем был брезентовый дождевик — такие нестигаемые и нескораемые носят возчики — и крепкие кирзовые сапоги в цементных брызгах. Снять дождевик он отказался, сказал, что только из столярки, а там краски, клей, опилки, стружка, как бы не запачкать дорогую мебель. Она не настаивала. Так он и сидел перед ней — большой, серо-желтый, каменный, расставив круглые колени, и вертел в руках огромный бурый платок.

Лицом он был хотя и темен, но чист, брил щеки и носил усы. А нос был как у всех пьющих стариков — сизый и с прожилками.

Она поначалу пыталась его разговорить, но отвечал он односложно, натужно, иногда угодливо смеялся, и она, поняв, что толку не будет, перешла на анкету. Тут уж пошло как по маслу. Старик на все вопросы отвечал точно и подробно.

Кончив писать, она отложила немецкую самописку с золотым пером и спросила Середу, как к нему обращался Зыбин. Старик не понял. Она объяснила: ну по имени, по имени-отчеству, по фамилии — как?

— Дед! — твердо отрезал старик. — Он меня дедом звал.

Она покачала головой.

— Что же это он вас в старики-то сразу записал? Ведь вы же еще совсем не старый.

Он слегка развел большими пальцами рук.

— Звал.

— А вы его как?

Старик опять не понял. Она объяснила, ну как он к нему обращался — по имени, отчеству, фамилии — как?

— А я его, конечно, больше по имени, ну иногда по отчеству, а если при чужих людях, то, конечно, только товарищ, товарищ Зыбин.

— Значит, вы были в довольно-таки близких отношениях, так? Ну и какое он производил на вас впечатление? (Старик поднес платок к лицу и стал тереть подбородок.) Ну, резкий он, грубый или, наоборот, вежливый, обходительный, как говорится, народный?

Старик отнял платок от лица.

— Я ничего от него плохого не видел.

— А другие?

— Про других не знаю.

— Ну как же так? Ведь вот он вас «дед», вы его по отчеству, значит, были в приятельских отношениях. Так как же не знали-то?

— Хм!— усмехнулся старик.— Какое же у нас может быть приятельство? Он сотрудник, ученый человек, а я столяр, мужик, вот фамилию еле могу накорябать — так какое же такое приятельство? Он мне во внуки годится.

— Ну и что из этого?

— Как что из этого? Очень даже много из этого. У него и мысли-то, когда он отдыхает, все не такие, как у меня.

— А какие же?

— Да такие! Пустяшные! Познакомиться, встретиться там с какой-нибудь, компанией куда-нибудь смотреть, патефон еще забрать, пластинки добыть — вот что у него на уме. Какое же тут приятельство? Удивляюсь!

— А вы, значит, во всем этом не участвовали?

— Да в чем я мог участвовать? В чем? В каких его компаниях? Вон где вся моя компания — на кладбище!

— Ну какие же страсти вы говорите!— рассмеялась она.— Вы совсем еще молодец! Мой дед в восемьдесят на двадцатилетней жене. (Старик молчал и рассматривал бурый ноготь на большом пальце.) Ну а выпить-то вы с ним выпивали?

— Было,— ответил дед.

— Было! И часто?

— Счета я, конечно, не вел, но если подносил, как я мог отказаться?

— Ну да, да, конечно, не могли. Так вот, пили и говорили? Так?

Дед подумал и ответил:

— Ну не молчали.

— О чем же говорили-то?

— О разном.

— Ну а например?

— Ну вот, например: в этом году яблок будет много — они через год хорошо родятся. Надо посылку собрать. Ты мне, дед, ящики с дырками сбей, чтоб яблоки дышали. Или: что это у нас перед музеем роют — неужели опять хотят фонтан строить? Или: я кумыс никак не уважаю, у меня от него живот крутит. Ну вот!— Дед улыбнулся.

— Ну а о себе он вам что-нибудь рассказывал? Как он раньше жил, почему сюда приехал? Долго ли тут еще будет?

— Нет, этого он не любил. Он все больше шутейно говорил! Смеялся.

— Над чем же, дедушка?

Дед сидел, подумал, а потом мрачно отрезал:

— Над властью не надсмеивался.

— А над чем же?

— Над разным. Вот массовичку нашу не любил, над ней надсмеивался.

— А еще над кем?

— Ну над кем? Мне тогда это было без внимания. Ну вот секретарша главная в научной библиотеке была. Что-то они там не поладили. На нее он здорово серчал.

— За то, что не поладили?

— Нет, за падчерицу.

Она подвинула к себе протокол.

— А что с ней? Он что-нибудь там...

— Нет,— дед резко крутанул головой.— Отца ее, врача, забрали, а секретарша все вещи его попрятала, а дочку перестала кормить: «Ты мне не дочь и иди куда хочешь». Так она по людям ходила ночевать. Вот ее он очень жалковал. Меня спрашивал: может, ее к нам в сменные билетерши взять? Я говорю: «Поговори с директором». «Поговорю». Вот не успел.

Старик замолк и стал снова рассматривать большой палец.

— Что, болит?— спросила она участливо.

— Да вот молотком по нему траханул. Сойдет теперь ноготь. Помолчали.

— Жалко вам его?

Он поднял голову и посмотрел на нее.

— Ничего мне не жалко! Что мне, сват он, брат, что ли? Всех не пережалеешь,— сказал он досадливо.

— Ну хорошо,— сказала она,— а вот золото у вас пропало.

Старик молчал.

— Да ведь как пропало-то? Прямо из музея утекло. Что ж он так недоглядел? Это как, по-вашему? Его вина?

— Не было его вины. Он тогда в горах сидел. Мы его туда извещать ездили. А был бы он — он бы этих артистов с первого взгляда понял.

— А что же ему понимать? Он же их хорошо знал.— Она как будто удивленно посмотрела на старика.— Ну что ж вы, бабушка, говорите? Он же отлично их знал! Отлично! Нет уж, тут не надо вам...

Старик молчал.

— И он же вам сам говорил, что их знает?

Старик молчал.

— Ну говорил же?

— Никак нет,— ответил старик твердо.— Этого не говорил.

— Ну как же так? — Она даже слегка всплеснула руками.— Как же не говорил, когда говорил. Он и сейчас этого не скрывает.

Старик молчал.

— И они вам тоже говорили, ну, когда вы сидели с ними в этой самой... Ну как ее зовут, стекляшка, что ли?

— Так точно, стекляшка-с! — Старик ответил строго, по-солдатски и даже «ерс» прибавил для официальности.

Она поглядела на него, поняла, что больше ничего уж не добьешься и сказала:

— Ну хорошо, оставим пока это. А как вообще он жил? Ведь вы же у него бывали.

— Ну как жил, как вобще все люди живут. Бедно. Только в комнате ничего, кроме кровати да стульев. Ну книги еще. Посуда там какая-то. Ну вот и все.

— А как к нему люди относились?

— А какие как. Плохого от него никто не видел. Если какой рабочий попросит на кружку — никогда не отказывал. Ребят леденцами оделял. Они увидят его — бегут.

— А еще кто с ним жил?

— Кто? Кошка жила. Дикая. Кася! Он ее где-то в горах еще котенком в камышах нашел. С пальца выкармливал. Зайдешь к нему рано — они постоянно вместе спят. Он клубком, она вытянувшись. Касей ее звал. Высунется из окна: «Кася, Кася, где ты?» Она к нему! Через весь двор! Стрелой! Знаменитая кошка!

— А сейчас она где?

— Забрал кто-то. А все равно каждое утро она в окно к нему лезет. Дверь-то запечатана, так она в окно. Мявчит, мявчит, тычется мордой, стучит в стекло лапами. Ну потом кто-то выйдет, скажет ей: «Ну чего ты, Кася? Нет его тут». Она сразу же как сквозь землю.

— А наутро опять?

— Обязательно. Опять! Я вот вчера шел по парку. Слышу: сзади ровно она мявкает. Остановился. А она стоит и смотрит на меня во все глаза. Забрали его, говорю, Кася, больше его уж тут не будет, и не жди. А она смотрит на меня, как человек, и в глазах слезы. Мне даже страшно стало. А хотел ее погладить — метнулась, и нет!

— Так что же? Она теперь бродячая? — Ей почему-то стало очень жалко дикую кошку Касю, в их доме кошек любили.

— Да нет, не похоже, гладкая! Нет! Забрал ее кто-то к себе.

— Что ж, он так кошек любит?

— Так он всякую живность любил. Соколенка ему раз ребята принесли, из гнезда выпал. Так тоже выкормил. Все руки тот ему обклевал, а такой большой, красивый вырос. Яшей он его звал. «Яша, Яша!» — Яша прямо с комеля ему на плечо. Сядет, голову наклонит и засматривает ему прямо в глаза. Так было хорошо на них смотреть.

— И уживался с кошкой?

— А что им не уживаться? Он вверху, на болдюре, она на кровати или на усадьбе мышкует. А вечером он придет с работы, принесет нарезанного мяса и кормит их вместе. Очень утешно было на них смотреть. Ребята со всех дворов сбегались.

— Да вот, кстати,— напомнила она и открыла дело,— вы рассказывали следователю одиннадцатого сентября, читаю показания. Слушайте внимательно. «Вопрос: Как вы знали научного сотрудника Центрального музея Казахстана Георгия Николаевича Зыбина?— Она взглянула на деда.— Ответ: Георгия Николаевича Зыбина я знаю как разложившегося человека. Он постоянно устраивал у себя ночные пьянки со случайными женщинами и подозрительными женщинами. Даже дети были возмущены его оргиями»,— вот даже как,— усмехнулась она,— «оргиями»... Дедушка, а что такое «оргия»?

Дед усмехнулся:

— Ну, когда пьют, орут...

— Понятно! Раз орут — значит, оргии. Но откуда же ночью дети? Или он и днем? А как же тогда директор?.. «Когда однажды сын нашей сотрудницы попросил его прекратить эти безобразия, он обругал его нецензурно, задев его мать. Она с возмущением рассказала мне про это». А почему фамилии нет? Кто это такая?

— Да Смирнова же! Зоя Николаевна же она!— болезненно сморщился дед.

— А-а.— Ей сразу стало все ясно: в протоколе о Смирновой было записано: «Отношения неприязненные».— Так почему они все ссорились? Из-за этих вот пьянок?

— Да нет. Она и в этом доме не живет. Из-за портретов. Ну висели у нас портреты тружеников полей. Зоя Николаевна и говорит: «Снять! Они год назад были труженики, а сейчас они, очень легко может быть, вредители. Берите лестницу и снимайте!» А он нет. «Вы что же,— говорит,— целому народу не доверяете? Нельзя так». Вот и поругались. Я тогда же все это рассказывал, только следователь записывать не стал.

— Ну а что же с мальчишкой было?

— А с мальчишкой этим при моих глазах было. Подбегает ее мальчишка к Зыбину, скосил глаза и спрашивает, свиненок: «Дядя Жо-ора, а что это к ва-ам всякие женщины хо-одят, а?»— Дед очень натурально и голосом и глазами изобразил этого свиненка.— А Георгий-то Николаевич усмехнулся и говорит: «Скажи своей маме — женщины тоже люди, потому и ходят. Понял? Так точно и скажи».

— Понятно. «...Допускал в разговорах резкие выпады против советской власти, рассказывал антисоветские анекдоты, клеветал на мероприятия партии и правительства». Было это?

Дед хмыкнул.

— Так было это, дедушка, или нет?

— Раз тут записано — значит, было.

Она строго поглядела на него.

— То есть как это «раз тут записано»? Вы это бросьте. Здесь записано только то, что вы говорили. Так что давайте уж не будем.

Дед молчал. Она поднесла ему протокол.

— Ваша это подпись? Экспертизы не надо? Не отрекаетесь?

— Так точно, не надо,— вытянулся дед.

— А от того, что записано, тоже нет? Так вот, мы вам дадим оч-

ную ставку с Зыбиным, и вы это все ему повторите. (Старик пожал плечами и отвернулся.) Ну что вы опять? Не желаете очной ставки?

Старик усмехнулся.

— Ну равно в гостях разговариваете. Ей-Богу! «Желаете — не желаете». Да что я тут могу желать или не желать? Тут ничего моего нет, тут все ваше. Надо — давайте!

— А вы сами не хотите его увидеть?

— А что мне хотеть? Какая мне радость видеть арестанта? Зачем я ему нужен? Чтобы потопить его вернее? Так он и без меня не выплывет. Вон какие стены! Капитальное строительство! Мы такие только в монастырях клали!

Тут она вдруг поняла, что, идя сюда, дед, наверно, пропустил малость и сейчас ему ударяет в голову. Она быстро подписала пропуск и сказала ласково: «Идемте, я вас провожу».

Дед неуклюже поднялся было с места, но что-то замешкался, что-то завозился, и тут она увидела, что на стуле стоит туго стянутый узел — красный платок в горошек.

— Что это? — спросила она.

Дед засопел и развел бурными руками.

— Да вот, — сказал он неловко, — яблочки. Может, разрешается. Шел сюда — ребята сунули. Это, мол, с тех мест, где он копал. Может, передадите, а?

Но как же он, старый черт, умудрился протащить этакий узлище? Хотя в этом дождевике... Так вот почему он не хотел его снимать! Вот дед!

— Эх, дедушка Середа! — сказала она. — Ну к чему это?

Голос у нее звучал неуверенно. В ней что-то ровно повернулось не в ту сторону. Она могла взять и передать этот узелок Зыбину. Вполне могла! Подобную ситуацию даже, пожалуй, следовало разработать в диссертации о следственной практике: резкий эмоциональный поворот, положительная эмоция, исходящая от следователя и своей неожиданностью разбивающая привычный стереотип поведения преступника. Это все так. И все-таки... все-таки... Она словно чувствовала, что с этой передачей далеко не все ладно. Есть в ней особый смысл, привкус каких-то особых отношений, и он-то — этот смысл — собьет столку не только арестанта, но и следователя. Она еще не понимала, как и чем опасен этот узелок — старик торопливо отдернул край платка, и тогда сверкнули крутобокие огненные яблоки, расписанные багровыми вихрями и зеленью, — но она совершенно ясно чувствовала, что эти яблоки и следствие — вещи несовместные. И тут она, кажется, впервые подумала о том, что же такое вот это следствие. В духе следствия — вот этого следствия, по таким делам, в таком кабинете, с такими следователями — была развеселая хамская беспардонность и непорядочность. Но непорядочность узаконенная, установленная практикой и теорией. Здесь можно было творить что угодно, прикармливать при обысках деньги, материться, драться, шантажировать, морить бессонницей, карцерами, голодом, вымогать, клясться честью или партбилетом, подделывать подписи, документы, протоколы, ржать, когда упоминали о конституции («И ты еще, болван, веришь в нее!») Это действовало как удар в подбородок, — это все было вполне в правилах этого дома; строжайше запрещалось только одно — хоть на йоту поддаться правде; старика заставляли лгать (впрочем, зачем лгать? Просто ему дали подписать раз навсегда выработанные формулы. Так, милиция всегда в протоколах пишет «нецензурно выражался») — и это было правильно; то, что она, приняв по эстафете эту ложь, или, вернее, условную правду эту, собиралась укрепить и узаконить ее очной ставкой — это тоже было правильно (это же операция, а на операции дозволено все); то, что за эту узаконенную ложь, или условную правду, Зыбин получил бы срок и, конечно, оставил бы там кости — это была сама социалистическая законность, — все так. Но во всей этой

стройной, строго выверенной системе не находилось места для узелка с яблоками. Она это чувствовала, хотя и не понимала ясно, в чем тут дело.

И поэтому сказала первое, что ей пришло в голову.

— Эх, бабушка!— сказала она.— Ну к чему это? Ведь вы не знаете, может, он на вас такое наговорил...

— Да знаю, знаю,— поморщился старик.— Все знаю! Зачитывали мне. Лодырь, пьяница, раскулаченный! Никакой я не раскулаченный, я век в городе жил. («Вот это здорово! Ай да Хрипушин! Ай да свинья! Нашел что придумать!»— подумала она с омерзением и уважением.) Я вот что вам скажу. Я, когда отсюда домой шел, все думал. Вот вы видели, как гицеля ловят собак по городу. Они их сачками по всем улицам захватывают. Набьют ими клетку доверху и везут. Как, значит, телега где зацепится, качнется — так они все друг на друга полетят и все в клубок! Только клочья летят! Даже про клетку забыли. Гицеля: «Кыш вы, окаянные!» — да по клетке веревкой, а им хоть бы что! Грызутся! А телега-то все едет и едет, все везет и везет их на живодерню! А там с них и шкуру долой железными щипцами. Вот так и мы. Так что ж нам гневиться друг на друга? Он на меня, я на него, а телега все идет своей путей. А там всем будет одна честь. Так что пустое все это.

— Но вы ведь правду показали?— спросила она. Спорить с пьяным дедом было ни к чему.

— Что-с? Правду-с?— Дед вздохнул и усмехнулся.— Ему сейчас что правда, что кривда — все едино! Раз взяли, значит — все! Покойников с кладбища назад не таскают. Ни к чему! Они уже завонялись. А яблочки вы возьмите, передайте. В этом ничего такого нет. У нас их на Пречистый Спас на могилки кладут. Около крестов. Чтоб покойнички тоже разговелись. Возьмите, это его любимые! Он им радый будет. Пусть поест, пусть!

И она взяла.

И вторая встреча, отнюдь не менее примечательная в ее жизни, случилась в тот же день. Она уже собиралась уходить и, стоя в плаще, запирала стол, как вдруг постучали. Пожаловал Штерн. Он весь лужился.

— Знаю,— сказал он еще в дверях.— Имею полнейшую, развернутую информацию. Сегодня один старый алкоголик принес одному гражданину следователю под полой полный мешок яблок для заключенных, и гражданин следователь ничтоже сумняшеся мешок этот принял. Было так или не было?

— Было,— ответила она,— но меня поражает ваше...

— Все-то ее поражает! Да я уж выговор за вас получил: «Что же, как же вы воспитываете вашу дорогую родственницу?» А что я? Я говорю, она не со мной, она все с дядей Яшей, с дядей Яшей... С него и спрашивайте! Нет, шучу, шучу, конечно. Только посмеялись. Они к вам все там прекрасно относятся. Но на будущее помните: начальство должно знать все. Особенно то, что вы от него скрываете. Вот телефон — звоните. А ну-ка покажите мне этот сидор! Как? Не знаете, что такое сидор? Вот так следователь. Мешок! Сумка! Ой, какая красота! Да такими яблочками, пожалуй, любой змей любую Еву купит. Специально подбирали, сволочи! Передайте! Обязательно передайте! Потом рапорт подайте! Вот прямо в этом кабинете, как будто в нарушение всех правил, и передайте. А когда он будет развязывать сидор, вы будто омрачитесь немного, затуманьтесь, вздохните: «Эх, Георгий Николаевич, как же так, а?» Ну, вас этому не учить, конечно, ГИТИС!

— Конечно, не учить,— подняла она перчатку и подумала: «Ведь вот как все просто, а я, дуреха...»— «При хорошо продуманных следователем неожиданных эмоциональных поворотах,— строго сказала она,— ломается стереотип поведения преступника, и он не сразу в

состоянии обрести прежнюю линию». Это из моей будущей диссертации — годится?

— Умница! — засмеялся Штерн. — «Стереотип поведения»! Умница! Прекрасно сформулировано.

— И поэтому, — продолжала она, — беря этот узел, я решила: так, сначала я ему яблоки, а потом очную ставку с их автором.

— Еще раз умница. Правильно решила. Только вот еще что: когда вы начнете его спрашивать о золоте, он может, особенно после этой очной ставки, просто замолчать. Вот не давайте ему этого. Всячески вовлекайте в разговор. В любой. Пусть в самый к делу не относящийся — только бы не молчал. Кто говорит, тот обязательно проговорится. Вот, скажем, эти яблочки. «Ах, какие прекрасные яблочки! Откуда они в Алма-Ате? Ведь таких нигде нет. А достать их легко? А где? В горах? Ах, это там, где вы копали?» Ну и так далее. А что он еще любит?

Ей вдруг почему-то все это стало очень неприятно, и она отрезала:

— Кошек любит, зверье любит, чужих детей любит.

— Вот, вот, вот! Обязательно заинтересуйтесь зверями. Кстати, вспомните ему рассказ О. Генри: «Вы, любящий зверей и истязующий женщин, я арестовываю вас за убийство жены». У Якова есть О. Генри, прочтите. И это будет переход к разговору о жалобах на него со стороны женщин. Кстати, там вместе с украшениями они нашли женский череп. Вот второй переход к золоту. Продумайте и выработайте его. Ну? Рабочий день у вас кончился. Насчет яблочек уж завтра позвоните. Значит, пошли со мной. Покажу я вам одного замечательного старикана. Настоящего экселенца — аристократа духом. Друга молодости товарища Сталина.

— А как он здесь очутился?

— А так же, как все! По тяжким грехам своим, конечно. Десять лет пробыл за колючей проволокой и вот освобожден по личному приказу Вождя. А на меня лично возложен приятный долг принять, освободить и доставить в Москву, а там уж его сын встретит. Вот ведь жизнь, час назад он сидел и думал, зачем выдернули: убьют или помилуют. Здорово?

— Здорово, — вырвалось у нее. Несмотря на то, что она почти четыре года приучала себя к мысли о работе в этом месте и обо всем, с ним связанном, что она отбывала практику, присутствовала на допросах и сама вела их, даже сумасшедшую бабку сумела расколоть прямо с ходу, несмотря на это, то, что она увидела за эти два дня, поразило ее своей фантастичностью, неправдоподобностью, привкусом какого-то кошмара.

— Очень даже здорово! — подтвердил Штерн. — И знаете еще почему? Ведь старик, по всему видать, далеко не мед. Я смотрел его дело. Так вот, следовательно, бедняга, не выдержал и влил ему за гнусный нрав и коварство, кроме ПШ — подозрение в шпионаже, литеры, так сказать, обиденной, — еще и ТД, троцкистская деятельность. Чувствуете? С такой литерой, чтоб уцелеть, надо под особой звездой родиться. Но вот видите, родился, освобождают.

— Ну а я вам зачем нужна?

— А вот зачем, моя хорошая. Сейчас его нам приведут побритого, помытого, постриженного, в новом костюме с галстуком, и повезем мы его в крейковский ресторан. — Он засмеялся. — Действительно, черт знает, где это еще может быть? Только у нас! Недаром говорят «страна чудес». Да, а сидел-то он с вашим возлюбленным Зыбиным. И судя по рапортам дежурных, говорили они там не переставая день и ночь, целые сутки. Затронули, конечно, и золото.

— Ну и что? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Да вот, к сожалению, ничего. Оперативная-то часть не срабо-

тала. Говорит, не имела инструкций. Я ведь тоже ничего не знал. А тюрьма и понятия не имела, зачем его привезли. Вот и произошла, как вы говорите, накладочка. Так вот теперь вам предоставляется полная возможность на неофициальной почве, в личной беседе о том о сем, после бокала хорошего вина, в креслах... Мы не будем скрывать, что вы следователь, но вы такой... Вы — хороший следователь. У них у всех есть легенда о хорошем следователе, волшебная сказка, что сидит где-то один честный, порядочный, человечный следователь. А старик, видать, все эти годы не видал женского лица, и ему будет приятно... Так вы не возражаете?

Она пожалала плечами.

— Делайте, конечно, как считаете необходимым. Я такая же гостья, как и он. Если это нужно...

— Это нужно, дорогая! Нужно! Так вставайте, пойдём, это этажом выше. В кабинете замнаркома. Кстати, он только что вернулся и вас не видел. Пошли.

Вот что произошло за неделю до этого. В столице нашей Родины Москве, верстах где-то в двадцати пяти от нее, в тот вечер было еще светло, тепло и даже, пожалуй, солнечно, хотя небо с утра усеивали легкие белые тучки.

Товарищ Сталин работал в саду. Перед ним на столике лежали бумаги и скотопыте и просто так, — он уже успел пробежать их все и сейчас просто сидел, откинувшись на спинку ивового кресла, смотрел на тучки, на верхи деревьев и отдыхал. «Вот солнышко выглянуло, — думал он, — хорошо! Вот ветерок прошумел в березнячке, тоже очень хорошо! А ночью, может, еще и дождик пойдет, это хорошо для грибов, их в этом году что-то совсем нет, а какое же лето без грибов?»

Он уже разговаривал с садовником — нельзя ли что-нибудь такое придумать, чтобы тут росли белые и подберезовики? «Нет, — твердо ответил садовник, — ничего уж тут не придумаешь, вот шампиньоны, те пожалуйста, те вырастим, где прикажете, а боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы вольные, чистые, лесные, они где вздумается, там и растут».

«Да что ж они себе такие вольные? — спросил он, развеселившись, уж больно уважительно говорил садовник о маслятах. — Где вздумают, так там, значит, и растут? Это же ведь непорядок, а?» И засмеялся. И садовник тоже слегка посмеялся, но так — очень-очень в меру; смеялся, а в глаза не смотрел, смотрел не выше подбородка. Хозяин терпеть не мог, когда ему глядели прямо в глаза. Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод: «Нехороший человек, неискренний, говорит, а в глаза не смотрит. Значит, совесть не чиста».

А сейчас он снова вспомнил этот разговор и опять засмеялся.

— Вольный гриб боровик! — сказал он с удовольствием. — Где ему вздумается, там он и вырастет! Ах ты...

И в это время солнышко — рассеянный и жаркий луч его — упало прямо на белое ивовое кресло, залило, ослепило, затормошило, и товарищ Сталин минуты три посидел так, закрыл глаза и ласково щурясь. Но потом на солнце набежала тучка, все погасло, и он разом резко выпрямился и взял со стола тонкую книгу большого формата и открыл ее на закладке. Это был типографски отпечатанный и сброшюрованный в большой лист «Циркуляр Министерства внутренних дел департамента полиции по особому отделу от 1 мая 1904 года за номером 5500».

Он усмехнулся. 1 мая 1904 года — этот день ему запомнился особо. Провел он его в Тифлисе, за городом, на маевке, среди деревьев и камней. Было тогда солнечно, весело, вольно. Много произносилось речей, поднимались тосты, пили сперва за революцию, за рабочий класс, за партию, за гибель врагов, потом за всех присутствующих, потом за всех отсутствующих, затем за всех, кто томится в ссылках

и тюрьмах (в каторге из членов РСДРП, партии большинства, не было никого — департамент полиции в то время большого значения ей не придавал). За тех, кто из них вырвался и находится среди нас, за то, что, если погибнуть придется...

В общем, было очень хорошо, тепло и спокойно, и уж совсем не вспоминались ни Сибирь, ни та темная и холодная половина сырой избы, которую он снимал у одинокой старообрядки, чернолицей старухи, строгой и молчаливой, ни побег, ни все, с ним связанное. И хотя обо всем этом на маевке и говорилось, но так, очень, очень общо, без всяких подробностей. Просто: и среди нас есть такие мужественные и несгибаемые борцы за свободу рабочего класса, которые... и т. д. до конца.

И далеко не все из присутствующих, а может, только два или три человека, знали, что это говорится о нем, и тосты поднимаются тоже за него. Это были, пожалуй, первые тосты за него и первые речи о нем. Поэтому он и запомнил их.

Да, да, думал он тогда, если придется погибнуть в ссылках и тюрьмах сырых, то дешево он свою жизнь не отдаст. Он был весь переполнен этим высоким чувством паренья и освобождения от всего личного и мелкого.

Так рождаются герои, так совершаются подвиги. Так бросают бомбы в скачущие кареты и идут на смерть.

Но погибнуть ему не пришлось. Руки у департамента полиции тогда оказались коротковатыми. А циркуляр этот расплозлся по стране, переходил из рук в руки, от него отпочковывались новые циркулярные и розыскные листы, и, может быть, что-то подобное находилось даже в кармане у кого-то из присутствующих. Но он не боялся. Он не мог, конечно, знать об этом циркуляре, но что его разыскивают и, может, даже нащупали место, где он сейчас находится, это он знал твердо. И был поэтому как взведенный курок — пил, но не пьянел, шутил, но не расслаблялся, был беззаботен, но зорек и каждую секунду был готов ко всему — таким он остался и сейчас, через тридцать лет.

Это чувство постоянной настороженности дает ему полную свободу выбора, право молниеносно и единолично принимать любые решения и видеть врагов всюду, где бы они ни притаились и какие бы личности ни надевали. И это уже даже не чувство, а что-то более глубокое и подсознательное и перешедшее в кровь и кожу.

«Господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам жандармских, губернских и железнодорожных полицейских управлений, начальникам охранных отделений и во все пограничные пункты...»

Да, солидно было поставлено дело. Это обложили так обложили, нечего сказать, работали люди. Сколько же они разослали таких тетрадок? Штук тысячу, не меньше. Во все пограничные пункты! Во все железнодорожные управления! Во все охранки! Нет, конечно, наверно, много больше тысячи!

«Департамент полиции имеет честь препроводить при сем для записания распоряжений...»

Он всегда любил этот язык — точный, безличный, литургический, застегнутый на все пуговицы. Он отлично чувствовал его торжественную плавную медь, державно плывущую над градами и весями, его жесткий абрис, сходный с выкройкой военного мундира. Одним словом, он любил его высокую государственность... На таком языке не разговаривали, а вступали в отношения. И не люди, а мундиры и посты их. На таком языке невозможно было мельтешить, крутить, отвечать неясно и двусмысленно. Как жаль, что сейчас в делопроизводство не введено ничего подобного. А надо бы, надо бы! Подчиненный должен просто глохнуть, получив от начальства что-то подобное.

Нет, стиль — это великое дело. Раньше люди это отлично понимали. Вот он тоже старый человек и поэтому понимает.

Итак: «Список лиц, подлежащих к розыску по делам политическим, список лиц, розыск которых надлежит прекратить, и список лиц, разыскиваемых предыдущими циркулярами, в отношении коих по обнаружению оных представляется нужным принять меры, указанные ниже».

Хорошо. Но вот под этой тетрадкой лежит другой список: «Посылаю на утверждение четыре списка подлежащих суду военного трибунала. Список номер один. Общий. Список номер два. (Бывшие военные работники.) Список номер три. (Бывшие работники НКВД.) Список номер четыре. (Жены врагов народа.) Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».

Таких списков он получил уже несколько сотен. В каждом тысяче человек. Первая категория — пуля в затылок. Мужчинам и женщинам, старым и молодым, ужасное дело! А вот берешь в руки — и не страшно, и ни капельки не страшно. И не потому, что привык, а потому что — «посылаю на утверждение», «прошу санкции», и не смерть, а «первая категория». Слова, слова, канцелярищина!

Но тут, положим, чем меньше слов, тем лучше. Это прочтут два-три человека, остальные — машинистка, начальник тюрьмы, исполнители — не в счет. На них тоже, когда придет их время, будет особый список.

Но вот ведь и приговоры пишутся так же, а ведь это документы, которые прочитают сотни миллионов, агитаторы их заучат наизусть и будут на собраниях читать как молитву. «Являясь непримиримыми врагами советской власти, такие-то имярек, по заданию разведок враждебных государств...» Ведь вот как сейчас пишется. «Являясь!» Передовица, фельетон Заславского! Кольцов уже так не напишет! Нет, не просто «непримиримыми врагами советской власти», а «ныне разоблаченными врагами народа» их надо называть. Злодеями-убийцами! Предателями Родины! Иудами! Чтобы эти слова вбивались в голову гвоздями, чтобы невольно вылетало из глотки не просто, скажем, Троцкий, а непременно — «враг народа, иудушка Троцкий!». Не опозиция, а «банда политических убийц!» Эти слова понятны всем.

Итак:

«Список № 1 лиц, подлежащих розыску по делам политическим. Страница 20, № 52. Джугашвили Иосиф Виссарионов (вот он, казенный язык, — не Виссарионович, а именно Виссарионов, значит, по-старому, согласно крепостному праву), крестьянин села Диди-Лило, родился в 1881 году». Неточно, неточно, на два года раньше, милейшие, а может, и больше. А записывали так, чтобы позже забрали в солдаты. Впрочем, это было вам хорошо известно. Но форма есть форма.

«Обучался в Горийском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии». Точно. Забыли прибавить, что исключен в мае 1899 года за революционную деятельность. «Холост». Точно. Не то время было, чтобы жениться! «Отец Виссарион Иванович, по профессии сапожник, местонахождение неизвестно». Точно. Неизвестно вам его местонахождение! И мне до сих пор неизвестно тоже. Знает только мать, но попробуй-ка дознайся у нее! Вот и она: «Мать Екатерина, проживает в городе Гори Тифлисской губернии». Точно. Все точно.

Он встал и пошел по саду. Сильно пахло осенними увядающими травами и палой листвой. Запах был терпкий и какой-то постоянный. Он во все входил и был частью всего — и этим садом, и вечерним небом, и травой, и даже им самим — Иосифом Виссарионовым Джугашвили, как было написано в этой розыскной карте. Потому что на короткое время он действительно как бы стал тем Джугашвили, которого разыскивали по этому циркуляру еще 1 мая 1904 года...

Иосиф Джугашвили поднял с земли желтый лист и растер его

между пальцами. Вот когда это случилось с отцом, тоже была осень. Он уже засыпал и очнулся от негромкого тревожного возгласа матери, и сразу же там, за закрытой дверью, зашумели, зашептало много людей, сначала громко, возбужденно, но все-таки приглушенно, а потом все тише и тише. Он поднялся и хотел выйти, но тут быстро вошла мать с керосиновой лампой в руках. Глаза у нее были красные и сухие. Она слегка уперлась ладонью в его лоб и приказала: «Спи». Люди же за дверью говорили все тише и тише, и вдруг что-то там случилось еще, кто-то вошел или вышел, и за ним вышли все, и мать вышла тоже. А утром, когда он проснулся, отца не оказалось. Все его нехитрое сапожническое хозяйство осталось на месте: табуретка, ящик вместо стола, колодки, иглы, кусок вара, клубок дратвы,— а его не было. И осеннее его пальто осталось, и хороший костюм, и почти надеванные сапоги, все осталось, а его не было. Наутро мать сказала: «Нас теперь двое. Отец уехал». «Куда?» — спросил он. «В Баку,— ответила она,— а потом, может, и дальше». «А когда он вернется?» — спросил он. «Когда можно будет, тогда и вернется,— отрезала мать.— А пока мы с тобой вдвоем... Только ты об этом никому не говори». «Почему?» — спросил он. Она хотела что-то ответить, но вдруг слегка ударила его по затылку. Даже не ударила, а быстро провела рукой сверху вниз по волосам. «Я же сказала, что не надо об этом». Он молчал и смотрел на нее. «Ну, вчера была большая драка,— объяснила она неохотно,— кто-то пырнул одного человека ножом. Кто — неизвестно. А отец с убитым был в ссоре и грозился его зарезать. Ну вот, того и зарезали, а отцу приходится бежать. А то его тоже зарежут. А наш дом опечатает полиция, и нас выбросят на улицу... Понял, да?» Он понял. Когда с ним так говорили дома, он понимал. Понимал он последнее время и другое — с отцом непременно должно что-то случиться. Последнее время в их доме нависло и все сгущалось что-то черное, тяжелое, недоговоренное, а при нем даже не произносимое. До этого они жили, как все люди, а сейчас в их доме то кричали, то говорили шепотом, то молчали. До этого отец часто приходил навеселе, и мать тыкала ему в лицо бутылкой: «На, съешь ее! Она тебе дороже всего!» А тут он однажды пришел совершенно трезвый, и, как только мать отворила ему дверь, он ударил ее по лицу. Потом выхватил кривой сапожный нож и, замахнувшись, пошел на нее. «Вот,— сказал он,— помни, у нас в роду еще никогда...» Но мать закричала, бросилась в дверь, и он ушел. Пришел только под утро пьяный, и мать его уже не ругала. За этим наступила пора молчания. Никто ни с кем не говорил. Мать утром кормила отца, отвечала на кое-какие вопросы, смотрела на него спокойно и страшновато. А затем все пошло как обычно. Но он уже знал — с отцом обязательно скоро что-то должно случиться. С этих пор на их дом опустилась тайна, то есть тишина. Он чувствовал эту тайну почти физически. Она мешала ему вольно дышать, болтать, интересоваться посторонним, сидеть на одной парте с товарищами, бегать на переменах. Сначала все это страшно тяготило его: ничего о себе, ничего о родителях, никого к себе и никуда из дома. Да и товарищи поглядывали на него странновато, и ему казалось, что перешептывались. Был один верзила, который усмехался, когда он проходил, и однажды они с ним даже подрались, но тут зашел законоучитель, молодой высокий преподаватель гимнастики Давид Эгнатошвили, и хотя ударил первым он, ничего не спрашивая, подошел прямо к верзиле, взял его за плечо, сильно потрянул туда и сюда и увел за собой. А потом возвратился и тихо сказал: «Джугашвили». В комнате, куда он его привел, сидели двое учителей, и один из них, старший, ласково сказал ему: «Ну разве можно верить каждому дураку? Мало ли что он тебе ляпнет! Ты хороший ученик, иди учись, если снова к тебе полезут, только скажи мне. Понял?» «Не полезут», — ответил за него Давид и как-то очень значительно улыбнулся. И действительно, с тех пор к нему не лезли. А время шло,

и тайна стала легкой и почти невесомай. В семинарии он так сжился с ней, так сумел ее приручить, что вскоре создал свой особый, принадлежащий только ему мир. Он был почти такой же, как у всех, но только там, в его мире, все подчинялось только ему одному, и он был в нем самым главным, самым удачливым, красивым, ловким и умным. Русское слово «мудрый» он уже знал, но оттенков его не чувствовал, и мудрец для него всегда был стариком. А красивым он не был никогда. И когда из этого мира переходил в тот — к матери, к училищу, к товарищам, — то и понимал это очень здраво и спокойно: нет, никак не красавчик, не джигит, но и незачем быть ему джигитом. Так тайна не только стала ограждать его от мира и неприятностей, но и поднимать над ними. Он был единственным и понимал это. «Мать Екатерина проживает в городе Гори». Да, она и после ни за что не хотела переезжать. А тогда, тридцать три года назад, она была еще молодой и красивой. В последний раз они виделись за месяц до его ареста. Потом, после ограбления банка, к ней приезжали, допрашивали, думали, что он, может быть, прячется у родственников, у соседей, спрашивали ее об этом, и она отвечала как надо, то есть ничего. Так от нее и отстали ни с чем. Это он узнал от людей. Молодец мать! Кремень! Сталь! И как хорошо, что он выдался весь в нее, а не в отца. Погиб бы тогда, как отец, вот и все.

«На основании высочайшего повеления, последовавшего 9 мая 1903 года, за государственное преступление выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции и водворен в Балаганском уезде Иркутской губернии, откуда скрылся 5 января 1904 года». Все верно, все точнее точного. Только бежал он в самый день Нового года, когда все начальство лежало в лежку: собрал в сумку краюху хлеба, соль, нож, шматок сала в чистой тряпке, дошел до последнего погоста, а там его уже ждали сани. Вот и все.

«Приметы: роста два аршина четыре с половиной вершка, производит впечатление обыкновенного человека. (Здорово! Вот уже когда в полиции поняли, что он особый человек и только «производит впечатление обыкновенного».) Волосы на голове темно-каштановые, на усах и бороде каштановые». Да, темнеет он с годами. Темнеет. Мать-то была совсем рыжая. «Вид волос прямой (грамотеи — сразу видно, что тут уже работал канцелярист), без пробора, глаза темно-карие, склад головы обыкновенный, лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный, лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы». Тут он улыбнулся, вспомнил — на квартире Горького, когда была знаменитая встреча Вождя с литераторами, один старый дурак расчувствовался и начал ему жаловаться: «Уж больно прижимает нас Главлит и редактора, товарищ Сталин. Вот у вас, Иосиф Виссарионович, на лице рябинки, а не напишешь ведь об этом», — проблеял этот старый идиот.

«На правой стороне нижней челюсти отсутствует коренной зуб. Рот умеренный, подбородок острый, голос тихий, уши средней величины, на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся».

Так, все верно. Действительно сросшиеся. «Примета антихриста», как сказал ему кто-то еще в семинарии. И тогда это ему понравилось. Но сейчас об этом нельзя говорить, сейчас это клевета, ложь, он во всем совершенен — и никаких там рябинок, выбитых зубов, сросшихся пальцев.

А вообще-то, конечно, приятный документ. Он сегодня принесет его дочери. Пусть знает, что было время, когда отец ее был самым обыкновенным грузином. С рябинками и без коренного зуба и что он был каштановый, почти светлый.

Тут он увидел, что к нему подходит референт по делам государственной безопасности вместе с провожатым, поднялся, собрал бумаги и пошел им навстречу. И референт тоже увидел хозяина. Веселого,

добродушного, улыбающегося. Он посмотрел на провожатого, и тот сразу растаял в воздухе.

Они прошли в дом, и тут хозяин быстро прошел вперед и сел за стол в маленькой комнате, примыкающей к террасе.

В такие комнаты, уютные, небольшие, с выходом на улицу, с большим мягким диваном и нешироким столом (широкий стол стоял только в его настоящем законном кабинете), Вождь любил переседаться время от времени.

— Ну что же он там натворил?— спросил он, усаживаясь.— Кстати, о том ли самом мы говорим? Ведь это целая семья.

— Я захватил фото тех лет,— ответил референт и раскрыл папку.

— Сын дал?— спросил хозяин, беря и рассматривая снимок.

— Сын.

Фотографию, конечно, не сын дал, ее забрали вместе с другими материалами и должны были сжечь за ненадобностью, но каким-то чудом она сохранилась. Хозяин смотрел и улыбался. Он любил держать в руках такие осколки мира, разбитого им вдребезги. А фото, конечно, было именно таким осколком. На широком паспарту цвета голубоватого пепла с серебряным обрезом стояли и смотрели в упор на Вождя народов двое — красивый молодой грузин с острыми усами и белая, ажурная, сказочная красавица. А сзади них громоздилась несложная вселенная поставщика его императорского величества, его фамилия и звание золотой загогулиной вились внизу паспарту, все эти зеркала, пальмы в кадочках, пни из папье-маше и, наконец, нарисованный на холсте дремучий лес и луна среди косматых вершин. Молодые стояли совершенно прямо. Рука невесты с букетом ландышей была опущена долу. Юноша смотрел на Вождя с выражением, в котором перемешались дикость и беспомощность. Жесткие полы его фрика резали глаза. Все это производило неясное, тревожащее и, во всяком случае, совсем не свадебное впечатление.

— Поставщик двора, а дурак,— сказал крепко хозяин,— ну зачем эти зеркала и пальмы? Это что тебе, ресторан? Караван-сарай? Бардак? Народный дом графини Паниной?— Он положил фотографию.— Русская?

— Княжна Голицына,— ответил референт.

— Ну вот и все! — качнул он головой.— Вот и вся наша кавказская демократия! Недаром он вскоре и вышел из партии. Сын этот от нее? Да,— повторил он, обдумывая,— да, да! Красивый был человек, красивый.

Он знал, что кроме этого полукабинетного портрета в папке у референта обязательно должен лежать и другой снимок, наклеенный на тюремную учетную карточку, и на нем снят тот же самый человек, постаревший на тридцать лет, но эту фотографию лучше не смотреть.

Он отложил портрет в сторону.

— Докладывайте,— сказал он референту.

— Лагерных нарушений не числится,— сказал референт,— в бараках усиленного режима не содержался, три года назад был сактирован по поводу сердца. Последний раз лежал в больнице три месяца назад, работает в инвалидном бараке старшим дневальным.

— А выдержит? — осведомился хозяин.

— Да он не так чтобы уж очень стар,— ответил референт.

Хозяин посидел, выстукал трубку и сказал:

— Вот недавно мы тут обсуждали лесную и угольную промышленность. А затем я вызвал обоих наркомов и спросил: «Почему вы так плохо работаете, товарищи?» А они мне отвечают: «Потому что нет рабочих. Навязали нам договор с Гулагом, прислали заключенных, и пошел у нас полный развал; приписки, подтасовки, прямое вредительство — и виновных не найдешь». Вот отчего это так, почему Гулаг поставляет такой негодный материал? Как думаешь?

К этому разговору референт тоже уже был подготовлен.

— Ну, причин тут несколько,— ответил он солидно.— Во-первых...

— А-а, во-первых! — обрадовался хозяин.— Значит, сначала у тебя будет во-первых, потом у тебя будет во-вторых, потом пойдет в-третьих, а напоследок еще, может быть, и в-четвертых. А я скажу просто — заключенные и работают как заключенные, так?

— Так,— ответил порученный (все шло пока как надо).

— Значит, это надо учитывать,— негромко прикрикнул Сталин и взмахнул трубкой.— Кормить! Кормить, одевать, обувать, лечить, поощрять. В особых случаях даже освобождать, и так, чтобы все знали об этом. Объяснения вешать по лагерям, с фамилиями. Вот хорошо работал и освободился до срока.— Он подумал и посмотрел в упор на референта.— В царское время казенная норма хлеба была три фунта — сейчас сколько даете?

— Сейчас больше даем,— сказал референт,— на подземных работах выписываем мясо, молоко и даже рис.

— Рис? — удивился хозяин.— Ну, ну! Нет,— сказал он печально,— нам рис не давали, тогда это был заграничный продукт, колониальный, как тогда говорили, но сыты мы были. Говорите, стар, болен? Значит, не доживет.

Референту объяснили, что хозяин, очевидно, пожелает освободить старика — своего близкого знакомого, живого свидетеля его боевой славы, но при всем том нужно быть очень осторожным: нельзя проникать в мысли Вождя. Нельзя подсказывать, забегать вперед, великодушничать, надо, чтобы все получалось само собой.

— Ну а что у него за дело? — спросил хозяин.

Референт достал из папки бумагу и протянул хозяину, но тот только взглянул и отдал обратно.

— Агитация! Так как же все-таки будем решать? — спросил он.

Теперь референт понял так: хозяин хочет освободить старика, но решение об этом взваливает на него, то есть на советский народ — что скажет народ? Это была его постоянная позиция. Ведь Вождь никого не карает, его дело — борьба за счастье людей, на все остальное партией и правительством поставлены другие люди: пусть они сами все и решают, с них за это и ответ. «Партия,— говорил он работникам УГБ,— поручила вам острейший участок работы и сделала все, чтобы вы с ней справились. Если еще чего-то вам не хватает, просите — дадим. Но работайте! Не щадите ни мозгов, ни сил!» Все это повторялось сотни раз, и только очень-очень немногие из ЦК и из самых-самых верхов наркомата знали о том, как конкретны, четки и определены всегда были указания Вождя: взять, изолировать, уничтожить, или, как он писал в резолюциях, «поступить по закону». Посылались и просто списки смертников за тремя подписями членов Политбюро, это называлось «осудить по первой категории». И конечно же, ни один вопль, ни одно письмо из внутренних тюрем или смертных камер не доходило до Вождя. То, что вчера Берия передал Вождю одно такое письмо, был случай совершенно необычайный. Это референт понимал.

— Вину свою он признал полностью,— сказал референт.

— Да я не об этом,— поморщился хозяин,— вина, вина! Меньшевик он, вот и вся его вина. Но как ГПУ (он так всегда называл органы) считает, можно его освободить или нет? Вот можем мы, например, возбудить ходатайство перед президиумом ВЦИКа о помиловании? Как вы считаете?

— Безусловно! — воскликнул референт.

Вождь молчал.

— Прикажете подготовить такое ходатайство, товарищ Сталин? Вождь молчал.

— Да,— произнес он наконец.— Вот — подготовить ходатайство. Но как же мы, вот, например, я, будем обращаться во ВЦИК? На каком же законном основании? Я ведь не самодержец, не государь им-

ператор всероссийский, это тот мог казнить, миловать, мог все, что хотел,— я не могу. Надо мной закон! Что из того, что этот Каландарашвили был хорош? Советской власти он — плох! Вот главное!

Референт молчал. Он понимал, что все испортил, и даже не успел испугаться, у него только защемило в носу.

— Наши товарищи,— продолжал Вождь методически и поучительно, глядя на референта,— признали его социально опасным, я не имею причин им не верить. А решение о временной изоляции социально опасных элементов было принято Политбюро и утверждено ВЦИКом. Так на каком же основании мы будем его отменять?

«Пропап старик, и я, дурак, пропап вместе с ним,— решил референт.— И сын его пропап, и начальник лагеря пропап, и оперуполномоченный пропап — все-все пропапали!»

Вождь встал, прошелся по комнате, подошел к стене и что-то на ней поправил, потом вернулся к столу.

— На каком основании? — спросил он.— Я совершенно не вижу никаких оснований! — И слегка развел ладонями.

Порученец молчал. Вождь хмыкнул и покачал головой.

— Но вот он болен, умрет он в тюрьме, а сыновья будут обижаться,— сказал Вождь, словно продолжая ту же мысль.— Зачем, скажут сыновья, советская власть держала в лагере больного человека, разве больной человек враг? Он калека, и все. Так что же будем делать, а? — Он смотрел в упор на референта. «Ну думай же, думай! — говорил этот взгляд.— Крути же шариками, ну? Ну?»

Шарики в голове референта вращались с бешеной, сверхсветовой скоростью. Все вокруг него гудело и свистело. А Вождь смотрел и ждал, но ничего не приходило в голову. И вдруг Вождь лукаво улыбнулся, чуть подмигнул, слегка погладил себя по левой стороне френча. И тут ослепительный свет сразу вспыхнул перед референтом.

— Можно обойтись и без ВЦИКа,— сказал он.

— Это как же так? — поднял брови Вождь.— Просто отпустить, и все? Так?

Но референт уже крепко держал в руках за хвост свою жар-птицу и не собирался ее упускать. Он провел языком по пересохшим губам.

— Очень просто,— сказал он методично, даже не торопясь.— Согласно УПК больного, которого невозможно излечить в условиях заключения, освобождают от отбывания наказания согласно сорок и пятидесяти восьмой статье. Вот! — Он полез в папку.

— Не надо,— милостиво поднял руку хозяин.— Верю вам. Да, да, я теперь вспомнил, есть у нас такая статья. И очень хорошо, что она у нас есть.— Он поднялся, подошел к референту и как-то по-доброму коснулся его плеча.— Видите, как она может пригодиться. Так вот, надо освободить больного старика Георгия Матвеевича Каландарашвили, как того требует от нас гуманный советский закон. Вот это так. Пойдем побродим по саду. Солнышко-то, солнышко какое!

Кабинет был огромный, светлый, с розовыми, цвета зари, шелковыми занавесками, с пальмами в кадках и кожаной мебелью. Когда она вошла, уже собралось несколько человек. За письменным столом сидел сам замнаркома. Смуглолицый круглый человек неопределенных лет в роговых очках. Чем-то, может быть, сверканьем крепких зубов и улыбкой, он напоминал японца. Поодаль, за двумя другими боковыми столиками, находились: женщина в военной форме, рядом с ней лежала красная папка, и высокий ясноглазый молодой человек с красивым породистым удлинненным лицом и светлыми волосами назад. Он походил на поэта или философа. Его портфель, туго набитый, оттопыривающийся, лежал на отдельном столике.

Замнаркома, улыбаясь, с кем-то разговаривал по телефону. Увидя их, он быстро что-то сказал в трубку и бросил ее на рычаг.

— Почему же так долго? — спросил Штерн недовольно. — Уже два часа прошло, я звонить должен.

— Обработку-то кончили, да вот звонят, что костюм не подберут, я сказал, чтоб Шнейдер занялся.

— Да, костюм обязательно должен сидеть хорошо, — серьезно заметил Штерн, — его могут захотеть увидеть лично.

— Имею это в виду, — кивнул замнаркома, — ну ничего, Шнейдер все сделает. Он у нас волшебник. Так! А это, если не ошибаюсь, и есть наша новая сотрудница... племянница нашего уважаемого...

— И моя тоже, — без улыбки, так же серьезно заметил Штерн, — моя точно такая же, как и его.

— Ну, очень рад. — Зам вышел из-за стола и почтительно отрекомендовался и пожал ей руку. — Очень рад, — повторил он, — скажу по совести, у нас работать можно. Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, дружный, много молодежи, спортсменов, альпинистов, есть школа западных танцев. А вы, кажется, — он поглядел на Штерна, — на артистку учились?

— Кончила, — ответил за нее Штерн.

— Слушайте, так вы для нас, так сказать, клад! находка! — даже как будто слегка удивился замнаркома. — Моя жена третий год в драмколлективе занимается. Вы знаете? Мы получили вторую премию на республиканском смотре.

— Только вторую! Значит, в Москву опять не поедете, — засмеялся Штерн.

В дверь робко постучали.

— Попробуйте, — сказал замнаркома.

Вошла с черным ящичком в руках молоденькая красивая женщина, почти девушка, в белом халате, похожая на левитановскую осеннюю березку. Молодой человек встал и быстро подошел к ней.

— Спасибо, — сказал он, беря ящик, — я скоро приду, Шура. Ты кончила? Иди прямо домой.

Березка украдкой кивнула на его портфель. Он кивнул ей ответно. Она улыбнулась и вышла.

— Так что это такое? — спросил Штерн, кивая на ящик.

— Прибор, купленный за валюту, — ответил молодой человек. — Определяет кровяное давление.

— Зачем?

— Чтоб я заранее знал, будет у вас инфаркт или нет.

— Будет! У меня уж обязательно будет, — вздохнул серьезно Штерн. — Еще год-два такой работы...

— А у меня есть к вам один разговор, Роман Львович, — сказал тихо молодой человек. — Дело в том, что моя жена врач-гематолог... И вот у нее есть предложение... — Он подошел к портфелю.

— Нет, брат я ничего не буду, — строго обрезал его Штерн, — мне сейчас просто даже запрещено что-нибудь брать. Я завтра уезжаю в Москву.

Но молодой человек словно и не слышал. Он подошел к столику, открыл портфель, достал из него толстую переплетенную рукопись и вынул из нее лежащий сверху красиво отпечатанный отдельный лист с десятью или пятнадцатью строками.

— Вы только взгляните, — сказал он с мягкой настойчивостью.

Штерн недовольно взял лист в руки, прочел что-то, затем поглядел на молодого человека, усмехнулся и подал лист Тамаре.

— Откройте мой портфель, суньте туда, — сказал он и снова, но как-то уж по-иному, поглядел на молодого человека.

— Хорошо. Я возьму. А вы, видать...

В дверь постучали снова.

Ввели старика.

Был он высок и очень худ, но наркоматовский портной Шнейдер и в самом деле оказался магом и волшебником: костюм сидел отменно, и галстук был подобран к нему тоже отменный — пестрый, цветастый, такие тогда любили. Да и воротничок, лиловатый от свежести, и манжеты с малахитовыми запонками — все было одно к одному. Замнаркома подошел и протянул старику руку — Штерн держался в стороне.

— Садитесь, пожалуйста, Георгий Матвеевич, — сказал замнаркома серьезно и радушно, — рад вас приветствовать. Мы всегда радуемся, когда человека освобождают, а тут...

— Благодарю, — ответил старик, опускаясь в кресло, и слегка наклонил голову.

Она — Тамара Георгиевна Долидзе, следователь первого секретно-политического отдела (идеологическая диверсия), — смотрела на старика во все глаза. Ведь это, наверно, были первые его шаги без конвоя за много лет. И вот он вошел, сел и сидит, положив руки на поручни кресла. Он очень костляв. У него широкая кость. На висках темные впадины и лицо тоже темное. Через некоторое время она заметила, что к тому же он сутул, а когда он снова поднялся, поняла, что он походит на черного худого одногорбого верблюда — такого она раз видела из окна вагона, проезжая по Голодной степи.

— Вы как себя чувствуете? — спросил замнаркома. — Ну и прекрасно! Костюм на вас сидит как влитой. Тут, Георгий Матвеевич, надо будет провести кое-какие формальности. Ну, паспорт вам, во-первых, выдать. Вы же в Москву едете. Вот сидят хозяева этого дела — наш доктор и наша заведующая учетно-статистическим отделом, товарищ Якушева, я же тут, откровенно говоря, лицо совершенно постороннее, даже случайное. Вот Роман Львович...

Но Штерн уже подходил кошачьим шагом, мягкий, добродушный, округлый, прозрачный весь до самого доньшка.

— Вы проверьте все данные, Георгий Матвеевич, — сказал он серьезно и благожелательно. — Правда, все взято из вашего формуляра, так что ошибки как будто не должно быть, но все-таки...

Но старик только листнул паспорт, сунул его в карман и расписался на каком-то бланке.

— Благодарю, — сказал он. — Все правильно. Благодарю.

Штерн посмотрел на врача и как-то по-особому улыбнулся.

— Теперь, доктор, дело за вами, — сказал он. — В состоянии Георгий Матвеевич следовать в Москву на самолете...

Молодой человек подошел к старику, установил около него на столе свой прибор, открыл его и сказал:

— Я попрошу вас расстегнуть манжеты.

Потом он шупал пульс, слушал сердце и легкие. Обследование продолжалось минут пять, затем молодой человек сказал «спасибо», отошел к другому столу и сел писать.

— Ну как? — спросил Штерн, подходя и пристально вглядываясь в его лицо. — Мы сможем завтра лететь?

— Да, конечно, — ответил молодой человек, легко встречаясь лучистыми ясными глазами с потяжелевшим внезапно взглядом Штерна. — Но сейчас я бы порекомендовал Георгию Матвеевичу покой. Просто пойти и лечь. И попытаться заснуть.

— А что? — спросил Штерн, не меняя ни взгляда, ни голоса. — Что-нибудь тревожное?

— Да нет, ну умеренные шумы в сердце и легких — это уж возрастное, а затем несколько пониженное давление кровяного русла — отсюда слабость, а так... — Он сделал какой-то неясный жест.

— А так? — спросил Штерн.

— Надо на месте, конечно, показаться врачу. Он, вероятно, порекомендует какой-нибудь санаторий.

— Переливания крови не потребуется? — спросил Штерн с нажимом.

— Нет, не потребуется, — улыбнулся врач.

— А если потребуется — у вас соответствующая группа найдется? Запас есть?

Штерн все не сводил с него глаз, а тот невозмутимо застегивал свой портфель.

— Конечно, — ответил он просто.

— Хорошо. Вы свободны, — кивнул Штерн.

Врач подхватил ящичек, портфель, поклонился и вышел.

— Что это вы его так? — спросил зам. Он с самого начала смотрел на обоих.

— А эта Шура, которая приходила, его жена? — кивнул Штерн на дверь.

— Да. Приятная женщина, правда?

— А где она у вас работает?

— В больнице. В хирургическом отделении. Больные ее обожают. Мягкая, заботливая, добрая.

— На переливании крови сидит? Диссертацию об этом готовит? — Он что-то проглотил и повернулся к Каландарашвили. — Ну, дорогой Георгий Матвеевич, теперь вы свободны как ветер. И разрешите вас...

Старик вдруг встал с кресла. Он, наверно, очень волновался, если перебил гражданина начальника на полуфразе.

— Я хотел бы обратиться с одной просьбой, — сказал он тихо и даже как-то руки прижал к груди.

— Хоть с десятком, — великодушно разрешил Штерн.

— Если она будет в нашей компетенции, с большим удовольствием, — слегка пожал плечами замнаркома.

— У меня здесь, в комендатуре, остался мешок с продуктами, — сказал старик, — я привез их из лагеря. Я бы хотел попросить, нельзя ли передать моему соседу по камере.

— Ну об этом, — слегка нахмурился зам, — надо будет говорить со следователем. Если он ничего не имеет...

— Узнаем, узнаем, поговорим, — засмеялся Штерн. — Я сам поговорю. Так разрешите вас познакомиться. Моя племянница Тамара Георгиевна. Для нас с вами, стариков, просто Тамара. Наш молодой сотрудник. Недавно кончила институт по кафедре права. Да, и такие у нас теперь есть, Георгий Матвеевич! И такие!

Старик поклонился. Тамара протянула ему руку. Он дотронулся до нее холодными мягкими губами.

— Ну вот! — весело провозгласил Штерн. — Будьте здоровы, полковник. Пошли.

Старик вдруг взглянул на нее. И тут произошло что-то такое, что у нее было только однажды, когда она заболела малярией. Все словно вздрогнуло и расплылось. Словно кто-то играл ею — играл и смотрел с высоты, как это получается. Она чувствовала неправдоподобие всего, что происходит, как будто она участвовала в каком-то большом розыгрыше. Все казалось тонким, неверным, все дрожало и пульсировало, как какая-то радужная пленка, тюлевая занавеска или последний тревожный сон перед пробуждением. И казалось еще: стоит еще напрячься — эта тонюсенькая пленочка прорвется, и проступит настоящее. Потом она только поняла, что это шалило сердце.

— Я буду вам по гроб жизни благодарен, — сказал почтительно старик, обращаясь к ней тоже, — если вы исполните мою нижайшую, покорнейшую просьбу.

— Поможем, — сказала она, — мы поможем, конечно.

(Окончание следует)

---

---

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ



## НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

### Интеллигент

Подобье лягушиной трели  
В журчанье старых кинолент,  
Аллитерация капли:  
«Интеллигент! Интеллигент!»

Хула, затверженная сдуру,  
Как тарабарское письмо.  
В мозги въедается и в шкуру  
Неизгладимое клеймо.

Отчасти дух противоречья  
(Бунтуй, пока не надоест!).  
Отчасти слабость человечья.  
Не столько поза, сколько жест.

На кафедре пугаться смерти,  
Всем телом вздрагивать во сне  
И, прослезившись на концерте,  
По-чеховски ронять пенсне.

Назад нельзя. Вперед — ни шагу.  
Откуда взяться тут судьбе?  
Над головой ломают шпагу,  
И время сводится к тебе.

Сведенный этой длинной спазмой,  
Осознаешь ты в свой черед,  
Что в человеке верх над плазмой  
Душа бессмертная берет,

Что на твоей могиле всходы  
Пробьются, как их ни травы,  
И первородный грех свободы  
У человечества в крови.

1967.

### Русские могилы

Настороже или на страже  
Обетованьям вопреки  
Затеряны в чужом пейзаже  
Холмы, курганы, бугорки.

Уместней суетной огласки  
По крайней мере грубный глас.  
Достаточно во льдах Аляски  
Скелетов наших про запас.

Необязательные даты,  
Обрывки ветхих школьных карт.  
Какими кладами богаты  
И Порт-Артур и Сен-Готард!

Земля покойникам виднее.  
Десятки стран. Погост один.  
Бретань, Балканы, Пиренеи,  
Париж, Венеция, Берлин.

Любое слово слишком хрупко,  
Когда последний пройден путь;

И на чужбине душегубка,  
И больше некуда шагнуть.

Движение сопротивления:  
Собою жертвуя в аду,  
Отсрочив светопреставленье,  
Перекреститься на ходу.

И продолжение России —  
Всемирная голубизна,  
Могила матери Марии,  
Где солнце, звезды и луна.

1972.

### Киммерийская горлица

Все лето, все лето  
Горюет горлица на голубой горе,  
Не зная, что где-то  
Душа сочувствует неведомой сестре:

«Послушай, послушай!  
Кому ты молишься, незримая, без слов?  
Над морем, над сушей  
Зачем разносится твой одинокий зов?»

Утрата, утрата!  
В безгласном камне узнаешь любимый лик,  
Весь век до заката  
В небытие роняя выпланный миг.

Оливы, оливы!  
Пускай вселенная не Гефсиманский сад;  
Мы так же сонливы,  
Как были два тысячелетия назад.

Спасите, спасите!  
Часы не тикают, но тем слышнее стон.  
Хоть солнце в зените,  
Всепожирающий владеет миром сон.

Тревога, тревога!  
Но помешает ли вещунье трубный глас  
Оплакивать Бога,  
Который все еще напрасно ищет нас?»

1983.



---

---

## ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

★

## НА МАЯК\*

Роман

16

**И** вот, Нэнси с ними пошла, решила миссис Рэмзи и спрашивала себя, пока откладывала щетку, бралась за гребешок, отвечала «войдите» на стук в дверь (вошли Роза и Джеспер), делал ли факт участия Нэнси более вероятным или менее вероятным, что что-то стряслось; пожалуй, менее вероятным, полагала миссис Рэмзи, довольно бездоказательно, впрочем, разве что едва ли возможна такая общая вдруг погибель. Не могли же они, в самом деле, утонуть всем скопом. И опять она почувствовала себя беззащитной перед лицом старого неприятеля — жизни.

Джеспер и Роза сообщили, что Милдред желает знать, не обождают ли с ужином.

— Ни ради английской королевы, — вскинулась миссис Рэмзи. — Ни ради мексиканской императрицы, — прибавила она, смеясь и глядя на Джеспера; он унаследовал материнский порок — тоже преувеличивал.

А Роза, если угодно, сказала она, когда Джеспер отправился исполнять поручение, может выбрать, какие бы ей сегодня надеть украшения. Когда пятнадцать человек собираются сесть за ужин, нельзя бесконечно ждать. Она начинала уже сердиться, что они так запаздывают; просто бесцеремонно с их стороны, и мало того что она за них волновалась, она еще и сердилась, что сегодня именно вздумали опоздать, когда ей так хотелось, чтоб ужин особенно удался, раз Уильям Бэнкс наконец согласился с ними отужинать; и сегодня у них шедевр Милдред — *Voëuf en Daube*. Тут все зависит от того, чтоб подать в самый миг, как готово. Мясо, лавровый лист, вино — все должно потомиться в меру. Малейшее промедление губительно. И вот сегодня, видите ли, именно сегодня им понадобилось где-то носиться и опоздать, и все придется вынуть, держать горячим; *Voëuf en Daube* будет совершеннейшее не то.

Джеспер предлагал ей нитку опалов; Роза — золотое кольцо. Что пойдет больше к черному платью? В самом деле, что? — рассеянно спрашивала себя миссис Рэмзи, оглядывая плечи и шею в зеркале (но минуя лицо). А потом, пока дети рылись в украшениях, она загляделась в окно на то, что ее всегда веселило: грачи решали, на каком бы им дереве обосноваться. То и дело они меняли решение и снова взлетали, потому что, она думала, старый грач, грач-отец, старик Иосиф она его прозвала, был птичка с привередливым и капризным характером. Весьма полупочтенный старикан; половина перьев повыдергана. Он как старый обшарпанный господин в цилиндре, которого она видела раз возле пивной; играл на рожке.

— Посмотри! — засмеялась она. Они не на шутку подрались. Иосиф и Мария подрались. Во всяком случае, все они снова взвились, и воздух был сбит на сторону черным сплошным сполохом и весь иссечен такими дивными ятаган-

чиками. И взбит, взбит, взбит — никогда она не умела описать это точно, так, чтоб самой понравилось. — Посмотри! — она сказала Розе, надеясь, что Роза-то отчетливей разглядит. Дети подстегивают иногда твое восприятие.

Но что же выбрать? Они повывдигали в шкатулке все ящички. Золотое кольцо — оно итальянское, или опалы, которые привез из Индии дядя Джеймс? Или лучше ей аметисты надеть?

— Выбирайте, миленькие, выбирайте, — говорила она, надеясь, что они поторопятся.

Но пусть уж выберут сами; пусть особенно Роза возьмет то одно, то другое, приложит к черному платью, потому что маленькая церемония выбора украшений, исполняемая каждый вечер, она чувствовала, ужасно нравилась Розе. Почему-то такое она придавала важность этому выбору украшений для матери. Почему? — гадала миссис Рэмзи, стоя тихо, пока Роза застегивала избранное кольцо, и откапывая в собственном прошлом глубокое, тайное, бессловесное чувство, какое испытываешь к матери в Розином возрасте. Как все обращенные на тебя чувства, думала миссис Рэмзи, вызывает и это тоску. До чего же мало даешь взамен; до чего же мало соответствует отношению Розы всему тому, что она в действительности собою являет. И Роза вырастет; и Роза, она думала, со своими глубокими чувствами будет страдать, и она сказала, что готова, надо идти, и Джеспер, раз он джентльмен, пусть благоволит предложить ей руку, а Роза, дама, пусть несет носовой платок (она дала ей платок) и — что еще? Ах да, вдруг будет холодно: шаль. «Выбери для меня шаль», — сказала она, чтобы доставить удовольствие обреченной страданиям Розе. «Ну вот, — сказала она, останавливаясь у окна на площадке, — они тут как тут». Иосиф устроился на другой кроне. «Думаешь, им приятно, — сказала она Джесперу, — когда у них поломаны крылья?» За что он хочет застрелить бедных Иосифа и Марию? Он мешкал на ступеньках, понимал, что ему выговаривают, но не серьезно; и она не знала, какое удовольствие — стрелять птиц; и они ничего не чувствуют; и она была — мама и жила далеко-далеко, в другой части света, но ему нравились ее истории про Марию с Иосифом. Было смешно. Но откуда она знает, что это Мария с Иосифом? Она думает, те же птицы прилетают каждый вечер на те же деревья? — спрашивал он. Но тут ни с того ни с сего, это со взрослыми вечно, она потеряла к нему всякий интерес. Она прислушивалась к звукам в прихожей.

— Явились! — вскрикнула она и сразу же не облегчение почувствовала, а досаду на них. Потом подумала — свершилось или нет? Сейчас она спустится, и они скажут... да нет же. Не станут они при всех говорить. Придется спуститься, сесть за ужин и ждать. И, как королева, видя поданных в сборе, снисходит к ним и в молчании принимает их дань, принимает коленапреклоненную преданность (Пол и бровью не повел и смотрел прямо перед собой, когда она проходила), она сошла вниз и пошла по прихожей, чуть склоня голову, словно принимая то, чего не могли они выразить: дань ее красоте.

Но она остановилась. Пахнуло горелым. Неужто сгубили *Voëuf en Daube*? — подумала она. Господи, только не это! — но тут прокатился гул гонга, непременно, властительно вменяя всем, всем, всем, кто разбросан по мансардам, по спальням, по гнездышкам, кто дописывает, дочитывает, наводит последний лоск на прическу, застегивает последнюю пуговицу, все это бросить, бросить разные разности на умывальниках, и на трюмо, и на ночных столиках книжки, и тайственные свои дневники, и явиться в столовую к ужину.

## 17

Но что сделала я со своей жизнью, думала миссис Рэмзи, садясь во главе стола и оглядывая белые круги тарелок на скатерти. «Уильям, садьте со мною рядом, — сказала она. — Лили, — сказала она устало, — сюда». Им свое — Полу Рэйли и Минте Дойл, — ей свое: бесконечно длинный стол, и ножи, и тарелки. На дальнем конце сидел ее муж, ссутулясь, сгорбясь, и дулся. Из-за чего? Неизвестно. Не важно. Она не постигала, как вообще когда-то могла к нему испытывать привязанность, нежность. Начав разливать суп, она себя ощутила вне всего, ото всего отделенной, отъединенной, как вот когда вихрь несется, и кто-то подхвачен им, а кто-то остается вовне — так и она осталась вовне. Все кончено,

думала она, пока они входили один за другим, Чарльз Тэнсли («Сюда, пожалуйста», — сказала она), Август Кармайкл, и рассаживались. И в то же время она безучастно ждала, что кто-то ответит ей, что-то случится. Но такое не выскажешь, она думала, разливая суп.

Вздернув брови над этим несоответствием — одно думаешь, а делаешь совершенно другое: разливаешь суп, — она все сильнее себя ощущала вне вихря; или — как если б упала тень и вещи, лишась подцветки, ей представились в истинном виде. Комната (она обвела ее взглядом) обшарпана донельзя. Ни в чем никакой красоты. И лучше уж не смотреть на мистера Тэнсли. Никакого слияния. Все сидели разрозненно. И от нее, от нее одной зависело всех их взбить, расплавить и сплавить. Без враждебности, как об очевидном, она снова подумала о несостоятельности мужчин — все она, сами ничего, ничего не умеют, — и она встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и затикал знакомый, испытанный пульс: раз, два, три, раз, два, три. И так далее, так далее она отсчитывала еще слабенький пульс, оберегала и охраняла, как спасают зазевавшееся пламя газетой. И тотчас она заключила, с молчаливым кивком обращаясь к Уильяму Бэнксу, — бедняга! Ни жены, ни детей, каждый вечер, кроме сегодняшнего, один ужинает по съемным квартирам; вот — пожалела его и вновь набралась сил выносить свою жизнь; и уже она принималась за дело; так моряк оглядывает не без тоски туго вздувшийся парус, ему и не хочется в море, и он рисует в уме, как пойдет ко дну, и его закрутит, закрутит пучина, и на дне он найдет покой.

— Вы нашли свои письма? Я сказала, чтоб их положили для вас в прихожей, — сказала она Уильяму Бэнксу.

Лили Бриско смотрела, как ее относил на странную ничейную землю, куда не последуешь за человеком, но уход его тебя пронизывает холодком, и ты до конца его провожаешь глазами, как провожаешь глазами тающий парус, покуда не канет за горизонтом.

Как старо она выглядит, как устало, думала Лили, и как она далеко. Потом, когда она повернулась к Уильяму Бэнксу и улыбнулась, было так, будто корабль повернулся и солнце снова ударило в паруса, и Лили с облегчением, а потому уже не без ехидства, подумала и зачем его жалеть? Ведь это было ясно, когда она ему говорила про письма в прихожей. Бедный Уильям Бэнкс, казалось, говорила она с таким видом, будто устала, в частности, и оттого, что жалеет людей, но жалость именно и придает ей решимости жить дальше. А это ведь дичь, думала Лили; одна из тех ее выдумок, которые у нее безотчетны и никому, кроме нее самой, не нужны. Он решительно не предмет для красоты. У него — работа, сказала себе Лили. И вспомнила вдруг (как клад открывают), что у нее тоже — работа. Перед глазами встала ее картина. Она подумала: да, надо дерево еще продвинуть на середину; так преодолется глупо зияющее пространство. Вот что надо сделать. Вот что меня мучило. Она взяла солонку и переставила на цветок скатертного узора, чтоб не забыть потом переставить дерево.

— Занятно, что, так редко получая по почте что-нибудь стоящее, мы вечно в ожидании писем, — сказал Уильям Бэнкс.

Что за дикую белиберду они порют, думал Чарльз Тэнсли, кладя ложку в точности посередине тарелки, которую так вылизал, думала Лили (он сидел напротив, спиной к окну, в точности надвое рассекая вид), будто вознамерился и в пище дойти до сути. Весь он был так выморочно тверд, так безнадежно непривлекателен. И однако факт остается фактом: почти немисливо плохо относиться к человеку, пока на него смотришь. Ей нравились его глаза; синие, глубоко посаженные, страшноватые.

— Вы часто пишете письма, мистер Тэнсли? — спросила миссис Рэмзи, и его тоже жалеючи, решила Лили; ведь что правда, то правда — миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано, и нет чтоб пожалеть женщину, которой дано что-то. Он пишет матери; за этим исключением хорошо, если письмо в месяц, отвечал мистер Тэнсли кратко.

Он не намеревался пороть ту чушь, к которой его тут призывали. Не желал идти на поводу у глупых женщин. Он читал у себя в комнате и вот спустился, и все тут оказалось поверхностно, глупо, ничтожно. К чему наряжаться? Он

спустился в обычной своей одежде. У него и нет выходной. «По почте редко получаешь что-нибудь стоящее» — так у них принято изъясняться. Так вынуждают изъясняться мужчин. А ведь и правда, в сущности, он подумал. Они из года в год не получают ничего стоящего. Ничего не делают, говорят, говорят, говорят, едят, едят, едят. Всё женщины виноваты. Сводят культуру на нет этим своим «очарованием» — своими глупостями.

— Завтра ехать на маяк не придется, миссис Рэмзи, — сказал он, чтобы за себя постоять. Она ему нравилась; он ею восхищался; он помнил, как тот, в канаве, смотрел ей вслед; но он должен был за себя постоять.

Да уж, думала Лили Бриско, глаза — глазами (а на нос посмотреть, на руки!), противнее человека ей, кажется, не приходилось встречать. И не все ли равно, что он мелет? Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером — кажется, какое ей дело, пусть его говорит, ведь ясно же — он и не думает этого, просто ему отчего-то нравится так говорить. Почему же всю ее гнет, как колос на ветру, и мучительнейшего усилия стоит потом распрямиться после таких унижений? А снова надо сделать это усилие. Вот цветок в ткани скатерти; ах да, моя картина; надо продвинуть дерево ближе к центру; вот что важно и — ничего больше. И неужто нельзя на том успокоиться, не лезть в бутылку, не спорить; а если так уж хочется мести — не проще ли его высмеять?

— Ах, мистер Тэнсли, — сказала она. — Возьмите меня с собой на маяк. Ну пожалуйста!

Он видел, что она говорит неискренне. Говорит, чего вовсе не думает, чтоб его зачем-то поддеть. Он в старых, лоснящихся брюках. За неимением иных. Он себя чувствует здесь обшарпанным, чужим, одиноким. Ей зачем-то понадобилось его дразнить; она и не собирается на маяк; она его презирает; кстати, Пру Рэмзи — тоже; все они презирают его. Но он не позволит женщинам его выставлять идиотом. И он нарочно повернулся на стуле, глянул в окно и грубо, резко брякнул, что море для нее завтра будет неподходящее. Ее стошнит.

Он досадовал, что она его вынудила говорить таким тоном при миссис Рэмзи. Очутиться бы у себя, за работой, думал он, среди своих книг. Вот где ему хорошо. И он в жизни не задолжал ни гроша; ни гроша не стоил отцу с пятнадцати лет; помогал семье из своих сбережений; обеспечил учебу сестре. Но лучше б ему найти для Лили Бриско ответ поприличней; лучше б не брякать «вас стошнит». Что-нибудь бы сказать миссис Рэмзи, доказать, что не такой уж он бессердечный сухарь. Каковым его все тут считают. Он повернулся к ней. Но миссис Рэмзи говорила про людей, о которых он понятия не имел, говорила с Уильямом Бэнксом.

— Да, уберите, — прервавшись на полуслове, коротко сказала она горничной. — Я ее лет пятнадцать... нет, двадцать лет не видела, — говорила она, уже оборотясь к мистеру Бэнксу, будто минуты не могла упустить, до того поглощал ее этот их разговор. Так он в самом деле получил от нее сегодня известие? И Кэрри до сих пор в Марло и там все по-прежнему? Ах, ей как вчера помнится та прогулка по реке, они еще страшно продрогли. Но если уж Мэннинги что заберут в голову, они ведь от своего не отступятся. Ей никогда не забыть, как Герберт на берегу прикочил осу чайной ложкой! И все это продолжается, думала миссис Рэмзи, призраком скользя между столами и стульями гостиной на берегах Темзы, где она так страшно, страшно продрогла двадцать лет назад; и вот — скользит между ними призраком; и восхитительно было, что, куда сама она изменялась, отпечатанный памятью день, теперь уже тихий и ясный, оставался тут все эти годы. — Кэрри сама ему написала? — спросила она.

— Да, пишет, что они строят новую бильярдную, — сказал он. Нет! Нет! Быть не может! Строят новую бильярдную! Это ей представлялось непостижимым.

Мистер Бэнкс не усматривал тут ничего особенно странного. Они теперь очень состоятельные люди. Передать Кэрри от нее поклон?

— О... — сказала миссис Рэмзи и вздрогнула. — Нет, — прибавила она, расудив, что вовсе не знает Кэрри, которая строит новую бильярдную. Но как же странно, повторила она, позабавив мистера Бэнкса, что они живут там по-прежнему. Удивительно, как ухитрились они жить и жить все эти годы, когда она о них почти и не вспоминала. В ее жизни за те же самые годы столько всякого

произошло! Но, может быть, Кэрри Мэннинг тоже о ней и не вспоминала. Мысль была странная и не понравилась ей.

— Жизнь разводит людей, — сказал мистер Бэнкс, не без удовлетворения, однако, подумав, что он-то знает и с Мэннингами и с Рэмзи. Жизнь его с ними не развела, думал он, кладя ложку и тщательно обтирая салфеткой чисто выбритый рот. Но, может быть, он не такой, как все, думал он; он не погрязает в рутине. У него друзья во всевозможных кругах... И тут миссис Рэмзи необходимо было прервать разговор, распорядиться, чтоб держали горячим то-то и то-то. Почему он и предпочитал ужинать в одиночестве. Ему претили эти помехи. Что ж, думал Уильям Бэнкс, соблюдая прилежно безукоризненную учтивость и только расправляя на скатерти пальцы левой руки, как механик проверяет великолепно надраенный, готовый к употреблению инструмент в минуту простоя, дружба требует жертв. Она бы обиделась, если б он отказался прийти. Но ему-то все это зачем? Оглядывая свою руку, он думал, что, останься он дома, он бы уже почти разделался с ужином; мог спокойно засесть за работу. Да, думал он, чудовищная трата времени. Дети еще входили. «Надо кому-то сбежать вверх за Роджером», — говорила миссис Рэмзи. Как это глупо, как скучно, думал он, в сравнение с другим — с работой. Он сидел, барабанил по скатерти пальцами, а мог бы — он окинул мгновенным взглядом свою работу. Да, чудовищная трата времени! Но ведь она, думал он, чуть не самый давний мой друг. Я был к ней, можно сказать, даже неравнодушен. Но сейчас, в данный момент, ее присутствие его вовсе не грело; ее красота не грела; и то, как сидела она с мальчиком у окна, — не грело, не грело. Он мечтал остаться один, снова взяться за свою книгу. Ему было неловко; он себя чувствовал предателем оттого, что сидит рядом с нею, а ему все равно. Суть, видимо, в том, что его не прельщает семейный очаг. В таком вот состоянии себя спрашиваешь — зачем жить? Стоит ли, себя спрашиваешь, продолжение рода человеческого всех этих усилий? Уж так ли оно заманчиво? Так ли уж привлекательны мы как вид? Не так уж, думал он, оглядывая весьма неопрятных мальчишек. Его любимицу Кам, вероятно, уложили в кровать. Глупые вопросы, пустые вопросы, вопросы, которые не станешь себе задавать, если занят работой. Что такое человеческая жизнь? То да се. Просто времени нет задумываться. И вот он задумался над такими вопросами потому, что миссис Рэмзи отдавала распоряжения прислуге, а еще потому, что когда миссис Рэмзи поразились открытием, что Кэрри Мэннинг до сих пор существует, вдруг он понял, как хрупки дружеские отношения, даже самые милые отношения. Жизнь разводит. Снова он почувствовал угрызения совести. Он сидел рядом с миссис Рэмзи, и ему решительно нечего было ей сказать.

— Простите, пожалуйста, — сказала миссис Рэмзи, наконец-то к нему оборачиваясь.

Он себе показался пустым и жестким, как ботинок, намокший и высохший, — никак не втиснешь ногу. А ногу втиснуть придется. Придется из себя что-то выдавить. Если не принять скрупулезнейших мер, она уловит предательство; что ему на нее с высокой горы наплевать; не очень ей это будет приятно, подумал он. И он учтиво склонил к ней голову.

— Вам скучно, должно быть, ужинать в нашей берлоге, — сказала она, как всегда, когда бывала несобранна, пуская в ход свою светскость. Так, если сходитя разноязычная публика, председатель вменяет всем говорить по-французски. Пусть французский будет дурной; спотыкающийся, не передающий нюансов; но с помощью французского достигается известный порядок, известное единение. Отвечая ей на том же языке, мистер Бэнкс сказал:

— Да нет, ну что вы, —

и мистер Тэнсли, не разбиравший этого языка, даже преподносимого в таких односложных словечках, тотчас заподозрил неискренность. Болтают белиберду, думал он, эти Рэмзи; и он с наслаждением вцепился в свежий пример для своих заметок, какими в свое время намеревался попотчевать кое-кого из приятелей. Там, в обществе, где принято изъясняться без штук, он язвительно изобразит, каково это — «гостить у Рэмзи» и какую они болтают белиберду. Один раз еще можно, он скажет, но уж вторично — увольте. Такая тоска эти дамы, он скажет. Рэмзи здорово влип, женясь на красавице и наплодив восьмерых детей.

Что-то подобное в свое время должно было вырисоваться; но покамест, в данный момент, когда он торчал тут подле пустого стула, ничего решительно не вырисовывалось. И хоть бы кто-то помог ему о себе заявить. Ему это было необходимо, он ерзал на стуле, смотрел на одного, на другого, хотел вклиниться в разговор, открывал, закрывал рот. Говорили о рыбном промысле. Почему бы не справиться у него? Ну что понимают они в рыбном промысле?

Лили Бриско все это понимала. Она сидела напротив, и разве она не видела желание молодого человека произвести впечатление; видела, как на рентгеновском снимке (вот ключицы, вот ребра) — темно прочерченное сквозь туманы плоти, увязающее в туманах условностей острое желание молодого человека вклиниться в разговор. Но нет, она думала, щуря китайские глазки и помня, как он издевался над женщинами — «не владеют пером, не владеют кистью», — с какой стати я буду его выручать?

Существует кодекс поведения, она знала, согласно седьмому (так, кажется?) пункту которого в ситуации подобного рода женщине полагается, чем ни была бы она сама занята, кинуться к молодому человеку на выручку, помочь ему вытащить из туманов условностей свое желание покрасоваться; свое острое (как ключицы, как ребра) желание вклиниться в разговор; в точности так, как и х долг, рассуждала она со стародевичьей честностью, помочь нам, если, скажем, разразится в подzemке пожар. В таком случае, она думала, я определенно ждала бы от мистера Тэнсли, что он поможет мне выбраться. Но интересно, а что, если ни один из нас ничего такого не сделает? И она молчала и улыбалась.

— Вы же не собираетесь на маяк, правда, Лили? — сказала миссис Рэмзи. — Вспомните бедного мистера Лэнгли. Он сто раз объездил весь свет, а мне говорил, что в жизни никогда так не маялся, как когда мой муж потащил его с собой на маяк. Вы хорошо переносите качку, мистер Тэнсли?

Мистер Тэнсли занес топор, высоко им взмахнул; но когда топор опускался, сообразил, что нельзя сокрушать столь легкую бабочку подобным орудием, и сказал только, что в жизни его не тошнило. Но единственная эта фраза, точно порохом, была заряжена: тем, что дед его был рыбак, отец — аптекарь; он пробыл исключительно своим горбом; чем и гордится; он — Чарльз Тэнсли; здесь никто, кажется, этого толком не понял; но еще узнают, узнают. Он смотрел прямо перед собою и хмурился. Ему даже жаль было мягкую, тонкую публику, которую когда-нибудь, как тюки шерсти, как мешки с яблоками, взметнет на воздух тем порохом, что он носит в себе.

— Возьмете меня с собой, да, мистер Тэнсли? — сказала Лили быстро, любезно, ведь если миссис Рэмзи ей говорила, а она говорила: «Лили, миленькая, душа моя мрачна, и если вы не спасете меня от стрел яростной судьбы и сейчас же не скажете что-нибудь любезное этому молодому человеку (госка смотреть, как он мается, бедняк), я просто не выдержу, у меня разорвется грудь от муки», — ведь если миссис Рэмзи говорила ей все это своим взглядом, разумеется, Лили пришлось в сотый раз отказаться от эксперимента: что произойдет, не прояви она чуткости к молодому человеку. И она проявила чуткость.

Правильно расценив поворот в ее настроении — теперь она говорила любезно, — он освободился от мук эгоизма и рассказал, как в детстве его бросали с лодки; как отец его выуживал багром; его учили плавать. Дядька был смотрителем маяка на одном острове где-то у берегов Шотландии. Как-то он у него оставался в бурю. Все это было громко вставлено в паузу. Всем пришлось его слушать, когда он пошел рассказывать, как оставался у дядьки на маяке в бурю. Ах, думала Лили Бриско, скользя по благоприятным поворотам беседы и видя признательность миссис Рэмзи (наконец, миссис Рэмзи могла и сама спокойно поговорить), ах, да чего бы я ни дала, чтобы вам угодить. И она была неискренна.

Она прибегла к банальной уловке: к любезности. Она никогда не узнает его. Он ее никогда не узнает. Все человеческие отношения таковы, и хуже всех (если б не мистер Бэнкс) — отношения между мужчиной и женщиной. Эти-то уж неискренны до предела. Тут взгляд ее упал на солонку, переставленную для памяти, она вспомнила, что утром переместит дерево к центру, и при мысли о том, как она завтра снова примется за работу, у нее отлегло от сердца, и она

громко расхохоталась над очередной фразой мистера Тэнсли. Пусть его разглазольствует хоть целый вечер, если не надоест!

— А на какой срок оставляют людей на маяке? — спросила она. Он ответил. Он проявлял поразительную осведомленность. И раз он ей благодарен, раз она ему нравится, раз он отвлекся, развлекся, думала миссис Рэмзи, можно вернуться в дивный край, в нереальное, замороженное место, в гостиную Мэннингов в Марло двадцать лет назад; где бродишь без тревоги и спешки, потому что нет того будущего, о котором приходится печься. Ей известно, что им предстоит, что предстоит ей. Будто перечитываешь хорошую книгу и знаешь конец, все ведь случилось двадцать лет назад, и жизнь, даже с обеденного стола каскадом бившая неизвестно куда, теперь опечатана там и лежит в его берегах как ясное море. Он сказал, они строят бильярдную, — неужели? Не расскажет ли Уильям Бэнкс о Мэннингах еще что-нибудь? Это так интересно. Но нет. Отчего-то такое он был уже не в настроении. Она пробовала его растормошить. Он не давался. Не силком же его заставлять. Ей было досадно.

— Дети ведут себя бессовестно, — сказала она, вздыхая. Он сказал что-то насчет пунктуальности; мол, она-де из тех мелких добродетелей, которые мы обретаем с годами.

— Если вообще обретаем, — сказала миссис Рэмзи, чтобы что-то сказать, а сама думала — какой же старой песочницей становится Уильям. Он чувствовал себя предателем, чувствовал, что ей хочется более задушевной беседы, но был к ней в данный момент не способен и нашла на него тоска, стало скучно — сидеть тут и ждать. Может быть, другие говорят что-нибудь стоящее? Что они там говорят?

Что в этом году плохой лов рыбы; рыбаки эмигрируют. Говорили о заработках, о безработице. Молодой человек избобличал правительство. Уильям Бэнкс, думая о том, какое облегчение — ухватиться за что-то в таком духе, когда личная жизнь наводит тоску, прилежно слушал про «одно из возмутительнейших постановлений нынешнего правительства». Лили слушала; миссис Рэмзи слушала; слушали все. Но Лили уже заскучала и чувствовала, что тут что-то не то; мистер Бэнкс чувствовал — что-то не то. Кутаясь в шаль, миссис Рэмзи чувствовала — не то, не то. Все заставляли себя слушать и думали: «Господи, только б никто не догадался о моих тайных мыслях»; каждый думал: «Они все слушают искренне. Они возмущены отношением правительства к рыбакам. А я притворяюсь». Но, возможно, думал мистер Бэнкс, глядя на мистера Тэнсли, такой человек нам и нужен. Вечно мы ждем настоящего деятеля. Всегда есть возможность его появления. В любую минуту может явиться — он; гений в сфере политической, как во всякой другой. Пусть он покажется весьма и весьма неприятным нам — старым тюфякам, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь быть беспристрастным, ибо по странному, противному покаяванию в хребте он заключал, что завидует — отчасти ему самому, а возможно, его работе, его позиции, его науке; потому-то он не без предвзятости, не с полной справедливостью относится к мистеру Тэнсли, который будто бы говорит: «Все вы себя не нашли. Куда вам. Несчастливым старым тюфякам. Вы безнадежно отстали от жизни». Он, положим, самоуверен, этот молодой человек; и — какие манеры. Но, заставил себя признать мистер Бэнкс, он смел; со способностями; свободно оперирует фактами. Возможно, думал мистер Бэнкс, пока мистер Тэнсли избобличал правительство, он очень во многом прав.

— А вот скажите, пожалуйста... — начал он. И они углубились в политику, и Лили посмотрела на цветочек на скатерти; а миссис Рэмзи, предоставив двоим мужчинам дискутировать без помех, удивлялась, отчего ей так скучно, и, поглядывая через весь стол на мужа, мечтала, чтобы он вставил слово. Хоть единственное словцо. Ведь стоит заговорить ему, и все сразу меняется. Он во всем доходит до сути. Действительно волнуется о рыбаках, об их заработках. Ночей из-за них не спит. Когда говорит о н, все иначе; никто не думает: только б не заметили моего равнодушия, — потому что не остается уже равнодушных. Потом она поняла, что ей так хочется, чтобы он заговорил, оттого что она восхищается им, и — будто кто при ней похвалил ее мужа, похвалил их союз — она вспыхнула вся, забыв, что сама же его и похвалила. Она на него посмотрела: наверное, у него все написано на лице; он сейчас, наверное, чудный... Но —

ничуть не бывало! Он сморщился весь, он надулся, насупился, красный от злости. Господи, да по какому же поводу? — удивлялась она. Что такое? Бедный Август Кармайкл попросил еще тарелку супа — только и всего. Мучительно, невыносимо (сигнализировал он ей через стол), что Август сейчас снова-здорово возьмется за суп. Он терпеть не может, если кто-то ест, когда сам он кончил. Злость метнулась ему в глаза, исказила черты, вот-вот, она чувствовала, произойдет страшный взрыв... но, слава Богу, он спохватился, дернул за тормоз и — будто весь изшел искрами, но ни слова не проронил. Вот — сидит и дует. Он ни слова не проронил — пусть она оценит. Пусть отдаст ему должное! Но почему же, спрашивается, бедный Август не мог попросить еще супу? Он только тронул Эллен за локоть и сказал:

— Эллен, еще тарелочку супа, будьте добры, — и мистер Рэмзи надулся подобным образом.

А почему нельзя? — спрашивала миссис Рэмзи. Почему Августу не съесть вторую тарелку супа, раз ему хочется? Он ненавидит, когда кто-то вольтит, смакуя пищу, хмурился ей в ответ мистер Рэмзи. Вообще ненавидит, когда что-то часами тянется. Но он же взял себя в руки, пусть она оценит, он совладал с собой, хоть его воротит от подобного зрелища. Но зачем все так явно показывать? — спрашивала миссис Рэмзи (они смотрели друг на друга, посылая через длинный стол вопросы и ответы, безошибочно читая мысли друг друга). Все видят, думала миссис Рэмзи. Роза уставилась на отца; Роджер уставился на отца; она поняла: вот-вот оба зайдутся от смеха, — и потому поскорее сказала (главное, и правда пора):

— Зажгите-ка свечи, — и они тут же вскочили и стали орудовать возле буфета.

Почему он никогда не может скрыть своих чувств? — думала миссис Рэмзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. Да, вероятно; или, может быть, нет. Она не могла не уважать спокойствия, с которым он хлебал суп. Захотел супу и попросил. Смеются над ним, злятся — он неизменен. Он недолюбливал ее, она знала, но даже за это она уважала его и, глядя, как он хлебал суп, большой, безмятежный в убывающем свете, монументальный и созерцательный, она гадала, о чем он думает и откуда у него это неизменное достоинство и довольство; и она думала, как привязан он к Эндрю, часто зовет к себе в комнату, Эндрю рассказывал, «показать кое-что». И целыми днями он лежит на лужке, рождая, должно быть, стихи; как кошка птичку, подстерегает упорхнувшее слово, а поймав, припечатывает лапкой; и муж говорит: «Бедняга Август — он настоящий поэт», а это для мужа — много.

Восемь свечей стояли уже вдоль стола, и, сперва поклонившись, потом распрямясь, пламя выхватило из сумерек весь длинный стол и золотую, багряную гору фруктов посередине. И как она это устроила, думала миссис Рэмзи, потому что Розино сооружение из гроздьев и груш, из шершавых, с алым подбоем раковин, из бананов увлекало мысль к трофеям морского дна, к пирам Нептуна, к виноградной кисти, с листьями вместе легкой Бахусу на плечо (на разных картинах) посреди леопардовых шкур и рыжего, жаркого дрожания факелов... Так, вытщенная на свет, гора фруктов стала вдруг глубокой, пространной, стала миром, где, взявши трость, карабкаешься на горы, сходишь в лоцины; и, к ее радости (их это мгновенно объединило), Август тоже бродил взором по этой горе и, усладясь где цветочком, где кисточкой, возвращался к себе, возвращался в свой улей. Так он смотрел; ничуть на нее не похоже. Но они вместе смотрели, и это сближало.

Уже горели все свечи и придвинули лица друг к другу, свели, чего не было в сумерках, в общество за столом, и ночь была изгнана оконными стеклами, которые уже не тщились передать поточнее мир заоконья, но странно туманили его и рябили, и комната стала оплотом и сухой; а снаружи осталось отображенье, где все струисто качалось и таяло.

И все учуяли перемену, будто и впрямь они вместе пируют в лоцине, на острове; и сплотились против наружной текучести. Миссис Рэмзи, которая изводилась из-за отсутствия Минты и Пола, просто места себе не находила, вдруг перестала изводиться — ждала. Сейчас они войдут. И Лили Бриско, пытаясь понять причину внезапного облегчения, сопоставляла его с той минуткой на теннис-

ном корте, когда все плавало в сумерках, лишенное веса, и всех расшвыряло далеко по пространству; теперь тот же эффект достигался тем, что горело много свечей, и комната полупуста, не занавешены окна, и лица глядят при свечах, как яркие маски. Со всех сияли груз. Теперь — будь что будет, чувствовала Лили. Сейчас они войдут, решила миссис Рэмзи, глядя на дверь, и в тот же миг Минта Дойл, и Пол Рэйли, и горничная с огромным блюдом вошли вместе в столовую. Они дико опоздали; они кошмарно опоздали, говорила Минта, пока они пробирались к разным концам стола.

— Я брошку потеряла, бабушкину брошку, — говорила Минта таким сетующим голосом и так жалостно потупляла и вновь поднимала большущий, карий, отуманенный взор, садясь рядом с мистером Рэмзи, что в том всколыхнулась рыцарственность и он принялся над нею трунить.

Что за идиотская манера, спрашивал он, валандаться по скалам в драгоценностях?

Сперва она, в общем, побаивалась его — он такой дико умный — и в первый вечер, когда сидела с ним рядом, а он говорил про Джордж Элиот, она прямо погибала от страха, потому что третий том «Миддлмарча» посеяла в поезде и так и не знала, чем дело кончилось; но потом она здорово приспособилась и нарочно стала прикидываться еще более темной, раз ему нравится обзывать ее дурой. И сегодня — когда он стал над нею смеяться, она нисколько не испугалась. И вообще, как вошла в столовую, сразу она поняла — чудо случилось: золотая дымка при ней. Иногда она бывала при ней; иногда нет. Она сама не знала, отчего она появляется, отчего исчезает и при ней она или нет, пока не войдет в комнату, и тут она сразу все узнавала по взгляду какого-нибудь мужчины. Да, сегодня дымка при ней; еще как; она это сразу узнала по голосу мистера Рэмзи, когда он обозвал ее дурой. И, улыбаясь, села с ним рядом.

Да, значит, свершилось, думала миссис Рэмзи; обручились. И на секунду почувствовала то, чего от себя уже и не ожидала, — ревность. Ведь он, муж, тоже заметил это — сияние Минты; ему нравятся такие девицы, золотистые, рыжие, неуправляемые, лихие, не жеманящиеся, не «ущемленные», как аттестовал он бедняжку Лили. Есть что-то, чего ей самой не хватает, блеск какой-то, живость, что ли, которая привлекает его, веселит, и девицы вроде Минты у него ходят в любимицах. Подстригают его, плетут ему цепочки для часов, отрывают от работы, голосят (сама слышала): «Идите сюда, мистер Рэмзи; сейчас мы их обставим!» — и он как миленький тащится играть в теннис.

Да нет, не ревнивая она вовсе; просто, когда уж заставишь себя глянуть в зеркало, обидно становится, что состарилась и сама, наверное, виновата (счет за теплицу и прочее). Она даже им благодарна, что подначивают его («Сколько трубок сегодня выкурили, а, мистер Рэмзи?» и прочее), пока он не станет на вид почти молодым человеком; который очень нравится женщинам; не обременен, не согбен величием трудов, вселенской скорбью, своей славой или несостоятельностью; но снова таким, как когда она познакомилась с ним; изможденным и рыцарственным; каким помогал ей, помнится, выйти из лодки; таким вот неотразимым (она на него посмотрела, он трунил над Минтой и невероятно молодо выглядел). Ну а ей: «Сюда поставьте», — сказала она, помогая девушке-швейцарке осторожно водрузить рядом с ней огромный коричневый горшок с *Voef eu Daube*, — ей лично нравятся оболтусы. Пусть Пол сядет с ней рядом. Она ему стерегла это место. Честное слово, иногда ей кажется, оболтусы лучше. Не пристает к тебе с диссертациями. Как же много теряют они, свехумники! В каких сухарей превращаются! Пол, думала она, когда он садился с нею рядом, в общем, милейшее существо. Ей ужасно нравится, как он держится, и его четкий нос и глаза — синие, яркие. И какой он внимательный. Может быть, он поделится с ней — раз все занялись уже общей беседой, — что такое произошло?

— Мы вернулись поискать Минтину брошку, — сказал он, садясь с нею рядом. «Мы» — и довольно. По усилению голоса, на подъеме одолевавшего трудное слово, она поняла, что он в первый раз сказал «мы». «Мы» делали то, «мы» делали се. Так всю жизнь будут они говорить, думала она, а дивный запах маслин, и масла, и сока поднимался от огромного коричневого горшка, с которого Марта сняла не без гордости крышку. Кухарка три дня колдовала над кушаньем. И надо поосторожней, думала миссис Рэмзи, зачерпнуть ложкой мягкую массу, чтоб

выудить кусок понежнее для Уильяма Бэнкса. Она заглянула в горшок, где между сверкающих стенок плавали темные и янтарные ломтики упоительной снеди, и лавровый лист, и вино, подумала: «Вот и ознаменуем событие», — и странная эта идея, одновременно шутовская и нежная, всколыхнула сразу два чувства: одно глубокое — ведь что есть на свете серьезней любви мужчины к женщине, властительней, неотступней; с семенем смерти на дне; и вот этих-то любящих, двоих, с сияньем во взоре вступающих в царство иллюзии, надо окружить шутовским хороводом, увесить гиляндами.

— Шедевр, — сказал мистер Бэнкс, отложив на минутку нож. Он ел внимательно. Все сочно; нежно. Приготовлено безупречно. И как ей удастся такое в здешней глуши? — спросил он. Удивительная женщина. Вся его любовь, вся почтительность к нему возвратились; и она поняла.

— Еще бабушкин французский рецепт, — сказала миссис Рэмзи, и в голосе задрожала счастливая нотка. Французский — то-то же. Нечто, выдаваемое за английскую кухню, есть форменное позорище (согласились они). Капусту в семи водах вываривают. Мясо жарят, покуда не превратится в подошву. Срезают с овощей их бесценную кожицу. «В которой, — сказал мистер Бэнкс, — вся ценность овощей и заключена». А какое расточительство, сказала миссис Рэмзи. Целая французская семья может продержаться на том, что выбрасывает на помойку английская стряпуха. К ней вернулось расположение Уильяма, напряженье ушло, все уладилось, снова можно было торжествовать и шутить — и она смеялась, она жестикулировала, а Лили думала: что за ребячество, какая нелепость — во всем сиянии красоты рассуждать о кожице овощей. Что-то в ней просто пугающее. Неотразима. Вечно своего добивается, думала Лили. Вот и это сладила — Пол и Минта, конечно, помолвлены. Мистер Бэнкс, пожалуйста, за столом. Всех она опутала чарами, ее желания просты и прямы — кто устоит? — и Лили сопоставляла эту полноту души с собственной нищетой духа и предполагала, что тут отчасти причиною вера (ведь лицо ее озарилось и, пусть не молодое, сверкало все), вера миссис Рэмзи в ту странную, в ту ужасную вещь, из-за которой Пол Рэйли, в центре ее, трепетал, но был отвлечен, молчалив, задумчив. Миссис Рэмзи, чувствовала Лили, рассуждая о кожице овощей, ту вещь восславляла, молитвословила; тянула к ней руки, чтоб их отогреть, чтоб ее охранить, и, спроворив все это, уже усмеялась, чувствовала Лили, и жертвы вела к алтарю. И вот ее самое проняло наконец волненьем любви, ее трясом. Какой невзрачной казалась она себе рядом с Полом! Он горит и пылает; она бессердечно насмешничает. Он пускается в дивное плаванье; она пришвартована к берегу; он мчится вдаль без оглядки; она, забытая, остается одна — и готовая в случае бед разделить его беды, она спросила робко:

— А когда Минта потеряла брошку?

Нежнейшая из улыбок тронула его рот, отуманенная мечтой, подернутая воспоминаньем. Он покачал головой.

— На берегу, — сказал он. — Я ее найду, — сказал он. — Я встану ни свет ни заря. — И раз он собирался это сделать по секрету от Минты, он понизил голос и глянул туда, где она смеялась рядом с мистером Рэмзи.

Лили хотела искренно, от души предложить ему свою помощь и уже видела, как, идя по рассветному берегу, кидается на загаившуюся под камнем брошку, разом включая себя в круг моряков и искателей подвигов. И как же он на ее предложение ответил? Она в самом деле сказала с чувством, которое редко позволяла себе демонстрировать: «Можно, я с вами пойду?» А он засмеялся. Это могло означать «да» и «нет». Что угодно. Неважно. Станный смешок говорил: «Хоть с утеса кидайтесь, если хотите, мне-то что». Ей в щеку дохнуло жаром любви, ее жестокостью и бесстыдством. Лили ожгло, и глядя, как Минта на дальнем конце стола чарует мистера Рэмзи, она пожалела бедняжку, попавшую в страшные когти, и возблагодарила судьбу. Слава Богу, подумала она, переводя взгляд на свою солонку, ей-то замуж не надо. Ей это унижение не грозит. Ее эта пошлость минует. Ее дело — подвинуть дерево ближе к центру.

Вот как все сложно. Потому что вечно она — а в гостях у Рэмзи особенно — ощущает мучительно две противоположные вещи сразу: одно — то, что чувствуешь ты, и другое — что чувствую я; и они у ней сталкиваются в душе, вот как сейчас. Она так прекрасна, так трогает, эта любовь, что я заражаюсь, дрожу, я

суюсь совершенно вопреки своим правилам искать на берегу эту брошку; но она и самая глупая, самая варварская из страстей и превращает милого юношу с профилем тоньше камня (у Пола восхитительный профиль) в громилу с ломом (он дерзит, он хамит) на большой дороге. И все же, говорила она себе, от начала времен слагались оды любви; слагались венки и розы; и спросите вы у десяти-рых, и ведь девять ответят, что ничего не знают желанней; тогда как женщины, по ее личному опыту судя, непрестанно должны ощущать — это не то, не то; ничего нет заунывней, глупее, бесчеловечней любви; и — вот поди ж ты — она прекрасна и необходима. Ну и? ну и? — спрашивала она, будто предоставляя продолжение спора другим, как в подобных случаях выпускают свою маленькую стрелу заведомо наобум и оставляют поле другим. Так и она снова принялась их слушать в надежде, что прольют какой-то свет на вопрос о любви.

— А еще, — сказал мистер Бэнкс, — эта жидкость, которую англичане именуют кофе.

— Ох, кофе! — сказала миссис Рэмзи. Но куда важнее проблема (тут ее не на шутку разобдало, Лили Бриско заметила, она очень возбужденно заговорила), проблема свежего масла и чистого молока. С жаром и красноречием она описала ужасы английского молочного хозяйства, и в каком виде доставляют к дверям молоко, и хотела еще подкрепить свои обвинения, но тут вокруг всего стола, начиная с Эндрю посередине (так огонь перескакивает с пучка на пучок по дроку), рассмеялись все ее дети; рассмеялся муж; над ней смеялись; она была в огневом кольце; и пришлось ей трубить отбой, выводить из боя орудия и нанести ответный удар, выставляя перед мистером Бэнксом это подтрунивание примером того, чему подвергаемся мы, атакуя предрассудки английской публики.

Но видя, что Лили, которая так ее выручила с мистером Тэнсли, чувствует себя за бортом, она ее нарочно вытащила; сказала: «Лили, во всяком случае, со мной согласится», — и вовлекла ее, слегка растерянную, слегка всполошенную (она думала о любви), в разговор. Они оба чувствуют себя за бортом, думала миссис Рэмзи, Лили и Чарльз Тэнсли. Оба страдают в сиянии тех двоих. Он, это ясно, скис совершенно; да и какая женщина на него глянет, когда в комнате Пол Рэйли. Бедняга! Но у него же эта его диссертация, влияние кого-то на что-то; ничего, обойдется. Лили — дело другое. Она померкла в сиянии Минты; стала еще незаметней, в своем этом маленьком сереньком платье — личико с кулачок, маленькие китайские глазки. Все у нее маленькое. И однако, думала миссис Рэмзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь (пусть Лили подтвердит, она говорит о своем молочном хозяйстве не больше, чем муж о своих ботинках, он часами говорит о ботинках), в сорок лет Лили будет лучше, чем Минта. В Лили есть основа; какая-то искорка, что-то такое свое, что она лично ужасно ценит, но мужчина едва ли поймет. Куда там. Разве что мужчина гораздо старше, как вот Уильям Бэнкс. Но ведь ему, ну да, миссис Рэмзи казалось порою, что после смерти жены ему сама она нравилась. Ну, не «влюблен», конечно; мало ли этих неопределяемых чувств. Ах, да что, в самом деле, за чушь, подумала она; пусть Уильям женится на Лили. У них же так много общего. Лили так любит цветы. Оба холодные, необщительные, каждый, в сущности, сам по себе. Надо их отправить вдвоем в дальнюю прогулку.

Сдуру она их усадила по разным концам стола. Ничего-ничего, завтра все можно уладить. Если погода хорошая — можно устроить пикник. Все казалось осуществимо, все казалось чудесно. Наконец-то (но такое не может длиться, думала она, выпадая из мгновенья, покуда они разговаривали о ботинках), наконец-то она в безопасности; она как ястреб парит в вышине; реет, как флаг, вздутый радостным ветром, и плеск неслышный, торжественный, ведь радость идет, думала она, оглядывая их всех за едой, — от мужа, от детей, от друзей; и, поднявшись в глухой тишине (она выживала для Уильяма Бэнкса еще крохотный кусочек и заглядывала в глубины глиняного горшка), отчего-то такое вдруг застывает туманом, стремящимся кверху дымком, и всех караулит, всех оберегает. Ничего не надо говорить; ничего и не скажешь. Здесь она — всех обволакивает. И это как-то связано, думала она, тщательно выбирая для Уильяма Бэнкса особенно нежный кусочек, с вечностью; нечто похожее она уже чувствовала сегодня по другому поводу; все связано; непрерываемо; прочно; что-то не подтачивается переменами и сияет (она глянула на окно, струящее отраженья свечей), как ру-

бин, наперекор текучему, скоротечному, зыбкому, — и опять нашло на нее давешнее — чувство покоя, покоя и отдыха. Из таких мгновений и составляется то, что навеки останется. Это останется.

— Да-да, — уверяла она Уильяма Бэнкса, — здесь еще бездна, всем хватит.

— Эндрю, — сказала она, — держи тарелку пониже, чтоб мне не накапать. (Bœuf en Daube был совершенный шедевр.) Вот, она чувствовала, кладя ложку, вот он — островок тишины, какой не бывает на свете; и теперь можно было обожидать (она уже всех оделила), можно было послушать; как ястреб, вдруг низринуться с высоты, кануть вниз, легко спланировать на хохот, поймать, схватить то, что в дальнем конце стола муж говорил про квадратный корень от числа тысяча двести пятьдесят три, которое ему выпало на железнодорожном билете.

Что такое? Вот уж она не могла усвоить. Квадратный корень? Что это? Сыновья — те знали. Она на них полагалась; на квадратный, на кубический корень; на всякое такое перешел разговор; на Вольтера, мадам де Сталь; на характер Наполеона; на французскую систему земельной аренды; на лорда Розбери<sup>1</sup>; на мемуары Криви<sup>2</sup> — она не раздумывая полагалась на это дивное, сложное, непонятное сооружение мужского ума, которое все возводилось и, как железные стропила держат постройку, держало весь мир; и держало ее; целиком ему вверясь, она могла даже на мгновенье закрыть глаза, на мгновенье зажмуриться, как ребенок жмурится, глядя с подушки на несчетные пласты расколыхавшихся листьев. Но тут она встрепенулась. Строительство шло. Уильям Бэнкс расхваливал романы автора Уэверли<sup>3</sup>.

Он непременно раз в полгода один из них перечитывает, сказал он. И отчего же так вскинулся Чарльз Тэнсли? В совершенно расстроенных чувствах (а все потому, что Пру на него любезного слова жалко) он напустился на этого Уэверли, хоть ничего в нем не смыслил, решительно ничего, думала миссис Рэмзи, разглядывая его и не слушая, что такое он мелет. Она и так все видела: ему надо за себя постоять, и так будет вечно, пока он не сделается профессором, не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца «я, я, я». Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером (или это Джейн Остен?) и сводится. «Я, я, я». Он думает о себе, о том, какое впечатление он производит, она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдет на пользу успех. Но ничего. Опять говорят, говорят. Уже можно не слушать. Это пройдет, не останется, она знала, но сейчас у нее был такой ясный взгляд, что, обводя всех сидящих вокруг стола, он высвечивал без труда их мысли и чувства; так крадется луч под водой и врасплох застигает волны и водоросли, плеск пескарей, сонный промельк форели, и все колышется, повисает, насквозь пробитое этим лучом. Она все видела; она все слышала; но то, что говорили они, было как трепет форели, сквозь который видишь волны, и дно, и что поправей, полевей; все это одновременно; и если в обычной жизни она запустила бы сети, выуживала бы то одно, то другое; сказала бы, что обожает эти романы Уэверли или что их не читала; бросилась бы вперед; сейчас она ничего не сказала. Она колыхалась, повиснув.

— Ну и надолго ли, вы полагаете, это останется? — спросил кто-то. У нее словно работали щупальца, выхватывая отдельные фразы, настаораживая внимание. Вот и сейчас. Она учуяла опасность для мужа. Вопрос почти неминуемо повлечет какое-нибудь замечание, которое ему напомнит о собственной несостоятельности. Он сразу подумает — долго ли его самого будет читать? Уильям Бэнкс (совершенно свободный от всякого такого тщеславия) засмеялся и сказал, что колебания моды его не волнуют. Кто скажет с уверенностью, что надолго останется — в литературе, как и в прочем во всем?

— Давайте же получать удовольствие от того, что его доставляет, — сказал он. Миссис Рэмзи ужасно нравилась эта его цельность. Уж он то, конечно, не думает: «А каким боком это коснется меня?» Но если у тебя характер другой, если

<sup>1</sup> Розбери Арчибальд Филипп Примроуз (1847—1929) — английский государственный деятель и писатель. В 1894—1895 годах был премьер-министром Англии.

<sup>2</sup> Криви Томас (1768—1838) — член парламента от партии вигов. В 1903 году были опубликованы его письма падчерице, интересный документ эпохи.

<sup>3</sup> В 1814 году Вальтер Скотт издал первый из своих исторических романов — «Уэверли». Далее анонимно он выпустил еще ряд романов. Авторство свое он раскрыл только в 1827 году. Весь этот цикл романов иногда принято и до сих пор называть романами автора Уэверли.

ты нуждаешься в похвалах, нуждаешься в поощрении, ясно, ты сразу почувствуешь (и конечно, мистер Рэмзи уже почувствовал) недовольство; захочешь, чтоб кто-то сказал: «О, но ваша-то работа, мистер Рэмзи, надолго останется» — или что-то в подобном духе. Он уже совершенно ясно выказывал свое недовольство, с некоторым даже вызовом объявляя, что по крайней мере Скотт (или это Шекспир?) с ним лично до конца жизни останется. Он говорил с вызовом. Всем, она чувствовала, стало отчего-то неловко.

Но тут Минта Дойл (со своим тонким инстинктом) бодро, безапелляционно бухнула, что не верит, будто кому-то в самом деле доставляет удовольствие Шекспир. Мистер Рэмзи сказал мрачно (зато хоть снова отвлекся), что очень немногие наслаждаются им так, как принято делать вид. Но, с другой стороны, добавил он, в некоторых вещах есть тем не менее неоспоримые достоинства; и тут миссис Рэмзи поняла, что пока, слава Богу, пронесло; сейчас он будет трунить над Минтой, и та, сообразив, какая его гнетет забота, по-своему за ним приглядит, утешит, уж как-то похвалит. Жаль, но без этого не обойтись. Что ж, думала миссис Рэмзи, все сама небось виновага. Во всяком случае, покамест можно было со спокойной душой выслушать, что пытался рассказать Пол Рэйли о книгах, которые читаешь в детстве. Они остаются, сказал он. Он вот в школе еще читал Толстого, так одна вещь ему навсегда запала, только он название забыл, там фамилия. Русские фамилии невообразимы, сказала миссис Рэмзи. «Вронский», — сказал Пол. Уж эту-то он запомнил, он все думал — в самый раз фамилия для негодяя. «Вронский...» — сказала миссис Рэмзи. — А-а, „Анна Каренина“ — но дальше как-то застопорилось; книги были не по их части. О, Чарльз Тэнсли мог в два счета их просветить насчет книг, но все настолько мешалось с «верно ли я говорю?» и «хорошее ли я произвожу впечатление?», что в конце концов вы больше узнавали о нем, нежели о Толстом, тогда как Пол ведь говорил не о себе, а именно о предмете. Как у всех глупых людей, была у него известная скромность, внимание к вашим чувствам, а это тоже иной раз не лишнее. И сейчас он думал не о себе и не о Толстом, а о том, не холодно ли ей, не дует ли, не хочется ли ей грушу.

Нет, сказала она, груши не надо. Она стерегла блюдо с фруктами (не отдавая себе отчета), надеялась, что никто его не тронет. Блуждала взглядом по телям, по изгибам, по налитой лиловости гроздьев, всползала на гребень раковины, сопрягала с желтым лиловое, с выпуклым полое, не зная, зачем это нужно и отчего так отрадно; пока наконец — ах, ну какая жалость! — чья-то рука не протянулась, грушу взяла и все разрушила. Она сочувственно поглядела на Розу. Поглядела на Розу, сидевшую между Пру и Джеспером. Как странно, что твой ребенок может сварганить такое.

Как странно: сидят тут рядком твои детки — Джеспер, Роза, Пру, Эндрю — и, в общем, помалкивают, но по губам же видно — чему-то своему усмеваются. Это не имеет отношения к общему разговору; что то они припасают, копят, чтоб потом у себя уже в комнатах нахохотаться. Только б не над отцом. Нет, думала она, нет. Но что же это у них, гадала она, огорчаясь, и ей казалось, не будь ее здесь, они бы давно уже прыснули. Что-то такое там копится, копится, за тихими, почти застывшими лицами-масками; и не подступиться; они как надсмотрщики, как соглядатаи, выше, что ли, не то в сторонке от взрослых. Но глядя на Пру, она видела, что по отношению к той это сегодня не вполне справедливо. Она только-только расшевеливается, встает, еще и не подступает к черте. Слабый-слабый свет лег на ее лицо, как отблеск сияния Минты, восхищенным предчувствием счастья; словно солнце любви мужчины и женщины всходило над скатертью и она, неведомому, ему поклонялась. Она все поглядывала на Минту, робко, не с любопытством, и миссис Рэмзи, переводя взгляд с одной на другую, в душе говорила Пру: ты будешь такой же счастливой. Ты будешь даже гораздо счастливей, ведь ты моя дочь (разумела она); ее дочь должна быть счастливей, чем чья-то еще. Но ужин кончился. Надо идти. Они только кожурой на тарелках играют. Надо обождать, пока отсмеются над историей, которую рассказывает муж; у них с Минтой свои шуточки, про какое-то их пари. А там она встанет.

А ведь ей нравится Чарльз Тэнсли, подумала она вдруг; нравится, как он смеется. Нравится, что он так сердится на Пола с Минтой. Нравится его нелепость. Безусловно, в нем что-то есть. Ну а милую Лили, подумала она и поло-

жила салфетку рядом с тарелкой, всегда выручит чувство юмора. И нечего о Лили волноваться. Она ждала. Она сунула салфетку углом под тарелку. Ну как они — кончили? Нет. Та история потащила за собою другую. Муж сегодня в невероятном ударе, и желая, наверное, заглядеть перед стариком Августом эпизод по поводу супа, он втянул и его в разговор — они друг другу рассказывали про кого-то, кого знали по колледжу. Она смотрела в окно, где свечи горели жарче на совсем уже черных стеклах, смотрела в то заоконье, и голоса доходили оттуда странно, как церковная служба, потому что она не вникала в слова. Погом вдруг взрыв хохота и голос, единственный (Минтин), ей напомнили о мужских и мальчишеских возгласах на латыни в одном католическом храме. Она ждала. Муж заговорил. Он говорил что-то, и она догадалась, что это стихи, по ритму и еще по высокой печали в голосе:

Пройди тропой крутою в сад,  
Луриана, Лурили.  
О том, что розы расцвели, нам уши прожужжат шмели<sup>4</sup>.

Слова (она смотрела в окно) плыли, как лилии по водам за окном, ото всех отделенные, будто их и не произносит никто, будто сами собою рождаются:

Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли,  
Как лес шумят, как листопад.

Она не понимала значения слов, но, как музыка, они будто говорили ее собственным голосом, помимо нее, легко и просто говорили то, что весь вечер было у нее на душе, покуда она всякое произносила. Не глядя вокруг, она знала, что все за столом слушают голос:

Не знаю, думаешь ли ты,  
Луриана, Лурили,—

с той же радостью, легкостью, что и она, будто наконец-то подыскали самое нужное и простое; будто это их собственный голос.

Но вот голос смолк. Она поглядела вокруг. Она себя заставила встать. Август Кармайкл поднялся и, так держа салфетку, что она обвисала у него в пальцах длинной белой робой, стоя выпевал:

И по ромашковым лугам  
Верхами мимо короли  
В сверканье лат спешат назад,  
Луриана, Лурили.

И когда она проходила мимо, слегка к ней оборотясь, повторил:

Луриана, Лурили,—

и склонился перед нею в глубоком поклоне. Почему — неизвестно, но она догадалась, что сейчас он к ней лучше относится; и с облегчением, с благодарностью она поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он для нее придержал.

Теперь надо было все продвинуть еще на один шаг. Стоя на пороге, она мгновение медлила участницей сцены, которая уже распадалась под ее взглядом и потом, когда она снова двинулась и, взяв под руку Минту, выходила из комнаты, изменилась, очертилась по-новому; уже, она знала, прощально оглядываясь через плечо, стала прошлым.

## 18

Как всегда, думала Лили. Вечно что-то надо сделать именно сию секунду, что-то миссис Рэмзи по каким-то резонам решает сделать безотлагательно, и пусть все еще стоят, острят, вот как сейчас, не в силах разобраться — перейти ли в курительную, в гостиную или разбрестись по мансардам. И посреди этого гама вы видите вдруг, как миссис Рэмзи с Минтой под ручку заключает: «Да-да, пора» — и тотчас с таинственным видом удаляется по собственным надобностям. И стояло ей уйти, все распалось; слонялись, бродили без цели; мистер Бэнкс взял

<sup>4</sup> Орывок из стихотворения английского поэта Чарльза Элтона (1778—1853).

под руку Чарльза Тэнсли, и они вышли на террасу оканчивать дискуссию о политике, затеянную за столом, разом все сдвинув и повернув, будто, думала Лили, глядя им вслед и выхватывая словцо-другое относительно политики лейбористов, взошли на капитанский мостик и определили курс корабля; такое на нее произвел впечатление переход от стихов к политике; итак, Чарльз Тэнсли и мистер Бэнкс удалились, прочие же смотрели, как миссис Рэмзи, одна, поднимается по ступенькам в озарении ламп. И куда, удивлялась Лили, она спешает?

Нет, она не то чтобы торопилась, взбегала; она, в общем, даже медленно шла. Ей хотелось минуточку постоять после всей этой кутерьмы и выделить главное; единственно важное; отделить от всего остального; очистить от мусора чувств, шелухи слов, предъявить конклаву судей, ею же созданных для разбирательства. Пусть решат. Хорошо это, плохо, это верно или неверно? Куда мы держим путь?<sup>5</sup> И прочее. Так она приходила в себя после развязки и неосознанно, несообразно звала ветки вяза за окнами стать ей опорой. Ее мир менялся; они оставались на месте. Ей казалось, что все теперь сдвинулось, стронулось. Все теперь будет прекрасно. Надо только кое-что уладить, думала она, механически отмечая недвижимое достоинство веток, а то величавый их взыв (как корабля над волной), когда вспыхивал ветер. А было ветрено (она остановилась на лестнице — поглядеть). Было ветрено, и ветки вдруг обметали звезды, и звезды кидало в дрожь, и они отряхивали лучи и прошивали иглами листья. Да, дело сделано, конечно, и, как все завершившееся, стало торжественным, и уже казалось, что так и было всегда, только все теперь очистилось от шелухи, от мусора чувств, очистилось и сделалось явным, а сделавшись явным, поступило в веденье вечности. Теперь они будут, думала она, уже опять поднимаясь по лестнице, до конца своих дней вспоминать этот вечер; этот ветер; луну; этот дом; и ее. Ей было особенно лестно воображать, как, влегши в их души, она до конца их дней там останется; и это, и это, и это, думала она, всходя по ступенькам, усмехаясь, но нежной усмешкой, дивану на лестнице (еще маминому), качалке (еще отцовской); карте Гебридов. Все это оживет в жизни Пола и Минты; этих Рэйли. Она попробовала новопеченное сочетание на вкус; и, берясь за дверную ручку детской, она ощущала ту общность с другими, которую дарит нежность и при которой разделяющие нас переборки делаются до того тонки (и это такая отрада и легкость), что мы вливаемся в общий поток, и стулья, столы и карты — все делается их и твое, чье — неважно, и Пол и Минта понесут все это дальше, когда самой ее уже не будет на свете.

Она повернула дверную ручку твердо, чтобы не скрипнула, и вошла, слегка поджав губы, как бы напоминая себе, что нельзя говорить громко. Но едва вошла, она с досадой увидела, что предосторожность напрасна. Дети не спали. Ужасно досадно. Хороша же и Милдред. Джеймс — сна ни в одном глазу, Кэм — торчком в кровати, Милдред — на полу боком (а уже пол-одиннадцатого), — спорят. Что такое? Да опять эта жуткая голова вепря. Она велела Милдред убрать ее, а Милдред, конечно, забыла, и вот Кэм и не думает спать, Джеймс не думает спать, пререкаются, а уж час назад им полагалось уснуть. И как только Эварда угораздило прислать этого жуткого вепря? И она-то сама, тоже дура, разрешила его тут повесить. Он крепко прибит, Милдред сказала, и Кэм из-за него не может уснуть, а Джеймс поднимает крик, едва до него дотронешься.

Но Кэм надо спать, спать (у него такие большие рога, говорила Кэм...), спать, спать и поскорей увидеть во сне прекрасные замки, говорила миссис Рэмзи, садясь на кровать с ней рядом. По всей комнате эти рога, везде-везде, говорила Кэм. И правда. Едва зажигают ночник (а Джеймс без ночника спать не может), по всей комнате сразу расходятся тени.

— Кэм, ну подумай, ведь это просто старая свинка, — говорила миссис Рэмзи, — милая черная свинка, ну, как свинки на хуторе.

Но Кэм утверждала, что страшные рога отовсюду торчат.

— Ну хорошо, — сказала миссис Рэмзи, — вот мы их укутаем. — И все следили, как она подступила к комоду, быстро один за другим выдергивала ящички и, не найдя ничего подходящего, сдернула с себя шаль и намотала на вепря, намотала, намотала и вернулась к Кэм и легла лицом на подушку с Кэм рядом и

<sup>5</sup> Перефразированные детские стишки: «Куда ты держишь путь, красавица моя?»

сказала, что теперь все очень, очень красиво; эльфам страшно понравится; похоже на птичье гнездышко; похоже на дивную гору, вот как она за границей видала, с цветами и долами, там звенят колокольчики, птички поют и там антилопы и козлики... Она видела, как ее распев эхом отдается у Кэм в голове, и Кэм уже повторяла за нею, что это похоже на гору, на гнездышко, на сад, и там антилопы и козлики, и глазки у Кэм расширялись, слипались, и миссис Рэмзи говорила все монотонней, ритмичней, бессмысленней, что пора закрыть глазки, и спать, и увидеть во сне горы, доли и падушие звезды, сады, антилоп, попугаев и козликов и все-все такое красивое, говорила она, очень медленно отрывая лицо от подушки, и все механичней журчала, журчала, пока, распрямясь, не увидела, что Кэм спит.

А теперь, шепнула она, перейдя к кровати Джеймса, Джеймсу тоже надо спать, ведь видишь, сказала она, вебрь тут как тут; никто его не тронул; все как хотел Джеймс. Да, он убедился, что вебрь тут как тут, под шалью. Но он еще что-то хотел спросить. Они завтра поедут на маяк?

Нет, сказала она, завтра — нет, но совсем-совсем скоро, она ему обещала, как только погода будет хорошая. Он был очень хорошим мальчиком. Сразу лег. Она его укрыла. Но он никогда не забудет, она знала, и она сердилась на Чарльза Тэнсли, на мужа, на себя — зачем в него вселила надежду. Потом, ощутив себя по плечам, вспомнив, что намотала шаль на голову вебря, она встала, и чуть побольше опустила окно, и услышала ветер, и глотнула прохладного безразличия ночи, и прощуршала Милдред «спокойной ночи», и тихо-тихо опустила щеколду и ушла.

Главное, книги бы на пол у них над головой не обрушил, думала она, все досада на Чарльза Тэнсли. Оба спят чутко; оба очень возбудимые дети; а раз он мог такое сказать насчет маяка, ему, естественно, ничего не стоит и книги на пол обрушить, как только дети уснут, задеть локтем и сверзнуть со стола целую стопку. Ведь, кажется, он потащился наверх работать. Но ведь у него такой заброшенный вид; но ведь она вздохнет с облегчением, когда он отбудет; но ведь надо присмотреть, чтоб уж его завтра не обижали; но ведь с мужем он чудо как мил; но ведь манеры у него ни в какие ворота; но ведь ей нравится, как он смеется, — спускаясь в этих мыслях по лестнице, она заметила, что луна уже смотрит в лестничное окно — круглая желтая луна равноденствия; и она повернула, и все увидели, как она стоит над ними на лестнице.

Это моя мама, думала Пру. Да. Пусть Минта смотрит; пусть Пол Рэйли смотрит. Мы все — что? А она настоящая<sup>6</sup>, чувствовала Пру, и никто на свете не мог сравниться с ней; с ее мамой. И, только что по-взрослому беседовавшая с другими, она стала снова маленькой девочкой, и все, что делали они, оказалось игрой, и вопрос был только в том, позволит ли мама игру или ее запретит. И, думая про то, как повезло Минте, и Полу, и Лили, что они ее видят, и какое невозможное счастье ей самой привалило, и что она никогда не станет взрослой и не уедет из дому, она сказала, как маленькая:

— Мы хотели пойти на берег на волны посмотреть.

Вмиг ни с того ни с сего миссис Рэмзи превратилась в двадцатилетнюю, одержимую весельем девочку. Лихую полуночницу. Да-да, пусть идут, конечно, пусть идут, кричала она и смеялась; и бегом одолев последние две-три ступеньки, она поворачивалась к одному, к другому, и смеялась, и кутала Минтины плечи шарфом, и говорила, что ей бы страшно хотелось пойти и они, наверное, страшно поздно вернуться. А часы у них есть?

— Да, есть, у Пола, — сказала Минта. Пол выкатил из замшевого футлярика изящные золотые часы, чтобы ей показать. И, протягивая ей часы на ладони, он думал. «Она знает. Ничего не надо говорить». Показывая ей часы, он говорил: «Я это сделал, миссис Рэмзи. А все благодаря вам». И глядя на золотые часы у него на ладони, миссис Рэмзи чувствовала — вот счастливица Минта! Стаг женой человека, у которого золотые часы в замшевом футляре!

— Как бы мне тоже хотелось пойти! — вскрикнула она. Но ее удерживало что-то такое сильное, что и спрашивать даже не надо — что именно. Разумеется,

<sup>6</sup> «Все мы поддельные, а он настоящий» (Шекспир, «Король Лир», акт третий, сцена четвертая. Перевод Б. Пастернака).

ей невозможно было с ними пойти. Но она бы пошла с удовольствием, если б не то, другое, и, развлекаясь смешной мыслью (какое счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов), она с улыбкой вошла в дружную комнату, где за книгой сидел ее муж.

## 19

Разумеется, говорила она себе, входя в эту комнату, ей там что-то такое понадобилось. Чего-то хотелось. Прежде всего хотелось сесть на определенное кресло, под определенную лампу. Но ей хотелось чего-то еще, хоть она не знала, понятия не имела, чего именно. Она посмотрела на мужа (берясь за чулок и принимаясь вязать) и поняла, что ему не хотелось, чтоб его прерывали, — это было ясно. Он читал и был увлечен. Он смутно улыбался, и она поняла, что он сдерживает себя. Он с треском перебрасывал страницы. Он играл. Возможно, воображал себя одним из героев. Интересно — что за книга? А-а, это старый сэр Вальтер, разглядела она, пока прилаживала абажур, направляя свет на вязанье. Потому что Чарльз Тэнсли говорил (она кинула взглядом по потолку, как бы опасаясь, что оттуда посыплется грохот сваленных книг), говорил, что Вальтера Скотта в наше время читать невозможно. Вот муж и подумал: «Так и обо мне скажут»; и взял эту книгу. И если он придет к заключению: «А верно говорил Чарльз Тэнсли», он успокоится насчет Вальтера Скотта. (Она видела — он взвешивал, сопоставлял, прикидывал то да се.) Но не насчет себя. Вечно он насчет себя беспокоится. Это печально. Вечно дергается из-за собственных книг — будут ли их читать, хороши ли, почему не становятся лучше да что обо мне скажут. Недовольная такими своими мыслями про него, гадая, не понял ли кто за ужином, откуда взялось его раздражение, когда речь зашла о долговечности славы и книг, гадая, не над ним ли смеялись дети, она спустила петлю, и лоб и губы подернулись у нее как тонко по меди вытравленной сеткой, и она затихала, как дерево трепещет, дрожит, а потом затихает листок за листком, когда успокоится ветер.

Не важно, совсем это не важно, думала она. Великий человек, великая книга, слава — кто скажет с уверенностью? Ничего она этого не понимала. Но уж так он устроен со своим правдолюбием — и за ужином она ведь, главное, думала: хоть бы он заговорил! Она совершенно на него полагалась. И, опуская все это, как минуешь, ныряя, там водоросли, там пузыри, там соломинки, снова она почувствовала, погружаясь все глубже, как почувствовала тогда в прихожей сквозь пестрый разговор — «Чего-то мне хочется — я зачем-то пришла», — и она падала глубже и глубже, сощурив глаза, так и не разобравшись, что же это такое. И она выжидала, она вязала и думала, и вот те слова, которые произносились за ужином. «О том, что розы расцвели, нам уши прожужжат шмели» — стали плескаться, качаться у нее в голове, и покуда они плескались, качались, еще слова, как затененные огни, тот красный, тот синий, тот желтый, возникали, лились, ускользали, или это снимались с насестов, и летели, и кричали они, а им вторило эхо; и она повернулась и нашарила на столике книгу.

Все жизни, те, что впереди,  
Те, что давно прошли,  
Как лес шумят, как листопад,—

тихонько прошуршала она и воткнула спицы в чулок. И она открыла книгу и принялась читать наобум, наугад, будто карабкаясь вверх, вниз, пробираясь густой лепестковой осыпью и едва различая — тот вот белый, тот красный. Сперва она совсем не понимала слов.

Когда читаю в свитке мертвых лет  
О нежных девушках, давно безгласных?,—

прочитала она, и перевернула страницу, и, во власти ритма, доверяясь его зигзагам, перебиралась со строки на строку, как с ветки на ветку, от одного красного и белого цветка к другому, пока не очнулась от легкого звука — муж хлопнул

\* Шекспир, сонет 106. Перевод С. Маршана.

себя по ляжкам. На секунду их глаза встретились; но разговаривать им не хотелось. Им нечего было друг другу сказать, но что-то все равно перешло от него к ней. Жизнь сама, ее власть, невероятное удовольствие вызвало этот хлопок по ляжкам. Ты уж меня не трогай, будто умолял он, ты ничего не говори. Только сиди тут, пожалуйста. И он продолжал читать. У него подрагивали губы. Его переполняло прочитанное. Оно его укрепляло. Он начисто позабыл о мелких шероховатостях минувшего вечера, о том, как тяжело, как скучно было ему торчать за столом, покада прочие без удержу ели и пили, и как сердился он на жену, как задело его и унизило, что о его книгах попросту не было речи, будто их и не существует на свете. А теперь ему было с высокой горы наплевать, кто достигнет конца алфавита (если мысль человеческая, как алфавит до конца, добирается до вершин). Кому-нибудь да удастся — не ему, так другому. Сила и цельность этого человека, простое, без штук понимание главных вещей, эти рыбаки, бедное, старое, полубезумное создание в хижине Макльбеккита<sup>8</sup> дали ему ощущение такой силы, такого освобождения, что он почувствовал невозможное сжатие в горле, он ликовал, он не мог сдержать слез. Чуть приподняв книгу, чтобы спрятать лицо, он их и не сдерживал, и качал головой, и раскачивался, и совершенно забыл себя (лишь два-три соображенья мелькнули — о морали, об английском и французском романе, о том, что у Скотта связаны руки, но понимание жизни, быть может, не менее верно, чем у прочих иных), забыл о своих терзаниях и несостоятельности, они были стертые, стертые решительно гибелью бедного Стини, и горем бедного Макльбеккита (здесь Скотт в своем лучшем виде), и странным посторгом и ощущением силы, которое они ему дали.

Н-да, пусть-ка попробуют переплюнуть старика, думал он, дочитав главу до конца. Он будто с кем-то спорил и одержал верх. Не переплюнуть, пусть говорят что хотят; а собственная его позиция укрепилась. Любовная пара весьма не ахти, думал он, снова все перебирая в уме. Это весьма не ахти, а то — первоклассно, думал он, сопоставляя частности. Но надо еще перечесть. Восстановить целиком образ вещи. От окончательного суждения он покада воздержится. И он вернулся к другой мысли — если уж молодежи не нравится это, естественно, он сам ей не может понравиться. И тут нечего жаловаться, думал мистер Рэмзи, изо всех сил одолевая порыв пожаловаться жене, что у молодежи он не пользуется успехом. Но он решил — нет; не станет он ее мучить. Он смотрел, как она читает. У нее за книгой такой благостный вид. Приятно было думать, что все убрались и оставили их одних. Смысл жизни не только в постели, подумал он, снова возвращаясь к Бальзаку и Скотту, к английскому роману и французскому роману.

Миссис Рэмзи подняла голову и, как человек в легкой дреме, будто говорила, что, если он хочет, она проснется, она непременно проснется, ну а нет, так можно ей еще чуть поспать, еще только чуть-чуть поспать? Она карабкалась по своим веткам так и сяк, на шаривая цветок за цветком.

Пурпурных роз душистый первый цвет...<sup>9</sup>—

читала она и так, читая, взбиралась вверх, на самую маковку. Как хорошо! Как вольно! Все мелочи дня липли к этому магниту; душа очищалась от мусора. И вдруг — стройный, цельный — он оказался у нее на ладони, дивный, разумный, округлый, верх совершенства, крепкая вытяжка из жизненных соков — сонет.

Но она почувствовала на себе взгляд мужа. Он на нее смотрел с насмешливой улыбкой, как если бы нежно ее корил за то, что уснула среди бела дня, но тем временем думал. читай-читай. Сейчас ты зато не печальная. И он гадал, что же она такое читает, и он преувеличивал ее невежество, ее простоту, потому что ему нравилось думать, что не так уж она образованна, не так уж умна. Интересно, хоть понимает она, что читает? Наверное, нет, он думал. Она поразительно хороша. Ее красота, если это только мыслимо, все расцветает.

Была зима во мне, а блеск весенний  
Мне показался тенью милой тени<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Персонаж романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816).

<sup>9</sup> Шекспир, сонет 98. Перевод С. Маршака.

<sup>10</sup> Там же.

— А? — спросила она, этим сонным эхом отзываясь на его улыбку, и подняла взгляд от книги.

Мне показался тенью милой тени...—

прошептала она и положила книгу на столик.

Что произошло, перебирала она, снова взяв в руки вязанье, с тех пор как они в последний раз виделись наедине? Она вспомнила, как переодевалась к ужину, как увидела луну; Эндрю слишком высоко держал тарелку за ужином; какие-то слова Уильяма ее огорчили; грачи на вязах; диван на лестнице; дети не спали; Чарльз Тэнсли вечно их будит, обрушивая свои книги, — ах нет, это же она сочинила; а у Пола замшевый футляр для часов. Что бы ему такое сказать?

— Они обручились, — сказала она, принимаясь вязать. — Пол и Минта.

— Я догадался, — сказал он. Тема казалась исчерпанной.

У нее душа все еще качалась — вверх-вниз, вверх-вниз — в такт стихам; он все еще чувствовал себя сильным, решительным после сцены похорон Стини. И оба молчали. Потом она поняла: ей хотелось, чтобы он сказал что-нибудь.

Что-нибудь, что-нибудь, думала она, накидывая петлю. Что угодно сойдет.

— Какое, наверное, счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов, — сказала она, потому что такие шутки были у них в ходу.

Он фыркнул. Он эту помолвку расценивал так же, как все вообще помолвки; девица чересчур хороша для юнца. А у нее в тайниках сознания вставало: и почему всегда так хлопчешь, чтобы люди женились? И все вообще — для чего и зачем? (Что бы они ни сказали теперь, будет правдой.) Ну скажи что-нибудь, думала она, только чтоб услышать его голос. Она чувствовала: тень, коснувшаяся, окутавшая их обоих, теперь смыкалась над нею — одной. Скажи хоть что-нибудь, глядя на него, молила она, как на помощь звала.

Он молчал, раскачивал компас на своей часовой цепочке, думал о романах Скотта и романах Бальзана. Но сквозь вечеряющие стены их близости — ведь их ненароком притягивало друг к другу, и они были уже совсем-совсем близко, бок о бок, — она почувствовала, как своим умом он будто застил ей свет; он же, едва дергаться, принял оборот, которого он не любил и чистил пессимизмом, стал дергаться, хвать ничего не сказал, стал поднимать руку ко лбу, крутить прядь и отшвыривать, покрутив.

— Ты сегодня не кончишь этот чулок, — сказал он и ткнул в чулок пальцем. А ей того и надо было — резкости, недовольства в его голосе. Раз он говорит, что нельзя быть пессимисткой, значит, наверное, нельзя, думала она; брак еще окажется на редкость удачным.

— Да, — сказала она, разглаживая чулок на коленях. — Не кончу.

Но что же дальше? Ведь он все смотрел на нее, но взгляд теперь изменился. Ему чего-то хотелось — хотелось того, что ей всегда так трудно было ему дать; хотелось, чтобы она сказала ему, что она его любит. А вот это она ну никак не могла. Ему говорить легко. Он все может выговорить, а она вот нет. Поэтому именно он и говорит всегда разные вещи, а после почему-то вдруг обижается и ее корит. Бессердечная женщина — он ее называет; ни разу ему не сказала, что любит его. Но не так это все, не так. Просто она не умеет выражать свои чувства. На пиджаке у него ни сориночки? Так-таки ничего не может она для него сделать? Она встала к окну с красно-бурым чулком в руке — отчасти чтоб от него отвернуться, отчасти потому, что была не прочь под его взглядом смотреть на маяк. Она знала, он повернул голову, едва она отвернулась; он на нее смотрел. Она знала: он думал — никогда еще не была ты так хороша. И она чувствовала, что хороша. Неужто ты мне хоть раз в жизни не скажешь, что любишь меня? Он так думал, потому что расстроился из-за Минты, из-за своей книги и оттого, что кончался день и они ссорились из-за этого маяка. Но она не могла; не могла это выговорить. Потом, зная, что он на нее смотрит, она не сказала ничего, зато повернулась с чулком в руке и на него поглядела. И, глядя на него, она начала улыбаться, и хоть она ничего не сказала, он знал, ну, конечно, он знал, что она любит его. Этого он не мог отрицать. И, улыбаясь, она

поглядела в окно и сказала (а сама думала — что на свете сравнишь с этим счастьем?):

— Да, ты прав оказался. Завтра будет дождь.

Она ничего не сказала, но он знал. И она на него поглядела с улыбкой. Потому что снова она победила.

## II

### ПРОХОДИТ ВРЕМЯ

#### 1

— Что ж, подождем, будущее покажет, — сказал мистер Бэнкс, входя с террасы.

— Темно, почти ничего не видно, — сказал Эндрю, поднявшись с берега.

— Не разберешь, где земля, где вода, — сказала Пру.

— Свет оставим? — спросила Лили, когда все, войдя, снимали плащи.

— Нет, — сказала Пру, — зачем, раз все вошли. Эндрю, — крикнула она через плечо, — ты погаси свет в прихожей!

Постепенно везде погасили свет, только у мистера Кармайкла, любившего почитать Вергилия на сон грядущий, еще какое-то время горела свеча.

#### 2

И вот погашены лампы, зашла луна, и под тоненький шепот дождя началось низвержение тьмы. Ничто, казалось, не выживет, не выстоит в этом потоке, в этом паводке тьмы; она катила в щели, в замочные скважины, затекала под ставни, затопляла комнаты, там кувшин заглотнет, там стакан, там вазу с красными и желтыми далиями, там угол, там четкий очерк комода. И не одна только мебель сводилась на нет; уже почти не осталось ни тела, ни духа, о котором бы можно сказать: «это он» или «это она». Лишь поднимется вдруг рука, будто что-то хватая, отгоняя что-то, или кто-то застонет, или вслух захохочет, будто пригласая Ничто посмеяться.

В гостиной, в столовой, на лестнице — замерло все. И тогда-то сквозь ржавые петли и взбухшее от морской сырости дерево (дом ведь, в общем, развалина) отпавшие от тугого, упрямого ветра легкомысленные ветерки отважились забраться внутрь. Так и виделось, как, заявившись в гостиную, шелестя клочками обоев, они, хорохорясь, спрашивают — сколько же можно висеть? не пора ль на покой? Потом осторожно вдоль стен они крались дальше, будто задумчиво спрашивая у красных и желтых розанов на обоях, не пора ли им выцвести, и дознавались (неспешно, спешить было некуда) у обрывков писем в корзинке, у цветов и у книг (беззащитных сейчас), кто они им — союзники? или враги? и надолго ль все это?

А потом, подтянувшись на случайном луче оголенной звезды, заплутавшего корабля или это маяка, может быть, на коврах и ступенях, ветерки пробрались по лестнице, пробрались к спальне. Но тут уж им надо уняться. Все прочее пусть пропадает пропадом, здесь же все прочно. Скользящим лучам, шальным ветеркам, дышащим над самой постелью, приказано — прочь. И устало, как призранки, подобные перисто-легким перстам и легкопружинистым перьям, только глянув на смеженные веки, на вольно скрещенные руки, подобрав одежды, устало они отступили. Льстиво стелясь, отступили на лестницу, в комнаты для прислуги, в мансарды; спускаясь, согнали румянец с яблок на подносе в столовой, ощипали с роз лепестки, ощупали на мольберте картину, взъерошили ворс на ковре, песком посыпали пол; потом вдруг разом все собрались; убралась восвосяси; на прощанье все разом издали бесцельный жалостный стон; и кухонная дверь отозвалась; распахнулась; никого не впустила; захлопнулась.

(Тогда мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.)

Но что такое, в сущности, одна ночь? Запинка на повороте, особенно когда тьма так скоро лияет, так скоро птица поет, кричит петух и волна выносит на впадине робкую зелень, как летучий листок. Но идет ночь за ночью. У зимы их непочатая колода в запасе, вот она их и мечет, ровно, сдержанно, неутомимыми пальцами. Ночи делаются длиннее; темней. Иные проносят поверху мерцанье планет, яркие световые круги. Осенние деревья, обобранные, занимаются алостью флагов, горящих в сумеречной прохладе соборов над мрамором, над золотыми строками о смерти в бою, о том, как в песках дальней Индии тлеют славные кости. Осенние деревья сияют в желтом свете луны, луны равноденствия, и она умеряет рвенье трудов, и оглаживает стерню, и синим бегом волны окатывает берег.

Вот, кажется, разжалобясь человеческим покаянием и нашими подвигами, божественное милосердие рвануло занавес на сторону и показало за ним отдельно, отчетливо: вскочившего зайца; взмыв волны; качанье челна — и все это, стоило нам заслужить, навеки осталось бы с нами. Но нет. Божественное милосердие занавес тотчас задерживает; ему претит это все; оно кроет свои сокровища грохотом града, кружит, перемешивает, и никогда им не знать покоя, а нам не составить по жалким осколкам прекрасного целого, не разобрать по обрывкам ясных слов правды. Наше покаяние стоит одного только взгляда; наши подвиги только и стоят отсрочки.

Ветер и гибель теперь — хозяйева ночи; деревья гнутся, скрипят и густым листопадом обшивают лужок, душат сточные желоба, залепают мокрые тропки. А море мечется, мается, и если кто-то стряхнет одеяло и сон, и ринется на берег, и станет бродить взад-вперед по песку в надежде найти ответы на свои вопросы и спутника в своем одиночестве, — он там не найдет ничего, ничего, скорое божественное заступничество не кинется унимать ночь, мир не будет услужливо отражать его душу. В руке его вянет чужая рука; голос воет в уши. И в пустом безумии ночи уже почти нелепыми кажутся «что?», «отчего?» и «зачем?», погнавшие его из постели.

(Мистер Рэмзи, спотыкаясь на ходу одним темным утром, распростер руки, но так как миссис Рэмзи вдруг умерла прошлой ночью, он просто распростер руки. Они остались пустыми.)

А в пустой дом, где заперты двери и матрасы скатаны, ворвались шальные ветерки — авангардом великого воинства, — схватились с голыми досками, ударили по их обороне, развернулись веером, но и в гостиной и в спальне встретили весьма жалкие силы: хлюпающие портьеры, расставившиеся половицы, голые ножки столов да фарфор, уже пыльный, тусклый, растресканный. То, что скинули и сбросили люди — пара ботинок, охотничий шлем, выцветшие юбки и пиджаки по шкафам, — одно и хранило человеческий облик и помнило среди пустоты, как когда-то его наполняли, одушевляли; как руки когда-то возились с крючками и пуговицами; как зеркало ловило лицо; ловило вогнутый мир, и там поворачивалась голова, взлетала рука, отворялась дверь, вбегали дети; и зеркало снова пустело. Теперь день за днем луч света отражением лилии на воде поворачивался на стенке напротив. И тени деревьев, качаясь под ветром, кланялись там же на стенке и мгновенно мутили пруд, в котором луч отражался; да тень пролетающей птицы нежным пятном иногда порхала по полу спальни.

Так красота здесь царили и тишина, и вместе они были образом красоты; форма, не разогретая жизнью; одинокая, как вечером пруд, дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший гаснущий пруд, что хоть его и застигли, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне среди обернутых кружек, затянутых кресел, и даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие, вечными своими вопросами «вы увянете?», «вы погибнете?» почти не тревожат покоя, равнодушия, вида чистой нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят и мимо ушей пропускают ответ. мы остаемся.

Казалось, ничто не разрушит образ, не прорвет качающийся намет тишины, который месяц за месяцем в пустыне комнат узором вплетал в себя падушие крики птиц, гудки пароходов, жужжанье и шелест полей, чей-то бас и собачий лай — вплетал и укутывал дом в тишину. Только стрельнула раз половица, а еще среди ночи с воем, бешено, как отрывается от горы и с грохотом крушится в ущелье застоявшийся веками утес, край шали отцепился и стал качаться. Но снова спустился покой; и кивала тень; и луч преклонялся молитвенно перед собственным отраженьем, когда миссис Макнэб, раздирая намет тишины руками, наплекавшимися в лохани, рвя в клочья башмаками, нахрустевшимися по гальке, явилась, как было ей велено, отворить все окна и прибрать в комнатах.

## 5

Кренясь (она переваливалась, как лодка в волнах) и косясь (взгляд ни на чем не задерживался, со всего соскальзывал, уклонялся от злобного, враждебного мира: она была придурковата, сама это знала), тиская перила, втаскиваясь наверх, переваливаясь из комнаты в комнату, она напевала. Терла высокое зеркало, косилась на собственное валкое отражение и напевала что-то, что, наверное, лет двадцать назад гремело со сцены и, привязчивое, заставляло многих плясать, а теперь в беззубом рту поденщицы окончательно рассталось со смыслом и было — придурковатость сама, и веселость, и терпенье, ничему не поддающееся терпенье; и когда она, кренясь, терла, мыла, скребла, она как рассказывала, что жизнь нам на то и дана, чтобы горе мыкать, вечно вставать на заре и плюхаться ночью в постель, вечно ворочать и прибирать то да се... Не очень-то он хорош, этот мир, за семьдесят лет уж она убедилась. Ее скрючило всю от усталости. Сколько еще, спрашивала она, кряхтя, ерзая на коленках под кроватью, протирая доски — сколько это еще протянется? Но снова она поднималась на ноги, разгибалась, поднатуживалась, и со своим этим взглядом, уклончивым, ускользающим как бы от собственного лица, от собственной маеты, стояла перед зеркалом, и, усмехнувшись чему-то, снова принималась вытряхивать половики, вытирать и ставить на место фарфор, и смотрела искоса в зеркало, будто ей, в конце концов, есть чем утешиться и в ее жалобную литию вплетена несправимая, неприличная даже надежда. Наверное, какие-то мирные виды открывались ей над лоханью, или, скажем, когда бывала с детьми (двух она в подоле принесла, один от нее сбежал), или в пивной, когда пропускала стаканчик, или когда разный хлам ворошила, роясь в укладке. Была же, значит, прореха во тьме, расщелина в сплошной черноте, и сквозь нее пробивалось достаточно света, раз лицо ее в зеркале сводило усмешкой и, возвращаясь к работе, она мурлыкала стародавнюю дребедень. Мистики, духовидцы — те бродили по берегу, ворошили камни и лужи, спрашивали: «Что я такое? Что это такое?» — и вдруг им бывал дарован ответ (они сами в нем не могли разобраться), от которого делается уютно в пустыне и на морозе тепло. А миссис Макнэб — она все пила и любила посплетничать.

## 6

Весна без единого листика, голая, яркая, как ярая в целомудрии дева, заносчивая в своей чистоте, была уложена на поля, бессонная, зоркая и решительно безразличная к тому, что будет делать и думать ее наблюдатель.

(Пру Рэмзи, склоняясь на руку отца, была выдана замуж тем маем. Май — когда же еще выдавать, люди говорили. И прибавляли — такую красавицу!)

Близилось лето, вытягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, ворошившим лужи, стали являться фантазии самого странного свойства — будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака на то и сходятся вместе, чтобы собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеркалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтанья, и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина, и женщина, и сама седая земля (но если спросить впрямую, все тотчас шло на попятный), что верх одержат добро и счастье; победит порядок; и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу,

далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла. Весна же тем временем, нежнее, одевалась жужжаньем пчел, комариными танцами, укутывалась в свой плащ, прикрывала глаза, отводила лицо и в порхании теней и ливней уже вникала в людские печали.

(Пру Рэмзи умерла тем летом от какой-то болезни, связанной с родами. Вот уж трагедия, люди говорили. Кто-кто, а она, говорили, заслужила счастье.)

И вот в летний зной ветер снова выслал к дому своих соглядатаев. Паутина раскачивалась на солнечных пыльных столбах; а в оконные стекла стучались без усталости по ночам сорняки. Когда падала тьма, луч маяка, прежде так властно распластавшийся на ковре, во тьме оглаживая узор, теперь набирался вкрадчивости у лунного света, медлил, тайком озирался и возвращался, влюбленный. Но в тиши ласк, когда прочный луч улегся поперек постели, вдруг сорвался утес; отцепился второй край шали; и повис, и болтался. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах стояло жужжание мух и эхо с полей, длинный вымпел тихо болтался, веял бесцельно; а солнце так исхлестало голые комнаты, напустило туда такого желтого чада, что миссис Макнэб, когда вломилась и переваливалась из комнаты в комнату, скребла и терла, выглядела тропической рыбой, пробравшейся по пробитым солнцем волнам.

Шали бы дремать, ей бы спать, но попозже, летом, пришел зловещий звук, как фетром придушенный удар топора, он повторялся настойчиво, и узел шали от него расслаблялся все больше, и совсем уж потрескались чашки в буфете. А то в буфете вдруг звякал стакан, будто так истошно, так пронзительно вопил кто-то, что даже стаканы в буфете кидало в дрожь от этого вопля. И снова спускалась тишина, и тогда ночь за ночью, а иной раз и среди бела дня, когда ярко вычерчивались розаны на обоях, в эту тишину, это безразличие, неприкосновенность врывается глухой стук, будто падало что-то.

(Взорвалась граната. Двадцать или тридцать юношей погибли во Франции, среди них и Эндрю Рэмзи, который, к счастью, умер мгновенно.)

В то лето тем, кто бродил по берегу и допытывался у неба и моря, какую несут они весть, какое подкрепляют видение, среди привычных знаков божественной щедрости (закат над морем, бледный рассвет, восход луны, рыбацьи лодки на лунной дорожке, дети, швыряющие друг в дружку травой) приходилось замечать кое-что, не вязавшееся с этой безмятежностью и благодатью. Например, немой призрак пепельно-серого корабля; он появлялся, скрывался; по скользкой глади моря растекалось багровое пятно, будто что-то невидимое прорвалось и кровоточит. Эти помехи портили сценку, призванную пробуждать возвышеннейшие чувства, наводить на приятнейшие умозаключения, и затрудняли прогулку по берегу. Нельзя было их просто отбросить, перечеркнуть их роль для ландшафта; и, блуждая по берегу, далее рассуждать о том, каким образом внешняя красота отображает красоту внутреннюю.

Подхватывает ли природа то, что человек предлагает? Завершает ли то, что он затевает? С равным безразличием смотрит она на его нужды, снисходит к его низости, допускает его мученья. Так, значит, все эти мечты насчет того, чтобы разделять, завершать и находить одиноко на берегу все ответы, — лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь блистательная поверхность, образующаяся в состоянии покоя, покуда более благородные силы дремлют на глубине? Раздраженному, изверившемуся, но упирающемуся (красота ведь расставляет силки, соблазняет привадами) бродить по берегу уже не под силу; созерцание невыносимо; зеркало разбито.

(Мистер Нармайл той весной выпустил сборник стихов, который имел неожиданный успех. Война, люди говорили, оживила интерес к поэзии.)

## 7.

Ночь за ночью зима и лето, грохот бурь и стрелою жужжащая ведренная тишина без помех справляли свою тризну. В верхние комнаты (если было бы там кому слушать) неся снизу, из пустоты, только рев безбрежного хаоса, когда

его резали молнии; и расходились ветры, и вал налезал на вал, и они грудились осатанелыми левиафанами и опрокидывались, расплескивая свет или тьму (ночь, день, месяц, год — все мутно слилось), и могло показаться, что вот-вот всполошенный, идиотски заигравшийся мир ненароком сам себя сокрушит и оборет.

Весною в садовых урнах всходили случайные семена и урны опять веселели. Фиалки тянулись вверх и нарциссы. Но тихие, ясные дни так же себя не помнили, как ошалелые ночи, и деревья стояли, и стояли цветы и глядели перед собою, глядели в пустое небо, слепые и поэтому страшные.

## 8

Греха на душу не взявши, они ведь не думали ворочаться (кто говорил — и совсем, никогда, а дом, что ли, на Михайлов день продадут), миссис Макнэб нагнулась и нарвала букет — взять с собой. Пока прибиралась, она его положила на стол. Цветы — дело хорошее. Чего им зря пропадать? Раз дом продается (она стояла подбочась перед зеркалом), за ним догляд будет нужен. Куда там. Сколько лет пустой простоял — без единой души. Книги, то да се — все плесневелое, война, рабочие руки взять негде, ну и не прибирались как положено. А теперь разве одному человеку сладить? Сама она старая стала. Ноги болят. Книги небось все выложить надо на травку, под солнышко; в прихожей штукатурка обсыпалась; над кабинетом водосток забило, воды натекло; ковер вон весь сгнил. Им бы самим приехать; хоть послали б кого. Шкафы от одежды ломаются; по всем комнатам побросали одежду. И что с нею делать? Моли невидимо развелось. У миссис у Рэмзи в одеже. Бедная. Уж ей одежей не пользоваться. Померла, говорят; давно, в Лондоне. Вон серый плащ старый, она его, в саду когда работала, надевала (миссис Макнэб пощупала плащ). Бывало, миссис Макнэб идет по въезду с бельем, а та над цветами стоит (теперь-то на сад смотреть тошно, весь зарос, кролики с клумб от тебя так и прыскают), стоит она в этом сером плаще, а с ней кто-нибудь из детишек. Вон — туфельки, башманы, а на туалете гребеночка, щеточка, будто вот завтра она и объявится. (В одночасье, говорят, померла.) А они было приехать надумали, да отложили, война — не больно наездишься; так все годы и про-собирались; деньги, правда, слали; но ни словечка не написали, не ездили и думают — все как кинули, прости господи, так и застанут. А в комод-то чего не напихано, носовых платков, всяких ленточек! Да, бывало, она идет по въезду с бельем, а в саду миссис Рэмзи стоит.

— Добрый вечер, миссис Макнэб, — скажет, бывало.

Такая всегда обходительная. Девушки, бывало, на нее не нарадуются. Да только с той поры, прости господи, много воды утекло (она задвинула ящик комода); многие родных потеряли. И она вот померла; и мистера Эндрю убили; и мисс Пру тоже померла, говорят, первым ребеночком; да ведь и все в эти годы потери несли. Цены поднялись — прямо стыд, а падать — не падают. Она так и видела ее в этом сером плаще.

— Добрый вечер, миссис Макнэб, — скажет, бывало, и всегда кухарке велит для нее тарелочку горячего молочного супа сберечь — небось догадается, что суп ей не повредит, раз она притащилась из города с тяжелойной поклажей. Миссис Макнэб так и видела, как она гнулась над своими цветами (и смутная, зыбкая, как желтый луч, как светлый кружок на дальнем конце телескопа, дама в сером плаще, склоняясь над своими цветами, скользила медленно по стене спальни, по туалетному столику, над умывальником, куда миссис Макнэб возилась, скребла и терла).

Как кухарку-то звали? Милдред? Мэрион? Вроде похоже. Ох, позабыла. Память совсем никуда. Кухарка-то прямо порох. Известно — рыжая. Ну и смеху у них бывало! Миссис Макнэб на кухне всегда привечали. И то сказать, уж она умела их насмешить. Тогда все вообще было.

Она вздохнула; одной женщине с такой работой не сладить. Она покачала головой. Тут детская была. Ох и сырости тут; штукатурка вся порастрескалась. Ишь чего удумали — свиную голову на стену вешать. Тоже заплесневелая вся. А по чердаку всюду крысы. Крыша-то течет. А они сами не едут; писем не шлют. Засовы везде заржавели, вот двери и хлопают. И не останется она тут в темноте

одна-одинешенька. Да без подмоги и не сладить, не сладить. Она кряхтела, сипела. Захлопнула дверь. Повернула в замке ключ, и дом остался запертый, замкнутый, тихий, один-одинешенек.

## 9

Дом был брошен; дом был оставлен. Был — как пустая мертвая раковина на песке, покрывающаяся соляной сыпью. Будто долгая ночь воцарилась; будто шалые ветерки, липкие веяния победили. Сквороды заржавели, и прогнали ковры. По комнатам ползали жабы. Праздно, бесцельно болталась шаль. Чертополох пробился между плитами в погребке. Ласточки свили гнезда в гостиной; по полу валялась солома; комьями падала штукатурка; оголились стропила; крысы рыскали за добычей и рвали ее за панелями; крапивницы, вылупившись из хризалид, до смерти бились об оконные стекла. Мак взошел среди далий; лужок колыхался высокой травой; гигантские артишоки громоздились меж роз; махровая гвоздика росла вперемешку с капустой; а вместо робкого постука кустов зимними ночами в окно барабанили мощные ветки и колкий терновник; и летом вся комната теперь стояла зеленая.

Какая сила удержит нерасчетливое буйство природы? Привидевшаяся миссис Макнэб дама? Ребеночек, тарелка молочного супа? Солнечным зайчиком проскользнули они по стене — и исчезли. Она заперла дверь; ушла. Одной женщине с этим не сладить, говорила она. Не писали. Не посылали. По ящикам сколько пропадает добра — надо же, как все побросали, говорила она. Все в негодность пришло. Только луч маяка заглядывал в комнату, бросал взгляд на кровать, на ослепшую зимнюю стену, равнодушно оглядывал чертополох и ласточек, крыс и солому. С ними уже не было сладу; им уже не было удержу. Пусть задувает ветер, обсыпается мак, пусть гвоздика растет вперемешку с капустой. Пусть ласточки гнездятся в гостиной, чертополох душит плиты, а на выцветшем ситчике кресел загорают репейницы. Пусть осколки стекла и фарфора валяются на лужке, опутанные сорной травой.

Потому что пришел тот миг, когда зябко дрожит неуверенная заря, когда ночь застывает, когда одно перышко может все перевесить. Одно-единственное перышко — и дом, обветшалый, осевший, рухнул бы, канул во тьму. В ободранных комнатах кипятили бы чай пикникующие, любовники бы там находили уют, обнимаясь на голых досках; пастух бы полдничал там на кирпичиках; и бродяга бы спал на полу, от стужи закутавшись в плащ. А там — провалилась бы крыша; терновник и болиголов заглушили бы тропки, и ступени, и окна, так окутав курган, что заплутавший прохожий только по выглянувшим из крапивы факельным лилиям, по осколку фарфора, мелькнувшему в болиголове, догадался бы, что тут жили когда-то; был дом.

Упади это перышко, надави оно на чашу весов, и дом бы рухнул в пески забвенья. Но нашлась одна сила; вовсе уж не такая разумная; она кренилась, косилась; не вдохновлялась на подвиги торжественными обрядами и песнопениями. Миссис Макнэб стонала; миссис Бэст кряхтела. Обе были старухи; неповоротливые; у обеих болели ноги. Они наконец явились с ведрами, швабрами; и принялись за работу. Не взглянет ли миссис Макнэб, в каком состоянии дом? — ни с того ни с сего одна барышня собралась написать. Пожалуйста, сделай им то; пожалуйста, сделай им се. И, главное, поскорей. Возможно, они летом приедут; оставили все до последнего; думали, как бросили, так и застанут. Медленно, тяжело, с ведром, со шваброй миссис Макнэб, миссис Бэст терли, скребли — и отвели запустенье и гибель; спасли из реки времен, сомкнувшейся было над ними, там миску, там шкаф; как-то утром выудили из забвенья все Уэверлиевы романы и чайный сервиз; как-то под вечер вытащили на волю, на солнышко медную каминную решетку и железные каминные приборы. Джордж, сын миссис Бэст, переловил крыс и сносил лужок. Призвали плотников. Будто принимались мучительно трудные роды, когда под скрип петель, скрежет болтов, стук, треск, гул старухи разгибались, тянулись, кряхтели, пыхтели, пели, шлепали вверх-вниз, в погребка, на чердак. Ну, говорили они, работенка!

Чай пили когда в спальне, когда в кабинете; в полдень прерывали труды, с перепачканными лицами, тиская швабры в старых, сведенных руках, плюхались в кресла и праздновали блистательную победу над ваннами, кранами; или более

трудное, более сомнительное торжество над долгими рядами книг, из черных, как сажа, ставших бледно-пятнистым рассадником плесени и лукавым укрытием пауков. К глазам миссис Макнэб, согретой чайком, снова прилачился телескоп, и она увидела в светлом кружке тощего, как кочерга, старого господина, он тряс головой, когда она проходила с бельем, видно, сам с собой разговаривал на лужке. Ни разу ее не заметил. Кто говорил — он умер; а кто говорил — она. Поди разберись. Миссис Бэст тоже толком не знала. Молодой господин — тот умер. Это она знала точно. В газете прочла.

А еще кухарка была — Милдред, Мэрион, как-то похоже; рыжая; раскритичится, бывало, что с рыжей возьмешь, но добрая, если к ней подход иметь. Ох и смеху у них бывало. И всегда сбережет тарелочку супа: мол, ешь; а то ветчины кусок; ну что уж останется. Хорошая тогда жизнь была. Что душе угодно — все было (бойко, весело, согретая чайком, сидя в кресле перед камином в детской, она разматывала клубок воспоминаний). Работы хватало, в доме, бывало, гости живут, человек по двадцать за стол садятся, посуду, бывало, за полночь моешь.

Миссис Бэст (она их не знала; в Чикаго тогда жила), ставя чашку, подивилась, зачем это они голову кабана тут повесили. В чужих краях, видно, его подстрелили.

— И свободно может быть, — подтвердила миссис Макнэб, давая воспоминаниям волю; у них друзья были по разным восточным странам; и тут господа гостили, дамы в вечерних платьях; она один раз в столовую в дверь заглянула, а они за столом. Человек двадцать, не меньше, и все в драгоценностях, а ее позвали с посудой помочь, так она ее за полночь мыла.

Ах, сказала миссис Бэст, увидят они: все тут стало другое. Она высунулась из окна. Посмотрела, как ее сын Джордж косит траву. Спросят еще — как же так, мол? Ведь старый Кеннеди должен бы приглядеть за садом; да вот как свалился тогда с телеги, совсем у него нога никуда; и целый год, не то почти целый, никого не было; а там — Дэви Макдональд, и семена-то, может, и слали, да поди теперь докажи, садили, нет ли. Все тут стало другое.

Она смотрела, как ее сын косит траву. Таких работа любит, спокойных таких. Ну, видно, пора опять за шкафы приниматься, постановила она. И обе, кряхтя, поднялись.

Наконец после долгой уборки в доме, косьбы и вскопки в саду окна были отмыты, закрыты, все задвижки защелкнуты, заперта парадная дверь; все было готово.

И тогда-то из-под говора ведер и швабр, из-под стрекота газонокосилки высвободилась тихая мелодия, зыбкие звуки, которые, едва ухватив, ухо сразу роняет; блянье, лай; неверные, рваные — связанные; жужжанье жуков, дрожь подкошенных трав — разлученные и все-таки сродные; дребезг навознина, визг колеса; громкие, тихие, но загадочно соотношенные, которые ухо тщится связать и, кажется, вот-вот сложит в музыку, но они остаются всегда неразборчивыми, в музыку не слагаются и потом, уже вечером, гаснут один за другим; распадаются; и падает тишина.

На закате уходила отчетливость и падала, как туман, тишина, и тишина расплзлась, и стихал ветер; мир, потянувшись, укладывался на ночь, укладывался спать, темный, не озаренный ничем, кроме зеленого, натекавшего сквозь листья сиянья да бледности белых цветов под окном.

(Как-то поздно вечером в сентябре Лили Бриско помогли добраться до дома с поклажей. Тем же поездом приехал и мистер Кармайкл.)

## 10

Ведь настал настоящий мир. Море несло весть о мире на берег. Спать, спать, оно говорило, все сбудется, что снилось сновидцам — святые, мудрые сны, — а что же еще говорило берегу море? — когда Лили Бриско, положив голову на подушку в чистой тихой комнате, услышала его. Сквозь растворенное окно краса вселенной упрашивала так тихо, что слов не разобрать — да и надо ли, когда смысл без того ясен? — упрашивала шепотом спящих (дом снова был полон; приехали миссис Бекуит и мистер Кармайкл), если уж не хочется им спускаться на берег, хоть откинуть шторы и выглянуть. И они увидели бы порфиросную

ночь; в короне; и скипетр усеян алмазами; и ребенок ей может смотреть в глаза. Но раз все равно не хочется (Лили устала с дороги и заснула, едва положила голову на подушку, а мистер Кармайкл еще почитал при свече), раз все равно они говорят — нет, великолепие ночи — химера, больше прав у росы и важнее поспать; что ж, не споря, не жалуясь, голос пел свою песню. И тихо катились волны (Лили слышала их сквозь сон); лился ласковый свет (натекаая под веки). И все в точности так же, думал мистер Кармайкл, закрыв книгу и засыпая, так же, как когда-то давно.

Да, голос спокойно пел свою песню, покуда складчатая тьма смыкалась над домом, над миссис Бекуит, мистером Кармайклом и Лили Бриско, слоями, слоями черноты им завязывала глаза, голос пел — отчего, не принять, не понять, не смириться, не уюмониться? Вздохи разом всех волн, в лад бежавшие на острова, их утешали; ночь их окутывала; и ничто не нарушало сна, покуда не запели птицы, и рассвет вплел в свою белизну эти тоненькие голоса, и проскрипела телега, где-то собака залаяла, солнце откинуло занавес, черноту прорвало, и Лили Бриско во сне ухватилась за край одеяла, как, сверзаясь с кручи, хватаются за траву. Она широко раскрыла глаза. Вот я и здесь опять, подумала она, торчком садясь на постели, окончательно просыпаясь.

### III

## МАЯК

### 1

Что происходит, что с нами происходит? — спрашивала себя Лили Бриско, раздумывая, следует ли ей, раз она осталась одна, сходить на кухню и налить себе еще чашечку кофе или лучше тут посидеть. «Что с нами происходит?» — затычка, просто-напросто фраза, подобранная в какой-то книжке, очень неточно передавала мысли Лили, но не могла же она в это первое утро у Рэмзи обратиться с чувствами, и любая фраза годилась, только б прикрыть пустоту в душе, только б опомниться. Ведь, ей-Богу, ну что она чувствовала, возвратясь сюда после всех этих лет, когда миссис Рэмзи уж нет в живых? Ничего, ничего — решительно ничего, о чем бы можно сказать.

Она приехала накануне поздно, и все было загадочное и темное. А сейчас вот проснулась, встала и сидит на своем прежнем месте за завтраком — но только одна. И рано еще — нет восьми. Да, эта экспедиция — они ведь собрались на маяк — мистер Рэмзи, Кэм и Джеймс. Должны бы уже отправиться, хотели застать прилив, словом, что-то в этом роде. Но Кэм была не готова, Джеймс не готов, а Нэнси забыла распорядиться насчет бутербродов, и мистер Рэмзи вскипел, выскочил из-за стола и бросился вон.

— Теперь какой смысл вообще...?

Он бушевал.

Нэнси исчезла. Вот он — мечется взад-вперед по садовой террасе, возмущенье само. По всему дому, кажется, хлопают двери, летают голоса. Нэнси вбежала, спросила, окинув комнату странным, диким, отчаянным взглядом: «Что посылают на маяк?» — будто принуждала себя делать что-то, на что заведомо не способна.

Да, действительно, что посылают на маяк? В любое другое время Лили присоветовала бы трезво — чай, газеты, табак. Но сегодня все казалось до того странно, что вопрос Нэнси «что посылают на маяк?» толкал какую-то дверцу в душе, и она хлопала, билась и заставляла переспрашивать ошарашенно: что посылают? что делают? и я-то чего тут сижу?

Она сидела одна (Нэнси снова исчезла) среди чистых чашек за длинным столом и чувствовала себя от всех отрезанной, ни на что не годной — только дальше смотреть, и спрашивать, и удивляться. Дом, сад, утро — все стояло, на себя не похожее. Все было чужое и чуждое, она чувствовала — что угодно может произойти, и все, что происходило: шаги под окном, голос («Да не в шкафу же, на лестнице!»), — отдавало вопросом, будто не стало крепи, державшей привычные вещи, и все сместилось, поддалось и рассыпалось. Как все бесцель-

но, путано, как непонятно, думала она, заглядывая в пустую кофейную чашечку. Миссис Рэмзи умерла; Эндрю убит; Пру умерла тоже; повторяй, не повторяй — в душе никакого отклика. А мы вот снова тут вместе, в таком доме, в такое утро, сказала она и выглянула в окно, и был ясный и тихий день.

Вдруг мистер Рэмзи, проходя, поднял голову и глянул прямо на нее своим диким, застланным взглядом, который, однако, видел тебя насквозь в секунду, будто впервые и навсегда; и она отпила из пустой чашки, чтоб от него уклониться, уклониться от его требовательности, отвлечь это властное посягательство. И он тряхнул головой и зашагал дальше («одинок» — услышала она, и «гибли»<sup>11</sup> — услышала она), и как все вообще в это странное утро, слова стали символом, написались на серо-зеленых стенах, и если бы только сложить их, выписать в связную фразу, она добралась бы до сути вещей. Старый мистер Кармайкл тихонько прошлепал мимо, налил себе кофе, взял чашку и отправился греться на солнышке. Удивительная нереальность пугала, но все было до того волнующе! Экспедиция на маяк. Что посылают на маяк? Гибли! Одинок! Серо-зеленый свет на стене напротив. Пустые места. Все — отдельно, и как собрать воедино? От малейшей помехи рухнуло бы хрупкое сооружение, которое она возводила перед собой на столе, и она отвернулась от окна, чтобы мистер Рэмзи ее не видел. Надо укрыться, спрятаться, надо побыть одной. Вдруг она вспомнила. Когда она десять лет назад тут сидела, был какой-то листочек не то кустик в плетении скатерти, и на него она глянула в миг озарения. Насчет фона картины. Передвинуть дерево к центру, тогда сказала она себе. И вот — картину так и не кончила. И все годы это гвоздем сидело в душе. Теперь-то она кончит картину. Где краски? Краски — ах да. Она же вчера их в прихожей оставила. И пора за работу. Она поскорее встала, пока мистер Рэмзи не повернул.

Она себе вынесла стул. По-стародевичьи аккуратно поставила мольберт на краю лужка, не слишком близко к мистеру Кармайклу, но и не чересчур далеко, чтоб быть у него под крылышком. Да, кажется, именно тут она десять лет назад и стояла. Стена; изгородь; дерево. Соотношение масс. Мысль гвоздила все эти годы. И вот, кажется, решение найдено; итак — за работу.

Но на нее несся мистер Рэмзи, и невозможно было работать. Всякий раз, когда он надвигался — он ходил взад-вперед по террасе, — надвигалось разрушение, хаос. И невозможно было писать. Уж она наклонялась, она отворачивалась; хваталась за тряпку; выжимала краску. Чтобы только отразить его натиск. При нем невозможно было работать. Дай она ему хоть чуточную зацепку, на секунду покажись ему праздною, только глянь в его сторону — и ведь он же накинется, он скажет, как сказал вчера вечером: «Мы теперь, как видите, далеко не те». Вчера вечером он встал, застыл перед нею и это сказал. И хоть шестеро детей (их, было дело, еще прозвали когда-то на манер английских королей и королев: Рыжий, Прекрасная, Непослушная, Беспощадный...) ни звука не проронили, видно было, что они негодуют. Миссис Бекуит, добрая старушка, что-то сказала, как-то нашлась. Но в доме бурлили скрытые страсти, весь вечер Лили чувствовала — в доме неладно. И в довершение всего мистер Рэмзи встал, сжал ей руку, сказал: «Вы, разумеется, видите, мы теперь далеко не те», — и никто ни звука не проронил, никто не шелухнулся, но по лицам было видно, какая для них мука это выслушивать. Только Джеймс (без сомнения Хмурый) грозным взором наградил лампу; а Кэм намазывала на палец платочек. Далее мистер Рэмзи обомл напомнил, что завтра они собрались на маяк. Им надлежит быть в прихожей в полной готовности ровно в половине восьмого. И — замер, держась за дверную ручку, и опять повернулся. Так хотят они на маяк или нет? — спросил он. Попробуй они ответить «нет» (у него были свои резоны нарваться на это) — и он бы рухнул трагически в горькие воды отчаяния. Редкий талант позирования. Король в изгнании да и только. Но Джеймс упрямо сказал: «Да». Кэм более жалостно выдавила: ах, ну да, оба они будут готовы. И Лили подумалось: вот вам трагедия — не пелены, не прах и не склепы; насилие над детьми, над их душами. Джеймсу уже, наверное, шестнадцать испол-

<sup>11</sup> Отрывистые, отдельные слова из стихотворения «Отверженный», написанного английским поэтом Уильямом Купером (1731—1800) после смерти любимой женщины.

нилось. Кэм, надо думать, семнадцать. Кэм поискала глазами кого то, кого не было в комнате, миссис Рэмзи, по-видимому. Нет, только старая миссис Бекуит шелестела под лампой своими акварельками. Но уже побеждала усталость, мысли вздувались и опалили вместе с волнами, одолевали знакомые запахи, какими всегда все места нас встречают после долгой разлуки, и дрожало пламя свечей, и она растворилась, она провалилась. Была дивная ночь; вызвездило; море шуршанием их провожало по лестнице; месяц, странно огромный, бледный, подстерегал подле лестничного окна. Заснула она мгновенно.

Она твердой рукой водрузила на мольберт чистый холст как экран — зыбкую, но, она надеялась, достаточную защиту от мистера Рэмзи, от его посягательств. Она изо всех сил старалась, когда он ей поворачивал спину, вглядываться в картину; в эти линии; эти цвета. Но — какое! Положим, он в двадцати шагах, положим, с тобою не разговаривает, даже на тебя не глядит — а все равно подавляет, гнетет, насаждает. При нем все иначе. Она не видела красок; не видела линий; даже когда он ей поворачивал спину, она только и думала: сейчас подойдет. И будет вымогать что-то, чего она не в силах ему дать. Она откладывала кисть; хватала другую. Когда уж явятся эти дети? Когда уж они все отбудут? Она дергалась. Этот человек, думала она с накапливающей злостью, никогда не дает; он берет. А ее вот заставляет давать. Миссис Рэмзи — та вечно давала. Давала, давала — и умерла; и все это оставила. Хороша же и миссис Рэмзи. Кисть дрожала в руке у Лили, и она смотрела на изгородь, на окно, на стену. А все миссис Рэмзи. Умерла. А Лили в свои сорок четыре теряет тут время, совершенно не может работать, стоит и играет в живопись, в то единственное играет, во что не играют, и все виновата миссис Рэмзи. Умерла. Ступеньки, на которых она сжививала, пусты. Умерла.

Но что толку повторять одно и то же снова и снова? Что толку вечно ворошить чувства, которых нет в тебе? Ведь это, в общем, кощунство; все иссохло; увяло; расточено. И зачем они ее пригласили? Зачем она сюда притащилась? Когда тебе сорок четыре, нечего время терять. Это отвратительно — играть в живопись. Кисть — единственно надежная вещь в мире раздоров, разрушения, хаоса, и нельзя ею играть, тем паче сознательно. Просто противно. А он заставляет. Он будто говорит, несясь на тебя: не прикасайся к холсту, пока не дала мне того, что мне необходимо. Вот он — снова тут как тут — жадный, дикий. Ладно, подумала Лили, роняя правую руку вдоль тела, уж проще отделаться. И неужто нельзя по памяти воспроизвести то сиянье, тот пыл, растворенность, которых она на многих женских лицах понавидалась (например, на лице миссис Рэмзи), когда они в подобных случаях воспламенялись — она помнила лицо миссис Рэмзи — жаром сочувствия, предвосхищением той высшей, блаженной награды, которая, хоть ей лично этого — увы — не понять, очевидно, только и дарована душе человеческой. Вот он — остановился рядом. И надо выжать из себя все что возможно.

## 2

Она несколько скукожилась, он подумал. Чересчур, может быть, сублинная, хлипкая, но, в общем, не лишена обаяния. Вполне ничего. Поговаривали одно время, будто она выходит за Уильяма Бэнкса, но как-то это расстроилось. Жена ее любила. За завтраком он, кажется, немного вспылил. Но вот, но вот — настал один из тех моментов, когда неодолимая сила (он сам не понимал, что такое) толкала его к любой женщине, чтобы вынудить — уж не важно как, чересчур эта сила была велика — то, в чем он нуждался: сочувствие.

Она не очень заброшена? — спросил он. Ни в чем не терпит нужды?

— О, решительно ни в чем, благодарю вас, — ответила Лили Бриско нервозно. Нет; это не для нее. Ей бы сразу ринуться в волны болтливой отзывчивости. Он так наседали. Но ее парализовало. Последовала невозможная пауза. Оба смотрели на море. И зачем, думал мистер Рэмзи, зачем смотреть на море, когда я рядом стою? Она надеется, сказала она, их не будет качать по пути на маяк. Маяк! При чем тут маяк! — он подумал в сердцах. И тотчас некий первобытный порыв (нет, он не мог больше сдерживаться) исторг из души его стон, после которого любая, любая бы женщина что-то сделала, что то сказала, любая, но только не я, думала Лили, нещадно себя костеря, и, наверное, я не женщина вовсе, а брюзгливая, вздорная, очерствелая старая дева.

Мистер Рэмзи завершил свой вздох. Он ждал. Неужто она так ничего и не скажет? Неужто не видит, чего ему от нее нужно? Далее он сообщил, что на маяк его влечет неспроста. Жена всегда посылала туда разные разности. Там был мальчик, бедняжка, с туберкулезом бедра. Сын смотрителя. Он вздохнул глубоко. Вздохнул со значением. Лили об одном мечтала — чтоб этот бездонный поток тоски, неутолимую жажду сочувствия, эту потребность всецело ее подмять, отнюдь не расставшись с запасами горя, которых ей по гроб жизни хватило бы, чтоб все это пронесло, отвело (она поглядывала на дом в надежде, что им помешают), пока ее не сшибло, не засосало течением.

— Такого рода экспедиции, — сказал мистер Рэмзи, носком ботинка вскапывая лужок, — ужасно мучительны.

И опять Лили ничего не сказала. (Льдышка, бревно, думал он.)

— Они отнимают последние силы, — сказал он и страждущим взором, от которого ее тошнило (он актерствует, она чувствовала, великий человек ломает комедию), глянул на свои прекрасные руки. Отвратительно. Неприлично. Когда же наконец они явятся? — думала она, не в состоянии выдерживать груз безмерного горя, тяжкий навес тоски (он принял вдруг позу немощной дряхлости, буквально пошатывался чуть-чуть), нет, ни секундой дольше!

Но она ничего не могла из себя выдать (до самого горизонта будто вымело все, за что можно бы уцепиться) и лишь с изумлением чувствовала, что скорбный взор мистера Рэмзи обесцвечивает сиянье травы, а на румяного, сонливого, безмятежного мистера Кармайкла, устроившегося с французским романом в шезлонге, набрасывает траурный флер, словно демонстрация благополучия посреди вселенских скорбей достойна самых мрачных соображений. Взгляни на него, как бы говорил он, и взгляни на меня; а на самом-то деле в нем все время кипело: думай обо мне, думай обо мне, думай обо мне. Ох, если бы эту глыбу к ним притянуло поближе! Поставить бы мольберт хоть на метр поближе к нему! Мужчина, любой мужчина отвел бы это извержение, предотвратил эти сотования. Женщина — вот и навлекла такой ужас; женщине — ей бы и знать, как с ним управляться. Стыд, позор, что она тут стоит и молчит. В таких случаях говорят — да, что говорят? — ах, мистер Рэмзи, милый мистер Рэмзи! Благоспитанная старая дама с акварельками, эта миссис Бекуит, та бы в секунду нашлась и сказала все что положено. Но нет. Они стояли рядом, отрезанные от всего человечества. Его безграничная жалость к себе, потребность в сочувствии лужей растекалась у нее под ногами, а она, жалкая грешница, только и делала что слегка подбирала юбки, чтоб не промокнуть. Она стояла в полном молчании и тискала кисть.

Вот уж поистине слава благим небесам! В доме послышался шум. Сейчас явятся Кэм и Джеймс. Но мистер Рэмзи, будто спохватившись в цейтноте, напоследок изо всех сил обрушил на нее, беззащитную, свое лютое горе; свою старость; сирость; беспомощность; как вдруг, тряхнув головой в досаде — ведь в конце концов женщина она или нет! — он заметил, что у него на ботинке развязался шнурок. А ботинки, кстати, у него поразительные, подумала Лили, опуская взгляд: будто изваянные; колоссальные; и, как и все, что на мистере Рэмзи, от протертого галстука до полурасстегнутого жилета, никому другому принадлежать они не могли. Она так и видела, как сами собой они удаляются к нему в кабинет, даже в его отсутствие полные пафоса, брюзгливости, гнева и очарования.

— Какие чудные ботинки! — выпалила она. И услыдилась. Хвалить ботинки, когда тебя призывают целить душу! Когда тебе показали кровоточащие руки, истерзанное сердце и молят о жалости, вдруг прочирывать жизнерадостно: ах, да какие же чудные ботинки! — за это она заслуживала (и уже ожидала — в виде раскатов гнева) совершенного уничтожения.

Мистер Рэмзи вместо этого улыбнулся. Пелены гробовые и немощность — все как рукой сняло. Да-да, сказал он, задирая ногу, чтоб ей удобнее было смотреть, ботинки первоклассные. Один-единственный человек во всей Англии тачает такие ботинки. Ботинки — чуть не серьезнейший бич человечества, сказал он. «Сапожники считают своим долгом, — вскричал он, — истязать и увечить человеческую стопу!» К тому же они — сама зловредность и упрямство. Лучшие годы юности он убил на то, чтоб ботинки были ботинками. Вот, пусть

она удостоверится (он задрал правую, потом левую ногу), она еще не видывала ботинок такого фасона. И вдобавок превосходная кожа. Обычно ведь это не кожа — оберточная бумага, картонка. Он с удовлетворением озирает свою все еще поднятую ногу. Они достигли, она почувствовала, сияющего острова, где разум царит, и покой, и незакатное солнце, благословенного острова прекрасных ботинок. Ее сердце смягчилось. «Ну-с, а теперь поглядим, способны ли вы завязать узел!» — сказал он. Он презрел ее наивный способ. Продемонстрировал собственное изобретение. Если так завязывать — в жизни не развяжется. Он трижды зашнуровал ей туфли; трижды расшнуровал.

Но почему же в самый неподходящий момент, когда он наклонился над ее туфлей, ее так кольнула жалость, что, тоже наклонясь, вся покраснев и думая о собственном жестокосердии (ведь называла актеришкой), она ощутила едкое пощипыванье в глазах? За этим занятием он вдруг показался ей до невозможности трогательным. Завязывает узлы. Покупает ботинки. Никто не поможет ему в трудном его путешествии. И вот когда она уже хотела что-то сказать, уже, наверное, что-то сказала бы, они явились — Кэм и Джеймс. Показались на террасе. Плелись рядышком торжественной, унылой четой.

Но почему надо так являться? Ей было досадно; могли бы и повеселее явиться; могли бы дать ему то, что теперь из-за них она лишилась возможности ему дать. Она вдруг опустела вся; иссякла. Слишком поздно; вот — расчувствовалась; а ему уже и не надо. Он сразу сделался достойнейшим пожилым господином, которому она решительно не нужна. Она получила по носу. Он взвалил на плечи рюкзак. Распределил свертки — много свертков, неаккуратных, в оберточной бумаге. Отправил Кэм за плащом. Все как водится — предводитель снаряжает экспедицию в путь. Затем, сделав полный поворот кругом, твердой военной поступью в своих неотразимых ботинках, навьюченный неаккуратными свертками, он двинулся по тропе в сопровождение детей. Вид у них был такой, будто судьба обрекает их жестокому испытанию и они покоряются и лишь по молодости лет принуждены безропотно плестись за отцом; но в помертвевших взглядах она читала немое страдание — не по возрасту. Вот обогнули лужок, и Лили словно проводила глазами процессию, спотыкающуюся, вялую, но идущую бичевою общего чувства, и оно их сбивало в крошечный единый отряд, и это производило до странности сильное впечатление. Учтиво и вполне отчужденно мистер Рэмзи взмахнул на прощанье рукой.

Но какое лицо! — подумала она, и тотчас сочувствие, которого уже от нее не требовали, мучительно запросилось наружу. Что сделало это лицо таким? Неустанные ночные раздумья, решила она, о сущности кухонных столов, уточнила она, вспомнив символ, с помощью которого Эндрю просветил ее по части раздумий мистера Рэмзи (его же, стукнуло сердце, убило на месте осколком гранаты). Кухонный стол — нечто призрачное, строгое; нечто голое, твердое; не живописное. Он не имеет окраски; только углы и линии; он безоговорочно прост. И мистер Рэмзи, впевив в него взор, не позволял себе отвлекаться, рассеиваться, покуда лицо его не стало подвижническим, изможденным, не стало отдавать той неживописной красотой, которая так задела ее. Но, однако, она вспомнила (она так и стояла, одна, с кистью в руке), его бороздили терзания — уже не столь благородного свойства. Наверное, ему сомнения являлись насчет этого стола; реальный ли это стол; и стоило ли на него убивать столько времени; и способен ли он, в конце концов, его распознать. Его одолевали сомненья, иначе не стал бы он так наседать на людей. Вот, видно, о чем они рассуждали за полночь, а наутро миссис Рэмзи выглядела измученной, а Лили возмущалась мистером Рэмзи из-за форменных пустынок. А теперь ему не с кем поговорить о столе; о своих узлах; о ботинках; теперь он как лев, высматривающий добычу, и на лице утвердилось отчаяние и надрыв, который поверг ее в страх и заставил подбирать юбки. А потом, она вспомнила, — вдруг это оживление, трепет (когда она похвалила ботинки), вдруг это исцеление, живость, интерес к человеческим обычным вещам, и опять все прошло, изменилось (он непрестанно менялся и ничего не скрывал), преобразилось в последнюю стадию, неожиданную для Лили, и, надо признать, она устыдилась своей раздражительности, когда он, будто стряхнув заботы, амбиции, потребность в сочувствии, жажду похвал, ступил на иную какую-то землю и, будто движимый любопытством, погло-

ценный немый разговором, с собою ли или с кем-то другим, во главе своего крошечного отряда потянулся туда, где его не догнать. Удивительное лицо! Хлопнула калитка.

## 3

Вот и ушли, подумала она и вздохнула — облегченно и горько. Растрогалась и сама получила по носу как бьющей с отскока колючей веткой. Ее будто надвое разорвало — одна часть тянулась туда, где было дымчатое, тихое утро; и маяк стоял в необычной дали; а другая упрямо, строптиво застряла тут, на лужке. Она увидела холст — он как взмыл и, белый, неумолимо навязывался взгляду. И холодною белизною корил за все эти дерганья и треволенья; за зрящую трату эмоций; он призывал к порядку; и, покуда расстроены чувства Лили (вот, ушел, и так его жаль, а она ничего не сказала) покидали в смятенном поле, устанавливал в сознании мир; а потом была пустота. Лили бессмысленно смотрела на холст, на его беспощадную белизну; потом оглядела сад. Да, было что-то такое (она стояла — личико с кулачок — и щурила свои китайские глазки) в соотношении этих смутно-текучих, одна другую подсекающих линий и этой массы изгороди, топящей в зеленых провалах темень и синь, что-то такое, что засело в сердце; узелком завязалось; и ни с того ни с сего, бредя ли по Бромптон-Роуд, расчесывая ли волосы, вдруг она возвращалась к картине, писала ее, окидывала взглядом, старалась узелок развязать. Но одно дело — ответственно носить с идеями вдалеке от холста, и совсем-совсем другое — взяться за кисть и сделать первый мазок.

Разнервничавшись из-за того, что рядом мистер Рэмзи, она схватила не ту кисть и сгоряча всадила в землю мольберт под неверным углом. Теперь, поправив его и тем временем выбросив из головы разную чушь, которая засоряла внимание и уводила мысли к тому, что она за персона и какие у нее отношения с людьми, она вся подобралась и занесла руку. Мгновенье кисть жадно дрожала в воздухе, мучая и раззадоривая душу. С чего начать — вот в чем вопрос; где провести первый мазок? Единственный нанесенный на холст мазок толкает на безоглядный риск, ряд быстрых невозвратных решений. Все, что казалось простым, пока мы пробавлялись теориями, на деле оборачивается головоломной сложностью; так волны, ровно бегущие, если смотреть с вершины утеса, пловца бросают в сосущие бездны и окатывают кипением гребней. Но риска не избежать; от мазна не уйти.

Со странным физическим ощущением, будто ее сзади толкают, а надо удерживаться, она нанесла первый быстрый, решительный штрих. Кисть опустилась; темно мелькнула на белом холсте; оставила беглый след. Потом еще раз и третий. И вот мельканья и паузы образовали танцующий ритм, где пауза — первый такт, мельканье — второй, и все нераздельно слилось; и так, легко, быстро, замирая, мелькая, кисть пошла штриховать холст текучими, темными линиями, и, едва на него ложась, они замыкали зияющее пространство (оно надвигалось на Лили). Снизу, со впадины одной волны, она уже видела, как все выше и выше над нею вскипает другая. Что есть на свете беспощадней, чем это пространство? Ну вот, думала она, отступая и оглядывая его, опять ее оттащило от болтовни, от жизни, от человеческой общности и кинуло в лапы извечного вора — этого иного, той правды, реальности, которая прячется за видимостями и вдруг лезет из глубины на поверхность и делается наваждением. Хотелось упереться, не даваться. Зачем ее вечно оттаскивает и несет? Оставили бы в покое, мирно болтать с мистером Кармайклом на солнышке. Так нет же. Во всяком случае, изнурительная форма общения. Другим объектам обожания — тем обожание и подавай; мужчины, женщины, Бог — перед теми только ниц и распластывайся. А здесь! Да образ белого абажура, нежно витающий над плетеным столом, и тот ведь зовет на бой, толкает на битву, в которой тебе заведомо суждено поражение. Вечно (то ли у нее характер такой, то ли женская природа такая), прежде чем текучесть жизни застынет сосредоточенностью работы, на минуты какие-то она себя ощущает голой, как душа нерожденная, как с телом расставшаяся душа, беззащитно дрожащая на юру, под ветрами сомнений. Так зачем это все? Она смотрела на холст, тронутый беглыми линиями. В комнате для прислуги повесят. Скатают рулоном и ткнут под диван. Так зачем же, за-

чем? А чей то голос нашептывал: не владеешь кистью, никуда не годна; и тут ее засосало одним из потоков, с которыми со временем так свыкается память, что слова повторяешь, уже не соображая, кто их первый сказал.

Не владеешь кистью, не владеешь пером, бубнила она механически, озабоченная планом атаки. Масса на нее надвигалась; выпирала; давила на глазные яблоки. Потом, будто брызнул струей состав, необходимый для смазки способностей, она наобум стала шарить между синим и умброй; тыкать кистью туда-сюда; но кисть отяжелела, замедлилась, сдалась ритму, который диктовало увиденное (Лили смотрела на изгородь, смотрела на холст), и — дрожи не дрожи нетерпением рука — ритм этот пересиливал и вел. Она несомненно утратила связь с окружающим. Она все забыла, забыла, кто она, как ее зовут, и как она выглядит, и есть тут мистер Кармайкл или нет его, а сознание тем временем выживало из глубины имени, и слова, и сцены, и мысли, и они били фонтаном над спящим, омерзительно неодолимым белым пространством, которое она укрощала зеленой и синей краской.

Это же Чарльз Тэнсли говорил, она вспомнила, — женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Подойдет сзади и станет над душой, бывало, — просто несчастье, — когда она работала на этом самом месте. «Махорка, — говорил, — экономия на куреве». Бедностью своею кичился и принципами. (Но война умерила ее феминизм. Бедные-бедные, думала она о мужчинах и женщинах одинаково. Такого хлебнули.) Он вечно таскал с собой книжку — фиолетовую такую. «Работал». Усаживался, помнитса, работать на солнцепеке. За ужином вечно усаживался, в точности надвое перегораживая вид. Но было же, она вспомнила, то утро на берегу. Об этом нельзя забывать. Было ветрено. Все спустились на берег. Миссис Рэмзи облокотилась на камень и писала письма. Писала, писала.

— Ой, — вдруг сказала она, оторвав глаза от письма и увидев что-то, колышущееся в волнах, — это что? Верша для омаров? Или лодка перевернулась?

Ужасно была близорука. И вдруг Чарльза Тэнсли как подменили. Он сделался неслышанно мил. Стал учить Лили бросать камушки. Они отыскивали плоские черные камушки и пускали вскачь по волнам. Миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков и смеялась. Ни слова не вспомнить из того, что говорилось тогда, просто они с Чарльзом бросали камушки и невероятно друг к другу расположились, а миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков. Вот уж это запомнилось. Миссис Рэмзи! — она подумала, отступя и сощурясь. (Совсем бы другое дело, если бы под окном сидели миссис Рэмзи и Джеймс. Как бы там пригодилась тень...) Миссис Рэмзи! Все это — бросание камушков с Чарльзом, вообще вся сцена на берегу — как-то определялось тем, что миссис Рэмзи сидела у камня с бумагой на коленях и писала письма. (Тьму писем писала, и вдруг их выхватывал ветер, они с Чарльзом даже выудили один листок из воды.) Но какою же властью наделена душа человеческая! — она подумала. Эта женщина, сидевшая возле камня и писавшая письма, умела все так просто решить; развеять неприязнь, раздражение, как ветхие тряпки; взболтать то, се, другое и превратить несчастную глупость и злость (их стычки и препирательства с Чарльзом были ведь злобны и глупы) во что-то такое — ну как та сцена на берегу, мгновенная дружба, расположенье, — что одно и оставалось живым во все эти годы, и меняло ее представленье о Чарльзе, и отпечатывалось в памяти почти как произведение искусства.

— Как произведение искусства, — повторила она, переводя взгляд с холста на окно и обратно. Надо чуть чуть отдохнуть. И пока она отдыхала, переводила с одного на другое отуманенный взгляд, старый вопрос, вечно витающий на небосводе души, огромный и страшный, который вот в такие минуты роздыха особенно настоятелен, встал перед нею, застыл и все застыл. В чем смысл жизни? Вот и все. Вопрос простой; вопрос, который все больше тебя одолевает с годами. А великое откровение не приходит. Великое откровение, наверное, и не может прийти. Оно вместо себя высылает маленькие вседневные чудеса, озаренья, вспышки спичек во тьме; как тогда, например. То, се, другое; они с Чарльзом и набегающая волна; миссис Рэмзи, их примирившая; миссис Рэмзи, сказавшая: «Жизнь, остановись, постой!»; миссис Рэмзи, нечто вечное сделавшая из мгновенья (как, в иной сфере, Лили сама пытается сделать нечто вечное

из мгновенья). И вдруг посреди хаоса — явленный образ; плавучесть, текучесть (она глянула на ток облаков, на трепет листвы) вдруг застывает. «Жизнь, остановись, стой!» — говорила миссис Рэмзи.

— Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — повторяла она.

И этим откровением она обязана ей.

Все было тихо. В доме — ни звука, ни шороха. Дом дремал на утреннем солнышке, и окна прикрыты зеленым и синим отраженьем листвы. Смутные мысли о миссис Рэмзи были в согласии с тихим домом; с дымом; с тихим, ясным деньком. Смутный и зыбкий, он был поразительно свеж и странно бодрил. Только б никто не открыл окно, не вышел бы из дому, только бы ее оставили в покое, дали подумать, дали спокойно работать. Она повернулась к холсту. Но любопытство ее подтолкнуло и неизрасходованное сочувствие, и она прошла несколько шагов до другого края лужка — взглянуть, если получится, как там они поднимают парус. Внизу среди лодок, с убранными парусами качавшихся на волнах или тихо — ведь было безветрие — скользивших прочь, одна держалась несколько в стороне от других. И как раз поднимала парус. И Лили поняла, что в той дальней, совершенно безвучной лодке сидит мистер Рэмзи с Джеймсом и Кэм. Парус подняли; он было дрогнул, поник, но вот вздулся, и, окутанная плотной немотой, лодка решительно мимо других устремила свой путь в море.

#### 4

Над головами хлопали паруса. Вода урчала и шлепалась о борта лодки, сонно подставлявшейся солнцу. Иногда паруса рябило ветерком, но тотчас рябь пропадала. Лодка не двигалась. Мистер Рэмзи сидел посреди лодки. Сейчас он взорвется, думал Джеймс, и Кэм думала то же, глядя на отца, который сидел посреди лодки между ними (Джеймс правил; Кэм сидела одна на носу), поджав под себя туго сплетенные ноги. Он ненавидел проволоочки. И конечно, он кипел-кипел, а потом сказал резкость Макалистеру-внуку, и тот взялся за весла и стал грести. Но они-то знали, отец не уймется, пока они не полетят по волнам. Будет ждать ветра, будет дергаться, что-то бурнать сквозь зубы, и Макалистер с внуком услышат, а они оба будут стогать со стыда. Он взял их с собой насильно. Принудил. От злости они уже хотели, чтоб ветер никогда не поднялся, чтоб ничего у него не вышло, раз он взял их насильно с собой.

Пока спускались к берегу, они все время тащились сзади, хоть он без слов им приказывал: «Живее, живее». Они шли понуриив головы, свесив головы, шли — как напролом, против нещадного вихря. Что они могли сказать? Надо так надо. Они и шли. Шли за ним и волокли эти дурацкие свертки. Но молча клялись на ходу держаться вместе и насмерть стоять против тиранства. Так они и сидели на разных концах лодки, в полном молчании. Ни слова ему не сказали. Только поглядывали на него, как он сидит, сплетя ноги, хмурится, дергается, бурчит, фукает и ждет ветра. И надеялись, что ветра не будет. Что ничего у него не выйдет. Что ничего не выйдет из этой его экспедиции и они со всеми своими свертками ползут обратно на берег.

Но вот Макалистер-внук прогреб немного, и парус поймал ветер, лодка нырнула, круто повалилась набок и понеслась вперед. Мигом, будто освободясь от ужасного груза, мистер Рэмзи расплел ноги, вытащил кисет, хмыкнув, протянул Макалистеру и явно почувствовал себя, несмотря на все их страданья, совершенно убоготворенным. И теперь они были обречены плыть часами, пока мистер Рэмзи будет расспрашивать старого Макалистера — возможно, про страшную бурю прошлой зимой, — а старый Макалистер — отвечать, и оба — попыхивать трубкой, и Макалистер будет теревить смоленый канат, завязывать узлом и развязывать, а внук будет удить и рта не раскроет. Джеймсу придется глаз не спускать с паруса, и только он зазевается, парус будет плескаться, и лодка — сбавлять ход, и мистер Рэмзи — рывкаться: «Глядеть! Глядеть!» — а старый Макалистер — медленно поворачиваться на сиденье. И вот они услышали, как мистер Рэмзи расспрашивает про страшную бурю на Рождество. «Сносит ее от мыса», — говорил старый Макалистер, рассказывая о страшной буре на Рождество, когда десять посудин загнало в бухту, он сам видел — «одна вон там, одна вон там, а одна во-о-она где». (Он медленно обводил указательным паль-

цем бухту. Мистер Рэмзи вертел головой вслед за пальцем.) Он сам, он своими глазами видел, трое в мачту вцепились. Ну и потонула она. А потом, рассказывал старый Макалистер (но в своей ярости, в своем молчании они ловили только отдельные слова, сидя по разным концам лодки, связанные договором насмерть стоять против тиранства), потом они вывели, значит, шлюпку спасательную, вывели за мыс, рассказывал Макалистер; и хоть они ловили только отдельные слова, они все время, все время замечали, как отец наклонился вперед, как настроил голос в лад голосу Макалистера и как, попыхивая трубкой, он поглядывает туда-сюда, куда показывает Макалистер; и они в себе чувствовали, как ему нравится эта буря, и темная ночь, и борьба рыбаков. Ему нравится, чтоб мужчины потели и бились ночью на ветреном берегу, надсаживаясь и борясь против ветра и волн; ему нравится, чтоб так трудились мужчины, а жены чтоб хлопотали по дому и сидели подле спящих детей, покуда мужья погибают в волнах. Джеймс это чувствовал, и Кэм это чувствовала (они поглядывали на него, потом друг на друга) по тому, как он слушал, смотрел, и по его голосу, и по легкому шотландскому акценту, который вдруг у него появился, так что сам он стал похож на крестьянина, когда расспрашивал Макалистера про одиннадцать посудин, которые бурей загнало в бухту. Три потонуло.

Он гордо поглядывал туда, куда показывал Макалистер; и Кэм им гордилась и думала, почему — неизвестно, что, окажись он там, он тоже был бы на спасательной шлюпке и он подоспел бы к месту крушения, думала Кэм. Он такой смелый, такой отважный, думала Кэм. Но тут она вспомнила. Был договор: насмерть стоять против тиранства. Угнетала обиды. Их вынудили; ими командовали. Опять он их придавил, подавил своей скоростью и властью и заставил ему в угоду в такое прекрасное утро тащиться со всеми этими свертками на маяк; принимать участие в этих его ритуалах в честь мертвых, которые он справляет ради собственного удовольствия. А им эти ритуалы претили, и они все время от него отставали на берегу, и прекрасное утро было безнадежно испорчено.

Да, бриз бодрил. Лодка клонилась набок, остро рубила воду, и вода взлетала зелеными вихрями, пузырями, каскадами. Кэм загляделась вниз, в пену, в море со всеми его сокровищами, и скорость ее заворачивала, и узы между нею и Джеймсом чуть ослабли. Провисли чуть-чуть. Она стала думать: как быстро летим. И куда? — и движение ее заворачивало, а Джеймс тем временем мрачно правил и не отрывал глаз от паруса. Но, правя, он уже говорил себе, что надо сбежать; надо бросить все это. Вдвоем где-нибудь высадиться; освободиться. Переглянувшись, оба они — из-за скорости этой, из-за перемены — вдруг ощутили восторг. Но бриз то же самое возбуждение нагнал и на мистера Рэмзи, и едва старый Макалистер отвернулся, чтоб забросить за борт лесу, он выкрикнул громко: «Мы гибли!» — и еще: «Каждый одиноки!»<sup>12</sup> А потом, после обычного своего пароксизма раскаяния не то смущенья, он помахал рукой в сторону берега.

— Взгляни на домик, — сказал он, и он хотел, чтобы Кэм посмотрела. Она нехотя распрямилась и глянула. Но где же? Она уже не могла разобрать, где там на горке их дом. Все было дальше, мирное, странное. Берег, подернутый далью, стал новым и нереальным. Совсем немного пролетели они по волнам, а берег стал уже чем-то другим, уходящим и тающим, чему уже нет до них дела. Где их дом? Она не могла разобрать.

— Но он не знал, в какой волне, — бормотал мистер Рэмзи. Он нашел дом и, увидев его, увидел там и себя; увидел, как он бредет по садовой террасе, бредет одиноко. Он бродил взад-вперед между урнами; и он себе показался страшно старым и сгорбленным. Сидя в лодке, он сгорбился, скорчился, тотчас вошел в роль — роль одинокого, вдового, всеми покинутого; и вызвал тотчас в виденьях сонм соболезнующих; тут же, сидя в лодке, поставил небольшую трагедию, требовавшую от него дряхлости, истомленности и печали (он поднял к лицу и разглядывал свои убедительно, непровержимо тощие руки), дабы не было уж недостатка в женском сочувствии; и он представил себе, как они его утешают, жалеют, и, в виденьях утешенный отсветом тонкого удовольствия, какое дарует женская жалость, он вздохнул и сказал нежно и скорбно:

<sup>12</sup> См. предыдущую сноску.

Но он не знал, в какой волне  
Пришлось захлебываться мне!<sup>13</sup>, —

сказал так, что скорбные слова отчетливо услышали все в лодке. Кэм буквально подскочила на сиденье. Она задыхалась — она возмущалась. Отца ее движение вырвало из задумчивости; он вздрогнул, спохватился, он крикнул: «Смотрите! Смотрите!» — так настоятельно, что Джеймс повернул голову и через плечо посмотрел на остров. Все смотрели. Все смотрели на остров.

Но Кэм ничего не видела. Она думала про то, как тех тропок, дорожек, густых, петляющих и гудящих всеми теми их жизнями, нет уже: они заглохли, позарастали; они нереальны; а реальное — вот оно: лодка и парус с заплаткой; Макалистер с серьгой; шум волн — все это реально. Так она думала и про себя бормотала: «Мы гибли, каждый одинок», потому что слова отдавались и отдавались у нее в голове, и тут отец увидел ее отуманенный взгляд и принялся над нею подтрунивать. А знает ли она страны света? — спрашивал он. Север от юга отличить умеет? Она всерьез убеждена, что они живут именно там? И он снова показывал ей верное место, показывал, где их дом, вон там, возле тех деревьев. Ему хочется, чтоб она постаралась быть поточнее, говорил он. Ну-ка скажи, где восток, где запад, говорил он, и он шутил, но он и сердился, ибо он решительно не постигал, как можно, не страдая клиническим идиотизмом, не уметь различить страны света. А она не умела. И глядя, как она смотрит отуманенным, теперь уже перепуганным взглядом туда, где не может быть дома, мистер Рэмзи забыл про свое виденье; как он бродит взад-вперед между урнами по садовой террасе; и к нему простирают руки. Он подумал, что женщины все такие; у них безнадежный туман в голове; он всегда был не в состоянии это постичь; тем не менее факт остается фактом. И с нею так было — с женой. Женщины не умеют думать четко и ясно. Но напрасно он на нее сердился; в сущности, разве ему не нравится в женщинах именно эта туманность? Она, собственно, часть их немислимого обаянья. Сейчас я ее развеселю, он подумал. Она выглядит просто испуганной. Совсем притихла. Он тискал собственные пальцы и думал, что его голос, лицо, быстрый, неожиданный жест — все, что служило ему столько лет, заставляя людей жалеть его и хвалить, и на сей раз ему не изменит. Он ее развеселит. Придумает что-нибудь легкое, простое и скажет. Но что? Он увязнул в работе и забыл, что в таких случаях говорится. Щенок — ? Они завели щенка. Кто сейчас присматривает за щенком? — спросил он. Да уж, думал Джеймс беспощадно, оглядывая голову сестры на фоне паруса, где ей устоять. Я останусь один. Придется одному исполнять договор. Не будет Кэм никогда насмерть стоять против тиранства, думал он мрачно, глядя на ее грустное, насупленное, покорное лицо. И как бывает, когда тень тучи ляжет на зелень гористой округи и придавит ее и, кажется, все среди гор печалуетса и грустит и горы сами будто задумались о судьбе потемнелой зеленой округи то ли жалостно, то ли злорадно, так и Кэм сейчас себя чувствовала будто под тучей, сидя среди спокойных и твердых людей и не зная, как ответить отцу про щенка; как устоять против этой мольбы — прости меня, пожалей меня; откуда Джеймс, законодатель, разложив скрижали вечной мудрости у себя на коленях (его рука на румпеле казалась ей символом), говорил: не сдавайся, борись. Он все верно говорил. Справедливо. Нужно насмерть стоять против тиранства, думала Кэм. Выше всех человеческих качеств она ставила справедливость. Брат был — самый богоподобный из смертных. Отец — самое униженное смирение. Кому уступить, думала она, сидя между ними, глядя на берег, где спутались странно восток и запад, где лужок, и терраса, и дом — все стерлось, слилось и где воцарился покой.

— Джеспер, — буркнула она хмуро. — Он присмотрит за щенком.

А как она думает его назвать? — не унимался отец. У него, когда он был маленький, был пес, и того звали Пушок. Она сдается, думал Джеймс, видя на лице у нее новое выражение, и он это выражение помнил. Они опускают глаза на вязанье или на что-то еще. И потом вдруг они поднимают глаза. И — синий сполох — он помнил, и кто-то с ним рядом смеялся, сдавался, а сам он злился ужасно. Это мама, конечно, была, он думал, сидела на чем-то низком, а над

<sup>13</sup> То же стихотворение Уильяма Купера.

нею стоял отец. Он стал откапывать из-под впечатлений, которые время неустанно и тихо, листок за листком, складку за складкой складывало в памяти; из-под запахов, звуков; голосов — грубых, плоских и милых; и скользящих огней и стучащих швабр; гремящих и шепчущих волн — как кто-то бродил-бродил и вдруг встал и застыл над ними. Но одновременно он отмечал, что Кэм прочесывает пальцами воду, смотрит на берег; и ни слова не говорит. Нет, не сдастся она, он подумал; она-то другая, он подумал. Что ж, если Кэм не хочет ответить, не стоит к ней приставать, решил мистер Рэмзи и стал нашаривать книгу в кармане. Но она хотела ответить; она просто мечтала, чтоб ее отпустило; чтоб язык развязался и можно было сказать: «Ах да, Пушок. Я его назову Пушок». Ей даже хотелось спросить: «Это тот самый, который нашел один дорогу через болота?» Но как ни старалась, она не могла ничего такого придумать, чтоб, оставаясь суровой и не изменив договору, тайно от Джеймса дать отцу знак, что она любит его. Потому что она думала, прочесывая пальцами воду (внук Макалистера поймал скумбрию, и она билась на днеще с кровавыми жабрами), потому что она думала, глядя на Джеймса, бесстрастно сверлившего взором парус или вдруг окидывавшего горизонт, — тебе-то что, тебе не понять этой муки, раздвоенности, этой неодолимой туги. Отец шарил в кармане; миг еще — и он найдет свою книгу. Никто на свете ей не нравится так; для нее его руки прекрасны, и ноги, и голос, слова, нетерпенье и вспыльчивость, странность, и страсть, и то, как он при чужих говорит: «Мы гибли, каждый одинок», и его отвлеченность. (Вот — книгу раскрыл.) Но ведь несомненно, она думала, распрямляясь и глядя, как внук Макалистера рвет крючок из жабр еще одной скумбрии, это его ослепление и тиранство, которое отравляло ей детство, вызывало страшные бури, так что и теперь еще она просыпается среди ночи и трясется от ярости, вспоминая его какую-нибудь команду; оскорбление какое-нибудь. «Сделай то», «сделай се»; его властолюбие; это его «покорись».

И она не сказала ни слова, только грустно, неотрывно смотрела на берег, окутанный волокой покоя; будто все там уснуло, она думала; и волны, как дым; как волны, как призраки волны уходить и являться. Там у них нет печалей, она думала.

## 5

Да, это их лодка, решила Лили Бриско, стоявшая на краю лужка. Та лодка с темно-серыми парусами, которая было нырнула и — понеслась по волнам. Там он сидит, и детки его все не проронят ни слова. И его не догнать. Ее давило невысказанное сочувствие. Писать было трудно.

Она всегда его находила трудным. Не в состоянии была, помнится, в глаза ему льстить. Что и сводило их отношения к чему-то бесцветному, без того оттенка эротики, который делал таким рыцарственным и даже веселым его обращение с Минтой. Он ведь как-то цветок ей сорвал; совал свои книги. Неужто он думал, Минта их станет читать? Она их таскала по саду, лепесточком закладывая страницы.

— Помните, мистер Кармайкл? — чуть не спросила она, глядя на старика. Но тот надвинул шляпу на лоб; уснул, или замечтался, или за словами охотился, кто его знает.

— Помните? — ей очень хотелось спросить, когда она проходила мимо и уже думала снова про то, как миссис Рэмзи сидела на берегу; и прыгал в волнах бочонок; и разлетались исписанные листки. Почему — столько лет уж прошло, а это так живо, выделенное, высвеченное, видимое до мельчайшей детали, а все, что было до и что после, — сплошная пустыня на мили и мили кругом?

Это лодка? Это пробка? — да, так она спрашивала. И снова Лили нехотя вернулась к холсту. Слава те, Господи, остается проблема пространства, думала она, хватаясь за кисть. Оно зияло. На нем держалась вся масса картины. Прекрасное, яркое должно оно быть на поверхности, воздушное, легкое, как бабочкино крыло; но на поверку скрепленное железными скобами. Что-то такое, на что страшно дохнуть; но и ломовикам не сдвинуть. И она накладывала красное, серое, подкапываясь под пустоты пространства. И в то же время — будто сидела с миссис Рэмзи на берегу.

Это лодка? Это пробка? — спросила миссис Рэмзи. И принялась нашаривать очки. Нашла и уже молча сидела, смотрела на море. А Лили продолжала писать, и было так, будто открыли двери и впустили ее под высокие своды собора, очень темного, очень торжественного, и она там стояла и озиралась. Откуда-то из дальнего мира летели крики. Корабли растворялись у горизонта в дымных столбах. Чарльз пускал камешки вскачь по волнам.

Миссис Рэмзи сидела молча. Она, Лили думала, рада была помолчать сама по себе; отдохнуть посреди сутолоки и неразберихи человеческих отношений. Кто знает, кто мы? Что чувствуем? Кто знает, даже в минуту близости: так это знание и есть? И не портим ли мы, так спрашивала, наверное, миссис Рэмзи (и часто, кажется, перепадали эти минуты молчания), не портим ли все, вслух его называя? Не лучше ли так-то вот помолчать? Во всяком случае, мгновение было, по-видимому, исключительно важным. Она вырыла ямку в песке и прикрыла, как бы погребая совершенство мгновения. Оно и осталось — серебряной каплей, и мрак прошедшего озаряется, едва с нею соприкоснется.

Лили отступила — проверить перспективу. Вот так! Странная это дорога — живопись. Идешь, идешь по ней дальше, дальше, пока не очутишься на узенькой планке, совершенно одиноко, над морем. И — окунаешь в синее кисть, а сама окунаешься в прошлое. Потом, она вспомнила, миссис Рэмзи встала. Пора было домой завтракать. И все потянулись по берегу, и Лили шла сзади с Уильямом Бэнксом, а впереди шла Минта в дырявом чулке. Как назойливо красовалась у них перед носом эта дырка на розовой пятке! Как терзался из-за нее Уильям Бэнкс, хоть ни словом, помнится, не охарактеризовал ее. Для него эта дырка была опровержением женственности, воплощала беспорядок и грязь, не застланные до обеда постели, требующую расчета прислугу — все, чего он решительно не выносил. У него была манера — передергивать плечами и растопыривать пальцы, как бы заслоняя неприглядный предмет, что он сейчас и продельвал. А Минта шла себе впереди, и, кажется, ее встретил Пол, и они вместе исчезли в саду.

Рэйли! — думала Лили, выжимая из тюбика зеленую краску. Она собирала свои впечатления от этой четы. Их жизнь ей являлась в серии сцен; одна — на рассвете, на лестнице. Пол пришел рано и улегся в постель; Минта запоздала. Вот Минта, накрашенная, разряженная, в каком-то венке, стоит на лестнице в три часа ночи. Пол выскочил из постели в пижаме. В руке кочерга — на случай воров. Минта жует бутерброд, стоя на лестнице возле окна в мертвящем предугреннем свете, и зияет дыра на ковре. Но что тогда говорилось? — гадала Лили, будто, вглядываясь, можно услышать слова. Ужасно. Он говорит, а Минта назло жует бутерброд. Он кидает ей что-то злое, ревнивое, грубое, но вполголоса, чтоб не проснулись дети, двое мальчиков. Он — осунувшийся, погасший; она — ослепительная, равнодушная. Чуть не в первый же год все разладилось; семейного счастья не вышло.

Вот так, думала Лили, набирая на кисть зеленую краску, сочиняем за людей подобные сценки, и это у нас называется их «помнить», «знать» и «любить». Тут ни слова нет верного; все сама сочинила; но ведь именно это ей про них и известно. Она, как по штольне шла, углублялась в свою работу и в прошлое.

Еще Пол как-то сказал, что «играет в шахматы по кофейням». И на этой фразе она тоже многое понастроила. Она вспомнила, что сразу тогда вообразила, как он звонит горничной, и та говорит «миссис Рэйли нет дома, сэр», и он тоже решает уйти. Вообразила, как он сидит в углу в кошмарном заведении, где дым въелся в красный плюш кресел, где подавальщицы вас знают в лицо, и играет в шахматы с низеньким из Сербитона, который чаем торгует, и больше Полу о нем ничего не известно. А когда он приходит домой, Минты все еще нет. И тогда разразилась та сцена на лестнице, и он схватил кочергу на случай воров (разумеется, чтоб ее поугагать) и надрывно твердил, что она ему исковеркала жизнь. Во всяком случае, когда она гостила у них на той даче под Рикмансвортом, отношения были ужасно натянутые. Пол поволок ее в сад показывать своих бельгийских зайцев, и Минта увязалась за ними, насвистывая и обняв его голой рукой за плечо, чтоб чего не сболтнул.

Минта, подозревала Лили, этих зайцев терпеть не могла. Но уж она-то

не ляпала лишнего. Никаких таких «шахмат по кофейням». Себе на уме. Но — продолжая историю Рэйли — теперь они благополучно миновали опасный период. Она гостила у них прошлым летом, и сломалась машина, и Минта подавала ему инструмент. Он сидел на обочине, чинил машину, и по тому, как Минта подавала ему инструмент — деловито, дружески, просто, — ясно было, что у них все в порядке. Уже не «влюбленность»; нет; он завел другую женщину, серьезную, с пучком и с портфелем (Минта ее живописала сочувственно, чуть не в восторженных красках), которая ходит с Полом по митингам и разделяет его воззрения (они делаются все определенной) относительно налогов на капитал и землевладение. Связь отнюдь не разрушила брака, но навела в нем порядок. Видно было, когда он сидел на обочине, а она подавала ему инструмент, что они большие друзья.

Вот вам история Рэйли. Лили улыбалась. Она представляла себе, как рассказывает ее миссис Рэмзи, которой любопытно бы было узнать, что с ними стало. Она не без торжества сообщила бы миссис Рэмзи, что брак оказался не слишком удачным.

Но мертвые, подумала Лили, наткнувшись на помеху в работе, остановясь, призадумавшись, отступая на шаг-другой. Ох эти мертвые! — пробормотала она. Их жалеешь, их отмечаешь, их даже презираешь чуть-чуть. Они отданы нам на милость. Миссис Рэмзи поблекла, истаяла. Мы можем плевать на ее желанья, разбивать ограниченные, старомодные взгляды, пока от них ничего не останется. Она все дальше и дальше от нас отходит. Там, в конце долгого коридора лет, сидит, смешная, и о чем же толкует? «Замуж, замуж!» (Очень прямо сидит, и утро уже, и птицы в саду за окном начинают чирикать.) А ведь можно ответить: «Все не по-вашему вышло. Они так нашли свое счастье; я — так. Жизнь теперь уж не та». И вся она со всей своей красотой вдруг показалась стародавней и пыльной. Подводя итог судьбе Рэйли, стоя на припеке, Лили вдруг почувствовала свое преимущество перед миссис Рэмзи, которой никогда не узнать, что Пол играет в шахматы по кофейням и завел любовницу; и как он сидел на обочине, а Минта подавала ему инструмент; а сама она вот стоит на лужке у мольберта и вовсе не вышла замуж, даже за Уильяма Бэнкса.

Миссис Рэмзи это затевала. Возможно, останься она в живых, она добилась бы своего. В то лето он вдруг оказался «добрейшим человеком». Оказался «первейшим ученым в своем поколении, муж говорит». Но он же был и «бедный Уильям — я так расстраиваюсь, когда его навещаю, в доме никакого уюта, цветы как попало стоят». И вот их посылали гулять парочкой, и ей сообщали с тем легким ироническим призывком, который делал миссис Рэмзи неуязвимой, что у нее научный склад ума; что она любит цветы; и она-де удивительно аккуратна. И что за мания вечно сватать? — думала Лили, то отступая, то приближаясь к мольберту.

(Вдруг, так внезапно, как срывается в небе звезда, в мозгу у нее вспыхнул красный свет, окутавший Пола Рэйли, от него исходящий. Взвился, как огонь, зажженный дикарями на дальнем острове в честь какого-то их торжества. И были грохот и треск. И все море расколыхалось багрянцем и золотом. И винный дух от него поднялся, и дурманил, и снова толкал очерта голову кинуться со скалы и погнубить в поисках брошки. И от грохота, от треска сердце у нее сжалось омерзением и ужасом, будто, глядя на великолепие, роскошь, она сразу увидела расхищенье казны, недостойное, жадное, и стало нехорошо на душе. Но силой и великолепием то зрелище превосходило все, что ей доводилось видеть, и выжглось в памяти, как сигнал дикарей на пустынном, затерянном берегу, и стоило кому-то при ней сказать «влюблен», сразу же, вот как сейчас, загорался огонь Пола Рэйли. И гас. И она говорила себе, усмехаясь: «Эти Рэйли»; и вспоминала про шахматы по кофейням.)

Сама она тогда чудом убереглась. Глянула на скатерть, и ее осенило, что нужно передвинуть дерево ближе к центру, а вовсе не замуж выходить, и она же тогда просто возликовала. Она тогда поняла, что не спасует перед миссис Рэмзи, отдавая должное поразительной власти, которую миссис Рэмзи имела над человеком. Сделай это, она говорила, — и человек это делал. Властительна даже тень ее с Джеймсом в окне. Она вспомнила, как Уильям Бэнкс тогда чуть ее не убил за легкомысленное отношение к сцене: мать и дитя. Спрашивал —

неужто ее не восхищает их красота? Уильям Бэнкс, она вспомнила, смотрел на нее мудрым взглядом ребенка, пока она толковала, что вовсе тут нет непочтительности; что свет здесь — требует тени там, и так далее. У нее и в мыслях не было небрежничать с темой, которую, они согласились, божественно трактовал Рафаэль. Ничуть она не цинична. Напротив. И со своим научным образом мыслей он ведь все понял, что и доказывало бескорыстие ума, которое безмерно ее поддерживало, безмерно утешило. Оказалось, с мужчиной можно всерьез говорить о живописи. Право же, дружба с Уильямом Бэнксом ей заметно скрасила жизнь. Прелестный человек Уильям Бэнкс.

Они бродили по Хэмптон-Корту, и, безупречнейший джентльмен, он предусмотрительно отправлялся бродить вдоль реки, чтоб она могла не спеша помыть руки. Характерная для их отношений черточка. Много не происходило. И они бродили вокруг замка, лето за летом восторгались пропорциями и клумбами, и он говорил ей разные вещи про перспективу и архитектуру и замирал, устремив на дерево, пруд, ребенка (он все горевал, что у него дочери нет) отвлеченный, отуманенный взгляд, естественный для того, кто не вылезает из лаборатории, кого мир слепит, и он ходил очень медленно, заслоня глаза рукой, и останавливался, и запрокидывал голову, и жадно вбирал воздух. А потом говорил, что отпустил экономку в отпуск; и ему надо покупать новую дорожку на лестницу. Не составит ли она ему компанию, когда он пойдет покупать новую дорожку? А как-то раз, заведя разговор о миссис Рэмзи, он сказал, что когда он впервые увидел ее, на ней была серая шляпа; ей было тогда лет девятнадцать — двадцать, не больше. Ошеломляюще была хороша. И он кинул взглядом вдоль аллеи Хэмптон-Корта, словно вот сейчас меж фонтанов он увидит ее.

Она глянула на ступеньки под окном гостиной. Увидела — глазами Уильяма — образ женщины, спокойной, тихой, с опущенным взором. Сидит задумавшись, размышляя (она была в сером в тот день). Опустила глаза. Не поднимет. Да, думала Лили, старательно глядяваясь, такой я и видела ее, но не в сером; и менее тихой, спокойной; не юной. Образ готовно представился взгляду. Уильям говорил — ошеломляюще была хороша. Но красота ведь еще не все. С этой красотой морока — уж слишком готовно, слишком законченной она открывается взгляду. Она сковывает, она замораживает жизнь. И забываешь про трепет, вспышку румянца, внезапную бледность, свет, тень, незаметные такие подрагиванья, которые на миг до неузнаваемости меняют лицо, но что-то новое открывают в чертах, что навеки въедается в память. Куда как проще все стереть и сровнять под паволокой красоты. Но с каким лицом, гадала Лили, она нахлобучивала войлочную шляпу, бежала в галошах по росе, распекала садовника Кеннеди? Кто знает? Кто скажет?

Против воли она очнулась, очухалась, спохватилась, что уже она вне картины и слегка ошарашенно, как на нереальный предмет, смотрит на мистера Кармайкла. Он лежал в шезлонге, сплетя на брюшке руки, и не читал и не спал, просто нежился — переполненное жизнью созданье. Книга свалилась в траву.

Ей захотелось подойти к нему вплотную и окликнуть: «Мистер Кармайкл!» И он добродушно вскинул бы свой дымный, зелено-облачный взор. Но людей будишь тогда, когда знаешь, что им сказать. А она не что-то одно хотела сказать — все сразу. Словечками этими, которые кромсают, кургузят мысль, ничего ты не скажешь. «О жизни, о смерти, о миссис Рэмзи»... Нет, она думала, ничего ты не скажешь и никому. Припирает безотлагательная необходимость — и говоришь, и выходит не то. Слова несет вкось, мимо цели. И — сдаешься; мысль тонет; и стоишь, далеко не молодая особа, настороженная, скрытная, с морщинками на переносице, с опасливым взглядом. Ну как в словах передать ощущения тела? Передать пустоту вот там (она смотрела на ступеньки под окном гостиной; они были страшно пусты). Это ведь понимаешь телом, не головой. От одного вида этих ступенек ей вдруг стало физически тошно. Мучила неосуществимость желанья. Хотеть невозможного, хотеть и хотеть — да от этого заходится и переворачивается сердце! Ох, миссис Рэмзи! — взывала она без слов к существу, сидевшему подле лодки, ставшему отвлеченностью, к этой женщине в сером, будто обвиняя в том, что ушла, и в том, что, уйдя, воротилась. О ней

так спокойно думалось. Ничто, дух, пустота, которой можно безопасно играть дено и ночью, — вот что она стала такое и вдруг протягивает руку и переворачивает тебе сердце. И пустые ступеньки гостиной, бахрома кресел внутри, шариком выкатившийся на террасу щенок, кипенье и пенье сада превращаются в завитки и виньетки вокруг совершеннейшей пустоты.

Что с нами происходит? что вы на это скажете? — снова захотелось ей спросить у мистера Кармайкла. Весь мир как растекся в этот ранний утренний час — прудом мысли, глубоким водоемом реальности, и казалось — если мистер Кармайкл заговорит, трещина тронет поверхность пруда. И что тогда? Что-то вынырнет, что-то покажется. Вскинетя рука, сверкнет клинок. Все это глупость, конечно.

Забавная мысль пришла в голову, что он услышал-таки все, чего она не сумела сказать. Непроницаемый старикан со своими этими пятнами на бороде, со своими стихами, загадками, безмятежно плывущий по свету, который исполняет все его прихоти так, что кажется — стоит ему опустить руку, лежа сейчас на лужке, и он выудит из травы все, что душе угодно. Она вгляделась в картину. Да, таков, вероятно, был бы его ответ: «вы», «я», «она» — все пройдет; ничего не останется; все поблекнет; только не слова и не краски. Но на чердаке же повесят, она подумала; скатают и заткнут под диван; но — неважно — даже и про такую картину — все правда. Даже про такую мазню, ну, не про получившуюся картину, про замысел, можно сказать «это навеки останется»; так было она и сказала себе или — высказанные слова ее испугали самонадеянностью — так бы и решила без слов, когда, глянув на картину, вдруг с удивлением обнаружила, что не видит ее. Глаза наполнила горячая влага (не сразу подумалось о слезах) и, не мешая твердости губ, застлала зрение туманом и пролилась по щекам. Вообще-то она владеет собой — о да! — в остальном она владеет собой. Неужто она рыдает по миссис Рэмзи, сама не сознавая горя? Снова она мысленно метнулась к мистеру Кармайклу. Что происходит? Что с нами происходит? Неужто тут никуда не денешься? И вскидывается рука; клинок — режет; кулак — разит? И нет спасенья? И пути провидения не утвердить наизусть? И ни вожатая, ни прибежища нет, только чудо, с вершины башни срывающееся в высоту? Неужто — даже на склоне дней — это и есть жизнь — удивительная, неожиданная и неведомая? На миг один ей показалось, что встань они оба вот тут, на лужке, потребуй они объяснения, отчего она так скоротечна, отчего так немислима, потребуй они объяснения неотступно, как власть имеющие, от которых нельзя ничего утаить, — и красота раскроется, пространство заполнится, пустынные завитушки сложатся в образ; стоит только крикнуть погромче, и миссис Рэмзи окажется тут.

— Миссис Рэмзи! — сказала она вслух. — Миссис Рэмзи!  
Слезы катились у нее по лицу.

## 6

[Макалистер-внук взял одну рыбу и вырезал у нее из бока кусок — для наживки. Изувеченное тело (еще живое) он бросил обратно в море.]

## 7

— Миссис Рэмзи! — надрывалась Лили. — Миссис Рэмзи!

Но ничего не произошло. Тоска набухала. До какого idiotизма эта попытка может довести человека! Старик меж тем ничего не слышал. Все тот же, блаженный, спокойный — если угодно так думать, возвышенный. Слава благим небесам, никто не слышал ее постыдного вопля: уймись ты, уймись, боль! Значит, она не окончательно выглядит умалишенной. Никто не заметил, как с хлипкой своей планки она шагнула в воды уничтожения. Вот — стоит себе чахлая старая дева с кистью в руке на краю лужка.

И постепенно отпустили боль и досада (быть вытребованной назад, как раз когда она думала, что избавилась от миссис Рэмзи, что ей не придется больше о ней тужить. Тосковала она по ней среди кофейных чашек за завтраком? Да нисколько!), отпустили боль и досада, что само по себе — бальзам, но вдобавок таинственным образом ощущалось чье-то присутствие: миссис Рэмзи, сбросив на

нее возложенный груз, невесомо стояла рядом и потом (ведь это была миссис Рэмзи во всем сиянье своей красоты) надела венок из белых цветов и ушла. Лили снова схватилась за тюбики. Надо было атаковать неприступную изгородь. Поразительно, как ясно видела она миссис Рэмзи, обычной своей устремленной поступью уходившую по плавным полям, исчезая в их складчатой нежной лиловости, среди гиацинтов и лилий. А все — уловки профессионального зрения. Долго после того как узнала о ее смерти, Лили так ее видела — она надевала венки и вместе с конвойным, с тенью, неоспоримо шла по полям. Зрительный образ, фраза имеют власть утешать. Где бы ни писала она, здесь ли, еще где-то на воле, в Лондоне, — к ней являлось это виденье, и глаз, сощурясь, всюду искал подспорья. Нырлял в глубину вагона, автобуса; хватывал линию шеи, окат виска; хватывал окна напротив, ночные огни Пикадилли, прошивающие темноту. Все было частью этих смертных полей. Но всегда что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, выкликающий «Стандарт» и «Ньюс», — отрезвляло, мешало, будило, требовало и добывалось усилием внимания, и видение приходилось без конца подновлять. Вот и сейчас, уступая потребности глаза в шири и сини, она смотрела на бухту и синие полосы волн превращала в холмы и в застывшее поле — лиловеющие прогалы. И опять, как всегда, глаз наткнулся на несообразность. На середине бухты торчала темная точка. Лодка. Да, уже в следующую секунду она это поняла. Лодка — но чья? Мистера Рэмзи, ответила она себе. Мистера Рэмзи; человека, который прошествовал мимо с приветственным взмахом руки, отрешенно, возглавляя процессию, в своих несравненных ботинках; который от нее домогался сочувствия, а она отказала. Лодка была уже на середине бухты.

Очень ясное было утро, несмотря на изредка налетавший ветер, и небо и море совершенно слились, и паруса высоко проплывали по небу, и купались в воде купола облаков. Пароход далеко-далеко выпустил дымный свиток, и он декоративно петлился и вился по сини, словно по тоненькой кисее, на которой все выткано и тихо вместе с нею колышется. И, как часто случается в особенно ясные дни, скалы будто помнили о пароходах, и пароходы знали о скалах, и они сигналами передавали друг другу свою какую-то тайную весть. И, порой подступавший к самому берегу, маяк сегодня таял в невысказанной дали.

— И где они теперь? — думала Лили, глядя на бухту. Где-то он сейчас, тот самый старик, который молча прошествовал мимо со свертком в оберточной бумаге под мышкой? Лодка была на середине бухты.

## 8

Ничегошеньки-то они там не чувствуют, думала Кэм, глядя на берег, который, подымаясь и опадая, делался все более дальним и мирным. Рука прорезала след по воде, а воображение сочиняло из зеленых вихрей и линий узоры и вводило оторопелую, онемелую Кэм в подводное царство, где зыблется жемчугом гроздь пены, где, пропитавшись зеленым светом, у вас изменяется вся душа и призрачное тело сквозит под зеленым плащом.

Но вот вихрь вокруг ее ладони унялся. Вода затихла; весь мир наполнился скрипом и писком. Волны бились о борта лодки так, будто она стала на якорь. Все как-то странно на вас надвигалось. Парус, от которого Джеймс не отрывал глаз так, что он сделался ему ближе любого знакомого, совершенно провис; они стали, и покачивались, и ждали бриза под палящим солнцем, в жуткой дали от берега, в жуткой дали от маяка. Все на свете застыло. Маяк стоял неподвижно, и четко вытянулась черта далекого берега. Солнце пекло все нещадней, и всех будто толкнуло друг к другу, и каждому пришлось вспомнить о почти позабытом присутствии остальных. Леса Макалистера отвесно ушла в воду. А мистер Рэмзи читал себе, поджав и сплетя ноги.

Он читал маленькую блестящую книжку в пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Они томились в этом кошмарном безветрии, а он спокойно листал страницы. И, Джеймс чувствовал, каждая страница листалась особенным, ему адресованным жестом: то упрямым, то повелительным; то в расчете на жалость; и все время, пока отец читал и одну за другой листал маленькие страницы, Джеймс боялся, что вот он вскинет взгляд и что-то скажет ему резким тоном.

Отчего они тут застряли, он может спросить, или подобную же нелепость. И если он скажет такое, Джеймс думал, — он схватит нож и вонзит ему в грудь.

В нем давно жила эта метафора — взять нож и вонзить в отцовскую грудь. Но сейчас, взрослый, глядя в бессильной ярости на отца, уже не этого старика над книжкой он хотел убить, но то, что на него опускалось, может быть, без его ведома: страшную чернокрылую гарпию с жесткими ледяными когтями и клювом, который бьет тебя, бьет (он еще помнил давний холод этого клюва на своей детской голой ноге), а потом улетает гарпия, и вот он снова — старик, очень, очень печальный, сидит и читает книжку. Вот кого надо убить, вот кого надо пронзить в самое сердце. Чем бы он ни занялся (а он чем угодно может заняться, он чувствовал, глядя на дальний берег и на маяк) — в банке будет служить, в конторе ли, адвокатом станет или главой предприятия, — он всегда будет преследовать, выслеживать и вытравливать тиранию и деспотизм, вот как это у него называется, когда людей заставляют делать то, чего они не хотят, когда их лишают права голоса. Ну как скажешь «не хочу», если он заявляет «отправляйся со мной на маяк, делай то, принеси мне се». Распластываются черные крылья, железный клюв бьет. А в следующую секунду он уже сидит и читает книжку; и может поднять от нее — разве с ним угадаешь? — совершенно разумный взгляд. Он может разговаривать с Макалистерами. Может совать золотой в заскорузлую ладонь старой уличной попрошайки; может орать в голос, глядя на игрища рыбаков; руками размахивать от возбуждения. Или в мертвом молчании просидеть за столом от начала и до конца ужина. Да, думал Джеймс, пока лодка барахталась и плескалась на солнцепеке; ест снежная целина, одинокий, суровый утес; и — в последнее время ему стало сдаваться, когда отец что-то брякал, к изумлению остальных, — лишь две пары следов на этом снегу: его собственные следы и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Но откуда же этот ужас и ненависть? Роясь в пластах листвы, которой время выстлало душу, заглядывая в непрорубную чашу, где все затушевано и искажено мельканием солнца и тени, где пробираешься наугад, ослепленный то светом, то тьмой, он отыскивал живой зрительный образ, чтоб остудить, прояснить и собрать свои чувства. Положим, сидя ребенком в колясочке или у кого-нибудь на коленях, он увидел, как кому-то на ногу ненароком наехал безвинный фургон. И он увидел гладкую, целую ногу в траве; потом — колесо; и — ту же ногу, искромсанную и красную. Но колесо — безвинно. Вот и теперь, когда отец ни свет ни заря, протопав по коридору, вырывает их из постели ради своей экспедиции на маяк, — это ведь колесо давит ногу ему, Кэм, чью угодно еще. И остается сидеть и смотреть.

Да, но о чьей же ноге он думал и в каком это было саду? Были у сцен декорации; были деревья; цветы; определенное освещение; действующие лица. Все разыгрывалось готовней в саду, где не было этой насупленности, этой жесткости; и разговаривали спокойно, вполголоса. Весь день входили и выходили. Старушка болтала на кухне; и шторы засасывал и потом выталкивал ветер; все вздувалось; цвело; и на тарелки и чашки, на желтые и пунцовые розы, долгоствольные и раскачивающиеся, к ночи тонкая, как виноградный листок, натягивалась желтая пелена. Все к ночи темнело, затихало. Но листоподобная пелена так тонка, что колышется от свечей, морщится от голосов; и снговз нее видна склоненная голова, слышно то близкое, то дальнее шуршание платья, позвякивание цепочки.

И вот в этом-то мире колесо раздавило человеку ногу. Что-то, он помнил, встало над ним; застило свет; не уходило; и что-то взметнулось, прорезало воздух, что-то острое, твердое — клинок, ятаган — прошлось по листве, по цветам даже этого блаженного мира, и все засохло, опало.

— Будет дождь, — он помнил, сказал отец. — Выбраться на маяк не удастся.

Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и тихо открывался по вечерам. А теперь...

Джеймс посмотрел на маяк. Увидел добела отмытые скалы; башню, застывшую, голую; увидел белые и черные перекрытия; увидел окна; даже бельё разглядел, разложенное для просушки на скалах. Значит, вот он какой — маяк?

Нет, тот, прежний, был тоже маяк. Ничто не остается только собою. Прежний — тоже маяк. Едва различимый порою за далью бухты. И глаз открывался

и закрывался, и свет, казалось, добирался до них, в наполненный солнцем и воздухом вечеряющий сад.

Но он одернул себя. Стоило ему сказать «они» или «кто-то», услышать близкое шуршание платья, дальнейшее позвякивание цепочки, он начинал остро чувствовать присутствие того, кто случился рядом. Сейчас это был отец. Напряжение делалось невыносимым. Ведь минуту еще не будет бриза — и отец захлопнет книжку и скажет: «Что такое? Почему мы тут валандаемся, а?» — как однажды уже он всадил между ними свой клинок на террасе, и она вся застыла, и будь тогда под рукой у Джеймса топор, нож, что угодно острое, он вонзил бы его в отцовскую грудь. Она тогда вся застыла, и потом рука ее стала вялой, и он понял, что она его больше не слушает, и она встала, ушла, и он остался один, жалкий, беспомощный, по-идиотски сжимая ножницы.

Не было ни ветерка. Вода урчала и фыркала на дне лодки, и несколько скумбрий бились в мелкой, не покрывавшей их луже. В любую минуту мистер Рэмзи (Джеймс на него боялся взглянуть) мог встать, захлопнуть книжку и сказать что-нибудь резкое; но покамест он читал, и Джеймс украдкой, как босиком крадешься по лестнице, боясь скрипом половицы разбудить сторожевого пса, вспоминал, какая она была и куда подевалась в тот день. Он слонялся за нею из комнаты в комнату, наконец они очутились в такой комнате, всей синей от множества фарфоровых блюд, и она говорила с кем-то; он слушал; она говорила с прислугой; говорила все что взбредет на ум. «Нам синее блюдо сегодня понадобится. Где оно — наше большое блюдо?» Она одна говорила правду; ей одной он мог сказать правду. Вот в чем, наверно, секрет его не оставшей привязанности; она была человеком, которому можно сказать все что взбредет на ум. Но все время, пока он про нее думал, отец — он чувствовал — преследовал его мысль, и мысль спотыкалась и путалась.

И он перестал думать; сидел, держа руку на румпеле, под пеклом, неотрывно смотрел на маяк и не мог шелохнуться, не мог смахнуть эти зерна печали, которые одно за другим оседали в душе. Будто его связали канатом, и отец затянул узел, и вырваться можно, только если взять нож и... Но тут парус медленно повернулся, поймал ветер, вздулся, лодка встряхнулась, сонно качнулась, очнулась ото сна и понеслась по волнам. Сразу всем немисливо полегчало. Их будто отбросило друг от друга, каждый снова был преспокойно сам по себе, и лесы туго и косо тянулись от борта. Но отец так и не встал. Только загадочно высоко вскинул правую руку и опять уронил на колено, будто дирижировал тайной симфонией.

## 9

(Море без единого пятнышка, думала Лили Бриско, глядя и глядя на бухту. Оно синим шелком натянулось на бухту. У дали странная власть; вот — проглотила их, думала Лили, канули навсегда, растворились в сути вещей. Все так спокойно; так тихо. Пароход исчез, но большой дымный свиток еще струился по сини и никнул, прощаясь, как граурный стяг.)

## 10

Так вот он какой, остров, думала Кэм, снова прочесывая пальцами воду. Она никогда еще его не видела с моря. Вот, оказывается, как он улегся на воду, с выбоинной посередине и двумя зубчатыми скалами, и волны несутся к нему и разбегаются на мили и мили кругом. Он совсем крохотный; как листик, стоящий торчком. И вот мы взяли лодочку, она думала, уже сочиняя историю о спасении с гонущего корабля. Но вода сеялась у нее сквозь пальцы, убегали под лодку струи водорослей, и ей не хотелось сочинять эту историю дальше; хотелось просто дышать ветром воли и приключений, потому что лодка неслась, а она думала про то, как отцовское раздражение по поводу стран света, настойчивость Джеймса по поводу договора, ее собственное малодушие — все исчезло, прошло, унеслось на волнах. Что же дальше? Куда нас мчит? От руки, глубоко засунутой в воду и оледеневшей, до самого сердца фонтаном стрельнула радость: перемена, приключение, бегство (я живая, вот она я!). И брызги радостного фонтана падали на смутное, неопознанное, дремотно ворочавшееся у нее в

голове; и оно озарялось во тьме. Греция, Рим, Константинополь. Какой-никакой, крохотный, как листик, обмакнутый стеблем в золотое марево вод, — он ведь тоже, значит, имеет свое назначение во вселенной, этот маленький остров? Уж они бы ей объяснили — те старые господа в кабинете. Иной раз она нарочно забредала из сада, чтоб застать их врасплох. Сидели (мистер Кармайкл и, наверное, мистер Бэнкс, оба старые и сухие) друг против друга в креслах. Хрустели страницами «Таймса», когда она забредала из сада, поглощенные неразберихой: кто и что сказал про Христа; и на улице Лондона выкопан мамонт; и каков он — великий Наполеон? Потом они все собирали чисто вымытыми руками (оба в сером всегда; пахли вереском), воссоединяли клочки, переворачивали страницы, закидывали ногу на ногу, рожали одно-другое словцо. Зачарованная, она брала с полки книгу и стояла, глядя на отца, который так аккуратно, так ровно исписывал страницы от края до края и вдруг легонько покашливал или говорил что-нибудь старому господину напротив. И, стоя с открытой книгой в руках, она думала — вот как листик в воде, так и мысль распускается здесь, и если тебе думается легко здесь, среди старых господ, которые курят трубки, похрустывают страницами «Таймса», значит, все, что ты думаешь, — правда. И видя отца, писавшего у себя в кабинете, она думала (вот сейчас, сидя в лодке) — он лучше всех на свете, он самый умный; и никакой он не суетный и он не тиран. Наоборот, когда он ее видел над книгой, он очень ласково спрашивал, не нужна ли ей его помощь.

Боясь, как бы все это не оказалось неправдой, она посмотрела на отца, склонившегося над маленькой книжечкой в блестящем, пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Нет. Все правда. Ну посмотри ты на него, хотелось ей сказать Джеймсу (Джеймс не отрывал глаз от паруса). Он ядовито попирает чужое достоинство, говорил Джеймс. Вечно переводит разговор на себя и свои книги, говорил Джеймс. Невыносимый эгоист. И — главное — он тиран. Ну посмотри, думала она, глядя на отца. Ну посмотри ты на него. Она смотрела, как он читает эту книжечку, поджав под себя ноги; книжечку, желтоватые страницы которой она знает, хоть не знает, что там написано. Она маленькая; с убористой печатью; на форзаце, она знает, он записал, что потратил пятьдесят франков на ужин; вино — столько-то; столько-то официанту; все аккуратно столбиком сложено внизу страницы. А что написано в книжечке, у которой углы затупились в его кармане, она не знает. О чем он думает, не знает никто. Но он в это так углублен, что если поднимет глаза — вот как сейчас, — то не для того, чтоб на что-то взглянуть; а для того, чтоб вернее ухватить свою мысль. И — снова проваливается в чтение. Он читает, она думала, так, будто кому-то показывает дорогу, или увещевает огромное стадо овец, или пробирается в гору все выше и выше по узенькой тропке; а то вдруг шагает быстро, напролом через заросли, и, часто ей казалось, вот ветка хлестнула его по лицу, ослепила колючая ветка, а он не сдается, идет и идет, перебрасывая страницы. И Кэм сочиняла дальше историю о спасении с тонущего корабля, ведь, сидя тут, она была в безопасности; как тогда в безопасности, когда прокрадывалась из сада, брала с полки книгу, а кто-нибудь из старичков вдруг приспускал газету и ронял одно-другое словцо о характере Наполеона.

Она смотрела назад, на море, на остров. Листик утрачивал остроту очертаний. Стал очень маленьким, очень далеким. Уже море было важнее берега. Волны кругом ходили и падали, и на одной плясало бревно; на другой качалась чайка. Вот тут где-то, она подумала, обмакнув пальцы в воду, они потонули в бурю, и мечтательно, сонно она прошептала — мы гибли, каждый один.

## 11

Как же много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море — почти без единого пятнышка и такое тихое, что лодки и облака будто застыли в лазури, — как же много зависит, она думала, от расстояния: близко ли от тебя человек или он далеко. Ее отношение к мистеру Рэмзи менялось, куда он дальше и дальше плыл через бухту. Как-то разрежалось, растягивалось; он становился более и более дальним. Его и детей как заглотнула лазурь, заглотнул простор; а тут совсем рядышком на лужке вдруг крикнул мистер Кармайкл. Она засмея-

лась. Он выуживал из травы свою книгу. Снова устраивался в шезлонге, пыхтя, отдуваясь, как морское чудище. Совершенно другое дело, когда человек у тебя под боком. И снова все стихло. Там должны бы уж встать: пожалуй, пора, сообщила она, и взглянула на дом, и никого не увидела. Ах да, она вспомнила, они же всегда сразу, позавтракав, разбредались по своим надобностям. Все было в согласии с тишиной, пустотой, нереальностью раннего часа. Так бывает, думала она, оглядывая высокие посверкивающие окна и сизое веянье дыма: все становится нереальным. Когда возвращаешься после отъезда или после болезни, пока еще не оплела своей сетью привычка, — так же все нереально, так же ново и поражает; будто рождается что-то. И жизнь необычайно свежа. И редкое ощущение свободы. Слава Богу, не надо бодро бодро щебетать, поспешая через лужок навстречу старой миссис Бекунт, которая высматривает для себя уютный уголок: «Ах, с добрым утром, миссис Бекунт! Прелестная погода, не правда ли? Значит, вы отважно решились посидеть на солнышке? И куда это Джеспер задевал стулья? Сейчас я найду вам и принесу! Вы позволите?» — и прочее в том же роде. Можно просто молчать. Скользить, расправив паруса (бухта оживлялась, лодки то и дело отчаливали), среди всего и — мимо, мимо. И ты не в пустоте, а в чем-то, наполненном до краев. Она словно по горло стояла в чем-то, и двигалась, и плыла, и тонула, да, потому что безмерно глубоки эти воды. Столько жизней в них пролилось. Жизнь миссис Рэмзи; детей; и еще бесконечная всякая всячина. Прачка с корзиной; грачи; кусты факельных лилий; лиловость и матовая зелень цветов; и общее чувство, на котором все это держалось.

Вот похожее чувство — завершенности, что ли, — десять лет назад на этом самом краю лужка толкало ее говорить, что она влюблена в это место. У любви ведь бездна обличей. И должны быть такие любящие, чей талант — выделять элементы вещей, и соединять, и, наделив не присущей им цельностью, из разных сценок, из встреч разных людей (и все это прошло, никого уже нет, все разрозненны) создавать то единое, круглое, к чему тянется мысль, чем играет любовь.

Она поискала глазами темную точку — лодку мистера Рэмзи. Доберутся, надо думать, к обеду до маяка. Но свежел ветер, небо чуть-чуть изменилось, море чуть-чуть изменилось, лодки иначе накренились, и вид, за миг до того удивлявший таинственной закрепленностью, сразу погас. Ветер развеял дымный свиток; чем-то неприятным отдавало расположение судов.

От этой диспропорции стало нехорошо на душе. Ее точило сомнение. И подтвердилось, когда она перевела взгляд на холст. Она впустую угробила утро. Почему-то такое она не сумела уравновесить две противоборствующие силы: мистера Рэмзи и свою картину; вот ничего и не вышло; нет, не вышло. В рисунке, что ли, просчет? И линию стены надо бы чем-то прервать, или слишком давят массой дерева? Она иронически усмехнулась; а ведь считала, что решение найдено.

Решение! Какое там решение! Надо именно то ухватить, что от тебя ускользает. Ускользает, пока думаешь про миссис Рэмзи; ускользает, когда думаешь о картине. Вергаются фразы. Виденья. Красивые фразы. А ухватить надо — вот: само это трепетание нервов; и то, что еще не застыло в форме и непредставимо пока, — передать. Брось все и начни сначала; брось все и начни сначала, решала она отчаянно, снова замирая перед мольбертом. Жалкая машина, негодная машина, она думала, — человеческое приспособление для писанья картин, для чувств; вечно в критическую минуту отказывает; вот героически и заводи ее снова. Она недовольно оглядела холст. Да, там изгородь, кто же спорит. Но нахрапом ничего не возьмешь. Только слепящие точки в глазах, если тупо смотреть на стену или твердить: на ней была серая шляпа. Поразительно была хороша. Нет уж, пускай само находит, она думала, если найдет. Ведь бывают же такие минуты, когда нет ни мыслей, ни чувств. Но когда нет ни мыслей, ни чувств — где ты тогда?

Здесь, на траве, на земле, она думала, присаживаясь и лаская кистью мелкое поселение подорожников. (Лужок весь зарос.) Да, здесь и обретаешься, в этом мире, она думала, и она не могла отогнать ощущения, что все в это утро происходит в первый раз или, может, в последний, как пассажир у окна, хоть

и клонит его в сон, заставляет себя смотреть, зная, что больше ему никогда не видать проносащегося городка, и тележки с осликом, и женщины, копающейся на огороде. Лужок — это мир; и оба мы — тут, на возвышенном месте, она думала, глядя на старого мистера Кармайкла, который, кажется (хоть не промолвил ни слова), разделял эти мысли. Его мне тоже, может быть, больше никогда не видать. Он старый совсем. А во-вторых, вспомнила Лили, нежно улыбаясь болтающемуся у него на ноге шлепанцу, он же у нас теперь знаменитость. Пишет, говорят, «дивные» стихи. Его сочинения сорокалетней давности откапывают и публикуют. Есть теперь такая знаменитость, именуемая Кармайкл. И она улыбнулась, подумав про то, как много ипостасей у одного человека, и вот он теперь знаменитость в газетах, а здесь все тот же, что и всегда. Так же выглядит — ну, чуть-чуть поседел. Да, он выглядит так же, хоть кто-то, помнится, ей говорил, что когда он услышал о смерти Эндрю Рэмзи (он умер мгновенно от разрыва гранаты; из него вышел бы великий математик), мистер Кармайкл потерял к жизни всякий интерес. В чем же, гадала она, это выражалось? Маршировал он по Трафальгар-сквер, сжимая тяжелую трость? Один у себя на Сент-Джонс-Вуд листал и листал, не читая, книгу? Она не знала, что именно он делал, услышав о смерти Эндрю, но она все это в нем чувствовала. Они только здоровались невнятно на лестнице; смотрели на небо и говорили, что погода будет хорошая; или погода будет плохая. Но и так узнаешь человека: узнаешь общий очерк, не частности; сидишь у себя в саду и видишь гору, сонным склоном уходящую в лиловую вересковую даль. Вот так и она его знала. Знала, что он изменился. Она не читала ни строчки его стихов, но, кажется, знала их тягучую звучность. Густых и спелых стихов. О пустынях, верблюдах. О закатах и пальмах. В высшей степени отвлеченных стихов; в них немного о смерти; и почти ничего о любви. В нем высокая отъединенность; он очень мало нуждается в людях. Как смешно он пытался вечно с газетой под мышкой прощмыгнуть мимо окна гостиной, мимо миссис Рэмзи, которую за что-то он недолюбливал! И потому-то, естественно, она вечно норовила его задержать. Он отвешивал ей поклон. Досадуя, что ему от нее ничего не нужно, миссис Рэмзи спрашивала (Лили так и слышала этот голос), не нужно ли принести ему плед. Плед, газету? Нет, ему ничего не нужно (отвешивался поклон). Что-то в ней было такое, что претило ему. Может быть, властность, наступательность, что-то в ней прозаическое. Эта ее прямота.

(Окно в гостиной вдруг воззвало к ее вниманию, пискнув петлей. С ним заигрывал легкомысленный ветерок.)

Некоторые, конечно, ее просто не выносили, думала Лили. (Да. Ступени перед окном гостиной пусты, она видит, но ей это решительно безразлично. Ей сейчас не нужна миссис Рэмзи.) Считали слишком резкой, самоуверенной. Даже ее красота кой-кого раздражала. Однообразная, говорили, всегда одинаковая! Предпочитали иное — смутность, игру. И с мужем поставил себя не сумела. Допускала его эти выходы. И скрытная чересчур. Никто толком не знал ее прошлого. И (возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии) нельзя себе представить, чтоб миссис Рэмзи битое утро проторчала с кистью в руке над мольбертом, провалялась с книжкою на лужке. Никак нельзя себе представить. Ни слова не сказав, только вооружась своей дежурной корзинкой, она отбывала в городок к беднякам сидеть в какой-то пропахшей лекарствами конуре. Третьяку раз Лили наблюдала, как, ни слова не сказав, вдруг посреди игры, посреди разговора она отбывала с этой корзинкой, очень прямо держась. Лили разглядывала возвращавшуюся миссис Рэмзи и, усмехаясь (уж очень истово руководила она чаепитием) и плавясь (дух захватывает — как хороша), думала — глаза, закрывающиеся в муках, сейчас на тебя смотрели. Ты была с ними там.

А миссис Рэмзи опять уже готова была вскнуться из-за вашего опоздания к столу, из-за несвежего масла, из-за щербинки на чайнике. И все время, пока она распространялась по поводу несвежего масла, вы думали о греческих храмах и о том, что с ними там была красота. Никаких разговоров — просто она брала корзинку и удалялась, очень прямо держась. Ее толкал инстинкт — инстинкт, который ласточек тянет на юг, артишоки к солнцу, безошибочно ее поворачивал к людям, помогал свить в душе у них гнездышко. Но этот инстинкт,

как и другие инстинкты, того, кто ими не наделен, раздражает; мистера Кармайкла, наверное, раздражал; и уж, конечно, Лили. Оба опирались на соображение о тщетности действий, о первенстве мысли. Эти ее уходы им были укором, все на свете переворачивали, и, видя свои исчезающие предубеждения, обоим хотелось упереться, удержать их силком. С Чарльзом Тэнсли та же история; между прочим, еще и поэтому его не любили. Он опрокидывал все ваши понятия о пропорциях. И что-то с ним теперь, думала она, праздно прохаживаясь по подорожнику кистью. Диссертацию защитил. Женится; в Хэмпстеде живет.

Как-то во время войны она зашла в один зал, где он держал речь. Он что-то изобличал; он клеймил кого-то. Проповедовал любовь к ближнему. А она сидела и думала — как может любить себе подобных тот, для кого живописи просто не существует, кто вечно торчал у нее над душой, обкуривая махоркой (экономия на куреве, мисс Бриско!) и считал своим долгом ей разъяснять, что женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером, — и не потому, что таково его убеждение, а потому, что так ему, по непонятным резонам, угодно. Тощий, красный, натужный, он вещал с возвышенья (муравьи суетились среди подорожников, и она ворошила их кистью — красные, энергические муравьи, в общем, похожие на Чарльза Тэнсли). Она иронически смотрела, как он начинает любовью к ближнему полупустой и промозглый зал, и вдруг — закачался, закачался в волнах бочонок, или что это было такое, а миссис Рэмзи нашаривала на галке очечник. «Господи! Вот несчастье! И этот посеяла! Успокойтесь, мистер Тэнсли. Я их каждое лето тысячами теряю». И он вжимает в воротник подбородок — дескать, не может санкционировать подобное преувеличение, но простит, так и быть, той, которую любит, — и улыбается прелестной улыбкой. Он, конечно, ей исповедовался в этих долгих прогулках, когда все разбрелись и возвращались порознь. Он дал воспитание младшей сестре, миссис Рэмзи ей доложила. Что чудно его характеризует. Конечно, у ней у самой о нем превратное представление, решила Лили, теребя подорожник кистью. То и дело составляешь превратные представления о людях. Из собственных тайных расчетов. Чарльз служит ей мальчиком для битья. Отхлестывая его по тощому заду, она на нем вымещает свои настроения. А если серьезно к нему подходить, надо руководиться высказываниями миссис Рэмзи, смотреть на него ее взглядом.

Она возвела холмик — препятствие для муравьев. И повергла тех в ужас и недоумение, смешав всю историю их мирозданья. Одни побежали туда, другие сюда.

Надо иметь пятьдесят пар глаз, думала она. Но и пятидесяти не хватит, чтоб управиться с одной этой женщиной. Среди них хоть одна пара глаз должна быть абсолютно слепа к ее красоте. А нужней всего — тайное и, как воздух, тонкое чувство, которое бы умело проникать сквозь замочные скважины, ее достигать, когда она занята вязаньем, разговором или молча, одиноко сидит у окна, а потом исчезать, кладом храня, вот как воздух хранил тот пароходный дымок, ее мысли, фантазии, ее желанья. Что для нее значила эта изгородь, что значил сад? Что для нее значил шорох набежавшей на берег волны? (Лили вскинула взгляд так, как, она видела, вскидывала взгляд миссис Рэмзи; она тоже услышала шорох набежавшей на берег волны.) И как, интересно, обрывалось у нее и екало сердце, когда дети кричали: «Сколько? Сколько?» — гоняя в крикет? На секунду она опускала вязанье. Всмотривалась в сторону крикетной площадки. И опять от нее отвлечалась, а мистер Рэмзи останавливался как вкопанный на ходу, и странное волнение забирало ее и не отпускало, пока он, стоя рядом, сверху вниз на нее смотрел. Лили очень живо себе его представила.

Он протягивал руку и помогал ей подняться со стула. И отчего-то такое казалось, что это уже было; и некогда он так же склонялся, помогая ей выйти из лодки, которая неудачно пристала у острова, и дамы не на шутку нуждались, чтобы обратиться на сушу, в помощи джентльменов. Старомодная сценка, где мерещатся чуть ли не кринолины, и камзолы, и белые чулки. И, подав ему руку, миссис Рэмзи, наверно, решила: час пробил. Да, сейчас она ему скажет. Да, она выйдет за него замуж. И тихо, неспешно она ступила на берег. Может, всего одно-два словца она тогда ему и сказала, не отнимая руки. Я за вас выйду замуж, она сказала и руку не отняла; и всё. И снова и снова их пробирал тот

же трепет — заметным образом, думала Лили, разглаживая путь для своих муравейчиков. Ничего она не сочиняет; просто разглаживает то, что ей давным-давно подарено в свернутом виде; она это видела своими глазами. Ведь в ежедневной круговерти и кутерьме, среди детей и гостей — вы все время чувствовали этот дух повторенья — все падало по траектории, проторенной уже чем-то другим, и вызывало готовное, долго-долго дрожавшее в воздухе эхо.

Но ошибкой было бы, она думала, вспоминая, как они удалялись — она в своей зеленой шали, он в реющем галстукe, рука об руку мимо теплицы, — ошибкой было бы их отношения упрощать. Далеко до безмятежной идиллии — с ее-то вскидчивостью, непредсказуемостью; с его хандрою и приступами. Уж какое! Ни свет ни заря вдруг бешено грохала дверь спальни. Или он, разъяренный, выскакивал из-за стола. Запускал тарелкой в окно. И по всему дому будто двери гремели, стучали шторы, как в бурю, и подмывало броситься задвигать засовы, наводить порядок. В таких обстоятельствах они столкнулись раз на лестнице с Полом Рэйли. И, как дети, умирали со смеху из-за мистера Рэмзи, который, обнаружив мошку у себя в молоке, отправил свой завтрак по воздуху в сад. «Мошка, — в священном ужасе лепетала Пру, — у него в молоке». К другим в молоко пусть плюхается сороконожка. Он же сумел вокруг себя воздвигнуть такие стены благоговения и с такой величавостью среди них прохаживался, что мошка у него в молоке обращалась в могучее чудище.

Но миссис Рэмзи утомляли, ее несколько угнетали запусканье тарелок и грохотанье дверьми. И порой они тяжело, подолгу не разговаривали, и (не любила Лили этих ее настроений), не то обиженная, не то возмущенная, она была как бы не в состоянии спокойно выстаивать бурю и смеяться, как все, но что-то вынашивала в этой усталости. Сидела и думала, думала. Погодя он начинал делать вокруг нее круги, слонялся под окнами, пока она писала письма, с кем-нибудь разговаривала и все старалась не оказаться не занятой, когда он поблизости, притворялась, будто его не замечает. И он становился шелковый, само смирение и обходительность, пытаясь вернуть таким способом ее расположение. Но она не сдавалась, вдруг напускала на себя гордый вид неприступной красавицы, вообще-то в высшей степени ей не присущий; эдак голову повернет; глянет через плечо; и непременно что-б рядом Минта, Пол какой-нибудь, Уильям Бэнкс. Наконец, отверженный, огринутый, ну изголодавшийся волкодав (Лили поднялась с травы, глянула на окно, на ступеньки: вот там он стоял), он произносил ее имя, только разок, — волк и волк, взывающий на снегу, — но она и тут не сдавалась; и он снова ее окликал, и тут уж что-то в его голосе срывало ее с места, она вдруг бросала всех, шла к нему, и они удалялись вдвоем — под груши, к капустным грядкам, к малиннику. Удалялись все уладить наедине. Но с помощью каких слов, каких жестов? И такое достоинство было в их отношениях, что сама она, Минта и Пол, скрывая неловкость и любопытство, отворачивались, не смотрели им вслед, принимались рвать цветы, и перекидывались мячом, и болтали до самого ужина, и — пожалуйста! — они снова сидели: она на одном конце стола, он на другом, как всегда.

— Почему это вы никто ботаникой не займетесь?.. Столько ног у вас, столько рук в общей сложности, и хотя бы один... — они, как всегда, разговаривали, шутили со своими детьми. Как всегда. Только легкая искра, как блеск клинка, то и дело проскакивала между ними, будто привычный вид детей над супом освежился у них в глазах после того часа среди груш и капусты. Особенно часто, думала Лили, поглядывала миссис Рэмзи на Пру. Та сидела посередине стола между братьями и сестрами и, кажется, до того боялась, как бы чего не вышло, что сама почти не раскрывала рта. Как, наверное, Пру себя костерила за ту несчастную мошку! Как побелела, когда мистер Рэмзи запустил тарелкой в окно! Как сникала во время этих их размолвок! И мать словно старалась ее приободрить; убеждала, что все хорошо; обещала, что и ей суждено то же счастье. Правда, она им недолго понаслаждалась — меньше года.

Она тогда выронила из корзинки цветы, думала Лили, щурясь и на шаг отступя, будто оглядывая холст, но к нему не притронулась, и чувства в ней будто застыли, ледком подернулись на поверхности, а ниже была стремнина.

Она роняла из корзинки цветы, высыпала, разбрасывала по траве и нехотя, через силу, но без вопросов и жалоб — разве не владела она даром без-

упречного послушанья? — она уходила тоже. По полям и лугам, белым, цветистым, — вот как это бы написать. Горы хмуры; кремнисты; крутая тропа. С ревом бьются о берег волны. И уходят — все трое, — и миссис Рэмзи идет впереди очень быстро, будто сейчас за углом она встретит кого-то.

Вдруг в окне, на которое она смотрела, что-то смутно забелелось. Значит, все-таки кто-то вошел в гостиную. Господи, пронеси, взмолилась она, только бы они там и оставались, не обрушивались на нее с болтовней! Слава Богу, кто бы там ни был, оставался внутри; и по счастливому совпадению даже отбрасывал на ступени хитрую треугольную тень. Это чуть-чуть меняло композицию. Интересно. Еще пригодится. И вернулось прежнее настроение. Смотреть в оба, ни на секунду не расслабляться, чтоб тебя не надули. Держать всю сцену — вот так — в тисках, чтоб ничто не могло вклиниться и напортить. Главное, она думала, довериться будничной вещи; просто чувствовать — вот кресло, вот стол, и — одновременно: ведь это чудо и счастье. А решение придет. Ах, да что же это там такое? Что-то белое прошлось волной по оконнице. Видно, ветер взмахнул какой-то оборкой. Сердце перестукнуло, оборвалось и зануло.

— Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — звала она, снова чувствуя прежнюю попытку — хотеть и хотеть невозможного. Неужто до сих пор в ее власти так мучить? И потом сразу, как если бы ей удалось сдержаться, стало и это будничной вещью — как кресло, как стол. Миссис Рэмзи — по безмерной своей доброте к Лили — просто сидела в кресле, посверкивала спицами, вязала свой красно-бурый чулок, отбрасывала тень на ступени. И всё.

И — будто вот сейчас ей необходимо с кем-нибудь поделиться, да трудно расстаться с картиной, так душа переполнена тем, что она увидела, тем, что думала, Лили с кистью в руке прошла мимо мистера Кармайкла на край лужка. Где же эта их лодка? И мистер Рэмзи? Он был сию минуту ей нужен.

## 12

Мистер Рэмзи почти разделался с чтением. Рука парила над страницей, как бы изготовляясь перевернуть ее в тот самый миг, когда он ее дочитает. Сидел, простоволосый, и прядями играл ветер. Он выглядел очень старым. Выглядел незащищенным. Выглядел, думал Джеймс, рассматривая его голову то на фоне маяка, то на фоне катящей бескрайней сизой пустыни, как древний камень, забытый в песках. Выглядел так, будто физически превратился в то, что оба они всегда носили в душе, — то одиночество, от которого, они знали оба, никому ты не денешься.

Он очень быстро читал, будто хотел поскорей дочитать до конца. И действительно, они уж были совсем близко от маяка. Вот он — прямой и голый, ярко-черный и белый, и видно, как волны битым белым стеклом отскакивают от скал. Ясно видны на скалах трещины и прожилки; видны окна; вон белый мазок на одном; на скале зеленый пучок. Вышел человек, глянул на них в подозрную трубу, снова скрылся. Так вот он какой, думал Джеймс, — маяк, на который столько лет он смотрел через бухту; голая башня на дикой скале. Маяк ему нравился. Помогал, может быть, разобраться в себе. Старые дамы, думал Джеймс, дома, в саду таскаются по лужку со стульями. Старая миссис Бекунт, например, вечно твердит: ах как все прелестно, как мило, как им повезло, как им надо гордиться, — а на самом-то деле, думал Джеймс, оглядывая маяк на дикой скале, вот как оно обстоит. Он посмотрел на отца, который неистово читал, тесно сплетя ноги. Он-то знает. «Нас буря несет, нам суждено утонуть», — пробормотал он сам с собою, но вслух, в точности как отец.

Уж целую вечность никто, кажется, слова не проронил. Кэм надоело смотреть на море. Мимо проплыла раскрошенная черная пробка; рыба на дне лодки уснула. А отец все читал, и Джеймс на него смотрел, и она на него смотрела, и они клялись насмерть стоять против тиранства, а он читает себе, ничуть не заботясь о том, что они думают. Его не уловишь, она думала. Большелобый и большеносый, уткнулся в свою пятнистую книжечку — и его не уловишь. Попробуй-ка его ухвати — он, как птица, расправит крылья, улетит от тебя и усядется в недоступной дали на сирый пень. Она оглядывала водный бескрайний простор. Остров стал уже такой крохотный, что и на листик, пожалуй, не похож. Похож на верхушку скалы, которую вот-вот накроет волной. А ведь на

этой хиленькой скудости остались те тропки, террасы, спальни — всякая всячина. Но как всегда перед сном упрощается все и из мириад подробностей только одна ухитряется на себе настоять, так и в сонных глазах Кэм меркли тропки, террасы и спальни, побледнели и стерлись, и только бледно-голубое кадило еще мерно качалось у нее в голове. Да это же сад висячий; и доли, и цветы, колокольчики, и птички, и антилопы... Она засыпала.

— Пора! — вдруг сказал мистер Рэмзи, захлопывая книгу.

Что — пора? Какому подвигу время? Кэм вздрогнула и проснулась. Где-то высаживаться? Куда-то взбираться? Куда он их поведет? После бескрайнего молчанья эти слова ошарашили их. Но дудки! Он сказал, что проголодался. Пора приступить к еде. И к тому же, мол, посмотрите. Уже и маяк — отсюда рукой подать.

— Ишь малый, — сказал Макалистер в похвалу Джеймсу. — Ходко ведет. Слушается она его.

А отец вот в жизни его не похвалит, горько подумал Джеймс.

Мистер Рэмзи развернул пакет и распределил бутерброды. И был счастлив, уплетая хлеб и сыр вместе с этими рыбаками. Ему бы в лачуге жить, слоняться у причала, состязаться с другими стариками по плевкам в цель, думал Джеймс, глядя, как он нарезает свой сыр перочинным ножом на тонкие желтые ломтики.

Все правда, все правда, чувствовала Кэм, обколупывая крутое яйцо. Как тогда она чувствовала там, в кабинете, где читали «Таймс» старые господа. Что хочу, то и думаю, и я не сверзнусь в пропасть, я не утону, потому что вот он — за мною присматривает.

И они так быстро неслись мимо скал, и это было так дивно: будто две вещи делаешь сразу — спокойненько закусьваешь на солнышке и спасаешься после кораблекрушения в бурю. Хватит ли нам пресной воды? хватит ли продовольствия? — беспокоилась Кэм, сочиняя свою историю, и одновременно прекрасно помнила, что происходит.

Им-то недолго осталось, говорил мистер Рэмзи старому Макалистеру; а дети еще много кой-чего понасмотрятся. Макалистер сказал, что в марте ему стукнуло семьдесят пять; мистер Рэмзи разменял свой восьмой десяток. Макалистер сказал, что сроду у доктора не был; все зубы — свои. Вот такой жизни я б желал для своих детей — Кэм была уверена, отец это подумал, когда не дал ей бросать бутерброд в воду; наверное, он подумал про жизнь рыбаков, раз сказал ей, что, если не хочется есть, пусть положит еду обратно в пакет. Зачем же бросать? Он мудрец, все на свете он знает, и она сразу послушалась, а он подал ей из своего пакета имбирный пряник, вот как гранд бы испанский, она подумала, подал даме розу в окно (столь изысканным жестом). Но одет кое-как и такой простой, ест хлеб с сыром; а ведь всех их ведет на великий подвиг, и всем им, кто знает, может быть, суждено утонуть...

— Вот где она на дно-то пошла, — вдруг сказал Макалистер-внук.

— На этом самом месте трое и потонуло, — сказал старый Макалистер. Он их своими глазами видел, в мачту так и вцепились. И мистер Рэмзи посмотрел на то место и — Кэм и Джеймс утрастились — был готов разразиться:

Но он не знал, в какой волне..

И если бы он разразился, они бы не вынесли; они бы завывали в голос; им были уже не под силу эти взрывы тоски; но, к их удивлению, он сказал только: «А-а», будто про себя подумал: стоит ли шум поднимать? Да, люди в бурю тонут, но это натуральное дело, и пучина морская (он тряс на них крошки с бумаги от своего бутерброда), в сущности, — только вода. Потом, раскурив трубку, он вынул часы. Внимательно изучал циферблат; верно, делал математические вычисления. Наконец он сказал ликующим тоном:

— Превосходно! — Джеймс их вел, как прирожденный моряк.

Вот! — подумала Кэм, молча обращаясь к Джеймсу. Вот ты и дождался. Ведь она знала, что Джеймсу только того и надо было, знала, что он так теперь рад, что не будет смотреть на нее, на отца, ни на кого не будет смотреть. Сидит, как струнка, прямой, держит руку на румеле и поглядывает, в общем-то, хмуро; поглядывает, наморщив лоб. Так рад, что никому ни крупницы своей ра-

дости не отдаст. Отец его похвалил. И пусть они думают, что ему это решительно безразлично. Вот ты и дождался, дождался, думала Кэм.

Они сменили галс и теперь на длинных раскачивающихся волнах, которые весело, пьяно их перебрасывали одна на другую, легко и быстро неслись вдоль рифа. Слева гряда скал буро сквозила в воде, а вода поредела и стала зеленой, и об одну скалу, повыше, билась непрестанно волна, взметалась водным столбом, опадала душем. Шлепалось, стучало, шептались и шикали волны, катили, скакали и кувыркались, как дикие твари, расшалившиеся на воле, неслись взапуски без конца.

И вот уже видны двое на маяке, смотрят на них, готовятся их встретить.

Мистер Рэмзи застегнул пиджак, подвернул брюки. Взял большой неаккуратный сверток, который собрала Нэнси, положил к себе на колени. И — в полной готовности к высадке — он сидел и глядел на остров. Может быть, дальнезоркими своими глазами он различал исчезнувший листик, торчком стоявший на золотом блюде? и что он видит? — гадала она. Что она так пристально, старательно, так молчаливо искал? Оба они смотрели, как, простоволосый, он сидел со свертком на коленях и глядел, глядел на что то смутное, едва уловимое, как сизый, тающий дым от того, что сгорело дотла. Чего ты хочешь? — хотелось обоим спросить. Обоим хотелось сказать: что угодно проси — мы дадим тебе. Но он у них ничего не просил. Сидел и глядел на остров и думал, наверное, — мы гибли, каждый одинок; или он думал — я достиг, я добрался; но он не говорил ничего. Потом надел шляпу.

— Возьмите эти свертки, — сказал, кивнув на вещи, которые собрала для маяка Нэнси. — Свертки для зрителей маяка, — он сказал. Он встал и вытянулся на носу лодки, очень прямой и высокий, ну в точности, думал Джеймс, будто он говорит: «Бога нет!» — а Кэм думала — будто вот сейчас он выпрыгнет в мировое пространство; и оба они встали, чтоб последовать за ним, когда легко, как юноша, прижимая к груди сверток, он выпрыгнул на скалу.

### 13

— Он, пожалуй, добрался, — вслух сказала Лили Бриско и вдруг ощутила немислимую усталость. Потому что маяк стал едва различим, растворился в лазури и вглядываться в него и думать про того, кто на нем должен высадиться (одно и то же усилие, в сущности), было утомительно до безумия. Ах, зато на душе у нее полегчало. Чем бы там она ни собралась его одарить в ту минуту, когда он от нее отвернулся, теперь-то уж она его одарила. — Высадился, — сказала она вслух. — Дело сделано.

Потом, сопя и пыхтя, старый мистер Кармайкл встал и воздвигся с ней рядом — старый языческий бог, косматый, водоросли в волосах, трирема в руке (французский томик всего лишь). Он стоял с нею рядом на краю лужка, колыхался могучей массой, заслонял ладонью глаза. Он сказал:

— Они, верно, уж высадились, — и Лили поняла, что оказалась права. Во все не обязательно им друг с другом беседовать. Ее мысли текут в лад с его мыслями, он ей отвечает, и никаких вопросов не нужно. Он стоял, принимая в объятия слабое, страждущее человечество; терпимо, сочувственно озирает его конечную участь. И — завершающим жестом, подумалось, — медленно уронил руку, как если бы с высоты своего огромного роста уронил венки из фиалок и асфоделей, и, медленно покружив, он лег наконец на траву.

Тотчас, будто ее окликнули, она повернулась к холсту. Вот она — моя картина. Да, зеленое, синее, текучие, одна другую подсекающие линии — притязанье на что-то. На чердаке повесят; замажут. Ну и что из того? — вскинулась она и снова схватила за кисть. Посмотрела на ступени; никого; посмотрела на холст; все в глазах расплывалось. И вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот, на секунду, впервые — увидела, она провела по самому центру уверенную черту. Конечно; дело сделано. Да, подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможенье, так мне все это явилось.

*Перевела с английского Е. СУРИЦ.*

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ



## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕКИ

*Новое о поэте*

Поэт — всегда свидетель своего времени, своей эпохи, с которой он кровно связан, иногда даже вопреки собственной программе и декларативным заявлениям. Между тем Хлебников для современников и даже для нас, сегодняшних читателей, — это прежде всего поэт-визионер, мифотворец, мыслитель-утопист, погруженный в свой внутренний мир, обращенный в прошлое и будущее, «утонувший», по собственному определению, в своих вычислениях и словотворческих штудиях и не всегда замечающий то, что происходит рядом и вокруг. «Хлебников не знает, что такое современник, — писал Мандельштам. — Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе — железнодорожный мост или «Слово о полку Игореве». Поэзия Хлебникова идиотична, — в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова. Современники не могли и не могут ему просить отсутствия у него всякого намека на аффект своей эпохи»<sup>1</sup>. И Мандельштам противопоставляет ему Блока, который, по его слову, является «современником своего времени» — «до мозга костей». Но эта характеристика Хлебникова относится к 1922—1923 годам, когда еще не было собрано наследие поэта и не были изданы его большие поэмы-полотна, посвященные революции и гражданской войне.

После выхода «пятитомника» Хлебникова (1928—1933), несмотря на усложненность и герметичность его поэзии, стало очевидно, что существует другой Хлебников, не только поэт — архаик и мифотворец, не только летописец будущей жизни, проецирующий прошлое на будущее, каким он казался современникам, а поэт-гражданин, летописец своей — революционной — эпохи. Интересно, что Ахматова, по свидетельству Л. К. Чуковской, ценила в основном послереволюционного Хлебникова: «...он писал плохо до и прекрасно — после»<sup>2</sup>.

Хлебников был очевидцем революционных событий в Петрограде, Москве и Астрахани и весело рассказал об этом в очерке «Октябрь на Неве» и в ряде стихов. Он был свидетелем Гилянкой революции в Северном Иране в 1921 году, и его поэма «Тиран без Тэ» (ранее известная под названием «Труба Гуль-муллы»), как отметил участник иранского похода Р. П. Абих, является своеобразным путевым дневником, зафиксировавшим события, очевидцем которых был сам поэт. Хлебников видел и воспринимал события «вплотную и вровень» — эту формулировку Ю. Тынянова можно отнести ко многим вещам поэта. Его тексты иранского цикла, а также революционные поэмы, созданные в Харькове, Баку, Пятигорске и Москве («Ладомир», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами», «Переворот в Владивостоке» и др.), как выясняется, «написаны на тот или иной конкретный „случай“», и «его поэзия гораздо «автобиографичней», чем может показаться» (Д. Мирский).

В 1919 году власть в Харькове, где оказался Хлебников, неоднократно переходила из рук в руки. Убийства, грабежи, аресты, голод, белый и красный террор, гибель беззащитных людей... Поэт был свидетелем этих кровавых событий, он сам подвергался аресту, несколько месяцев скрывался от мобилизации в белую армию в психиатрической больнице, на Сабуровой даче, где болел тифом и голодал. И именно в Харькове, пройдя все эти испытания и лишения, Хлебников много и плодотворно работал.

Публикуемое здесь впервые большое стихотворение или скорее маленькая поэма «Председатель чеки» связана с пребыванием Хлебникова в харьковской коммуне

<sup>1</sup> О. Мандельштам Слово и культура. М. 1987, стр. 211.

<sup>2</sup> Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж. 1980, т. 2, стр. 293.

на улице Чернышевского, № 16, где он жил зимой — весной 1920 года. Но написал ее он позже, через полтора года, осенью 1921-го в Пятигорске, куда он попал после Баку и Ирана.

В разработке основной темы революционного пожара в «Председателе чеки» последним литературным толчком был, наверное, некролог Маяковского «Умер Александр Блок», напечатанный в газете «Агитроста» (10 августа 1921 года), где Маяковский рассказывает о встрече с Блоком возле костра у Зимнего дворца. Из некролога Хлебников и узнал ставшее затем знаменитым блоковское «хорошо» (как «ощущение революции» и как реакция на пожар библиотеки в Шахматове). Блоковский максимализм, выраженный этим словом, неожиданно трансформируется и перерастает у Хлебникова в поэме в глобальный образ пожара России («Он любит выйти на улицу пылающего мира и сказать: „хорошо...“»).

Основная тема «Председателя чеки» — сплетение добра и зла, вызывающее пожар России, — восходит не только к «Двенадцати» Блока, но и к поэме Маяковского «Война и мир» (1916), где автор отождествляет себя то с Нероном, то с Иисусом Христом, и отчасти связана с пьесой-оперой А. Крученых «Победа над солнцем» (1913), где возникает один из героев со следующей характеристикой: «Нерон и Калигула в одном лице».

Любовная линия этого текста переключается с заключительным стихотворением из поэмы «Азы из узы», написанной в 1920 году в Харькове, где появляются те же мотивы и образы:

Вот, я иду к той,  
 Чье греческое и странное руно  
 Приглашает меня испить  
 «Египетских ночей» Пушкина  
 Холодное вино...  
 Вы думали, прилежно вспоминая,  
 Что был хорош Нерон, играя  
 Христа как председателя чеки.

Прообразом героини этих строк и «милой девы» из «Председателя чеки» послужила кузина сестер Синяковых, близких друзей поэта, — В. Д. Демьяновская (1901—1968), которой в то время был увлечен и сам поэт. К ней обращен еще ряд изданных и неизданных текстов Хлебникова пятигорского периода, сохранившихся в бумагах поэта. Один из них напечатан под неточным названием «Мои походы», а два других неизданных фрагмента непосредственно переключаются с публикуемой поэмой и являются заготовками к ней:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Бывало ли глупее?<br/>         Что после сыпняка<br/>         Со стен сошли Помпей<br/>         Два личика на Ка,<br/>         Потомство синяка.</p> | <p>2. Конец поднялся одеяла<br/>         И девушка со стен<br/> <span style="float: right;">Помпей</span><br/>         Решила: «Нет глупее<br/>         Спать на полу.<br/>         Ты все ворочался, уж<br/>         лучше бы стояла!<br/>         Послушай, кто гребенку<br/> <span style="float: right;">спер?</span><br/>         Она на память от сестер».</p> |
|--|---|

Интересно, что поэма не только разрабатывает блоковскую тему мирового пожара из «Двенадцати», отчасти воспринятую через Маяковского, но и является поэтическим откликом на смерть Блока. Как вспоминает О. С. Самородова, близкая знакомая Хлебникова, он в августе — сентябре 1921 года, узнав о смерти Блока, неоднократно возвращался к этому печальному событию: «Все его разговоры в эти дни сводились в конце концов к Блоку. Он переживал его утрату как утрату очень близкого человека»<sup>3</sup>.

Вернемся в Харьков 1920 года. Освободил Хлебникова из Сабурки и поселил в коммуне молодой следователь Реввоентрибунала 14-й армии А. Н. Андриевский (1899—1983), с которым поэт впоследствии сблизился. Их связывал общий интерес к математике и физике (новый знакомый поэт учился три с половиной года на физико-математическом отделении естественного факультета Петербургского университета), а также и то, что Андриевский хорошо знал поэзию футуристов. Андриевский принадлежал к той категории людей, которых Хлебников, в отличие от «приобретателей», называл «изобретателями». Тогда же в Харькове следователь Реввоентрибунала пробовал

<sup>3</sup> О. С. Самородова, «Поэт на Кавказе» («Звезда», 1972, № 6, стр. 190).

свои силы в театральной режиссуре, пытался ставить пьесу Хлебникова «Ошибка смерти», впоследствии он стал профессиональным кинорежиссером и одним из избранных отечественного стереокино. Весной 1922 года Андриевский снова встретился с Хлебниковым, но уже в Москве, он был одним из тех двух-трех лиц, кому близкий друг поэта П. Митурич по просьбе Хлебникова написал из Санталова о его предсмертной болезни — а это был знак особого доверия. После смерти Хлебникова Андриевский был редактором его «Досок судьбы». О встречах с поэтом он рассказал подробно в своих воспоминаниях «Мои ночные беседы с Хлебниковым», написанных по моей просьбе<sup>4</sup>.

Во время одной из бесед с Андриевским я, рассчитывая узнать какие-нибудь харьковские реалии, познакомил его с этим неизданным текстом Хлебникова, сохранившимся в «Гроссбухе» поэта. Неожиданно после слов «он из-за нее стрелялся» Андриевский произнес: «А ведь пуля так и застряла возле сердца, я с ней прожил всю жизнь, врачи советовали не трогать...»

Образ председателя Чека в этой поэме, как стало очевидно, навеян биографическими фактами из жизни Андриевского (хотя на самом деле он работал не в Чека, а в Реввоентрибунале), а также печально известного на юге республики чекиста Саенко, того «страшного комиссара Саенко», которого упоминает А. Н. Толстой во второй книге «Хождения по мукам» — «Восемнадцатый год» и чей портрет еще до недавнего времени висел в одном из музеев Харькова. У Хлебникова образ героя то раздваивается, то возникает как обобщенный, двоянный образ, «склеенный из Иисуса и Нерона».

Отталкиваясь от реальных событий, свидетелем которых он был, Хлебников преобразует их, он прежде всего художник и ставит в поэме важный, если не главный для себя вопрос — о месте поэта в революции, об отношении к жестокости и смерти. Он не принимает жестокости и кровопролития ни в каком виде, даже во имя революции, он против любого насилия и террора. Поэтому в одном из своих последних стихотворений он декларативно заявляет:

Мне гораздо приятнее  
Смотреть на звезды,  
Чем подписывать  
Смертный приговор...  
Вот почему я никогда,  
Нет, никогда не буду Правителем!

Текст печатается по черновому автографу из рукописной книги Хлебникова «Гроссбух», хранящейся в его фонде в ЦГАЛИ (ф. 527, оп. 1, ед. хр. 64, л. 38—39). Орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

## Председатель чеки

Пришел, смеется, берет дыму.  
Приходит вновь, опять смеется.  
Опять взял горку белых ружей для белооблачной пальбы.  
Дает чертеж, как предки с внуками  
Несут законы умных правил, многоугольники судьбы:  
«Мне кажется, я склеен  
Из Иисуса и Нерона,  
Я оба сердца в себе знаю,  
И две души я сознаю.  
Приговорен я был к расстрелу  
За то, что смертных приговоров  
В моей работе не нашли.  
Помощник смерти я плохой,  
И подпись, понимаете, моя  
Суровым росчерком чужие смерти не скрепляла,

<sup>4</sup> См. «Дружба народов», 1985, № 12, стр. 228—242. Следует отметить, что воспоминания А. Н. Андриевского напечатаны с грубыми ошибками, произвольными сокращениями и без соответствующего комментария, и тем самым публикация поставила, к сожалению, под сомнение этот в целом очень ценный мемуарный материал.

Гвозде<м> для гроба не была.  
 Но я любил пугать своих питомцев на допросе,  
 Чтобы дрожали их глаза,  
 Я подданных до ужаса, бывало, доводил  
 Сухим отчетливым допросом.  
 Когда он мысленно с семьей прощался  
 И уж видал себя в гробу,  
 Я говорил отменно сухо:  
 «Гражданин, свободны вы и можете идти».  
 И он, как заяц, отскочив, шепча <невнятно>, и мял губами,  
 Ко дверям пятится и с лестницы стремглав, себе не веря,  
 А там бегом и на извозчика, в семью.  
 Мой отпуск запоздал на месяц<sup>1</sup>,  
 Приходится лишь поздно вечером ходить».  
 Молчит и синим<и> глазам<и> опять смеется и берет  
 С беспечным хохотом в глазах  
 Советских дымов горсть изрядную:  
 «До точки казни я не довожу,  
 Но всех духовно выкупаю в смерти  
 Духовной пыткой допроса.  
 Душ смерти, знаете, полезно принять для тела и души.  
 Да, быть распятым именем чеки  
 И на кресте повиснуть перед общественным судом  
 Я мог.  
 Смотрите, я когда-то тайны чисел изучал<sup>2</sup>.  
 Я молод, мне лишь двадцать два<sup>3</sup>, я обучался строить железные мосты.  
 Как правилен закон сынов и предков, стройней желез<ного>  
мос<та>

И как горит роскошная Москва:  
 Здесь сходятся углы, а здесь расходятся.  
 Смотрите,— говорил, глаза холодные на небо подымая.  
 Он жил вдвоем. Его жена была женой другого.  
 Казалось, со стен Помпей богиней весны красивокудрой,  
 Из гроба вышедши золы, сошла она.  
 И черные остриженные кудри  
 (Недавно она болела сыпняком),  
 И греческой весны глаза, и хрупкое утонченное тело,  
 Прозрачное, как воск, и пылкое лицо  
 Пленяли всех, лишь самые суровые  
 Ее сурово звали «шкура» или «потаскушка».  
 Она была женой сановника советск<ого>.  
 В покое общем жили мы, в пять окон.  
 По утрам я видел часто ласки нежные.  
 Они лежали на полу под черным овечьим тулупом, готовясь в путь.  
 Вдруг подымалось одеяло на полу,  
 И из него смотрела то черная, то голубая голова, чуть сонная.  
 Порой у милой девы на коленях он головой безумною лежал,  
 И на больного походила у юноши седая голова.  
 Она же кудри золотые юноши рукою нежно гладила, на воздухе  
сквозили,  
 Играя ими, перебирала бесконечно, смотря любовными и черными  
глазами,  
 И слезы, сияя, стояли в ее гордых от страсти черных глазах.  
 Порою целовались при всех крепко и нежно, громко,  
 Сливаясь головами,  
 И тогда он — голубой и черная — она, на день и ночь  
 И на две суток половины оба ходили — единое кольцо.  
 «Сволочь ты моя, сволочь, сволочь ненаглядная»,—  
 Целуя в белый лоб и легкую давая оплеуху, уходя,  
 Словами нежными она его ласкала,

Ероша нежно руками золотые перья на голове и лбу.  
 Он нежно, грустно улыбался и, голову понуривши, сидел.  
 Видал растущий ряд пощечин по обеим щекам,  
 И звонкий поцелуй, как точка, пред уходом,  
 И его насмешливый и грустный бесконечный взгляд —  
 Два месяца назад он из-за нее стрелялся,  
 Чтоб доказать, что «не слабó», и пуля чуть задела сердце.  
 Он на волос от смерти был, золотокудрый.  
 Он кротко все терпел.  
 И потом на нас бросал взгляд умного презренья, загадочно-сухой  
 и мертвый,

Но вечно и прекрасно голубой,  
 Как кубок, кем-то осушенный, взгляд начальника на подчиненных,  
 Она же говорила: «Ну бей меня, сволочь!» — и щеку подставляла.  
 Порою к сыну мать седая приходила,  
 Седые волосы разбив дорогой,  
 И те же глаза голубые, большие и тот же безумный и синий  
 огонь в них,

Курила жадно, второпях ласкала сына, глядя по руке,  
 Смеясь, шепча, и так же кудри гладила.  
 И плакала порой с упреком счастья:  
 «Дурачок ты мой, дурачок. Ах ты дурак мой, дурачок, совсем  
 ты дуралей».

И плакала порою торопливо и вытирала синие счастливые глаза  
 Под белыми седыми волосами,  
 Шепча подолгу наедине с сухим и грустным сыном.  
 И бесконечной околицей он матери сознание окружил.  
 Врал без пощады про женино имение и богатство:  
 Они в далекую дорогу собирались в теплушке, на польские окопы<sup>1</sup>.  
 Семь дней дороги.  
 Как вор, скрываясь, выходил он по ночам, свой отпуск исчерпав  
 И сделав, кажется, два новых (печати были у него),  
 И гордо говорил: «Меня чека чуть-чуть не задержала».  
 Ее портнихи окружали и бесконечные часы.  
 Как дело было, я не знаю, но каждый день торговля шла  
 Часами золотыми через третьих лиц.  
 Откуда и зачем — не знаю. Но это был живой сквозняк часов.  
 Она вела веселую и щедрую торговлю.  
 Но он, Нерон голубоглазый,  
 Утонченную пыткой глаз голубых и блеском синих глаз  
 Казнивший старый мир, мучитель на допросе почтенных толстых  
 горожан,

Вед<ь> он же на кресте висел чеки!  
 И кудри золотые рассыпал  
 С большого лба на землю —  
 Ведь он сошел на землю!  
 Вмешался в ее грязи.  
 На белом небе не сиял! Как мальчик чистенький, любимец папы.  
 И в самых недрах души,  
 Со струнами в руке  
 Смотреть пожар России он утро каждое ходил,  
 Смотреть на мир пылающий и уходящий в нет.  
 «Мы старый мир до основанья, а затем...»  
 Смотреть на древнюю Москву, ее дворцы торговли, замк<и>,  
 Зажженные сегодняшним законом.  
 Он вновь, знакомый всем мясокрылый Спаситель,  
 Мясо красивое давший духовным гвоздям,  
 В сукне казенного образца, в зеленом френче и обмотках,  
 надсмешливый.

А после — бросает престол пробитых гвоздями рук,

Чтоб в белой простыне с каймой багровой, как римский царь,  
 уеңчаннй цветами,  
 Смотреть на пылающий Рим<sup>5</sup>.  
 Багровые стру<и> пожара России бар и помещиков, купцов,  
 Два голубые жестокие глаза  
 Наклонились к тебе, как цветку, наслаждаясь запахом гари и дыма.  
 Он любит выйти на улицу пылающего мира  
 И сказать: «хорошо».

В подвале за щитами решетки  
 Жили чеки усталые питомцы,  
 Оттуда гнал прочь прохожих часовой,  
 За броневым щитом усевшись.  
 И к одному окну в урочный час  
 Каждый день собачка белая и в черных пятнах  
 Скулить и выть приходила к господину,  
 Чтоб лаять жалобно и выть у окон мрачного подвала.  
 Мы оба шли.  
 Она стояла здесь, закинув белое ухо,  
 Подняв лапку, на трех ногах,  
 И тревожно и страстно глядела в окно и лаяла тихо —  
 Господин в подвале темном был.  
 Тот город славился именем Саенки<sup>6</sup>.  
 Про него рассказывали, что он говорил,  
 Что из всех яблок он любит только глазные.  
 «И заказные», — добавля<л>, улыбаясь в усы.  
 Дом чеки стоял на высоком утесе из глины,  
 На берегу глуб<окого> оврага,  
 И задними окнами повернут к обрыву.  
 Оттуда не доносилось стонов.  
 Мертвых выбрасывали из окон в обрыв.  
 Китайцы у готовых могил хоронили их.  
 Ямы с нечистотами были нередко гробом,  
 Гвоздь под ногтем — украшением мужчин.  
 Замок чеки был в глухом конце  
 Большой улицы на окраине города,  
 И мрачная слава окружала его, замок смёрти,  
 Стоявший в конце улицы с красивым именем писателя<sup>7</sup>,  
 К нему было применимо: молчание о нем сильнее слов.  
 «Как вам нравится Саенко?» —  
 Беспечно открыв голубые глаза,  
 Спросил председатель чеки.

Осень 1921 г.

<sup>1</sup> В апреле — мае 1920 года Андриевский вместе с частями 14-й армии отправился на фронт. В июне он, получив по болезни месячный отпуск, вернулся в Харьков и снова жил в коммуне. Хлебников в это время переселился в другое место и лишь изредка приходил в коммуну навещать своих друзей — Андриевского и В. Д. Демьяновскую.

<sup>2</sup> О своих занятиях «числами» Андриевский подробно рассказал в воспоминаниях о Хлебникове, напечатанных в «Дружбе народов» в 1985 году (№ 12, стр. 236).

<sup>3</sup> Цифра 22 была сакральной для поэтов круга Хлебникова, ср. у Маяковского: «Иду красивый, двадцатидвухлетний» («Облако в штанах»).

<sup>4</sup> В это время 14-я армия вместе с другими армиями наступала против интервентов на польском фронте.

<sup>5</sup> Страшный пожар Рима в 64 году н. э. (при Нероне) повлек за собой казни невинных людей.

<sup>6</sup> С. А. Саенко — член Чрезвычайной комиссии в Харькове в 1919 году. См. о нем: А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Париж, 1973, кн. 1—2, стр. 164.

<sup>7</sup> Здание Чека находилось на улице Сумской, а концлагерь, коллективные захоронения убитых и кладбище — на улице Чайковской, пересечавшей улицу Пушкинскую, что, вероятно, и имел в виду Хлебников. События, навеявшие поэму Хлебникова, произошли в конце июня 1919 года: «Весь город был поглощен разговорами о Чайковской. Распространяли самые нелепые и невероятно ужасные слухи о Чрезвычайной комиссии и отдельных ее членах. Например, о т. Саенко» (см. «Гражданская война на Украине. 1918—1920 гг.», Киев 1967, т. 2, стр. 233).

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ

★

## ПОСЛЕ СТАЛИНА

*Заметки о политической оттепели*

**П**редлагаемая читателю публикация представляет собой первую часть воспоминаний об одном из самых непростых и интересных периодов нашей истории — о 50-х и 60-х годах. В ту пору были сделаны первые шаги в преодолении наследия культа личности Сталина и возрождения ленинских идеалов. Тогда же начался переход от «холодной войны» к мирному сосуществованию, было заново пробито окно в современный мир. На том крутом изломе истории общество вздохнуло полной грудью воздухом обновления и захлебнулось... то ли от избытка, то ли от нехватки кислорода. Сейчас мы снова и снова возвращаемся к этим годам, черпая в них уроки для дня сегодняшнего.

Работая с 1953 года в журнале ЦК КПСС «Коммунист», затем на протяжении пяти лет в центральном партийном аппарате, два года в газете «Правда» и пятнадцать лет в партийной школе, я имел возможность непосредственно соприкасаться с политическими руководителями, советниками, а также с другими партийными работниками. Поэтому мои записки основаны на личных наблюдениях и воспоминаниях. Называя имена известных политических деятелей прошлого, я позволил себе лишь одну вольность: изменить фамилии тех лиц, которые здравствуют и поныне.

### — ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### 1

Не все знают, что хрущевская оттепель началась не в 1956 году, в период XX съезда партии, а сразу после смерти Сталина. Сама эта смерть потрясла до основания душу каждого человека в нашей стране, хотя и вызвала разные чувства. Ушло нечто, казавшееся незабываемым, вечным, бессмертным. Простая житейская мысль: умер человек, и тело покойного надо предать земле,— едва ли кому-либо приходила в голову. Нет, рухнул, обрушился институт власти, то, что лежало в самом фундаменте всего здания. Как теперь жить? Что произойдет с нами? Куда пойдет страна?

Помню траурное собрание в мраморном зале президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте. Я работал тогда секретарем секции общественных наук редакционно-издательского совета, председателем которого был президент академии Несмеянов. Александр Николаевич открыл траурный митинг и голосом, начисто лишенным эмоций, как бы отрешенным от всего земного, сказал о кончине великого человека, руководителя партии и государства, выдающегося ученого. Потом он употребил формулу, которая сразу же врезалась в мое сознание: обеспечено бесперебойное руководство партией и страной во главе с верным учеником Ленина, соратником товарища Сталина Г. М. Маленковым. Бесперебойное... Там, наверху, тоже ощущали утрату какой-то главной опоры государства.

Из других выступавших мне запомнился академик Н. В. Цицин, который плакал навзрыд на трибуне. Впрочем, плакали практически все. И у меня была влага

в глазах из-за ощущения торжественности момента и какого-то неведомого мне дотоле чувства ожидания важных перемен.

Помнится еще, что, когда я вышел после митинга, я бросил случайному спутнику странную фразу то ли серьезно, то ли иронически: «Теперь остался лишь один живой классик — Мао Цзэдун. Надо срочно запастись его произведениями». Я не знал, что двадцать лет спустя мне доведется опубликовать биографию этого деятеля.

Во время похорон Сталина я попал на Трубную площадь, о которой вспоминали многие наши писатели. Однако попал я до того, как произошла давка и кровопролитие. Мы снимали комнатку в Печатниковом переулке, неподалеку от Трубной. За несколько недель до кончины вождя родился наш первый сын, его простудили в родильном доме и выдворили через неделю, скрыв от нас, что он заболел двусторонним воспалением легких. С огромным трудом мы устроили его в Филатовскую больницу у площади Восстания. Шел я рано утром через Трубную не для того, чтобы хоронить Сталина, а чтобы спасти своего сына, шел в больницу. Я успел пройти между машинами в тот самый момент, когда они по чье-то мудрому указанию перекрывали все проходы.

Надо заметить, что с юности я не любил Сталина. Сейчас, когда анализирую, почему и как это произошло, думаю, что этим я в большой степени обязан своей матери. Работница текстильной фабрики в Киеве, она еще до Октября включилась в политическую борьбу, а после революции вошла в партизанский отряд, ходила в разведку, переодевшись в костюм цыганки, а потом служила в 6-й армии, где и встретила с отцом. У него была совсем другая биография. Выходец из потомственной семьи разночинцев, он к моменту революции успел окончить классическую гимназию и два курса консерватории в Петрограде, однако увлекся политической деятельностью и вступил в ту самую 6-ю армию, которая двинулась из Петрограда на помощь Украине.

Мать очень гордилась тем, что однажды Надежда Константиновна Крупская в своем выступлении на митинге в Киеве назвала ее в числе других первыми ласточками революции. Однако в конце 20-х годов и мать и отец отошли в сторону от партийной работы и занялись профессиональной деятельностью: мать в качестве врача, а отец — работника финансовых органов. Наверное, это спасло их от репрессий в 30-х годах. Фанатично преданная революции, мать не понимала и не принимала того, что происходило при Сталине, хотя до конца жизни сохранила веру, что все это будет преодолено, что во всех революциях были свои изломы, изгибы, двужение вспять, надо только набраться терпения и никогда не терять надежды. Время все поставит на место.

Меня и назвали родители Федором не почему-нибудь, а в честь Фридриха Энгельса. Может быть, поэтому из двух наших классиков я всегда как-то больше был расположен к нему... Первые песни, которые я услышал в детстве от матери, были «Вихри враждебные реют над нами» и «Наш паровоз, вперед лети!..». Строчки из последней песни я включил в доклад Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС. И они ему очень понравились...

Родители постоянно переезжали с места на место, и я теперь понимаю, что отец опасался репрессий. В юности же мне об этом ничего не рассказывали. Отец написал об этих, наверное, драматических событиях их жизни в стихах, посвященных матери: «И долго борювшись за свечок Коммуны, случайно ты вышла из стройных рядов. Но в сердце звенят еще прежние струны, стремлений не сбывшихся пламенный зов». Мать не прямо, а исподволь воспитывала во мне восхищение героикой гражданской войны, всего ленинского периода нашей истории и критическое отношение к тому, что происходило в 30-х годах.

Однако подлинную школу политического созревания я прошел позднее. В 1950 году я приехал в Москву для поступления в аспирантуру. Я должен был пробиться любой ценой, тем более что у меня не было ни рубля на обратную дорогу. Самоуверенный мальчик, попав на прием к ученому секретарю АН СССР В. П. Пешкову, физику по специальности, предложил: «Я окончил институт за два года. Мне нужно только один год в аспирантуре. Я обещаю защитить день в день. Вы же физик — поставьте на мне эксперимент». Василий Петрович посмеялся, и я получил разрешение на один год. И действительно защитился с опозданием всего лишь на день.

Так вот, во время пребывания в аспирантуре я познакомился с бывшим председателем то ли Ставропольского, то ли Ростовского Совета еще во время революции 1905 года со странной казачьей фамилией Герус. Он жил в маленькой комнатке в общей квартире возле Красных ворот, где и отвел мне место на раскладушке. Три раза в день Лонгин Федорович кормил меня и себя гречневой кашей с молоком — на большее у нас не хватало. Не это было моей главной пищей.

У хозяина в его убого обставленной комнатенке был огромный книжный шкаф с политической литературой. Стенограммы всех съездов партии, запрещенные во всех библиотеках страны. Первое издание ленинских произведений с подробными комментариями, произведения Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Томского — словом, всех представителей ленинской гвардии. Я читал это по ночам, при свече, устроившись в самом углу прямо на полу. Читал взахлеб, особенно стенограммы съездов в конце 20-х годов, которые потрясали своими бурными страстями, разногласиями мнений, острым предвидением будущего. До сих пор помню одну из речей представителя оппозиции, который прямо говорил о том, что складывается культ личности Сталина, режим его авторитарной власти и что дело идет к кровавым репрессиям внутри самой партии. После этих ночных чтений я уже другими глазами перечитал материалы процессов против оппозиции в 1936—1938 годах и был поражен, как могут другие не видеть, что все это чудовищная ложь с начала до конца. Меня удивляло, что даже такой проницательный человек, как Лион Фейхтвангер, который присутствовал на одном из процессов, не сумел разглядеть истину, простую, как вода. Впрочем, его удивило, как Бухарин, делая самые страшные саморазоблачения — о своей службе в царской охранке, о подготовке покушения на Ленина, — спокойно помещивал ложечкой в стакане с чаем... И все же Фейхтвангер дал обмануть себя.

Что там говорить, большой мастер режиссировал эти кровавые политические драмы, если человек, переживший фашизм, не смог чутким ухом уловить фальшь во всем оркестре. Уже тогда я пытался представить себе, какой ценой можно было добиваться подобных ошеломляющих результатов. Того, чтобы крупные политические деятели, прошедшие через царские тюрьмы и даже каторги, с такой покорностью агнцев, которых тащат к жертвенному камню, поливали себя и других мутной пеной изобличений, чтобы ни у кого не хватило мужества на процессе вставить хотя бы одно слово, которое показало бы присутствовавшему, что все это грубый и жестокий фарс. Как это могло быть? Пытки, истязания?.. Обещание прощения самому, сохранения семьи? Внушение мысли об исторической необходимости этой жестокой чистки? И уже тогда пришла мне в голову мысль о том, что это просто были спектакли с тщательно заученными речами и даже репликами. Спектакли, которые повторялись по нескольку раз, так что обвиняемые не знали, то ли это подлинный суд, то ли это очередная репетиция.

Говорю обо всем этом, потому что впоследствии много раз читал и слышал, как люди постарше и поопытнее меня говорили, что они слепо верили вождю. И не просто верили, но и искренне преклонялись перед ним в своих поэтических и прозаических творениях. Сколько себя помню, едва ли не с юности я испытывал глубокий протест из-за того, что один человек определяет все: как нам жить, что делать и даже как думать.

Читатель не поверит, но это правда: после моих ночных чтений мне нередко снилось, что я спорю со Сталиным, и все было очень четко, как в хорошем кино. Я обвинял его в преступлениях, я говорил ему о бедах народных, о подавлении мысли, о воспитании рабской покорности. А он со своим характерным акцентом веско опровергал все это. Сейчас я думаю, что уже тогда я был травмирован политикой, она вошла не только в мое сознание, но и в подсознание. Кстати, мне впоследствии многократно снились сны, где я дискутировал с Хрущевым, или с Андроповым, или с другими деятелями. Странно, но факт. Может быть, так и формируется политический человек. Разнообразные впечатления, испытания и знания, переплетаясь, становятся его сущностью.

Надо сказать, что болтали мы в аспирантские годы с близкими друзьями о Сталине крайне неосторожно. И вот однажды меня и моего друга — ныне он видный ученый и политический деятель — пригласил в ресторан Дома журналиста С. А. Покровский, который работал в том секторе Института государства и права АН СССР, где мы учились в аспирантуре. Он завел разговор о Сталине. И я со свойственной мне опрометчивостью чуть было не нырнул в омут. Но тут мой друг толкнул меня ногой под столом и говорит шутливо: «Да о чем вы, Серафим Александрович, прекрасные шашлыки, вино, поговорим о женщинах». А тот снова за свое, а я снова чуть не клонул, а друг мой снова меня ногой толк, так и не выудил из нас Покровский ожидаемого. Много лет спустя, когда выяснилось, что Покровский посадил таким путем несколько аспирантов, одного из них расстреляли, я понял, что мой друг спас мне жизнь...

Кстати говоря, в свою диссертацию я вопреки прямому указанию заведующего сектором так и не включил ни одной ссылки на работы Сталина, мотивируя тем, что он ничего не писал о Добролюбове (это была моя тема). Так что не все, далеко не все искренне оплакивали павшее величие...

Тем временем мои отношения с добрейшим Лонгином Федоровичем закончились плачевно. Однажды я обнаружил рядом с очередной тарелкой гречневой каши с молоком записку, написанную взволнованным почерком: «Петр Михайлович! (Забыл, как меня зовут?) Нам придется, к сожалению, расстаться. Ваши ночные чтения мешают моему и без того трудному засыпанию. Так что извините меня и подыщите себе другую квартиру». Мне пришлось пустить в ход всю свою хохлацкую настырность, и я добился размещения в аспирантском общежитии на Малой Бронной, в одной комнате, кстати говоря, с нынешним президентом Академии наук СССР Г. И. Марчуком. Как видите, жизнь с самого начала баюкала меня интересными знакомствами.

Моя академическая жизнь, однако, оборвалась быстро и неожиданно для меня самого. Мне заказали рецензию на какую-то книгу о Герцене для журнала ЦК КПСС «Коммунист». Я не знаю, что больше привлекло внимание редакторов — сама рецензия или двадцатипятилетний автор, молодой кандидат наук, обуреваемый жадной активной деятельностью. Сейчас мало кто помнит, что очень скоро после смерти Сталина во всех сферах культурной и политической жизни начался поиск представителей молодого поколения, которые могли бы по-новому двинуть дело. Так я попал на работу в журнал «Коммунист». Одновременно со мной туда пришли десятка полтора таких же, как я, выходцев из академической и журналистской среды. То же самое потом я видел и в аппарате ЦК КПСС. В печати стали появляться новые имена, которые олицетворяли оттепель: В. Дудинцев, В. Померанцев, Е. Окуджава...

В политической сфере эта перемена происходила, разумеется, медленней. Большинство моих сверстников так и застряли на уровне советников. Но на этом уровне обновление шло весьма активно. Не знаю, было ли это результатом установки сверху или происходило стихийно, но старшее поколение политических работников тогда стремилось опереться на молодежь. Именно она и олицетворяла оттепель. Замечу попутно, что пока на поверхности перестройки мы видим имена почти исключительно представителей нашего поколения. А самое главное начнется тогда, когда пойдет новая волна и включатся молодые энтузиасты, реформаторы, которые так же неистово уверуют в необходимость перемен и так же фанатично возьмутся за дело, как дети XX съезда.

## 2

Первые месяцы после смерти Сталина были полны тревожного ожидания. Зловеще прозвучали в ушах произнесенные Берией на траурном митинге с Мавзолея рефреном повторяемые слова: «Кто не слеп, тот видит...» Но первые речи Н. С. Хрущева, Г. М. Маленкова и других руководителей уже несли с собой какие-то элементы новизны. Стали говорить о народе, его нуждах, о том, что целью социализма не может быть только индустриальный рост, о продовольствии, о жилищной проблеме, о прощении тех, кто оказался в плену. Словом, повеяло ветерком перемен.

Наш журнал какое-то время размещался в здании ЦК КПСС. Мы входили в одну партийную организацию с его аппаратом. Мне больше всего запомнилось совещание партийных и государственных работников, в котором принимали участие тогдашние руководители страны. С основным докладом выступил Г. М. Маленков. Главный пафос его речи был — борьба против бюрократизма «вплоть до его полного разгрома». Он в значительной степени повторил мотивы своего выступления на XIX съезде партии. То и дело в его устах повторялись такие уничтожающие характеристики, как «перерождение отдельных звеньев государственного аппарата», «выход некоторых органов государства из-под партийного контроля», «полное пренебрежение нуждами народа», «взяточничество и разложение морального облика коммуниста» и т. д. Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших как раз тот самый аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность со страхом, страх с возмущением. После доклада стояла гробовая тишина, которую прерывал живой и, как мне показалось, веселый голос Н. С. Хрущева: «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора». И только тогда раздалась дружные, бурные, долго не смолкавшие аплодисменты. Так одной фразой Первый секретарь завоевал то, чего Председатель Совета Министров не смог получить своими многочисленными, страстными речами...

Внутри редакции тоже происходили удивительные движения. Месяца через три после смерти Сталина нам поручили написать статью о роли народных масс в истории. Писал ее в основном философ М. Д. Каммари, который был известен своими работами о роли личности в истории. Он привлек к этому своего заместителя и для вставок меня. Я перечитал

недавно статью. Как остро говорилось в ней против культа личности, о борьбе с бюрократизмом, о развитии демократии! Откуда что взялось?..

Руководство редакции поддержало мое предложение провести конкретные социальные исследования о местах заключения, о привилегиях в снабжении продовольствием и услугами здравоохранения, об источниках нетрудовых доходов. Обсуждая со мной этот замысел, заместитель главного редактора А. И. Соболев, меряя большими шагами свой кабинет, говорил: «Надо поднять голос до высокого накала возмущения против бюрократизма и перерождения нашего аппарата».

Я привлек тогда к этому делу удивительного человека, представлявшего живой осколок ленинских времен, бывшего работника РКИ Нефедова (к несчастью, забыл имя-отчество), который с юношеской страстью ухватился за возможность участвовать в расчистке авгиевых конюшен сталинской поры. Мы посетили множество тюрем и лагерей в Рязанской области. Мы направили большую группу студентов для сравнения столовых и буфетов на заводах и в министерствах. Мы получили в Статистическом управлении сведения о неравенстве в распределении доходов. Одним словом, мы собрали пять пухлых томов материалов, которые, увы, так и не увидели света. Руководство редакции не решилось даже направить служебную записку в партийные органы, настолько ужасающими выглядели факты. Мне запомнилось, что в Рязанской области в то время происходило больше убийств, чем во всей Англии. Как же мог журнал, который на протяжении десятилетий твердил о почти полном изжитии «пережитков капитализма» в сознании людей, предать эти факты гласности!

Мне запомнилось отчетливо и выступление на одном из закрытых совещаний крупного хозяйственного руководителя того времени В. А. Малышева. Он говорил о нашем резком отставании от Запада в области науки и техники, производительности труда, о тенденции к технической стагнации, об отсутствии внутренних стимулов для саморазвития экономики, о погубленном интересе крестьянства к труду, об отсутствии должных стимулов у рабочего человека, о нищенском жизненном уровне населения, особенно в деревне, о неэффективности административных методов управления хозяйством. Он ставил вопрос о коренной реорганизации всей экономической системы на началах самоуправления. Это было больше тридцати лет назад. Как же произошло, что мы до сих пор мечемся в кругу тех же проблем и только сейчас стали нащупывать пути их решения?..

Правда, и тогда уже в редакции были опытные люди, которые скептически оценивали все эти словесные фейерверки. Одним из них был мой непосредственный руководитель Павел Африканович Усольцев. По его собственному рассказу, восемнадцатилетним пареньком он с котомкой на палке, прихрамывая (ногу повредил на сенокосе), ушел из деревни в период коллективизации. Был он тогда еще совершенно неграмотным. Затем рабфак, партшкола и вот — член редколлегии ведущего партийного журнала. Мы вели с ним отдел критики и библиографии. И надо было видеть, с каким трудом ему давалось знакомство с рецензиями на толстые научные книги, скажем, по истории Киевской Руси, или о современном капитализме, или о философских течениях XIX века. Получив рецензии от маститых академиков и профессоров, он обычно передавал их мне с деликатно обозначенными остро заточенным карандашом небольшими замечаниями на полях: «Так ли это?», «Верно ли?». Однажды из чистого озорства, не желая его обидеть, я написал под каждым из таких замечаний против вопроса: «Может ли быть?»—«Может», «Так ли это?»— «Так», «Да ну?»— «Ну да» и т. д. Запечатал статью в конверт и отправил курьером ему в соседний кабинет. Через полчаса он прихрамал ко мне, сел напротив и сказал с большой печалью: «Молоды, Федор. Ох, молод и горяч. Смотри, добром не кончится». Я готов был провалиться сквозь землю от стыда.

Но вот что интересно сейчас оценить: кто же из нас оказался умнее? Должен прямо признать, что этот простой мужик, впятеро менее образованный, чем я, во многом оказался прав в наших спорах. Я написал тогда и с колоссальным трудом буквально протащил через редколлегию статью о развитии советской демократии. В ней было сказано, что Советы депутатов трудящихся должны стать полновластными и постоянно работающими организациями, а не просто собирающимися для того, чтобы проштамповать подготовленные аппаратом решения; что на выборах в Советы надо выдвигать не одного, а нескольких кандидатов, тогда будет реальное голосование; что для претворения репрессий нужно организовать суд народных заседателей в количестве десяти человек, которые выносили бы без судьи вердикт о виновности или невиновности. Я распинался перед ним, что, мол, скоро, очень скоро в нашем советском парламенте, как и в других цивилизованных странах, будут обсуждать каждый закон, будут спорить, будут сталкиваться мнения, будут взвешивать

разные предложения, голосовать по большинству, а не единодушно, будут критиковать министров и пощипывать правительство, контролируя эффективность его расходов. «Наивный ты человек, Федор. Не будет этого никогда,— говорил мне Усольцев.— Верь моему слову — при нашей жизни не будет. Зря хлопчешь и надрываешься. Все законы и указы как готовились, так и будут готовиться в партийном аппарате, а Советы будут только оформлять это. Так было и так будет. И против Лысенко ты зря написал. Конечно, он, может, и не такой образованный, но наш природный, помани мое слово, вернется, обязательно вернется, он ближе, понятнее». А ведь и в этом оказался прав Усольцев. Вернулся Лысенко во времена Хрущева.

Поистине Эразм Роттердамский был непревзойденным знатоком человеческой психологии: глупость, опирающаяся на опыт простого здравого смысла, стоит выше ума, увлеченного плодами собственного воображения. Если бы можно было встретиться с Усольцевым, я бы искренне признался, как мало стоила книжная премудрость, как вредно сказалась на моей биографии жажда перемен...

Вообще у партийных работников, выросших в сталинскую пору, вместе с какими-то отрицательными качествами были одновременно добротность и надежность. Не помню случая, чтобы кто-то из центрального партаппарата того времени мог открыто лгать тебе в глаза. Конечно, он мог скрыть, не сказать что-то, сослаться на то, что это не дозволено, извини, мол, пожалуйста, это да, но прямо врать — нет. Потом я нередко наблюдал резвых выходцев из комсомольской среды. Встретит с распахнутой во весь рот обаятельной улыбкой: «Милый, да ты же знаешь, как я тебя люблю, да я мигом это дело твое проверну, выйду на нужных людей, дело в шляпе». А не успеешь дверь закрыть в его кабинет, отзвонит начальству и скажет: «Гоните его в шею, тоже, нашелся умник, впереди прогресса скакать хочет».

Скоро, однако, я перешел в другой отдел — международный. Приглашая меня к себе заместителем, руководитель этого отдела сказал: «Надо тебе уходить с внутренней тематики, а то ты очень быстро сломаешь себе шею...» Первые мои публикации по международным проблемам привлекли к себе внимание видных партийных руководителей. Правда, вначале не совсем так, как мне бы хотелось.

В соавторстве с одним партийным работником мы опубликовали в нашем журнале статью по теории революции. В ней доказывалось, что в цивилизованных капиталистических странах невозможен насильственный переворот такого типа, который произошел у нас в России. Социализм здесь может утвердиться исключительно мирным, парламентским путем. Ибо сам народ отвергнет любую партию или группу лиц, которые попытаются разрушить традиционные демократические структуры.

После публикации меня пригласил главный редактор журнала С. М. Абалин и сказал, что ему лично позвонил Михаил Андреевич Сулов и высказал недовольство по нашей статье. По мнению Сулова, в статье содержался сильный перекоз в сторону мирного, парламентского перехода. Он утверждал, что не следует исключать такую возможность, которая предоставилась нашей партии, то есть быстрого насильственного захвата власти.

Главный редактор — высокий полноватый человек с добрыми, даже беспомощными глазами — сильно нервничал. Он суетливо бегал вокруг длинного стола для заседаний и все время повторял: «Вот какая история. Неизвестно еще, чем она кончится. Как вы думаете, Федор Михайлович?» Я ему ответил, что полагаю, что ничем не кончится, по крайней мере в ближайшее время, потому что что-то не видно, чтобы какая-либо партия в капиталистических странах имела реальную возможность взять власть, будь то парламентским или непарламентским путем. «Да не в этом дело,— досадливо сказал мне главный редактор.— Разве это наша забота? Я говорю о Михаиле Андреевиче. Теперь он будет следить за каждой нашей и особенно вашей публикацией. Вот в чем проблема-то!» «Да забудет он завтра об этом»,— успокаивал я его. «Нет, тут вы ошибаетесь в корне. Он никогда ничего не забывает»,— отвечал Абалин. Впоследствии я сам получил возможность убедиться в этом. Память у Михаила Андреевича была цепкая на лица и слова, особенно такие, что шли вразрез с его пониманием...

Кстати сказать, судьба этого человека — я имею в виду нашего главного редактора — была трагической. Через его мягкую, хрупкую душу прокатились все волны политических борений 30—50-х годов. Еще в молодости своей, простым крестьянским пареньком-красноармейцем, он женился на крупной революционной деятельнице, которую звали, помнится, Розой Марковной... Она буквально за уши тащила его через рабфак и партийную школу к политической жизни, к которой он особого призвания не чувствовал. В 1937 году она была репрессирована. Ему, наверное, предъявили бесспорные доказательства ее «предатель-

ства», поскольку он отрекся от своей жены. Вскоре он женился на простой милой женщине, которая осталась на всю жизнь домохозяйкой. Тем временем судьба поднимала его вверх и в конечном счете вопреки его собственному желанию сделала главным редактором теоретического журнала ЦК партии. Я точно знаю, что он неоднократно просил руководство освободить его от этой роли, поскольку плохо разбирался в теоретических вопросах. Ну, ответ был обычный в ту пору: «Ты солдат партии и выполняй ее задание». Несчастный человек бесконечно маялся на своем посту.

Одно время пошли навстречу Абалину, но довольно странным образом. После XIX съезда партии вместо узкого Политбюро был сформирован широкий Президиум ЦК ВКП(б). Как потом стало ясно, Сталин готовил таким путем новую смену кадров, замыслив обновить состав высшего руководства и отстранить или, как прежде, ликвидировать своих засидевшихся соратников. В Президиум неожиданно вошел человек из научной среды Д. И. Чесноков. Он был назначен главным редактором журнала «Коммунист», однако Абалин со своего поста смещен не был, так что какое-то время руководили журналом на равных два главных редактора. Чесноков приходил на заседания, как правило, с некоторым опозданием, когда вся редколлегия уже сидела за длинным столом, а Абалин за своим, широким. Чесноков медленно и важно шел к председательскому месту, протянув два пальца только одному из членов редколлегии — своему коллеге философу Каммари, и садился в кресло, угодливо освобожденное ему тут же Абалиным. Абалин метался какое-то время, не зная, куда сесть: вроде как за длинный стол с членами редколлегии неудобно, а с Чесноковым — не по чину, и устраивался со стульчиком сбоку, в уголке своего кровного и родного письменного стола. В отличие от Абалина, который терпеливо выслушивал все выступления, замечания и предложения, Чесноков обычно очень небрежно бросал: «Ну, это в рабочем порядке. У кого есть существенные идеи?» Поскольку таковых не оказывалось, статьи принимались и отвергались быстро, по его личному усмотрению. Проществовал, впрочем, Чесноков недолго: сразу после смерти Сталина он лишился не только своего места в Президиуме ЦК партии, но и в журнале. А Абалин так и остался дотягивать ляжку.

До смерти Сталина все было проще: можно было сверить любое положение в статье с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и выправить в соответствии с ним. А после 1953 года, когда хлынули новые идеи, неожиданные и противоречивые, когда каждую неделю что-то происходило, что-то трещало, ломалось в идеологическом режиме, который складывался десятилетиями, Абалин чувствовал себя в полной растерянности, он метался, он не находил себе места, он не знал, как реагировать на острые, бескомпромиссные сшибки, которые происходили едва ли не на каждом заседании редколлегии журнала. Больше всего ему хотелось уладить все чисто житейским образом. «Ну что вы так?— говаривал он обычно.— Ну разберитесь, поправьте где надо, чего спорить и задираться?» Но споры не утихали.

После реабилитации вернулась из дальних краев первая жена Абалина Роза Марковна. Он навестил ее в больнице, и несколько часов они говорили наедине. А на следующий день Абалина нашли мертвым в его квартире. Он сидел в кресле на кухне, все краны газовой плиты были открыты, а окна и двери закрыты. Похоронили его по-тихому, изобразив все как несчастный случай. Честный и слабохарактерный человек этот не выдержал бремени, которое обрушила на его совесть оттепель.

### 3

Моя встреча с этим человеком была столь неожиданной и непредуготованной, что в этом можно было усмотреть чистый случай либо — по вкусу — перст судьбы. Дело было так.

Я катался как-то со своим сыном на велосипеде на Куркинском шоссе в Подмосковье. Те, кто бывал в этих местах, вероятно, знают, что там проходит знаменитая и удивительная по красоте велосипедная трасса, на которой нередко устраиваются отечественные и международные состязания. Это место именуют советской Швейцарией.

И вот между домом отдыха Нагорное, который называется Верхним, и дачным поселком того же ведомства, который называется Нижним Нагорным, имеется спуск, извилистый и очень крутой. Редко когда обычный велосипедист рискует спускаться с него. Но мы с моим семилетним отпрыском лихие парни, мы скатывались оттуда вдвоем на одном полуночном велосипеде. Вся штука заключалась в том, что, преодолев крутой спуск, надо было как можно выше взлететь на другую сторону, на примерно такой же крутой подъем.

Ну, доехать до самого верха нам практически никогда не удавалось. Приходилось соскакивать где-то на полпути.

В тот солнечный летний день нам тоже не удалось взлететь слишком высоко. Мы сошли с велосипеда и, придерживая его, медленно поднимались по крутогорью. Мысли мои были далеки от каких-либо деловых сюжетов. Сильная жара, обычная моя склонность к отвлеченным размышлениям да и постоянная погруженность в семейные проблемы вызвали в моей душе какое-то подобие легкого протеста, окрашенного в юмористические тона. Ну чем я занимаюсь, думалось мне, чему я посвящаю лучшие годы своей жизни? Все-таки нет большего рабства, чем семейное рабство. Удивляюсь, как такая простая мысль не пришла в голову до меня ни одному из мыслителей. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Помню, как потрясла меня эта фраза из трактата Руссо «Об общественном договоре», когда я изучал историю политических учений. Он писал о социальном рабстве. Но это такой род рабства, где человек ничего не может поделывать: не он определяет время, место своего рождения и свое общественное положение. Но есть другой, куда более тяжелый и к тому же добровольный род рабства. Мужчина рождается свободным и отдает себя в абсолютную власть женщине. Ты попадаешь под тотальный контроль другого человека, чуждого тебе по своей культуре, по своим привычкам, образу мыслей, почти по каждому слову и каждому движению.

Ну, конечно, семейное рабство имеет свою оборотную сторону. Что может сравниться с той невыразимой словами радостью, которую испытываешь, глядя, ощущая, впитывая в себя свою маленькую копию, этот странный комочек бытия, который постепенно обретает твой облик и до смешного повторяет твои жесты, твои движения, привычки. Если бы не брачное насилие, я никогда бы не познал этого чувства, чего-то нутряного, глубинного, подсознательного, захватывающего всего тебя целиком, без остатка.

Тем временем это маленькое воплощение моего «я», мой Сергуня вышагивал рядом со мной быстрыми, немного семенящими, но живыми, энергичными шажками, сверкая черно-какими глазами, насыщенными какой-то весомой мыслью, озорством, какой-то притягивающей магнетической силой... Господи! Как давно это было!

Да, так вот, не успели мы еще преодолеть подъем, как в двух шагах от нас остановилась «Чайка» и из нее выскочил, чуть прихрамывая, мой старый знакомый Иван Сергеевич Кортунюв.

— Федор, что ты тут катаешься на велосипеде? Делать тебе нечего, да в такое время, — сказал он, улыбаясь своей широкой, слегка японской улыбкой. — Идем работать к нам, в наш отдел. Меня назначили замом, и освободилось мое место консультанта. Я рекомендую тебя.

— Как кататься на велосипеде — я понимаю, но что такое работать в отделе — для меня темный лес, — сказал я, несколько ошарашенный этим напором, хотя давно уже взял себе за правило не выражать удивления ни по какому поводу.

— Какой там велосипед! Впрочем, пожалуйста, ты сможешь и на велосипеде кататься в свободное время, если оно будет у тебя оставаться, конечно! — продолжал загадочно улыбаться Кортунюв. — Приходи завтра утром в третий подъезд. Я закажу тебе пропуск.

Ответить я не успел, да он и не ждал ответа. Шикарная «Чайка» исчезла за поворотом. Я работал с Кортунювым вместе, вернее в одном коридоре. Наш журнал «Коммунист» переехал в ту пору на третий этаж здания, принадлежавшего газете «Правда», где он тогда трудился. Собственно, мы даже не общались по-настоящему друг с другом, хотя часто играли на нашем же этаже в настольный теннис. Впрочем, раза два-три мы беседовали с ним на серьезные темы, прогуливаясь во дворе.

— Кто это такой, папочка? — спросил меня сын, который с детства отличался любознательностью и совал свой носик во все дела. — Куда он тебя приглашал? Что это такое — отдел?

Я ему не ответил. Что я мог сказать, когда сам смутно представлял, что значит работать в отделе? Как это я могу работать в отделе? Я и так с трудом переносил ту минимальную дисциплину, которую требовал журнал. А в отделе надо приходиться ровно в девять на работу и сидеть до шести, а то и до семи, до восьми каждый день. По силам ли это мне? Да и что я понимаю в делах отдела? Я никогда никем и ничем не руководил и не испытывал к этому особого призвания. Я написал к тому времени две книги и почти в каждом номере журнала публиковал свои статьи, и больше всего мне хотелось писать, а если получится, то поподробнее себя и в художественной литературе. И даже журнал, где было достаточно возможностей для письма, тяготил меня прикованностью к рабочему месту

и к каждому очередному номеру. Что же говорить об отделе, где, наверное, ни одной минуты не принадлежишь самому себе!

Несмотря на скромное место, которое я занимал в журнале, я чувствовал себя активным участником бурного процесса политической жизни конца 50-х годов. Каждая моя публикация (а я напечатал несколько десятков статей в журнале) вызывала острые дискуссии в самом коллективе и за его пределами. «Вы ходите по лезвию ножа, Федор Михайлович, — говорил мне один многоопытный и хитроумный работник редакции. — Смотрите, не обрежьте себе пальцы». Но я меньше всего думал об этом. Мне часто говорили, что во мне вообще есть генетический недостаток — слабо развитое чувство самосохранения. И верно: я трижды ломал себе руку, один раз ногу и даже ухитрился повредить позвоночник. Но дело, конечно, не в этом. Вступив в область политики после 1953 года, я глубоко верил, что нахожусь в русле самых прогрессивных течений в нашей стране. Быть может, немножко впереди, немножко забегая, но ведь кто-то должен брать на себя эту опасную и опрометчивую, с точки зрения личных интересов, миссию?

Такое же чувство испытывали тогда многие представители послесталинского поколения. Политический маятник качнулся так далеко в сторону авторитарного режима и тотального контроля, что он неизбежно должен был породить огромный импульс противоположного движения. Я встречал все больше людей в политической среде, зараженных мессианским стремлением реформировать нашу идеологию и все общество. То был род какого-то тираноборства, тем более ожесточенного, что оно приходило в острейшее столкновение с настроениями большинства, которые по инерции продолжали думать и жить прежними представлениями.

Впрочем, эпизод этот так мало занял мое внимание, что я даже не сообщил о нем жене, когда мы вернулись в нашу маленькую комнату на втором этаже двухэтажного барского дома в Нагорном. Я говорю «барского», хотя это неточно. Дом, собственно, был построен пару десятилетий назад, но образцом — хотя, быть может, не лучшим — для него послужили старые барские дома средней руки.

Я рассказываю об этих житейских подробностях, чтобы читатель видел, что я ни в малейшей мере не был предуготован к встрече с человеком, который стал политическим мифом времени и во многом определил мою судьбу на долгие годы.

Но первая моя встреча с Юрием Владимировичем Андроповым, или с Ю. В. (так его за глаза называли в отделе), прошла довольно обыденно. Был он тогда одним из заведующих в одном из многих отделов. И я почти ничего не слышал о нем до встречи. В здании, где располагался отдел, я бывал уже не раз. Буквально за несколько дней до этого визита я посетил тот же третий подъезд, тот же третий этаж по приглашению соседа Ю. В. по кабинету, который занимался проблемами международного коммунистического движения. Мне довелось редактировать его статью, и он пожелал встретиться со мной непосредственно, поскольку, как мне объяснили, предложенные мною поправки и замечания произвели на него благоприятное впечатление. Потом я узнал, что руководитель международного отдела тоже имел виды на меня, хотел ко мне присмотреться с той же целью, что и Ю. В. — не подойду ли я для работы консультантом в его отделе.

Поэтому я зашел в кабинет Ю. В. без особого трепета, хотя, конечно, и не без острого любопытства: журналистская и академическая среда, в которой я пребывал до этого, мало настраивала на чиновничество, не говоря уж о том, что с юных лет я был настроен довольно критически ко всяким авторитетам, пытаюсь самостоятельно оценить достоинства и недостатки каждого и внутренне сопротивляясь любому внушению. Кроме того, мне было глубоко свойственно ощущение игры в любой ситуации. Как будто все, что происходило вокруг меня, делалось не очень всерьез, а по какому-то предварительному молчаливомуговору, когда каждый участник выступает в определенной роли, относясь к ней как к чему-то внешнему, неглавному, тогда как главное оставалось невысказанным и совершалось где-то в тайниках сознания или даже подсознания.

Это чувство, кстати говоря, часто спасало меня в острых ситуациях, когда другой, менее игровой человек испытывал страх за личную судьбу и порученное дело, что сковывало его, мешало ему активно участвовать в обсуждении проблемы или в действии. Мне казалось, что лучше в любом положении сохранять чуть отстраненное, ироничное отношение к происходящему. Но, конечно же, такое свойство характера имело и отрицательную сторону. Я нередко бывал неосторожен и опрометчив в своих высказываниях и, как говаривал мне впоследствии Ю. В., «подставлял бока».

Помнится, я не испытал робости, когда после обычного рукопожатия с выходом из-за стола Ю. В. вернулся на свое место, а мы с Коруновым, который сопровождал ме-

ня в кабинет, уселись по обе стороны за маленький столик, стоящий перпендикулярно к столу хозяина кабинета. Бросив беглый взгляд вокруг себя, я обратил внимание прежде всего на два огромных, почти во всю стену, окна, выходящих в сторону подъезда, портрет Ленина над головой хозяина кабинета, удлинненный стол слева от него, у которого находилось не менее десяти — двенадцати довольно массивных стульев и кресло на председательском месте. Я не знал тогда еще, что мне придется сотни раз на протяжении многих часов сидеть за этим столом, как правило, на одном и том же месте, по левую руку от Ю. В., участвовать вместе с ним в трудном, нередко сумбурном, бесконечно утомительном и таком восхитительном процессе — совместном коллективном сочинении, редактировании и переписывании документов и речей руководителей страны. Но все это в будущем.

А пока я сидел, улыбаясь почему-то почти весело в ответ на мягкую и добрую улыбку Ю. В. Он уже тогда носил очки, но это не мешало рассмотреть его большие, красивые, лучистые голубые глаза, которые пронизательно и твердо смотрели на собеседника. Его огромный лоб, как будто бы специально освобожденный от волос по обе стороны от висков, его большой, внушительный нос, его толстые губы, его раздвоенный подбородок, наконец, руки, которые он любил держать на столе, поигрывая переплетенными пальцами, — словом, вся его большая и массивная фигура с первого взгляда внушала доверие и симпатию. Он как-то сразу расположил меня к себе, еще до того, как произнес первые слова.

— Вы работаете, как мне говорили, в международном отделе журнала? — раздался его благозвучный голос.

— Да, я заместитель редактора отдела.

— Ну и как вы отнеслись бы к тому, чтобы поработать здесь, у нас, вместе с нами? — неожиданно спросил он.

Этот вопрос — я хорошо помню — был задан в самом начале разговора и поэтому прозвучал для меня совершенно неожиданно. Я мог ждать такого вопроса где-то в конце разговора, после того как хозяин кабинета познакомится со мной. Только потом я узнал, что такой вопрос, в общем, ни к чему не обязывал Ю. В. Это еще не было предложение. Это был способ знакомства с собеседником. Не думаю, что такой способ выражал какую-то накатанную или заранее подготовленную модель общения или преследовал цель поставить человека в нелегкое положение и проанализировать его реакцию. Нет. Скорее это отражало одно из характерных качеств Ю. В. — необыкновенно развитую интуицию, которая редко обманывала его.

— Я не думал об этом, — сказал я совершенно искренне, удивленный таким оборотом дела и забыв употребить общепринятую форму о том, как высоко я ценю оказанное мне доверие. И тут же продолжал: — Да и, откровенно говоря, я совершенно не уверен, что буду полезен в отделе. Я люблю писать, но не чувствую себя особенно пригодным для аппаратной работы.

— Ну, чего другого, а возможности писать у вас будет сверх головы. Мы, собственно, заинтересовались вами, поскольку нам не хватает людей, которые могли бы хорошо писать и теоретически мыслить. У нас здесь достаточно организаторов, и вам меньше всего придется заниматься чисто аппаратной работой. Консультанты у нас приобщены к важным политическим документам. Ваша работа в журнале и ваше образование — вы, кажется, кандидат юридических наук? — могут быть с большей пользой применимы у нас, на партийной работе.

— Я никогда не занимался проблемами социалистических стран...

— Но вы писали о советском опыте, о нашем государстве, о развитии демократии, — вставил свое слово Кортунов. — А это как раз хорошая база для того, чтобы освоить опыт других стран социализма.

— Ну так как же? — Ю. В. приветливо улыбнулся. — Я думаю, что мы понравились друг другу?

— Что касается меня, здесь нет сомнений.

— Ну вот и хорошо, — сказал Ю. В. и дружески пожал мне руку.

Не помню, как очутился в коридоре, попевая за Кортуновым, который, несмотря на свое прихрамывание, быстрым, спортивным шагом шел к своему кабинету на четвертом этаже.

— Тебе будет интересно, Федор, — сказал Кортунов. — Ты увидишь, мы хорошо срабатываемся.

Я не знал, что отвечать, и поэтому продолжал улыбаться все той же глупой улыбкой, которую вызвала у меня встреча с таким значительным и одновременно таким обаятельным человеком, каким мне показался руководитель этого важного отдела. Кортунов

попрощался со мной на лестничной клетке, и я, спустившись пешком с третьего этажа и отдав свой пропуск у входа дежурному в звании лейтенанта, оказался на улице, где стояло у подъезда десятка два черных и белых машин «Волга», не так давно появившихся на улицах Москвы.

Я все еще переживал приятное чувство от только что состоявшегося разговора, но, право же, у меня в тот момент и в мыслях не было, что все это происходит всерьез, что эта встреча перевернет всю мою жизнь, направит ее по какому-то новому пути, о котором я никогда не думал, полагая себя человеком, созданным для совершенно иной деятельности — литературной, научной, но никак не политической. Дальнейшие события показали, как глубоко я ошибался — и в своем представлении о себе, и в оценке своего призвания. Впрочем, возможно, как раз тогда-то я и был прав, а ошибся, полагая себя политическим человеком?..

## 4

Прошло десять дней, и я не то чтобы забыл — это было невозможно, — а как-то отодвинул воспоминание об этой встрече, хотя в глубине души она оставила непонятное мне самому ощущение удовлетворения. Мне показалось, что я понравился такому значительному человеку, и это было приятно. Вдруг в середине дня звонок в редакцию. Коротков:

— Федор! Завтра утром выходи на работу. Пропуск тебе заказан. Состоялось решение.

— Решение? Какое решение и что в нем?

— Как что? Ты назначен консультантом отдела. Подписал лично сам Первый. Так что не тяни волюнку и завтра же приступай. Дел тут у нас по горло. Ну, будь здоров. (Слышу, у него зазвонил другой телефон, и так громко!) Меня вызывает Ю. В.

Я положил трубку с таким выражением лица, что мой коллега, сидевший напротив за своим столом, спросил:

— Что-нибудь случилось? Какой-то ляп в статье?

— Да нет, ничего плохого вроде не случилось, только мне придется, наверное, сегодня же сдать тебе все дела.

— Да что ты?! Так круто?

— Переводят на работу в отдел, — сказал я все еще как-то рассеянно.

— Так чего же ты киснешь, старина! С тебя причитается. Давай закатывай отвальную!

— Вместо отвальной я, пожалуй, оставлю тебе свою маленькую библиотеку. Она состоит из тринадцати томов произведений товарища Сталина на глянцево́й бумаге и в роскошном переплете.

На другое утро я уже сидел за письменным столом у окна с видом на замкнутый внутренний дворик. Комната мне не понравилась: она была узкая, как пенал, и напоминала первую в моей жизни жилую комнату в трехкомнатной квартире, которую я получил, работая в журнале. Это было такое же кишкообразное помещение, постоянно продуваемое сквозняком, поскольку дверь и окно были на одной линии. Кроме того, с той комнатой у меня были связаны тягостные воспоминания. Мы жили там четвером — я с женой, сыном и няней, — а затем впятером, когда приехала моя мама, вышедшая на пенсию.

Дня три я томился в своем «пенале», не зная, куда себя деть. Весь отдел был занят на Совещании представителей коммунистических и рабочих партий 1960 года, и до меня никому не было дела. На третий день к вечеру раздался знакомый, теперь почти уже родной голос Короткова:

— Федор, ты сейчас не очень занят? Я хотел захватить тебя в одно место. Тебе будет интересно. Я уже на выходе.

Обрадованный, я быстро спустился с третьего этажа и добежал до подъезда, как раз когда показался прихрамывающий Коротков. Мы сели в машину и через три минуты уже входили в Кремль. Предъявив свое удостоверение, Коротков властно бросил: «Это со мной», — и меня пропустили, разумеется, предварительно тщательно сверив фотографию в моем удостоверении с моей физиономией.

Сердце мое забилось радостно: я впервые попал в Кремль. Я гордо вышагивал рядом с Коротковым, успевая бросать взгляды вокруг и стараясь запечатлеть все — и старые величественные башни, и купола церквей, и широкую площадку на белесой мостовой с черными машинами, которые казались неуместными здесь, на фоне этих величественных древностей.

Мы поднялись на верхний этаж и, пройдя по широкой внутренней лестнице, оказались в огромном зале, где стояло множество столов, уставленных напитками и разнообразными закусками. Не менее двухсот человек толпились вокруг этих столов, чокались, произноси-

ли тосты, переходили с места на место и создавали такой шум и гам, в котором трудно было что-либо расслышать.

Тут внимание мое было отвлечено громким разговором, который происходил в самом конце зала, где собрались наши руководители и лидеры других партий. Я стал пробираться поближе, чтобы услышать, о чем говорил Первый. Находясь от него шагах в десяти, я впервые вблизи рассмотрел его. Старшее поколение, конечно, помнит эту характерную фигуру, а младшее, наверное, никогда не видело даже его портретов. В ту пору ему, наверное, минуло лет шестьдесят, но выглядел он очень крепким, подвижным и до озорства веселым. Чуть что, он всхохатывал во весь свой огромный рот с выдвинутыми вперед и плохо расставленными зубами, частью своими, а частью металлическими. Его широкое лицо с двумя бородавками и огромный лысый череп, крупный курносый нос и сильно оттопыренные уши вполне могли принадлежать крестьянину из среднерусской деревни или подмосковному работяге, который пробирается мимо очереди к стойке с вином. Это впечатление, так сказать, простонародности особенно усиливалось плотной полноватой фигурой и казавшимися непомерно длинными руками, потому что он почти непрерывно жестикулировал. И только глазки, маленькие карие глазки, то насыщенные юмором, то гневные, излучавшие то доброту, то власть, только, повторяю, эти глазки выдавали в нем человека сугубо политического, прошедшего огонь, воду и медные трубы и способного к самым крутым поворотам, будь то в беседе, в официальном выступлении или в государственных решениях.

В момент, когда я впервые увидел его, он стоял с рюмкой в руке, а все остальные, наши и не наши, сидели за несколькими столами, близко придвинутыми друг к другу. Он держал рюмку с коньяком, хотя она мешала ему говорить, размахивал ею в воздухе, выплескивая коньяк на белую скатерть, пугая соседей и не замечая всего этого. Только потом, когда он уже совсем вошел в раж и глаза его уже не сузились, а расширились от ужасавших его самого воспоминаний, он осторожно поставил рюмку на стол, освободив таким образом правую руку, совершенно необходимую для убедительности его слов. И здесь я впервые услышал от него рассказ, который он потом при мне повторял еще дважды в другой обстановке, более камерной, в присутствии всего нескольких человек. Но что удивительно — он повторял рассказ почти слово в слово.

— Когда Сталин умер, мы, члены Президиума, приехали на Ближнюю дачу в Кунцево. Он лежал на диване, и врачей возле него не было. В последние месяцы своей жизни Сталин редко прибегал к помощи врачей, он их боялся. Берия его, что ли, напугал, или он сам поверил, что врачи плетут какие-то заговоры против него и других руководителей. Пользовал его тогда майор один из охраны, который был когда-то ветеринарным фельдшером. Ему он доверял. Он же и позвонил о кончине Сталина. Стоим мы возле мертвого тела, почти не разговариваем друг с другом, каждый о своем думает. Потом стали разъезжаться. В машину садились по двое. Первыми уехали Маленков с Берией, потом Молотов с Кагановичем. Тут Микоян и говорит мне: «Берия в Москву поехал власть брать». А я ему отвечаю: «Пока эта сволочь сидит, никто из нас не может чувствовать себя спокойно». И крепко мне тогда запало в сознание, что надо первым делом Берию убрать. А как начать разговор с другими руководителями? Тогда все подслушивалось, скажешь кому-нибудь, а он продаст. Несколько месяцев спустя стал я объезжать по одному всех членов Президиума. Опаснее всего было с Маленковым, друзья ведь были с Лаврентием. Ну, я приехал к нему, так и так, говорю. Надо Берию убирать. Пока он ходит между нами, гуляет на свободе и держит в своих руках органы безопасности, у всех нас руки связаны. Да и неизвестно, что он в любой момент выкинет, какой номер. Вот, говорю, специальные дивизии почему-то к Москве подтягиваются. И надо отдать должное Георгию — в этом вопросе он поддержал меня, переступил через личные отношения. Видимо, сам боялся своего друга. А Маленков тогда был Председателем Совмина и вел заседания Президиума ЦК. Словом, ему было что терять. Потом поехал я к Молотову. Тот долго думал, молчал, слушал, но в конце разговора сказал: «Да, верно, этого не избежать. Только надо сделать так, чтобы не получилось хуже». Я ему рассказал о своем плане. А план был такой: заменить охрану у входа, где проходило заседание Президиума, посадить там надежных офицеров и тут же, прямо на заседании, арестовать эту гадину. Потом поехал я к Ворошилову. Вот здесь сидит Климент Ефремович, он помнит. С ним пришлось говорить долго. Очень он беспокоился, что бы не сорвалось все. Верно я говорю, Климент?

— Верно, верно, — громко подтвердил Климент Ефремович, весь красный то ли от рассказа, то ли от выпитого. — Только бы войны не было, — прибавил он почему-то не совсем кстати.

— Ну, насчет войны — это отдельный разговор, — продолжал Первый. — Значит, поехал я тогда к Кагановичу, выложил ему все, а он мне: «А на чьей стороне большинство? Кто за кого? Не будет ли его кто поддерживать?» Но когда я ему рассказал обо всех остальных, он тоже согласился. И вот пришел я на заседание. Сели все, а Берии нет. Ну вот, думаю, наверное, дознался. Ведь не снести тогда головы. Где окажемся завтра, никто не знает. Но тут он пришел, и портфель у него в руках. Я сразу сообразил, что у него там, в портфеле! Да и у меня на этот случай, — тут рассказчик похлопал себя по правому карману широкого пиджака, — у меня, говорю, тоже было кое-что припасено... Сел Берия, развалился и спрашивает: «Ну, какой вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так неожиданно?» А я толкаю Маленкова ногой и шепчу: «Открывай заседание, давай мне слово». Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил сам и говорю: «На повестке дня один вопрос. Об антипартийной, раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение, говорю, вывести Берию из состава Президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать военному суду. Кто за?» И первый руку поднимаю. И тут все остальные подняли руки. Берия весь позеленел — и к портфелю. А я портфель рукой цап! И к себе! «Шутишь, говорю, ты это брось!» А сам нажимаю на кнопку. Тут убегают офицеры из военного гарнизона Москаленко (я с ними договорился заранее). А я им приказываю: «Взять этого гада, изменника Родины, и отвести куда надо». Тут Берия стал что-то бормотать, весь позеленел, в штаны наложил! Такой герой был других за холку брать и к стенке ставить. Ну, остальное вы знаете: судили его и приговорили к расстрелу. Вот как это было. Так вот, я хочу выпить, — тут он снова взял в руки свою рюмку, — за то, чтобы такое нигде и никогда больше не повторилось. Мы сами смыли это вонючее, грязное пятно и сделали все, чтобы создать гарантии против подобных явлений в будущем. Я хочу вас заверить, товарищи, что мы такие гарантии создадим и все вместе пойдём вперед к вершинам коммунизма! За здоровье руководителей всех братских партий!

В этот момент я наконец оторвал глаза от рассказчика и, взглянув в сторону, увидел Ю. В. Он сидел молча, опустив голову и глядя в одну точку. Потом я узнал, что он вообще не любил пить, да и нельзя было ему из-за высокого кровяного давления. Но в тот момент мне показалось, что ему было неловко за рассказчика, что он считал изложение всей этой истории здесь, при таком большом стечении людей, неуместным. Может быть, я ошибался, хотя лицо его было очень выразительным и на нем угадывалась смена настроений. (Впрочем, конечно, его мысли разгадывать вряд ли кому удавалось.)

Что касается меня, то я был поражен всем происходящим, всем услышанным и особенно тем, с какой легкостью я оказался приобщенным к самым сокровенным тайнам государства.

Впоследствии Хрущев многократно возвращался к своему рассказу об аресте Берии и вносил в него новые детали. Самые главные из них касаются реакции различных руководителей на предложение устранить этого палача. Колебался не только Ворошилов, долго приценивался Каганович, спрашивал настойчиво, кто за и кто против, и даже Микоян, с которым Хрущев, собственно, и начал первый разговор, считал вначале, что, быть может, Берия не безнадежен и еще сможет работать в коллективе. Несколько иначе выглядел и самый арест. В 1960 году Хрущев умалчивал о роли Г. К. Жукова, поскольку он незадолго до этого добился его освобождения с руководящих постов. Позднее честность взяла верх над конъюнктурными соображениями. Хрущев признал, что главную роль в аресте сыграл Жуков вместе с Москаленко и другими военными. К слову, мне рассказывал интересный человек, В. Е. Лесничий, партийный работник одного из подмосковных научно-исследовательских центров, о выступлении Г. К. Жукова перед их коллективом. Жуков вспоминал о Берии, которого ненавидел всей силой своей неукротимой души.

По словам Жукова, в 11 часов в тот самый день, когда должны были взять Берию, раздался звонок. «Хрущев говорит: «Георгий Константинович, прошу приехать ко мне, есть очень важное дело». Сажусь в машину, приезжаю, открываю кабинет, он встает из-за стола, подходит ко мне, берет меня за руки и говорит: «Георгий Константинович, сегодня надо арестовать подлеца Берию. Ни о чем не спрашивайте, я потом расскажу». Я вздохнул, закрыл глаза и сказал: «Никита Сергеевич, я жандармом никогда не был, но эту жандармскую миссию выполню с большим удовольствием. Что надо делать?» Хрущев сказал: «Вы берете с собой генералов, проводите их через Боровицкие ворота, приходите в приемную, где будет заседание Президиума, ждете звонка, заходите, берете его и сидите до трех часов утра, пока не будет снят весь караул, затем придет майор, назовет пароль, вы сдадите Берию. Вот и все». Потом, — продолжал Жуков, — я посадил в машину

на заднее сиденье Батицкого и Москаленко, накрыл их попоной, поскольку у них не было пропусков, и проехал через Боровицкие ворота в Кремль, зашли в приемную. Никто не знал, зачем приехали, кроме меня. Ждем. В час дня звонка нет, пять минут второго — нет. Я представил, что Берия арестовал всех и ищет меня. Состояние было очень тревожное. В час пятнадцать раздался звонок. Мы вытащили пистолеты, один остался у входа, вошли мы с Москаленко, слева сидел Берия. Я направился к нему, перед ним лежал портфель, мысль промелькнула, что, может быть, оружие, я толкнул портфель, схватил Берия за руки и закричал: «Берия арестован!» Он вскопчил и крикнул: «Георгий Константинович, что случилось?!» В ответ я снова закричал: «Молчать!» Развернулся — и на выход с ним. Мне показалось, что не все члены Президиума знали об аресте и заподозрили, что я совершаю военный переворот. Вывели мы Берия, сняли пенсне, раздавили, отрезали пуговицы на штанах, ну и просидели там до трех часов утра, потом его увезли.

...Так рассказывал Жуков. Тогда кто-то из аудитории спросил его: «Какое событие вы считаете самым важным в вашей жизни?» И маршал без колебания ответил: «Арест Берии!» Вот оно как...

Эпизод с портфелем, о котором говорили и Хрущев и Жуков, — чистый фрейдизм. Один вроде толкнул, другой схватил портфель, полагая, что там оружие. Но оружия там не было, это впоследствии признавали оба, но они продолжали и продолжали рассказывать о портфеле, поскольку в их сознании он концентрировал в себе весь ужас возможного провала...

Вернемся, однако, в зал, где Хрущев еще не закончил свои откровения. Он как раз снова поднял свою рюмку с коньяком:

— Вот меня часто спрашивают, как это я вдруг вышел и сделал тот доклад на двадцатом съезде. Столько лет мы верили этому человеку. Поднимали его. Создавали ему культ. И риск тоже был огромен. Как еще отнесутся к этому руководители партии, и зарубежные деятели, и вся наша страна? Так вот, я хочу рассказать вам историю, которая мне запомнилась с детства, еще когда обучался грамоте. Была такая книга «Чтец-декламатор». Там печаталось много очень интересных вещей. И прочел я в этой книге рассказ, автора не помню. Сидели как-то в тюрьме в царское время политзаключенные. Там были и эсеры, и меньшевики, и большевики. А среди них оказался старый сапожник Янкель, который попал в тюрьму случайно. Ну, стали выбирать старосту по камере. Каждая партия предлагает своего кандидата. Вышел большой спор. Как быть? И вот кто-то предложил сапожника Янкеля, человека безобидного, не входящего ни в одну из партий. Посмеялись все, а потом согласились. И стал Янкель старостой. Потом получилось так, что все они решили из тюрьмы бежать. Стали рыть подкоп. Долго ли рыли, неизвестно, только вырыли. Ну, и тут возник вопрос, кому идти первым в этот подкоп. Ведь, может, тюремное начальство уже дозналось о подкопе и ждут там с ружьями. Кто первым будет выходить, того первым и смерть настигнет. На эсеров-боевиков указывают, а те на большевиков. Но в этот момент из угла поднимается старый сапожник Янкель и говорит: «Если вы меня избрали старостой, то мне таки и надо идти первым». Вот так и я на двадцатом съезде. Уж поскольку меня избрали Первым, я должен, я обязан был, как тот сапожник Янкель, сказать правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал. Еще Ленин нас учил, что партия, которая не боится говорить правду, никогда не погибнет. Мы извлекли все уроки из прошлого и мы хотели бы, чтобы такие уроки извлекли и другие наши братские партии, тогда наша общая победа будет обеспечена. Я хочу выпить за наше единство, за нашу верность заветам великого Ленина.

Все стали аплодировать, хотя, как я заметил, представители двух-трех партий воздержались от этого. Читатели легко догадываются, о ком я веду речь. У всех на памяти острая полемика, которая разгорелась после Совещания 1960 года, несмотря на то, что в результате тяжелейшей борьбы удалось согласовать общий документ — Заявление.

Надо сказать, что и до Совещания было хорошо известно о секретном докладе на XX съезде партии. Впервые я ощутил весь драматизм происходящего, когда мой шеф Павел Африканович Усольцев, который был в редакционной группе на съезде, пришел в редакцию прямо после заседания и уселся, не говоря ни слова, в свое кресло — весь серый, как земля под солончаком.

— Ну что там произошло, Павел Африканович? — спрашиваю.

А он молчит. Даже губы не шевелятся. Как будто бы язык застрял между зубов, не ворочается. Посидел я еще какое-то время. Дал ему выпить воды. Он сделал глоток, другой. Посидел немного. И опять ни звука.

— Не томите, Павел Африканыч! Что, сняли там кого-то или избрали не того? Или журнал наш решили прикрыть? — неуместно сострил я.

— Журнал... Не до журнала тут... Тут такое порассказали... Неведомо, что и думать... Куда идти... Что делать?

— Домой, вероятно, пора идти. Я и так задержался, чтобы услышать ваш рассказ.

— Не положено рассказывать. Специально оговаривалось, не должно просачиваться. Используют враги, чтобы сокрушить нас под корень!

— Павел Африканыч, вы все загадками говорите. Рассказали бы все, что к чему и о чем речь.

— Не могу, пойми ты, не могу...

Так я и не дознался в тот вечер. Правда, уже через несколько дней всем нам, по крайней мере всем сотрудникам нашего журнала, стало известно о том, что говорилось в секретном докладе. А еще через небольшой срок об этом узнал весь мир, кроме советских людей, разумеется, которые узнали позднее, когда на партийных собраниях зачитывалась информация о докладе. Доклад этот через какие-то каналы попал в руки зарубежных средств массовой информации и стал сенсацией.

Одно было ясно: партия и вся страна пойдут новым путем. Неясно только, каким будет этот путь, как быстро дадут эффект новые решения. Всем хотелось плыть дальше и скорее к высоким целям, но многие опасались, что поиск новых путей и ломка традиций могут дестабилизировать обстановку и раскатать лодку. В их числе оказался, конечно, и Усольцев. Впрочем, его умонастроение было типичным для многих работников в 50-е годы. Они были против секретного доклада, и стало ясно, что предстоит острая борьба вокруг наследия прошлого и в особенности вокруг новых решений, обращенных в будущее...

Тем временем тосты следовали один за другим, и шумное застолье завершилось только около полуночи. Меня представили многим известным людям, но я почти весь вечер чувствовал неловкость. Мне казалось, что я каким-то незаконным путем проник в это высокое собрание, услышал то, что не должен был слышать. Все пришли в черных или синих костюмах, тогда так было принято. На работу надевали синий зимой, серый летом. А у меня не было ни черного, ни синего костюма. Я был одет в какой-то светло-коричневый костюмчик с вызывающими блестками и накладными плечами, сшитый по случаю у портного, который хотел сделать из меня «модного человека». Явившись на высокое совещание в этом затрапезном виде, я выглядел белой вороной. (Комплексы такого рода и связанная с ними некоторая робость скоро у меня прошли, да и костюмы стал я шить по форме в специальном ателье: синий, серый и даже дипломатический — черный.)

Видимо, Картунов знал, что делал: он сразу вознес меня на олимп, предоставил мне возможность познакомиться с нашими основными «заказчиками», то есть с теми, для которых мы должны были сочинять речи, готовить справки и документы (в нашей среде почему-то принято было иронически произносить документы).

Стремительность происшедшей со мной перемены поразила меня. Особенно я был удивлен тем, как быстро созрело мнение обо мне у руководителя отдела, который видел меня всего несколько минут. Только потом мне стало ясно, что он спрашивал обо мне у человека, авторитету и слову которого полностью доверял. Это был Отто Вильгельмович Куусинен, один из организаторов революции в Финляндии в 1918 году, активный деятель Коминтерна, который незадолго до этих событий вошел в состав высшего руководства нашей партии и государства.

## 5

Ясным морозным утром в январе 1958 года за мной в редакцию заехал на «ЗИЛе» помощник О. В. Куусинена Николай Васильевич Матковский. Я впервые ехал в «ЗИЛе» и чувствовал себя не очень уютно на заднем сиденье рядом со своим спутником, отгороженным довольно большим пространством от переднего сиденья, где находился шофер. Видимо, так чувствуешь себя в катафалке, только там поза другая, подумалось мне.

— Конечно, в такую погоду моряки предпочитают сидеть в каютах, а не на палубе, — пошутил Матковский, видимо, желая помочь мне преодолеть смущение. — Тебя, надеюсь, не смущает мой матросский жаргон? Но я, старый морской волк, так и не могу привыкнуть к дипломатии и всегда иду напрямиком к цели. Ты не возражаешь, что я буду говорить тебе «ты»? Ведь я постарше тебя лет на десять, — продолжал он, доверительно положив мне на колено свою широкую, с короткими пальцами, заросшую рыжими волосами руку.

— Да нет, конечно. Это, кстати, отнюдь не привилегия моряков. Мой шеф в редакции всегда говорит мне «ты», хотя я, конечно, говорю ему «вы».

— Ну я могу говорить тебе «вы», но ты мало от этого выиграешь,— сверкнув серыми глазами с густыми белыми ресницами и ослабься всем своим зубастым ртом, сказал Матковский. Видимо, его несколько насторожила моя реплика, и он раздумывал, как ее следует истолковать: заносится, что ли, этот черномазый паренек или просто так болтает.

— Да нет, Николай Васильевич, я просто хочу попросить позволения говорить вам при этом «вы». Мне как-то неловко, как-то не с руки...

— Как хочешь. Вы там, ученые и журналисты, конечно, лучше знаете ритуал человеческого общения. Так что вам виднее.

Впоследствии я понял, что сделал крупный промах, сохранив дистанцию между собой и этой «открытой морской душой», как сам себя рекомендовал Матковский. Аркадий Сорин, который, по-видимому, назвал мою фамилию Куусинену, поступил иначе. Он с готовностью перешел на «ты» с бывшим матросом, и сколько он при этом выиграл!

Сорина Отто Вильгельмович знал, надо думать, по совместной работе в журнале «Новое время», в котором длительное время состоял членом редколлегии. И когда Куусинену поручили подготовить учебник по основам марксизма-ленинизма, он привлек к этому делу Сорина, а тот помог ему сформировать новый авторский коллектив, состоящий из молодых ученых и журналистов. Я говорю «новый», потому что Куусинену был предложен другой авторский коллектив, в котором он, однако, очень быстро разочаровался. То были люди, не способные сколько-нибудь по-новому, свежо и неординарно подойти к глубоко волновавшим его проблемам развития современного мира.

Об этом мне поведал Николай Васильевич, когда мы ехали через Москву и дальше, по Волоколамскому шоссе, до поселка Снегири, где жил на даче Куусинен.

— Это чудесный старик, ты увидишь сам,— сверкая своей зубастой улыбкой, говорил Матковский.— Да какой он старик, вру я, он моложе нас с тобой по духу, это безусловно. Новатор, самый настоящий новатор. Он не оставляет камня на камне от наших заскорузлых и застоявшихся, как вонючая лужа на палубе, представлений. Да и не только по духу. Ты увидишь, как он катается на лыжах, на коньках, подтягивается на перекладине. И это в свои семьдесят с лишним лет!

Немного парализованный бурным темпераментом матроса и продрогший в машине, которая плохо отапливалась, я сидел, забывшись в угол, и чувствовал себя как невеста, которую везут к незнакомому, но очень придирчивому жениху. Конечно, ничего страшного не произойдет, если жених ее отвергнет, и неизвестно, понравится ли ей самой жених, но все же неприятно, когда тебя везут на смотрины.

— Ты не тушуйся, парень,— пронизательно заметил мой разговорчивый спутник.— Старик у нас неторопливый. Он ничего не берет на веру и ничего не решает сразу. Ему понравилась твоя статья о том, что надо развивать советскую демократию. И он даст тебе шанс написать раздел о государстве в книге, прежде чем примет решение, включать или не включать тебя в авторский коллектив. Так что у тебя будет время...

Желая развлечь меня во время долгого пути, Матковский стал рассказывать разные истории, связанные с Куусиненом в коминтерновский период его деятельности. Отто Вильгельмович, по его словам, всегда отличался необыкновенной трудоспособностью. В ту пору в Коминтерне было принято (да и не только там) засиживаться на заседаниях до поздней ночи.

— Строили проекты мировой революции,— говорил Матковский.— Высказывали предположения: где, когда может произойти взрыв. Во время этих ночных бдений каждый деятель вел себя по-своему.

Один из деятелей Коминтерна, Гарри Поллит, имел слабость к армянскому коньяку и потягивал рюмку за рюмкой, не закусывая, а запивая боржомом. А Отто Вильгельмович имел в своем кабинете кольца, подвешенные к потолку, используя каждый перерыв для того, чтобы подтягиваться на них и делать всяческие фигуры. Димитров заметил как-то: «Вот, товарищ Куусинен, где вы научились воспитывать свою тактическую гибкость». «Та, та, нам всегда не хватало гибкости в тактике. Но я никогда не забываю о нашей долгосрочной стратегии»,— отвечал Отто Вильгельмович.

Я слушал развесив уши байки Матковского, не зная, верить ему или не верить.

Впрочем, вероятно, общий стиль отношений между деятелями Коминтерна характеризовался не только страстными теоретическими спорами, но и живым юмором, в котором постоянно все состязались. Слушая Матковского, я вспомнил, как у нас в журнале побывал в гостях Гарри Поллит. Он не стал произносить больших официальных речей,

а рассказал нам просто и весело о не очень веселых делах компартии Великобритании. Мне надолго запомнились несколько, как я потом понял, типичных коминтерновских шуток.

— Вся наша беда была в том, что мы поверили товарищу Варге Евгению Самуиловичу (очень известный в ту пору экономист-международник.— *Ф. Б.*), который каждый раз предсказывал глубокий экономический кризис на Западе,— говорил Гарри Поллит.— Мы верили, что вот-вот придет кризис и маленькая Красная Шапочка (это наша партия) стремительно вырастет, обретет силу и съест капиталистического волка. Кризисы приходили и уходили, а мы все равно оставались маленькой Красной Шапочкой.

Помню, как были шокированы старые работники журнала этой шуткой. Но что уж совсем показалось непристойным, так это тост, который сказал Гарри Поллит во время обеда в ответ на наши хорошо подготовленные и продуманные здравицы в честь компартии Великобритании, всех братских партий и за победу революции. Гарри Поллит предварительно налил себе до краев не рюмку, а большой фужер армянского коньяка и произнес: «Я горячо поддерживаю все, что было сказано. А теперь давайте выпьем беспартийный тост. Я хочу выпить за наших жен и за наших любовниц и за то, чтобы они никогда не встречались за одним столом!»

Наши старики чуть не попадали со своих стульев, а молодые были в восторге от этой озорной манеры, ломавшей стереотипное тостирование.

Когда же Гарри Поллит стал прохаживаться насчет «партийно-китайского сленга», на котором мы пишем свои статьи, наш ответственный секретарь не выдержал и прошептал так, что стало слышно всем за столом: «Так вот почему в Англии так и не произошла революция!» За это он схлопотал суровый взгляд другого ответственного товарища, сопровождавшего Поллита и при случае затем заметившего секретарю редакции: «Гарри Поллит стал выдающимся деятелем мирового коммунистического движения в то время, когда ты еще сидел счетоводом в колхозе».

Я вспомнил об этом, слушая веселые рассказы Матковского и поглядывая в коротких паузах в окошко лимузина.

Дорога шла между заснеженными полями, лесами, перелесками. Я люблю этот белый покров, эту серо-синюю дымку, из которой как будто вырвано, выведено за горизонт солнце. Белый снег всегда так умиротворяет меня, примиряет с чем-то необъятным и необозримым, что разлито вокруг нас и от чего мы постоянно отвращаем свой взор, устремляя его на какую-то мелкую повседневную задачу, невидимую, как снежинка, затерявшаяся в бесконечных снежных покровах.

Однако я не сумел сосредоточиться на этой мысли, поскольку мы уже приехали. Машина мягко и как будто даже робко прошла через ворота и остановилась возле небольшого деревянного двухэтажного домика. Пока мы отряхивали снег в маленькой прихожей, вышла полная женщина в белом переднике и певуче сказала нам, что Отто Вильгельмович ждет нас у себя в кабинете на втором этаже. Мы поднялись по узенькой скрипучей лесенке и оказались на антресолях, где в углу против окна стоял небольшой стол, заваленный книгами и рукописями. Бумаг было так много, что я с трудом разглядел за ними сидящего в кресле маленького, щуплого, очень пожилого человечка, укутанного клетчатым пледом и каким-то мехом. Его небольшая головка с сильными залысинами и лицо — кожа да кости — усиливали впечатление дряхлости. Но вот вы наталкивались на его глаза, на его взгляд, и это совершенно опрокидывало первое впечатление. Глаза — как льдинки, не очень большие, синие, притягивающие к себе, вбирающие в себя, в самую глубину все, что попадало в поле их обзора, глаза, которые существовали как-то отдельно от всего лица и его мимики. Они жили своей жизнью, сообщаясь напрямую с какими-то центрами умственной деятельности, скрытыми в глубине черепной коробки. А голова чем-то напоминала голову Пикассо в том же возрасте. Может быть, это мне показалось, когда я впервые увидел Отто Вильгельмовича, но и потом я не мог отделаться от этой ассоциации.

Худенький, маленький старичок показался мне удивительно значительным, и я испытывал отнюдь не свойственное мне чувство робости и желание непременно произвести на него благоприятное впечатление. А он молчал, этот старичок, остановив на мне спокойный, холодный, голубоватый взгляд, не выражающий ничего, кроме ожидания, как будто даже пустой, но на самом деле — и я смог в этом скоро убедиться — отражающий непрерывную, неутонченную, почти механическую работу мысли.

— Ну вот, Отто Вильгельмович, я и привез этого человека,— шумно начал Матковский.— Он, по-моему, хороший парень, хотя немного задается, не хочет переходить

со мной на ты. Но это я так, конечно, в шутку.— Матковский повернулся ко мне.— Отто Вильгельмович еще расскажет вам о своем замысле написать главу о государстве для нашего учебника. Это должна быть совсем необычная глава, быть может, центральная в книге. Ну, я свою миссию выполнил и замолкаю.

— Та, та, именно, именно,— проскрипел пожилой джентльмен.— Я пригласил вас, чтобы попробовать... Попробовать по-новому подойти к этому вопросу. У вас правильно сказано в статье: надо развивать советскую демократию. Но что это значит? Как вы думаете?

Я начал было пересказывать основные положения своей статьи. Но Куусинен оставил меня своим взглядом.

— Та, та, именно... А как вы думаете, нужно нам сохранять диктатуру пролетариата, когда мы уже построили социалистическое общество? Или нам нужен переход к какому-то новому этапу развития государства?

Вопрос этот, надо сказать, смутил меня. Не потому, что я не задумывался над этим, а потому, что ответ на такой вопрос, как говаривали в нашей редакции, чреват непредвиденными последствиями. Скажешь вслух, что, в общем-то, диктатура уже не нужна, что она свои задачи уже решила — и в гражданскую войну, и в момент неслыханного напряжения сил в предвоенный период, и в Отечественную войну, когда нужна была строжайшая дисциплина, мобилизация фронта и тыла. Я хорошо знал, что этот лозунг в 30-х годах был использован для обоснования массовых репрессий. Но можно ли говорить об этом человеку, который представляет высшее руководство страны? Правда, в самой постановке им вопроса уже содержится намек на возможность какого-то нового суждения... Впрочем, я так и не додумал до конца мысль под внимательным, пытливым взглядом, который требовательно извлекал из меня не формальное, а самое искреннее мое мнение.

— Если говорить откровенно, Отто Вильгельмович, то мне кажется, что диктатура пролетариата уже сыграла свою роль в нашей стране. Она должна быть преобразована. Процесс этот, собственно, уже идет, и задача в том, чтобы его сознательно ускорить.

— Именно,— всколыхнулся след, что, как я потом понял, означало крайнюю степень возбуждения.— Но вот вопрос: во что же она, эта диктатура, преобразуется?..

— Я думаю, в государство всего народа, в социалистическую демократию.

— Та, та, именно, но может быть, общенародное государство? Маркс когда-то критиковал лозунг «народное государство». Но это было давно и, кроме того, относилось совсем к другому государству. Лассаль рассчитывал заменить юнкерскую буржуазную власть на государство народное. Это была иллюзия. Это был обман. Но совсем иное дело сейчас у нас, когда диктатура пролетариата свою историческую роль уже сыграла.

Здесь он сделал паузу, которая длилась довольно долго, так как я не знал, должен ли я что-то добавить к его рассуждениям. А он, по-видимому, продолжал обдумывать сказанное, как будто слово, отделившись от него, приобретало какое-то самостоятельное значение и звучание, так что следовало оценить его заново.

— Так в этом духе и нужно написать главу для учебника?— не выдержал я.

— Именно, именно, в этом духе. Надо обосновать это теоретически. Надо взять у Ленина — для чего и почему необходима диктатура пролетариата — и доказать, что сейчас она уже свою роль сыграла.

— Речь идет только о теории или также и о практике? — спросил я.— Имеется ли в виду внести какие-либо крупные изменения в политическую систему?

— Та, та, именно,— отвечал Куусинен.— Вначале теория, а потом,— тут он сделал движение рукой куда-то вдаль,— а потом и практика...

Я понял, что это «потом» наступит не так скоро, но что сейчас надо добиться теоретического признания необходимости каких-то важных преобразований государственных институтов.

— Может быть, пока приобщить Федора Михайловича к Записке? — вставил тут свое слово Матковский.

— Та, та, и к Записке тоже. Но, главное, надо поднять все работы Ленина, надо восстановить истину, чтобы обосновать общенародное государство.

Приглашение меня в авторский коллектив, как и вовлечение других молодых теоретических работников, для Куусинена было актом нелегкой борьбы. В этом я убедился на первом же заседании, где присутствовали и старые и новые авторы. Мы все сидели за круглым столом и обсуждали перераспределение ролей. Разделы, которые не получились у прежних авторов, вручались вновь привлеченным. Один из отвергнутых «стариков», желая как-то уязвить Куусинена, сказал:

— Тут вот, Отто Вильгельмович, западная печать комментирует ваше избрание в Президиум ЦК.

— И что же они пишут? — спокойно спросил Отто Вильгельмович.

— Они пишут следующее, я цитирую: «Президиум ЦК КПСС избрал старого члена партии О. В. Куусинена, который известен своими неортодоксальными взглядами и своей борьбой с догматизмом».

В этот момент говоривший победоносно посмотрел по сторонам, ища поддержки у окружающих, но нашел ее только у двух-трех человек из числа аутсайдеров.

— Та, та, именно, именно,— протянул Куусинен в своей обычной манере.— Только вот непонятно: они пишут о борьбе с догматизмом, но как они смогли узнать о наших с вами спорах?

Дружный смех был ответом на эту тонкую, «типично коминтерновскую» шутку...

В ту пору был такой стиль: освобождать от основной работы на какой-то период авторов подобных партийных учебников, собирать их где-то на даче, с тем чтобы они могли целиком сосредоточиться на одном общем деле. И нас тоже поместили на даче в Нагорном на Куркинском шоссе, представляющем собой ответвление от магистрали, идущей на Ленинград.

Это был небольшой двухэтажный деревянный домик, в котором каждый имел свою комнатку с письменным столом, кроватью, тумбочкой и персональным туалетом. Три раза в день мы гуртом ходили в соседнее здание на кормление, где встречались за общими столами с членами другого авторского коллектива, работавшего над учебником по истории КПСС. Общее застолье, когда не было наших руководителей, нередко переходило в острую пикировку: позиции двух групп авторов расходились по очень многим вопросам.

Куусинен приезжал не часто, и в его отсутствие фактически руководили два человека: Аркадий Сорин и Степан Черняков. Один был, как я уже говорил, журналистом, а другой работал в международном отделе и впоследствии стал помощником Отто Вильгельмовича. Они хорошо дополняли друг друга. Сорин отличался совершенно уникальной способностью: он писал быстро, как машина, сбрасывая листок за листком прямо на пол. Ему ничего не стоило в течение нескольких часов накатать таким образом пятнадцать — двадцать страниц. Он не очень гонялся за новыми идеями, но зато обладал в легкую литературную форму мысли, высказанные Куусиненом или другими членами коллектива. Что касается Чернякова, то он практически не писал ничего. Складывалось впечатление, что он даже как бы презирает это занятие. Зато он был необыкновенно хорош, выступая в устном жанре. Его суждения всегда отличались от общепринятых и нередко поражали своей новизной и нетривиальным подходом. А еще он был великий мастер составления схем. Ему не важен был объект: он с равным удовольствием сочинял и переделывал схему всего учебника, отдельных глав, изложения того или другого вопроса, методику исследования, словом, почти чего угодно.

Сорин был мужчина представительный, крупный, с массивной фигурой, с тяжелым, как мы говорили, брудастым лицом, огромным носом и сильно покатым, хотя и внушительным лбом. В ту пору он увлекался йогой, и мы часто заставляли его стоящим на голове в своей комнате. При этом его сильно разреженные космы сваливались прямо на пол, что вызывало неизменные шутки, нимало не трогавшие Сорина. Ему была присуща какая-то идущая изнутри генетическая важность и значительность.

Черняков, напротив, выглядел букой. Он трудно сходился с людьми, но, приблизив к себе кого-то, был способен часами изливать на него свои философские размышления, мало заботясь о том, соглашаетесь вы с ним или нет. Он был строен, крепок телом, черноволос, в общем, хорош собой. Он неизменно пользовался вниманием наших машинисток, с которыми мог часами болтать в их комнате, невзирая на срочную работу.

Я немало удивился, увидев его супругу. Это была маленькая, поразительно некрасивая седая женщина, старше Чернякова лет на двадцать. Он женился на ней по странному случаю. Они вдвоем были направлены в командировку в качестве лекторов и ехали в поезде в двухместном купе. Никто не знает, что там произошло между ними, но когда поезд остановился в Ереване, Берта представила Чернякова своим друзьям и родственникам как своего супруга и одновременно товарища по работе.

Я был влюблен в Чернякова без памяти, настолько, что даже назвал своего второго сына его именем. Он тоже относился ко мне хорошо, снисходительно позволяя любить себя, находя во мне слушателя, готового часами внимать его откровениям. Хотя он был много старше меня, но я подметил в нем его инфантильность в брачно-любковых делах и как-то за бильярдным столом, собравшись с духом, задал ему вопрос: «А ты имел дело

с какой-нибудь женщиной, кроме своей бабушки?» Черняков смутился и пролепетал что-то вроде того, что у него с женой по-настоящему глубокая интеллектуальная, духовная связь, что вызвало у меня приступ неудержимого сатанинского смеха. Этот смех, кажется, и решил его судьбу. Он стал ухаживать за миловидной молодой машинисткой, прикомандированной к нам управлением делами, и дело в конце концов кончилось браком, хотя для этого ему пришлось пройти через суровые испытания. Его глубоко одухотворенная Берта, которая к тому времени, между прочим, стала доктором филологических наук, засыпала партком письмами, требуя вернуть ей ее блудного мужа или на худой конец прогнать его с работы. Но в ту пору Черняков был уже помощником Куусинена, который отнесся к этим требованиям с завидным хладнокровием...

Записка для высшего руководства, подготовленная Куусиненом с нашей помощью, называлась, помнится, несколько вызывающе: «Об отмене диктатуры пролетариата и переходе к общенародному государству». Ее действие было подобно взорвавшейся бомбе. Подавляющее большинство руководителей не только отвергло эту идею, но пришло в страшное негодование. Куусинен же только посмеивался одними глазами: как опытный аппаратчик он предварительно согласовал вопрос с Первым и получил его надежную поддержку.

Мы присутствовали в кабинете Куусинена в тот момент, когда он выслушивал замечания некоторых руководителей по поводу Записки. Отто Вильгельмович держал трубку внутреннего телефона так, что мы могли хорошо слышать его собеседника.

— Отто Вильгельмович! — кричала трубка. — Как же так! Что вы тут написали! Зачем же так извращать! Ленин считал диктатуру пролетариата главным в марксизме. А вы тут нам подсовываете какие-то новые цитатки Ленина, о которых никто и не слышал...

— Та, та, именно, именно, не слышали... Не слышали потому, что эти очень важные высказывания Ильича держались под спудом. Вы знаете, наверное, что и сейчас еще многие работы Ленина не опубликованы...

— Не знаю. Не слышал. Нас учили совсем другому марксизму, — пробасила трубка и легла на рычаг.

— Та, та, это верно, — заметил Отто Вильгельмович, обращаясь к нам, — его учили совсем другому. Боюсь, что даже преподаватели в торговом техникуме, который он кончил, могли не знать этих высказываний Ленина.

Но тут снова зазвонил внутренний телефон.

— Я вас слушаю, — как обычно, вежливо произнес Куусинен.

Но трубка молчала еще какое-то время, а потом взорвалась женским криком:

— Как же вы могли, Отто Вильгельмович, покуситься на святая святых — на диктатуру пролетариата! Что же будет с нашим государством, с нашей идеологией, если мы сами будем раскачивать их основы?!

— Думаю, государство и идеология станут еще крепче, — бодро отвечал наш старик. — В самом деле, если государство стало всенародным и сохранило при этом руководство рабочего класса, то от этого оно, конечно, только выиграло, а не проиграло, и при этом никто не сможет оправдывать расправу с вами, со всеми нами ссылкой на диктатуру пролетариата!

— Ну, знаете, это вы уж слишком! На кого вы намекаете? У нас сейчас коллективное руководство, и никто никого не собирается сажать!

— Вот именно, вот именно, — обрадовался Куусинен. — Коллективное руководство — это и есть прямой переход к социалистической демократии.

— Нет, Отто Вильгельмович. Меня вы не убедили! И никого не убедите. Так что я бы вам посоветовала отозвать свою Записку, пока еще не поздно. Пока еще не состоялось обсуждение.

— Не поздно, — промямлил Отто Вильгельмович с легкой издевкой. — Никогда не поздно восстановить истину. Что касается обсуждения, то я почему-то думаю, что к этому времени вы сами пересмотрите свою позицию...

— Никогда! Ни за что! Я эту диктатуру, можно сказать, всосала с молоком матери и буду стоять за нее насмерть!

— Ну, зачем насмерть? Это же вопрос теории. Посмотрим, обсудим и коллективно решим.

Куусинен оказался прав. Ни один из его оппонентов даже не рискнул высказаться против Записки, когда происходило обсуждение. К этому времени все уже знали, что

Первый — за и что он рекомендовал включить идею общенародного государства в Программу партии.

Мы говорили с Отто Вильгельмовичем о том, как в результате нового взгляда на наше государство будет изменена вся политическая система на принципах демократии. О том, что будут созданы прочные гарантии против режима личной власти, о том, что появятся новые политические институты общественного самоуправления.

Ведь со времени революции основы нашей политической системы существенно не менялись. Они сохранились в том же виде, как и во времена Ленина. Это не помешало коренному изменению политического и идеологического режима в сталинское время. В чем же здесь дело? Как уберечь страну от нового поворота к авторитарному режиму в будущем — это составляло предмет наших дискуссий и мучительных раздумий. Впоследствии я написал книгу «Государство и коммунизм», навеянную совместными обсуждениями с О. В. Куусиненом.

Мое пребывание в авторском коллективе закончилось, однако, не совсем так, как мне хотелось бы. Работу свою я выполнил неплохо, и все разделы, посвященные государству, вошли в учебник в том виде, в каком я их подготовил. Но я имел неосторожность высказать несколько иронических замечаний по поводу Сорина. Быть может, поэтому еще до завершения работы по общему редактированию он выхлопотал у Куусинена разрешение часть коллектива отправить по домам. В числе отправленных оказался и я.

— Жаль, что так произошло,— сказал мне на прощание Сорин, который не любил портить отношения ни с кем.— Я думал, что ты останешься в основном коллективе, но старик решил максимально сузить редакционную группу, чтобы люди не толклись и не мешали друг другу. Однако ты можешь быть уверен, что все написанные тобой разделы остаются за тобой. Мы к ним не прикоснемся.

Что ж, и на том спасибо. В конце концов именно Сорин привлек меня в этот коллектив. Может быть, я действительно не очень годился для работы на завершающем этапе, и уж во всяком случае не надо было смеяться над хорошим человеком. Мы расстались приятелями.

Мое пребывание в авторском коллективе Куусинена не прошло бесследно. Дело в том, что Ю. В. был хорошо знаком с ним по совместной работе в Карельской республике. И считался с его мнением. Видимо, этому я был обязан таким изначальным и отнюдь не заслуженным еще расположением Ю. В.

## 6

Первый опыт подготовки документов я приобрел в связи с предстоящей поездкой нашей делегации на партийный съезд в Албанию. Это было вскоре после Совещания коммунистических и рабочих партий 1960 года. Нам уже было известно, что Энвер Ходжа и его ближайший соратник Мехмет Шеху отрицательно отнеслись к последнему съезду нашей партии и фактически не приняли идей Заявления. Поэтому поездка предстояла тяжелой, и подготовка к ней требовалась особенно тщательная. Заранее были подготовлены проекты речей, которые предстояло зачитать на съезде, а также, если будет предоставлена такая возможность, на массовом митинге в Тиране.

Как-то утром в мой кабинет заглянул Кортунов (в отличие от других замзавов он не считался с чинами) и сказал, что Ю. В. ждет нас. Мы застали его в крайне раздраженном состоянии. Он только что познакомился с подготовленными материалами и пришел в негодование.

— Люди копошились над этим почти полгода и подготовили такой материал, который годится только для того, чтобы его выбросить в корзину,— сказал Ю. В. без всякого перехода. Видимо, он еще не совсем остыл от той взбучки, которую он задал накануне нашего прихода другим работникам.— Надо срочно поправить дело,— сказал он, обращаясь больше к Кортунову, чем ко мне. Моих возможностей он еще не знал и, естественно, больше рассчитывал на своего заместителя.

— Вы не беспокойтесь,— сказал Кортунов.— Федор возьмется за это дело и быстро все переписшет.

— Не обязательно быстро. У нас есть еще не меньше десяти дней до того, как надо будет отправлять материалы. Главное, чтобы это получилось хорошо. Чтобы точно были расставлены все акценты. Эта поездка необычная. Обстановка будет тяжелая,— сказал Ю. В., глядя на меня сквозь очки.

Затем он в нескольких четких коротких предложениях обрисовал ситуацию и примерное направление выступлений.

— Все остальное, — закончил он, — дело вашей фантазии.

Легко сказать: фантазии, подумал я, садясь у стола в своем кабинете. Тут специалисты работали. А я не знаю ни страны, ни партии, ни обстановки. Я прочел текст речей, удивляясь более всего тому, каким языком они были написаны. Кроме того, в них практически не было никаких сюжетов, связанных с только что закончившимся Советским Союзом, хотя мне было очевидно, что мы должны в какой-то форме разъяснять и пропагандировать свою позицию.

И тут меня осенило: я решил совершенно заново продиктовать всю речь так, как будто мне предстояло произносить ее самому. А потом уже редактировать ее, убирая острые углы и придавая ей более общепринятый вид. Я вызвал стенографистку и начал диктовать. До этого у меня было мало опыта в работе со стенографисткой. Диссертацию свою я писал от руки, но писал довольно быстро, выполняя ежедневно за десять часов работы заданный самому себе урок — двенадцать — пятнадцать страниц текста. Но я только писал, а не диктовал, хотя два-три раза уже пробовал диктовать передовые для журнала. Вначале меня очень смущало присутствие постороннего человека при моих муках творчества, особенно во время пауз, когда во мне что-то заклинивалось и никак не сдвигалось с места.

Однако, как это ни странно, мой первый опыт прошел весьма удачно: я надиктовал страниц двадцать. В тот же день отредактировал текст и наутро принес его к Ю. В., который был скорее удивлен, чем обрадован. Он внимательно прочел текст и даже полистал его вторично.

— У вас были заготовки? Что-то уж очень быстро вы это сделали.

— Нет, у меня не было никаких заготовок, я просто продиктовал стенографистке, — произнес я не без некоторой внутренней гордости первого ученика.

— Что ж, это лучше, чем было, но, я думаю, вы сами понимаете, что надо еще поработать.

Потом он позвонил Кортунову (а тот передал мне): «Ты посмотри материал. Федор там говорил что-то, и стало лучше. Но до завершения работы еще далеко».

Я ушел несколько обескураженный. Не потому, что считал свой текст шедевром. Я хорошо понимал, что официальная речь не может и не должна быть шедевром. Мне было предложено доработать текст. А что это значит? Я хотел получить ясные установки о том, что годится, что не годится, какие абзацы убрать, какие мысли добавить, что и как редактировать. Так всегда делалось в журнале. Никто из нас не терпел общих замечаний и пожеланий, и принятая форма обсуждения исключала их.

Я еще не знал, что стиль подготовки документов прямо противоположен этому. Задание здесь принято предлагать в самой общей форме, например: нужна речь по такому-то поводу; нужно заявление ТАСС; нужна редакционная статья в газету; надо высечь нашего противника за то-то. Исполнение, поиск и творчество оставляются исполнителю — пусть ломает голову, а мы потом посмотрим, что получится.

Я не знал и другого: весь этот процесс представлял собой нечто многосложное, многократное и страшно мучительное для всех участников. Такой стиль отчасти объяснялся коллективным принципом подготовки документов и коллективным рассмотрением их. Во многом это определялось тем, что заказчик еще сам до конца не продумал конкретное содержание документа, довольствуясь на начальном этапе характеристикой общей цели, глобального (так стали говорить позднее) замысла.

Что касается Ю. В., то с ним дело обстояло еще сложнее (а может быть, проще в каком-то отношении). Я очень быстро убедился, что какой бы ты ни принес текст, он все равно будет переписывать его с начала и до конца собственной рукой, пропуская каждое слово через себя. Все, что ему требовалось, — это добротный первичный материал, содержащий в себе набор всех необходимых компонентов, как содержательных, так и словесных. После этого он приглашал несколько человек к себе в кабинет, сажал нас за удлиненный стол, снимал пиджак, садился сам на председательское место и брал стило в руки. Он читал документ вслух, пробуя на зуб каждое слово, приглашая каждого из нас участвовать в редактировании, а точнее переписывании текста. Делалось это коллективно и довольно хаотично, как на аукционе. Каждый мог предложить свое слово, новую фразу или мысль. Ю. В. принимал или отвергал предложенное. Если же мысль требовала более пространного изложения, он обычно отправлял ее автора в другую комнату, с тем чтобы тот принес готовый абзац или полстраницы текста, которые, попав на

стол, подлежали той же участи — переписке, перекройке, перередактуре. Нередко бывало так, что подготовленные таким образом мною или кем-нибудь новые куски после длительных попыток приживить их к тексту в конечном счете отвергались и с раздражением или со смехом выбрасывались в корзину.

Поэтому понятие «в корзину» было самым ходовым. Никому не хотелось работать «на корзину», хотя эта участь ожидала большую часть сработанного.

Когда я впервые попал на это «застолье», я был поражен и обескуражен таким неэффективным, на мой взгляд и вкус, методом работы. Привыкнув в редакции к индивидуальной подготовке статей, которые в худшем случае могли быть искорежены одним или двумя редакторами, я стал настойчиво предлагать Ю. В. такой же метод подготовки документов. Консультанты готовят текст, он высказывает замечания, мы дорабатываем, перерабатываем и в конечном счете приносим ему готовую продукцию. Но Ю. В. только морщился в ответ на эти предложения и сетования и продолжал все делать по-своему. В сущности, за все годы работы с ним я не помню ни одного случая, когда бы он выпустил документ, не приложив к нему свою руку и не осмыслив его целиком. Что было причиной этого?

После долгих размышлений я пришел к выводу, что за этим лежало огромное, совершенно невероятное чувство ответственности. Я никогда не встречал человека, у которого оно было бы развито до такой степени. Шла ли речь о подготовке крупных стратегических документов, определявших политику страны, или о самом ничтожном организационном вопросе, Ю. В. подходил к ним с одинаковой вьедливостью, стараясь все взвесить, ничего не упустить.

Но была еще одна причина, и это я понял позднее. Ю. В. любил интеллектуальную политическую работу. Ему просто нравилось участвовать самолично в писании речей и руководить процессом созревания политической мысли и слова. Кроме того, это были очень веселые «застолья», хотя подавали там только традиционный чай с сушками или бутербродами (это после девяти вечера). Разморенные «аристократы духа» (как называл нас Ю. В.) к концу вечерних бдений часто отвлекались на посторонние сюжеты: перебрасывались шутками, стихотворными эпиграммами, рисовали карикатуры. Ю. В. разрешал все это, но только до определенного предела. Когда это мешало ему, он обычно восклицал: «Работай сюда!» — и показывал на текст, переписываемый его большими, округлыми и отчетливыми буквами.

Подготовка албанской поездки стала для меня первым уроком. Я понял, что имею дело с человеком острым и цепкого ума, который значительно превосходит окружающих не только бесконечно ответственным отношением к делу, но и каким-то врожденным, интуитивным ощущением веса и значимости политического слова и действия. Приучив себя с юности критически относиться к любому авторитету, здесь я был покорен и даже восхищен. Впрочем, мне было свойственно влюбляться в мужской интеллект и обаяние. Я глубоко восхищался композитором Алексеем Козловским в свои студенческие годы. Я был по-настоящему влюблен в Чернякова во время работы над учебником. А тут жизнь меня столкнула с личностью какого-то иного порядка. Он знал и умел то, что я, при всей своей самонадеянности, не рассчитывал знать и уметь даже в будущем. Он был деятелем, человеком, созданным для того, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Он был чуток, и, видимо, очень скоро заметил мое отношение к нему, и, надо сказать, платил мне взаимностью.

Но вот наши вечерние посиделки над документами остались позади, и мы летим на маленьком специальном самолете в Тирану. Самолет был внутри оборудован как салон: всего несколько кресел, стол, большой диван вокруг стола и пуфики, покрытые бархатом, в стиле ампир.

Нас был человек пять-шесть — члены делегации и сопровождающие лица: специалист по Албании, скромный молодой парень Иван Коршун; заведующий сектором обслуживания С. Суетухин; спичрайтер (составитель речей), писака, как презрительно называли нас за глаза подлинные работники аппарата, — это я. Каждый убивал время как мог в течение семичасового полета. Я перечитывал речи; Суетухин просматривал список подарков, которые предстояло раздать; Ю. В. большую часть дороги просматривал какие-то бумаги и тихо разговаривал с руководителем делегации Петром Николаевичем Поспеловым.

Петр Николаевич, человек небольшого роста, выглядел еще меньше, когда стоял рядом с очень высоким Ю. В. Но во всем чувствовалась важность руководителя делегации и лица, стоящего выше на целую ступеньку. Для человека такого роста у него был

необычайно сильный голос, баритональный бас, немного глуховатый и даже не совсем внятный при произнесении речей, но очень выразительный при исполнении волжских песен, в чем мне пришлось убедиться во время этой поездки. Он не совсем четко представлял себе обстановку на съезде в Албании и больше всего был озабочен тем, чтобы оснастить речь несколькими свежими цитатами. Просматривая текст речи, который ему предстояло произнести на съезде, он быстро указал мне на место, куда следовало вставить подходящую цитату. Я тут же предложил ему соответствующую, написав ее на кусточке бумаги.

— Вы уверены, что это действительно правильная цитата? — недоверчиво спросил он меня.

— Абсолютно уверен, Петр Николаевич.

— Может быть, вы даже можете указать источник? — продолжал он с легкой иронией.

— Могу, — отвечал я. И назвал не только том, но и страницу произведения Ленина.

Когда мы прилетели в Тирану и приехали в здание посольства, одно из первых дел, которое, по-видимому, сделал Петр Николаевич, — проверил правильность источника цитаты, чтобы проучить самоуверенного мальчишку. Каково же было его удивление, когда все совпало. Тут он пришел в необыкновенный восторг, радостно улыбался, разводил руками и даже побегал по кабинету посла.

— Ну, — сказал он, — Федор Михайлович! Я сам неплохо знаю Ленина. Изучал его всю жизнь, стоял во главе ИМЭЛа. Но чтобы так, наизусть, выбирать нужную цитату — это я встречаю впервые!

Мне было очень неловко. Я жалел, что сразу не признался в случайном характере своего успеха. Как раз накануне албанской поездки я подписал в печать свою книжку, и тут обнаружилась неточность ссылки на источник именно этой цитаты. Мы промучились с редактором два дня, пока нашли сноску. Ну, после этого я мог повторять злополучную цитату даже во сне.

Со своей стороны я с любопытством присматривался к этому человеку, к его мало-подвижному лицу, оловянными глазам, странной манере с большой важностью произносить банальнейшие слова. Как случилось, что именно Поспелов, один из основных авторов книги «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», стал одной из главных фигур при подготовке известного постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (30 июня 1956 года)? И не он ли вписал в это постановление оценку Сталина как выдающегося теоретика, который возглавил разгром оппозиции и победу социализма? В разговорах с нами он часто повторял: «покрепче об успехах», «не упускать преемственность», «не муссировать недостатки» и сакраментальное «марксизм-ленинизм учит». А чему учит опыт? Опыт — что ж опыт, он подтверждает... Куда ему деться?

Обстановка на съезде Албанской партии труда была, по выражению Ю. В., паршивой. Ее руководители твердо взяли курс на раскол с нами. Доклад Энвера Ходжи был хуже, чем можно было ожидать. В нем почти неприкрыто подвергалось критике все, что сделала наша партия за последние годы. Правда, произнося обидные для нас слова и сентенции, Энвер Ходжа — статный и красивый мужчина с военной выправкой — не выдержал резкого тона и даже прослезился. Но это не помешало ему довести свою речь до конца. И, конечно, почти каждый ее абзац прерывался аплодисментами, то и дело переходящими в бурную овацию и скандирование.

И тут произошел первый инцидент. Во время одного из особенно грубых намеков, направленных против XX съезда, наша делегация воздержалась от аплодисментов. Мы сидели в одной из боковых лож зала, где проходило заседание, на виду у всех делегатов. И тут они обратили внимание на то, что мы не аплодируем, когда весь зал скандирует барабанными голосами: «Энвер Ходжа! Энвер Ходжа!» Что здесь произошло! Все повскакали с мест. Стали еще громче выкрикивать здравицу в честь своего вождя, еще неистовее аплодировать, глядя в нашу сторону. Некоторые начали стучать подвижными сиденьями стульев.

Надо было видеть Ю. В. в этот момент. Его большая фигура, неподвижно и прямо сидящая в кресле, его глубокие голубые глаза, хорошо видные через очки, мне кажется, произвели сильное впечатление на делегатов съезда. Бросив взгляд в зал, я увидел отдельные группы, прежде всего военных, которые практически не участвовали в вакханалии. Их хлопки были формальными, и они со смущением оглядывались вокруг, поглядывали на Ю. В. и на всех нас. Постепенно буря начала стихать. Все уселись на свои

места. Докладчик выпил воды, и было слышно даже, как она булькала, переливаясь из стакана в его горло, и продолжил свое чтение.

Но я был до глубины души потрясен неистовством, которое светилось в глазах сотен людей, собравшихся в зале. Подумать только: еще вчера, несколько недель назад, они демонстрировали и, я уверен, испытывали любовь или по крайней мере признательность к нашей стране, к нашему народу! Как могло все так быстро перевернуться? Неужели достаточно взмаха дирижерской палочки руководителя, чтобы то, что вчера было светлым, белым, сегодня стало грязным и черным? Откуда такая власть над человеческими душами? Неужто это просто страх за свое место, боязнь оказаться аутсайдером, выпасть из политической тележки? Не может быть. Здесь сидят люди, которые без страха шли под фашистские пули, прошли через тюрьмы и застенки. Люди, у которых дружеские чувства к нам неразрывно переплелись с представлением о независимости их родины, о ее будущем. Какой же магической силой обладает власть! Какие токи пронизывают людей, когда они собираются вместе и образуют толпу. Не трожьте нашего бога!

Да и с богами не все ясно. Ну, не понравились им те или иные наши решения. Ну, затрагивает это в какой-то мере сложившийся режим в их партии и стране. Но ведь они не могут не понимать, что изоляция от нашей страны и от других стран, соседствующих с ними, гибельна для Албании, что их борьба против подавляющего большинства коммунистических и рабочих партий бесполезна и даже смешна. Это не более чем поза. Разве можно жертвовать интересами своей страны ради позы, какой бы красивой она ни казалась ее руководителям?

Во время перерыва я вышел из здания, где происходил съезд, и направился в скверик, чтобы глотнуть свежего воздуха. Оглянувшись, вижу, что какой-то албанец следует за мной.

Я сел на скамейку. Он уселся на противоположной. Я раскрыл газету, и он вытащил свою. Тогда я поднялся с места и пересел на следующую скамейку. Он, как автомат, повторил то же. Я снова поднялся и сел рядом с ним.

— Ну что,— говорю ему,— брат? Что пишут в твоей газете?

— Не понимай по-русски,— замахал он головой и руками.

— Давно,— говорю я ему,— не понимай по-русски?

— Тавно, сопсем тавно,— заулыбался мой собеседник.

— А я,— говорю ему,— не понимай по-албански. И, наверное, теперь мне бесполезно изучать этот язык. Он вряд ли скоро пригодится.

Албанец продолжал кивать головой, то ли соглашаясь со мной, то ли действительно не понимая, на что я намекал.

Я вернулся в холл, где во время перерыва прогуливались албанские руководители и иностранные гости. Неожиданно я услышал знакомый и уже такой близкий мне громкий и властный голос Ю. В. Глядя твердо в глаза Энверу Ходже, он чеканил:

— Товарищ Энвер Ходжа! — Слово «товарищ» он выговаривал особенно напористо и жестко, раскатывая «р». — От имени коммунистических партий социалистических стран я выражаю решительный протест против ваших самоуправных действий. Вы изгнали со съезда без всяких мотивов и оснований представителя греческой коммунистической партии. Мы полностью отмечаем, как вздорные и беспочвенные, обвинения, которые вы высказали в его адрес и в адрес всей его партии. Мы требуем немедленно исправить дело и вернуть греческого представителя на съезд.

Гул в холле мгновенно затих, а Энвер Ходжа, бледный и возбужденный, стал выкрикивать:

— Мы отвергаем диктат! Мы никого не боимся! Это агент Караманлиса и других греческих монархо-фашистов. Мы не позволим никому командовать на нашем съезде!

Тогда Ю. В., выпрямившись во весь рост, сказал ему:

— Мы оставляем за собой право сделать все необходимые выводы из этого неслыханного в практике отношений между братскими партиями инцидента.

Съезд продолжался, а мы уже чувствовали себя, как в осажденной крепости. Кто-то спросил: «А не попробуют ли они и нас завтра выдворить со съезда?» Кто-то пошутил: «Да нет! Скорее они подложат бомбу под посольство или спрячут ее в нашем самолете». Ю. В. решительно пресек все эти разговорчики и потребовал от всех быть предельно внимательными и собранными. Ни одного лишнего слова или жеста, подающего повод для провокаций.

В последний день съезда и после его закрытия нам была предоставлена возможность немножко осмотреть Тирану и окрестности, разумеется, в сопровождении албанского со-

трудника органов безопасности. Мы ходили по побережью Адриатики и вспоминали о том, как Хрущев высказал предложение, чтобы для представителей всех социалистических стран албанцы организовали место отдыха на прекрасном побережье. Это предложение глубоко задело гордого Энвера Ходжу, который мечтал превратить Албанию в высокоразвитую индустриальную державу, а не привлекать капитал в страну с помощью такого унижительного в его глазах средства, как туризм.

От той поездки у меня сохранилась фотография, на которой запечатлены Поспелов, Андропов и я. Ю. В. в длинном черном пальто и в черном костюме. Помнится, когда он появился в этом виде, я неловко пошутил: «О! Юрий Владимирович! В этом костюме вы — типичный пастор!»

Потом страшно жалел о своей бестактности. Но выдержка Ю. В. была поразительная. Он не сказал ни слова, но посмотрел так, что я понял: моя шутка его сильно задела.

Не знаю, чем это объяснить, но за все годы работы он ни разу, ни одного раза не сделал мне замечания. Его вежливый приветливый тон представлял разительный контраст в сравнении со стилем других руководителей. Впрочем, это, кажется, было привилегией только консультантов. Ю. В. не имел возможности пройти весь обычный курс образования и фактически всегда учился, находясь на практической работе. Быть может, этим объяснялось его несколько преувеличенное мнение об эрудиции тех, кого он называл «аристократами духа». Он дорожил теми элементами знания и культуры, которые мы могли принести в работу. Что касается референтов и других работников отраслевых секторов, то им нередко сильно доставалось от него. Он совершенно не терпел нераспорядительности, необязательности, безрукости и реагировал на все это очень жестко.

Летели мы назад из Тираны тем же самолетиком. Но для разрядки решили сделать остановку в Венгрии. Здесь я особенно почувствовал, что значила Венгрия для Ю. В. и что он значил для венгерских руководителей. Прошло всего несколько лет с той трагической поры 1956 года, когда Ю. В. сыграл столь исключительную для посла роль в конструктивном решении острейшей проблемы. (Об этом я расскажу позднее, когда речь пойдет о специальной поездке делегации во главе с Ю. В. в эту страну, в которой мне довелось участвовать.) Я видел, с какой теплотой и искренностью встречали Ю. В. венгерские руководители, я слышал, как он говорил им что-то по-венгерски и как радостно они откликались на родную речь в его устах.

Вечером советские представители собрались за столом, все расслабились после длительного напряжения в Албании. И тут Поспелов блеснул своим неожиданно мощным басом, выводя сложные рулады волжских песен. А Ю. В. — бывший матрос на Волге — вторил ему сильным, чистым и густым баритоном...

Полет из Будапешта длился долго. Делать было нечего. Петр Николаевич предложил партию в домино. Партнеров не хватало, и меня усадили четвертым, хотя я терпеть не мог этой игры и почти никогда не играл.

Но к тому времени я уже познал немаловажную истину, что домино тогда считалось таким же обязательным ритуалом, как ношение синего костюма зимой, а серого летом.

Незадолго до албанской поездки я отдыхал вместе с женой в Варне, на прекрасном болгарском побережье Черного моря. Были мы в составе маленькой группы, в которую входил известный тогда крупный хозяйственный деятель Лесечко. Это был человек большого роста и очень представительного вида. Кажется, химик по образованию, он прекрасно разбирался во многих вопросах экономики. Во время наших посещений болгарских заводов он обычно оттеснял сопровождавшего нас директора и начинал рассказывать нам толково и интересно о предприятии, о его возможностях и проблемах так, как будто бы он его сам строил и руководил им.

Но были у него две слабости — домино и рыбалка. Уже в первое солнечное утро, когда мы вышли на берег теплого, манящего к себе моря, Лесечко уселся за столик под тентом, усадил вместе с собой двух других товарищей из нашей группы и требовательно позвал меня, поскольку нужен был четвертый для партии в домино. Я вежливо отказался, ссылаясь на то, что собираюсь заняться подводной охотой. Для убедительности показал ему маску с трубкой и ружье, специально купленные для этой цели накануне поездки. «Это ты брось! — внушительно сказал он. — Интеллигентна из себя строишь. Можно подумать, что ты один учился в университете». («Г» он произносил, как было принято тогда, глухо, с придыханием и ударением, так что звучало это слово презрительно: интелли-хэ-нт.) Но я так и не сел за стол, в конце концов что мне чужое начальство...

Окончательно испортило мою репутацию в глазах Лесечко то, что случилось на ры-

балке. Это произошло рано утром на озере в дурную погоду. Дул очень сильный ветер, — волны вокруг лодок поднимались на полметра. Мы с товарищем находились в одной лодке, а Лесечко с матросом в другой. Вся штука заключалась в том, чтобы придать лодке какую-то устойчивость, иначе бесполезно было забрасывать спиннинг. У нас был груз — большой камень на веревке, который мы собирались сбросить в воду. Но тут подплывает лодка с Лесечко, и он говорит, обращаясь к моему товарищу: «Давай сюда камень». Я встречаю — буря, что ли, настроила меня на веселый тон или прежние стычки. «Не берите у нас камень, дяденька, — говорю, — у вас же есть матрос, он и будет удерживать лодку». «Давай, говорю, камень!» — взбеленился, окончательно выйдя из себя, именитый рыбовод. Он перегнулся через борт лодки, могучими лапщами своими схватил камень и перетащил к себе.

Эти маленькие шуточки обошлись мне впоследствии очень дорого. Лесечко накапал на меня Первому в присутствии Ю. В. во время какого-то приема. Сказал, будто я ударял на отдыхе за какой-то итальянкой. А отдыхал я с женой, да и итальянка была страшна, как смертный грех. Ю. В. ничего мне не сказал об этом, но передал все Кортуну, который с обычной для себя улыбкой сделал мне небольшое дружеское вливание. А все началось с моего отказа забивать козла!

Донос. Какую великую силу он имеет в аппаратной жизни. Размышляя над причиной этого явления, я часто думал: может быть, такова особенность русского политического человека? Я наблюдал у многих наших руководителей, в том числе весьма умных и проницательных, две одинаковых слабости. Первая — любовь к грубой лести. Наверное, все руководители во все времена любили лезть. Но наши в 60-х годах почему-то предпочитали именно прямую, неприкрытую, явно преувеличенную лезть. Лезть, так сказать, культовой пробы. Быть может, привлекало не столько содержание, то есть то, что о них говорили, сколько приятное чувство видеть унижение человека, вынужденного так прямолинейно извиваться перед ним. Другая слабость — неистребимая склонность к выслушиванию доносов. Им хотелось знать о человеке что-то очень личное, интимное, спрятанное, и они придавали этому большее значение, чем его открытым и явным высказываниям и выступлениям, действиям. Ты можешь написать десяток книг в защиту политической линии, а потом кто-то передаст твоему руководителю одну фразу, сказанную где-то за столом друзьям или подругам. И одна эта фраза, если она задевает самолюбие руководителя, переворачивает все его представление о тебе, все, что ты для него лично сделал до этого, теряет всякую цену... Да и фраза-то, быть может, была сказана не так, извращена, деформирована в процессе своего продвижения по лесенке доносительства, но она крепко западает в сознание. Возможно, это явление чисто физиологическое: дурное слово, особенно сказанное впопад, задевает нервную систему так сильно, что уже не хочется верить ни в какие опровержения. Не случайно, наверное, когда-то убивали черных вестников, хотя они-то ни в чем не были виноваты. В мое время тихие нашептывания сломали не одну политическую биографию...

Наученный этим горьким опытом, я не стал фордыбачить и покорно сел за стол играть в домино по приглашению Пospelова. Но выдвинул условие: выигравший обязан выпить рюмку коньяка. Мы взяли с собой ящик этого напитка, который предназначался для приемов в Албании, а они не состоялись, и весь коньяк уцелел. Однако выдвинутое мной условие оказалось бумерангом. Мне, как новичку, неслыханно везло — я выигрывал партию за партией. И хотя Ю. В. не одобрял выпивку, тут он вместе со всеми потешался, глядя на меня. В конце концов я так наклюкался (как принято сейчас говорить, по самой старой схеме), что буквально вывалился на руки удивленных родственников после приземления в Москве.

Поездка в Албанию очень сблизила меня с Ю. В., что вызвало острую ревность со стороны некоторых других работников отдела. Особенно негодовал Суетукин. «Тоже мне писаки, — говорил он о нас презрительно. — Что они понимают в реальных делах».

Я имел неосторожность превратить его в течение всей поездки в объект шуток, казавшихся мне безобидными. Он удивительно соответствовал своей фамилии. Вечно бегал вприпрыжку, старался попасть на глаза руководству, спрашивал указаний по любому мелкому вопросу, жаждал только одного — погреться в лучах начальственного взгляда. Ну а я, конечно, не упускал случая вытащить на свет эти качества, что, кажется, не нравилось ни Суетукину, ни самому Ю. В.

Не только Суетукин, но некоторые другие доброхоты выходили на Ю. В. с «капезом» на меня, но безрезультатно. Я до сих пор так и не понимаю, чему я был обязан такой удивительной привилегии. Многие говорили, что он попросту был лично расположен ко мне.

Албанская поездка меня многому научила. Прежде всего она показала дистанцию, которая разделяет советника и человека, который действительно способен принимать решения и точно реагировать на острые политические ситуации.

## 7

Я не был раньше близко знаком с Хрущевым, но часто наблюдал и слушал его, находясь где-то рядом. Затем я, как правило вместе с Ю. В., шесть раз сопровождал его за границу в социалистические страны Европы. Это были преимущественно официальные поездки, насыщенные парадностью, праздничностью, помпезностью, что мешало по-настоящему увидеть и оценить деловые проблемы, которые решались во время таких поездок, а проблемы эти нередко были очень острыми и крупными.

Непосредственное знакомство с Первым состоялось во время поездки в Болгарию. Сейчас мне нелегко представить себе волнение, которое я испытал, — молодой человек академического склада, неожиданно для себя попавший на политический олимп. Но я хорошо помню, что не спал практически всю ночь накануне вылета спецсамолета, на котором находилась делегация и сопровождающие ее лица. Я старался уснуть во время полета, но безуспешно — его изрядно болтало над горами, особенно перед посадкой в Софии.

Это был один из первых туполевских реактивных скоростных самолетов, которые еще предстояло долго и упорно совершенствовать. Машина, рассчитанная примерно на сто пятьдесят — двести человек, была набита до отказа: кроме охраны в ней находились журналисты, а также большая группа партийных и государственных работников, обслуживавших делегацию. Помощников и консультантов усадили во втором салоне, так что мы могли если не слышать, то по крайней мере видеть то, что происходило в первом, где находилась делегация. Из нашего салона то и дело запрашивались бумаги или вызывались люди, которые быстро отправлялись в первый салон, неся на всякий случай под мышкой папки с документами. Мне эта суэта казалась немножко искусственной и даже смешной, поскольку речи и документы были подготовлены заранее, много раз просматривались и были официально утверждены. Иной раз видимость активности исходила из второго салона — от помощников или других сопровождающих лиц, которые брали на себя риск вторжения в первый салон. Все это мешало мне вздремнуть, и я боялся, что если не сделаю этого, то окажусь не на высоте, когда возникнет необходимость оперативно дополнить или отредактировать куски для печати, произнесенные экспромтом. В этом была моя нехитрая функция, которой, однако, сам Первый придавал большое значение. Он очень любил отступать от текста во время своих выступлений, говорил при этом, совершенно не следя за формой, стремясь любыми средствами донести до слушателей свою главную мысль и поэтому неоднократно возвращаясь к ней, что создавало, конечно, нелегкие ребусы для редакторов.

Я был знаком с его стилем еще до болгарской поездки и знал, что надо в любой момент иметь ясную голову и хорошо отточенное перо. Кроме того, нам нередко вручали его так называемые задиктовки — то, что он наговаривал стенографистке для очередной речи. Обработка такой задиктовки представляла собой особенно трудное дело: надо было сохранить смысл, а для этого его требовалось прежде всего обнаружить, четко вычленив из большого вороха второстепенных слов, затем отшлифовать, а нередко просто переписать заново весь материал, но так, чтобы автор легко находил свои мысли и выражения — то, чем он дорожил и ради чего производил эту задиктовку. Обычно я сам заново передиктовывал все, предварительно пройдясь по тексту и подчеркнув самые важные места.

Легко поэтому понять мое волнение в момент первой поездки. Здесь моя работа не должна была проходить через фильтр Ю. В., привычный и гарантирующий точное попадание в десятку. Я должен был сам брать на себя ответственность за окончательную обработку текста. Подготовленный мной текст потом просматривался помощниками Первого, которые в смысле грамотности и литературной обработки больше полагались на других.

Самолет приземлился, и я впервые попал в атмосферу, присущую зарубежной поездке высшего руководства. Огромные толпы с цветами в руках, люди, восторженно размахивающие флажками, громкие крики «ура» и здравицы. Кортёж черных машин — их было не менее двадцати пяти — тридцати, — пробиравшийся через эту толпу, яркое летнее солнце — все было чрезвычайно празднично, красочно. Я ехал, кажется, в четвертой машине с одним из помощников Первого и тут обнаружил какую-то странную реакцию публики на свою скромную особу: как только они видели меня, крики и аплодисменты вспыхивали с особой силой. Я с недоумением обернулся к сопровождавшему нас товарищу, и он со смехом объяснил, что они принимают меня за своего, за болгарина. Я упоминаю об этом,

потому что вечером произошло недоразумение аналогичного характера, но на этот раз не со стороны болгар.

Во время ужина, организованного болгарскими руководителями в честь делегации, консультантов и помощников посадили за тот же стол, что и наших руководителей, но по другую сторону. Случайно я оказался прямо напротив Первого. И вот он, как обычно, поднялся произносить тост за советско-болгарскую дружбу и — тоже как обычно, — отвлекшись от тоста, начал вспоминать прошлое. Здесь я снова услышал историю, которую он уже рассказывал на приеме после завершения Совещания компартий в 1960 году, — о том, как умер Сталин, как брали Берию, о нравах, которые царили среди высших руководителей при Сталине, о 1937 годе и о многих других политических событиях. Говорил он не меньше двух часов, а я сидел застывший и замороженный, слушая эту исповедь, произносимую не тоном обвинения, а тоном печали и страдания. Я не в силах был оторвать глаз от рассказчика, а он, видя мое такое необычное внимание, все чаще обращался в разговоре лично ко мне, жестикулировал, объяснял, доказывал и еще более углублялся в волновавшие его воспоминания. Все остальные сидели тихо, молча, терпеливо ожидая окончания его речи. И, наверное, каждый про себя думал о своем. Меня потрясли эти откровения, эти грозные страсти на политическом олимпе; эти мучительные переживания — удел деятелей из окружения высшего руководства. «Ближе к царю — ближе к смерти, — думалось мне в этот момент. — Как эта близость выворачивает наизнанку всего человека... Вот она, плата за власть».

Не помню, чем закончился этот вечер, но хорошо помню, что я долго не мог уснуть, перелистывая в своем возбужденном мозгу страницу за страницей мрачной исповеди участника и жертвы минувших времен... Наутро меня неожиданно пригласил помощник Первого. Оказывается, тот пожелал познакомиться с «интересным молодым болгаринном», который так внимательно его слушал. Каково же было удивление Хрущева, когда он узнал, кто я и где работаю. Он задал мне два-три формальных вопроса и долго жал мне руку и смеялся по поводу своей ошибки. Потом во время встреч в Болгарии, в частности в евстеноградском дворце царя Бориса в Варне, он кивал мне и, весело улыбаясь, покачивал головой: вот, мол, какого дурака сваял.

Вообще он был прост и предупредителен в общении с «интеллектуальной обслугой». Особенно он выделял и ценил «речеписцев», поскольку сам чувствовал недостаток образования и культуры, чтобы довести до конца и обработать для печати свои выступления. Многие пользовались этой его слабостью в личных целях. Особенно это развилось при его преемниках, когда составители речей унижались до того, чтобы выпрашивать плату за свои услуги, и плату немалую — академические звания, лауреатские значки, премии или высокие должности. Ю. В. учил нас скромности, честному и чистому служению государственным интересам. И те, кто оставался верным этому принципу нравственности, заложенному им в нас, никогда не гонялись ни за премиями, ни за званиями, для чего требовалась скорее ловкость, чем выдающиеся результаты деятельности в сфере науки или публицистики.

Впрочем, Первый нередко произносил свои речи и без всякой подготовки. Иногда они бывали сумбурные, особенно если он был чем-то сильно возбужден и заведен. Но вот в Болгарии мне довелось слышать речь, которую он произносил явно экспромтом в клубе шахтерского поселка. Вернувшись после спуска в шахту, не сняв каски и специального шахтерского одеяния, он, выйдя на сцену, произнес речь, которая длилась минут сорок. Ничего ему не мешало, и никто его не торопил. И это была на редкость складная речь с простыми, но четкими мыслями и суждениями, в ясной и грамотной форме. Она вызвала прекрасный отклик аудитории и не составила никакого труда для редакторов при подготовке ее к печати.

Я замечал эту особенность и у некоторых других наших политических руководителей. Прикованные к бумажке, они читали текст, написанный чужой рукой, занудными, нередко заунывными голосами. Но, попадая в необычную обстановку, которая требовала импровизации, они вдруг стряхивали с себя оцепенение и произносили хорошую, четкую и грамотную речь. Я тогда еще понял, как мучительна была сложившаяся традиция читать речи, как обедняла она личность и низводила даже яркого человека до уровня простого статиста. Ведь произносить чужой текст, не прошедший через твое сознание и твою душу, вещь, в сущности, невыносимая, все время чувствуешь себя как бы отчужденным от этого текста, искусственно пришитым к нему, понимаешь, что почему-то так надо, что опасно бросать вызов традиции, но испытываешь постоянную неловкость, неприязненное чувство то ли к этой традиции, то ли к чужому тексту, то ли к самому себе. Я встречал очень многих деятелей, которые умели хорошо произносить написанную кем-то речь, не тарабани,

как солдат, и не подвывая, как пономарь. Чаще всего это было тогда, когда сам докладчик своей рукой переписывал весь текст.

Надо сказать, что Первому все это не грозило. Это был человек глубоко уверенный в себе, раскованный и даже озорной. Когда он начинал говорить, никто, даже он сам, не знал, чем кончит.

Отчасти это было свойством его натуры, но отчасти он пользовался этим для политической игры. Он демонстрировал возмущение и произносил слова, которые в виде печатного текста наверняка вызвали бы взрыв негодования у собеседника, партнера или оппонента. Но ему это сходило с рук, поскольку списывалось на счет эмоций. Мне иногда казалось, что он заговаривается, настолько бурно и необузданно текла его речь в иные минуты, но потом он постепенно успокаивался и, нащупав дно, возвращался к предмету своего разговора, остро следя своими маленькими, озорными, веселыми глазками за выражением лиц своих слушателей. «Ну и актер! — думал я, глядя на эти перевоплощения. — Вот кого не хватает Олегу Ефремову в «Современнике» для полного комплекта».

Во время митинга на площади Димитрова в Софии докладчик не раз отвлекался от текста. Я сидел на стуле за трибуной, с которой он выступал, и помечал места, пытаясь записать новый текст. В этот момент его жена, Нина Петровна, женщина с добрым, славным крестьянским лицом, сказала мне: «Оратор не учитывает, что люди стоят под солнцем на жаре, и напрасно расширяет свою речь. Ее и так можно было сократить».

Я впервые слышал от нее критическое замечание в адрес мужа и подумал про себя, что он, вероятно, нередко советуется с ней, а может быть, и проверяет свои речи на ней как на слушательнице. Впоследствии я имел случай убедиться, что это так и было. Жена Первого долгое время работала заведующей парткабинетом и неплохо ориентировалась в лекционной работе.

Забавный эпизод произошел во время приема в советском посольстве по случаю пребывания делегации. Когда Первый вошел в большой зал приема, он, не пройдя и нескольких шагов, остановился как вкопанный. В зале были расставлены столы, которые буквально ломились от изобилия напитков и яств. В центре каждого стола расположился гигантский осетр размером метра в два-три, обложенный креветками, овощами и еще невесть чем. И тут Первый разыграл сцену, к которой, я думаю, давно готовился. «Это вы думаете, что мы уже достигли коммунизма? Кто распорядился? Кто вас финансирует?» — накинулся он на посла, который стоял ни жив ни мертв. Посол стал было что-то бормотать насчет дополнительных средств, спущенных Совмином для этого приема, о доставленных в натуральном виде самолетом продуктах, но Первый и слушать не стал. Он повернулся к Тодору Живкову, который согласно кивал головой. Но делать было нечего, и после небольшой заминки все приступили к разрезанию и поеданию этих невиданных рыбин.

Замечу попутно, что я так и не понял, почему он с таким упорством произносил «коммунизм» с мягким «з». Свое горловое «г», вероятно, он действительно не мог исправить, хотя я не исключаю, что и здесь была игра. Что же касается «коммунизма», то я на сто процентов убежден, что он так произносил умышленно, создавая некий эталон, которому должны были следовать все посвященные, как авгуры. И один за другим окружавшие его лица, в том числе получившие образование в университете или МГИМО, склонялись к подобному произношению. Этот сленг как бы открывал дорогу наверх, в узкий круг людей, тесно связанных между собой не только деятельностью, но и общим уровнем культуры...

Во время пребывания в Варне нас поместили в евстеноградском дворце царя Бориса. Я никогда не пользовался такой роскошью: бассейн посреди огромной комнаты. Признаться, я испытывал странное чувство — зачем все это новым руководителям, выходцам из простого народа? Наверное, в данном случае это просто объяснялось желанием сохранить обстановку, которая представляла собой историческую ценность. Но в других случаях и в других странах объяснений не было. Была какая-то необъяснимая тяга у людей, выросших в бедных семьях, — чаще крестьянских, чем рабочих, — к роскоши, причем не современной, а архаичной.

Чем объяснялся такой вкус у нормальных и не очень образованных мужиков? Где они подсмотрели эти банкетки и козетки, трудно сказать. Но ампир прочно вошел в политический быт и надолго загородил дорогу современному стилю. Кажется, одним из первых прорывов явился Дворец съездов внутри Кремля. А потом постепенно этот стиль — менее пышный, более экономный, использующий стекло, бетон, пластик и искусственные ковры, — стал вытеснять неизвестно откуда просочившийся в социалистический быт дворцовый стиль.

Меня это шокировало, но я был не типичен. Я был молод и, кроме того, пришел из

бедной академической среды, где даже приличный письменный стол считался большой редкостью. В Институте государства и права Академии наук СССР я работал за маленьким столиком в читальном зале. Ну а жили мы с моей семьей долгое время в общих квартирах и комнатухах, которые снимали у хозяев. Может быть, поэтому я испытывал смущение от самых простых услуг, которые мне оказывали в силу моей должности. Когда меня возили в машине в «Сосны» и в другие места, где готовились документы, я все время чувствовал себя каким-то «эксплуататором» чужого труда и, пытаюсь как-то компенсировать услуги водителя, рассказывал ему в пути занимательные истории.

А во дворцах, в которых мы останавливались за границей, в пышных покоях, которые я вообще получал не по чину, а в качестве, так сказать, дворового человека, я испытывал такое чувство, будто присваиваю себе что-то чужое, доставшееся мне по ошибке и за что меня могут в любой момент схватить за руку.

Особенно остро я это чувствовал в Югославии. Ю. В. входил в состав делегации, возглавляемой Первым, а я находился «при», но на достаточно близкой дистанции. настолько близкой, что останавливался обычно в тех же помещениях, где они, и кормился вместе с ними. Впрочем, помещениями их назвать можно только в шутку. Это были королевские дворцы, которые, соответственно традиции, занимал товарищ Иосип Броз Тито.

Я бывал в Югославии еще до этого в составе журналистской группы. Мы объездили практически всю страну, все ее республики, более развитые — Сербию, Хорватию, Словению — и менее развитые — Черногорию, Боснию, Герцеговину, Македонию. Это была первая страна на Адриатике, которую я посетил, и восхищению моему не было предела.

Я побывал во время той журналистской поездки на полутора десятках предприятий и госхозов, в научных, медицинских учреждениях и творческих союзах и, приехав в Москву, написал статью обо всем этом. И тут я единственный раз в жизни получил изрядную встряску от Ю. В. Один из моих друзей по журналу (мы с ним вместе играли в волейбол и настольный теннис) случайно оказался в лифте с Ю. В. и за короткий срок совместного подъема успел сообщить ему, что я написал какую-то «крамольную» вещь о Югославии. Ю. В. затребовал статью и не поленился прочесть ее в больнице, куда он ненадолго попал на обследование. Оттуда он мне прислал большую записку на нескольких страницах, написанную характерным для него крупным почерком, четким и ясным. В записке он просил не публиковать статью, учитывая характер отношений с Югославией в тот период и ту оценку, которая была дана деятельностью Союзу коммунистов Югославии Советским компартий в 1960 году. Он не оспаривал по существу того, что я изложил в своей статье, но указал на политическую несообразность ее публикации.

Я был несколько обескуражен, поскольку в статье я не касался каких-то спорных идеологических проблем и носила она очерковый характер. Быть может, только описание живого опыта самоуправления на предприятиях со всеми его особенностями, достижениями и трудностями могло показаться неожиданным и непривычным для слуха. В статье рассказывалось о децентрализации, о рабочих советах, о свободном выходе на зарубежные рынки, о культурном плюрализме. Конечно, я посчитался с указанием Ю. В., затребовал статью обратно из журнала и засунул ее в ящик — навечно.

Я не был согласен с ним, но полагал, что в отличие от нас, молодых советников, пришедших из научной или журналистской среды, Ю. В. понимал политику как искусство возможного. Он знал не только то, что нужно сделать, но и как этого добиться в конкретных условиях. Иными словами, может быть, как никто другой среди тогдашних руководителей, он чувствовал и сознавал жесткие политические лимиты на пути назревших преобразований.

О его политической проницательности может дать представление тот факт, о котором мне рассказывали люди, которые работали с ним в посольстве Венгрии в 1956 году. За несколько месяцев до этих событий Андропов настоятельно предупреждал венгерских руководителей и информировал Хрущева о том, что назревает взрыв, и предлагал эффективные меры, которые могли бы его предотвратить. Кстати, именно поэтому после венгерских событий Андропов был назначен руководителем отдела в ЦК КПСС. Однако с 1956 годом связан и определенный «венгерский комплекс» Андропова. Он всегда с большой осторожностью, даже подозрительностью относился к таким явлениям в социалистических странах, которые не укладывались в советский образец.

Во время пребывания в Югославии делегация во главе с Хрущевым посетила одно из предприятий в Белграде. Здесь членов делегации познакомили с особенностями югославской системы самоуправления. Нам подробно рассказали о работе администрации, о конкурсной системе замещения должностей, о деятельности рабочих советов, о сложностях и трениях, которые возникают в их взаимоотношениях с руководством предприя-

тий, а еще чаще о неспособности в силу малой компетентности оказать существенное влияние на производственную жизнь и процесс производства.

Потом взял слово Первый. Его сенсационное заявление потом обошло все югославские газеты и попало в буржуазную печать, но, кажется, никогда не было опубликовано у нас. Он сказал: «Мне показался интересным опыт югославского самоуправления. Каждая страна выбирает свой путь, в соответствии со своими традициями, со своей культурой. В рабочих советах нет ничего плохого, но в нашей стране мы идем другим путем, расширяя права профсоюзов и трудовых коллективов». Это заявление было встречено бурей аплодисментов, особенно со стороны присутствовавших здесь югославских руководителей.

Я взглянул на Ю. В., желая видеть его реакцию. Он продолжал что-то добросовестно записывать, опустив глаза в тетрадь. Я так и не знаю, согласовал ли Первый с ним это свое заявление, или сделал его экспромтом. Учтывая свой опыт со статьей о Югославии, я считал неудобным говорить на эту тему с Ю. В.

Красивейшее место — Брионы, остров, превращенный целиком в резиденцию президента Тито. Стояли ясные солнечные летние дни. Вся делегация и мы, грешные, — сопровождающие их лица — купались в море каждый день, а потом, сидя на берегу вместе с югославскими руководителями, попивали кока-колу, швепсы, поставляемые уже тогда в Югославию из западных стран, или просто гоняли чай из самовара, специально припасенного заботливыми хозяевами.

Оказавшись за одним столиком с Эдвардом Карделем, я затеял с ним разговор о незадолго до этого вышедшей книге «Социализм и война». Я спросил его, действительно ли он полагает, что возможны войны между странами социализма? И, получив утвердительный ответ, продолжал дальше: «Между какими странами социализма вы считаете войну наиболее вероятной?» Он ответил мне, что, быть может, не война, но серьезное военное столкновение между Советским Союзом и Китаем. Он ссылаясь при этом на Энгельса, который предупреждал, что победивший пролетариат не застрахован от ошибок, а также на то, что нужно учитывать влияние великодержавия и национализма. «В какой же перспективе возможна такая война?» Кардель сказал, что трудно точно указать сроки, но в течение десяти лет мы станем ее свидетелями.

Все тогда были очень обеспокоены китайской проблемой. Мне пришлось много заниматься ею, писать статьи и даже книги о Китае. Тем не менее я никогда не придерживался столь пессимистического взгляда и в разговоре с Карделем пытался высказать ему свои доводы.

Несколько лет спустя, когда Кардель посетил Москву, на приеме в югославском посольстве я напомнил ему о нашем разговоре на Брионах. Вспомнив с трудом об этом, он утверждал, что во всем прав. (Это был момент обострения советско-китайских отношений во время «культурной революции» в КНР.) Но я продолжал доказывать ему, что войны не будет.

Прошло почти четверть века с момента того спора на Брионах, и, к счастью, оказались правы мы. Я говорю «мы», потому что я тогда передал наш разговор с Карделем Ю. В. Он долго молчал, думал, а потом сказал: «Кардель не прав. Не думаю, что может дойти дело до войны. Мы эту войну никогда не начнем. А Китай слишком слаб, чтобы решиться на авантюру, да и никаких серьезных мотивов для войны у него нет».

До сих пор ходят разные слухи по поводу китайско-советского конфликта в тот период. Одни обвиняют во всем Хрущева, другие — Мао Цзэдуна. Наверное, ошибки были допущены обоими руководителями. В частности, уже тогда мы считали ошибкой отзыв советских специалистов из Китая, хотя действительно они оказались в совершенно невыносимых условиях в начальный период политики «большого скачка», проводимой Мао. Не останавливаясь подробно на этом специальном сюжете (тем более что я писал об этом в ряде книг), расскажу лишь об эпизоде, который бросает свет на глубинные причины конфликта и представляет собой один из кульминационных пунктов послевоенной истории (а возможно, и всей истории человечества). Этот рассказ я слышал тогда от видного советского дипломата, который только что вернулся из поездки с Хрущевым в Пекин в 1958 году.

Хрущев счел необходимым приехать в Пекин и объяснить Мао Цзэдуну характер новой политики в отношении США и стран Запада. Вот как звучал рассказ дипломата. Сидят они — Никита Сергеевич и Мао — на берегу бассейна в широких, футбольного типа, черных трусах. При них переводчики, а на другой стороне бассейна — советники разных рангов. И тут состоялся исторический диалог, достойный шекспировского пера.

— Сколько у вас дивизий, товарищ Хрущев? — спрашивает Мао.

Хрущев делает жест пальчиком в сторону советника, тот подплывает, и Хрущев спрашивает у него шепотом: «Сколько у нас боевых дивизий?» — а сам подмигивает, мол, скажи правду, да не всю сразу... Советник сообщает какую-то цифру.

— А сколько у американцев дивизий? — продолжает Мао и, получив ответ, говорит: — Выходит, у нас с вами больше дивизий, чем у американцев, почему же нам не ударить и не решить сразу проблемы мировой революции?

— Как можно так говорить, — отвечает Хрущев, — какая это будет революция, это же война! Да и считают сейчас не на дивизии, а на бомбы атомные, товарищ Мао. А бомбз такая целый город снести может.

— А сколько у вас и американцев атомных бомб? — спрашивает Мао.

Сцена повторяется, снова подплывает советник и называет приблизительные цифры.

— Ну, видите, — спокойно продолжает Мао, — разрыв не такой большой, а населения у нас вместе намного больше. Пусть погибнет треть, даже половина, зато мы построим на развалинах империализма коммунистическую цивилизацию.

— Да как вы можете так рассуждать, — вскипает уже Хрущев. — Мы знаем, что такое война, у нас погибло двадцать миллионов, и наш народ никогда на это не пойдет. Мы не пойдем и никому другому не позволим! Вам легко рассуждать о гибели половины китайцев, а что будет с малыми народами — венграми, чехами, поляками, — они же совсем могут исчезнуть с лица земли, вы об этом подумали?

— Революционеры должны уметь приносить жертвы ради победы коммунизма, — поучительно говорил Мао, так и неясно до сих пор — то ли всерьез добываясь войны или просто провоцируя наших руководителей.

Андропов, которому впоследствии приписывали экстремизм в китайском вопросе, однако, не верил в возможность серьезного столкновения с Китаем, хотя отвергал их политику подталкивания СССР к конфликту с Соединенными Штатами. Но вернемся к поездке в Югославию.

...Итак, резиденция маршала Тито на Брионах — это сравнительно небольшое трехэтажное прямоугольное белое здание с плоской крышей, напоминающее греческие постройки. На небольшой террасе, выложенной мрамором, стояла статуя обнаженной женщины в эротической позе. Во время переговоров нашей делегации с югославами Тито как-то вышел на террасу, где мы находились. Подойдя к фигуре, Тито ласково хлопнул ее по мягкому месту, и статуя медленно и призывно завертелась. «Хороша штучка?» — спросил он у нас. Потом он рассказал нам, что присмотрел Брионы в качестве будущей резиденции еще тогда, когда партизанил недалеко от этих мест. Мое лицо, по-видимому, выразило какое-то сильное чувство. Меня удивило — о чем думал верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией в период войны. Тито, по-видимому, не так истолковал мой взгляд и сказал: «Да, да, молодой человек. Я ни минуты не сомневался в нашей победе и в том, что именно мне доведется стать во главе страны».

Лежа ночью в пышной постели на антресолях небольшого домика (кажется, охотничьего, где располагались «сопровождающие лица»), я долго ворочался, пережевывая только что услышанную фразу. Что же, действительно существует предопределенность?

Впоследствии я написал книгу о Мао Цзэдуне с тайной мыслью ответить на этот вопрос. Но судьба Тито, наверное, представляла куда более интересный и разительный пример, дающий богатую пищу для размышлений о роли личности в истории.

Кто кого ищет? Человек — историю или история — человека? Этот элементарный, но неясный вопрос неизбежно встает, когда думаешь о тех людях, которые делали или по крайней мере полагали, что делают политическую историю нашего века. Особенно поражает то ощущение предначертанности, которое эти люди испытывали сами и потому так успешно внушали окружающим. Что это — магия личности? Или магия власти? Или массовый гипноз?

Я не находил ответа, хотя встречался со многими, в том числе выдающимися лидерами современного мира. Древние давали на это однозначный ответ: нужна фортуна и нужна доблесть человека, который использует данный фортуной шанс и возвышается над толпой, запечатляя себя в истории. Ну а мы? Какой ответ даем мы?

Разве появление личности Ленина было случайным? Разве можно представить себе, что кто-либо другой мог заменить его в качестве вождя революции и основателя нашего государства? Разве кто другой мог так точно определить день восстания (24-го — рано; 26-го — поздно; 25-е — вот единственный день, когда немногочисленная партия большевиков могла возглавить захват власти)?

Нет, что бы мы ни говорили, для исторического процесса нужны личности, нужна могучая политическая воля, нужна способность магического воздействия на массы людей. Тогда и только тогда обеспечен успех.

На Брионах во время переговоров произошел забавный кэзус. Мы находились в зале первого этажа. Неожиданно по лестнице спустился обеспокоенный Ю. В. «Прокол, товарищи, сильный прокол! Кто у нас отвечает за печать, кроме тебя, Федор?» — спросил он у меня. Я назвал работника МИД и сообщил, что от наших друзей за это отвечает бывший посол в СССР. «Пригласи всех быстро сюда», — сказал Ю. В.

Когда мы собрались, он спросил, отправлена ли информация о переговорах, а если отправлена, то как там указан состав участников с советской стороны. Югославский посол сказал, что информация уже отправлена и что состав лиц указан в соответствии с теми, кто на деле принимал участие.

— Указали ли вы в числе участников сына Хрущева? — спросил Ю. В. Получив утвердительный ответ, он попросил исправить информацию. Но оказалось, что уже поздно — она передана по телеграфу и неизбежно попадает в югославские и другие зарубежные газеты. — Надо любой ценой задержать информацию на Советский Союз, чтобы изъять оттуда упоминание о сыне и о помощнике Хрущева, — приказал Ю. В. — Я получил на этот счет самые твердые указания от Первого. Он дважды выходил с переговоров и повторял мне это.

Представитель МИД сказал, что он уже передал информацию корреспонденту ТАСС и там были упомянуты не только члены делегаций, но и эти два человека, поскольку они сидели за столом переговоров.

— Это ошибка. Это грубейшая ошибка, nepозволительная для работника МИД. Они же не входят в состав делегации, — воскликнул Ю. В. — Немедленно разыщите представителя ТАСС и исправьте ошибку!

И тут начались поиски корреспондента ТАСС. Остров Брионы очень небольшой, его можно объехать на велосипеде за полчаса. И хотя на поиски были отправлены работники разведок двух стран, прошло больше часа, пока тассовец предстал перед глазами начальства. Он был весь в соломе — его с трудом извлекли из стога, где он спал. Я до сих пор помню этого корреспондента: огромного роста, с красным с перепоя лицом, в расхристанной одежде, он стоял, раскачиваясь, перед высоким начальством, не в состоянии взять в толк, что происходит.

— Вы отправили телеграмму о переговорах? — жестко спросил Ю. В.

— Отправил. Как положено. Сразу же отправил, как только получил от него, — тассовец указал на представителя МИД, отчего тот отшатнулся в сторону.

— А какой текст вы передали?

— Какой мне дали, тот и передал.

— Какой же состав участников советской стороны вы перечислили? — спросил Ю. В.

— Как какой, какой есть. Весь состав делегации.

— А две последние фамилии?

— Две последние? Я их вымарал. Они же не входят в состав делегации.

Как тут отлегло у всех от сердца! Холодный и величественный протоколист из МИД, я видел, готов был расцеловать пьяную рожу корреспондента.

Ю. В. тоже облегченно вздохнул, улынулся и сказал:

— Ну ладно, идите досыпайте и чтоб больше это не повторялось!

— А что случилось? — спросил у меня корреспондент, когда мы отошли в сторону.

— Да ничего особенного, — отвечал я ему, — только ты упустил редкую для себя возможность потерять партийный билет.

Корреспондент несколько струхнул, несмотря на свое подогретое состояние, но потом, когда я все рассказал ему, он успокоился и даже повеселел, восхищаясь своей интуицией.

Для Ю. В. не было мелочей. Любая работа, которую он делал, должна была быть безукоризненной, доведенной до конца и по возможности блестящей. Ю. В. не терпел полуфабрикатов, ненавидел небрежность и органически не выносил любое проявление безответственности. В этих случаях он мог быть безжалостным. Не смог — это понятно. Но не постарался — такое он не прощал никогда. И надо сказать, что все вокруг него действительно очень старались, не столько из-за страха, сколько на совесть. Как говорится, каков поп, таков и приход. За малым исключением Ю. В. подбирал вокруг себя такой «приход», который был способен отвечать высокому уровню его требований.

Еще один любопытный штрих бросился мне в глаза. Югославские руководители пригласили нас в ночной бар. В баре была музыка, и самые молодые из нас танцевали с юной красавицей, женой пожилого посла Югославии в Советском Союзе. Кто-то из югославов стал подтрунивать над послом. Тот ответил шуткой: «У нас в Черногории говорят, что лучше есть молодого цыпленка вдвоем, чем глотать старую курицу в одиночку». В следующем отделении предполагался стриптиз. Ю. В. тут же встал и, сославшись на дела, заявив, что уезжает. Югославы пытались уговорить его, но он был совершенно неумолим, но разрешил остаться тем из нас, кто пожелает. Ну, я остался и впервые в жизни посмотрел стриптиз, выполненный, кстати говоря, не югославкой, а австриячкой — полноватой, белотелой, большеглазой, в общем, очень красивой женщиной.

Для первого раза это было, конечно, очень пикантное угощение. И когда я встретился на следующее утро с Ю. В., попытался рассказать ему об этом. Однако он твердо перевел разговор на другую тему. Вообще он был пуританином, даже по строгим нормам, принятым тогда в партийной среде. Он практически не пил, никто не слышал, чтобы он когда-нибудь сделал комплимент женщине (по крайней мере на работе). Фильмы с сексуальными сценами он не терпел, хотя, конечно, не навязывал никому своих вкусов. Все знали, что при нем надо держаться строже и ни в какие разговоры вольного характера при нем пускаться нельзя. Я сам наблюдал, как ему было нелегко иной раз в присутствии Первого, любившего опрокинуть рюмку-другую коньяка. К тому же Первый обожал рассказывать двусмысленные анекдоты, любил их слушать от других и охотно прибегал к сочному непечатному слову. Я часто видел, как Ю. В. передергивало от подобного стиля, но как опытный дипломат он сдерживался и скрывал свои чувства.

Что касается Первого, то ему только дай повод, чтобы похохотать.

Его бородавка около носа — эта мета избранной судьбы, по китайским поверьям, — как будто все время подрагивала от желания посмеяться и вызвать смех у других. Помните, на обратном пути с острова Брионы мы как-то обедали в кают-компании принадлежащего Тито парусника «Галеб». Парусник, да еще с мотором, по почти плоской глади теплого Адриатического моря — все это настраивало Первого на праздничный лад. Он непрерывно шутил за обедом и хохотал раньше других, будучи не в силах сдержаться. Справа от него сидел Тито в белоснежной адмиральской форме и тоже вежливо посмеивался. Тут на десерт подали апельсины. Увлеченный своим очередным рассказом, Первый даже не заметил изящного ножика, который положили рядом, и стал разламывать апельсины руками, продолжая при этом азартно рассказывать какую-то смачную историю. Но вот капельки раздавленного апельсина разбрызгались в разные стороны. Несколько капель, к несчастью, упали на адмиральский китель президента. Как быть? И китель жалко, и Первого обидеть нельзя. Тогда товарищ Тито незаметно вытащил платочек из верхнего карманчика кителя и стал легкими движениями руки вытирать свой белоснежный китель...

Вообще в нем было много детского. Я наблюдал, как, например, во время послеобеденных прогулок в парке он держал на груди маленький приемничек, подаренный ему где-то, кажется в Америке. Говорят, что руководители радио и телевидения передавали в это время специально для него деревенские мелодии, которые любил Первый. А во время переговоров с Тито, когда тот красочно описывал замысел и результаты экономической реформы, Первый время от времени вытаскивал из бокового карманчика пиджака маленькие часики в металлической коробочке в форме фотоаппарата. Он держал эти часики под столом, так, чтобы не было впечатления, что он торопит собеседника. А сам посмотрит на часики и спрячет, потом снова вытащит, полюбуется ими и снова спрячет. Его не интересовало время. Он явно интересовался необычной игрушкой, очевидно, недавно полученной в подарок.

Это радостное изумление перед современной техникой мне приходилось не раз наблюдать на лице Первого. Военные рассказывали, какой восторг у него вызывали новые боевые игрушки...

Не таков был Ю. В. Еще с юности, матросом, он привык иметь дело с техникой и уделял ей то внимание, которого она заслуживает. Кроме того, он поглощал гигантскую информацию о техническом и военном прогрессе и постоянно следил за новинками, особенно зарубежными. Что же касается технических игрушек, он проявлял к ним полное равнодушие. Все в отделе знали, что он и его семья отличались поразительной скромностью — никто из его детей не разъезжал в «фордах» или «мерседесах», не гонялся за зарубежными магнитофонами, телевизорами и джинсами. На вкус многих в нашем окружении такой пуританизм был даже чрезмерным, но у всех он вызывал глубокое уважение. Мы-то знали, что Первый передал членам своей семьи три «форда», подаренные ему пре-

зидентом США... И это царапало наши чувства, тем более что в те времена индивидуальная машина у партийного работника была большой редкостью. Слушая намеки по поводу этих излишеств, я думал тогда: «Поистине дети — это отмщение политическим лидерам». Тогда я еще не мог знать, до какой степени пророческой оказалась эта догадка...

Если албанская поездка показывала, как опасно любое проявление нетерпимости и амбициозности в отношениях руководителей разных стран, то югославская, напротив, обнаружила, сколь многого можно добиться, проявляя необходимую широту подхода, понимание разнообразия исторических условий, несходства характеров и индивидуальных человеческих судеб. «Культура — это терпимость», — сказал кто-то. Это абсолютно точно, если, конечно, не жертвовать нравственными принципами, составляющими основу твоей личности и общества, к которому ты принадлежишь.

### §

В 1963 году состоялась моя первая встреча с М. А. Сусловым. Во время работы в отделе я многократно слышал от Ю. В. о тех замечаниях, которые высказывал Суслов по поводу готовящихся материалов. И были они, эти замечания, очень последовательны, что быстро сформировало в моем сознании довольно четкое представление о Михаиле Андреевиче. Скажем, пишем мы в документе о возможности мирного перехода к социализму в других странах, а он указывает, мол, надо сказать также о вооруженном восстании; пишем о том, что нет фатальной неизбежности мировой войны, а он отмечает, мол, надо сказать, что нет и фатальности мира; подчеркиваем значение демократии, а он рекомендует упомянуть о дисциплине; отмечаем ошибки периода культа личности, а он советует упомянуть, что периода такого не было, поскольку партия всегда стояла на ленинских позициях; намекаем на то, что не все было благополучно во время периода коллективизации, а от него исходит: надо-де отметить историческое значение великого перелома. В общем, стоял он на страже всестороннего подхода, чтобы, так сказать, не выплеснуть ребенка вместе с водой, хотя бы ребенок тот был весь в сталинских пятнышках. Особенно нашу группу консультантов распотешило его замечание по такому поводу, как писать: марксизм-ленинизм и пролетарский интернационализм либо марксизм-ленинизм тире пролетарский интернационализм. Каждый раз, когда мы писали «и», Михаил Андреевич аккуратным тоненьким почерком вычеркивал «и» и ставил тире, поскольку нельзя-де противопоставлять одно другому: марксизм-ленинизм это и есть пролетарский интернационализм. Надо сказать, что наш отдел проявил некоторое упорство в этом вопросе. Продолжал вставлять неположенное «и», в то время как братский международный отдел целиком принимал формулу Михаила Андреевича и послушно вставлял куда надобно тирешку. Юрия Владимировича Суслов не любил и опасался, подозревая, что тот метит на его место, тогда как руководителя другого международного отдела все время приближал к себе, правда, держал и его на необходимом расстоянии, противодействуя включению в состав высшего руководства. Так тот и остался вечным кандидатом в члены Политбюро.

Впервые встретился я с Михаилом Андреевичем во время переговоров с китайской делегацией в 1963 году. Кстати говоря, выступая в качестве советника на этих переговорах, я имел возможность познакомиться довольно близко с руководителями Китайской компартии. Наибольшее впечатление произвели на меня аристократичный Чжоу Эньлай и живой, раскованный, веселый Дэн Сяопин, о котором я впоследствии написал большую статью «Междущарствие» («Новый мир», 1982, № 4) и не опубликованную поныне биографию. Так вот, во время этих переговоров, которые происходили во дворце приемов на Ленинских горах, воспользовавшись перерывом, Суслов (он возглавлял нашу делегацию) вместе с другими советскими руководителями пригласил нас на совещание. Он сказал, что нужно срочно, буквально в течение одного дня, подготовить документ, в котором была бы выражена позиция КПСС в споре с китайскими руководителями. Он очертил примерный круг проблем — о культе личности, о мире и мирном сосуществовании, о формах перехода к социализму. Тут же решено было назвать это «Открытым письмом». Но что привлекло мое особое внимание — это выражение лица Михаила Андреевича, когда он сказал: «Надо нанести неожиданный удар, пока они не ждут и не готовы». И при этом залился смехом, сладким-сладким и тихим-тихим... Мы просидели ночь и написали этот документ, который был одобрен и тут же опубликован. Все в нем было правильно, но одно только вызывало сомнение: надо ли это было делать в момент, когда не закончились еще переговоры? Потом я понял, что таков был стиль, присущий лично Суслову, в то время как

Хрущев всегда был более склонен к открытым, импульсивным и не очень обдуманным движениям и шагам.

Отношения между этими двумя руководителями оставались для нас всегда загадкой. Почему Хрущев так долго терпел в своем руководстве Суслова, в то время как убрал очень многих своих оппонентов? Трудно сказать — то ли он хотел сохранить преемственность со сталинским руководством, то ли испытывал странное почтение к мнимой марксистско-ленинской учености Михаила Андреевича, но любить он его не любил. Я присутствовал на одной заседании, на котором Хрущев обрушил резкие и даже неприличные нападки на Суслова. «Вот пишут за рубежом, сидит у меня за спиной старый сталинист и догматик Суслов и только ждет момента скovyрнуть меня. Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишут?» А Суслов сидел, опустив свое худое, аскетическое, болезненное, бледно-желтое лицо вниз, не шевелясь, не произнося ни слова и не поднимая глаз.

На февральском Пленуме ЦК партии 1964 года Хрущев обязал Суслова выступить с речью по поводу культа личности Сталина. Это поручение было передано мне и тому же Чернякову, соавтору статьи, которую критиковал Суслов. Речь надо было подготовить в течение одной ночи. Присидели мы в кабинете у Чернякова безвылазно часов двенадцать. Мы вначале пытались диктовать стенографисткам, но ничего не получалось. А не получалось потому, что не знали, как писать для Суслова. Позиция его была известна — остороженькая такая позиция, взвешенная, всесторонненькая, сбалансированная, лишённая крайностей и резких красок. А поручение Хрущева было недвусмысленное — решительно осудить устами Суслова культ личности. Вот и металась мы в этом кругу полночи. Потом отправили стенографисток домой и засели сами. Черняков взял перо, а я диктовал под его подбадривание: «Ну, давай, давай, ну, полилось, давай, давай!»

К утру речь была готова, аккуратно перепечатана в трех экземплярах, и мы отправились к Михаилу Андреевичу. Посадил он нас за длинный стол, сам сел на председательское место, поближе к нему Черняков, подальше я. И стал он читать свою речь вслух, сильно окая по-горьковски и приговаривая: «Хорошо, здесь хорошо сказано. И здесь опять же хорошо. Хорошо отразили». А в одном месте остановился и говорит: «Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку». Ну я, ослоневший от бессонной ночи, заверил, цитатку, мол, мы найдем, хорошую цитатку, цитатка для нас не проблема. Тут он бросил на меня первый взгляд, быстрый такой, остренький, и сказал: «Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил ящичек, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными, худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатками. Одну вытащит, посмотрит — нет, не та, другую начнет читать про себя — опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится». Зачитал, и впрямь хорошая цитатка была. В этот момент я и сделал главную ошибку в своей жизни — видимо, сказала бессонная ночь да и неуместная склонность к шуткам. Не выдержал я и всохотнул, вида, как крупнейший идеолог страны перебирает цитатки, как бисер, или как в былые времена монахи четки перебирали. Надо думать, рожа у меня при этом была самая непартийная, потому что бросил на меня второй взгляд Михаил Андреевич, маленькие серые глазки его сверкнули и снова опустились к каталогу. Подумал я еще в тот момент: «Ох, достанет он тебя, Федя. Раньше или позже достанет!» И верно, именно он-то и достал меня. Случилось это в следующую эпоху. Он имел непосредственное отношение к расправе со мной в газете «Правда», учиненной за одну из моих публикаций. Но об этом я расскажу позднее...

А тогда Суслов дочитал текст, сказал спасибо, ручки нам пожал. А на Пленуме доклад в том же виде зачитал. Зачитал с выражением, заслужив полное одобрение Первого. Но нам-то, исполнителям, он не простил того, что мы участвовали в учиненном над ним идеологическом насилии. Пришлось ему сказать против Сталина то, о чем не думал и во что сам не верил.

Но я забежал вперед. Еще до этих встреч я был надолго откомандирован в группу подготовки проекта Программы партии в распоряжение руководителя этой группы, в ту пору заведующего международным отделом ЦК Борисом Николаевичем Пономаревым.

Я и раньше встречался с руководителем рабочей группы по разным поводам, хотя и редко. А тут мне представилась возможность больше года видеть его каждый день. Все члены группы вместе с ним участвовали в обсуждениях, редактировании и других видах работ. Сотрудник Коминтерна, начальник Совинформбюро при Совете Министров СССР, заместитель, а потом заведующий международным отделом, руководитель авторского коллектива учебника истории КПСС, он вызывал чувство почтения у окружающих. Говорил он

неторопливо, взвешивая каждое слово, работал над текстом основательно, оставляя на полях свои замечания, написанные большими острыми буквами. Он любил гулять с нами в окрестностях нашей резиденции в «Соснах», в лучшем месте, которое я встречал в Подмосковье. «Сосны» представляют собой расположенный в уникальной сосновой роще санаторий, филиал которого — небольшой двухэтажный домик с балкончиками и террасами — занимала наша группа. Гуляя с нами по окрестным рощам вдоль Москвы-реки, руководитель группы обычно рассказывал интересные истории о годах работы в Коминтерне. Видимо, для него в ту пору это было самое дорогое воспоминание.

Самой колоритной фигурой среди нашего коллектива был Елизар Ильич Кусков, который работал в ту пору консультантом в соседнем отделе. Несмотря на свой вид типичного деревенского мужика, да еще из старой дореволюционной России, на массивное, почти квадратное лицо с крупным мясистым носом, раздвоенное заячьей губой, и большими редкими зубами, несмотря на свое незаконченное высшее образование, он с полным на то основанием выступал в роли не только организационного, но и интеллектуального центра. Это был природный русский ум — основательный и неторопливый, смекалистый и хитроватый, бесконечно доброжелательный и склонный к подначке. Это была какая-то народная глыба, не обтесанная цивилизацией, но цивилизованная по самой своей природе. Я не встречал человека большей доброты и отзывчивости. Никто из нас не умел тоньше чувствовать политическое слово. И никто не знал более веселых и пакостных деревенских частушек, чем Елизар. Ну и, конечно, что там говорить, не дурак был выпить. И эта слабость в конце концов загнала его в гроб намного раньше положенного срока. По стечению обстоятельств я не попал на его похороны и до сих пор казню себя, потому что были мы с ним, несмотря на противоположность наших натур и воспитания, самыми близкими друзьями, незаконно перебрасывая мостик между двумя отделами, немного конкурировавшими между собой.

Елизар был начальником штаба, он регулировал весь процесс подготовки документа, бесконечные передвижения участников, непрерывно курсировавших на новеньких черных «Волгах» между Москвой и «Соснами». Он намечал заседания, поддерживал связь с руководителем группы, а при случае пользовался выходом и в более высокие сферы. Кроме Елизара работал там еще постоянно уже знакомый читателю Черняков. Он выступал в обычной своей роли: хорошо и много говорил и отличался редкой способностью подмечать алогизмы и огрехи в любом тексте. Я в ту пору уже несколько поостыл к Чернякову, сосредоточив свои чувства на Елизаре, который восхищал своей полной непохожестью на сложившиеся у меня представления о теоретике и пропагандисте и вообще о размышляющем и пишущем человеке. Вовсе не надо кончать университетов, быть кандидатом или доктором наук, думалось мне, чтобы глубоко мыслить и хорошо писать, — поистине природный ум и интуиция стоят большего.

А ученых мужей там пребывало немало, и польза от них была относительная...

Мне было поручено работать над разделом о государстве. Задача состояла в том, чтобы обосновать переход от государства диктатуры пролетариата к государству общенародному и сделать отсюда необходимые выводы для развития партийной и советской демократии. Эта задача, в общем, была нетрудной для меня, поскольку в ту пору уже вышел в свет учебник «Основы марксизма-ленинизма», в котором содержалась вся необходимая аргументация. Кроме того, в моем распоряжении была Записка, подготовленная в свое время под руководством О. В. Куусинена. А затем Елизар, хитроумный, как лис, «перебросил» меня в другой раздел — о развитии стран социалистического содружества, а потом приобщил к процессу общего редактирования всего международного раздела. Я имел совершенно твердые установки от Ю. В.: отразить в разделе о социалистическом лагере наши принципиальные позиции, зафиксированные в Заявлении, и в то же время не включать формулировки, которые другие страны могли бы расценить как диктат со стороны «старшего брата».

Но тут я столкнулся с человеком, который был настроен совсем иначе. Носитель славной академической фамилии, Красильщиков Владимир Владимирович занимал в ту пору пост заместителя заведующего нашим отделом. Я впервые встретил его лет за десять до этого в одной компании научных работников и журналистов. Мы сидели в разных концах стола, и оба очень скучали, пока он не обронил какую-то цитату из «Золотого тельника». Я продолжил эту цитату, и между нами началась игра, которой хватило на весь вечер. Мы прошлись не только по «Золотому тельнику» и «Двенадцати стульям», но также прихватили фельетоны и записные книжки Ильфа и развлекались, страшно довольные друг другом, не считаясь с протестами других гостей. Вышли мы оттуда, конеч-

но, вместе крепко подружившимися. Когда я встретил Красильщикова много лет спустя в отделе, а потом в «Соснах», у нас легко восстановились дружеские отношения, сложившиеся много лет назад.

Но очень скоро я убедился, что Красильщиков представляет собой совершенно исключительный феномен человека, сочетающего в себе глубокую, природную интеллигентность с махровым консерватизмом, умноженным на непробиваемое упрямство. Он глубоко и искренне любил Сталина и особенно ценил его роль в формировании социалистического лагеря. В подготовленном первом варианте раздела о социалистической системе две трети текста было уделено критике Союза коммунистов Югославии, который незадолго до этого выступил со своей программой. Остальная треть была написана так коряво и беспомощно, что тоже совершенно не годилась.

Будучи в большом затруднении, я отправился к нашему Елизару, на что он мне сказал: «Ты не обращай внимания на то, что он начирикал, пиши себе свой текст спокойно, а мы посмотрим». Я сделал набросок и пошел к Красильщикову, чтобы попытаться, по ходовому выражению того же Елизара, «поженить» наши два текста. Красильщиков пришел в неистовое негодование, близкое к состоянию шока. Он дрался за каждую строку, отстаивая каждую запятую в своем материале, как будто это было Священное писание. Как тут быть? Я снова отправился к Елизару, и тот, прихватив с собой бутылку белой, решил примирить стороны. Но не тут-то было. Красильщиков грубо отверг совместную выпивку, хотя до этого аккуратнейшим образом пил со всеми на равных, и, возбудившись до крайнего предела, громовым голосом потребовал, чтобы мы покинули его комнату. Выдавший всякие виды Елизар развел руками и сказал с юмором: «Нас здесь не понимают, Федор, пойдем-ка мы в другое место». Красильщиков на следующее утро уехал и больше не появлялся в нашем коллективе. Это был единственный инцидент такого рода, хотя, конечно, все мы испытывали на себе давление нервного пресса: материалы многократно переписывались, переработывались, установки, приходившие сверху, часто бывали неопределенными, отражавшими к тому же глухую подспудную борьбу вокруг острых проблем развития страны.

Впоследствии Красильщиков сыграл большую роль в событиях в Чехословакии в 1968 году. Работая в нашем посольстве в этой стране, он больше других настаивал на вводе советских войск и «сокрушении ревизионистов». По странному совпадению в это время проблемами Чехословакии занимался и Суетухин, специалист по хозяйственным проблемам, который не знал ни языка, ни страны. Они вдвоем, объединившись, давали однозначную информацию о чешских событиях руководству и выступали против политического решения проблемы.

Самой экзотической фигурой среди приезжавших в «Сосны» был, пожалуй, известный уже нам Александр Иванович Соболев. Он отличался удивительно острым деструктивным умом: ему ничего не стоило разрушить любой текст, отыскать в нем противоречия, неточности, неясности. Но вот конструктивная работа давалась ему с большим трудом. В каждый свой заезд он пытался опрокинуть все построенное здание, доказывая, что текст должен быть целиком переписан.

— Так уж целиком? — не без ехидства спрашивал Елизар. — А в каком направлении?

— Вот это как раз и должно стать предметом серьезной дискуссии, — отвечивал Соболев.

Он вообще демонстрировал повадки инфанта, которому все позволено: бегал голышом под дождем вокруг дома, пытался ворваться в спальню машинисток ночью да еще без всякого предупреждения, уходил, ни слова не говоря, с заседаний. Что до проекта Программы, то он исчерчивал его вдоль и поперек. Борис Николаевич питал к нему какую-то непонятную слабость, твердо веря в его незаурядные теоретические способности, и требовал, чтобы прислушивались к его замечаниям. Кусков не любил эти наезды Соболева, потому что после них в сознании руководства оставалось ощущение, что материал еще очень сырой, недоделанный, что работа идет кое-как и надо срочно подтягивать дисциплину. К счастью для нас, Соболев снова надолго исчезал, оставляя после себя гору разрушений и разочарований.

Антиподом Соболева выступал академик Федосеев П. Н. Его нередко приглашали на этапе общей проходки, перед тем как в очередной раз вручать текст руководителю рабочей группы. Он привносил во все чувство стабильности, хотя практически любой текст он стремился упростить, выпрямить, привести в соответствие с уже принятыми до-

кументами, убрать острые углы или какие-то формулировки, забегаящие то ли в сторону, то ли вперед. У него был зоркий взгляд на такие вещи, и проскочить через это сито было очень нелегко.

Петр Николаевич иной раз привозил с собой двух-трех философов для вставок, иными словами, отдельных предложений в соответствии с их профессиональной ориентацией. Один из таких философов, армянин по национальности, женатый на русской, замучил нас вставками по поводу развития национальных отношений в стране путем поощрения межнациональных браков. Ему представлялось это главным средством сближения или даже слияния наций. Он настойчиво и даже настырно пытался пропихнуть за общим редакционным столом свои вставки и изрядно надоел всем, даже уравновешенному и спокойному Петру Николаевичу. Тот как-то попросил меня взять предлагаемые страницы и, отредактировав их, вернуть за общий стол. А я, вместо того чтобы заниматься текстом, который считал совершенно непригодным, решил ограничиться шуткой и к сакраментальной формулировке автора «лучшим путем для сближения наций является развитие брачных отношений» добавил: «и иных форм половых отношений между представителями различных наций». Когда эта формула была зачитана за общим столом, она вызвала гомерический хохот, и Петр Николаевич, невзирая на горячие протесты, выбросил весь текст целиком без всякой жалости.

Я рассказываю об этих частностях, чтобы показать, что обстановка была самая непринужденная и, в общем-то, очень творческая. Никому не приходило в голову обвинять друг друга в каких-то уклонениях или «измах», что еще совсем недавно практиковалось в теоретической работе. Но главные проблемы были, конечно, связаны с содержанием Программы, ее новыми идеями, выводами, формулировками.

Одно из центральных мест при подготовке проекта Программы партии занимал вопрос о мирном сосуществовании, дружественных отношениях и сотрудничестве со всеми государствами и народами. Здесь должна была найти отражение новая стратегия, вырабатываемая странами социализма в их взаимоотношениях с Западом, — ориентация на длительное мирное экономическое соревнование, в ходе которого выявятся все преимущества социализма. Само по себе именно это должно стать примером для рабочего и демократического движения во всем мире. Речь шла и о том, чтобы сделать выводы из новой ситуации, созданной термоядерным оружием: о новом характере войны и ее катастрофических последствиях для всех народов и государств, о мире как единственной альтернативе взаимному уничтожению, о прекращении «холодной войны» и конфронтации, о радикальном улучшении всего международного климата.

Подобный подход вызывал сильное сопротивление в нашей научной среде, представители которой полагали, что это противоречит установкам на мировую революцию. В подготовленных ими записках, а также статьях сторонники такой позиции жонглировали цитатами из произведений Ленина, написанных в годы революции и гражданской войны, совершенно игнорируя его абсолютно четкие и недвусмысленные указания и идеи в 20-х годах, когда страна вступила в пору мирного строительства и стала налаживать дипломатические, экономические и иные отношения с капиталистическими государствами.

Парадоксально, но понадобилась целая историческая эпоха, чтобы эти ленинские идеи в очищенном от наслоений виде, конкретизированные и развитые применительно к современности, нашли свое отражение в программном документе партии. Ю. В., с которым я советовался постоянно, особенно рекомендовал четко разграничить межгосударственные отношения стран социализма и капитализма и проблемы идеологической борьбы. Такая борьба не должна мешать развитию межгосударственных отношений с целью предотвращения истребительной войны и налаживания взаимовыгодного сотрудничества в экономической, научно-технической и других сферах.

Впоследствии он говорил в одном из своих выступлений: «С появлением ракетно-ядерного оружия над человечеством нависла угроза губительной катастрофы, и это потребовало от коммунистов конкретной программы борьбы за предотвращение новой мировой войны, умения еще более тесно увязывать борьбу за мир с борьбой за победу социализма». Это было, кажется, одно из первых упоминаний о катастрофических последствиях мировой войны в выступлениях наших руководителей.

Немало дискуссий вызывал вопрос о формах перехода к социализму в капиталистическом мире. Собственно, если говорить точнее, о возможности мирного, ненасильственного перехода с использованием парламента. Этот вопрос, как известно, ставился еще Лениным, а в наше время впервые был широко и аргументированно изложен в программном документе английских коммунистов «Путь Британии к социализму», в редак-

тировании которого по их просьбе принимал участие Сталин. Потом эта проблема формулировалась в документах французской, итальянской и многих других западноевропейских партий. В таком виде она вошла в документы нашей партии, потому что, естественно, в этом вопросе мы должны были ориентироваться прежде всего на мнения компартий капиталистических стран.

И конечно, вопрос о гарантиях против повторения культа личности и о его отрицательных последствиях занял большое место при подготовке Программы партии. В частности, уже тогда начался процесс обновления советского законодательства, всех кодексов и основных законов, а также подготовки новой Конституции СССР. Этот вопрос оставался актуальным для ряда компартий социалистических стран, а для некоторых не только актуальным, но и чрезвычайно болезненным. Эти последние рассматривали любую критику культа личности как прямой выпад против порядков в своих партиях и странах и даже как покушение на авторитет и роль тех или иных лидеров. Да и среди наших теоретических кадров и политических деятелей этот вопрос вызывал немало споров, нередко чрезвычайно ожесточенных. Поэтому на протяжении работы над материалами Программы мы выслушали множество самых противоположных и разнообразных рекомендаций. В конечном счете восторжествовала точка зрения, которую не раз в личных беседах высказывал Ю. В. Он говорил, что нет проблемы, способной в большей мере раскалывать коммунистическое движение, чем вопрос о Сталине, поэтому он рекомендовал ограничиться краткими формулировками, взятыми почти дословно из известного постановления «О преодолении культа личности и его последствий», принятого в 1956 году. После длительного перетягивания каната восторжествовала именно эта позиция.

Один из практических выводов из опыта прошлого был связан с более последовательным осуществлением принципа сменяемости кадров. Этот тезис, если мне не изменяет память, вызвал больше всего споров. Идея ротации кадров, которая исходила непосредственно от Хрущева, претерпела ряд видоизменений. Было проработано не менее десяти вариантов формулировок, которые дали бы ей адекватное воплощение. Первый хотел создать какие-то гарантии против чрезмерного сосредоточения власти в одних руках, засиживания руководителей и старения кадров на всех уровнях. В отношении первичной организации это не вызвало особых споров. Но относительно ротации в верхних эшелонах мнения разошлись кардинальным образом. В этом пункте даже ему с его авторитетом, упорством и настойчивостью пришлось отступить.

В первоначальном проекте фиксировались принципы, согласно которым можно находиться в составе высшего руководства не больше двух сроков. Это вызвало бурные протесты со стороны более молодой части руководителей. Им казалось крайне несправедливым, что представители старшего поколения, которые уже насиделись, пытаются ограничить их возможности и их активность. В следующем проекте два срока были заменены на три, но и эта формулировка в конечном счете была отвергнута. В окончательном тексте весь замысел — создать совершенно новую процедуру сменяемости кадров — оказался препарированным до неузнаваемости. А то, что осталось, относилось почти исключительно к низким структурам и вскоре выявило свою практическую непригодность. Трудно сказать, с чем была связана эта неудача. То ли с тем, что не были найдены наиболее разумные и приемлемые формы ротации кадров, или с сопротивлением заинтересованных людей, но остается фактом, что важное указание Ленина против чрезмерной концентрации власти в одних руках воплотить в программном документе не удалось. Ю. В. был, кажется, одним из немногих молодых руководителей, которые последовательно поддерживали идею ротации кадров в том виде, в каком она была заявлена первоначально.

Ю. В. говорил мне однажды о том, что кто-то из членов высшего руководства высказался в том духе, что он не имеет опыта и знаний в области экономики. Это очень задело Ю. В., который на протяжении своей предыдущей работы — и в качестве секретаря обкома комсомола в Ярославле, и в партийном руководстве Карелии — постоянно занимался проблемами экономики. Кроме того, он накопил большой опыт, будучи послом в Венгрии, где уже тогда началась борьба вокруг проблем экономической стратегии и хозяйственной реформы. Да и руководство отделом, занятым отношениями с компартиями социалистических стран, конечно же, постоянно вовлекало его в обсуждение и решение экономических проблем, занимавших все большее место в этих отношениях. Он интересовался проблемами экономического развития нашей страны, понимая их решающее значение не только для советского общества, но и для воздействия на международное коммунистическое движение.

Самые большие споры вызвало предложение включить в Программу цифровые ма-

териалы об экономическом развитии страны и ходе экономического соревнования на мировой арене. С этим предложением приехал на одно из заседаний крупный хозяйственник А. Ф. Засядько. Насколько я припоминаю, члены рабочей группы — экономисты и не экономисты, в том числе и я, — решительно выступили против этого предложения. Доклад, который сделал об этом Засядько в рамках рабочей группы, показался нашему руководителю и всем нам легкомысленным и ненаучным. Выкладки о темпах развития нашей экономики и экономики США фактически были взяты с потолка — они выражали желаемое, а не действительное.

Однако сам Засядько легко положил конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу книжки в синем переплете с машинописным текстом примерно на восьмидесяти страницах и показал надпись «включить в Программу» и знакомую подпись Первого. Так в Программу партии, вопреки мнению подавляющего большинства участников — и не только в рамках рабочей группы, но и на политическом уровне, — были включены цифровые выкладки о том, как мы в 80-х годах догоним и перегоним Соединенные Штаты. Порывы были высокие, но, как говорилось в аппарате, кроме амбиций нужна еще и амуниция.

Правда, надежды на ускоренное экономическое развитие связывались с осуществлением хозяйственной и управленческой реформ, которые не состоялись. Кроме того, в ту пору даже крупные специалисты-экономисты не могли по-настоящему предвидеть бурного развития научно-технической революции.

Надо, впрочем, попытаться представить себе и общий дух того времени. Хотя мало кто верил в цифры Засядько, но энтузиазмом и оптимизмом были охвачены все. И базировались эти чувства вовсе не на пустом месте: мы были убеждены, что принимаемая Программа открывает этап крупных структурных преобразований и сдвигов, — иначе зачем надо было бы принимать и утверждать новую Программу?

На самом деле замысел состоял в том, чтобы найти формы, средства, методы, механизмы для того, чтобы достичь нового индустриального уровня и догнать ушедшие вперед более индустриально развитые страны, чтобы коренным образом улучшить сельское хозяйство и обеспечить население продуктами питания и высококачественными товарами, создать уровень жизни, достойный нашего многострадального народа.

К тому времени сколько-нибудь мыслящим теоретическим работникам стало ясно, что достигнуть этого невозможно посредством простого наращивания количественных изменений — больше газа, стали, угля, нефти, электроэнергии, машин, одежды. Такое развитие не сулило никаких качественных перемен и обрекало страну на прогрессирующее отставание в области новой техники и технологии. Нет, речь шла об изменении структуры производства и управления.

К несчастью, Первый был окружен советниками, которые сводили на нет многие разумные, назревшие преобразования или заменяли их чисто организационными решениями, нередко невзвешенными, непроверенными, непродуманными.

Поэтому система новых экономических взаимоотношений так и не была определена. Все было сделано наспех, при большом сопротивлении многих работников хозяйственного аппарата, не понимавших целей этих преобразований, ломки традиций и озбоченных переменами в своей судьбе, поскольку им нередко приходилось оставлять насиженные кабинеты в Москве и отправляться в отдаленные районы. Еще хуже обстояло дело с преобразованиями в области государственного управления и структуры партийного руководства.

У нас говорили о слабости, присущей Первому: «Он привык ходить в стоптанных тапочках». Такая слава шла за ним, когда он еще работал на Украине, а затем в Москве. Это значит, что он предпочитал работать с тем аппаратом, который доставался ему от предшественников, и редко менял людей в своем окружении. И поэтому он часто оказывался в плену исходящей от них информации, а также их предложений и рекомендаций. Насыщенный до предела жаждой преобразований, как взрывчаткой, он, однако, нередко становился жертвой своей собственной невысокой культуры и в особенности некомпетентности или предрассудков непосредственно окружавших его лиц. Образовавшаяся при нем пресловутая пресс-группа оказывала огромное влияние на принимаемые решения и часто толкала его из одной крайности в другую, используя его эмоциональность, топорливость и вспыльчивость. Ю. В. прекрасно знал обо всем этом. Он не стремился ни войти в эту пресс-группу, ни включить в нее кого-нибудь из своих сотрудников. Он имел самостоятельные «выходы» на Первого и предпочитал подготовляемые нами документы передавать непосредственно ему или другим членам высшего руководства.

Кроме работы над проектом Программы на группу была еще возложена подготовка доклада на съезде партии, посвященного ей. Вначале предполагалось, что не будет самостоятельного доклада, а вопрос о Программе займет свое место в Отчетном докладе. Потом была спущена другая установка, хотя времени до съезда оставалось немного, и группа лихорадочно занялась подготовкой проекта нового доклада. В этом участвовала значительная часть группы, но на последнем этапе оставили только двоих — Елизара и меня. Перед нами поставили задачу оживить текст, придать ему более разговорную форму и дополнить сугубо теоретическое изложение какими-то яркими политическими и даже литературными отступлениями. Помню, как мы с Елизаром сидели в жаркие летние дни в беседке возле нашей резиденции и наперебой, соревнуясь, диктовали стенографистке.

Завершающий этап работы над Программой партии наступил уже во время XXII съезда КПСС. Обсуждение проекта в партийных организациях, в печати и на самом съезде потребовало внесения не менее двадцати редакционных и принципиальных поправок. К сожалению, однако, не были учтены пожелания, высказанные в некоторых письмах, о том, чтобы изъять из Программы цифровые материалы об экономическом соревновании двух мировых систем. Поколебать позицию докладчика в этом вопросе не удалось. Тем не менее новая Программа КПСС была встречена с энтузиазмом во всей партии и в народе, с надеждой и верой в то, что в короткие исторические сроки удастся добиться крупнейших результатов в экономическом и социальном развитии страны, радикально поднять уровень народного благосостояния. В этом были уверены все, включая Ю. В.

Общеизвестно, как обсуждалась, как была принята Программа КПСС. Те отдельные штрихи, которые мне хотелось бы прибавить к этой картине, быть может, дадут возможность лучше понять, какие процессы и личности повлияли на ее сильные и слабые стороны. И особенно сравнить взгляды Н. С. Хрущева и Ю. В. Андропова.

И в заключение первой части моего повествования несколько слов о проблеме лидера страны. Несомненно это один из ключевых вопросов демократии. Со времени революции основы нашей политической системы существенно не менялись. Но политический и идеологический режим менялись коренным образом — от Ленина к Сталину, от Сталина к Хрущеву, а затем от Хрущева к Брежневу и от Брежнева к Андропову. Независимо от государственных постов лидером страны становился руководитель компартии. При этом обнаружилось, что примерно пять лет уходило у каждого нового партийного руководителя на то, чтобы тем или иным путем стать лидером, возвышающимся над другими высшими партийными руководителями: у Сталина с 1924 по 1929, у Хрущева с 1953 по 1959 год. Борьба за получение реальных полномочий лидера страны лихорадила партию и государство, приводила к поспешным односторонним решениям, вела к формированию культа личности и режима личной власти.

Не кто иной, как Хрущев поднял знамя борьбы против этой тенденции. Главное значение он придавал идеологической стороне дела, необходимости до конца разоблачить культ личности, высказать правду о преступлениях 30-х годов и других периодов. Но сама эта правда, увы, была половинчатой, неполной. С самого начала Хрущев споткнулся на проблеме личной ответственности, поскольку многие в партии знали о той роли, которую сыграл он сам в преследовании кадров и на Украине и в Московской партийной организации. Не сказав правды о себе, он не смог сказать всей правды о других. Поэтому информация об ответственности различных деятелей, не говоря уж об ответственности самого Сталина за допущенные преступления носила однобокий, а нередко двусмысленный характер. Она находилась в зависимости от политической конъюнктуры. Например, разоблачая на XXII съезде КПСС В. М. Молотова и Л. М. Кагановича за избиение кадров в 30-х годах, Хрущев умалчивал об участии А. И. Микояна, который впоследствии стал его надежным союзником. Говоря о 30-х годах, Хрущев тщательно обходил период коллективизации, поскольку был лично замешан в перегибах того времени.

Хрущев стремился сформировать у всех членов Президиума ЦК общее отношение к культу Сталина. По его указанию каждый из выступивших на XXII съезде представителей руководства должен был определить свое отношение к этому принципиальному вопросу. После съезда, однако, оказалось, что многие из тех, кто метал громы и молнии против культа личности, легко пересмотрели свои позиции, вернувшись, по сути, к прежним взглядам.

Проблема гарантий, регламентирующих личную власть, натолкнулась на непреодолимое препятствие — ограниченность политической культуры самого Хрущева и тогдашней гене-

рации руководителей. То была во многом авторитарно-патриархальная культура, почерпнутая из традиционных представлений о формах руководства в рамках крестьянского двора. Патернализм, произвол, вмешательство в любые дела и отношения, непогрешимость патриарха, нетерпимость к другим мнениям — все это составляло типичный набор вековых представлений о власти в России.

В этом отношении показательны события, последовавшие за июньским Пленумом 1957 года. На нем, как известно, представители старой «сталинской гвардии» посредством так называемого арифметического большинства стали добиваться изгнания Хрущева. В результате голосования в Президиуме ЦК КПСС было принято решение об освобождении его от обязанностей Первого секретаря. Это решение, однако, удалось поломать благодаря усилиям горячих сторонников Хрущева. Выдающуюся роль в разгроме сталинистов сыграл маршал Г. К. Жуков. Как рассказывали тогда, во время заседания Президиума ЦК КПСС Жуков бросил историческую фразу в лицо этим людям: «Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». Эта фраза в конечном счете стоила ему политической карьеры. Вскоре после июньского Пленума Хрущев добился освобождения Г. К. Жукова с поста члена Президиума ЦК КПСС и министра обороны СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе — в момент, когда маршал находился в зарубежной командировке. Ему не было предоставлено возможности по-настоящему объясниться, точно так же как не было дано необходимого разъяснения партии и народу о причинах изгнания с политической арены самого выдающегося полководца Великой Отечественной войны. И причина изгнания была опять-таки традиционная — страх перед сильным человеком.

Впоследствии в обстановке холуйства и своекорыстного пресмыкательства сам Хрущев стал все больше отделять себя от других руководителей, парить над ними, над всей партией и народом. На наших глазах за несколько лет после 1959 года произошла стремительная эволюция в самооценке Хрущевым своей роли.

Мне кажется, именно в хрущевскую пору сложилась эта странная традиция: считать, что авторитет лидера определяется количеством произносимых им слов. При Ленине такой традиции быть не могло, поскольку наряду с ним постоянно — с докладами, замечаниями, статьями, а нередко и книгами — выступали и другие члены руководства. Что касается Сталина, то он предпочитал выступать редко и весомо, в соответствии с известными словами из «Бориса Годунова»: глас царский «должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник».

Хрущев вообще был большой любитель поговорить и даже поболтать. Неоднократно мне приходилось присутствовать при его встречах с зарубежными лидерами, во время которых он буквально не давал никому вымолвить слова. Воспоминания, шутки, политические замечания, зарисовки относительно тех или иных деятелей, нередко пронизательные и острые, анекдоты, подчас довольно вульгарные, — все это создавало, как говорят сейчас, имидж человека непосредственного, живого, раскованного, не очень серьезно и ответственно относящегося к своему слову. Прошло почти тридцать лет, и до сих пор приходится слышать о его неловкой шутке в США: «У нас с вами только один спор — по земельному вопросу, кто кого закопает». Точно так же и в Китае до сих пор вспоминают, как он, разбушевавшись в одной из бесед с представителем Китая, кричал о том, что направит «гроб с телом Сталина прямо в Пекин...».

Поэтому Андропова в период обсуждения проекта Программы партии больше всего беспокоило обоснование принципа общенародного государства и в особенности практических выводов для развития демократии. Это тем более было важно, поскольку эта идея встретила явное и скрытое сопротивление не только в партийной среде, но и среди научных специалистов, которые на протяжении всей своей жизни доказывали, что диктатура пролетариата — это «самая яркая демократия на земле». Поэтому сразу после опубликования проекта Программы партии я выступил в журнале «Коммунист» со специальной статьей в защиту идеи общенародного государства. И тут произошло нечто такое, что до сих пор вызывает у меня странное чувство недоумения и неловкости.

Еще во время работы в Нагорном с Куусиненом мы сидели как-то за столом с членами авторского коллектива по истории партии, среди которых находился академик И. И. Минц. Он взял слово и неожиданно предложил выпить за меня. «Этот молодой человек, — сказал Исаак Израилевич, — нашел в себе мужество взять меня под защиту, когда меня объявили обрезанцем». И тут он рассказал об эпизоде, который я почти забыл.

Во время работы в Президиуме АН СССР меня как-то вызвали в партком и предложили собрать материал по поводу семинара для академиков, которым руководил Минц. Это был 1952 год, когда еще не утихла кампания борьбы с космополитизмом. Посетив семинар, я не пришел в восторг от манеры да и смысла довольно стереотипных занятий, которые проводил Минц. Однако материала собирать не стал, а дал положительное заключение. В парткоме были возмущены: «Вы что, не поняли задания?» Но я упорно стоял на своем. Минца оставили в покое, и, наверное, до него дошел рассказ о моем столкновении в парткоме.

Но вот что произошло дальше. Звонит мне после опубликования моей статьи об общенародном государстве заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. «Федор,— говорит,— тут на тебя телега пришла. Пишут, искажаешь ты Маркса, который был против общенародного государства». «А кто сочинил телегу? Наверное, анонимная?» «Куда там,— говорит,— подписал авторитетный человек — академик Минц». Я чуть со стула не свалился: «Не может быть!» «Может, может, приходи, почитаем вместе».

Потом я однажды столкнулся с академиком в третьем подъезде на Старой площади. Он смутился и пробормотал: «Я не против вас написал, а в интересах истины». «Скажите, уж не ради истины, а ради правды, как в 1937 году говорили, когда отправляли друг друга в отдаленные края». Страсть к доносу была восана старшим поколением с молоком матери. Да и воспитывали ее. Я до сих пор вздрагиваю каждый раз, когда подъезжаю к своему дому на улице Павлика Морозова. Вот ведь мальчонка заложил отца родного по мотивам политическим и стал примером для подражания миллионам юношей и девушек...

Но это так, попутно. Главные события хрущевской эпохи еще были впереди. И среди них самое драматичное — Карибский кризис, когда мир неожиданно был поставлен на самый край ядерной пропасти.

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО

★

## ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ

Публикуя эти письма, мы еще раз возвращаемся к личности выдающегося писателя и гражданина России — Владимира Галактионовича Короленко. Странно, но это факт: в истории нашей литературы конца прошлого — начала этого века, в истории общественной мысли и общественных деяний того же периода мы опускаем это имя — В. Г. Короленко. О Толстом помним, а вот о Короленко — нет. И это очень большая, недопустимая потеря.

Публикуя эти письма, мы еще раз приоткрываем граму, по сути дела свойственную всем без исключения революциям, тем более — гражданским войнам.

В. И. Ленин указывал на то, что на первых порах Октябрьская революция была самой мирной и самой бескровной. Так оно и было: Временное правительство малой кровью отняло власть у одряхлевшего за триста лет своего существования царского двора, для власти Советов марионеточное Временное правительство тоже не представляло серьезной преграды.

Так оно и было бы — почти что бескровно, если бы затем не разгорелась гражданская война, в значительной мере спровоцированная интервентами на севере, на западе, на юге и на востоке России. Она-то и привела к обоюдному террору, против которого не могла не протестовать душа гражданина Короленко.

Для нас, современников, этот террор представляется тем более трагичным, что он оказался не последним.

Наши отцы и деды полагали, что, отстаивая советскую власть всеми доступными им средствами, утвердив ее навсегда, они навсегда же откажутся и от средств террора.

Оказалось не так, оказалось, что в 1929—1931, в 1937—1938 годах, а потом уже и в послевоенные 1948—1949 годы многим из них самим суждено было стать едва ли не первоочередными жертвами «нового» терроризма.

И чтобы отныне и уже поистине никогда это страшное явление не возникало в социалистическом и все еще революционном обществе, нам нужно знать его историю. Всю в целом, а не по отдельным ее частям.

Нам нужно помнить и тех рыцарей морали и справедливости, которые находились всегда и везде в самые трагические моменты и действовали так, как подсказывала им собственная совесть и ничто другое. Ведь в самый разгар и таких человеческих бедствий, как терроризм, находились люди, которые по мере своих сил (и даже сверх этой меры) прогивостояли подобным бедствиям.

Может быть, исторически они были и не во всем правы, но даже если это так, они не перестают быть рыцарями и должны бесконечно долго жить в памяти народной.

С. ЗАЛЫГИН.

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Анатолий Васильевич.

Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важ-

---

Печатается по изданию: Владимир Короленко. Письма к Луначарскому. Париж. «Задруга». 1922.

Редакция благодарит Д. А. Гранина, З. Л. Дичарова и А. В. Храбровицкого за содействие при подготовке публикации.

нейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе слова», этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с вами мне это будет легче. Впечатление от вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах современности.

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего приезда<sup>1</sup> как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.

Уже приступая к разговору с вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что зарытой могилой. Но — так хотелось поверить, что слова начальника Чрезв. комиссии имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему тону вашей речи чувствовалось, что даже и вы считали бы этот кошмар в порядке вещей... но... человеку свойственно надеяться...

И вот на следующий день, еще до получения вашей записки, я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов леги между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед свиданием с вами я видел родных Аронова и Миркина, и это отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в деяниях Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были разные, даже официальные, мнения, требовавшие во всяком случае осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвычайную комиссию поступило предложение губисполкома, согласно заключению юрисконсульта, освободить Аронова или передать его дело в революционный трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном порядке.

Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы»\*. При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались доказательства невинности и жертвы освобождались (напр., в деле Юсупова<sup>2</sup>), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера<sup>3</sup> и др.).

Но казни без суда, казни в административном порядке — это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.

Много и в то время и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских Чрезв. следственных комиссий представляет пример — может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукраинской ЧК, встретив меня в полтавской Чрезв. ком., куда я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.

На это мой собеседник ответил:

— Но ведь это для блага народа.

Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и про-

\* Выражение ваше в одной из статей обо мне. (Здесь и далее — примечания В. Г. Короленко. — *Ред.*)

должающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды, в прошлом году, мне пришлось описать в письме к Христ. Георг. Раковскому<sup>4</sup> один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых контрреволюционеров. Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (не мудрено), и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которую лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. Я тогда спрашивал у Х. Г. Раковского: считает ли он, что эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы рассказать этой толпе что-нибудь более яркое и более возбуждающее, чем эта картина? Должен сказать, что тогда и местный губисполком, и центральная киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных Чрезв. комис. к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда пришли деникинцы, они выгнали из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ<sup>5</sup>. Впечатление было ужасное, но — к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озерение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу «административной деятельности» ЧК в истории первой Российской Республики, и при этом не в XVIII, а в XX столетии.

Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обогравшей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарками кровавыми маяками, вызывавшими не только лицемерное негодование версальцев, которые далеко превосходили в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на самое социалистическое движение.

В сообщении по поводу расстрела Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 июня в «Известиях», говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так, хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хотя [бы] судебной проверки. Вообще, все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким образом — пройсками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало, дороговизна только росла. Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы просим хлеба, а вы думаете нас накормить казнями». По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С.-Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.

Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?

В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает заключение, что список неполон. Называют еще другие имена... Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть [казненных] приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что теперь можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный бред... Но — как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама действительность?..

Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, ко-

торая стала теперь так дешева,— в своей речи высказали как будто солидарность с этими «административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее...

Вот, я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое желание — высказаться об общих вопросах.

До следующего письма.

19 июня 1920 года.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Это второе письмо я начну с конкретного примера. Так мне легче. Я не политик, не экономист. Я только человек, много присматривавшийся к народной жизни и вырабатывавший некоторое чутье к ее явлениям.

В 1893 году я был на всемирной выставке в Чикаго. Приготовления к выставке и сама выставка привлекли в Чикаго массу рабочего люда. После выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей, и одно время пульмановский городок недалеко от Чикаго и самый город Чикаго оказались во власти восставших рабочих. В предвидении этого тяжелого положения губернатор штата Иллинойс, по фамилии Алтгедж, человек своеобразный и прямо замечательный по смелости мысли и действий, один из лучших представителей американской демократии, сам стал еще до конца выставки призывать рабочих к тому, чтобы они заранее обдумали свое положение и старались организовать для взаимопомощи.

И вот однажды на огромной площади у так называемого дворца искусств, недалеко от берега Мичигана, собрался митинг безработных. Он был грандиозен, как все в Америке. Огромная площадь оказалась залитой целым морем людских голов. Число участников, по предварительному подсчету полиции, далеко превысило двести тысяч еще задолго до часа, назначенного для открытия митинга.

Я тоже пошел туда. Картина была своеобразна: над морем людских голов возвышались платформы, каждая на двух очень высоких колесах, и с каждой платформы к толпе обращался отдельный оратор. Я слышал тут знаменитого Генри Джорджа, проповедовавшего свой «единый налог», который должен был сразу разрешить социальный вопрос уничтожением земельной ренты. Социалист Морган, простой кузнец в блузе с засученными рукавами, взывал к силе рабочего класса. Указывая на огромные дома, окружавшие обширную площадь, он говорил: «Вы голодаете, а ведь все это ваше». С третьей платформы щебетала молоденькая мисс, в то время довольно популярная и усиленно рекомендовавшая... справочные конторы как лекарство от безработицы. Был и такой оратор-рабочий, который горячо доказывал, что капитал, организует производство, служит одновременно интересам рабочих и что между этими двумя классами — капиталистами и рабочими — должно установиться прочное дружеское сотрудничество.

Ораторы на платформах сменялись, но с каждой говорили люди единомышленные, звучали однородные призывы. В публике все время происходило соответственное движение: переходя от платформы к платформе, каждый имел возможность ознакомиться со взглядами всех партий. Все это, очевидно, тяготело не к тому, чтобы в результате митинга получилось единое мнение, а лишь к тому, чтобы каждый мог получить разносторонние данные для собственного вывода. Остальное предоставлялось затем агитации каждой партии в отдельности.

Около меня послышался глубокий вздох. Вздыхал человек в поношенном костюме рабочего, может быть, тоже безработный.

— Эх... все это не то, — сказал он, обращаясь ко мне. — Надо было бы им всем сначала сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк.

В говорившем мы узнали соотечественника, русского еврея. В компании, с которой я пришел на митинг, был очень интересный человек, тоже русский по происхождению. Но он приехал в Америку ребенком и хотя понимал по-русски (по семейной традиции), но сам говорил уже с трудом. Звали его мистер Стон. Он был, помнится, ремесленник, но уже обратил на себя внимание статьями по рабочему вопросу и поэтому, с одной

стороны, играл видную роль в социалистической партии Чикаго, а с другой — губернатор Алтгелддж нашел возможным предложить ему место одного из фабричных инспекторов для официальной охраны интересов фабричных рабочих. В Америке такие парадоксы не редкость.

Я обратился к нему с вопросом:

— А как вы думаете, мистер Стон? Хотели бы вы, чтобы желание нашего соотечественника исполнилось?

— То есть? — спросил мистер Стон, добиваясь более точной формулы, а может быть, и не разобрав значения слов говорившего.

— То есть желали бы вы, чтобы во всех этих головах повернулась сразу какая-то логическая машинка и они, да не одни они, а, пожалуй, весь народ обратился бы к вам, социалистам, и сказал бы: «Мы в вашей власти. Устраивайте нашу жизнь»?

— Сохрани Бог, — ответил американский социалист решительно.

— Почему же?

— Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я — марксист. По нашему мнению, капитализм еще не закончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти домомонстры отлично послужат будущему обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это правда. Америка могла бы национализировать пока только одно железнодорожное хозяйство. Оно уже и теперь сосредоточено в руках нескольких миллиардеров. Но уже топливо... Придумать сразу отношения между железнодорожными рабочими и рабочими по топливу — это предмет более сложный, хотя еще возможный. Что же касается до всесторонней организации народного хозяйства огромной страны на социалистических началах, то эта задача для нашей партии еще не по силам. Например — отношения между рабочими квалифицированными и черным трудом могли бы повести к огромным столкновениям. Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только.

После митинга в нашей небольшой компании продолжалось обсуждение этого предмета, и я выяснил себе точку зрения американского социалиста, которую и поста- раюсь теперь восстановить своими словами.

Общество не есть организм, но в обществе есть много органического, развивающегося по своим законам. Новые формы назревают в нем так же, как растут на дне океана коралловые рифы. Как известно, такой риф есть сплетение отдельных животных, развивающихся по законам собственной жизни. Сплетаясь, они образуют гряду, которая все растет. То, что можно бы сравнить с социальной революцией, — это тот момент, когда риф поднялся над поверхностью океана. В это время он подвергается свирепым ударам океанских волн, стремящихся снести неожиданное препятствие, с одной стороны. С другой — влияние атмосферы стремится зародить жизнь на этой новой основе. Нужна была долгая органическая работа под водой, чтобы дать для этого устойчивое основание.

Не то же ли в обществе? Нужно много условий, как политическая свобода, просвещение, нужна выработка новых общественных сплетений на прежней почве, нужны растущие перемены в учреждениях и в человеческих нравах. Словом, нужно то, что один мой близкий знакомый и друг, основатель румынского социализма, истинный марксист Геря-Доброджану назвал «объективными и субъективными условиями социального переворота».

На мой взгляд, это основа философии Маркса. И вот почему Энгельс в самом конце прошлого столетия говорил, что даже Америка еще не готова для социального переворота.

У Доброджану нашлись возражатели, которые говорят, что, например, Румыния уже готова. Правда, в ней действительно нет ни объективных, ни субъективных условий для социализма. Но разве мы не видим, что как раз те страны, где есть наиболее развитые объективные и субъективные условия, как Англия, Франция, Америка, отказываются примкнуть к социальной революции, тогда как, наоборот, Венгрия уже объявила у себя советскую республику? Не передовая в развитии социализма Германия, где

\* Эта полемика велась в то время, когда в Венгрии существовала, хотя и кратковременная, советская республика.

социалистические организации развиты более всех стран, а отсталая Россия, которая до февральской революции не знала совсем легальных социалистических организаций, выкинула знамя социальной революции. Из этого румынские возражатели Доброджану делали как будто вывод: чем меньше «объективных и субъективных условий в стране», тем она больше готова к социальному перевороту. Эту аргументацию можно назвать чем угодно, но только не марксизмом.

Теперь эти возражатели могут прибавить еще примеры. Приезд делегации английских рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина<sup>6</sup>, которое звучит охлаждением и разочарованием. Зато с Востока Советская республика получает горячие приветствия. Но — следует только вдуматься, что знаменует эта холодность английских рабочих-социалистов и приветы фанатического Востока, чтобы представить себе ясно их значение.

На днях я прочитал в одной из советских газет возмущенное возражение турецкому «социалисту» Балиеву, статьи которого по армянскому вопросу отзывают прямыми призывами к армянской резне. Таков этот восточный социализм даже в европейской Турции. Когда же вы захотите ясно представить себе картину этих своеобразных восточных митингов на площадях перед мечетями, где странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе к приветствию русской Советской республики, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского.

До следующего письма.

11 июля 1920 года.

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В моих письмах к вам опять произошел значительный перерыв. Отчасти это случилось потому, что я был нездоров, но только отчасти. Главная же причина в том, что я был занят другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли времени для общих вопросов. Вы легко догадываетесь, какие это конкретные случаи. Бессудные расстрелы происходят у нас десятками, и — опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства. Вы скажете: вольно же во время междоусобия проповедовать кротость. Нет, это не то. Я никогда не думал, что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с «Бытового явления»<sup>7</sup> еще при царской власти, когда-нибудь сведутся на скромные протесты против казней бессудных или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю нашего губисполкома товарищу Порайко, из которого вы увидите, какие конкретные случаи отвлекли меня от обсуждения общих вопросов:

«Товарищ Порайко.

Я получил от вас любезный ответ на свое письмо. Очевидно, заботясь о моем душевном спокойствии, вы сообщили, что дело, о котором я писал, «передано в Харьков». Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне лично, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне\*, в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. Теперь мне известно, что Чрезвычайная комиссия «судит» и других миргородчан и опять является возможность бессудных казней. Я называю их бессудными потому, что ни в одной стране в мире роль следственных комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, да еще к смертной казни. Всюду действия следственной комиссии проверяются судом при участии защиты. Это было даже при царях.

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест. Насколько мой слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства».

В тот же день (7 июля) вечером мне пришлось послать тому же лицу дополнительное письмо.

«В дополнение к моему утреннему письму спешу сообщить вам важное сведение, которое достоверно узнал только сегодня. После подавления прошлогоднего восстания, когда 14 человек было расстреляно в Миргороде (карательным отрядом), большевистская власть сочла себя удовлетворенной, и на улицах было расклеено объявление об амнистии по этому делу. Теперь губчека опять судит тех же лиц, которые, надеясь на верность слову Советского правительства, доверились обещанной амнистии. Это обстоятельство известно всем миргородчанам. Хорошо известно оно и одному из видных членов полтавской Чрезвычайной комиссии тов. Литвину.

\* Совершенно так же, замечу для вас, Анатолий Васильевич, как во время вашего приезда.

Неужели возможны казни даже при этих обстоятельствах? Это было бы настоящим позором для советской власти».

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Христиану Георгиевичу Раковскому и председателю Всеукраинского Центр. Исполнительного Комитета тов. Петровскому. Последнее письмо считаю тоже не лишним привести здесь.

«Многоуважаемый товарищ Петровский.

Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Теперь решаю обратиться к вам. Дело это — ходатайство относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пищалки, приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. Двенадцать человек по этому делу уже расстреляны\*. Пищалка пока оставлена до решения ее участи в харьковских центральных учреждениях. Я не могу поверить, чтобы в этих высших инстанциях могли одобрить расстрел малолетней, в чем уже усомнилась даже здешняя Чрезвычай. комис. Сестра Пищалки едет к вам с последней надеждой. Неужели возможно, что она вернется без успеха и эта девочка\*\* — пережившая уже ужас близкой казни и агонию нескольких дней ожидания — будет все-таки расстреляна?

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: теперь решается судьба людей, привлеченных к делу о прошлогоднем миргородском восстании, по которому уже была объявлена амнистия. Говорят, это ошибка миргородской Чрезвычайной комиссии, которая не имела права объявлять амнистии. Как бы то ни было, она была объявлена, и о ней были расклеены официальные объявления на улицах Миргорода после того, как карательный отряд расстрелял 14 человек. Это было сделано официально, от имени советской власти. Может ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову советской власти, были расстреляны в прямое нарушение обещания?»

Тов. Петровский дал телеграмму в Полтаву — не приводить приговора над малолетней в исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить в Харьков» — это формула, которая у нас равносильна «отправить на тот свет» (так в справочном бюро отвечают родным о расстрелянных), то в глазах населения судьба Пищалки остается мрачно-сомнительной. Так же, по-видимому, не казнили до сих пор амнистированных, и они пока содержатся в заключении. Надо заметить, что после амнистии некоторые из них находились даже на советской службе и, по-видимому, в новых проступках не обвиняются.

Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что ко мне пришла какая-то девочка. Я вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова свободной. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее семью. Но — я не могу радоваться за нашу родину, где могла идти речь о расстреле этого ребенка и где ее уж вывели из арестантских рот вместе с другими, которые назад не вернулись.

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкретных случаев», даже более потрясающих и трагических. Но я счел не лишним привести их здесь как фон, на котором мы с вами ведем теперь обсуждение общих вопросов\*\*\*.

Возвращаюсь к параллели, поставленной в предыдущем письме.

Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере коммунистическому правительству.

Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время войны сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные. От диктатуры дворянства («совет объединенного дворянства») мы перешли к «диктатуре пролетариата». Вы, партия большевиков, провозгласили ее, и народ прямо от самодержавия пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу жизнь».

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию.

Известный вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи. Я знаю, теперь такие категории, как истина или ложь, правда или неправда, менее всего в ходу и кажутся «отвлеченностями». На исторические процес-

\* Кажется, ошибка. В официальной газете приведено 9 фамилий.

\*\* Ей недавно исполнилось только 17 лет.

\*\*\* После отправки этого письма, в конце августа, освободили по распоряжению из Харькова также амнистированных ранее миргородцев.

сы влияет только «игра эгоизмов». Карлейль был убежден и доказывал, что вопросы правды или лжи отражаются в конце концов на самых реальных результатах этой «игры эгоизмов», и я думаю, что он прав. Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией. Отчего у нас после крестьянской реформы богатство страны не растет, а идет на убыль и страна впадает во все растущие голодовки? Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства. Голодовки растут не оттого, что у нас воцарился мертвящий застой, что наша главная сила, земледелие, скована дурными земельными порядками, а исключительно от недостатка опеки над народом лентяев и пьяниц. Мне с товарищами в голодные годы приходилось много бороться в литературе и в собраниях с этой чудовищной ложью. Что у нас пьянства было много, это была правда, но правда только частичная. Основная же сущность крестьянства как класса состояла не в пьянстве, а в труде, и притом труде, плохо вознаграждаемом и не дававшем надежды на прочное улучшение положения. Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи. Отсюда всевластие земского начальника и преобладание дворянства во всем гражданском строе и в земстве. Эта вопиющая ложь проникала всю нашу жизнь... Образованное общество пыталось с нею бороться, и в этой «оппозиции» участвовали даже лучшие элементы самого дворянства. Но народные массы верили только царям и помогали им подавлять всякое свободолюбивое движение. У самодержавного строя не было умных людей, которые поняли бы, как эта ложь, поддерживаемая слепой силой, самым реальным образом ведет строй к гибели.

Формула Карлейля, как видите, пригодна, пожалуй, для определения причины гибели самодержавия. Вместо того чтобы внять истине и остановиться, оно только усиливало ложь, дойдя наконец до чудовищной нелепости, «самодержавной конституции», т. е. до мечты обманом сохранить сущность абсолютизма в конституционной форме.

И строй рухнул.

Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу?

По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий, «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и — ничего больше.

Правда ли это? Можете ли вы искренно говорить это?

В особенности можете ли это говорить вы — марксисты?

Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы — марксисты — вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благотельно пройти через «стадию капитализма». Что же вы разумели тогда под этой благотельной стадией? Неужели только тунеядство буржуев и стрижку купонов?

Очевидно, тогда вы разумели другое. Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли, организующим производство. Несмотря на все его недостатки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что такая организация благотельна для отсталых в промышленном отношении стран, каковы, например, Румыния, Венгрия и... Россия.

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» — целое огромное сложное понятие — с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов?

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, подменившая классовое значение крестьянства представлением о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила роль организатора производства — пускай и плохого организатора — представлением исключительно грабителя. И посмотрите опять, насколько прав Карлейль со своей формулой. Грабительские инстинкты были раздуты у нас войной и потом беспорядками, неизбежными при всякой революции. Бороться с ними необходимо было всякому революционному правительству. К этому же побуждало и чувство правды, которое обязывало вас, марксистов, разъяснять искренно и честно ваше представление о роли капитализма в отсталых странах. Вы этого не сделали. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением исти-

ны. Частичную истину вы выдали за всю истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь это принесло плоды. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — народное достояние, добытое «благотетельным процессом», что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это — только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою очередь. Говоря это, я имею в виду не одни материальные ценности в виде созданных капитализмом фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благотетельность «капиталистической стадии».

В 1902 году разыгрались в некоторых местах Полтавской и смежной Харьковской губернии широкие аграрные беспорядки. Крестьяне вдруг кинулись грабить помещичьи экономии и затем, по прибытии властей, покорно становились на колени и так же покорно ложились под розги. Когда их вдобавок стали судить, то мне пришлось одно время служить посредником между ними и с организовавшейся защитой. В это время в моем кабинете в Полтаве крестьяне собирались порой в значительном количестве, и я старался присмотреться к их взглядам на происшедшее. Сами они были о нем не очень высокого мнения. Они называли все движение «грабижкой», и самые благоразумные из них объясняли возникновение этой «грабижки» по-своему: «Як дитина не плаче, то и мати не баче». Они понимали, что грабеж — не подходящий приступ для каких бы то ни было улучшений, но, доведенные до отчаяния, старались хоть чем-нибудь обратить внимание «благотетеля царя» на свое положение. Остальное сделала слепая жадность, и движение приняло широкие размеры. Но царское правительство было слепо и глухо. Оно знало только необходимость дальнейшей опеки и «вечность незыблемых основ» и из внезапно грозно прокинувшейся «грабижки» не сумело сделать вывода. Попытка (довольно разумная) аграрной реформы первой Думы была задумана, а побуждения, двигавшие крестьянскими массами во время «грабижки», остались до времени революции. Вы, большевики, отлили их в окончательную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская «грабижка», погубившая огромные количества сельскохозяйственного имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат.

Борьба с этим строем приняла характер какой-то осады неприятельской крепости. Всякое разрушение осаждаемой крепости, всякий пожар в ней, всякое уничтожение ее запасов выгодно для осаждающих. И вы тоже считали своими успехами всякое разрушение, наносимое капиталистическому строю, забывая, что истинная победа социальной революции, если бы ей суждено было совершиться, состояла бы не в разрушении капиталистического производственного аппарата, а в овладении им и в его работе на новых началах.

Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в страшной опасности перед одним забытым вами фронтом. Фронт этот — враждебные силы природы.

До следующего письма.

4 августа 1920 года.

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

На этот раз можно, кажется, обойтись без конкретных случаев, и я попытаюсь сразу перейти к общим вопросам, пока события не завладели еще моим настроением.

Начинаю это письмо под впечатлением английской делегации. В нашем местном офицозе напечатана или перепечатана откуда то статья «Наша скорбь», сопровождающая письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорится, что наряду с гордостью, нашим революционным первенством, русские коммунисты переживают «трагедию одиночества». В письме Ленина звучит, по мнению автора, недоумение по поводу «самой возможности в нашу беспримерную эпоху таких «вождей» рабочих масс, каковы большинство приехавших в Россию английских делегатов»... «Английские тред-юнионисты, ничему, в сущности, не научившиеся, к несчастью, все еще представляют огромные массы английских рабочих».

Так как вы, партия коммунистов, являетесь только представителями «диктатуры русского пролетариата», то отсюда следует вывод, что наш пролетариат в своей массе шагнул далеко вперед в сравнении с английскими тред-юнионистами, движение кото-

рых представляет уже целую историю. В других советских газетах не раз уже повторялось, что вожди старого немецкого социализма, даже такие, как Каутский, являются презренными соглашателями и даже продались «буржуазии»\*.

Отбросив то, что можно объяснить полемической несдержанностью и увлечением, остается все-таки факт: европейский пролетариат за вами не пошел и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил своего дела и что его работа еще может быть полезной для будущего. При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них не простые «буржуазные предрассудки», а необходимое орудие дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и небесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь тормозящим дело справедливости.

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более — нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда, по щучьему велению. Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа. Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться впустую, не производя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражения, но вся эта суега во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы.

В Румынии, которая во многом напоминает Россию, мне рассказывали случай, яркий, как нарочно придуманный анекдот, но тем не менее действительный. Там сохранились еще крупные поместья со всеми признаками нашего старинного боярства. Даже зовутся владельцы боярами, несомненно от славянского слова.

Порой такие бояре, особенно из молодых, склонны к крайним партиям, и многие из них проходили школу социализма Доброджану. Как-то один из таких бояр, путешествуя по Швейцарии, заинтересовался анархизмом и познакомился с ученым садовником-анархистом. Пили брудершафт и так понравились друг другу, что боярин стал звать анархиста в Румынию. У него на родине огромные имения, в том числе много земли под лесом, и он решил часть этого леса обратить в общественный парк. Это соответствовало взглядам анархиста: все имения боярина он охотно превратил бы в общую собственность, и он честно предупредил об этом приятеля. Он предвидит, что румыны, у которых есть такие «бояре», очевидно, представляют молодой народ, не зараженный еще, как швейцарцы, буржуазными предрассудками, и потому там легче провести анархические идеи. Он предупреждает, что при первых признаках революции он не только не станет защищать частной собственности боярина, но, наоборот, сейчас же предоставит ее народу. Боярин согласился, — может быть, потому, что опасность не казалась ему такой близкой...

И вот в одном углу Румынии ученый садовник-анархист на деньги и на земле боярина завел образцовый парк общественного пользования. Вскоре, однако, раскрылись неудобства, истекающие из «молодости народа»: на столах, на скамьях, на стенах появились скабрзные надписи, цветы бесцеремонно срывались, ветви на неданных деревьях обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист обратился с красноречивым воззванием, в котором объяснил, что парк отдается в распоряжение и под защиту населения: не надо срывать цветов, не надо обламывать ветви, не надо неприличных надписей... Но «молодой народ» ответил на пафос анархиста-теоретика своеобразным юмором: надписи появились уже вырезанными ножами, цветы и деревья уничтожались с ожесточением, ретирады еще более загажены. Тогда садовник пришел к боярину и сказал:

— Я не могу жить в вашей стране. Народ, который не научился, как вести себя в публичных местах, еще слишком далек от анархизма в моем смысле.

Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое отсутствие навыков буржуазного общества знаменует готовность к социализму. Когда-то наш анархист Бакунин

\* Полтавские «Известия» («Вісті»), № 24, 27 июня 1920 года.

написал: «...нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли»<sup>8</sup>. Он был теоретик по преимуществу и анархист, отрицавший собственность в теории. Вор отрицает ее практически. Пусть практика сольется с теорией. Нам теперь такое рассуждение кажется великой наивностью: между отрицанием собственности анархиста-философа, далеко заглянувшего в будущее, и таким же отрицанием простого вора лежит целая бездна. Вору нужно сначала вернуться назад, выработать в себе честное отношение к чужой собственности, т. е. то, чему учит «капиталистическая стадия», и уже затем не индивидуально, а вместе со всем народом думать об общественном отрицании собственности.

Вы скажете, что наш народ не похож на тех румын, о каких мне рассказывали. Я знаю: в степени есть разница даже и в самой Румынии. Но — давайте честно и с любовью к истине поговорим о том, что такое теперь представляет наш народ.

Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ; допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности. Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил ее. Население городка устроило суд и сожгло его живым на костре. Корреспонденты описывали шаг за шагом такие подробности: веревки перегорели, и несчастный сполз с костра. Толпа предоставила отцу убитой особую честь: он взял негра на свои джожие руки и опять бросил в костер.

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской. У нас даже смертная казнь введена только греками вместе с христианством. Но это не мешает мне признать, что в Америке нравственная культура гораздо выше. Случай с негром — явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращенности. По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое заставляет воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые последствия.

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. Вы говорите о коммунизме. Не говоря о том, что коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним подразумеваете,— для социального переворота в этом направлении нужны другие нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых строится общество: не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре и, вернувшись, застанете ее на том же месте. А у нас — будем говорить прямо... Точный учет в таком вопросе, конечно, труден, но вы знаете, у нас есть поговорка: не клади плохо, не вводи вора в грех. И вы, вероятно, согласитесь, что на тысячу человек, которые прошли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе процент соблазненных будет гораздо меньше, чем в России. А ведь и такая разница уже имеет огромное значение для кристалла. Прoshлау осень я был в украинской деревне и много разговаривал с крестьянами обо всем происходящем. Когда я рассказал о том, как в Тулузе моя дочь с мужем прожили год на квартире, населенной рабочими, ни разу не запирая на ночь дверей,— это возбудило величайшее удивление.

— А у нас,— грустно сказал на это один хороший и разумный крестьянин, — особенно в нынешнее время, если хлопчик принесет матери чужое, то иная мать его даже похвалит: хорошо, что несешь в дом, а не из дому.

И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной степени.

Маленький, но многозначительный пример: чтобы хоть несколько ослабить недо-

статок в продовольствии, городское управление Полтавы (еще «буржуазное») поощряло разработку всех свободных участков земли. Таким образом участки перед домами на улицах оказались засаженными картошкой, морковью и пр. То же и относительно свободных мест в городском саду. Это уже несколько лет стало традицией.

В этот год картофель уродился превосходный, но... его пришлось выкопать всюду задолго до того, как он поспел, потому что по ночам его просто крали. Кто крал — на этот раз это не важно. Дело, однако, в том, что одни трудились, другие пользовались. Третью урожая погибла потому, что картофель не дорос, запасов на зиму из остальной части сделать не пришлось потому, что недоспевший картофель гнил. Я видел группу бедных женщин, которые утром стояли и плакали над разоренными ночью грядками. Они работали, сеяли, вскапывали, пололи. А пришли другие, порвали кусты, многое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было доходить два месяца, и сделали это в какой-нибудь час.

Это пример, указывающий, что такую вещь, как нравственные свойства народа, можно выразить в цифрах. При одном уровне нравственности урожай был бы такой-то, и городское население до известной степени было бы обеспечено от зимнего голода. У нашего народа «при коммунизме» огромная часть урожая прямо погибла от наших нравов. Еще больший ущерб предстоит оттого, что на будущий год многие задумаются обрабатывать пустые места — никому неохота трудиться для воров... И никакими расстрелами вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, и во всяком случае до коммунизма еще далеко.

Я хотел в этом письме обойтись без конкретных случаев. Но я едва закончил это письмо. У нас продолжается прежнее. По временам ночью слышатся выстрелы. Если это в юго-западной стороне — значит, подступают повстанцы, если в юго-восточной стороне кладбища — значит, кого-нибудь (может быть, многих) расстреливают. Обе стороны соперничают в жестокости. Вся наша Полтавщина похожа на пороховой погреб, и теперь идет уже речь о расстреле заложников, набранных из мест, охваченных повстаньем. Мера, если бы ее применить, бессмысленная, жестокая и только вредная для тех, кто ее применяет. Во время войны, особенно когда я был во Франции, я следил за этим варварским институтом, завещанным нам средними веками, и должен сказать, что даже во время войны действительных расстрелов заложников, кажется, не было. Французы обвиняли в этом немцев, немцы французов. Но кажется, что заложничество только и годилось для взаимных обвинений, а не для действительного употребления. То же нужно сказать и о нас: молодежи, скрывающейся теперь в лесах, и Махно, насторожившемуся уже поблизости, мало горя, если несколько стариков будут расстреляны. Это только даст им несколько новых приверженцев и окончательно озлобит нейтральное население. Ввиду, может быть, этих соображений, до сих пор расстрелов заложников еще не было. Но достаточно и того, что тюрьмы ими полны\*. Сколько горя это вносит в семьи — это мне ясно видно по тем, кто приходит ко мне в слезах. И сколько работников отнято у этих семей в самый разгар сбора урожая.

А Махно, называющий себя, кстати сказать, анархистом, уже выпустил в местностях, им занятых, свои деньги. Мне говорили, что на них написаны два двустишия: «Ой, жінко, веселись, в Махна гроши завелись». И другое: «Хто цих грошей не братиме, того Махно драгиме».

Вообще эта фигура колоритная и до известной степени замечательная. Махно — это средний вывод украинского народа (а может быть, и шире). Ни одна из воюющих сторон без него не обходилась. Вам он помог при взятии Донецкого бассейна. Потом помогал добровольцам, хотя бы пассивно, очистив фронт. При последнем занятии Полтавы махновцы опять помогали вам. А затем советская власть объявила его вне закона. Но он над этим смеется, и этот смех напоминает истинно мекфистофельскую гримасу на лице нашей революции.

19 августа 1920 года.

#### ПИСЬМО ПЯТОЕ

Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монополярная печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались бур-

\* Увы! После этого о расстрелах заложников сообщалось даже в официальных «Известиях».

жуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии.

Нет надобности искать низких причин для объяснения факта этого разлада. Он коренится гораздо глубже, в огромной разнице настроений. Дело в том, что вожди европейского социализма в течение уже десятков лет руководили легально массовой борьбой своего пролетариата, давно проникли в эти массы, создали широкую и стройную организацию, добились ее легального признания.

Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали и самое большое — руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совершенно другое настроение, другую психологию.

Европейские руководители социализма, принимая то или другое решение, рекомендуя его своим последователям, привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, например, объявлялась стачка, то вождям приходилось обдумывать не только ее агитационное значение, но и всесторонние последствия ее для самой рабочей среды, в том числе данное состояние промышленности. Сможет ли масса выдержать стачку, в состоянии ли капитал уступить без расстройств самого производства, которое отразится опять на тех же рабочих? Одним словом, они принимали ответственность не только за саму борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между капиталом и трудом.

Вы в таком положении никогда не были, потому что, благодаря бессмысленному давлению самодержавия, никогда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе уже было признано правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность. Если от ошибки в том или другом вашем плане рабочим и их семьям приходилось напрасно голодать и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю страдания в другой форме.

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному результату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, к сложным возможностям самой борьбы и вот откуда у вас одностороннее представление о капитале как исключительно о хищнике, без усложняющего представления об его роли в организации производства.

И отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению к западноевропейскому социализму.

Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы. После идиотского преследования всяких попыток к борьбе с капиталом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало... Они ринулись за вами, т. е. за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуясь своим победам над денкинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, что потерпели полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на протяжении которого на человека со всех сторон наступают враждебные силы природы. Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей книге «В голодный год»<sup>9</sup> я пытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает пространства гораздо большие, чем в 1891—1892 годах в провинции. И главное — вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным отчуждением», реквизициями при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку вынуждена платить по 200 рублей

и больше,— в это время вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые деревне явно невыгодны. Вы обращаетесь в своих газетах к селянам со статьями, в которых доказываете, что деревне выгодно вас поддерживать. Но, устраняя пока вопрос по существу,— вы говорите на разных языках; народ наш еще не привык обобщать явления.

Каждый земледелец видит только, что у него берут то, что он произвел, за вознаграждение, явно не эквивалентное его труду, и делает свой вывод: прячет хлеб в ямы. Вы его находите, реквизируете, проходите по деревням России и Украины каленым железом, сжигаете целые деревни и радуетесь успехам продвольтенной политики. Если прибавить к этому, что многие области в России тоже поражены голодом, что оттуда в нашу Украину, например, слепо бегут толпы голодных людей, причем отцы семей, курские и рязанские мужики, за неизменением скота сами впрягаются в оглобли и тащат телеги с детьми и скарбом,— то картина выходит более поразительная, чем все, что мне приходилось отмечать в голодном году... И все это не ограничивается местностями, пораженными неурожаем. Уже два месяца назад у нас в Полтаве я видел человека, который уже шестой день «не видел хлеба», пробиваясь кое-как картошкой и овощами... А теперь вдобавок идет зима, и к голоду присоединяется холод. За воз дров, привезенных из недалеких лесов, требуют 12 тысяч. Это значит, что огромное большинство жителей, даже сравнительно лучше обеспеченных, как ваши советские служащие, окажутся (за исключением разве коммунистов) совершенно беззащитными от холода. В квартирах будет почти то самое, что будет на дворе. На этом фронте вы отдали все городское (а частью и сельское) население на милость и немилость враждебным силам природы, и это одинаково почувствует как разоренный, заподозренный, «неблагонадежный» человек в сюртуке, так и человек в рабочей блузе. Народ нашел уже и формулу, в которой кратко обобщил это положение. Один крестьянин, давно живущий в городе и занимающийся ломовым извозом, сказал мне как-то с горькой и злой улыбкой:

Як був у нас Микола-дурачок,  
То хліб був пятачок,  
А як прийшли розумни комуністи,  
То нічого стало людям істи,  
Хліба ні за які гроші не дістанешь...

Этого не выдумаете нарочно, это то, что само рождается из воздуха, из непосредственного ощущения, из очевидных фактов.

И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских социалистов; в ней явно усиливается меньшевизм, т. е. социализм, но не максималистского типа. Он не признает немедленного и полного социального переворота, начинающегося с разрушения капитализма как неприятельской крепости. Он признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние. Вы боретесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Россией самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бедняги самодержца, не вполне согласная с намерением правившей бюрократии, у последней были тысячи способов привести самодержца к повиновению. Не то же ли с таким же беднягой, нынешним «диктатором»? Как вы узнаете и как вы выражаете его волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования — также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо «бредут врозь» (старое русское выражение) от голоду. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом и чрезвычайно уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают свои меры. Данное правление профессионального союза получает наименование белого или желтого, члены его арестуются, само правление распускается, а затем является торжествующая статья в вашем официозе: «Дорогу красному печатнику» или иной красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явлений и слагается то, что вы зовете «диктатурой пролетариата». Теперь и в Полтаве

мы видим то же: Чрезвычайная комиссия, на этот раз в полном согласии с другими учреждениями, производит сплошные аресты меньшевиков. Все более или менее выдающееся из «неблагонадежной» социалистической оппозиции сидит в тюрьме, для чего многих пришлось оторвать от необходимой текущей работы (без помощи «неблагонадежных» меньшевиков вы все-таки с ней справляться не можете). И, таким образом, является новое «торжество коммунизма»\*.

Торжество ли это? Когда-то, еще при самодержавии, в один из периодов поперечного усиления то цензуры, то освобождавшей своими усилиями печати в одном юмористическом органе был изображен самодержец, сидящий на штыках. Подпись: «Неудобное положение» — или что-то в этом роде. В таком же неудобном положении находится теперь ваша Коммунистическая правящая партия. Положение ее в деревне прямо трагическое. То и дело оттуда приносят коммунистов и комиссаров, изувеченных и убитых. Офицеры пишут пышные некрологи, и ваша партия утешает себя тем, что это только куркули (деревенские богачи), что не мешает вам выжигать целые деревни сплошь — и богачей и бедных одинаково. Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше представительство быстро изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты-меньшевики, сидят в тюрьмах. Мне приходится то и дело наблюдать такие явления. В 1905 году, когда я был здоров и более деятелен, мне приходилось одно время бороться с нараставшим настроением еврейских погромов, которое несомненно имело в виду не одних евреев, но и бастовавших рабочих. В это время наборщики местной типографии, нарушая забастовку, печатали воззвания газеты «Полтавщина» и мои. Это невольно сблизило меня со средой наборщиков. Помню одного: он был несомненно левый по направлению и очень горячий по темпераменту. Его выступления навлекли на него внимание жандармских властей, и с началом реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть-Сысольск. Фамилия его Навроцкий. Теперь он в Полтаве и... арестован вашей чрезвычайкой за одно из выступлений на собрании печатников\*\*. Когда теперь я читаю о «желтых» печатниках Москвы и Петербурга, то мне невольно приходит на мысль: сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе с царской реакцией свою преданность действительному освобождению рабочих, арестуются коммунистами чрезвычайки под видом «желтых», т. е. «неблагонадежных» социалистов. Одно время шел вопрос даже о расстреле Навроцкого за его речь против новых притеснений свободы мнений в рабочей среде. Чего доброго — это легко могло случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычайки и прежних жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать — ваши чрезвычайки имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью.

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

В чем вы разошлись с вождями европейского социализма и начинаете все больше и больше расходиться с собственной рабочей средой? Ответ на этот вопрос я дал выше: он в вашем максимализме.

Логически это положение самое легкое: требуй всего сразу и всех, кто останавливается сразу перед сложностью и порой неисполнимостью задачи, называя непослуживательными, глупыми, а порой и изменниками делу социализма, соглашателями, колчаковцами, денкинцами, вообще изменниками...

Неудобство этого приема состоит в том, что и вы сами не можете осуществить всего сразу. Вы, например, допустили денежную систему. Это, конечно, только «на первое время», пока «наладится новый аппарат обмена», например, общественное снабжение. Но ведь ждать этого долго, и какой-нибудь еще больший максималист, нарисовав последствия денежной системы, которая действительно является одной из характернейших черт капиталистического строя, может логически сделать и вам упрек: вы допустили эту черту, значит, принимаете ее последствия, а затем несколько логических ступеней, и вы — колчаковец, денкинец, изменник делу социализма. И не говорите, что это для вас только временный этап: весь вопрос состоит именно в той мере компромисса идеала с действительностью, который «временно» принимают

\* Теперь много меньшевиков административно выслано в Грузию.

\*\* В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК в северные губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои «докладные записки» по начальству не имели успеха. Теперь Навроцкий свободен, но зато выслан в северные губернии его сын, уже раз, еще в детстве, бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, история повторяется.

западноевропейские социалисты и вы. Вы схематики и максималисты, а они ищут меру революционных возможностей. Для вас не оказалось возможным упразднить сразу денежную систему, они видят еще много других невозможностей «сразу».

Логика — одно из могучих средств мысли, но далеко не единственное. Есть еще воображение, дающее возможность охватывать сложность конкретных явлений. Это свойство необходимо для такого дела, как управление огромной страной. У вас схема совершенно подавила воображение. Вы не представляете себе ясно сложность действительности. Математик рассчитывает, например, во сколько времени ядро, пущенное с такой-то скоростью, прилетит на Луну, но уже физик ясно представляет себе всю невозможность задачи, по крайней мере при нынешнем уровне техники. Вы только математики социализма, его логики и схематики. Вы говорите: мы бы уже всего достигли, если бы нам не мешали всемирные буржуи и если бы вожди европейского социализма, а за ними и большинство рабочих не изменили: они не делают у себя того, что мы делаем у нас, не разрушают капитализма.

Но прежде всего вы сделали у себя самое легкое дело: уничтожили русского буржуа, неорганизованного, неразумного и слабого. Вам известно, что европейский буржуа гораздо сильнее, а европейский рабочий не такое слепое стадо, чтобы его можно было кинуть в максимализм по первому зову. Он понимает, что разрушить любой аппарат недолго, но изменять его в данном случае приходится на ходу, чтобы не разрушить производства, которым человек только и защищается от вечно враждебной природы. У западноевропейских рабочих более сознания действительности, чем у вас, вождей коммунизма, и оттого они не максималисты. После переписки Сегрю и Ленина<sup>10</sup> — дело ясно: европейская рабочая масса в общем не поддержит вас в максимализме. Она остается нейтральной в пределах компромисса.

У нас в Полтаве тотчас после революции сменилось городское самоуправление. Оно стало демократическим и вмешалось в ход прежнего снабжения. Между прочим, оно основало городской дровяной склад, и когда торговцы слишком вздували цены, городское управление усиливало свою продажу, и цены падали. Тогда кричали, что и это социализм. Правовверные приверженцы капитала предпочитают вполне «свободную торговлю», без всякого вмешательства. Вам это показалось бы слишком скромным... Но Полтава была защищена от зимней стужи.

Это, конечно, мелочь, но она ясно намечает мою мысль. Только так можно вмешиваться в снабжение на ходу, не нарушая и не уничтожая его. Затем, по мере опыта, это вмешательство можно усиливать, вводя его во все более широкие области, пока наконец общество перейдет к социализму. Это путь медленный, но единственно возможный. Вы же сразу прекратили буржуазные способы доставки предметов первой необходимости, и ныне Полтава, центр хлебородной местности, окруженная близкими лесами, стоит перед голодом и перед лицом близкой зимы вполне незащищенная. И так всюду, во всех областях снабжения. Ваши газеты сообщают с торжеством, что в Крыму у Врангеля хлеб продается уже по 150 р. за фунт. Но у нас (т. е. у вас) в Полтаве, среди житницы России, он стоит 450 р. за фунт, т. е. втрое дороже. И так же все остальное.

Я уже говорил о том, что в Полтаве создалась традиция: жители обращаются ко мне как к писателю, который умел порой прорывать цензурные рамки. Прежде ко мне приходили люди, притесняемые царскими властями. Теперь идут родные арестуемых вами. Среди этих последних есть много кожевников. Жизнь берет свое: несмотря на ваш запрет, кожевники-кустари то и дело принимаются делать кожи, удовлетворяя таким образом настоятельной потребности в обуви ввиду зимы. Порой волостные исполкомы дают на это свою санкцию, и понемногу кожа начинает выделываться, пока... не узнают об этом преступлении ваши власти и не прекратят его. Вам надо, чтобы «сразу» производство стало на почву социалистическую, даже коммунистическую, и вы превращаете компромисс в соглашательство с буржуазными формами производства. Конечно, вы можете сказать, что у вас уже есть кое-где «советские кожевники», но что значат эти бюрократические затеи в сравнении с огромной, как океан, потребностью. И в результате, посмотрите, в чем ходят ваши же красноармейцы и служащая у вас интеллигенция: красноармейца нередко встретишь в лаптях, а служащую интеллигенцию в кое-как сделанных деревянных сапогах. Это напоминает классическую древность, но это очень неудобно теперь к зиме. На вопрос, что будет зимой, ответом порой служат только слезы.

Вообще сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, который принято называть интеллигенцией. Рассмотрите ставки ваших жалований и

сравните их с ценами хотя бы на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, вернее, трагическое несоответствие. И все-таки живут... Да, живут, но чем? — продают остатки прежнего имущества: скатерти, платочки, кофты, пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на образный язык, то окажется, что они проедают все, заготовленное при прежнем буржуазном строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не хватает необходимого, и это растет как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупa. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо, одним словом, идет общий развал.

Ясно, что дальше так идти не может и стране грозят неслыханные бедствия. Первой жертвой их явился интеллигенция. Потом городские рабочие. Долше всех будут держаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Армия. Но уже и в этой среде среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всего живется всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержения. Докажите же, что вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, воздерживаясь от грабежа человека безоружного.

Я говорил выше об одной характерной мелочи чисто бытового свойства, о грабеже огородов, принявшем такие размеры, что это лишает на будущее время побуждения к труду, не говоря только, какую роль при этом играли красноармейцы. Порой хозяева огородов делали засаду на воров. Когда они застигали при этом людей штатского звания, те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали просто: что же нам, сидеть голодными, что ли? И продолжали грабить, переходя с данного участка на участок соседа. Теперь еще одна такая же мелочь. Не далее двух недель тому назад из Полтавы уходил на фронт красноармейский полк. Штаб его помещался рядом с моей квартирой, и потому с утра вдоль нашей улицы выстроились ряды солдат. Во дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. Это привлекло солдат, и в ожидании отправки наш двор переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут происходило. Взлезали на деревья, ломали ветви, и постепенно входя в какое-то торопливое ожесточение, торопясь, как дети, солдаты стали хватать поленья дров, кирпичи, камни и швырять все это на деревья с опасностью попасть в сидящих на деревьях или в окна нашего дома. Несколько раз поленья попадали в рамы, к счастью, не в стекла. Вы ведь знаете, что значит теперь разбить стекло. Пришлось обратиться к начальству, но и начальство могло прекратить это только на самое короткое время. Через минуту двор опять был полон солдат, и мне едва удалось уговорить, чтобы не кидали поленев и камней с опасностью побить окна. Все деревья были оборваны, и только тогда красноармейцы ушли, после торжественной речи командира, в которой говорилось, что Красная Армия идет строить новое общество... А я с печалью думал о близком бедствии, когда нужда не в орехах, а в хлебе, топливе, в одежде, обуви заставит этих людей, с опасным простодушием детей, кидаться теперь на орехи, так же кидаться на предметы первой необходимости. Тогда может оказаться, что вместо социализма мы ввели только грубую солдатчину вроде янычарства.

Мне пришлось уже говорить при личном свидании с вами о том, какая разница была при занятии Полтавы Красной Армией и добровольцами. Последние более трех дней откровенно грабили город «с разрешения начальства». Красноармейцы заняли Полтаву, как дисциплинированная армия, и грабежи, производимые разными бандами, тотчас же прекратились. Только впоследствии, когда вы приступили к бессудным расстрелам, реквизициям квартир (постигавшим нередко и трудовые классы), это впечатление заменилось другим чувством. Вы умеете занимать новые местности лучше добровольцев, но удержать их не умеете, как и они, — закончил я тогда. Теперь приезжие из Киева рассказывают, что Красной Армии было предложено перед выступлением в поход «одеться на счет буржуазии». Если это подтвердится, а известие носит все признаки достоверности, то это будет значить, что опасный симптом уже начинается: вы кончаете тем, чем начинали денкиинцы. Приезжие говорят, что на этот раз грабеж продолжался более недели, и это, может быть, указывает на начало последнего действия нашей трагедии.

Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слишком затянулись и мешают мне отдаться другой работе. К тому же об этом предмете надо бы сказать гораздо больше и с большим изучением, а для этого у меня нет ни времени, ни здоровья. Поэтому

закончу кратко: вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту в надежде, что это будет только сигналом для всемирной максималистской революции. Вы должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись: после приезда иностранной рабочей делегации, после письма Сегрю и ответа Ленина эта мечта исчезает даже для вашего оптимизма. Вам приходится довольствоваться легкой победой последовательного схематического оптимизма над «согласателями», но уже ясно, что в общем рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве.

Куда? Что представляет ваш фантастический коммунизм? Известно, что еще в прошедшем столетии являлись попытки перевести коммунистическую мечту в действительность. Вы знаете, чем они кончились. Роберт Оуэн, фурьеристы, сенсимонисты, кабетисты — таков длинный ряд коммунистических опытов в Европе и в Америке. Все они кончались печальной неудачей, раздорами, трагедиями для инициаторов, вроде трагедии Кабэ. И все эти благородные мечтатели кончали сознанием, что человечество должно переродиться прежде, чем уничтожить собственность и переходить к коммунальным формам жизни (если вообще коммуна осуществима). Социалист историк Ренар говорит, что Кабэ и коммунисты его пошиба прибегали к слишком упрощенному решению вопроса: «Среди предметов, окружающих нас, есть такие, которые могут и должны остаться в индивидуальном владении, и другие, которые должны перейти в коллективную собственность». Вообще, процесс этого распределения, за которое вы взялись с таким легким сердцем, представляет процесс долгой и трудной подготовки «объективных и субъективных условий», для которого необходимо все напряжение общей самодеятельности и, главное, свободы. Только такая самодеятельность, только свобода всяких опытов могут указать, что выдержит критику практической жизни и что обречено на гибель. «Кабэ,— говорит Ренар (и другие утописты, прибавляю я),— не сумел еще найти принципа, который установил бы эту раздельную линию. Он уделял слишком много места власти и единству. Государство-община, о котором он мечтал, напоминает пансион; где молодым людям обеспечивают здоровую умеренную пищу, где одевают в мундир их ум, как тело, приучают их работать, есть, вставать по звонку. Однообразие этой суровой дисциплины порождает скуку и отвращение. Этот монастырский интернат слишком тесен, чтобы человечество могло в нем двигаться, не разбив его». Вы вместо монастырского интерната ввели свой коммунизм в казарму (достаточно вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкновению самоуверенно, недолго раздумывая над разграничительной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной жизни, ворвались в жилье («Мой дом — моя крепость»,— говорят англичане), стали производить немедленный дележ необходимейших вещей, как интимных проявлений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные коллекции картин и книг... Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности.

Очевидец рассказывал мне следующую бытовую картину: с одного из съездов возвращались уполномоченные волостных комитетов. На этом съезде, по обыкновению, были приняты резолюции в самом коммунистическом духе. Среди крестьян, подписавших эти резолюции, царило угрюмое настроение. Они ехали в свои деревни, а там, как известно, настроение далеко не коммунистическое. В этой компании ехал горячий и, по-видимому, убежденный коммунист, доказывавший преимущества коммунистического строя. Ответом на его горячие тирады было угрюмое молчание. Тогда он решил пробить этот лед и прямо обратился к одному из собеседников, умному солидному мужику, в упор предложив вопрос: почему вы молчите и что думаете о том, что я говорил вам?

— Ось бачите,— ответил мужик серьезно,— все это, может быть, и правда... да беда в том, что руки у человека так устроены, что ему легче горнуть до себя, а не від себе (загребать к себе, а не от себя).

Как видите, это как раз то самое, к чему в конце опыта приходят мечтатели утопического коммунизма. Дело, конечно, не в руках, а в душах. Души должны переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания для творчества новых форм жизни. Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и в народе — это пре-

ступление, которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее — это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ еще не сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. И вы в нем виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата.

Социальная справедливость — дело очень важное, и вы справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы. Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. Корабль будущего приходится провести между Сциллой рабства и Харибдой несправедливости, никогда не теряя из виду обеих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, что буржуазная свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в этом вам не удастся убедить европейских рабочих. Английские рабочие, надеющиеся теперь провести ваши опыты (если бы, конечно, они оказались удачны) через парламент, не могут забыть, что буржуа Гладстон, действовавший под знаменем самодовлеющей свободы, чуть не всю жизнь боролся за расширение их избирательных прав. И всякое политическое преобразование в этом духе вело к возможности борьбы за социальную справедливость, а всякая политическая реакция давала обратные результаты. Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы.

Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь. Россия представляет собою колосс, который постепенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от голода и лишений. Антанте не придется, пожалуй, долго воевать с нами, чтобы нас усмирить. Это сделает за нее наша внутренняя разруха. Настанет время, когда изнуренный колосс будет просить помочь ему, не спрашивая об условиях... И условия, конечно, будут тяжелые.

\* \* \*

Я кончаю. Где же исход? В прошлом 1919 году ко мне приезжал корреспондент вашего правительственного Телеграфного агентства, чтобы предложить мне несколько вопросов о том, что я думаю о происходящем. Я не люблю таких интервью. Помимо того, что я писатель и мог бы сам формулировать свои мысли, — эти интервью почти всегда бывают не точны. Но опять-таки — я писатель, т. е. человек, стремящийся к тому, чтобы его мысли стали известными. А вы убили свободную печать. И я согласился отвечать корреспонденту, выразив только сомнение, чтобы мои мысли нашли место в большевистской печати. Он ответил, что за это он не ручается, но агентство разошлет это интервью руководителям советской власти.

Интервью в печати не появилось. Не знаю, было ли оно прислано вам и нашли ли вы время, чтобы с ним ознакомиться. Я тогда говорил, в общем, то же, что повторяю теперь: вы умеете занимать новые места, но удержать их не умеете, и я чувствую, что вы на Украине потеряли уже почву. События это мое предчувствие оправдали: месяца через полтора вам пришлось оставить Украину под напором денкинцев. Теперь тучи над вашим господством на Украине опять сгущаются...

Тот румынский анархист, о котором я говорил ранее, пришел к заключению, что народ, который до такой степени не умеет вести себя в публичных местах, еще очень далек от идеального строя. Я скажу иначе: народ, который еще не научился владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи (ваше: «грабь награбленное»), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться самому, а не учить других.

Вы победили добровольцев Деникина, победили Юденича, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты тоже окончилось бы вашей победой: оно пробудило бы в народе дух патриотизма, который напрасно старались убить во имя интернационализма, забывая, что идея отечества до сих пор еще является наибольшим достижением на пути человечества к единству, которое, наверно, будет достигнуто только объединением отечеств. Одним

словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, делающего вас бессильными перед фронтом природы...

Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Антанты, ни победы генералов. Россия стоит в раздумье между двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться. Внешнее вмешательство только затемнило бы опыт, а генералы, вероятно, опять предводительствуют элементами, вздыхающими о прошлом и готовыми в пользу прошлого так же злоупотреблять властью, как и вы в пользу будущего. По мнению многих, положение России теперь таково, что остается надежда только на чудо. В разговоре с корреспондентом, о котором я говорил выше, я закончил призывом к вам, вожакам скороспелого коммунизма, отказаться от эксперимента и самим взять в руки здоровую реакцию, чтобы иметь возможность овладеть ею и обуздать реакцию нездоровую, свирепую и неразумную. Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на чудо. Может быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюбие и свернуть на иную дорогу — на дорогу, которую вы называете соглашателем.

Сознаю, что в таком предположении много наивности. Но я оптимист и художник, а этот путь представляется мне единственным, дающим России достойный выход из настоящего невозможного положения. К тому же давно сказано, что всякий народ заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила... Вы являетесь только настоящим выражением ее прошлого, с рабской покорностью перед самодержавием даже в то время, когда, истощив все творческие силы в крестьянской реформе и еще нескольких, за ней последовавших, оно перешло к слепой реакции и много лет подавляло органический рост страны. В это время народ был на его стороне, а Россия была обречена на гниль и разложение. Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже порой неразумные. Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего.

Но под влиянием упорно ретроградного правительства у нас было не то. Общественная мысль прекращалась и насильно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился безнадежный застой, нарастающие слои промышленных рабочих оставались вне возможности борьбы за улучшение своего положения. Дружественная трудящемуся народу интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмиграцию и вела мечтательно-озлобленную жизнь вне открытых связей с родной действительностью. А это, в свою очередь, извращало интеллигентскую мысль, направляя ее на путь схематизма и максимализма.

Затем случайности истории внезапно разрушили эту перегородку между народом, жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, т. е. без связи с действительностью. И вот, когда переродка внезапно рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного организма. И вы явились естественными представителями русского народа с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества. Не мудрено, что взрыв только разрушал, не созидая.

И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, — сознались бы и отказались от губительного пути насилия. Но это надо делать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в свободную страну.

Правительства погибают от лжи... Может быть, есть еще время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет благотельно для страны и для роста в ней социалистического сознания.

Но... возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать?

22 сентября 1920 года.

Письма В. Г. Короленко (1853—1921) к А. В. Луначарскому публикуются в СССР впервые. Короленко написал их в Полтаве в 1920 году, незадолго до своей смерти. Инициатива переписки, по сообщению В. Д. Бонч-Бруевича, принадлежала В. И. Ленину: «Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения, и к тому же писателю» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников». М. 1962, стр. 508).

После встречи с навесившим его в Полтаве Луначарским Короленко написал шесть писем, но ни одного ответа не получил. Сам Луначарский, отвечая в 1930 году на предложение профессора Н. К. Пиксанова переиздать его переписку с Короленко, писал: «Что касается моей переписки с Короленко, то ее издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было» (Институт русской литературы (Пушкинский дом), фонд Н. К. Пиксанова). Неприсылку ответов Луначарский объяснял разными причинами.

Письма получили распространение в списках, а в 1922 году были выпущены в Париже издательством «Задруга». Экземпляр зарубежного издания хранится в кремлевской библиотеке В. И. Ленина. На вопрос редакции «Правды» (приложение от 24 сентября 1922 года, раздел «Тов. Ленин на отдыхе»): «Чем Владимир Ильич интересуется?» — бывший у Ленина в Горках Л. Б. Каменев ответил: «...только что опубликованными письмами Короленко к Луначарскому».

<sup>1</sup> А. В. Луначарский приехал в Полтаву для встречи с В. Г. Короленко 7 июня 1920 года. На митинге в городском театре Короленко обратился к нему с просьбой спасти пятерых местных жителей, приговоренных к расстрелу. На следующее утро Короленко получил записку уже отбывшего из Полтавы Луначарского: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, — но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский» («Вопросы литературы», 1970, № 7, стр. 37.)

<sup>2</sup> В 1899 году Короленко спас от смертной казни невинно осужденного чеченца Юсупова (В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах. М. 1955, т. 9, стр. 528—534).

<sup>3</sup> Там же, стр. 534—549.

<sup>4</sup> В то время Х. Г. Раковский был председателем Совнаркома Украины, впоследствии — полпред СССР в Англии и Франции. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в марте 1938 года. Расстрелян 11 сентября 1941 года в орловской тюрьме. Реабилитирован в 1988 году. Короленко познакомился с Раковским до революции во время своих поездок в Румынию.

<sup>5</sup> Эксгумация жертв ЧК в Полтаве происходила 2 августа 1919 года.

<sup>6</sup> См.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 124—128.

<sup>7</sup> Статья В. Г. Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной казни)» впервые опубликована в журнале «Русское богатство» в марте — апреле 1910 года.

<sup>8</sup> На эту мысль Бакунина Короленко указывает также в «Истории моего современника» (М. 1965, стр. 376) и в письме М. П. Сажину от 14 ноября 1920 года («Русская литература», 1973, № 1, стр. 108—109).

<sup>9</sup> Корреспонденции В. Г. Короленко, переработанные автором в очерки «В голодный год», печатались в 1892—1893 годах в газете «Русские ведомости». Отдельной книгой выпущены в конце 1893 года.

<sup>10</sup> Речь идет о происходившей в сентябре 1920 года переписке В. И. Ленина с корреспондентом английской газеты «Дейлиньос» Сегрю (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 277—278).

Комментарии А. В. ХРАБРОВИЦКОГО.

---

---

Г. А. ФЕДОРОВ

★

## «ПОМЕЩИК. ОТЦА УБИЛИ...», ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Эта статья — часть работы Г. А. Федорова об отце Ф. М. Достоевского. Почему рассказ о жизни этого человека интересен и важен не для одних историков литературы? Ведь далеко не всегда, изучая биографию великого даже писателя, мы подробно интересуемся жизнью его родителей; но вот об отце Александра Блока в связи с недавним столетием поэта не случайно появились самостоятельные серьезные исследования...

В литературе о Достоевском отец его стал острой темой начиная с 20-х годов, когда после появления в печати воспоминаний Л. Ф. Достоевской была обнародована и быстро утвердилась в качестве биографического факта версия об убийстве отца писателя его крепостными крестьянами. Затем в работах З. Фрейда и его последователей была сделана обратная проекция творчества писателя на этот факт его биографии и на его психологию: в М. А. Достоевском начали искать и находить прототип Федора Павловича Карамазова, а в психологии писателя, якобы подсознательно желавшего кончины отца, — подпольный мотив отцеубийства, сублимированный в ситуациях его романов. Тогда же, в 20-е годы, с фрейдистской интерпретацией успешно соединился «классовый подход», с позиций которого убийство жестокого помещика крепостными оказывалось весьма удовлетворяющей биографической завязкой трагического творчества Достоевского. В последующие годы фрейдистское литературоведение не получило у нас развития, классовый же подход доминировал довольно долгое время; в совокупности же оба идеологических мифа отложились в биографии Достоевского и до сих пор омрачают образ отца писателя.

Версия об убийстве М. А. Достоевского была устойчивой до 1975 года, когда Г. А. Федоров, автор настоящей статьи, опубликовал открытые им в многолетних архивных разысканиях неизвестные до того материалы следственного дела о скоропостижной смерти отца (см. «Литературную газету», 1975, 18 июня). Эти документы подвергли версию об убийстве основательному сомнению. Вероятно, было бы неосторожно сказать, что новые данные окончательно ее опровергли, поскольку есть свидетельства, с которыми нельзя не посчитаться (это в первую очередь ссылка А. М. Достоевского на рассказы няни Алены Фроловны, бывшей «вместе с папенькой в деревне» в момент катастрофы). Тайна смерти отца Достоевского вряд ли может считаться уже разрешенной и, возможно, неразрешенной останется. И, конечно, нам важно знать, что думал о смерти отца и чему верил сам писатель Федор Достоевский, а знаем мы об этом мало. Окончательного ответа нет, но ценность открытия, сделанного Г. А. Федоровым, очень велика: найденные им материалы дают убедительную картину естественной смерти М. А. Достоевского и позволяют автору строить самостоятельную версию событий, противостоящую традиционной версии об убийстве.

Главное же — Г. А. Федоров пересматривает сложившийся под влиянием этой версии, как бы в ее тени, образ Михаила Андреевича, очищая его от «дурного глаза» предрешенных биографов. В статье взят красноречивый пример подобного «дурного глаза» — описание сохранившегося портрета М. А. Достоевского таким авторитетным биографом писателя, как Л. П. Гроссман: взгляните на этот портрет, воспроизведенный там же, в книге у Гроссмана, — разве не превзятно-недоброжелательное это описание?

Не забудем, что узкая эта предрасположенность диктовалась идеологическими схемами, уже помянутыми, которым нужен был на месте реального человека зверь помещик и психопатологический тип (см. характеристику М. А. Достоевского как «эпилептоидного характера» в известной «Хронике рода Достоевского» М. В. Волоцкого). В настоящей статье этим схемам противостоит документированный в каждой точке своей рассказ о жизни человека обыкновенного и несчастного, трудного, да же тяжелого человека, загавленного бедами и по-своему терпеливо и ответственно, говоря языком Андрея Платонова, «исполнившего свое существование». Освобожденный от мифологизирующих теней, простой человеческий образ отца Достоевского оказывается более добрым и светлым при всем окрашивавшем его жизнь «угрюмстве». О таком человеке мог сказать Достоевский уже на исходе жизни эти горячие слова: «Такими семьянами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!» Автор статьи делает благородное дело, восстанавливая доброе имя отца Достоевского и тем внося новый свет в картину детства писателя: слова Алеши Карамазова о спасительности воспоминаний, вынесенных из детства, произносились Достоевским с памятью о своем собственном детстве — в статье показано это.

И связи образа отца с творчеством Достоевского Г. А. Федоров намечает иные, нежели те, какие были приняты в биографической традиции: не в Федоре Павловиче Карамазове отразился Михаил Андреевич Достоевский, а гораздо более правдоподобно и естественно — в Макаре Девушкине и господине Голядкине. Наблюдение убедительное, сделанное в статье, но нужно будет его еще проверить и укрепить более пристальным стилистическим анализом: письма отца, прочитанные после смерти его сыном Федором, воздействуют характером и стилем своим на стилистику писем и речей этих ранних, униженных и пользующихся писательским сочувствием героев Достоевского.

С. Г. БОЧАРОВ.

С января 1868 года журнал «Русский вестник» начал печатать новый роман Ф. М. Достоевского «Идиот», создававшийся за границей. Завершена первая часть, но целого еще нет. И в рабочих тетрадях, куда заносятся творческие материалы к тексту романа, в немногословных набросках фиксируются замыслы будущих произведений.

Один из набросков датируется маем — июнем 1868 года и условно называется «Романом о помещике». Наиболее ранняя запись, связанная с замыслом, обнаружена еще среди подготовительных материалов к роману «Идиот»: «Купил поле... Голодный год.— Что ж делать? О состоянии». При всем лаконизме фрагмент расширяет значение более поздних записей: «Помещик. Отца убили. Спорное поле. С помещиком. Куплено с уступкой... Образование детей...» Уже определены герои: помещик, отец, его дети. Замысел, как увидим, биографичен, он поднимается из глубины воспоминаний. Можно так прочитать эти два текста: отец — образование детей; купили поле, но оно спорное; голодный год — что же делать? Отца убили!

Так возникает новая, генеральная для трех последних романов Достоевского тема «отцы и дети»: об облике нового поколения и о жестокой ответственности отцов за нравственный мир сыновей.

Через год слова «Детство, дети и отцы...» откроют записи к неосуществленной поэме «Житие великого грешника» — замысел ее непосредственно связан с «Бесами», «Подростком», «Братьями Карамазовыми».

Подготовительные материалы к «Житию...» хранят множество автобиографических деталей поры московского детства и отрочества писателя. Это изначальный этап творческого процесса, когда истоки помечены именами людей, чью жизнь Достоевский знал во многих подробностях. Имя главы «случайного семейства», из которого вышел герой — «волчонок и нигилист-ребенок» Альфонский,— это имя сослуживца отца Достоевского, близкого знакомого семьи, человека дурного. Сам образ «случайного семейства» также отмечен многими реалиями семьи Альфонских: Аркашка и Катя — это имена детей Альфонского от первого брака, а фамилию Брутилов (Н. Брутилов) носил товарищ Аркадия по пансиону.

Мы помним признание Достоевского: «Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом

мало-помалу выросло в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления...»

Во второй половине 1870 года, в преддверии «Братьев Карамазовых», когда Достоевский в «Дневнике писателя» говорил о «современных отцах», о «случайном семействе», о проблеме отцов и детей, он оглядывался на «нравственный фонд» семьи своего отца М. А. Достоевского, иногда вводя небольшие фрагменты воспоминаний. Но еще живя за границей и размышляя над грандиозной эпопеей, он опирался на жизненную историю своей семьи, вспоминал об отце, о событиях 1839 года, после которых семья Достоевских распалась, и о сиротской судьбе своих сестер и младших братьев. И в творческих записях этого времени вспыхивала мучительная для него тема, «точка, черта» которой — 1839 год. «Голодный год» в контексте сказанного все же не голодные, как считается, 1867, 1868 годы, а 1839-й — год скорострительной смерти его отца; фраза «о состоянии» заставляет вспомнить слова последнего письма М. А. Достоевского Федору: «...за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния» (27 мая 1839 года).

### «ОТЕЦ»

Мы не имеем документального рассказа о жизни этого человека. Что значил он — глава семьи, воспитатель, отец — для Федора Достоевского в детстве и отрочестве, в творческой памяти — мы этого не знаем. В. С. Нечаева и Л. П. Гроссман опубликовали ряд документов, проливающих свет на отдельные моменты его биографии. Эти материалы будут использованы в нашей работе. Однако многие документы, относящиеся главным образом к смерти М. А. Достоевского, до сих пор не были известны. В результате в биографиях писателя извращенный образ нередко подменял подлинное лицо: в нем охотно видели прототип отца Карамазовых. Якобы насильственная кончина М. А. Достоевского легла тенью на всю его жизнь.

Михаил Андреевич Достоевский, его судьба интересуют нас не только как один из частных вопросов биографии Ф. М. Достоевского. Кто усомнится в том, что первые пятнадцать лет жизни, проведенные в доме отца, отозвались в созданных им впоследствии образах, глубоко определили личность будущего писателя?

Один из его петербургских знакомцев — встретился он с писателем в год появления «Бедных людей», — нескромно считавший, что сошелся с Достоевским «на дружескую ногу», утверждал: «...об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать». Благоговейно о матери, о сестрах и брате Михаиле Михайловиче, а об отце «решительно не любил».

Была рана. Известие о скорострительной смерти отца вызвало нервное потрясение. Вскоре брат привезет переписку родителей, и письма отца окажут значительное влияние на письма бедного человека Девушкина, на речи и высказывания Голядкина в «Двойнике».

Михайло Андреев сын Достоевский в графе своего послужного списка «Из какого звания происходит» писал: «Из духовного», а в графе «Когда в службу вступил» — «Из подольской семинарии... Из чего следует, что он, сын священника Подольской губернии, потомок обедневшего дворянского рода, родился не в России, а в глухой юго-восточной провинции Речи Посполитой, где католическая церковь стремилась обрезать национальные корни, пресечь связи коренных жителей, считавших и называвших себя русскими, с Россией. М. А. Достоевский родился в 1789 году, когда край был охвачен гонениями против католического населения, продолжавшимися до второго раздела Польши. Но линия рода Достоевских, к которой принадлежал Михаил Андреевич, свято сохранила все русское: как стойко защищенное наследство достались Ф. М. Достоевскому язык и вера.

Основанная в 1798 году семинария, куда был отдан Михаил Достоевский, утверждалась на границе с католическим миром как твердыня, противостоящая католическому влиянию и иезуитской пропаганде в крае. Церковнославянский язык в программу не входил, изучались русский и латинский, русская риторика по М. Ломоносову, с чтением по правилам риторическим и логическим; на русском же велась и естественная история. К третьему классу воспитанники должны были разговаривать между собой на латинском. Семинаристы обучались французскому, немецкому, греческому и польскому языкам. Подробно, до Канта включительно, изучалась история

философии, а также логика, метафизика, моральная философия, общая история, математика, физика (с подробным изложением учения Коперника), география.

Семинаристы не только писали проповеди и произносили их публично — обязательным было участие в диспутах.

Такой была первая школа отца Ф. М. Достоевского.

«Семинария на первых порах своей деятельности стала создавать новое русское общество просвещенных людей...»<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский скажет в «Дневнике писателя»: «Явился прилив новых сил снизу общества, по нашей терминологии демократических уже сил, — и особенно из семинаристов. Прилив этот привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслышанным по тогдашнему времени».

Витав эту «еще неслышанную» культуру, Михайло Достоевский, не посчитавшись с желанием отца, отказывается от поставления в священники, порывает с семьей и уходит в Москву учиться медицине.

Россия испытывает острую нужду в военных врачах. В связи с угрозой новой войны с Наполеоном, после Аустерлица и Фридаанда, в 1808 году открывается Московское отделение Медико-хирургической академии.

14 октября 1809 года М. А. Достоевский поступает в академию, лишенный материальной поддержки семьи, на казенный кошт. Годы учебы в академии — жизнь впроголодь, нет средств, чтобы рубище сменить на достойный костюм. Учился он у незаурядных специалистов, по справедливости названных миссионерами науки, чьими подвижническими трудами утверждалась самобытность русской врачебной школы. Первым среди них необходимо назвать Е. О. Мухина (1766—1850), профессора анатомии и физиологии, известного ученого, учителя И. Е. Дядьковского, Н. И. Пирогова.

В послужной список М. А. Достоевского будет вписано: «По надобности во врачах, во время последней против Французов войны командирован Г-м Вице-Президентом Академии в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых. 1812. Августа 15». И дальше: «Потом в Касимовский военно-временной госпиталь, откуда получил похвальный аттестат. 1812. Сент. 1».

После Бородинского сражения Москва переполнена ранеными. Устройство Главного военного госпиталя поручено Х. И. Лодеру. Уроженец Риги, воспитанник Гёттингена, один из деятельнейших членов Йенского и Галльского университетов, выдающийся анатом, ставший впоследствии почетным членом Московского университета, Лодер (1753 — 1832), друг Шеллинга, наставник Гуфеланда, А. Гумбольдта, Шиллера, обучал анатомии Гёте и до старости сохранил с ним дружеские отношения, изредка, как и с Шеллингом, переписываясь. «Один из... плеяды сильных и свободных мыслителей...— скажет о нем Герцен.— Для этих людей наука была еще религией, пропагандой, войной...»

В госпиталь к Лодеру командировается студент четвертого класса М. Достоевский, там он встретился с Дядьковским. В «корпусе Лодера», в небольшой группе медицинского персонала, М. А. Достоевский участвует в поразительной по своему героизму эвакуации более 20 тысяч раненых из Москвы, начатой в день вступления в город наполеоновских войск, а также и в организации лазарета в Касимове, где четыре месяца трудился под руководством Лодера и его сподвижников. Похвальный аттестат — первая награда М. Достоевского — выдан ему Х. И. Лодером.

После Касимова студент Достоевский направлен в Верейский уезд для прекращения там тифа и три месяца состоит ассистентом Дядьковского. И. Д. Якушкин (будущий декабрист) в письме от 27 января 1813 года писал о Дядьковском: «С подчиненными он ровен; грудится он в сутки по 16—18 часов, еще перед сном находя время для поучительных бесед. Человек начитанный, много знающий, мы с ним сходимся во многом. Его разговоры и суждения о Бабефе и Гельвеции меня весьма поразили»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Столетний юбилей Подольской духовной семинарии. 1798—1898 гг.». Каменец-Подольск 1899, стр. 80.

<sup>2</sup> Барановская М. Ю. «Материалы к биографии И. Е. Дядьковского» (в кн.: Дядьковский И. Е. Сочинения. М. 1954, стр. 54; год письма — 1812 — указан ошибочно). И. Е. Дядьковский вернулся в академию, защитил диссертацию, руководил одной из ее кафедр, являлся предшественником «великих основоположников нервизма» И. М. Сеченова, С. П. Боткина, И. П. Павлова. Увидеть роль Мухина, Лодера и Дядьковского в судьбе М. А. Достоевского помог его послужной список.

Второй свой «похвальный аттестат» М. А. Достоевский, как и И. Е. Дядьковский, получил за Верею.

После войны М. А. Достоевский окончил академию, некоторое время служил в гарнизонном полку, разбиравшем развалины Москвы, а затем в Московском военном госпитале, где начальствовал Х. И. Лодер. В последний год военной службы он женился на двадцатилетней Марии Федоровне Нечаевой, младшей дочери московского купца третьей гильдии, разорившегося в войну двенадцатого года. В тринадцать лет она потеряла мать, через год в дом пришла мачеха. Старшая сестра Александра вышла замуж за сына коммерции советника, московского первостатейного купца А. А. Куманина. Мачеха супруги М. А. Достоевского сыграет недобрую роль в его непростых отношениях с родней жены, но главное, что воистину обессмертило ее,— О. Я. Нечаева станет, как мы увидим, соавтором легенды об убийстве М. А. Достоевского крепостными и утвердит ее в сознании его детей, а затем и биографов его великого сына.

В 1820 году у Достоевских родился первенец Михаил.

Но вот Михаил Андреевич с лихвой отслужил свое казенное содержание в академии, военная служба оставлена, начинается «статский» период.

Среди благотворительных учреждений, подведомственных вдовствующей императрице (матери императоров Александра и Николая), были заведены в обеих столицах две больницы для бедных «свободного содержания».

Тридцатидвухлетний штабс-лекарь М. А. Достоевский определен в Московскую больницу для бедных. Почти вся служба М. А. Достоевского в больнице пройдет на глазах сына Федора. Что же можно сказать о наиболее длительном периоде службы М. А. Достоевского?

Юртембергская принцесса София-Доротея-Августа-Луиза, нареченная при принятии православия Марией Федоровной, для службы в своих благотворительных заведениях предпочитала соотечественников. Любимый лейб-медик императрицы, инспектировавший ее благотворительные заведения, заверял: «Никогда не будет не только старшим врачом, но и ординатором ни один русский врач». Заверение входило в соответствие со словами императора Николая: «Русские дворяне служат государству, немецкие — нам». В годы службы Достоевского большая часть персонала больницы, от аптекаря до главного доктора,— немцы. Ссылаясь на «собственные впечатления», Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» отметил, что больницы были чужды народу прежде всего из-за их «немецких порядков». К этому времени относится одна весьма заурадная история. Испрашивалась ничтожная прибавка к нищенскому окладу ветерана двенадцатого года, штабс-лекаря, надворного советника. Императрица не соблаговолила: «Есть ли подать один такой пример, оный возбудит немедленно множество подобных претензий»; она посчитала: «Несправедливо дать в одном заведении выгоду чиновнику, который в другом не имеет». Оскорбленный отказом, старый врач подал в отставку. На его место (24 марта 1821 года) определен штабс-лекарь М. А. Достоевский. Отныне он лекарь для приходящих больных женского пола.

Когда после смерти императрицы в 1828 году волею ее венценосного сына больница получила имя Марииинская, будет официально признано: «Оклады служащих не вознаграждают достаточно трудов их и не соответствуют необходимым надобностям каждого в содержании себя и своего семейства»<sup>3</sup>.

М. А. Достоевский начал с оклада в 600 рублей в год (столько же получал он в конце службы в госпитале). При беспорочной службе каждое пятилетие прибавлялась одна пятая первоначального оклада: через четверть века жалованье удваивалось. С 1826—720 рублей, с 1831, когда у него уже шестеро детей,— 840 рублей и с 1836 года — 1080 рублей. В его послужном списке есть запись: «Неоднократно удостоивался Всемилостивейшего денежного вознаграждения». Но суммы настолько незначительны, что не проставлены, как это было принято. Прибавка 1833 года прошла мимо. Отец семерых детей получал 840 рублей годовых. Не только чтобы содержать семью, но и для обучения четырех старших детей в лучших частных пансионах необходимо прибавлять на визитах «многочисленным городским пациентам». Нужны нечеловеческие усилия, чтобы при изнурительном труде в больнице, ведя тяжелый амбулаторный прием (количество приходящих больных из года в год возрастало), еще ездить в далекие центральные кварталы. Хотя он и принят как известный врач в семьях именитых московских негоциантов, гонорары не постоянны. «Такая нужда, какой еще ни-

<sup>3</sup> ЦГИА Москвы, ф. 127, оп. 3, ед. хр. 23, лл. 22—24.

когда не бывало»,—признался он однажды. В конце жизни он скажет: «...бедность моя нисколько меня не тревожит, я с нею свыкся, как с воздухом, коим дышу».

Потомственное дворянство, полученное благодаря обычным в этом случае наградам и за выслугу узаконенных лет, дало возможность приобрести имение, но, по сути, служебная карьера М. А. Достоевского не сложилась: в течение шестнадцати лет всей своей службы он оставался младшим ординатором. «...служака-чиновник, который вполне отвечал требованиям казенной дисциплины и, конечно, официальной идеологии своего времени... М. А. Достоевский, как мы видим, благополучно шествовал от одной награды к другой, и это в пору всеобщего полицейского террора и слежки III отделения»<sup>4</sup>. Эти выводы В. С. Нечаевой несомненно служат примером крайне тенденциозного освещения судьбы отца Достоевского: без всяких на то оснований исследовательница именует добросовестного врача «служакой-чиновником» и исподволь делает его как бы причастным к упоминаемым террору и слежке.

Не менее тенденциозен и Л. П. Гроссман: «Характер отца и созданная им невыносимая атмосфера в доме глубоко омрачили детство и отрочество Достоевского»<sup>5</sup>.

Через три года после женитьбы лекарь больницы бедных заказал свояку-художнику портреты — свой и супруги. В этом нет тщеславия: скромные, выполненные пастелью, память о молодых супругах Достоевских детям, внукам. И вот предубежденный взгляд биографа на портрет М. А. Достоевского спустя сто сорок лет: «Довольно правильное холодное лицо с тонкими сжатыми губами и строгим взглядом под мефистофельски очерченными бровями. Высокий, шитый золотом воротник гражданского мундира, крепко застегнутый и плотно облегающий шею, завершает впечатление холодной и недружелюбной замкнутости» (Гроссман, стр. 9).

В бытующем «каноническом» образе Михаила Андреевича исключительную роль играют его письма жене — Марии Федоровне. Супруги переписывались, когда по весне начиная с 1832 года М. Ф. Достоевская уезжала в сельцо Даровое, приобретенное в 1831 году. Наиболее полно (хотя и с несколькими очень важными пробелами) дошла до нас их переписка 1835 года — двенадцать писем его и восемь ее. Эпистолярный цикл этих месяцев, как и письма 1837—1839 годов сыновьям (и одно дочери), дают возможность рассмотреть подлинное лицо М. А. Достоевского<sup>6</sup>.

В 1835 году супруга уехала рано, в апреле, на шестом месяце беременности. Он один с прислугой; Михаил, Федор и Андрей учатся в пансионах, скоро экзамены, отца навещают только по праздникам.

В первом же его письме (29 апреля) — беспокойство о ее беременности, о ее кашле (не пройдет и двух лет, и чахотка унесет ее), о себе же только: «...вот горе, что нет с кем слова сказать, но что делать потерплю». Они скоро встретятся в Даровом: у детей каникулы, у него недолгий отпуск. И еще: «У нас только и нового, что всякую минуту ожидают государя с государынею» (Нечаева, стр. 86).

Через две недели (16 мая): «Здорова ли ты, голубушка моя, мне сей недели очень грустно, не знаю куда деваться» (Нечаева, стр. 94).

23-го Михаил Андреевич, сообщая, как он делает это постоянно, о своем и сыновей здоровье, пишет: «Сегодня Семик (праздник, по древней московской традиции справлявшийся в соседней Марьиной роще и посещавшийся ежегодно Достоевским.— Г. Ф.), но я в роще на гулянье не был, тоска смертельная, нигде места не сыщу, наяву и во сне бог знает что в голову лезет...» И дальше: «Новостей у нас нет никаких, император уехал. Он у нас был чрезвычайно доволен, императрица также, Рихтеру (главный доктор, которого в следующем году будет замещать некоторое время младший ординатор М. А. Достоевский.— Г. Ф.) 2-й степени Станислава со звездою, а нам разумеется ничего, оттого я тебе и не писал ничего, в протчем это так всегда водилось и будет водиться. овцы пасутся, а пастух доит молоко, стрижет шерсть и получает барыш». И заключает письмо: «Береги свое здоровье и ежели хотя немного погода позволит, то гуляй побольше, работы все брось» (Нечаева, стр. 97, 98).

Возвращаться в Москву родить Мария Федоровна не собирается; ей и хотелось бы: «...отпуск ежели бы можно было тебе просить по крайности на месяц» (Нечаева, стр. 99).

<sup>4</sup> В. С. Нечаева. Ранний Достоевский. 1821—1849. М. 1979, стр. 21.

<sup>5</sup> Л. П. Гроссман Достоевский М 1965, стр. 9.

<sup>6</sup> Переписка М. А. и М. Ф. Достоевских дается по книге В. С. Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских» (М. 1939).

Его не оставляет тревога за нее, и он пишет (26 мая): «Теперь поговорим о важнейшем: экзамен детям назначен по прошлогоднему в конце июня... разочти и то, что мой отпуск не может быть более как на 20 дней, то прошу тебя сообрази все сие с своим положением, размысли хорошенько, что ежели бы ты и при мне родила, положим, что все это случится и благополучно, то может случиться и после родов болезнь, а я, по причине короткого отпуска не могши более оставаться, должен буду уехать и оставить тебя больную, посуди каково бы тогда было тебе и мне. То рассуди хорошенько и дай мне свое мнение, а я так расстроен духом, что более писать не в состоянии. Прощай, дражайшая надежда жизни моей, не забывай меня в растерзанном моем положении души моей, какого я еще с начала жизни моей не испытал» (Нечаева, стр. 101).

Подходит срок родам, он надеется, что она все же заблаговременно вернется в Москву и не решится родить в Даровом, ведь это будут первые роды без него, супруга и врача. Приехать она пообещала и не осталась равнодушной к его состоянию (29 мая): «У меня сердце замирает когда вообразю тебя в таком грустном расположении... Друг мой, умоляю тебя, отбрось все печальные думы... Надеюсь, что мы скоро увидимся и тоска обратится в радость» (Нечаева, стр. 103). В своем же следующем письме-ответе (31 мая) на его письмо от 26 мая она признается: «Последнее письмо твое сразило меня совершенно; пишешь, что ты расстроен, растерзан душою так, что в жизни своей никогда не испытал такого терзания, а что так крушит тебя ничего не пишешь». И дальше, не понимая истинной причины его состояния, она пишет те самые знаменитые строки, которые принято считать за ярчайший документ семейного разлада: «В прошедшем письме твоим ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, воображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же губительные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницей сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарем в день нашего брака. Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего; довольно ли сей клятвы для тебя, которой я никогда еще не повторяла тебе, во-первых потому, что стыдилась себя унижить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза... Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрывает от тебя терзания души моей, не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей» (Нечаева, стр. 105, 106 — 107).

Всегда отвечая сразу же, он на этот раз не только откликнулся мгновенно, но и нашел способ переслать письмо молниеносно (с нарочным?). Хотя письмо утрачено, сохранился ответ (8—10 июня): «Прости меня, дражайший, милый друг мой, что я моею грустию наделала тебе столько горя... Не жалуйся, друг мой, чтоб я горячо приняла сие вдруг, судя односторонне... Еще ты пеняешь мне, что я неосторожно все доверила бумаге, что лежало на сердце» (Нечаева, стр. 109).

Эти строки биографы оставляли без внимания, хотя в них проступает главное из его утраченного письма: она, не разобравшись, «приняла сие вдруг, судя односторонне», «причинив ему столько горя». Из письма выписывалось другое: «...любви моей не видят не понимают чувств моих». Строки двух писем (от 31 мая и 8—10 июня) Марии Федоровны приводятся как красноречивое подтверждение ее якобы жестокой судьбы, как доказательство бесчеловечности мужа.

Слова М. Ф. Достоевской: «...думаю, не терзают ли тебя те же губительные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе» — связываются биографами с фрагментами «Воспоминаний» А. М. Достоевского. Десятилетним мальчиком стал он невольным свидетелем семейной сцены, поведавши о ней через шестьдесят лет:

«Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали. Маменька что-то сообщила отцу и он сделался видимо очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем и папеньке едва-едва удалось ее успокоить. Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила сильное во мне впечатление. И я недоумевала, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена.

Потом, со временем, когда я сделался взрослым и вспоминал эту сцену, то, сопоставив последующие обстоятельства, разгадал причину... Дело, вероятно, было так: родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню, при чем, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. Эта моя разгадка подтверждается тем фактом, что действительно в лето 1835 года родилась моя сестра Саша». «Десятилетний наблюдатель» не мог, разумеется, сообщить нам об упреках в неверности. Можно усомниться, что они вообще были. Вероятно (используя эту постоянную оговорку меуариста), «неосторожно высказанное неудовольствие» при неожиданном известии — это острое проявление постоянной тревоги за судьбу разрастающегося семейства. «Неудовольствие» же могло породить не только обиду, но и ни на чем не основанное утверждение, что супруг подозревает ее. Был ли Михаил Андреевич ревнивцем? Строки из письма Марии Федоровны намекают на это, но судить об этом мы можем лишь с большой осторожностью и деликатностью.

Между тем приведенные письма раскрывают жестокую социальную драму М. А. Достоевского. Майские дни 1835 года дают ее обострение, вызванное визитом коронованного шефа<sup>7</sup>.

Человек, обремененный заботой о большой семье, долгами по имению, М. А. Достоевский долго молчал и не писал о посещении царем больницы. Отец, ожидавший седьмого ребенка, несомненно, надеялся: его труд будет отмечен — он сможет порадовать знаком «патриархального попечительства» жену в последние месяцы беременности. Но пришлось написать: «...а нам разумеется ничего».

М. Ф. Достоевская еще до своего отъезда в деревню не могла не знать об ожидаемом прибытии императора в Москву. Об этом сообщалось в «Московских ведомостях», в больнице готовились к вероятному посещению, щедрость монарха, весьма возможно, отразится на служебном положении супруга. В 1826 году, в коронацию, он не был отмечен: прослужил всего пять лет. Теперь же — четырнадцать, и есть непреходящая надежда. Не сразу она поняла, что майское событие обозначило катастрофичность положения их семьи. В одном из писем мужа (2 июня), написанном неделю спустя по отъезде порфириносных гостей, он признавался: «Не беспокойся милая моя обо мне я теперь покойнее, правда и не скрываю от тебя, что иногда бывают такие минуты, что иногда прогневляю творца моего ропща за дарованные мне краткие дни в удел моей жизни, но не думай ничего, это пройдет...» (Нечаева, стр. 107).

1 января 1840 года Ф. М. Достоевский напишет брату Михаилу: «Что хочешь, а последние 5 лет для нашего семейства были ужасны». Отсчет ведется от 1835 года, с него для Федора начинается «ужасная» пора их семьи. Матери не станет 27 февраля 1837 года, вскоре — отставка по болезни сломленного утратой отца, разорение семьи, скоростигшая смерть Михаила Андреевича, сиротство сестер и братьев.

Почему же не от 1837 года, а от 1835-го?

В то лето Достоевскими проигран судебный процесс по имению (о чем еще будет сказано). Не в этом ли начало «ужасному» пятилетию?

В 1841 году для Ф. М. Достоевского раскроется семейный архив, привезенный из имения, и будут прочитаны интимные документы родителей — их письма. И если говорить о «выцветших листах старинной корреспонденции», то не строки матери<sup>8</sup>, а прежде всего письма отца войдут в творческое сознание сына столь глубоко, что, как уже отмечалось, отразятся и в стилистике писем, и в горемычной судьбе титулярного советника Макара Алексеевича Девушкина.

<sup>7</sup> Последний раз император посетил больницу вместе с матушкой-императрицей в коронацию 1826 года. В год смерти императрицы-патронессы (1828) сын принял шефство над всеми ее благотворительными учреждениями. В 1835 году он пробыл в Москве с августейшим семейством почти месяц. «Происходило как бы примирение царя с древнею столицей, — пишет историк, — в которой продолжала жить память о расплате за 1825 г. Восторжествовавший порядок облакался в реставрацию царской власти на исторических началах. И эта реставрированная власть не упускала случая проявить свое патриархальное попечительство (разряда моя. — Г. Ф.) в новых сферах современной общественности» (М. Полиевктов, Николай I. М. 1918, стр. 189—190).

<sup>8</sup> Частично цитируя ее письма, Гроссман отмечает: «Над выцветшими листами этой старинной корреспонденции становится понятным, почему один из сыновей Марии Федоровны стал знаменитым писателем».

Вернемся, однако, к 1835 году в жизни семьи Достоевских. Сыновья, приехавшие с отцом в Даровое, видели, с какой (для нас несомненной) радостью встретились их родители. Через несколько дней родилась Александра.

Вернувшись в Москву, М. А. Достоевский вновь пишет супруге (19 августа): «Поверишь ли, друг мой, такая нужда, какой еще никогда небывало. Взял в перед жалованья 20 р. асс. но и тех уже нет ибо отдал на дорогу 8 р. ибо дети истратили 19 р. 28 к. то суди что для лошадей корм надобен... Доходу до сих пор нет ни одной копейки. Более писать нечего и пожелав тебе всего лучшего от бога прибуду до гроба тебя нежно любящий друг твой» (Нечаева, стр. 112).

Подобно Ф. А. Барашкову, отцу героини романа «Идиот», «при малейшей удаче он необыкновенно ободрялся». Но жизнь безжалостно ломала. Врач, он не мог не знать о близящемся роковом исходе болезни жены. Любящий супруг не мог не помыслить, что ее не будет с ним.

В середине 70-х годов, когда завершался «Подросток» и предстояла работа над «Братьями Карамазовыми», Ф. М. Достоевский при встрече с братом Андреем разговаривал о прошлом, и брат упомянул об отце. Федор Михайлович «мгновенно воодушевился,— пишет А. М. Достоевский,— схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал... такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..»<sup>9</sup>.

Для приобретения имения занимались значительные суммы, долги обременяли семью. На какие же средства при своем небольшом окладе отец обучал Михаила, Федора, Варвару и Андрея в лучших пансионах?

Детей определяли в старшие классы, предварительно подготовив дома. Для этого приглашались педагоги, но все же в значительной степени учителем Михаила и Федора был отец. Как домашний врач в семьях именитой родни со стороны жены, М. А. Достоевский не принимал от них гонорары (традиционный gratis). Но существовал уговор: заслуженное домашним врачом шло на оплату обучения его детей — Михаила и Федора, возможно, и Варвары. Когда подошло время отдать в пансион Андрея, М. А. Достоевский становится годовым врачом пансиона, расплачиваясь таким образом за обучение сына. Кстати, и занятия педагогов с детьми дома, вполне возможно, как было принято во врачебных семьях, отец оплачивал своим трудом.

Хотя среднему сыну Андрею не было отдано столько воспитательных сил, как старшим детям, и Андрей не знал отца учителем в той значительной степени, как Михаил и Федор (с Андреем занимались его старшие братья и сестры), тем не менее об «уроках отца» и его системе занятий с детьми мы узнаем из его «Воспоминаний».

Михаил Андреевич считал, что начинать учить детей надо рано, и был отцом строгим. Детей сажали за книжку с четырех лет и твердили: учись, учись. Затем дети читали вслух матери. Гуляя, «он всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас,—сообщает мемуарист.— Так помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случалось почти на каждом шагу».

Отец учил старших, Михаила и Федора, латинскому языку, без которого их не приняли бы в среднее учебное заведение. Зная в совершенстве язык, давший ему возможность поступить в академию и стать врачом, он в преподавании его «при всей своей доброте был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив... несмотря на вспыльчивость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно... я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол».

«Гуманное отношение к нам, детям», не позволяло родителям поместить их в гимназию, «хотя это стоило бы гораздо дешевле... в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное... были предпочтены частные пансионы».

М. А. Достоевский, изучавший в свое время поэтику, по словам внучки М. А. Ивановой, «способствовал литературному образованию своих детей». Восемнадцатилетний старший сын Михаил в письме отцу признается: «...с младенчества сердце мое стремилось к литературе... не вправе ли я думать, что эта дорога для меня откры-

<sup>9</sup> Знаменательно: в книгах Гроссмана и Нечаевой мы этих слов Ф. М. Достоевского не найдем.

та на словесном поприще!.. Разве голос, зазывавший меня к небу, не есть голос самого неба!.. Разве напрасно, еще с десяти лет моего возраста, он призвал меня писать стихи, хотя бы без рифм и без стоп!»<sup>10</sup>. Выспренние строки юного романтика красноречиво говорят об атмосфере, в которой рос Федор Достоевский.

По семейному обычаю по вечерам, когда отец бывал свободен, при двух сальных свечах читали вслух. Читались по преимуществу произведения исторические. Прежде всего отец читал детям «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина. Особенно часто — последние тома, о Годунове и Смутном времени.

Совсем не случайно вслед за карамзинской «Историей...» в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского упомянута биография Ломоносова, составленная К. Полевым, о которой В. Г. Белинский писал: «Мы особенно рекомендуем ее молодому поколению, из среды которого готовятся будущие деятели на ниве человеческой мысли: оно найдет для себя высокие уроки в этой книге... оно узнает из нее, что только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие человеческого достоинства, что только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном поприще...»<sup>11</sup>

В самом перечне книг, названных А. М. Достоевским, ощущается определенное пристрастие. Главенствовала русская литература, звучали прежде всего Державин, Карамзин, Жуковский, читались и новинки, за которыми Михаил Андреевич находил время следить. В семье прозвучал «преимущественно прозой» и навсегда вошел в жизнь Ф. М. Достоевского Пушкин. Перед будущим автором «Бедных людей» и «Преступления и наказания» Самсон Вырин и Германн явились впервые на чтениях в гостиной. Читались произведения В. Т. Нарезного, А. Ф. Вельтмана, Д. Н. Бегичева, Казака Луганского (В. И. Даля), русские исторические романы И. И. Лажечникова, М. Н. Загоскина, К. П. Масаляского.

В семье был культ В. А. Жуковского. «Жуковский и влияние с ним Шиллера — разве не сила?» — скажет Ф. М. Достоевский, отмечая необходимость для историков русской литературы и общественной мысли изучать влияние Шиллера, переведенного Жуковским.

Выписывается журнал «Библиотека для чтения», познакомивший Федора Достоевского со многими новинками литературы, произведениями Гюго, Жорж Занд, столь ценными Ф. М. Достоевским впоследствии, а также со «Стариком Горио», как назван в журнале великий роман Бальзака. Неоднократно перечитывался Вальтер Скотт — у братьев Михаила и Федора были свои экземпляры.

Несомненно, ставились на семейных чтениях цели воспитательные, даже дидактические; они «часто прерывались рассуждениями родителей», живой обмен мнениями мог перейти в спор — из-за Пушкина, например, — и сыновья отстаивали свою точку зрения. Чтения дома, существовавшие, «кажется, постоянно в кругу родителей» (А. М. Достоевский), получили продолжение в пансионе в 1834 году, где была большая библиотека, и Михаил и Федор все свое свободное время постоянно читали.

Впоследствии старший сын, Михаил, напишет отцу: «Папенька! Как мне благодарить Вас за то воспитание, которое Вы мне дали! Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гете! Чем оценить эти мгновения». Дело, разумеется, не сводилось к названным великим именам, дело в атмосфере, «в нравственном фонде семьи». Просветительство, насаждение в юных душах высокого, прекрасного через строго избранные образцы, навсегда связано и для Федора Михайловича с образом его отца.

В конце жизни Ф. М. Достоевским разыскивается и хранится как святыня книга, по которой учился грамоте: поразительна прошедшая через всю жизнь приверженность к книгам и писателям, на которых учился в семье. Он напишет Н. Н. Страхову: «И я возрос на Карамзине», — откликаясь на слова из страховской статьи: «Я воспитан на Карамзине... мой ум и вкус развивались на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями». Советуя одному из своих корреспондентов в выборе книг для дочери и называя «Историю» Соловьева, Достоевский добавляет: «Хорошо не обойти Карамзина». Ему же рекомендует «великого писателя» Вальтера Скотта, отмечая с сожалением: «...тем более, что он забыт у нас». Далее он вспоминает, как двенадцати лет «прочел всего Вальтер-Скотта, и пусть

<sup>10</sup> Отдел рукописей ИРЛИ, фонд А. М. Достоевского, 56/382.

<sup>11</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. М. 1953, т. II, стр. 195.

я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими».

За всем этим прекрасным, бесконечно дорогим, унесенным с собою из родительского дома, стоял отец.

По мнению Л. П. Гроссмана, в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевский «развернул «некролог» своего отца в потрясающую эпопею греха, пороков и преступлений».

А вот что накануне создания «Братьев Карамазовых», посылая брату Андрею роман «Подросток», напишет сам Ф. М. Достоевский: «...идея непререкаемого и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основной идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения». Однако никто из биографов не увидел связи этих слов со словами в «Дневнике писателя», напечатанными через несколько месяцев в октябрьском выпуске: «лучшие люди» — это «те люди, без которых не живет и не стоит никакое общество и никакая нация, при самом даже широком равенстве прав».

### «СПОРНОЕ ПОЛЕ»

Вряд ли главным мотивом приобретения имения было для М. А. Достоевского социальное самоутверждение. Все видится проще, человечней. Сырая казенная квартира становилась тесной, дети проводили лето в больничном саду, у М. Ф. Достоевской появились первые признаки еще не опознанной чахотки, на пятом десятке нужно было подумать о своем доме.

Когда потомку древнего дворянского рода М. А. Достоевскому советовали хлопотать о дворянстве, «он с улыбкой отвечал, что он не принадлежит к породе Гусейн». Умозаключение его сына Андрея, сообщающего этот факт: отец не хлопотал потому, что это «стоило бы больших денег», — опровергается и смыслом крыловской басни, и, вероятно, убеждением М. А. Достоевского, что дворянство должно быть заслужено. Оно и было заслужено в 1828 году.

К середине 1831 года (в 1830-м — эпидемия холеры!) М. А. Достоевский сторговал у коллежской ассессорши О. А. Глаголевой два имения в Тульской губернии: Косая Губа Крапивенского уезда (запись о продаже — 29 июня; дан задаток в тысячу рублей ассигнациями) и селцо Даровое Каширского уезда (приобретение зарегистрировано вчерне на имя М. Ф. Достоевской 7 августа, заплачено 29 тысяч рублей ассигнациями) были в одной цене и стоили вместе 58 тысяч ассигнациями. Два с половиной года Достоевские крепости на Даровое не имели, выплатили 30 тысяч, и Глаголевская ждет остальные 28 тысяч<sup>12</sup>.

Покупкам предшествовал осмотр М. А. Достоевским своих будущих владений. Его непрактичность не замедлила сказаться и обернулась горем для семьи. Земля Дарового суглинистая, малопродуктивная, истощенная («дурные наши поля», — признает позже он сам). Из восьми лет владения имением до смерти М. А. Достоевского (1831—1839) семь лет в центральных губерниях — неурожайные. Нетрудно представить, чем мог порадовать истощенный суглинок своих владельцев.

Но была еще особенность земли селца Даровое, куда более серьезная. На земле Достоевских стояло шесть крестьянских дворов, принадлежавших соседнему помещику П. П. Хотяинцеву. Собственно, они были деревней Даровой в отличие от селца Дарового, принадлежавшего М. Ф. Достоевской. За хотяинцевскими крестьянами было всего 45 десятин (по данным конца 40-х годов) земли, лоскутья которой, рассыпанные по земле Достоевских, самым прихотливым образом нещадно дробили ее. Необходимость заставила прежде всего разобраться с жестокой чересполосицей и избавиться от дворов соседних крестьян.

Обстоятельство это и воспрепятствовало своевременной выплате оставшейся суммы, а затем вынудило Достоевских вовсе отказаться от покупки Косой Губы и,

<sup>12</sup> Рассказ об имущественных делах Достоевских основан на архивных документах, найденных автором.

вступив во владение Даровым, сразу же заложить их первое и пока единственное имение.

«К несчастью случилось так,— пишет А. М. Достоевский,— что вскоре... маменька принуждена была начать судебный иск о выселении из нашего сельца (Дарового.— Г. Ф.) двух-трех (шести.— Г. Ф.) крестьянских дворов, принадлежавших селу Моногарову, то есть Павлу Петровичу Хотяинцеву. Конечно, судебный иск со стороны маменьки возымел только тогда место, когда все личные словесные заявления... были отвергнуты Хотяинцевым. Иск маменьки взбесил окончательно Хотяинцева и он начал похваляться, что купит имение двоюродного брата, деревню Черемошню, и тогда будет держать в тисках Достоевских. Эти похвальбы... дошли до сведения моих родителей и очень встревожили их... так как все земли соседних имений не были размежеваны, а все были так называемые чересполосные».

Теперь во многих поступках Достоевских, уstraшенных соседом, видится подчинение воле сильного противника, и к зиме 1832 года покупка Черемошни кажется им необходимой.

3 марта 1832 года заложено Даровое (занято под залог 8000 рублей ассигнациями). 30 марта палатой московского гражданского суда велено «действие... о продаже имения (Косой Губы.— Г. Ф.) г. Глаголевской г. Достоевскому прекратить». 6 апреля Глаголевская оформляет купчую с Е. Кусовой на Косую Губу, не возвратив М. А. Достоевскому задаток. На следующий день, 7 апреля, пожар истребляет заложенное Даровое — «всего тринадцать (вместе с тремя чужими.— Г. Ф.) крестьянских дворов с разным строением и имуществом хлебом и скотом и всего... на девять тысяч рублей».

Получено под залог 8 тысяч, сгорело заложенного на 9 тысяч. Исправник по форме доносил: «...в умышленном же поджоге погоревших дворов крестьян и вотчинных ни чаяния сомнения и подозрения... никакого не имеют, а полагают пожар случился от неосторожности при бывшем тогда ветре». Неумолимо следовавшая цепь событий (даты их называют архивные документы) невольно наводит на подозрение: уstraшение соседей, месть за судебный спор могли приобрести «при бывшем тогда ветре» и такую жестокую форму.

«...отец и мать,— вспоминал спустя сорок лет Ф. М. Достоевский,— были люди небогатые и трудящиеся — и вот такой подарок к светлому дню!.. С первого страху воображали, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала».

Года не прошло — к стоимости Дарового прибавились и долг по закладной, и цена сгоревшего («...дай бог з Даровой управиться в таком несчастном случае», — сеговала М. Ф. Достоевская). Оттянутая разными обстоятельствами, и прежде всего пожаром, покупка все же совершилась. 65 тысяч за два имения — на 6 тысяч больше общей стоимости Дарового с Косой Губой. К потрясению от случившегося прибавились долги.

Ведение хозяйства ложилось по согласию между супругами на М. Ф. Достоевскую. Было решено — с ранней весны она будет приезжать в деревню и там лично вести хозяйство: М. А. Достоевскому нельзя было оставлять свою службу. Судебный процесс с соседом велся в уездной Кашире и, помимо забот о восстановлении сгоревшего имения и налаживания их бедного хозяйства, также был предметом заботы М. Ф. Достоевской. Достоевские не были опытными в подобных делах; постоянно требовались советы со стороны, не составляло труда и обмануть их. Имели же дело они с противником характера незаурядного.

Участник кампании 1806—1807 и 1812—1814 годов, награжденный Владимиром 4-й степени с бантом за Бородино, золотой шпагой за Красное и Анной 2-го класса за Фер-Шампенуаз, П. П. Хотяинцев уволился по высочайшему указу «за болезнь» с награждением чином майора и с мундиром, возвратился в родовое имение, где и зажил «каширским помещиком», имея своих 125 и «приданственных» 245 душ. Он жил в своем родовом поместье постоянно, был известен не только в уезде, но и в губернии: в 1829—1831 годы избирался уездным депутатом в Тульское дворянское депутатское собрание, — располагал значительными связями. А Достоевские были пришлыми, да и помещица Достоевская приезжала только на лето. С присущим ему упорством М. А. Достоевский старался благоприобретенную землю очистить от чужой, пытался бороться за право единолично владеть своей, пока еще состоявшей в общем владении землей. О полюбовном разделе и речи не могло быть.

Материал судебного разбирательства о «спорном поле» утрачен. Контуры этого спора проступают из писем М. Ф. и М. А. Достоевских, сохранившихся, правда, как уже говорилось, не полностью.

В первом известном письме М. Ф. Достоевской мужу (июнь 1832 года), когда усадьба после пожара представлялась пустырем, она пишет о поездке в Каширский уездный суд, «будучи совершенно обескуражена своим делом». И дальше, судья «говорит что это еще неверно, и что в его разделе сказано глухо а потому и можно надеяться, что вас (Достоевских.— Г. Ф.) удовлетворят... и ежели уж надобно будет чтоб один двор Х<отьянцева> остался в вашей усадбе, то покрайности с тем чтоб перенести его куда вам будет угодно а не оставлять возле вашего гумна; я на это друг мой очень была согласна, чтоб совсем остаться безничего так лучше хоть на его решиться... я просила... списать с раздела (с раздела, исходившего от Хотьянцева.— Г. Ф.) копию а... раздел на четырех листах». Из двух дел, связанных со спором соседей о земле, «раздел» Хотьянцева уже в суде, и он может поставить погорельцев Достоевских в положение, при котором они не только могут оказаться «в тисках», но и «совсем остаться безничего». «...дело мое,— продолжает далее М. Ф. Достоевская,— еще к нему (судье.— Г. Ф.) не прислано и он его еще хорошо не знает...». Судья обещает «зделать резолюцию по чистой совести не уклоняясь ни на чью сторону; в прочем он пожелал от всей души кончить дело в мою пользу». (Нечаева, стр. 73—74).

М. А. Достоевский пишет жене в имение: «...узнаешь что-нибудь неприятное для нас нащет Черемошни, то советую прислать ко мне как можно поскорее нарочного» (1833 год; Нечаева, стр. 78). Или: «...на щет выдела 14 части матери Хотьянцевой... не забудь, что там сказано, что по случаю продажи имени Глаголевской она может вестись формою суда, да поверх того сын покойного Ивана Петровича (брат П. П. Хотьянцева, прежний, до Глаголевской, владелец Дарового.— Г. Ф.) входит в сугубое родство с Павлом Петровичем, то я боюсь, что бы сие не послужило завязкою к дальнейшему процессу» (письмо от 19 августа злополучного 1835 года. Нечаева, стр. 112).

Добрая, легко верившая людям М. Ф. Достоевская, несмотря на обиду, сблизилась с семьей П. П. Хотьянцева по-приятельски. М. А. Достоевский, однако, приятельству Хотьянцева не доверяет, он пишет жене: «...радуясь, что ты пиrowала два дня с рядом у Хотьянцевых, дай бог вам мир и согласие, но я сомневаюсь, причина та, что сегодня... кварталный принес... Указ из Каширского земского суда... для оценки спорной земли между Хотьянцевым и тобою» (Нечаева, стр. 107).

Суд, удовлетворивший Хотьянцева «выделом» части его матери, завершил его дело. Нет возможности определить степень действительно выигранного. Важно, что судебный спор о земле закончился в пользу Хотьянцева и он, несомненно, доволен очередной победой над Достоевскими. Земля их по-прежнему исполосована землей Хотьянцева, на ней продолжают стоять дворы его крестьян (в 1836 году пять дворов). Хотьянцев держит Достоевских в постоянной тревоге, и они боятся «дальнейшего процесса».

Давая в 1836 году в губернию сведения о своей земле, М. А. Достоевский писал: «сельцо Даровое... состоит в чересполосном владении» с землями П. П. Хотьянцева и более чем десяти других владельцев. Далее он отмечает: «Так как земля сельца Дарового и села Моногарова (принадлежавшего П. П. Хотьянцеву, где был его господский дом.— Г. Ф.) формально не разделены, а состоят в общем владении с г-м Хотьянцевым и Достоевского, и до сих пор не поверены, то числа десятин с точностью определить не можно».

Составление этого печального документа приходится на месяц, когда в жестокой болезни окончательно слегла Мария Федоровна. Коллеги М. А. Достоевского признают: «Их старания тщетны... скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно»,— сообщает А. М. Достоевский.

В «Бедных людях» находим отражение драматических событий 1837 года. И в описании смерти матери Вареньки, и в поведении старика Покровского при кончине сына: «Он поминутно входил в комнату; на него было страшно смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя».

На скромном памятнике надворной советнице М. Ф. Достоевской начертано: «Другу милому, незабвенному, супруге нежной, матери попечительнейшей. Покойся милый прах до радостного утра!»

### «ОТЦА УБИЛИ»

Кончина супруги младшего ординатора М. А. Достоевского совпадает с «почетным вниманием начальства», предложившего наконец повышение. Освобождалось место старшего ординатора; но сил уже нет: «Припадки особенно зрение мое, от постигшего меня удара смертию жены моей, становятся содня на день худшим...» М. А. Достоевский просит увольнения «с мундиром» и, по скудному состоянию, «приличного пенсионера» — почти двадцатичетырехлетняя беспорочная служба дает уверенность...

На руках у М. А. Достоевского осталось семеро детей. В те же месяцы как-то вдруг осознается материальный кризис, дело не просто в бедности — предвидится разорение. Более ценное их имение, Даровое, заложено и перезаложено, теперь идет в залог Черемошня.

Родители давно задумывались над будущим старших — Михаила и Федора. К их литературным склонностям они не были равнодушны: с 1834 года братья учились в одном из лучших пансионов, славившемся «литературным уклоном». И в том, что после его окончания братья Достоевские должны были бы поступить в Московский университет, у нас не может быть сомнений.

Дальнейшее предопределили и кончина матери и нужда. В последние месяцы жизни Марии Федоровны решили они с мужем, прервав обучение в пансионе Михаила и Федора, сделать попытку определить их в Главное инженерное училище в Петербурге. М. А. Достоевский отвозит старших сыновей в Петербург. Варвара, Андрей, Вера продолжают обучение в Москве, а сам он с младшими — Николаем и Александрой — переезжает в Даровое. С отставкой и переездом М. А. Достоевский лишился не только значительного оклада, но и гонораров как известный врач в Москве. Правда, и здесь он не оставил своей профессии, лечил крестьян и окрестных помещиков, сделав горничную Акулину своей помощницей.

Тоска по умершей жене велика: «...вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечая себе ее обычными словами»; в жестоких приступах отчаяния он «стонал, бегал по комнате и даже бился головой об стену».

Усилия наладить хозяйство в заложенном и перезаложенном имении оказались тщетными — еще два года подряд неурожайные, и вся надежда теперь только на жалкий клочок земли («спорное поле»), вобравший усилия всей его трудовой жизни, единственное достояние его и сыновей, все еще изрезанный чересполосицей. «Застарелые болезненные припадки» требовали лечения, но, проживая в двенадцати верстах от Зарайска, он не всегда мог обратиться к городскому лекарю и часто довольствовался лишь помощью фельдшера.

Осенью того же злополучного 1837 года решалась в Петербурге судьба Михаила и Федора. Михаила в инженерное училище не приняли, а Федора приняли, но не на казенный счет. Срочно нужны 950 рублей. Деньги внес их дядя — А. А. Куманин. Через несколько месяцев братья надолго разлучатся. Кондуктор С.-Петербургской инженерной команды М. М. Достоевский будет переведен в Ревель, а кондуктор 1-го класса Главного инженерного училища Ф. М. Достоевский останется в Петербурге один.

Сын Андрей определен отцом в пансион Л. И. Чермака, а весной 1838 года уедут из Дарового учиться в Москву Варвара и Вера. С отцом и нянькой останутся лишь малыши — Николай и Александра. И одиночество М. А. Достоевского сыграет свою роль в его злосчастной судьбе.

Овдовевши, сообщает А. М. Достоевский, «отец увидел себя закупоренным в двести комнат деревенского помещения, без всякого общества... По рассказам няни он... понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении, кто особенно осудит его за это?!» В. С. Нечаева пишет: «При всем нежелании нашем сгущать краски и рисовать какие-либо «оргии» (?! — Г. Ф.), происходящие в убогом домике даровского помещика, мы должны в самых мрачных тонах представить себе этот период его жизни». И далее: «В 1838 году у Катерины родился ребенок, который значится в церковной ведомости как «сын ее незаконно-рожденный Симеон 3 мес». В следующем, 1839 году Симеона в списках более нет, что, конечно, означает его скорую смерть» (Нечаева, стр. 57—58).

Исследователь, по существу ничего не зная об этой связи, видит в ней насилие,

аморальность; но ведь возможно увидеть и любовь — жалость к несчастному в своих бедах, и прежде всего в своем одиночестве, человеку.

В переписке с детьми М. А. Достоевский — прежде всего отец, в тревогах и заботах о детях стремящийся в своих тяжких из-за бедности и болезни обстоятельствах поделиться с ними последним. Еще жива семья, покуда жив он. А «наши соколы», как он однажды назвал сыновей в письме жене, разлетелись, и каждому нужна его помощь. В письмах сыновей, прежде всего Федора, находившегося в военном училище, в условиях особенно трудных, постоянна просьба о деньгах.

Характерны слова младшего сына, Андрея, из неопубликованного письма: «Почтенный Леонтий Иванович (Чермак.— Г. Ф.) не чуть не напоминает об деньгах, он как будто и позабыл... знает нашу нужду в них».

Но вот приходит известие от сына Федора — он оставлен на второй год («...имел личные неприятности» с учителями, как объяснил он причину в письме). Он пишет: «Не огорчайтесь, папенька! Что же делать! Пожалейте самих себя. Взгляните на бедное семейство наше; на бедных малюток братьев и сестер наших, которые живут только Вашею жизнью, ищут только в Вас подпоры... Вы до того любите нас, что не хотите видеть никакой неудачи в судьбе нашей». За письмом отцу он пишет письмо брату Мише, заканчивающееся словами: «Мне жаль бедного отца! Странный характер. Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить.— А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мнении о людях, какое он имел 30 лет назад».

В письме дочери Варе М. А. Достоевский сообщал: «Я уведомлял тебя о моем нездоровье, которое со дня на день делалось худшим, и наконец совершенно положило меня в постель. Тебе известно, что я по летам моим, а более по неприятностям жизни привык отворять кровь, но как в Зарайске нет хорошего фельдшера, то из опасения, чтобы он мне не испортил руки, я сделал большую просрочку, болезнь со дня на день делалась худшею, к нещастию в это самое время я получил от брата твоего, Фединьки письмо (об оставлении его на второй год,— Г. Ф.)... это меня, при болезненном состоянии, до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться; тут я призвал Бога на помощь, послал за фельдшером... Помню только, как во сне, Сашинькин (младшей дочери.— Г. Ф.) плач, что папашка умер.— Я жив, да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий» (Нечаева, стр. 119—120). Сын Михаил писал отцу: «Папашка, милый папашка! Зачем вы так много горюете о брате (Федоре.— Г. Ф.)... Папашка! Кто не терпел на своем веку несправедливостей и огорчений? Я думаю, вы сами тому можете служить примером».

Пять месяцев спустя М. А. Достоевский испытывает еще одно потрясение.

От сына долго нет писем, наконец в пятом (от 23 марта), единственном дошедшем за это время до отца, письмо Федор писал об «ужаснейшей истории», случившейся в училище, и о том, что «задолжал кругом и очень много»: «Спасите меня. Пришли мне 60 р. (50 р. долга, 10 для моих расходов до лагеря). Скоро в лагери, и опять новые нужды». И в постскрипуме: «Мое предположенье держать экзамен в высший (верхний офицерский.— Г. Ф.) класс очень занимает меня. Я могу выдержать. Но для этого надобны деньги. Ежели Вы мне можете прислать 100 р., то я буду экзаменовывать<с>. Ежели же нет, то год лишний. Это для Вас, любезнейший папенька: мне же все равно». Отец, переживая невзгоды сына Федора, куда более тяжелые, чем Михаила и Андрея, не мог не порадоваться возможному «скачку» сына в «высший класс». Вместо просимых 60 он посылает 75, составляющие, с лажем, 94 рубля 50 копеек.

К маю 1839 года относятся два наиболее откровенных письма Федора отцу.

5 мая: «Пишете, любезнейший папенька, что сами не при деньгах и что уже будете не в состоянии прислать мне хоть чтонибудь к лагерям. Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не буду требовать от Вас многого. Что же; не пив чаю, не умрешь с голода».

10 мая: «Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего. Бог свидетель, ежели я хочу сделать Вам хоть какое бы то ни было лишенье, не только из моих выгод, но даже из необходимости... Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему же делать исключенья собою?»

Напомним слова жившего «в одном с ним лагере» П. П. Семенова-Тян-Шанско-

го: «...не с действительной нуждой он (Ф. Достоевский.— Г. Ф.) боролся, а с несоответствием своих средств, даже не с действительными потребностями, а нередко с психопатическими запросами его болезненной воли; вот хотя бы, например, его запросы отцу на лагерные расходы... все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей... В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей».

Отец отвечал: «Друг мой! роптать на отца за то, что он тебе прислал сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим (Михаилу и Федору в Петербург.— Г. Ф.), что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось. Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния» (Нечаева, стр. 121).

Записки агронома, жившего поблизости от Дарового, расширяют картину бедственного лета. Жара в тени доходила до 40 градусов, единственным питанием медленно поднимавшихся хлебов были сильные ночные росы. Земля потрескалась, почва высохла, и «верхний слой вершков пять составлял порошок, совершенно схожий с золою», хлеба росли в «пепеловидном порошке, в знойной атмосфере тропиков».

Нетрудно увидеть в этом пространстве беды немощного, больного человека, принимающего: это конец. М. А. Достоевский писал еще в мае сыну Федору в уже цитированном письме, ставшем последним: «Снег лежал до мая месяца... кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием... Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это по-видимому не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом!» (Нечаева, стр. 121).

16 июня из Каширы доносят тульскому гражданскому губернатору о скоропостижной смерти 6 июня в поле от апоплексического удара помещика М. А. Достоевского<sup>13</sup>. Архивный документ называет день кончины М. А. Достоевского, день, который не был известен его сыну Андрею, картинно, правда с чужих слов, поведавшему в «Воспоминаниях» об убийстве, которого, как я постараюсь доказать, не было.

Спор о судьбе и смерти отца Ф. М. Достоевского начался сразу после кончины писателя. Противоречивые сведения, исходившие, с одной стороны, от сына, Андрея Михайловича, с другой — от «некоторых родственников» (его сестер), сойдутся в главном: убийстве их отца крепостными.

В 1920 году в Мюнхене дочь писателя Любовь Федоровна обнародовала в своих воспоминаниях версию этих событий, полученную ею через теток (сестер отца) от старшей родни со стороны матери, прежде всего неродной их «бабыньки» О. Я. Нечаевой. Позднее эта версия ляжет в основу работы З. Фрейда («Достоевский и отцеубийство»), его учеников (И. Нейфельда) и более поздних зарубежных исследователей (Д. Арбан).

Мемуары Л. Ф. Достоевской, работы З. Фрейда, И. Нейфельда с 1920-х годов определяют генеральную линию в отношении к образу отца писателя такого знатока биографии Достоевского, как Л. П. Гроссман. Но справедливость обязывает: еще до появления знаменитой работы Фрейда (1928) В. С. Нечаева в 1926 году опубликовала очерк о своей поездке (совместно с М. В. Волоцким) в бывшее имение Достоевских сельцо Даровое. Рассказы крестьян «неопровержимо» трактовали трагическое событие 6 июня 1839 года в описанном духе. Тогда, в 1926 году, не обратили внимания на то, что крестьянин из Черемошни опровергал факт убийства, о котором охотно рассказывали даровские. Убивали-то, как считалось, черемошнинские.

Когда уже стариком А. М. Достоевский писал свои «Воспоминания», он записывал все, что помнилось ему из некогда слышанного. Но и его, написавшего, что отца убивали пятнадцать человек, заставлял задумываться тот или иной поворот сюжета: почему, например, убийц скрыли<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Краткий обзор обнаруженных мною архивных материалов судебного разбирательства по делу о скоропостижной смерти М. А. Достоевского см.: «Литературная газета», 1975, № 25. Там же впервые напечатано «Донесение губернатору».

<sup>14</sup> См. Нечаева, стр. 60: «Отметим, что для автора «Воспоминаний», во время его работы над ними, оставался непонятен факт скрытия убийства. В черновиках А. М. Достоевского мы нашли следующий отрывок, неясно написанный и перечеркнутый: «Причины смерти отца... Скрыли. Почему скрыли... Почему не возбуждали (два слова не разбор.). Так и остались убийцы без наказания»...»

Легенда о насильственной кончине М. А. Достоевского оставалась общепризнанной, пока в 1975 году не были обнаружены архивные документы, до тех пор неизвестные исследователям. В свете этих новых сведений все события начиная с 6 июня кратко выглядят так <sup>15</sup>.

Утром последнего дня М. А. Достоевский наблюдал за работой черемомшинских крестьян, возивших в поле навоз. Раздраженный нерасторопностью крепостных, он стал кричать на них (его крик, слышанный другими крестьянами, окажется единственной уликой, потребовавшей пристального разбирательства). О вспыльчивости М. А. Достоевского упоминалось, к концу жизни она обострилась болезнью и безвыходностью положения; приступы мучили часто, теперь же случился кризис. Умер он не сразу.

Кроме священника к М. А. Достоевскому привезли и... доктора. Зачем же, если совершено насилие, спешно из ближайшего Зарайска (двенадцать верст!) привозится доктор? Причем чиновник другой, Рязанской губернии, он не имеет права дать официального заключения о смерти, а между тем сколько писалось о подкупе ради сокрытия убийства. Не лучше ли при таком-то деле ждать уездных властей из Каширы (пятьдесят верст!). Жара — труп разложится, сложнее опознать причину смерти. Ответ видится только один: Достоевскому хотели помочь — думали, случился очередной приступ. Из Зарайска привезли городского врача И. Х. Шенрока (он прославится как специалист и будет признан «замечательным врачом»). Шенрок констатировал смерть от апоплексического удара и распорядился: труп скоростножно умершего оставить в поле до прибытия властей. Врачам предписывалось: «До официального осмотра... нужно стараться, чтобы тело, как предмет судебного исследования, оставалось на том же месте и в том же положении, в котором человек умер». С телом Достоевского так и поступили.

Вероятно, приехавшее из Каширы 8 июня (труп пролежал в поле два дня) «временное отделение»: исправник Н. П. Елагин, лекарь Х. Шенкнехт, становой пристав, стряпчий, — пробывло, расследуя обстоятельства смерти в поле («тщательные изыскания», как будет сказано в материалах следствия), несколько дней в Даровом. Шенкнехт сделал официальное медицинское заключение, совпавшее с заключением Шенрока.

16 июня, как уже говорилось, послано донесение губернатору, в котором особо отмечалось: «...в насильственной смерти его г-на Достоевского сомнения и подозрения никакого не оказалось» <sup>16</sup>.

Не дожидаясь родных из Москвы (труп сильно разложился), М. А. Достоевского похоронили на погосте Духосошестввенской церкви хотяинцевского Моногарова.

Известенная о кончине зятя, из Москвы в Даровое забрать внучат Николая и Александру приехала неродная «бабинька» О. Я. Нечаева. После посещения могилы М. А. Достоевского ее зазвали к Хотяинцевым (их знакомство относится еще к 1835 году), вот тут-то П. П. Хотяинцев посвятил О. Я. Нечаеву в тайну смерти М. А. Достоевского — убийство, но «возбуждать дела как ей, так кому-либо из ближайших родственников» не советовал. Причины выставлялись следующие: отца детям не воротишь и «виновное временное отделение не даст себя изловить; по всей вероятности и второе переосвидетельствование трупа (А. М. Достоевский сообщал хотяинцевские «соображения» со слов старших, да, вероятно, и сам Хотяинцев не знал, что освидетельствование Шенкнехта, врача «временного отделения», есть второе, после Шенрока. — Г. Ф.) привело бы к тем же лживым результатам», если же допустить, что «дело об убийстве отца и раскрылось бы... то следствием этого было бы окончательное разорение» детей покойного, «так как все почти мужское население... Черемомшни было бы сослано на каторгу».

Итак, П. П. Хотяинцевым, старинным «доброжелателем» Достоевских, рекомендуется дело об убийстве «не возбуждать»: «виновное „временное отделение“», и прежде всего главу его — Н. П. Елагина, не уличишь, а наследников разоришь.

Между тем со вступлением 1 декабря 1838 года в должность тульского губернатора А. Е. Аверкиева чиновники всех уездов, и в том числе Каширского, ждали первой ревизии нового начальника губернии. Трудно предположить, что при этих обстоя-

<sup>15</sup> Не имея возможности ссылаться на многочисленные архивные источники, оговариваю лишь цитаты следственных дел.

<sup>16</sup> Государственный архив Тульской области (ГАТО), ф. 90, оп. 1, т. 20, ед. хр. 15246, лл. 35—35 об.

тельствах каширский исправник Н. П. Елагин стал бы скрывать убийство помещика крепостными, рискуя всей своей карьерой.

2 июля Аверкиев передает управление губернией вице-губернатору и едет ревизовать уезды. 6-го П. П. Хотяинцев через подставное лицо (что в случае неудачи избавляло его от обвинений в клевете) сообщает в каширский уездный суд об убийстве помещика Достоевского его крестьянами. (Не исключено, что у Хотяинцева были свои счеты с уездным исправником, а время для удара он выбрать умел — вспомним пожар Дарового.) Теперь перед предстоящей ревизией суду необходимо вновь подтвердить свое первое заключение о ненасильственной смерти М. А. Достоевского. Казалось бы, исправник должен быть уstraшен. Но начинается новый круг расследований, которые осложняются многими обстоятельствами, определявшимися все тем же Хотяинцевым. В ходе доследования выясняется главное: слухи об убийстве исходят от Хотяинцева. Мы можем только гадать о мотивах, заставивших его нарушить уговор с О. Я. Нечаевой, которой он ранее советовал «не возбуждать» дело. Во всяком случае, его не смущало то, что от его доноса пострадают наследники и невинные крестьяне (благо последние не имеют хозяина: опека еще не определила его).

Завершить новое следствие к приезду губернатора суду не удалось. Из представленных отчетов следовало: поступившие с 1 января по 14 октября 1839 года 49 уголовных дел решены. Лишь одно дело «за самим присутственным местом» (каширским уездным судом.— Г. Ф.) осталось нерешенным, «о умершем... Достоевском»<sup>17</sup>. Через четыре месяца губернатору вновь пришлось встретиться с «делом Достоевского», объявленным из-за навета уголовным. Убийство крепостными помещика в условиях «необыкновенного бедствия: пожаров и волнения народного... ряда происшествий дотоле беспремерных» должно было вызвать внимание особое. Нелишне отметить, что тульский губернатор А. Е. Аверкиев в 20—30-х годах служил губернским прокурором. После окончания ревизии Аверкиев доносил императору: «По замеченному мною особенному усердию к службе г. исправника Елагина... и найденный мною примерный порядок по земскому суду, я считаю обязанностью изъявить ему благодарность»<sup>18</sup>.

Не удалось Хотяинцеву засудить крестьян соседа и тем окончательно разорить детей человека, отважившегося начать с ним судебный процесс о земле, продолжавшийся до 1847 года. Доследование же каширским земским судом по делу о кончине М. А. Достоевского, с проверкой хода дела тульскими судебными инстанциями, продолжится еще год. Тщательное расследование спасло крестьян от Сибири.

Но дело свое Хотяинцев сделал: его клевета дала не предвиденный им самим результат. О. Я. Нечаева привезла в московский дом А. А. и А. Ф. Куманиных, именитой своей родни, у которых жила сама, «тайну», поведанную ей Хотяинцевым. Начались пересуды, родственное подведение итогов жизни покойного. В недоброжелательной к нему куманинской среде возник посмертный образ, который и был воспринят младшими Достоевскими, воспитывавшимися после смерти отца у Куманиных. Родного отца они фактически не знали.

Запрос из Каширы весной 1840 года, не имеет ли московская родня на кого подозрения, еще более утвердил родственников в истинности сообщенного Хотяинцевым и переданного О. Я. Нечаевой. Только эту версию и мог знать А. М. Достоевский, уехавший из Москвы в 1841 году. Именно эту версию он и сообщает в своих «Воспоминаниях», написанных в 70—90-х годах и обнаруживающих его крайнюю неосведомленность в данном деле. Так, он утверждает, что подкупленное «временное отделение» скрыло дело, ничего не зная о длившемся почти полтора года следствии и истинной причине долгого доследования. Знание фактов заменяется у А. М. Достоевского «картинностью» рассказа о смерти отца — с такими подробностями, какие могли быть известны только свидетелю происшествия:

«Ребята, карачун ему!..— и с этим возгласом все крестьяне (хотяинцевское: «почти все».— Г. Ф.)... кинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним... Как стая коршунов, наехало из Каширы... временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления».

<sup>17</sup> ГАТО, ф. 90, оп. 1, т. 20, ед. хр. 15192, лл. 17, 18.

<sup>18</sup> Там же, оп. 20, ед. хр. 15504, л. 102, а также «Тульские губернские ведомости», 1839, № 47, стр. 264. Эти источники указаны замечательным знатоком истории Тульского края В. И. Крутиковым.

Кто это рассказывает — очевидец, бывший в те дни в Даровом? Нет, рассказывает старик, а было ему тогда четырнадцать лет, и жил он при московском пансионе, весть до него дошла, пройдя через множество уст и отлившись в версию, сформированную в недоброй к памяти его отца среде.

После смерти М. Ф. Достоевской опекуном над сельцом Даровым и ее наследниками, ее детьми, стал ее супруг М. А. Достоевский. С его смертью Каширская дворянская опека должна была выбрать опекуна. Предложение опекунствовать было послано в Ревель М. М. Достоевскому, старшему сыну покойного, когда уже началось следствие.

Брат Федор писал ему: «Дай-то бог, чтобы ты был в Москве; тогда об семействе нашем я бы был покойнее; но скажи, пожалуйста, есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. А потому мысль твоя, получивши офицерский чин, ехать жить в деревню, по моему, превосходна... Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле...»

М. М. Достоевский опекуном стать отказался, и тогда Елагин был вынужден некоторое время присматривать за беспризорным именем Достоевских.

Но вот с 6 октября 1841 года Михаил Михайлович, служивший в Ревеле, находится «в отпуске по домашним обстоятельствам» и едет в Москву, а затем в Даровое.

Год как закончилось шестнадцатимесячное следствие о «скоропостижно умершем» М. А. Достоевском и оклеветанные крестьяне оправданы. Находясь в Даровом, М. М. Достоевский наверняка встречался с Хотяинцевым и мог услышать от него версию об убийстве. Но на обратном пути в Ревель, заехав в Петербург, он привез брату Федору не только версию Хотяинцева, но и известие о долгом следствии, признавшем невиновность крестьян. И утверждать, что Ф. М. Достоевский знал лишь хотяинцевскую версию, у нас нет оснований.

Укажем на один эпизод из неоконченного романа «Неточка Незванова», начало работы над которым относится к 1846 году, замысел — ко времени более раннему. На Ефимова, отчима героини, подан донос, обвиняющий его в смерти своего учителя-итальянца: «ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде», но доносчик «стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз» (итальянец умер скоропостижно, труп его был найден во рву), «нарядили следствие и вышло, что он умер от апоплексического удара». «С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход... Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе... но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке (и Хотяинцев тоже мог бы сказать: смерть в поле, среди мужиков, его крик на них разве не повод для подозрения? — Г. Ф.), потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова».

На совпадение этого эпизода с материалами доноса и нового следствия, опубликованными мною в 1975 году, обратила внимание в своей последней книге и В. С. Нечаева. Можно с достаточной уверенностью предположить, что Ф. М. Достоевскому после поездки брата в их имение стало известно все — от доноса до оправдания крестьян.

Известие о скоропостижной смерти отца потрясло Ф. М. Достоевского. И память об этом потрясении жила всю жизнь. Ему отец адресовал свое последнее письмо, в котором сообщал о неизбежном близящемся разорении. «Прощай, мой милый друг, да благословит тебя господь бог, что желает тебе нежно любящий отец М. Достоевский» — таковы были последние слова, обращенные к сыну (Нечаева, стр. 122).

Получив печальную весть, старший сын Михаил писал сестре Вареньке: «Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов!»<sup>19</sup>

Сюжет об убийстве помещика («отца убили», Альфонский задурил в деревне,

<sup>19</sup> Исследователи обычно проходят мимо этих слов старшего сына, Михаила, а ведь они приведены в примечаниях к «Воспоминаниям» Андрея Михайловича Достоевского, вышедшим в 1930 году (стр. 414).

его, кажется, убили крестьяне) войдет в творческий фонд художника, хотя «Роман о помещике» остался среди многих неосуществленных замыслов.

Возможно предположение: трагический сюжет — «отца убили», — навеянный переживаниями в связи с дознанием о кончине М. А. Достоевского, требовал мотивировки. В романе смерть должна была прийти как возмездие. Так, в набросках к «Житию великого грешника» причина убийства Альфонского не только в том, что он «задурил» в деревне. Вся недостойная жизнь отца героя в этой «поэме» проходила под знаком будущих слов Дмитрия Карамазова: «Зачем живет такой человек?» И когда на каторге Достоевский узнает историю невинно осужденного «отцеубийцы» Ильинского, материал «случайного семейства» Альфонских получит сюжетный ход, драматическое завершение. Что касается жизни М. А. Достоевского, то она не могла послужить его сыну материалом для такого рода мотивировки.

В июле 1877 года Достоевский посетил родительское имение Даровое. В «Дневнике писателя» есть знаменитые строки о поездке. Главка называется «Разговор мой с одним московским знакомым...». «Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, — пишет Ф. М. Достоевский, — но все никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями.

— Вот у вас есть такие воспоминания и такие места... Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души».

А. Г. Достоевская пишет: «Поездка в Даровое доставила много воспоминаний, о которых муж по приезде передал нам с большим оживлением. Родные его рассказывали мне потом, что в свой приезд муж мой посетил самые различные места в парке и окрестностях, дороге ему по воспоминанию, и даже сходил пешком (версты две от усадьбы) в любимую им в детстве рощу Черемашню...»

В той стороне, в поле, почти четыре десятилетия тому назад не стало его отца.

Возможно ли, чтобы сын не поклонился в первый (и единственный) раз могиле отца на моногаровском погосте, отмеченной камнем «без всякой надписи» (родные устыдились высечь на камне имя «убиенного», дабы позор не лег на них)?

Известна роль посещения Оптиной пустыни в творческом становлении «Братьев Карамазовых». Но годом раньше поездка в Даровое так же существенна в развитии замысла последнего романа. Особое значение приобретают слова Достоевского из письма жене: «Проклятая поездка в Даровую! Как бы я желал не ехать!<sup>20</sup> Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чем писать писателю! Но довольно, обо всем переговорим».

В эпилоге «Братьев Карамазовых» в своей речи после похорон Илюши Алеша произносит слова, в которых узнаются не только строки «Жития Зосимы» (а в начале «Жития» — реалии детства Ф. М. Достоевского), но и слова, сказанные Достоевским после посещения родительской земли: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома».

Слово Алеши Карамазова произнесено у камня — памятника сыну, взбунтовавшемуся и заступившемуся за отца. Здесь Снегирев сообщает Алеше о подвиге сына, у камня Илюша завещает похоронить себя. У камня и произносит Алеша свое напутственное слово «голубчикам».

В комментарии к роману говорится: «Камень, о котором здесь и дальше идет речь, имеет символическое значение, как первый камень здания будущей гармонии, уже теперь закладываемого Алешей и мальчиками, его учениками». Символическое значение камня восходит к евангельским словам, напоминаемым старцем Зосимой: «Камень, который отвергли зиждующие, стал главою угла». Но прообраз «Илюшинского камня» существовал в глубине творческой памяти автора. Думается, в творческом сознании Достоевского была внутренняя ориентация на камень «без всякой надписи». Камень с моногаровского погоста входит в романную реальность, не порывая с темой защиты отца, но расширяя ее от личной, биографической до общечеловеческой.

<sup>20</sup> Ф. М. Достоевский долго не виделся с женой, сильно тосковал и торопил встречу с ней.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ЛЕБЕДЕВ



## КОЕ-ЧТО ОБ ОШИБКАХ СЕРДЦА

*Эстрадная песня как социальный симптом*

*Статья является первым из наших подступов к теме «массовой культуры», привлекающей общее внимание. Редакция предполагает вернуться к этому вопросу в некоторых последующих публикациях.*

Я неисправимый идеалист; я ищу святых, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святых, но все же я хотел бы святых хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться!

*Ф. М. Достоевский.*

**Р**азговор об эстрадной песне пойдет здесь не с тем, чтобы высмеивать неудачные тексты или критиковать манеру исполнения. Я не буду скликивать общественность на борьбу с эстрадной «мафией», вроде бы узурпировавшей право определять наши вкусы. Все это было бы сознательным или бессознательным облегчением задачи.

А я так думаю: критиковать по законам большого искусства то, что находится за его пределами, бессмысленно. Видеть причину засилья эстрады в злой воле какой-то корпорации, орудующей в тени, глубоко неверно (все равно что сводить проблему спекуляции к одной только психологии спекулянтов и игнорировать феномен дефицита). Конечно, разоблачение спекулянтов и воров — дело нужное. Но плодотворным оно может стать лишь вкупе с более широкими и разнообразными мероприятиями, основанными на глубоком изучении вопроса.

Вообще чем больше я размышлял над экспансией эстрады в последние годы, тем неотвратимее приходил к выводу, что разговор о ней нельзя строить только как инвективу в адрес ее вдохновителей и апологетов. Можно сколь угодно основательно и логически остроумно доказывать публике несостоятельность идолов, но привержен-

ность к ним не уменьшится. Причем здесь дело даже не в упорстве, а скорее в задушевности заблуждения. Здесь, мне кажется, тот характерный вывих социальной психологии, который был описан еще Ф. М. Достоевским в «Дневнике писателя»: «Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу, напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом...»

Собственно, говорить сейчас о победоносном шествии эстрады значит говорить о тех болезненных процессах в общественном сознании, которыми был отмечен предшествующий период. Пожалуй, лишь в этом случае критическое выступление имеет хоть какой-то смысл.

1

Начну с очевидного: эстрада стала не просто самым массовым из искусств, но и неотъемлемой и весомой частью нашей жизни. За последние двадцать — тридцать лет она превратилась из популярного развлекательного жанра в популярную разновидность жизненной философии, если хотите.

И неслучайно: ведь именно в эти годы сами формы нашей общественной жизни постепенно приобрели, в сущности, эстрадный характер.

Эстрадное мышление исподволь проникало во все сферы, пока наконец в 70-е годы не стало господствующим. Промышленность, сельское хозяйство, наука, художественная проза, поэзия, драматургия, критика, публицистика, музыка, театр, кино, цирк, спорт — все эти виды общественной активности приобретали к исходу десятилетия все более и более празднично-показной, эстрадный характер. Подведение квартальных, годовых, пятилетних итогов на предприятиях и в отраслях, в колхозах и совхозах, районах и областях, наконец, по всей стране превращалось в некое подобие гала-концертов, грандиозных шоу со всевозможными световыми, пиротехническими эффектами и раблезианскими банкетами. В каждой отрасли народного хозяйства появились свои иллюзионисты и жонглеры, вообще эксцентрики.

Популярнейшей формой общественной активности стал конференс. Свои конференсы обнаружили у рабочих, колхозников, ИТР, ученых, писателей и т. д. Иные из них выполняли обязанности ведущих без отрыва от производства; иные полностью оборвали связи со своей основной профессией и перешли, скажем так, на работу в «госконцерт». В газетах, журналах, на радио и телевидении они развили энергичную деятельность, создавая имидж прогресса и процветания — чему в действительности соответствовала удручающая картина регресса и зацветания (в том смысле, в каком пруды зацветают ряской). Практически оторванные от своего цеха, эти люди все же несли в себе некоторые цеховые признаки: знали общие приемы работы, цеховую лексику. Умели рассказать что-нибудь, располагающее аудиторию. Например: «Когда отец привел меня на завод...» Или: «На ферму я пришла совсем девчонкой...» Или: «Уже работая сменным инженером, я заканчивал вечерний институт при нашем комбинате...» Или: «У Макса Планка где-то сказано, что...» Или: «Помню, шли мы однажды с Александром Твардовским...»

Все было брошено на то, чтобы заставить общество поверить в достоверность надуманного. Заставить, слава богу, не удалось. Но удалась не менее страшная вещь. Общественное сознание в лице своих внешних выразителей и полпредов, каковыми и являлись эти конференсы, приобрело постыдный вкус к дуализму в нравственной сфере, а проще сказать — к двуличию. Одни про-

поведовали то, во что не верили. Другие, не веря в их проповедь, принимали ее как данность. Вот что страшно-то! Преодоление этой подлой, десятилетиями укоренявшейся привычки — первейшая нравственная задача, которая во весь рост стоит перед литературой и обществом...

Ах, как же не хотелось смотреть правде в глаза! И прежде всего потому, что тогда пришлось бы открыто признать не только наличие разрыва между грезой и реальностью, но и свою роль в создании этого положения. Иными словами, не хотелось видеть себя самих в истинном свете. Наверное, еще никогда за всю свою историю наше общество не было столь мелко и нервно подвержено стремлению принять желаемое за действительное при минимуме оснований для этого. Раздача наград за неделанную работу, попытки симулировать добрую память о себе посредством публикаций мемуаров и установления монументов при жизни, замена одних лозунгов другими не вследствие выполнения намеченного, а как раз вследствие невыполнения и т. д. и т. п. — все это насаждалось с какой-то праздничной обреченностью.

Люди отвыкали быть самими собой. Руководящие деятели приобретали вкус к «литературному творчеству», литературные деятели — к руководящей работе. Стало модным не столько трудиться, сколько исповедоваться на публике, как надо трудиться. Особенно это было заметно в изящных искусствах. Художники полюбили показывать эскизы, композиторы рассказывать о том, как создается музыка, писатели рассуждать о том, как пишутся книги, актеры, наморщив лбы и заменяя недостаток слов избытком жестов, пытались выразить, как им «видится» Шекспир, Достоевский, Чехов, образ современника...

Писателям, работавшим, так сказать, на индивидуальном подряде, писавшим по закону правды (социально-политической, нравственной, стилиевой) о людях, ищущих правду, противостоял легион литераторов, трудившихся в соответствии с планами, которые спускались сверху. Как и положено любому нерентабельному производству, ориентированному на экстенсивный подход, такая литература находилась на дотации у государства, даже премии получала.

Создавая у широких читательских масс убеждение, что жизнь, показанная в книгах, не имеет и в принципе не должна иметь ничего общего с реальной жизнью, «экстенсивные» писатели, независимо от их личных позиций, подготавливали тотальную экспансию астрადы. Литература, основанная на

лжи, мнила себя идущей впереди массы, пребывая в наивной уверенности, что люди рано или поздно пойдут за нею, чтобы устроить свою жизнь в соответствии с ее неправдоподобными рекомендациями.

Эстрада чутко уловила специфику общественно-культурной ситуации и сама пошла навстречу массе. Создавая полей внутри муляж мира, эстрада обильно инкрустировала его зеркальным осколочьем, которое искрометной круговертью лучиков и бликов увлекало коллективную душу публики в псевдосказочную, псевдокрасивую и псевдоосмысленную жизнь. Эти кусочки зеркала, посредством которых эстрада отражает действительность, служат еще и эмблемой ее познавательных возможностей. Точнее сказать: узнавательных. Через эстраду человек не столько познает себя, сколько узнает. Познание предполагает работу над собой, узнавание себя (скажем, в песне) примитивно и самодовольно:

Улыбаешься лукаво,  
Никогда не скажешь: «Да»,  
Для тебя любовь — забава,  
Для меня любовь — беда.

(«Алка, это ж про нас с тобой!..» — ничего «пронзительнее» этого этического содержания отсюда нельзя извлечь в принципе.) Главное, чем брала и берет эстрада,— это достоверность тона, умелая симуляция непосредственного, живого общения, от души к душе направленного.

По мере того как высокие искусства (ввиду массового усреднения сознания) теряли кредит, эстрада принимала на себя выполнение их эстетических, философских и воспитательных функций, приравнивая все к своим возможностям. Это поощрялось. В конце концов ей стал доступен такой широкий круг проблем, о котором даже в самые дерзкие мгновения свои не мог мечтать ни один литературный, театралный, музыкальный или кинематографический гений. История и современность, прекрасное и безобразное, героика и повседневность, политика и экология, наука и искусство, гражданственность и безответственность, сатира и мелодрама, смысл и бессмыслица жизни, любовь и флирт, патриотизм и интернационализм, чувство очага и неприютности, вера и неверие, динамизм и бездеятельность, протест против обстоятельств и смирение перед судьбой — все вобрала она в себя, все было ей подвластно, всему дала она удобопонятные и удобоприемлемые формы.

Мы и не заметили, как на рубеже 70-х и 80-х годов эстрада стала самым многооб-

разным и полноправным средством выражения нашего общественного сознания.

Но согласитесь: ведь это ужасно!

Общество, культурные потребности которого вполне удовлетворяются эстрадой, нельзя принимать всерьез. Впрочем, я не знаю, можно ли назвать обществом тот странный людской конгломерат, к которому обращается эстрада. Ведь кого бы она ни обслуживала, будь то рабочие или военные, интеллигенты или крестьяне, ветераны или молодежь, женщины или мужчины, честные труженики или прохиндеи,— все эти социальные, возрастные, физиологические, морально-юридические и иные категории в сумме не дают субстанциального понятия народа, но сливаются всего лишь в модальное понятие публика. Да, именно так: эстрада воспринимает народ как публику, утомившуюся на работе и желающую отдохнуть.

Этот нюанс очень важен. Даже прикасаясь к серьезным темам, эстрада должна оставаться и развлекательной и привлекательной. Но, как уже говорилось, в последнее двадцатилетие именно через посредство эстрады подавляющее большинство наших людей получало представление о том, как и ради чего стоит жить.

Сейчас в литературе, искусстве, науке, экономике многое зависит от того, сумеем ли мы возродить и утвердить такую необходимую для любой культурной страны ценность, как общественное мнение. А поскольку оно складывается из обмена и противоборства точек зрения сознательных, свободных индивидов, то вопрос можно поставить так: сумеем ли убедить, что с лицом жить лучше, чем без лица?

Сделать это куда как трудно! За двадцать — тридцать лет господства эстрады в нашей культурной жизни публика в подавляющем большинстве своем обезличилась, привыкла к потребительскому восприятию истин, несомых искусством. Кроме того, у многих вышло убеждение, что тотальное наступление «массовой культуры» — процесс всемирный и поэтому-де не стоит бить тревогу: мол, все через это проходит, не мы одни — «масскульт» не знает границ и т. п.

И все-таки, я думаю, границы есть. В том смысле, что «масскульт» при всей его безликой всеобщности возникает, развивается и, наконец, празднует свой триумф в той или иной стране вследствие социально-политических и культурных причин, присущих только ей и никакой другой. В основе этого, как правило, лежит процесс дегуманизации общественных институтов, подавления человека вышедшими из-под его же

контроля силами, и как следствие — культурная деградация.

Западным вариантом распространения «масскульта» пусть занимаются специалисты-зарубежники. У нас же явления культурной деградации начали набирать силу, как теперь все отчетливее выясняется, благодаря Системе. Системе, которая была задумана во имя и во благо человека, но с годами вышла из-под его контроля и обернулась против него, провозгласив одним из своих девизов совершенно чудовищное по бесчеловечности правило: незаменимых людей нет. Чем дольше и деспотичней внешнее давление на личность, тем безудержней, а подчас и уродливей проявляется противодействие ему.

Чтобы не быть голословным, приглашаю на материале эстрадной песни проследить, как деградировали в нашем обществе представления о человеке за означенный период, а также поразмыслить над социально-политическими, психологическими и культурными предпосылками и последствиями эстрадного бума.

## 2

Звезда эстрады и кино Людмила Гурченко, вспоминая свой оглушительный дебют в фильме «Карнавальная ночь», пишет о публике 50-х годов: «Ждали, ждали чего-то нестандартного, неординарного, ждали, не отдавая себе отчета. Образ явился на экране, и люди восторженно влюбались».

Здесь точно подмечено общее настроение в исходе первого послевоенного десятилетия. Действительно ждали. Да еще как! Люди, перенесшие ужасы войны и неимоверные трудности восстановительного периода, изголодались не только в гастрономическом, но и в душевном смысле. Изголодались по доверительному, сердечному разговору.

Поэты и композиторы сочиняли песни, в которых должное (по их мнению) выдавалось за сущее. Простые и вытнанные стихи, неприязнательные, но милые (а подчас и красивые) мелодии делали свое дело. Люди слушали и пели о том, как хорошо любить на рассвете и видеть новые корпуса, которые «стоят, как на смотру»; о том, что и сама любовь в наше прекрасное время стала «горячей и верней», чем была у Ромео и Джульетты (!); о том, как «приветлив и знаком» свет у подъезда заводского клуба, в котором (надо же, какая удача!) «вечер вальса состоится» и т. д. и т. п. Это все для города. А на селе по доброй и лукавой задумке авторов должны были петь (и пели) о том, как молодые колхозницы водят

хоровод, «проводя гармониста в институт»; о том, как трудно застенчивому деревенскому парню поцеловать девушку («Я бы вас поцеловал, если только это можно»), а она, такая бедовая да и на язык острая, ему в ответ: «Ну, уж ладно, говорю, поцелуй без разрешения»; о том, как недеткам не везет в любви, но они при этом не теряют чувства юмора:

Что, друзья, случилось со мною?  
Обломал я всю черемуху весною.  
Я носил, таскал ее возами.  
А кому носил, вы знаете и сами...  
Что мне делать? Сам не понимаю.  
Но... сирень я, видно, тоже обломаю.

При всем том, что песни эти полюбились народу (а некоторые из них и сейчас поются), они народу лгали. Впрочем, без цинизма. Ведь эти новые корпуса, этот заводской клуб, залитый светом, этот сельский гармонист, собирающийся в институт, и т. д., — ведь все это и было и не было. Было, но не здесь, а где-то. А здесь могло быть, но не сейчас, а когда-нибудь. Опытные образцы мирной жизни выдавались за серийные. Жизнь недоступная, люди нереальные... Но обо всем этом рассказывалось с таким безмятежным добродушием, с таким искренним стремлением принять желаемое за действительное!

И все-таки народ чувствовал, что со всей этой мирной продукцией что-то не так, что есть в ней (в самом способе ее изготовления) какая-то фальшь, трудно распознаваемая, но ясно ощущаемая, стоит рядом зазвучать чему-то настоящему. Я отлично помню то время: военные песни и песни о войне люди пели с большей душевной отдачей, нежели другие какие-нибудь. Мне кажется, дело тут было не только в том, что война (тем более когда со Дня Победы не прошло и десяти лет) — это тема, для нашего народа особая. Дело еще было в том, что в таких песнях, как «Дороги», «Соловьи», «Темная ночь...», «Огонек», «Враги сожгли родную хату...», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..», художественные образы вырастали из самой жизни, а слова соответствовали переживанию.

Однако же война — это такая тема, от размышлений над которой и невозможно и очень хочется уйти: тяжела она несказанной тяжестью. Кроме того, жизнь шла вперед. Людям надо было видеть, ради чего они одержали победу. Что же касается мирных песен, то они, как показано, были не слишком достоверны, несмотря на очевидную привлекательность.

Люди ждали...

И вот в середине 50-х годов в эстраде,

как и во всей нашей тогдашней жизни, начали происходить качественные перемены. Внешне это выразилось в том, что шутки конференсье стали непринужденнее, в музыке повседневно зазвучали ранее нежелательные ритмы... Предпринимались попытки проведения не просто концертов, как было раньше: скажем, в первом отделении выступает кто-нибудь из солистов Большого театра (С. Я. Лемешев, А. С. Пирогов или М. О. Рейзен), свешниковский хор, Эмиль Гилельс, Всеволод Аксенов, и лишь только во втором — эстрада: конференсье (Михаил Гаржави или Лев Миров с Марком Новицким), куплетисты (Илья Набатов или Бен Бенцианов), исполнительницы собственно эстрадных песен (Капитолина Лазаренко или Нина Дорда), наконец, джаз (Эдди Рознер или сам Леонид Утесов со своими «мальчиками»). Теперь же пробовали создавать большие эстрадные спектакли. Иными словами, то, что раньше появлялось во втором лишь отделении, теперь распространялось на весь вечер. Эстрада искала новый стиль, новые формы заигрывания с жизнью и воздействия на жизнь.

В суматохе этих поисков произошло событие в своем роде решающего, до сих пор не оцененного значения. Однажды в середине тех самых 50-х годов известные куплетисты Павел Рудаков и Вениамин Нечаев вышли на эстраду с новой песенкой, в меру банальной и мелодичной, которая, однако, произвела форменный переворот в сердцах публики. Песенку поругивали в статьях и фельетонах. В кругах интеллигенции над ней просто потешались. Но песенка выжила. Огромная масса людей прямо-таки присохла к ней душою. Пели ее повсюду. Я не уверен, что хоть какая-нибудь нынешняя эстрадная песня может соперничать с нею в популярности. Ведь в ту пору любители эстрады не были оснащены технически. Простой магнитофон был гораздо большей редкостью, чем теперь видеомагнитофон. Тогда был только один способ передачи песни друг другу: мелодию подбирали на слух, а слова переписывали в тетрадку. Лет десять примерно песенка П. Рудакова и В. Нечаева была шлягером номер один. В начале уже 60-х годов на экраны вышел фильм «Дайте жалобную книгу», где один из героев (которого играл Юрий Никулин), услышав «экспромт» собутальяника по поводу съеденной закуски: «Рыбка-рыбка, где твоя улыбка?» — очень комично потребовал: «Спиши слова!» И зрители знали, что в фильме шутят над милым их сердцу текстом:

Ты весь день сегодня ходишь дутый,  
Даже глаз не хочешь поднимать.

Мишка, в эту трудную минуту  
Так тебе мне хочется сказать:

Мишка-Мишка, где твоя улыбка,  
Полная задора и огня?  
Самая нелепая ошибка —  
То, что ты уходишь от меня.

Я с тобой неловко пошутила.  
Не сердись, любимый мой, молю.  
Только слышишь, все же, Мишка милый,  
Я тебя по-прежнему люблю.

Мишка-Мишка... — и т. д.

Но я верю, ты вернешься, Мишка!  
Позабудешь ты о шутке злой.  
Снова улыбнешься, как мальчишка, —  
Ласковый, хороший и простой.

Мишка-Мишка... — и т. д.

В самом начале этого разговора я дал слово не высмеивать тексты песен и не буду этого делать. Приглашаю только посмотреть, как непринужденно соединились здесь кокетливая задумчивость интонации и неопрятность иных словосочетаний, за которой стоит нравственная двусмысленность содержания. То, что дутыми могут быть цифры и отчеты, а Мишке в его положении лучше уж быть надутым, — это еще полбеды. А вот то, что «ветренная Геба» из этой песни кается, «как бы резвяся и играя», — это уже беда настоящая. Но — в самом начале своем. Как в арии дона Базилио о клевете: пиано-пиано, тихо-тихо. Бомба еще не разорвалась. Она разорвется в 70-е годы.

Один знакомый литературовед на вопрос непосвященного, что значит по-русски «амбивалентный», полусушутя-полусерьезно ответил: «Склизкий». Так вот — песенка амбивалентна именно в этом смысле. Сладково-благовидное содержание и белая интонация составили здесь нераздельное и симпатичное целое. Именно легализованная приклатненность ее пришлось по вкусу. Песенка убеждала, что покаяние может быть и игривым, и это была игра не только словами, но и этикой...

Мишка вернулся к своей амбивалентной подруге. Почти одновременно с программной вещью П. Рудакова и В. Нечаева критики и фельетонисты, изошряясь в иронии и сарказме, высмеивали в газетах другой стихотворно-музыкальный памятник эпохи первого потепления, который сейчас, по прошествии тридцати лет, воспринимается как продолжение «Мишки»:

Ты сегодня мне принес  
Не букет из пышных роз,  
Не тюльпаны и не лилии,  
Протянул мне робко ты  
Эти скромные цветы,

Но они такие милые,  
Ландыши, ландыши... — и т. д.

«Ландыши» и «Мишка» породили устойчивое направление в интимной эстрадной лирике. Люди почувствовали тут внимание к своей душевной повседневности:

Не могу я тебе в день рождения  
Дорогие подарки дарить,  
Но зато в эти ночи весенние  
Я могу о любви говорить.

Это направление и сейчас дает о себе знать. Вот один из совсем недавних примеров:

Не дари мне цветов покупных,  
Подари мне букет полевых,  
Чтобы видела я, чтобы чувствовал ты:  
Это наши цветы, только наши цветы.

Отличительная черта этого направления — программная установка на примитив как на насущную гуманитарную ценность. Оно дискредитирует одни штампы («пышные розы», «дорогие подарки», «цветы покупные» и т.п.) и на их место предлагает другие, сделанные, как иронически говорится в подобных случаях, простенько, но со вкусом. Тут ложь с ложью борется.

Так или иначе, во второй половине 50-х годов наметилась мощная тенденция к понижению нравственно-художественного ценза популярной эстрадной песни. Причем с самого начала это понижение мыслилось как единственно возможная альтернатива эстрадной лирике предшествующего периода с ее в общем-то нереальным миром.

Именно тогда в нашем кино произошли два приметных события, имеющие самое непосредственное касательство к настоящему разговору. Одно из них — выход на экраны фильма молодого Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — было уже упомянуто выше. Но ведь почти одновременно появился фильм Ивана Пырьева «Идиот».

Это был режиссер свирепой одаренности и трагической творческой судьбы. Своими предшествующими работами (и прежде всего такими, как «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», сделанными в соавторстве с композиторами Т. Хренниковым и И. Дунаевским) он, по существу, утверждал тот самый эталон, на который равнялась эстрадная лирика 40—50-х годов и с которым так уж получилось, повела борьбу «Ландыши» и «Мишка». И вот в 1957 году И. Пырьев решительно порвал с миром, им же созданным. Я не хочу сказать, что все его последующее творчество стало сплош-

ным покаянием в содеянном (хотя почему бы и нет — ведь фильм «Отчий дом» вполне можно воспринять как попытку замолить «кубанские» грехи). Речь сейчас не об этом, а о том, что он понял про себя и про всю нашу жизнь нечто настолько важное, что для него стала очевидной невозможность существовать в прежней системе нравственно-художественных ценностей.

Это «нечто» я бы определил так: в условиях, когда политическая узда оказывается ослабленной, когда снимаются внешние запреты, неизмеримо возрастает роль моральной ответственности каждого отдельного человека. Ведь если это внешнее послабление воспринять только как повод к вседозволенности, тогда, выходит, культ сильной личности был оправдан. Своей душевной расхристанностью мы не только подтверждаем необходимость культа в прошлом, но и готовим появление новых великих инквизиторов. Обращение И. Пырьева к Достоевскому было глубоко закономерным. В сердце этого человека только еще искомая правда боролась не на жизнь, а на смерть с уже достигнутой ложью. Так и не победив окончательно.

То, что новое поколение в лице Э. Рязанова предпочло усовершенствовать, казалось бы, изживший себя жанр, весьма показательно. Музыкальная кинокомедия сделалась идеальным аналогом эстрадного действия. Вдруг стало ясно, что ей противопоставлены глубокий лиризм (к чему тяготела «Свинарка и пастух»), равно как и глубокий психологизм или же постановка производственных проблем (что отчетливо видно в «Кубанских казаках»). Она должна быть просто развлекательной, нечего этого стыдиться. Конечно, в ней не обойтись без лирики и психологии. В конце концов пусть ее герои говорят и о работе своей, пусть в ней высмеиваются недостатки наши. Пусть. Но пусть все это не будет скучным! Молодой Э. Рязанов, которому в отличие от И. Пырьева не надо было приравнивать свое искусство к деспотическим требованиям внешней необходимости, пригласил публику весело попрощаться с прошлым.

Здесь еще не было призыва только «петь и веселиться». Но было явственное ощущение того, что эстрада может все и что она — желанна. «Карнавальная ночь» стала провозвестницей четвертьвекового господства эстрады в нашей культурной жизни.

Вообще конец 50-х — начало 60-х — удивительное время! Люди еще не расхотели и не разучились трудиться. К тому же они,

пережив сильное потрясение 1956 года, еще были объединены «конкретной» позитивной целью — за двадцать лет построить коммунизм. Вот почему, я думаю, тогда эстрада еще не могла, в принципе не могла стать тем, чем стала теперь — властительницей общественного мышления. В сознании общества еще не было пустот, которые она уже тогда была готова заполнить.

Но с годами все очевиднее становилось, что «нынешнее поколение советских людей» не «будет жить при коммунизме». В прошлом все больше открывалось ужасающих, совершенно варварских отступлений не только от провозглашенной доктрины, но и от элементарного здравого смысла — в экономике, науке и культуре, в правовой сфере. В сущности, уже тогда был погребен ясный и трезвый взгляд на вещи, без которого любая инициатива оборачивается вульгарным волонтеризмом, а по-русски сказать — самодурством. Только теперь, пожалуй, становится по-настоящему видно, в какой чудовищной мере эпоха культа придушила не только общественный разум и инициативу, но даже общественный инстинкт самосохранения. Однако же если раньше все-таки была настоящая вера в то, что сильная личность и подумает за нас, и подтолкнет нас, и защитит нас (насколько обоснована была эта вера — другой вопрос), то в 60-е годы у нас уже не было этого удобного оправдания.

Противоречие между жизнью на бумаге и реальной жизнью было и раньше. Но теперь оно переживалось гораздо болезненнее, ибо теперь все нужно было относить на свой и только на свой счет. Однако предпочли оправдать (следовательно, закрепить) это противоречие ссылками на объективные трудности (три войны, капиталистическое окружение, издержки культа). 60-е годы — это скорее не раскрепощение нашего сознания, а его только частичная эмансипация. Не следует забывать, что начало 60-х годов — это еще и начало первых грандиозных приписок (достаточно вспомнить мясные «поставки» Рязанской области). Расплатой стало постепенное распространение в нашей жизни безверия в таких его формах, как равнодушие и цинизм (равнодушие — это цинизм слабыхарактерных). Неслучайно во второй половине десятилетия вошла в моду сумасшедшая песня о зайцах из «Бриллиантовой руки»:

А нам все равно,  
А нам все равно —  
Не боимся мы волка и сову.  
Дело есть у нас:  
В самый поздний час  
Мы волшебную косим трын-траву.

Если в конце 50-х все сошлось на «Подмосковных вечерах», может быть, самой чистой по лиризму эстрадной песне тех лет (вообще тогда общественный вкус еще сопротивлялся недугу бездуховности, доказательством чего служит удивительный факт, по существу, всенародной любви к пианисту Вэну Клайберну, с которым не могла соперничать в этом смысле ни одна эстрадная звезда), то теперь «трын-трава» и «нам все равно» объединяли людей на самых разных социальных уровнях, объединяли в простодушном цинизме, за которым стоял панический страх перед реальностью, отказ и отвычка быть самими собой. Эти надуманные зайцы пришлось как нельзя более кстати.

Не только образ нашей жизни, создававшийся в статистических отчетах, газетных материалах, произведениях литературы и искусства (о чем говорилось в начале статьи), но сама наша жизнь все более становилась недостоверной. И эта недостоверная жизнь в конце концов произвела на свет неизвестный ранее человеческий тип, который я позволю себе определить как недостоверного человека. Скажем, руководитель науки, получивший ученую степень за диссертацию, написанную другим; этот другой, сам, быть может, талантливый исследователь, но приспособивший свое дарование к изготовлению диссертаций и монографий для бездарностей, которые хорошо платят; отец семейства, пьяным в дым валяющийся у пивного ларька; колхозник, сеющий то, что приказывает район, а не то, что нужно; писатель — «лакировщик действительности», рассуждающий о правде жизни; профсоюзный деятель, не защищающий интересы рабочих; продавщица, которая, вместо того чтобы обслужить покупателей, учит их жизни; интеллигент, гражданин в душе, который стоически молчит на собраниях и летучках по поводу вопиющей алогичности всего происходящего вокруг него, а дома на кухне перед женою мечет громы и молнии, изничтожая наконец в своем озлобленном (но бессильном что-либо изменить) воображении «кретинов», «быдло», «холуев», «ублюдков», поставленных над ним, и так далее, — все это недостоверные люди, которые смирились, свыклись с тем, что живут не своею жизнью. И вот что интересно: для них эта недостоверная жизнь стала реальностью самой достоверной.

Что же касается тех, кто не поддался этому, то на них смотрели как на дураков (если они не стояли на пути) либо обвиняли во всех смертных грехах, и прежде всего в индивидуализме, в отрыве от обще-

ства и его интересов, а то и просто лишали работы, лишали возможности быть достойными людьми, дискредитировали профессионально и морально, даже, бывало, лишали свободы — словом, подчиняли общему правилу, уравнивали с собой в том смысле, что заставляли-таки жить не своей, не соответственной жизнью.

И вот всем этим людям раздвоенной, недостоверной жизни, отчаявшимся либо уже не желавшим устранить в своей душе разрыв между должным и реальным, эстрада (самое недостоверное из искусств, ибо она в первую очередь стремится понравиться, а не постичь жизнь) опять-таки предложила свои услуги. Для нее публика всегда права: не надо печалиться, казнить себя, сетовать на судьбу — жизнь проста, принимайте ее как есть, любите, растите детей, наслаждайтесь тем, что вам доступно, что у вас под рукой, надейтесь, можно и взгрустнуть, но главное при этом — не забывать, что вы все все-таки правы! А ну-ка давайте вместе:

Не надо печалиться:  
 Вся жизнь впереди.  
 Вся жизнь впереди —  
 Надейся и жди.

Публику давно тянуло к эстраде (ведь и раньше первые отделения больших концертов многие смотрели и слушали ради того, чтобы дожидаться их вторых отделений). Но если публика послевоенных лет по преимуществу состояла из людей, пораженных и утомленных духом и телом на войне, то в 60-е годы (особенно к концу десятилетия) публика была уже иной. Сформировался совершенно новый зритель, духовно и морально надломленный в испытаниях другого рода, и прежде всего — в испытании ложью, наводнившей и размывшей его жизненное поприще. Это был зритель-клиент, уставший от схваток с окружающими и с самими собой, желающий в усталости своей забыться, чего бы это ни стоило.

### 3

Итак, к концу 60-х годов люди если не все поняли, то все начали всем своим существом ощущать, что в стране происходит неладное и что каждый независимо от его личной оценки происходящего вовлечен в это неладное, нехорошее, плохо освещаемое действие. Эстрада учла эту социопсихологическую конъюнктуру.

Было как минимум две разновидности нового типа зрителя: пассивная и активная. Одни взалкали самозабвения. Другие в условиях, когда критерии замутнены и поч-

ти не ощутимы, возжаждали оправдания и поддержки своего внеморального задора. Дать и то и другое в удобоприемлемой, наиболее комфортной форме могла только эстрада. Воистину эстрада стала тогда (да и теперь еще остается) для душ, нравственно пребывающих в состоянии грогги, транквилизатором и допингом одновременно.

Посмотрим сначала, какой образ социальной активности создала она.

Сейчас уже не вспомню точно, когда (помоему, на рубеже 60-х и 70-х) я услышал по радио один характерный текст:

Мы судьбою не заласканы.  
 Если к нам придет беда,  
 Мы возьмем судьбу за лацканы,  
 И судьба ответит: «Да».

Это ж надо! Гомер, Эсхил, Софокл, Шекспир, Моцарт, Бетховен, Пушкин, Тютчев, Чайковский, Мусоргский, Блок... и трепетали перед судьбой, и боролись с нею, но всегда относились к ней, как бы это сказать, интеллигентно, что ли. А тут — не заласкала, и сразу ее за лацканы. Кстати, что это за судьба такая — с лацканами? Хорошо еще, если какой-нибудь бюрократ, стоящий на пути всего нового, молодого. Но я так думаю: здесь скорее всего некая роковая фигура из сферы услуг — ну, там администраторша гостиницы, метрдотель или проводница с их зловецким «мест нет!».

Все бы ничего, да вот за судьбу обидно. Есть понятия неотменяемые, которые не то чтобы в узде нас держат, но просто не дают нам потерять человеческий облик. Судьба — одно из них. Эстрада на свой манер приобретает к ним: она не публику поднимает до них, а их опускает до публики. Причем делает это с пафосом почти гражданственным, почти героическим.

Заявив столь решительно о своей позиции (тогда как раз в критике и публицистике нашей начинался «б-а-а-а-льшой» разговор о необходимости иметь свою позицию), активные и бескомпромиссные герои эстрады принялись энергично самоутверждаться. При этом их создатели отважно игнорировали ту очевидную для любого более или менее серьезного художника истину, что сказанное или написанное слово обязательно несет в себе возмездие своему творцу. Ничтоже сумняшеся, устами своих героев они интересничали перед публикой на темы самые задушевные и неизбывные:

Что-то с памятью моей стало —  
 Все, что было не со мною, помню.

То, что публика приняла этот текст, гораздо больше простительно ей, чем стихо-

творцу: память о войне — это святое для наших людей, и тут достаточно легкого, самого поверхностного прикосновения, и они уже сами начнут вспоминать (ведь это ж факт — ведь в каждой нашей семье есть что вспомнить!), сами досочинят за автора, а после, не подозревая о том, что благодарят за свое, и его поблагодарят и песню эту не однажды попросят исполнить и на радио, и на телевидении, и в концертах. Но сам-то автор... Ведь должен же он понимать, что формула «все, что было не сомной, помню» сомнительна и претенциозна.

Чем чаще исполнялась эта песня, тем настойчивее хотелось посоветовать ее сочинителям и почитателям: вспомните же наконец, что с вами было, как вы сами жили «на земле доброй» в послевоенные годы, — ведь, в сущности, это единственный способ действительно почтить память «того парня». Однако ж не вспоминали. Программно не вспоминали. Бежали от себя — вдохновенно:

Бьют дождинки по щекам впалым...

Любопытно было видеть на одном из авторских вечеров двух ее регулярных исполнителей: особенно хороши были щеки их на фоне этого текста. «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь: иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы», — советовал К. Н. Батюшков еще сто семьдесят лет назад.

Но эстраднему человеку положительно невыносимо оставаться наедине с собой. «Наедине со всеми хотел бы я побыть...» — это позднейшая формула (1985 года), но она является логическим продолжением того, что было открыто во второй половине 60-х годов. Так или иначе, образ гражданственности, созданный эстрадой, показывает, что в основе социальной активности ее героя лежит — давайте уж будем называть вещи своими именами — душевная пустота.

Ты прости меня, любимая,  
За чужое зло.

Ну что тут сказать? Автору этих слов можно только позавидовать: хорошо, честно, должно быть, прожил жизнь. Впрочем, не будем обольщаться. Это типично эстрадное покаяние, когда человек вроде бы и осуждает себя, но грехи свои в последний момент переносит на других да еще и требует себе сочувствия. И неудивительно — недостоверный человек всегда прав:

Первый тайм мы уже отыграли  
И одно лишь сумели понять —

Чтоб тебя на земле не теряли,  
Постарайся себя не терять.

Мысль благая, но плоская. К тому же от ее императивности, по зрелом размышлении, становится не по себе. А если я все-таки потеряю себя! Неужели ж вы, всё делавшие, как надо, меня бросите? Если вы меня бросите, то, значит, вы всё делали, как не надо! А ведь бросят. Как пить дать бросят. Не постеснялись же признаться, что «одно лишь сумели понять». Даже преподнесли это «одно лишь» как высшее этическое достижение.

Впрочем, как уже было сказано, эстрада обслуживала не только активных, но и пассивных зрителя и слушателя. И для неудачников у нее нашлись свои слова. В 70-е годы исключительной популярностью пользовалась песня с таким вот утешительным текстом:

Призрачно все в этом мире бушующем.  
Есть только миг — за него и держись.  
Есть только миг между прошлым и

будущим —

Именно он называется жизнь...

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,  
Но не всегда по дороге мне с ним.  
Чем дорожу? Чем рискую на свете я?  
Мигом одним. Только мигом одним.

Иными словами, мне, потерявшему себя, предлагается послать этот мир... в вечность (по слову поэта В. Устинова, счастливо найденному). Тут поневоле задумаешься: а что, собственно говоря, лучше — активность или пассивность (такая вот!), проповедуемые эстрадой?..

Примеры неистребимой фальши эстрадного мышления неисчислимы. Однако ж если бы меня попросили назвать песню самую характерную, то есть самую фальшивую, даже символическую в своей фальши, я бы указал на «Арлекино». Поначалу мне казалось неожиданным и почти необъяснимым столь длительное и в полном смысле слова повальное увлечение этой песней. В самом деле, нельзя же все объяснить только доступностью мелодии и исполнением (и вправду незаурядным). Но внимательно прислушиваясь к русскому тексту этой болгарской песни, я, кажется, понял, почему она обрела у нас свою истинную родину, почему стала своеобразным гимном застойного десятилетия. Клоун, которому в тягость смешить публику, исповедуется в том, что он «Гамлета в безумии страстей играет каждый вечер для себя». Роль принца датского, пожалуй, престижнее, чем роль Арлекино. Но почему же так обременительна, так обидна, даже так оскорби-

тельна для героя чистая и благородная миссия веселить людей? Почему столько не любви к жонглерам и силачам? Почему, наконец, столько ненависти ко всем этим людишкам, заполнившим зал? Как явственно она проступает в имитации их дебильно-утробного смеха! Ведь они, бедолаги, не знают и не должны знать, какое такое «безумие страстей» бушует у вас в груди. Они пришли посмеяться над Арлекино и вместе с ним над самими собой. Отдаете ли вы себе отчет в том, что предали их да еще и счетец за свое же предательство им же и предъявили? Кроме того, неужели же вам не ясно, что, относясь с презрением к своим прямым обязанностям (здесь: веселить людей), вы и Гамлета никогда не сыграете. Хотя бы потому, что Гамлет в его безумии не погнушался ролью клоуна. Вот почему ваш удел — мелодрама, которую вы всегда будете стараться выдавать за высокую трагедию. «Арлекино» — это монолог недостоверного человека. Потому, я думаю, он и пришелся по душе именно в 70-е годы.

Вместе с тем «Арлекино» стал в известном смысле еще и манифестом самой эстрады, в котором она всерьез заявила о своем намерении осваивать сложное психологическое, этическое и эстетическое содержание. Именно тогда бомба дона Базилио и разорвалась, знаменуя начало тотального и победоносного наступления эстрады в нашей жизни, продолжающегося по сей день.

Сформировалось целое поколение (если не два), которое образовывало свой вкус, представление о духовных ценностях, отношении к окружающим, даже политическую информацию получало при помощи эстрадной песни. И неудивительно: средства массовой информации давали представление о внутренней и внешнеполитической жизни не более достоверное, чем то, которое сохранилось в эстрадных песнях.

Свои понятия о красоте и самопожертвовании публика черпала в песнях, подобных «Миллиону алых роз». Полуинтеллигентная прослойка видела в нервном поступке героя этой эстрадной баллады<sup>1</sup> образец «широкого» отношения к деньгам, вообще к материальным благам («Семен, а ведь ты бы так не смог»). Социальные низы видели здесь образец красивой жизни, в которой все не так, как в реальной, все необычнее

(«Живут же люди!»). А вот то, что в этой песне все вульгарно и пошло от начала до конца, — этого публика уже не видела и не хотела видеть.

Люди более утонченного склада нашли свой образ красоты в песне, которая бесхитростно, с какою-то грациозной тривиальностью проповедовала чудовищно потребительское отношение к высокому и прекрасному:

Печалиться давайте  
Под музыку Вивальди.

Мне скажут: а вы знаете, что после того, как пошла эта песня, в магазинах стали в неимоверных количествах требовать пластинки с записями музыки Антонио Вивальди? То есть имеется в виду, что песня произвела большой просветительский эффект. Позвольте все-таки усомниться в этом: люди ведь кинулись в магазины не за Вивальди, а за тем, подо что можно комфортно и престижно «печалиться об этом и о том».

Через эстраду многие, очень многие узнали имена Петрарки, Рабиндраната Тагора, Манделштама, Есенина, Заболоцкого и других поэтов. Я и здесь беру на себя смелость сказать, что не вижу в этом ничего хорошего, ибо ни один из названных поэтов никогда не стремился понравиться публике, но творил, послушный «вельенью божию». И здесь (так же как в случае с «судьбою», о котором уже было говорено) эстрада, не будучи в состоянии жить только своими ресурсами, приравнивает поэзию великих к требованиям сиюминутным, развлекательным.

И ведь вот что особенно интересно: высокая поэзия, подвергнувшись акту насилия со стороны эстрады, как бы утрачивает свою чистоту, перестает обращать человека к нему самому, напоминая ему о его несовершенстве и о необходимости стремиться к совершенству или к духовному освобождению, что в общем одно и то же. Будучи положенной на музыку любого из эстрадных стилей, она становится средством духовного порабощения человека, ибо, слушая сонет Шекспира или стихи Заболоцкого в соответствующей аранжировке и исполнении, человек не столько вникает в высокий и трудный смысл стихов, сколько подчиняется наваждению именно эстрадной интерпретации, короче говоря, просто балдеет под Шекспира.

Мне возражат, что наша эстрада всегда звала и продолжает звать к раскрепощению лучших черт нашего человека. Да еще,

<sup>1</sup> Считается, что его прототипом был Пиромани, но от него до настоящего Пиромани, как от «Джезуса Крайста» Суперзвезд до Иисуса Христа.

пожалуй, и пример приведут. Скажем, вот этот:

Нельзя в этой жизни  
Гореть вполнакала,  
Дышать вполнакала  
И жить вполнакала...  
Зову я Икара!..  
Я верю в Икара!..

Что ж, все мы помним высказывание А. П. Чехова о необходимости по капле выдавливать из себя раба. Но когда раба из человека выдавливают таким гигантским прессом... Согласитесь, что это мало похоже на духовное освобождение...

Конец 70-х и 80-е проходят под знаком усиления дидактических устремлений эстрады. Она к ним тяготела всегда. Но только завоевав командные высоты в нашей общественно-культурной жизни, она получила наконец возможность вполне реализовать давнюю мечту свою — стать учительницей жизни. Помните «студенческую» песенку 40—50-х годов? О ней шел разговор вначале:

Коль дружить — так дружить,  
А любить — так любить  
Горячей  
И верней,  
Чем Ромео Джульетту!

В 80-е годы круг замкнулся. Теперь уже эстрада просто указывает пальцем на целующуюся парочку в последнем поезде метро и выдает такую вот рекомендацию:

Этот вечный спектакль,  
Где Ромео с Джульеттой!  
Это все за пятак  
Я проехать советую.

Если кто-то поучает, то естественно предположить, что ему известна истина. Носители эстрадной мудрости абсолютного уверены в том, что они знают, ради чего стоит жить:

Во имя жизни  
Вся наша жизнь!

Эта «всеобщая формула жизни» сочинялась в ту пору, когда мировая конфронтация достигла своей высшей точки и когда отчетливо обозначился жуткий призрак гибели всего живого. Все это, конечно же, надо учитывать. Но и с учетом этого вывод, содержащийся в цитированных строчках, чересчур уж примитивен в своей биологичности и отчасти даже жутковат. Повторяемый, подобно заклинанию, певцом и хором, он как бы отделяется и от самой песни и от тревожного повода, по которо-

му она создавалась, приобретает самодовлеющее звучание, делает необязательными размышления над смыслом жизни, которую ведем. При этом забывается, что злые силы, враждебные «всей нашей жизни», против которых обращена вся патетическая мощь этой формулы, в принципе тоже могут под нею подписаться. Ее «экзистенциальная» всеобщность малого стоит. Можно и нужно пойти на подвиг, а случится, и на гибель во имя жизни — но прожить всю свою жизнь во имя нее самой? Да ведь «крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, а-а, и зеленый попугай» не так ли живут?

В годы войны интенданты придумали для себя успокоительную поговорку: война все спишет. Что я хочу этим сказать? Тот факт, что в мире накоплено много ядерного оружия, не может служить оправданием облегченного отношения авторов к своим обязанностям. А то ведь, подобно тому как в 70-е годы правительство объясняло трудности с питанием и жильем необходимостью укреплять обороноспособность страны (при этом миллиардные хищения на личные нужды замалчивались), авторы эстрадных песен всегда оправдывали свою халтуру актуальностью темы. Тому, кто в отчаянии вопрошал, сколько же будет продолжаться это безобразие, отвечали вопросом на вопрос: «Ты что, хочешь, чтобы снова пришла война на твою землю?»

Вообще, категоричность, с которой эстрадная песня утверждает свою концепцию современности, не может не восхитить:

Время стрессов и страстей  
Мчится все быстреей.

Конечно, наше время—это время ракет и сверхзвуковых лайнеров. Кто же спорит? Но отсюда еще не следует, что живое, реальное время наше стало быстрее. Возможно, у кого-то жизненный ритм и участился до невероятия. У нас же... Я бы с удовольствием посмотрел на автора формулы «время мчится все быстреей» в зале ожидания любого из московских вокзалов, где транзитные пассажиры с детишками, прикованные к своим чемоданам, коробкам, баулам, сутками дожидаются желанной посадки.

Рассказывая о современности, эстрадная песня предпочитает иметь дело с выигрышным, броским материалом: скажем, несущийся вдаль поезд («Под стук колес ко мне приходят сны...», «Станция есть под названием Минутка...» и т. д.), взмывающий ввысь лайнер («И мы легим, пристегнувшись одним ремнем...»), парящий дельта-

план, катер, на сумасшедшей скорости уносящий водную лыжницу, и т. п. При этом станция Минутка сама по себе с ее буднями, понятно, не интересует героев песни и остается за окнами купе как мимолетное, но приятное впечатление.

Однако вот что характерно: несмотря на очевидную философскую и моральную двусмысленность эстрадного мировоззрения, публика ищет у любимых исполнителей ответы на самые задушевные свои вопросы, обращается к ним за советами, как жить, как поступать в том или ином случае, что читать, во что одеваться и т. п. Это ж до какой степени надо было «эстрадизировать» саму нашу жизнь, чтобы учителями жизни стали поп-идолы!

И вот уже на одном из «Музыкальных рингов» один из популярных исполнителей как бы в ответ на все подобные вопросы спел песню с весьма характерным рефреном, рекомендуя ложь как универсальный способ отношения к миру, и этот «философский» итог, извлеченный эстрадой из нашей действительности, нимало не смущает публику:

Так уж устроен свет:  
Ты привыкай, не бойся —  
Бывает обман во вред,  
Бывает и на пользу.

## 4

Наверное, многие еще помнят благотворительную телевизионную передачу двухлетней давности, посвященную героям Чернобыля. В киевской студии сидели рядом больные, усталые, скромные и отчасти даже растерянные люди, незадолго до того заглянувшие в бездну, по краю которой скользим мы все. Что касается растерянности на их лицах, то она происходила оттого, что люди попали в непривычную обстановку, и еще, как мне кажется, оттого, что им задавали не те вопросы и вообще не те слова произносили в похвалу и сочувствие.

А в это же время в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» собрались лучшие силы нашей эстрады и вместе с ними один экстенсивный и амбивалентный писатель, который держался самым решительным и бодрым образом и настаивал громким голосом, чтобы гонорар за двузначное по счету издание его остро сюжетной повести перевели в Чернобыль. Известная эстрадная певица в незаурядной манере исполняла самые популярные свои песни. Вообще всем московским участникам передачи очень хотелось взбодрить чернобыльцев. Я

уверен, это желание москвичей было искренним. Но они были обречены на то, чтобы это искреннее желание выражать в формах столь привычного для них недоверенного искусства. Между тем исполненные заботы глаза, смотревшие из Киева, требовали от них, пожалуй, лишь одного — переменить с я. Но переменить-ся-то как раз было невозможно. Это означало бы, что Дело жизни: все эти муки непризнания поначалу, вся дальнейшая борьба с чиновниками и зрителями за право их же и ублажать, поиски и отработка своих и только своих приемов для самовыражения и для безусловного подавления конкурентов, наконец, победа над всеми, которая потребовала еще большего, чем в дебюте, напряжения сил, — все это ровным счетом ничего не стоило. К тому же, я думаю, репертуар был определен заранее, а возможно, и фонограмма заготовлена.

Глядя на эту жуткую альтруистическую затею, я вспомнил одну короткометражку итальянского телевидения с Анной Маньяни в главной роли. Идет вторая мировая война. Звезду эстрады приглашают выступить перед ранеными. Она взволнованна, готовится, советуется с компаньонкой, что спеть (ну, конечно, начать надо песней влюбленного солдата «O vital O vita mia!»), во что одеться для выступления (придумали трехцветный костюм в подобие национальному флагу). Вот они приезжают в госпиталь. Ее узнают! Compliments, просьбы порадовать своим прекрасным пением. Вот она уже готова к выходу: последний раз поправляет что-то на себе, контрольная улыбка, кокетливый кивок воображаемому зрителю. Вот сейчас пойдет занавес, и она увидит ждущую публику, услышит первые аплодисменты. Занавес!.. И она — растерянна, смята, подавлена. Та к о й публики она не видела никогда. Слепые, безрукие, безногие, с пробитыми головами. Тампоны, шины, костыли, кресла-катачки. Вся эта гора изуродованного мяса и костей, наполовину забинтованная, чуть шевелится и чего-то ждет от нее. Господи, помоги им, если это еще возможно! Помоги ей: она не знает, как их утешить. Все ее прежние ужимки теперь не годятся. Впервые в своей настоящей жизни она встретилась лицом к лицу с настоящими. Слезы застыли в ее глазах. Чужим, каким-то треснувшим голосом она проговаривает под музыку роковую строчку из выходной песни «О жизнь, о жизнь моя!..», оплакивая несчастных, а заодно и свою беспутную жизнь...

Я вовсе не хочу этим сказать, что наша

эстрадная певица должна была расплакаться перед телекамерой. Но попытаться, хотя бы попытаться взглянуть на себя трезвым взглядом в свете приоткрывшейся правды можно было. Однако ж этого не произошло. Причем здесь эстрада выступила вполне на уровне общества, которое в массе своей не ведало истинных масштабов правды о Чернобыле, и людей, номинально управлявших его мнением, но морально не готовых поделиться с обществом этой правдой. Так или иначе, телевизионное шоу по поводу чернобыльской трагедии стало, для меня во всяком случае, впечатляющим внешним знаком кризиса, в котором оказалась эстрада как средство выражения общественного сознания.

Между тем кризис этот назревал давно<sup>2</sup>.

Когда эстрада только-только начинала свое победоносное шествие, возникло и оформилось своеобразное противодействие этому шествию. Я имею в виду авторскую песню (странное, впрочем, название, родившееся, как мне кажется, в голове чиновника «по культуре»). С самого начала эта разновидность (индивидуальная, неофициальная, интимная) песни мыслилась как альтернатива безличной, официальной, браваурной эстрадной песне. Насколько мне известно, инициаторы и поклонники движения сами подчеркивают, что оно выступило именно как реакция на эстрадную туфту.

Я бы выделил четыре основных направления авторской песни, как они зародились на рубеже 50—60-х годов. Прежде всего это то, что сочинялось во время и для туристских походов, геологических, океанографических и археологических экспедиций, зимовок и т. п. Далее это песенная лирика на темы лагерной жизни, заявившая о себе по мере реабилитации и возвращения репрессированных. Потом это городская романтика и обыденщина (двор, работа, ресторан, пустынные ночные площади и улицы). Наконец, это рафинированная песенная продукция «антикварного» характера (поручики, гусары, генерал-аншефы и

т. д.), впрочем, со злободневным подтекстом.

Любое разделение условно, и я не особенно настаиваю на своем. Мне просто хотелось обратить внимание на тематику этих песен. Определенная и довольно значительная часть городской интеллигенции, не пожелавшая приспособлять свое сознание к тому социально-культурному стандарту, который утверждался официальной прессой и туфтовой эстрадой, с энтузиазмом устремилась в мир авторской песни, где можно было, махнув на все это рукой, уйти с друзьями по «тропе, омытой ливнем», в Звенигород, или унести мысленно во времена кавалергардов, или выслушать, содрогнувшись душой, пьяную исповедь бывшего лагерного начальника, или, исполняясь неизъяснимой тоски и отчаяния от зрелища безобразий, творящихся вокруг, от сознания своего бессилия изменить хоть что-нибудь, от тяжелых мыслей об ускользающей жизни, сесть в «последний, случайный» троллейбус и кружить, кружить, кружить по ночному городу, прижимая к сердцу горсть своей обиды и заклиная себя оставаться честным и непреклонным, несмотря ни на что... (Ирония в моем пересказе относится не столько к тексту песен — я понимаю разницу между туристской «романтикой» и высокопробной грустью Окуджавы, — сколько к их аудитории).

Нонконформизм — вот что было написано на знамени бардов и вот что привлекло к ним их публику. Усмешка и печаль определяли интонацию их песен. Не будучи зависимыми ни морально, ни материально от эстрадной индустрии, барды создали целый ряд убедительных и запоминающихся типажей кризисного времени. Они попытались говорить правду, не обращая внимания на внешние запреты. Они в отличие от эстрадников, только имитировавших душевный диалог с публикой, действительно пробивались к душе и уму слушателя, и выше награды, чем его, слушателя, сочувствие, понимание, для них в ту пору не было и не должно было быть.

Однако ж эстрадный характер всей нашей общественной жизни коснулся и авторской песни. «Блажен муж, иже не иде в совет нечестивых...» В правоте этой библейской мудрости лишний раз убеждает эволюция наших бардов. Впрочем, убеждает от противного. Вместо сочувствия и понимания они со временем возжаждали успеха, то есть вещи конформной и совершенно нечестивой, и в конце концов благополучно прибыли на эстраду и телевидение

<sup>2</sup> Характерной его приметой в 70-е годы стали, например, ежегодные концерты в День милиции, на которых сияли эстрадные звезды только первой величины. Ни один профессиональный и даже общенародный праздник не мог соперничать в этом отношении с 10 ноября. Единодушие, с которым откликнулись на культурные запросы сотрудников МВД лучшие силы нашей эстрады в период щелочковского правления, просто замечательно: ни учителя, ни геологи, ни шахтеры — никто не был обласкан таким вниманием.

(которое во многом является придатком эстрады).

Я не хочу сказать, что они предпринимали для этого какие-то специальные ухищрения. Я хочу сказать, что они в известном смысле подчинились порядку вещей, против которого сами же и восставали. Мне возразят: ну и что же плохого в этом — они же принесли с собой элемент искренности, вдумчивости, иронии, интеллигентности, которого так не доставало эстраде! Я отвечу, что, во-первых, самые искренние, самые вдумчивые, самые ироничные и интеллигентные авторские песни на эстраду все-таки не попали и был все-таки неизбежный отсев, а во-вторых, те из них, которые пришли в непосредственное соприкосновение с эстрадной песней, на этом, казалось бы, враждебном для себя фоне стали восприниматься как не очень-то и чуждое явление: положительные качества, присущие авторской песне, в новой среде оказались не то чтобы обесцененными, но — уцененными в соответствии с чисто эстрадной конъюнктурой.

Совсем недавно, отвечая на вопрос корреспондента: «Отчего же бардовская песня — прекрасный противовес серятине, — так ярко заявившая себя в начале 60-х годов, не овладела умами и сердцах молодежи, не восполнила утрату духовных начал, порождаемую официальной эстрадой?» — один из зачинателей движения Ю. Ким сказал: «Убежден, так оно и было бы — не будь последующих «откатов». О, если бы дело освобождения наших душ последовательно продолжалось!» («Литературная газета» от 11 мая 1988 года). Это очень ценное свидетельство. Правда, не совсем ясно: слово «откаты» что означает — кто-то откатывал или сами откатились? Точно так же — и «дело освобождения»: не дали продолжить или сами не продолжили?

Впрочем, повторяю, говоря об эволюции авторской песни, нельзя забывать и о ее полноправных соавторах, то есть слушателях. Ведь за тридцать лет ее истории и их сознание претерпело некоторые важные качественные метаморфозы. Если в самом начале поклонники авторской песни были более свободны в том смысле, что обладали потребностью и вкусом к самостоятельному отысканию и индивидуальной оценке идей, содержащихся в том или ином произведении, часто нелегко распознаваемых, то поколение 70—80-х во многом утратило эти свойства и ожидало от бардов уже не столько постановки социально-политических и нравственных проблем, для решения кото-

рых необходима была напряженная работа души, сколько готовых рекомендаций, даже лозунгов, снимавших необходимость в такой работе. Иными словами, даже интеллигентная публика (а ведь поклонники бардов — сплошь интеллигенты) готова была поступиться своею свободой, лишь бы кто-нибудь указал, как жить и что делать.

Корреспондент «Литературной газеты», которому отвечал Ю. Ким, обратился с вопросом к Е. Камбуровой, высказавшейся о «воинствующей бездуховности» поклонников рока, этих ловителей кайфа: «Простите, а когда ночью идет длинной колонной многотысячная масса участников слета КСП с факелами в руках и песней Булата Окуджавы «Поднявший меч на наш союз» на устах — как вы это назовете? Разве здесь нет той же эйфории единения?» И получил ответ: «Нет, здесь единство духовное, а не физиологическое».

И все-таки... Факельное шествие — и духовность? Если уж люди интеллигентные, с развитыми чувствами, с известным интеллектуальным и культурным потенциалом ударились в фанатизм, то плохи наши дела. Скажут: ну что вы опять придираетесь, ну собрались вместе честные, молодые, хорошие ребята, поклялись словами любимой песни составить союз против всего подлого, низкого и так далее и пронесли как один по городу свою клятву — ну что тут плохого? Вон, мол, и Лев Толстой в «Войне и мире» сожалел о том, что честные и добрые люди никак не могут объединиться в отличие от бесчестных и злых. Ведь все это в лучших же видах! Да, но тот же Лев Толстой говорил, что честность — это привычка, а не убеждение. Выносить слово «честность» на свое знамя не интеллигентно как-то. Объединяет по-настоящему все-таки делание добра, но не лозунги. А что касается лучших видов, то надо помнить, что и Чернобыльская АЭС была задумана в лучших видах. Мы очень долго (даже когда все расстроилось вконец) шли стройными рядами с лозунгами. Настало время общего делания и раздумий наедине с собой.

Между тем после десятилетий отчаяния, угара и неуверенности в завтрашнем дне коллективная тяга к самозабвению продолжает управлять значительной частью публики. Думаю, со мной согласятся многие, если я скажу, что в удовлетворении этой тяги ни эстрада, ни авторская песня не могут конкурировать с анфантерриблем нашего «масскульта» — роком. Он добился успехов, о которых как эстрадники, так и барды и помыслить не могли. Ему зави-

дуют, к нему присматриваются и приравниваются театр, серьезная музыка, поэзия, цирк, спорт и, конечно же, эстрада.

Я не специалист по року. Буду говорить лишь о том, что просочилось на телевидение (иными словами о той его разновидности, которая уже успела эстрадизироваться).

Отношение общественного мнения к року определяется противоборством двух тенденций — запретительной и приспособительной. Судя по всему, побеждает последняя. Для нее характерен «реалистический» взгляд на вещи. Ее представители, как правило, говорят своим оппонентам: «Будем реалистами: любые запреты лишь подстегнут интерес к року, и интерес этот обязательно станет нездоровым — запретный плод особенно сладок». А поскольку рок неизбежен, сторонники этой точки зрения предлагают приспособить его к задачам эпохи, влить в него серьезное общественно-политическое и нравственное содержание. При этом учитывается, что поклонники рока — это прежде всего подростки и молодежь. Взрослые, пытаясь выявить корни поголовного увлечения им советских тинэйджеров, пришли к «мужественному» и «реалистическому» выводу о том, что во всем виноваты отцы, которые лгали и подавляли личность, что в связи с этим дети должны были окунуться в рок и что надо в конце концов позволить им окунуться. Дети, в первые месяцы перестройки еще встревоженные за судьбу любимого ими рока, мгновенно успокоились, и наиболее ершистые из них на вопросы прессы и телевидения стали отвечать с вызовом: «Вы нам врали всю дорогу, вот мы и танцуем и поем, что нам нравится, и будем! А вашу туфту пусть ваши «совки» поют».

Слова «мужественный» и «реалистический» я взял в кавычки вот почему. Во-первых, лгали и подавляли личность не все отцы, а во-вторых, даже если бы это именно так и было, нельзя оправдывать ложью старшего поколения право молодых на воспроизводство лжи в новых формах, на ином уровне и с программным безудержем. Короче говоря, если не правы отцы, то отсюда еще не следует, что дети правы. Им свою правоту еще предстоит доказывать всей своей жизнью. Правога может быть лишь позитивной. Она — преодоление лжи, а не противопоставление одной лжи другой.

Говоря так, я менее всего принимаю сторону запретителей рока. Нереалистичны и неэффективны обе точки зрения. Чтобы эффективно противостоять року как спосо-

бу осмысления мира и существования, надо выявлять и указывать, кто конкретно из отцов и в чем именно лгал и подавлял, а не валить всех в кучу, давая таким образом повод молодым думать, что свальный протест — это именно то, что следует противопоставить свальной отцовской лжи.

Давайте же действительно будем реалистами: ни положительного, ни прекрасного рок не несет с собою. У него есть своя эстетика. Но красота? Вряд ли. Положительное? Говорят, что он неумно вольнолюбив, не знает и не хочет знать никаких канонов, раскрепощает личность. Но канон все-таки есть: и в исполнении, и в движениях, и в одежде, — и попробуй ему не подчиниться. Что же касается раскрепощения, то это прямо-таки «маскульт» личности, который на поверку есть не что иное, как культ обезлички. Еще говорят, что рок в лучших своих образцах по-настоящему драматичен и гражданствен. Однажды я видел по телевизору, как на столычажном стадионе мировые рок-звезды ненатуральными голосами и «двигательными медитациями» (термин исследователей рока) выражали свой фаллический протест против ядерной угрозы, и мне тогда вспомнились стихи, написанные Т. С. Элиотом более шестидесяти лет назад:

Вот как кончается свет  
Вот как кончается свет  
Вот как кончается свет  
Только не взрывом, а взвизгом.

*(Перевел Мих. Зенкевич)*

Напомню: рок меня интересует здесь только лишь как самый последний и, казалось бы, самый опасный соперник эстрадной песни. Отдельные рок-звезды и целые рок-группы не упускают случая, чтобы подчеркнуть свою абсолютную несовместимость с эстрадой. Но я так думаю: они все-таки найдут общий язык. Эстрада и рок если и противостоят друг другу, то как два ствола, питающиеся из единого корня. Ф. И. Тютчев писал в одном из своих стихотворений о том, что пошлость — бессмертна.

Впрочем, так ведь недолго заслужить упрек в риторике и идеализме. Однако ж если мы переняли поп-арт и рок у Запада как некую объективную данность, то отчето бы нам не перенять у Запада и опыт противодействия всему этому — у Франции, Японии, отчасти у ФРГ. Японцы, например, на основе скрупулезных социологических исследований пришли к выводу, что увлечение всевозможными разновидностями поп-арта и рока снижает производитель-

ность труда, что у работника с низкой общей культурой низка ответственность за порученное дело, и хозяева некоторых фирм уже ввели как обязательное требование к сотрудникам (от конвейерного рабочего до директора) посещение занятий по истории мировой литературы, музыки, живописи (высокооплачиваемые искусствоведы, отличные репродукции, записи великих певцов и музыкантов и т. д.). Это уже не идеализм.

Быть может, и у нас введут такое. А пока для нашей массы нет доступной альтернативы поп-арту. Я вспоминаю еще один концерт на стотысячном стадионе — Пласидо Доминго на «Уэмбли». Я не думаю, что сейчас мы смогли бы собрать такую же аудиторию в Лужниках на концерт В. Атлантова или Е. Нестеренко. Нужны ли такие концерты оперных певцов — это уже другое дело. Но наша публика, по существу, лишена возможности выбирать<sup>3</sup>.

Лишь в последнее время наметилось известное просветительское оживление в прессе и на телевидении. Передача об оперном искусстве, которую ведет Зураб Соткилава, «Музыка в эфире» (ведущий Святослав Балза) завоевывают все большую телевизионную аудиторию. Даже такие, казалось бы, эклектичные передачи, как «До и после полуночи» и «Взгляд», непредставимые без эстрады и рока, по-своему работают против эстрады и рока: когда после кадров об одинокой старушке или детдомовцах идут клипы с бисерным и пластмассовым протестом звезд эстрады и рока против наших бед, фальшь «масскульта» обличается сама собою. Не случайны нервные звонки на студию: больше музыки и рока! (То есть: заслоните же от нас настоящую жизнь с ее проблемами!) Вот почему самое главное — это предложить молодежи настоящее дело, большое, честное, благодарное и осмысленное. Эта задача в равной мере касается молодежи и старшего поколения. Сумеют ли политики и экономисты отработать и утвердить четкую формулу стабильности нового жизненного уклада, вселяющую уверенность в будущем? Сумеют ли просветители (историки литерату-

ры, искусства, науки и собственно истории) сделать достоянием нового поколения вершинные достижения мировой культуры и воплощенные в них идеалы? Сумеют ли художники своими новыми произведениями облагородить души людей, создать достоверный образ их духовного раскрепощения (если оно впоследствии)? Вот вопросы, не ответив на которые мы будем обречены с умным видом выискивать позитивное там, где его нет, — в роке, в любых других всплесках «масскульта», имеющих быть в дальнейшем. Проблема святых затрагивает не только наше прошлое, но и будущее. Как писал Ф. М. Достоевский, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь».

Я мечтаю о том времени, когда публика откажется видеть в «масскульте» своего идола, своего вожденного мучителя и свое отношение к нему выразит чем-то вроде строк известной поэтессы:

Я думала, что ты мой враг,  
что ты беда моя тяжелая,  
а ты не враг, ты просто враль,  
и вся игра твоя — дешевая.

Я мечтаю о том, что потомки, учтя наш опыт, посмеются той серьезности и патетике, с которыми мы доказывали вещи аксиоматические.

Я мечтаю, что эстрада все-таки вернется в прежние границы — станет чисто развлекательным жанром (и это очень хорошо).

Сейчас же «субкультура» и культура пребывают в противоборстве, едва ли не смертельном для последней. Вот почему я мечтаю еще о том, что на первом же уроке по мировой художественной культуре (благо такой предмет собираются ввести) учитель расскажет детям миф об Орфее — великом певце и поэте, чье искусство вобрало в себя всю красоту мира и было настолько всесильно, что при звуках его лиры деревья шли за ним, хищные звери смиряли свой нрав, безжалостные силы ада вспоминали о милосердии. Но оно оказалось бессильным перед беснующейся толпой вакханок, оглушенных звуками своих кимвалов и дурманом, насмерть забывших Орфея камнями, растоптавших и тело и лиру его.

<sup>3</sup> Радио- и телеэфир, каждый атом окружающего нас пространства заполнены эстрадными ритмами и текстами, которые помимо воли входят в индивидуальное сознание. Все цитаты из популярных песен я приводил по памяти.

# КНИЖНИКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Зверев.** Поле надежды.— Валентин Курбатов. «Пред очами небесными грозными...».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Острогорский.** Забвению не подлежат.

## *Литература и искусство*

### ПОЛЕ НАДЕЖДЫ

**Виктор Конецкий.** Ледовые брызги. Из дневников писателя. Л. «Советский писатель». 1987. 543 стр.

**Виктор Конецкий.** Рассказы и повести разных лет. М. «Высшая школа». 1988. 399 стр.

Последнее время В. Конецкий стал помещать в своих книгах читательские отзывы о том, что им напечатано ранее. Возможно, кто-то сочтет, что лучше бы ему этого не делать. Однако отзывы уж во всяком случае не комплиментарны. Как раз наоборот. Хотя бы вот такое послание: «Вы не поэт, Конецкий, Вы — нищая трезвость, с малостью души и узостью сердца...» И дальше с прямоотой обезоруживающей: «...не ищи, Конецкий, оправдания своей тупости, ограниченности, ущербности душевной в войне, холоде, голоде...» (вспомнили, что двенадцатилетним его вывезли из Ленинграда по Дороге жизни). И еще немало в том же роде.

Ладно, две читательницы, сочинившие это письмецо, обижены за Пришвина, который в «Ледовых брызгах» назван скучным прозаиком. На Конецкого многие обижаются — он не дипломат, высказывается без полутонов и несогласных с ним раздражает до крайности. Перешеголяв тех ленинградских читательниц, В. Бушин недавно уличил Конецкого в страсти к порнографии и потайном единомыслии с усопшим португальским диктатором Салазаром. Это уже из области той «творческой полемики», которая на нашей памяти увенчивалась оргвыводами совершенно однозначного характера. Выступление В. Бушина справедливо отнеси к экстремистским или, мягче выражаясь, не очень типичным для сегодняшней атмосферы. Однако нервическая реакция на книги Конецкого сама по себе характерна вполне. Свидетельством тому и процитированное письмо, которое автор перепечатывает, воздерживаясь от комментариев.

Зачем? А затем, думается, что ему, автору, очень хорошо известно, как устойчив

взгляд на его писания, в этом письме выраженный. Оглядываться на такие мнения он, конечно, не станет, но привести их счел уместным, потому что в них схвачено (хотя оценено крайне тенденциозно) нечто действительно существенное для его прозы: нелюбовь к тому, что возвышенно именуется литературой, но точнее должно быть названо беллетристикой. Конецкий ведь и пытается перейти ее границы не в жанровом отношении только, но в том смысле, что «литература», по этой логике, есть непременно выпрямление, приглаживание, обеднение реальной жизни, куда-то ускользающей, даже предполагая безукоризненное мастерство.

Книги Конецкого буквально пестрят нападками на литературу: и «Соленый лед», и «Третий лишний», и «Ледовые брызги». Без теки печали готов он распрощаться с «сюжетами, фабулами и внешним действием», вообще со всей «художественностью». Конецкий не колеблясь предпочел бы ей хороший диктофон, так как диктофон по крайности избавит от того «обмана недоразвитых», который раз за разом получается на бумаге, где все «ложь, ложь, ложь...».

Тут давняя тема Конецкого и давняя его боль. Не каждому читателю дано эту боль расслышать. Чаще возмущаются. Да и как не возмутиться? Его, читателя, столь старательно отучали от трезвого взгляда на вещи, что, встретив эту вызывающую трезвость в литературе, он просто должен заподозрить тут душевную нищету, если не что похуже. А Конецкий прямо-таки провоцирует подобные подозрения, раз за разом повторяя, что не верит ни в какие «художественные фантазии, сочиненности, вы-

думанности», хватит того, что годами «суют ложь и в глаза, и в уши, и в нос, и даже в вены — уколы какой-нибудь глюкозы...».

Это из «Третьего лишнего», книги, вышедшей пять лет назад. Дата важна: ощущение усталости от лжи, теперь почти всеобщее, Конецкий распознал в себе давно, принял как писательский долг и, не дожидаясь, пока прорвутся плотины молчания, попробовал собственными силами осуществить прорыв к реальности.

Дело это оказалось трудным, и не только по условиям времени, но и по причине инерции некоторых представлений о литературе, не ладивших с подобной задачей, так что их пришлось преодолевать и долго и мучительно.

Перечитывая сейчас книги, которыми Конецкий начинал, достаточно ясно обнаруживаешь его литературные истоки. В них атмосфера, обозначившаяся после 1956 года, — романтическая, с изрядной примесью тогдашней наивности и больших ожиданий, хотя ветер перемен уже слабел, утася на глазах. Та атмосфера в писательской биографии Конецкого оставила по себе память «Завтрашними заботами», «Повестью о радисте Камушкине», другой повестью — «Кто смотрит на облака». Они принадлежат той именно беллетристике, которую Конецкий теперь не обинуясь именует ложью, хотя это совсем не самое точное слово, по крайней мере применительно к собственным его старым книгам. Лжи, которая лезет в глаза и проникает в вены, там, конечно, вовсе не было, но была схематичность, по-своему выразительно говорящая о времени, когда это писалось, — не слабая оттепель, а, как тогда верили, буйная весна. И это вот долгожданное половодье кружило головы, настраивая не замечать толщины наросших льдов. Главное, что они подались, а солнце само докончит дело.

Много лет спустя один знакомый Петра Ниточкина, любимого героя Конецкого, заметил: «Удивительная судьба у нашего поколения. Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев: морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки да прибауточки...»

Подразумевается поколение военных мальчишек, тех, кто переживал звездные часы молодости на исходном для прозы Конецкого рубеже 50-х и 60-х. В их отношении к жизни не все были шуточки, однако что-то неискоренимо подростковое действительно было.

Конецкий отдал дань этому романтизму, иначе не написал бы он «Завтрашних забот» со всеми или почти со всеми форму-

лами, отличающими подобное ощущение мира. Была своя притягательность в столь высоко ценимой ранними его героями свободе быть собой: поступать, как чувствуешь, и говорить, что думаешь, а если подражать, как подражали они Ремарку, то хоть по вольному выбору.

В нынешней категоричной его нелюбви к беллетристике как таковой много личного. Иронизируя над собою, в письме к Юрию Казакову Конецкий жалуется, что в жизни ли, в писательстве «никуда не денешься: идешь по штампу, хотя и ненавижу я его смертельно». Это написано в сентябре 1979 года. Он успел напечатать «Соленый лед», «Среди мифов и рифов» — вроде бы другой уже писатель, но все не оставляет его тревога, что опять получается сплошь беллетристика, пусть и подновленная, подгримированная придуманной им повествовательной формой, которую Конецкий впоследствии назовет «этаким факто-фрагментарно - автобиографически - саморекламным жанром».

Тревога эта чрезмерна даже в отношении старых его вещей, принадлежащих обычной литературе вымысла. Что касается хождения по штампу и вообще «беллетристики», принимаемой за реальную жизнь, то это возникало неотвратимо. Так всегда бывает в периоды начавшихся перемен, когда они еще не очень ясны по своему существу и последовательности и общественное брожение направляется тем самым «духом протеста против всего устоявшегося», который свойствен героям раннего Конецкого, военным мальчишкам, испытавшим, как уже прямо о себе написал недавно автор, «ощущение безнадежного ужаса» в марте 1953-го и, должно быть, еще более сильный шок три года спустя.

К концу 50-х годов у них за плечами был опыт достаточно обширный: «блокада, эвакуация, казарма, погоны, служба, безденежье», — в том письме Казакову Конецкий говорит о самом себе, а мог бы с небольшими изменениями сказать то же самое о каждом из основных своих персонажей. Вероятно, еще и оттого, что опыт накапливался чуть не целиком тяжелый да травмирующий, так пленила их всех недолгая тогдашняя весна, так захватило брожение, ею вызванное.

Лишь через годы на печальных примерах, что были рядом, и на горьких уроках, которые пришлось изведать самим, удостоверились они, как эфемерен перед силой реальности оказывается живший в них дух протеста и как наивно рассчитывать, будто пошатнет он «все устоявшееся».

Брожение угасло, остались только воспоминания и кое-какие этические формулы, по инерции еще продолжавшие существовать, хотя всего лишь в качестве отвердевшего стереотипа.

А потом пришло состояние, о котором будет сказано: «Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев».

Все написанное Конецким после повести «Кто смотрит на облака» было попыткой понять, почему это случилось с его поколением. Вот отчего его книги воспринимаются и как фактография двадцатилетия, которое погасило надежды, не предложив компенсации за растроченный энтузиазм того поколения, и как поиски выхода из тупика, как хроника взросления вопреки обстоятельствам, помогавшим лишь бурно дряхлеть.

...Мемуарный очерк о Казакове Конецкий напечатал в «Ледовых брызгах» в самом конце. А открыл книгу повестью, названной «Никто пути пройденного у нас не отберет». Повесть—дневник плавания в качестве дублера капитана на «Колымалесе» до Певека и обратно. Воспоминания — что-то вроде документального портрета: много писем, цитаты из критики. Отзвуки давних литературных событий. И конечно, россыпь мыслей о писательском ремесле. Но на самом деле и повесть и мемуары об одном и том же: о пути, от которого не отрываться.

Повесть и начинается не 22 июня 1979 года, когда «Колымалес» должен отплыть на Мурманск, а ровно за тридцать восемь лет до этого дня. Раскаленное украинское небо над Диканькой, принявшей ленинградских дачников, толпы обезумевших беженцев, горящие эшелоны с ранеными и детьми. Потом вымерзшая комната на канале Круштейна, двор, где штабелем складывают трупы. И только по весне дорога через Ладогу, обстрел, захлестывающая кузова таляя вода...

«Пусть это звучит выпрепно,— напишет Конецкий,— но мое поколение военных подростков были и есть дети 1941 года: тогда мы научились любить отечество».

То, что предшествовало войне, для этого поколения сохранилось обрывочными образами, которые приобрели отчетливость и сложились в определенную цепочку лишь годы спустя. Так у Конецкого было с детским воспоминанием о молчаливой очереди на передачу в Крестах, где сидел муж тетки. И с другим воспоминанием — первый военный октябрь, убежище напротив Александринки, бульканье в стакане вождя, произносящего по радио историческую речь.

Была заветная тетрадка с фотографией Сталина в белом кителе у южного моря. А через несколько лет — первая седина в шевелюре морского лейтенанта Конецкого: его подчиненный во время выборов зашел в кабину для тайного голосования и просидел там почти час. Оказалось, что бланк бюллетеня он заполнял стихами, посвященными тому, кто «своим гением согревает человечество». Эта формула стояла и на листке, подклеенном к «Краткому курсу», полученному с письменным напутствием от отца писателя, прокурора, по выходе в отставку занявшегося такой литературой. Когда-то отец окончил юридический факультет Петербургского университета.

Зачем всего этого касаться, описывая арктический рейс, каких и до «Колымалеса» Конецкий совершил десяток с лишним? Но ведь повесть ничуть не схожа с путевыми заметками, в действительности это книга итогов.

Задачу свою Конецкий в том и видит, чтобы, по-герценовски выражаясь, распознать отражения истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Личное интересно — и автору, и читателю — только как проявитель типического, воссозданного неисправленным документом, каким становится и биография повествователя.

Отсюда вся раздражающая иных «нищая трезвость». Изгнание беллетристики, поскольку сами документы завязывают узлы крепче не то что фабульных, а настоящих морских. Доверие исключительно к тому, что реально было и оплачено заблуждениями, за которыми тоже скорей история, чем личность автора, и прочно вписано не в один только биографический контекст, а в обозначенный самим заглавием, где местоимение стоит во множественном числе.

Такого у Конецкого прежде не было: ни в «Соленом льде», ни во «Вчерашних заботах». Как вариант названия для «Вчерашних забот» предполагалось — «Контаминация»; Конецкого беспокоило, как бы читатель не усомнился, что имеет дело со знающим человеком, который ничего не выдумал, а просто по-особому соединил увиденное собственными глазами.

Однако никакие контаминации дневника с вымыслом сами по себе решения дать не могли. Его вообще странно было искать в сугубо повествовательной форме, как будто она так уж много значит, если нет за нею готовности к безусловной, до конца выговоренной правде. Когда перед нами «выдуманности», эту неготовность или невозможность скрыть легче, однако в прозе, посто-

янно убеждающей читателя, что она правдива в прямом, буквальном смысле, всякая «сочиненность» оказывается на виду. И уж как тут не возмечтать о диктофоне, раз на бумаге снова и снова выходит «ложь».

В действительности освобождение от вымыслов полностью, без остатка неосуществимо по самой природе литературы. Но осуществимо другое, та «беспощадность в рассматривании самого себя», которую Конецкий ценил у Казакова, связывая это свойство с чеховской выучкой. У него самого оно по-настоящему проявилось только в последней повести. И этим книга сразу поднялась на порядок выше всего написанного прежде.

С Казаковым они спорили чаще, чем соглашались, и спор шел главным образом о том, как добиться, чтобы в написанном «чувствовалась серьезность и жизнь человеческая». Конецкий вспоминает, что казакские рассказы его «возбуждали и заводили», потому что «на нескольких страницах то как-то медленно, то мгновенно ощущались и неизбывность, и конечность времени и времен». Сказано несколько романтически, но это понятно: в представлениях Конецкого проза Казакова являлась воплощенной художественностью, а художественность непременно включает в себя романтику и красоту.

«Серьезность и жизнь человеческая» — они, конечно, у Казакова не исчезли, но с годами как-то слабели, вытеснялись отдаленной все более виртуозной, но все труднее доказывавшей, что она необходима. Когда он начинал, была в этом избытки красок своя высокая цель, о которой скажет Конецкий: люди разучились «радоваться чувственному миру», и надо было вернуть утраченное ощущение «плоти жизни, и смерти, и любви, и питья, и охоты». Но время переменялось, пришли иные надобности. А то начало, которое просвечивало у Казакова в таких вещах, как «На полустанке» или «Легкая жизнь», где он намного раньше других сказал о сбежавших из деревни парнях «без святого в душе и сердце», — куда-то оно ушло, заглохло. Не развилось, подмененное все той же «беллетристкой», хотя бы и художественной необычайно.

Такие вот испытания выпали на долю писателя, пропитанного атмосферой конца 50-х годов и не нашедшегося, не преодолевшего тогдашних «штампов», когда атмосфера сделалась другой. Конецкий изживал «беллетристику», тесня ее документом, Казаков — добиваясь предельной точности слова, но все это оказались ненадежные противоядия. Прочитав «Соленый лед», Казаков

написал давнему своему адресату: «Все разное у нас», — но по сути все было схоже, если подразумевать не такие частности, как жанр и материал, а творческую да и духовную задачу. Нужна была «беспощадность в рассматривании самого себя», каким сделал тебя пройденный путь во всех его изгибах и перепадах, predetermined историей. А время такой беспощадности мешало, склоняя к ностальгии по ушедшему умонастроению молодости и постепенно внушая горькое чувство несостоятельности, о котором Казаков сказал в интервью за три года до раннего своего ухода: «По мере того, как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал недописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках...»

Очерк о Казакове назван у Конецкого грустной повестью. Другая тональность звучала бы дико, и не только из-за обстоятельств жизни Казакова, а по той причине, что открывается типичная драма писателя из поколения, к которому они с Конецким принадлежат.

О себе Конецкий тоже ведь пишет не весело: с вьедливостью, желчью, часто с иронией, но не с тем беспечным юмором, который присущ людям, не ведающим сомнений, что они правы перед миром и перед собой. Этой уверенности жизнь не подарила в том поколении никому, кроме самолюбленных.

Она вообще была скуповата на подарки, правда, сделав Конецкому хотя бы один — море, «поле надежды», как сказано в поразившей его надписи на поморском кресте.

«Зачем же тебе опять море? Зачем бросать кровное дело? Пусть море снится тебе, как мне музыка. Тебе надо забираться поглуше куда-нибудь и работать, работать». Это из письма Казакова. 1959 год.

А вот что через много лет написал Конецкому пестовавший его Виктор Шкловский: «Не растрчивай море, не укорачивай и не уменьшай его, — нам незачем жить, если мы не любим его, и что близко и что далеко. Надо идти дальше, надо опять искать новые земли, завоевывать полюс, такой далекий, что о нем нельзя даже справиться у птиц».

Сам же Конецкий, устав отвечать на вопрос, почему он плавает, выбрал в итоге толстовский афоризм — «энергия заблуждения» — и сказал о нехватке этой энергии как главной причине, толкающей его в путь.

Заблуждение, как это понимал Толстой, в родстве с дерзостью, питаемой сознанием внутренней нескованности и силы. Когда буквально на глазах убывала в обществе

духовная энергия, заблуждение оказывалось притягательно уже как возможный способ сберечь оставшуюся, если не пробудить новую. Прозаик, забрасывающий рукописи, чтобы месяцами мотаться то в Антарктике, то у Игарки, для многих выглядел заблуждающимся в самом прямом смысле слова. Казаков предостерегал его от этого. Но прав был все-таки Шкловский.

Этой правоте долго не понимали. Странствия Конечкого выглядели просто охотой за литературным материалом. Как бы провозирая подобные суждения, он поставил эпиграфом к «Соленому льду» слова Торо: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре», — и выслушал от критиков выражение солидарности с американским философом. Кошек, разумеется, можно было пересчитывать где-нибудь в Купчине. Сложнее было, не покидая родной ленинградской набережной, почувствовать в себе проснувшуюся энергию заблуждения.

Море такого чувства тоже не гарантировало, но поспособствовать ему могло. Однажды Конечкий написал: «Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря». Похоже на цитату из Экзюпери, однако не стоит обманываться внешним сходством. Романтика здесь далеко не главное. Для Конечкого главным было, строя собственную жизнь как заблуждение, попробовать таким путем уйти от «штампа». То есть справиться с самой трудной задачей, и, понятно, не только литературной, ибо не литературы ради необходимо это ощущение свободы.

В том, что оно легко может оказаться мнимым, Конечкий имел возможность удостовериться чуть не с первого же плаванья. А все-таки он верил, что море воспитывает людей, для которых мир «прост и побеждаем». Они «уже умеют побеждать пространства и скоро победят время». Ремарковские позы, принимаемые ими и на капитанском мостике и в портовом ресторане, придавали законченность стереотипа самому побуждению, заставившему искать в морской службе свободу от тоскливой обыденности, и формам, в которых такое побуждение осуществлялось.

Конечкий стал морским писателем, то есть выбрал для себя ту область литературы, где особенно прочны позиции «беллетристики» со всеми ее вымыслами поверх реальности. От такой литературы почти в обязательном порядке требуют, чтобы в ней была романтика, если не приключенческая, так поэтичная, с красочными картинами и броскими метафорами в духе Грина

или Паустовского. Одолеть это заданное ожидание оказалось делом очень непростым.

Впервые прочитав на Диксоне «Обыкновенную Арктику» Горбатова, Конечкий с трудом подавил в себе желание безотлагательно сообщить автору свой буйный восторг. Пора таких восторгов как будто миновала, однако изобилующими в прозе этого толка поэтическими истинами Конечкий опьянялся еще долго — свидетельствами тому «Соленый лед», даже «Третий лишний», книга сравнительно недавняя. И когда наступала минута подобного опьянения, то машинка выстукивала что-нибудь вроде: «Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое движется всегда, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов».

Выспренность эта может нравиться или не нравиться, но, во всяком случае, избавляясь от «беллетристики» она не помогает никак. Скорее наоборот. Всего любопытнее, что страницей выше или ниже можно было с уверенностью ждать заявлений, дискредитирующих сочинительство как писательскую установку.

Как одно с другим уживалось? Не странно ли, развенчав «выдуманности» теоретически, тут же демонстрировать законченные их образцы, да нередко еще впадая в литературность довольно откровенную, на грани имитации если не Грина, так, к примеру, Мелвилла или Конрада?

Пожалуй, не так странно, как неизбежно. И причина, думается, не в силе традиции, от которой морскому прозаику полностью не уйти. Причина в трудной совместности начал, сталкивающихся на «поле надежды», которое Конечкий бороздит вот уже четыре десятка лет. Один читатель, старый капитан, прислал ему стихи, призывающие рассказать в новой книжке про «ночные бденья и как моряк находит вдохновение в стихии и в себе самом», про чудиков, «которые по волнам вечно бродят», про тех, у кого «меж жизнью и мечтой еще не стерлись кранцы». Капитан воспринял Конечкого правильно.

«Душа... просит красоты с тем большей тоской, чем труднее обстоятельства». Эту запись Конечкий сделал в дневнике где-то возле устья Лены. Как ни удивительно, мысль явилась по прочтении «Пошехонских рассказов». Они восхитили чувством смешного, которое всегда в цене как «одна из инстинктивных форм самозащиты и самосохранения». Но «эстетическую ариаднину нить искусства» Щедрин потерял, потому что действительность злила его «до колик»,

меж тем как в ней всегда таится красота, пусть «растворенная в сложной смеси, как золото в морской воде». Для Конечкого неприемлем художник, который не старается ее из этой смеси извлечь.

Чтобы так читать Щедрина, нужна особая душевная настроенность, и не минутная, а привычная, как привычно ощущение простора, вольности и красоты, которые рядом, за кормой и по борту, среди «штормов и льдин». Так выразился в своих стихах капитан Антонов. Конечкий выразился более литературно, хотя сказал, собственноручно, то же самое: «Да, как бы фанфаронски это ни звучало, но надо идти навстречу жизни, надо идти на нее грудью, подставляя себя под поток ледяной лавы. И тогда хотя бы на мгновение чувствуешь крепость в ногах».

Воистину «море есть поле надежды». Но если бы таким утверждением у Конечкого все и кончилось, его книги сохраняли бы интерес только как эстетически более современный вариант литературной, кинематографической и песенной продукции, в которой усердно сотворяется легенда о чарах Севера, о «счастье трудных дорог» и т. п.

По счастью, этого не произошло, и не только художественный вкус охранил Конечкого от таких соблазнов, прежде всего удержала его от них «нищая трезвость», развившаяся с годами. Она помогла его прозе обрести качество исповеди, а исповедь сделала документом, которому можно доверять, даже когда он конструируется из вымышленного пополам с действительно бывшим.

Пусть присутствие в нем вымысла никого не смутит. Как бы ни старались превратить прозу в чистую фактографию, сделать ее она не может, не перестав быть собой. Дело совсем не в том, сколько, по обыденным меркам, реального, а сколько нафантазированного в повестях, условно определяемых Конечким как путевые записи. Что гадать, на самом ли деле посетил Институт красоты капитан Фома Фомич Фомичев, этот «забубенный Бурбон» из «Вчерашних забот», и вправду ли ему там сводили непрестижную татуированную русалку на груди? Придуманное, «беллетристика», точно так же несет на себе печать времени, как любой бесспорный факт, к нему относящийся. И говорит о времени по-своему не меньше, чем самые достоверные свидетельства.

Важно другое — умение почувствовать, когда «беллетристика» начинает мистифицировать реальность, и способность освобождаться от отвердевших иллюзий, сколь бы искренними они ни были. Это трудно,

в особенности для поколения, к которому принадлежит Конечкий, потому что иллюзии, создававшие романтическую жизненную установку, у причастных к тому поколению сохранялись слишком долго и довольно успешно защищали от дивящих бесцветных будней. Потом от них защищал юмор, обращенный вовне, а со временем и на самих себя, но давнего умонастроения, объективно потерявшего под собой почву, все же не поколебавший сколько-нибудь серьезно.

Был еще непродолжительный период, который Конечкий зафиксировал в «Третьем лишнем», — усталость и отчужденность, сознание собственной ненужности, даже неслепости рядом с прагматиками.

И только теперь, видимо, с «беллетристической» было действительно покончено. И уже нет причин грезить о диктофоне. Принесла свой плод «нищая трезвость», не покидавшая Конечкого и те десятилетия, что странствовал он среди мифов и рифов, но как-то стыдливо прятаясь, точно ей не место рядом с поэтическими воспарениями. Теперь без груза недоговоренности на душе можно оглядеть пройденный путь, с этой точки обзора высветившийся чем-то «новым, глубоким, гордым, горьким, шемющим, чем-то сладким, отчаянным, веселым, тоскливым... Обернись назад, взгляни в свой кильватерный след, вспомни: сколько чего за кормой осталось — это все твое, и никто того не отберет...».

А осталось в кильватере на самом деле много чего, с той блокадной зимы начиная и даже раньше, с той молчаливой очереди на передачу. Осталось ощущение непрерывного голода, не притупившееся и в курьезные годы, остался еще не взорванный собор на берегу Невы, который на средства, собранные всей Россией, построили в память погибших при Цусиме. Остались облезлые сфинксы разбомбленного Египетского моста, под которыми так славно было почитать «Кавалера Золотой Звезды». И Северный флот, беседы с матросами про дубовые лесополосы, приближающие к коммунизму, подъем затонувших в войну кораблей союзников, откуда на родной спасатель волокли что получше вплоть до стульчаков. И пальба с тральщиков по белым медведям, и Новая Земля в тот год, когда там испытывали нашу водородную бомбу. И Калыма, «центр всех скорбей». И чукотский берег — «такая мразь жизни, пьянство, очереди за вялым пивом и гнилыми папиросами, что и носа туда нет охоты высовывать».

Почти обо всем этом прежде было про-

сто нельзя написать, но помнящие «Вчерашние заботы» и «Третьего лишнего» знают, что Конецкий и тогда старался прорывать молчание или хотя бы ничего не приукрашивать. Любимый его Фома Фомич дорогого стоит, тем более по тому времени, — яркий был тип службиста-приспособленца, неуязвимо со всех сторон, поскольку закон бюрократического мышления простецким своим умом освоил он накрепко, вписавшись в эпоху так органично, как умели одни лишь эти великие мастера перестраховок с тройным запасом. Конецкому вообще свойственно замечать то, что долгие годы замечать не полагалось. «Какой простор!» — восклицали (и, может быть, даже искренне) туристы, которых его теплоход доставил на Енисей, а Конецкий видел только растянувшуюся на сотни километров ржавую полосу вдоль берега, бревна, упущенные с плотов. Настроившимся на «полярную героику» лучше было закрыть его книги. В них героика о себе уж во всяком случае не кричала. А когда требовалась по-настоящему, то почти неизменно для того, чтобы справиться с порядками, которые на «поле надежды» наносили ущерб пострашней любых природных бедствий.

Конецкий говорил это с возможной по тогдашним условиям прямоотой, так что не разоблачениями, на которые ныне кто не смел, выделялись его «Ледовые брызги». Выделялись они чувством пути, увиденного во всей его протяженности, без пропусков, без вымыслов, питаемых чуть ли не инстинктивным нежеланием полной истины. И без того, что Конецкий определяет как «неправдашный театр», в пристрастии к нему видя свойство своего поколения.

Можно назвать это не театром, а как-нибудь иначе: той же беллетристикой, или выдумыванием самих себя, или хождением по штампу, которое принимают за строительство личности, — вариантов много. Иронизировать или обличать тут всего легче, благо время сейчас другое, а так и тянет самому себе внушить, что пять, даже пятнадцать лет назад ты уже внутренне соответствовал сегодняшнему взгляду на недавнее наше прошлое, не выказав этого тогда только из-за препятствий, не твоей волей устранимых. Тех, кого Фридрих Шлегель когда-то метко назвал «пророками, предсказывающими назад», уже предостаточно, и число их, вне сомнений, будет множиться, поскольку нет более удобного способа оправдаться за все в минувшем.

Но Конецкому не нужны оправдания — и не оттого, что он был умнее и лучше остальных (хотя и видел острее, чем многие).

Не нужны они, как не нужна и обличительность, просто по той причине, что прямые жизненные дороги существуют только в убогом воображении, а реальный путь всегда искание, которое не обходится ни без иллюзий, ни без тупиковых состояний, преодолеваемых с нешуточной болью.

Отобрать этот путь не сможет никто, но можно — и даже очень легко — его исказить пристрастным рассмотрением. Честность взгляда с неба не сваливается, ее приходится устанавливать как норму. И дело это никак не минутное — ни в нравственном смысле, ни в художественном.

Наверное, документ, если под ним понимать, как Конецкий, запись по следам прожитой автором жизни, — средство для таких целей и вправду действенное, хотя, конечно, не единственное. Впрочем, и оно становится действенным, лишь когда выполнены по меньшей мере два условия. Одно из них — способность видеть в себе не примдонну, а только голос из хора. Но еще важнее второе: не столько даже умение, скорее безусловно для себя принятая этическая обязанность восстанавливать правду, как она понималась в той, давно отшумевшей жизни, а не с поправками, вносимыми задним числом. Искус выглядевший целомудреннее своего века велик, но вспомним Пушкина: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

Конецкий на лавры беспорочного провидца не претендует. Ему вполне достаточно осознавать себя человеком в потоке движущегося времени, которое приносит поучительные опыты, а с ними — духовное развитие, не признающее завершений. Такой выбор привлекателен многим, но главным образом тем, что, ставя заслон фикциям и ретуши, позволяет выразиться самому времени, прошедшему через конкретную судьбу. Является действительность, какой она реально была в эту нелегкую пору. Значит, можно спокойно выслушать упреки типа: «Вы не поэт».

Ну а «поле надежды» — оно, конечно, останется для Конецкого, даже если он никого не разыгрывает, уверяя, будто написал свою последнюю морскую книгу. В той полярской надписи сказано ведь еще вот о чем: «Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем». Перед мудростью поморов бессильны любые фомичевы, сколько их ни попадалось Конецкому от полюса до полюса. И не стоит удивляться, если он все же отправится на Занзибар пересчитывать тамошних кошек.

**А. ЗВЕРЕВ.**



«ПРЕД ОЧАМИ НЕБЕСНЫМИ ГРОЗНЫМИ...»

Геннадий Ступин. Ясная моя судьба. М. «Советский писатель». 1987. 141 стр.

Аннотация уведомляет, что «Ясная моя судьба» — вторая книга поэта. Легко было бы предположить, что автор молод, но минувшие годы научили нас остерегаться таких естественных предположений. И даже то, что вторая книга отстоит от первой всего на три года, увы, еще не дает повода говорить об удачливой судьбе автора, несмотря на безоблачное заглавие. Интонационная и духовно-стилистическая целостность сборника скоро убеждает внимательного читателя, что книга не написана в последние годы, а составлена — отобрана из большого числа уже существовавших стихов с памятью о единстве замысла.

Жаль, что такие ясные, спокойно-сосредоточенные стихи должны были дожидаться «удобного времени», а не работать тотчас с рождением, но тем отраднее, что и через годы они живы и насущны. Дело только в том, что под этой насущностью разумеется: если социально-этическую непреклонность В. Корнилова и В. Шаламова или азарт молодых «штюрмеров», то книга Ступина покажется старомодной и далекой от нынешних треволений; но если обернуться к вечерним или полуночным одиноким человеческим мыслям, которые сменяются не так резко, как общественные веяния, то окажется, что большинство стихов книги мучается с человеком и ободряет его самым необходимым образом. И сейчас, в пору общего колебания нравственных ориентиров (неизбежное следствие перестраивающихся времен), не оказываются ли такие сосредоточенные стихи устойчивыми веками, по которым можно держать коренную тропу? Сам-то поэт не очень уверен в том, что его речь будет сразу слышана верно:

Свой урожай, вырванный ветром  
широким,  
Зеленоватый, с клеклой землей на  
корнях,  
Крепко в охалке держу я, к груди  
прижимая,  
Некуда мне положить, некому в руки  
отдать.

Это даже не сомнение в нужности сделанного (держит ведь крепко), а тревога — с добрым ли сердцем встретят. Урожай-то подлинно еще «с землей на корнях» и часто не срезан в срок, а вырван широким ветром — времени ли? внутреннего ли смятения? Книга хранит след этого смятения, этот путь от стихотворения к стихотворению, пока мысль не окрепнет и не скажется с ясной и далекой в обе стороны силой.

Так ведь и в каждом сердце — мысль сначала проблеснет неухватимая, и если душа рассеянна, то так и упустишь без следа с тонким чувством досады. Но если сердце в поминутной готовности и слух отверст, она непременно вернется. «Всю жизнь глажу на небо, на тучи-облака, замороженно, немом, подавленно слегка... Нахмурено ли, ясно, зарею ли горит — оно всегда безгласно мне что-то говорит. О родине, о детстве и о моей судьбе... А если приглядеться — и о самом себе...» Это как раз вот такой промельк. Скользнул глазами, проверил в себе зоркость души, и только, — самой-то речи «неба» не разобрал, ограничившись общим предположением («о родине, о детстве...»).

Но замечательное смиренномудрие (вспомним старое слово) поэта как раз и состоит в том, что он не торопит ни себя, ни природу, не хватается за подсказки рассудка, который ко всякому росту готов придумать глубокомысленное окончание. Поэт только бережно записывает эти безмолвные, но отчетливые оклики, справедливо уверенный, что, если нечто похожее раздавалось в душе читателя, тот узнает в слове поэта свое или, может быть, это свое в него вложит.

Остановлюсь среди белого дня,  
Ночью проснусь одиноко —  
Кто-то по имени кличет меня,  
Тихо зовет издалека...

.....

Снова прислушаюсь и не пойму:  
Слышу и вроде не слышу...  
Голос мне есть. Чем отвечу ему?  
Страшно мне, словно он свыше.

Да ведь свыше и есть! Кто не останавливался внезапно в полях, в открытом просторе от этого явственного зова! Кто не смолкал перед мощной немотой ночного неба и кто из русских писателей не вглядывался в этот свод, ловя в его вопросе и надежде на ответ — в аустерлицком ли небе Толстого, в чеховской ли «Степи», в бунинских небесах, в заглядах Баратынского и Тютчева! Ступин продолжает этот извечный диалог:

Как ночами морозными звездными,  
Если неба не застит луна,  
Пред очами небесными грозными  
Жизнь моя до кровинки видна.

Тьма искристая, тысячеокая —  
Не слепое сияние дня, —  
Вся, огромная и глубокая,  
Что ты смотришь в упор на меня?

Вот как вышло, а начиналось вроде вскользь, на ходу, и нельзя было думать, что тема в конце концов разовьется с такой грозной всеобщностью и повлечет к мужественной готовности, с которой принимают жизнь, ее драматическую диалектику многодумавшие люди.

«Мои стихи — моя надежда, что есть порядок мировой», — пишет поэт, и в печали не теряющий спокойного самостоянья («Сердце плачет, а разум глядит»). Он помнит целительную, воскрешающую силу стихов — по пушкинскому признанию, сделанному в темный час: «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...»

В этом все подлинны поэты родня — они пишут, когда надо помочь душе упорядочить и превозмочь мир, чтобы выбиться из обступившей «самости» к другому, к преобразению частного, к прозрению общего свойства и смысла. Повседневная жизнь всегда будет в тяжком противоречии с не поддающимся однозначно-успокоительной разгадке понятием о смысле жизни, но творчество стремится одолеть это противоречие, суля «смысл, проникающий века», на месте обыденного хаоса. Из опыта лет и подсказки поэзии Ступин знает: «Больше и дольше меня все, чем владею случайно». Но знание это не переходит в слова, а все трепещет где-то на губах, как забытое имя, — вот-вот вырвется. Обычно оно выговаривается теснящими друг друга вопросами и, кажется, существовать-то может только в форме вопроса, в форме диалога с молчанием, с неназываемой всеполнотой.

Снова надвинулась ночь...  
В гулкой тиши мирозданья  
Спать и не спать мне невмочь  
От непосильного знанья.

Сердце все громче стучит  
В непримиримой обиде —  
Вечность все глуше молчит,  
Видя меня и не видя...

Снова забрезжил рассвет,  
И проясняются выси...  
Нет утешения, нет,  
Кроме взыскующей мысли.

У Ступина почти нет городских пейзажей и все тянутся степь без края, бедные поля, которые уже без укора глядят на оставившего их человека, ворона над степью (любимая, видно, птица — так она всегда независимо и «уместно» летит) и уже виденная нами ночь. Следом за поэтом глядишь не глядишь на все то же вековое, с дедов неизменное свеченье простого мира и вполне понимаешь, отчего теснятся в его стихах бедные, родные малости, которые неутомимо хочется перечислять все: «И поле тут слишком безлюдно, и роша тут слиш-

ком далеко, и ветер свистит неприятно, и солнце блестит одиноко...»; «И боком под дождем летящая сорока, и в лужах сморщенная сиверком вода, и развороченная, гиблая дорога...»

Вот все это, как ни странно прозвучит, и есть «взыскующая мысль», томившая не одну поэзию и прозу, но и русскую живопись — в левитановской «Владимирке», в саврасовских «Проселках», в шишкинских «Ржи», в васьильевском «Мокром луге».

В Ступине маяется степь, тоска простора, чей «волнистый бег ковыльный» не может и волк «своим железным бегом превозмочь», где «только ветер долгим стоном из конца в конец летит», где летом «жара — на версту», а зимой «такие блестят снега — невозможно глядеть без слез». Оказавшись вдали от степи, от своего городка, потому что «разметали по свету семью жажда жизни, нужда, беда», поэт увез их с собой в бессонницы, в свои «ночные мысли» (а он поэт по преимуществу «ночных мыслей») и теперь, как половина из нас, рассеянных по стране тою же «жаждой жизни, нуждой, бедой», истязает себя невозвратностью. Потому что прожита уже целая жизнь и возвращение будет обманом, как горько написано это Ступиным в стихотворении «Возвращение»: «Снилось мне, что я на родину вернулся...»; «Сердце плачет, не могу пошевелиться, дом мой рядом — не могу пойти домой. Все сбылось, и ничему уже не сбыться — я вернулся, но как будто неживой».

Сколько раз повторяли мы Гераклитову мудрость о невозможности войти в одну воду дважды — она все не стареет. Ступин выговорил нашу тоску резче и беспощаднее, чем родная ему «тихая лирика» 70-х, и в этой честной прямоте его сила.

...У Пушкина есть дорогие слова, которые не мешало бы повторять почаще: «Обряды и формы должны ли суеверно поработать литературную совесть? Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка?» «Повиновение принятым обычаям» — Ступин прошел, вернее, проходит эту школу, иногда повторяя уроки «близко к тексту», так что временами цитатно явствен Некрасов («Когда мне делалось невмочь... я убежал из дома прочь. Бежал я полем что есть сил... на берег речки выходил и на песок ложился там...» — слышите: «О, горько, горько я рыдал...»?), отчеклив Есенин («...да совсем позабыть про водку, что с родней на помине легка») и Тютчева узнаешь и Бунина. Но это не всегда от ученической оглядки, и если читать без желания уличить в повторе, найдешь,

что цитата порой подсказана не чужим стихом, а самой землей, которая эту поэтическую речь вобрала в себя. Ведь поэты не только «считывают» родную природу, они создают ее: так, некрасовскую Карабаху или пушкинское Михайловское иными, незнакомыми словами, кажется, уже и не напишешь — там каждый куст знает свое имя.

Ступин выбрал хороших учителей и вычитывал у них не прием, не «словесный обычай» — он искал общности миропонимания, он учился у предшественников видеть те стойкие начала, которые, как мильярд природной природы, не торопятся меняться с новыми узаконениями, а живут более потаенной и глубинной жизнью, храня исторический лик народа.

Поэт открывает сборник чудесно простым и глубоким стихотворением:

Ни причины, ни повода нет  
Для того, чтоб писать стихи.  
Только неба рассеянный свет  
Да поля, белы и тихи.

Да чернеет лес невдали  
Поперек моего пути,  
Небеса и поля разделив,  
Одинаковые почти.

До того природа бедна...  
Но зато, как минуешь лес,  
Переходит полей белизна  
Прямо в светлую высь небес.

Школа здесь полностью претворена в свое, в живое знание, и все дышит такой естественностью, как будто поэт и не писал стихотворение, он только настроил нашу память и очистил зрение.

А все поражения книги начинаются, когда «причина и повод» чересчур отчетливы и не могут быть скрыты даже за обманчиво естественной простотой выражения («есть люди, которых нет, хотя они и живут»), когда решается задача с заранее известным ответом, приводя стихотворение или к тусклой прямолинейности («Есть один бессмертный живот, и весь белый свет он сожрет»), или к любительской приближенности выходящего из подчинения сло-

варя («Так женщиной прекрасною и милой владеет муж, но ею не любим... а только бесконечно лишь терпим»). Когда запись опережает живую обдуманность, а расхожая мысль торопится вперед чувства.

Об этом, может быть, не следовало говорить, когда б это были случайные и неизбежные издержки живой работы. Но у Ступина это оборотная сторона его поэтики, его страстного тяготения к простоте, к тому пределу, за которым, как говорил Пришвин, искусство не нужно. Простота диалектична. Она естественна и сильна, когда не теряет связи с эпической родовой культурой. Она, по существу, есть следствие большого стиля и духовно здорового чувства. Когда же поэт следом за искушениями времени и вместе с ним устремляется к формуле, простота оказывается только повторением очевидного тезиса и при всей правоте не отвечает в читателе встречным прозрением.

Сегодня проблема камертона, различения действительно «взыскующей» мысли от мысли только блуждающей особенно остра и отчетливой видна, что повышению среднего уровня общей поэтической культуры сопутствует падение высшего уровня. Кажется, что теперь для восстановления слуха нужно смолкнуть и вернуться к простому, доверчивому чувству. Книга Ступина хорошо подтверждает плодотворность такого пути и хорошо передает благодарность молчаливо взыскующего русского простора, который навстречу внимательной душе открывается с желанной полнотой. Пути преобразования косной реальности в духовно-чистую материю не всегда безупречны в книге и многое осталось непретворенно-случайным — «записками на день». Но лучшие стихи глубоко современны тем, что поэт и в вышнюю пору поэтической растерянности шел, не поработав «литературную совесть» и помня о родине и душе.

Валентин КУРБАТОВ.

Псков.



### Политика и наука

## ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ

Е. А. Бродский. Они не пропали без вести. Не сломленные фашистской неволей. М. «Мысль». 1987. 461 стр.

Книга Ефима Бродского рассказывает о том, как в фашистском плену и в фашистской неволе среди военнопленных и угнанных на принудительную работу в Германию наших парней и девчат сами собой, стихийно возникали и действовали организации Сопротивления. Действовали в глубоком тылу врага, в условиях тотального немецкого «орднунга», не оставлявшего, ка-

залось бы, ни малейшей возможности для борьбы. Самые, пожалуй, ценные страницы в этой книге те, которые идут после основного текста. На них помещены имена 4925 человек, замученных в фашистских тюрьмах или казненных за подпольную антифашистскую деятельность. О подвиге этих людей мы узнавали много времени спустя по крохам благодаря самоотвержен-

ным усилиям историков, бравшихся за эту не очень-то «престижную», редко появлявшуюся в минувшие годы на печатных страницах тему.

Должен, впрочем, по личным воспоминаниям засвидетельствовать, что наши солдаты и офицеры в массе своей не считали попавших в плен однопольчан трусами или предателями. Каждый бывалый и не лукавивший перед самим собой фронтовик понимал, что условия в бою складываются различные.

Сколько же всего их было, наших воинов, попавших в руки врага? По данным вышедшей в ФРГ многоотомной «Истории второй мировой войны», написанной летописцами в мундирах бундесвера, в немецком плену оказались 5,3 миллиона советских солдат и офицеров. Только в 1941 году немецкими войсками на Восточном фронте было захвачено более 3 миллионов 350 тысяч пленных. Вряд ли была в истории другая такая война, в ходе которой (до ее завершения) одна из сторон захватила бы такое количество пленных. В этом факте нет позора для наших солдат, и признать его можно без ущерба для их памяти. Кто видел фашистскую кинохронику, запечатлевшую наших пленных, тот никогда ее не забудет. Бесконечные колонны изможденных, грязных, заросших, оборванных людей. Лица, преисполненные неизбывным горем. Отчаянные ухмылки в камеру, а в глазах такая безнадежность, такая тоска, что и через много лет сжимается сердце...

Такого обращения с пленными история до тех пор также не знала. По данным Института военной истории бундесвера ФРГ, до 1 февраля 1942 года погибло 60 процентов наших пленных, захваченных фашистами в 1941 году, то есть около 2 миллионов. Только за два месяца — с декабря 1941 по январь 1942 года — в немецком плену лишились жизни 600 тысяч советских солдат и офицеров. Дело тут, конечно, не просто в бессердечии, а в стратегии нацистского руководства. В его планы входило обезлюживание захваченных на востоке земель...

С 1943 года гитлеровская мясорубка, через которую пропускались военнопленные, заработала на более низких оборотах. Во-первых, после Сталинграда резко возросло количество оказавшихся в нашем плену немецких солдат, и в Германии не могли не думать об их судьбе, опасались ответных мер. Во-вторых, тотальные мобилизации изрядно сократили в Германии контингент рабочей силы. Труд военнопленных все шире использовался в немецкой военной промышленности (в нарушении международных конвенций об обращении с военнопленными), в других отраслях экономики рейха.

На этот период и приходится расцвет антифашистского Сопротивления в немецких лагерях для военнопленных. В книге Е. А. Бродского описывается деятельность центров этого движения, прежде всего наиболее разветвленной и многочисленной организации «Братское сотрудничество военнопленных», действовавшей преимущественно в Южной Германии и Австрии. Эту организацию провалили подосланные фаши-

тами провокаторы. Ее руководители и боевики, пройдя через пытки, были казнены. По счастью, не все участники Сопротивления попали в застенки гестапо. Многие, например, пробирались в оккупированные Германией страны и присоединялись к французским маки, югославским или итальянским партизанам, словацким повстанцам. Из числа советских военнопленных вышло немало замечательных своей энергией, находчивостью и несгибаемым мужеством борцов с фашизмом в Европе. Об этом автор пишет точно, обстоятельно, дополняя известные факты собственными разысканиями.

На страницах повествования идет речь об интернациональном единении противников фашизма в немецком тылу: русских, американцев, англичан, французов и, конечно, немцев. Члены не столь уж малочисленных антифашистских организаций и просто «неорганизованные» немцы, в силу нормальной человеческой порядочности отвергавшие гитлеровский режим, — кто помогал нашим соотечественникам куском хлеба или миской похлебки, кто предоставлял убежище, допускал к радиоприемнику и оказывал множество других услуг, которые могли повлечь за собой суровую кару властей.

Читая книгу, ловишь себя на мысли, что очень уж привыкли мы к осторожности и стереотипным оценкам в подходе к одной из самых горьких для нас глав в летописи минувшей войны. Не удалось до конца преодолеть инерцию прежних представлений и Е. А. Бродскому. Сам ли автор проявил тут робость или те, от кого зависело издание его труда? Почему бы прямо не сказать, что отношение к нашим солдатам, попавшим не по своей вине в жестокий вражеский плен, было во время Великой Отечественной войны (а тем более после нее) несправедливым? Их обычно записывали в предатели или в лучшем случае в категорию подозреваемых в предательстве и дезертиров. И если далеко не все, находясь в плену, вступали в прямое противоборство с врагом, это еще не причина для того, чтобы отказывать им в нашем сочувствии, забывая о презумпции невиновности, действующей и в этом случае. Ничьей славе это сочувствие ущерба не нанесет. Вряд ли есть нужда подчеркивать, как это сделано в энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941 — 1945», что «в плен к врагу попадали и советские воины, главным образом тяжело раненные, в бессознательном состоянии». Настаивает на этом, рассказывая о своих героях, и Е. А. Бродский. Думаю, что большинство все-таки оказывалось в плену потому, что у людей не было другого выхода сохранить свою жизнь и, если уж на то пошло, продолжить борьбу с врагом. А что касается воспитания патриотических чувств, то этому лучше всего послужит, наверное, твердая уверенность в том, что наше отечество милосердно и по отношению к своим сынам и дочерям, безвинно попавшим в руки врага.

**В. ОСТРОГОРСКИЙ,**  
*кандидат исторических наук.*

## В ПОИСКАХ «ЗЕЛеноЙ ПАЛОЧКИ»

Судьба Ясной Поляны находится сейчас в центре внимания нашей общественности. Требуют обеспечить надежную экологическую защиту усадьбы Льва Толстого, пишут о музейном комплексе и выборе для него места — Мурыгин верх или дом отдыха? Особо жаркие споры вызвал архитектурный проект этого комплекса. Высказываются принципиальные соображения насчет руководства уникальным музеем...

Все это очень важные, даже чрезвычайно важные вопросы. Однако пока ни разу всерьез не обсуждался вопрос о самой Ясной Поляне, о ее не музейном, а духовном статусе и о содержании работы, каким оно должно быть в этом избранном месте на земле.

При жизни Толстого его дом был духовным центром мира, притягивавшим к себе паломников со всего света. Людей гнала в дальнюю дорогу жгучая потребность встретиться с Учителем, чтобы в беседе с ним разрешить мучившие их вопросы совести: как избавиться от сумасшествия бессмысленной жизни, где искать «царство Божие», какому труду посвятить свою жизнь, чтобы смысл его не исчезал после смерти, в чем истинное бессмертие, истинное счастье?

Давно уже нет Толстого в Ясной, давно лежит он в ее земле на месте захоронения «зеленой палочки», таинственного талисмана его детства, сулившего счастье всем людям на земле. И — увы! — редко теперь кто-либо заглядывает сюда в поисках «зеленой палочки». Ясная Поляна из центра духовной жизни давно превратилась в один из центров туристического «паломничества».

Когда я вижу на маленькой площадке у яснополянских башенок скопление автобусов, привезших очередную партию торопливых туристов со своими чадами и домочадцами, ведущих себя в усадьбе, как на пикнике, я с тоской думаю: зачем они тряслись в этих автобусах несколько часов, а то и целые сутки? неужто только затем, чтобы посмотреть на дом, где жил писатель, увидеть, за каким столом он обедал, услышать, как он не любил царизм и защищал народ?.. Непременно услышат и об «ошибках» и «заблуждениях» Толстого. К этой поверхностной информации о жизни и деятельности одного из величайших людей планеты и сводится в основном полторачасовой рассказ экскурсовода, громко тут именуемого научным сотрудником. Результат такой работы наглядно проступает в вопросах нынешних «паломников», довольно часто в той или иной форме задаваемых в конце экскурсии: «Скажите, а Лев Толстой в конце жизни не повредился рассудком? Уйти из дома от такой обстановки! Чего ему не хватало?»

Статус Ясной Поляны должен оставаться таким, каким он был при жизни писателя. Возродить ее в качестве духовного центра мира — дело нашей национальной культуры, долг наш перед всем человечеством.

Ясная Поляна должна быть не просто «музеем-усадьбой Льва Толстого», а Духовной академией русского народа. Здесь должны работать не экскурсоводы, а подвижники, необыкновенные люди, для которых Ясная Поляна стала бы своего рода храмом науки о духовной природе человека. Такая научная работа могла бы, кстати, стать одной из сторон деятельности Института человека, о создании которого давно мечтают наши ученые и наша общественность.

Пока научной концепции о перестройке содержания работы в музее нет и вообще не слышно, чтобы кто-нибудь думал об этом, ибо в нем уже десятилетиями не ведется никакой серьезной научной работы. Такой работе по-прежнему препятствует концепция «двух Толстых»: с одной стороны, гениального художника, с другой — негодного учителя жизни, «помещика, юродствующего во Христе», — являющаяся альфой и омегой нашего отечественного толстоведения.

Нельзя мириться с тем, что самая ценная и наиболее актуальная сейчас для нас часть духовного наследия Льва Николаевича — его нравственная философия — лежит под спудом. Речь идет о многих томах его религиозно-философских сочинений, полностью ни разу не переиздававшихся в послеоктябрьское время для массового читателя. Юбилейное девяностотомное издание, в котором все это есть, давно стало большой редкостью из-за крайне малого тиража именно этих томов (5 тысяч экземпляров). Как он там «юродствовал», в чем «заблуждался» — может, с современной точки зрения не юродствовал и не заблуждал вовсе — нам до недавнего времени не позволялось судить самим, мы обязаны были верить на слово. В «заблуждениях» этих и по сей день пытаются убедить нас многочисленные комментаторы ленинских статей о Толстом, не замечая, что, повторяя давние доводы против Толстого в новых исторических условиях, они все больше и больше расходятся с реальной жизнью.

Мы живем в такое время, когда от каждого из нас требуется предельная искренность и честность и в жизни и во взглядах на жизнь — свою и общества в целом. Расплата за ложь есть ложь. А ложь, на какое-то время возобладавшая в общественном сознании, может принести неисчислимые бедствия народу. Можно лгать друг другу, но истории солгать нельзя.

Мы не можем теперь безнаказанно говорить о многочисленных «ошибках», «слабостях» и «недостатках» Толстого, не подкрепляя свои обвинения глубинным объективно-историческим и научно-философским анализом, не показывая на конкретных примерах, в чем именно он ошибался. Толстой, разумеется, мог ошибаться, как и каждый человек, но мы нередко ошибались и ошибаемся сами в определении того, в чем он ошибался, а в чем оказался прав.

И тут нам на помощь приходит живая история — не та, которую мы теоретически предпочитаем, а та, реалии которой управляют действительным ходом нашей жизни. И вот эта-то реальная история вопреки некоторым нашим скороспелым прогнозам не только не противоречит основным этическим и философским идеям Толстого, но, напротив, сплошь и рядом утверждает их как свои властные требования. И первое из них — требование нравственного самоусовершенствования.

«С давних пор существуют два способа перестройки и улучшения жизни: путь социальных реформ и путь нравственного самовоспитания, нравственного самоусовершенствования, которое так усиленно и страстно проповедовал Лев Толстой...—писал Федор Абрамов в своих записных книжках, как бы предвосхищая перестройку.— Исторический опыт показал, что одними социальными средствами невозможно обновить жизнь, достигнуть желаемых результатов. Нужен одновременно второй способ. Это — самовоспитание, строительство своей души, своего отношения к миру, иными словами, каждодневное самоочищение, самокритика, самопроверка своих деяний и желаний высшим судом, который дан человеку,— судом собственной совести».

Когда-то многим представлялось, что идеи непротивления злу насилием и нравственного самоусовершенствования, вера в совесть как «божественное начало» в человеке не понадобятся строителям нового мира, их заменит революционная этика социальной классовой борьбы.

Теперь, переосмысливая свой исторический опыт, мы судим иначе. Оказалось, что идеи социализма и коммунизма, основанные на узкоклассовом эгоизме, то есть на интересах одного-единственного класса — пролетариата, а внутри этого класса на еще более узком партийном эгоизме, вызывают недоверие, сопротивление народов, компрометируют идею социализма как общества социальной справедливости. (Один из самых близких уроков — гражданская война в Афганистане, после стольких жертв приведшая к идее национального примирения.) Когда узконаправленные эгоистические интересы начинают определять государственную политику, социализм вырождается в свою противоположность и приходится в рамках такого «социализма» вновь бороться за социальную справедливость и демократизацию.

Современная всемирная история, политическая борьба во всех цивилизованных обществах наглядно показывают, что ни прежние представления о социализме, о классовой борьбе, о насильственном свержении старого строя не соответствовали реальному положению вещей. Изменились формы борьбы за социализм, изменился и сам социализм.

Тем более удивительно читать сегодня рассуждения о социализме, которые еще восемьдесят лет назад были включены Толстым в «Круг чтения»:

«Существует два рода социализма. Оба они преследуют наибольшее благосостояние всех.

Один стремится достигнуть всеобщего счастья; другой — дать возможность всякому быть счастливым по-своему.

Один признает власть государства; другой не признает никакой власти.

Один требует монополии для государства; другой желает уничтожения всех монополий.

Один желает, чтобы управляемый класс стал правящим; другой желает уничтожения классов.

Один верит в социальную войну; другой верит только в дело мира.

Существуют только эти два социализма. Один в возрасте детства; другой — возмужалости. Один уже прошлое; другой — будущее. Один должен дать место другому. И каждый из нас должен выбрать между этими двумя социализмами или же совсем не признавать себя социалистом.

В. И. Ленин в своей концепции Толстого исходил преимущественно из анализа первой русской революции 1905 — 1907 годов: «Принадлежит главным образом к эпохе 1861—1904 годов, Толстой поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость»<sup>1</sup>. Учение Толстого в целом, однако, не ограничено ни узковременными, ни узконациональными рамками, оно ставит и разрешает проблемы всей современной цивилизации. Следуя отнюдь не духу, но букве ленинских статей о Толстом, мы связали это учение лишь с одной эпохой одной страны мира, превратив гиганта Толстого в карлика, придав ему несколько даже карикатурный облик раскаявшегося барина-грешника, «помещика, юродствующего во Христе». В статьях В. И. Ленина о Толстом не найти сколько-нибудь основательного анализа творчества и мировоззрения писателя (в таких коротких статьях это и невозможно сделать) — в них дана лишь его развернутая политическая характеристика и оценка с позиций сиюминутных нужд революционной классовой борьбы.

Зная Толстого, невозможно абсолютно отождествить его точку зрения с точкой зрения патриархального наивного крестьянина — она могла, конечно, в чем-то совпадать с крестьянским общинным сознанием (как совпадали с ним точки зрения Чернышевского, Герцена), но, в сущности, была точкой зрения всей духовной цивилизации на критерий и характер исторического прогресса.

Пушкин, а вслед за ним Гоголь и Достоевский указывали на губительный хаос современной цивилизации, на ее слепой, нецеленаправленный характер. Толстой стал бороться с этим хаосом, противопоставляя ему и казенному «порядку» в лице современного государства и официальной церкви иной порядок, устанавливаемый в жизни нравственным законом. Все силой своей души, своего художественного гения Толстой бросил на выработку и утверждение этого нравственного закона. Толстой звал человечество повернуть от хаотической, губительной цивилизации к цивилизации, управляемой разумом, опирающимся на нравственную волю. Воспитание в себе этой нравственной воли он считал первой обязанностью человека. Отсюда родилась его система самовоспитания, нравственного самосовершенствования.

Точка зрения наивного крестьянина мало кого интересовала, точкой зрения Толстого интересовался весь мир. Сам Толстой называл себя адвокатом стомиллионного земледельческого народа.

Толстого нельзя ставить на одну доску с участниками революции: он не «не понял», а не принял революцию, не мог «отстраняться» от нее, потому что не призывал к ней. «Кричащие» противоречия в произведениях, жизни и взглядах Толстого, о которых говорится в статьях Ленина, имеют совсем иной характер и смысл, чем противоречия крестьянских масс, участвовавших в революции. Они были не внешние, а внутренние, касались не отыскания способов перестройки окружающей жизни, а следования в своей жизни религиозно-этической доктрине. Толстой писал в дневнике в 1894 году: «Господи, помоги мне. Научи меня, как нести этот крест. Я все готовлюсь к тому кресту, к[оторый] знаю, к тюрьме, виселице, а тут совсем другой — новый, и про к[оторый] я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 20.

юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение к[оторой] дороже мне жизни. Должно быть, что я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутинок, кот[орые] сковали меня. И не от того, что нет сил, а от того, что нравственно не могу, мне жалко тех пауков, к[оторые] ткали эти нити. Нет, главное, я дурен: нет истинной веры и любви к Богу — к истине. А между тем, что же я люблю, если не Бога — истину?» Вот его подлинное противоречие, о котором он сам «кричал» всю вторую половину жизни и которое заставило его в конце концов, уже восьмидесятидвухлетним стариком, уйти из дома, разорвать все эти путы...

Надо наконец сказать правду: в советском толстоведении победила не точка зрения В. И. Ленина. Ленин не был догматиком, он как самое драгоценное наследство передал нам не формулировки и выводы в тот или иной исторический отрезок времени, а метод революционной диалектики. После Октябрьской революции Ленин уже иначе, чем в 1908—1911 годах, относился к духовному наследию Толстого, оно стало ближе ему, стало даже необходимым в свете тех новых задач, которые встали перед новым, социалистическим государством. Именно тогда Ленин формулирует мысль о том, что социалистическая культура не самородный дичок, она должна вырастать на почве всей мировой культуры, и «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Это был отход от прежней установки о «двух культурах». Именно тогда Ленин как глава социалистического государства распорядился Толстого напечатать полностью. Но такая теория социалистической культуры, основывающейся на демократическом социализме, не вписывалась в сталинский «социализм».

Революция как жест отчаяния, когда вздымаются «горы ненависти, злобы», накопившиеся в трудовых массах за всю многовековую историю рабства, бунт, которого так страшился Пушкин. Ни идеологом, ни «зеркалом» такой революции Толстой, конечно, быть не мог — ни вольно, ни невольно. С его точки зрения, любая насильственная революция имеет только внешние цели, она не является действительным коренным переворотом жизни человека и общества и поэтому не является действительно революцией.

Толстой никогда не уклонялся от политики и от политической борьбы. Но он защищал свою, альтернативную, политику и свою, альтернативную революцию — революцию духа. Ту самую, необходимость которой уже после Октябрьской революции почувствовал Вл. Маяковский:

...встает из времен  
революция другая —  
третья революция  
духа.

Именно в этой третьей революции, названной нами перестройкой, мы теперь сами участвуем, сравнивая по значению этот духовный переворот нашего сознания с переменами, произошедшими в октябре 1917 года. И именно к этой духовной революции призывал Лев Толстой еще сто лет назад.

**Борис СУШКОВ,**

*кандидат искусствоведения.*

Тула.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**МАРК КОСТРОВ.** Русское озеро. Очерки, рассказы. М. «Современник». 1987. 269 стр.

Посвящение, помещенное на шмуцтитule этой книги, звучит обязывающе: «Памяти Юрия Павловича Казакова». Знак этого имени, как камертон, настраивает на ожидание встречи со словом точным, гибким, музыкальным. И книга, в общем, не разочаровывает. В напечатанном ранее воспоминании о встречах с Казаковым автор приводит слова своего знаменитого друга, сказанные при знакомстве: «Месяца два валялась твоя рукопись на подоконнике... потом прочел, и захотелось эти места увидеть». Сужу по себе как читатель: такое желание становится все неотступнее, по мере того как углубляешься в путевые очерки Марка Кострова.

Называются эти места по-разному, но всегда былино, сказочно: Большой Мох, Моховщина, Болото, Полистовье. Укоренились они в средостенье трех областей — Псковской, Новгородской и Калининской. Здесь верховья речек и рек, что на все стороны русской земли стекают. Видно, сама судьба определила писателю стать прилежным летописцем Полистовского болота, что тянет его к себе как магнит. Это многолетнее хождение в великую топь могло бы показаться чудачеством, экстравагантностью, если забыть, какую науку жизни понемногу приоткрывали рассказчику здешние «народные университеты». В течение столетий болотные люди являли пример упорного самостояния «работящего и философствующего» мужика перед лицом тяжелой нашей истории и крутой государственности. В самое последнее время здешние жихари, «вольные, самосущие люди», почти сведенные на нет как тип русского человека, получили шанс сохранить и возродить себя. «Край был славен и явен, а будет еще славней и явней», — повторяет автор слова древнего отшельника. Дай бог, чтобы сбылось по сказанному.

Площадь Полистовья — километров тридцать на сорок. Островов на болоте, крупных и малых, до сотни — теперь они в большинстве словно покинутые корабли. Было время, поднялись на них и обжигались — «в обществе всякие люди нужны» — беглые, монахи, раскольники, вместе со старожилками и составили они ни на что не похожий мир, где все сообща и каждый наособицу. Подступал к Полистовью Батый — завяз в болотах, утопил в прорвах ляхи, а от аракеевщины не схоронили хляби — своя власть и без болотоступов достанет. Правда, из пахотной солдатчины аракеевского «госхоза» мужики разбежались, «и не с кем стало дальнейшие эксперименты разводить». Когда же снова пришли люди с характером не «для земли», а «для

переломов в жизни», Полистовье спаслось тем, что оказалось словно в прорезе на стыке трех областей, да и председатель был голова, с уполномоченными релял (лавировал), но крестьянство сумел оберечь. В войну здесь был партизанский край, и его порушили и пожгли немцы. Потом, как и в остальном «неперспективном» Нечерноземье, все покатилося под горку...

Нижет рассказчик одну на другую свои истории, то лукавые, то трагичные, и в каждой заключено драгоценное зерно литературного сюжета. Вот образчик — всего одно повествование о болотной «Америке». Пригнали в 1928 году на Моховщину экскаватор «Маррион» с американцем-техником и переводчиком при нем. Далеким начальством замышлено было «в целях человеческого блага» спрямить в стрелу речные извивы, соединявшие верхнее озеро с нижним. Посмотрел один из мужиков на работу ударника капиталистического труда и призадумался. Чтобы проверить свою догадку, построил, как мы бы сегодня сказали, модель гидросистемы, и вышло, что как только вода устремится без задержки вниз, верхнее озеро непременно и скоро обмелеет, пересохнут извивы и протоки. Американца с переводчиком мужики под сурдинку спойли, а на экскаватор навел ненаучную порчу дед-лесовик. Так эту затею и порушили, и даже изучавшие обстоятельства чекисты не солоно хлебавши уехали... Сегодня такое уж невозможно, хотя нынешние, к примеру, торфоразработчики сами лучше всех знают, что моховой покров восстановится только через четверть века после того, как по нему единожды прокатит вездеход. Точно так же как обслуживающие отечественную «гидру мелиорации» не могут не отдавать себе отчета, что ей при нынешней постановке дела только «жрать, перемальвать земли надо».

Теперь вся надежда на возвращение самодостаточного мужика в обезлюдившее Полистовье, где земля «весной без толку зеленеет, а осенью вянет». «Дайте только трактор, бензопилу и разрешение на аренду земли... — взывает «идейный» фермер, крестьянин с калькулятором в кармане. — Сказали «А», скажут и «Б». Ведь верно же?» Библия, курс агрономии Волощина и сборник по статистике лежат перед ним на столе...

По рассказам, в самом центре Полистовского болота прячется легендарное Русское озеро. «Из озера течет река Порусья. Там, где река впадает в Полисть, в устье ее, в городе Старая Русса, на набережной, стоит деревянный дом Федора Михайловича Достоевского...» Мало кому открывало заветное озеро зеркало своих обетованных вод: путь надежно преграждают топи и чащобы. Но известно, что «идти туда надо

с чистой душой и налегке». Не откроется ли оно новым поколениям свободного и деятельного люда?

**Виктор Малухин.**



**НИНА ГОРЛАНОВА. Радуга каждый день. Рассказы. Пермь. Книжное издательство. 1987. 175 стр.**

Аннотация и предисловие к этому сборнику обещают, что речь пойдет о воспитании детей, а герои «рассказов — дети, родители, учителя». Свежая тема, вздохнет читатель. Поэтому уточним: речь пойдет не о воспитании детей, а о жизни людей в их раннем возрасте. О жизни трудной и остро сюжетной в том смысле, что каждый предложенный жизнью сюжет нов и переживается в юном возрасте с изначальной остротой и серьезностью.

Умело воссозданный строй чувств и мыслей юных персонажей книги Нины Горлановой заставляет читателя ощутить, осознать подлинную меру драматизма заурядных, казалось бы, на взгляд взрослого, ситуаций. Скажем, такой, как в рассказе «Жанна д'Арк из шестого „в“». Собаколовы все-таки обманули и собак и школьничков, вышедших рано утром спасать бродячих животных: они разожгли костры, бросили в огонь кости и перестреляли собак, доверчиво сбегавшихся на запах жареного мяса. Вначале дети присутствуют, по сути, при расстреле, а потом при пламенной дискуссии взрослых на тему, надо ли было вывязываться и вообще участвовать в судьбах бездомных собак, гигиенично ли. Однако у взрослых здесь нет шанса выиграть спор у детей.

Нина Горланова хорошо знает, что ребенку проще рассказать, что было, чем что он чувствовал при этом. Она и рассказывает («Мешок водворяется обратно», «Преображение Наташи из обезьяны в человека») — лаконично, только самую суть. Но при этом ей удается вызвать у читателя ощущение некоего значительного пространства бытия — и заполнить его уже состоявшимися, развивающимися характерами и судьбами.

А вся вторая часть книги — «Рассказы-вайте, дядя Митя!» — это судьбы выросших детей — взрослых; и хотя прямой фабульной связи между рассказами первой и второй части нет, книга тем не ме-

нее воспринимается цельно, как одна повесть. Вторая часть — это уже не только другие герои, но и другие выразительные средства; здесь, скажем, возможные тропы, здесь много описаний чувств. Вот взрослый рассказывает детям об убийстве, совершенном им в детстве: «Одна горихвостка полетела с елки. Она летела, и в хвосте у нее вспыхивали красные перышки, из-за которых она и получила имя горихвостки. Тут я выстрелил галькой из рогатки. В летящую. Словно помимо сознания выстрелил. Галька летит, а я уже пожалел о том, что сделал. Я дернулся, чтобы схватить гальку обратно, остановить. Но в этот миг почувствовал звук удара. Тупой звук... Что-то распахнулось во мне: принял волну горячей боли от птицы. Она падала медленно-медленно, а я медленно горел на этом огне ее боли. Она упала — я ощутил сотрясение воздуха...» Эта «рапидная съемка» невозможна в первой части, где луч зрения автора сообразно с психологией маленьких героев Горлановой направлен преимущественно на то, что было, но отнюдь не как к. Герои же второй части книги вместе с возрастом наделяются еще и способностью к рефлексии самоанализу.

У прозы Нины Горлановой есть своя интонация, причем столь характерная, что воспринимается неким структурообразующим элементом книги. Потому так трудно вырвать из ее текста какой-нибудь «удачный кусок». Вот первая фраза: «Девочка росла послушной и здоровой, но душа ее пустовала» («Девочка росла»). Дыхание взято — и закончится оно только за последней точкой. И сразу начинается следующее, новое дыхание, другой рассказ — «Что же в ней было?»: «Приехал Виталик, толстый, лысеющий, — не узнать...» — в доверительной манере, так сказать, словно вчера расстались. И так до конца, интонация нигде не рвется, что особенно удивляет в той изобразительной манере, которую выбрала писательница, условно я бы назвала ее «рассказ-диафильм». Повествование в эпизодах.

Однако самое, на мой взгляд, ценное, что есть в содержании этой книги, — отношение автора к героям своим. А именно: Нина Горланова не «любит детей», для нее невозможно эта сентиментальная постановка вопроса в принципе — любить детей. Она людей любит — значит, и маленьких и больших.

**Елена Черникова.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.** О демократии. 512 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Долг и отвага.** Рассказы о дипкурьерах. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Е. Плимак.** Политическое завещание Ленина. Истоки, сущность, выполнение. 142 стр. Цена 45 к.

**Православие.** Словарь атеиста. 272 стр. Цена 90 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Если по совести.** Сборник статей. 398 стр. Цена 1 р.

**В. Мананин.** Отставший. Повести. Рассказы. 432 стр. Цена 3 р.

**Н. Некрасов.** Стихотворения. («Русская муза») 382 стр. Цена 2 р.

**В. Одовский.** Повести и рассказы. («Классики и современники») 382 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Велембовская.** Сладкая женщина. Повести, рассказы. 543 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Взгляд.** Критика. Полемика. Публикации. 464 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Л. Вильчек.** Пейзаж после жатвы. Деревня глазами публицистов. 311 стр. Цена 80 к.

**Ю. Нейман.** Причуды памяти. Стихи. 190 стр. Цена 50 к.

## «РАДУГА»

**Д. Байрон.** Избранная лирика. На английском языке с параллельным русским текстом. 508 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Взрыв.** Повести писателей Скандинавии. Перевод со шведского, норвежского, датского. 287 стр. Цена 2 р. 40 к.

**А. Томов.** Характеристика. Повести. Перевод с болгарского. 285 стр. Цена 1 р. 30 к.

**П. Ярош.** Тысячелетняя пчела. Роман. Авторизованный перевод со словацкого. 415 стр. Цена 2 р. 70 к.

## «КНИЖНАЯ ПАЛАТА»

**Б. Васильев.** Повести («Популярная библиотека») 343 стр. Цена 4 р. 20 к.

**В. Дудинцев.** Белые одежды. Роман («Популярная библиотека») 688 стр. Цена 5 р.

**Б. Можаев.** Мужики и бабы. Роман. Книга 2. («Популярная библиотека») 351 стр. Цена 3 р. 80 к.

**А. Твардовский.** Поэмы. 336 стр. Цена 4 р.

## «ПРОГРЕСС»

**Иного не дано.** Сборник. 675 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Ч. Сноу.** Наставники. Коридоры власти. Романы. 675 стр. Цена 3 р. 10 к.

## «ИСКУССТВО»

**Т. Золотницкая.** Александр Евстафьевич Мартынов. («Жизнь в искусстве») 198 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Лебедев, А. Солодовников, В. В. Верещагин.** («Человек. События. Время») 206 стр. Цена 6 р. 30 к.

**А. Лосев.** История античной эстетики. Последние века. Книга 1. 414 стр. Цена 2 р. 50 к.

**С. Тюляев.** Искусство Индии. III тысячелетие до н. э.— VII век н. э. 342 стр. Цена 9 р. 30 к.

## «НАУКА»

**М. Волошин.** Лики творчества. («Литературные памятники») 848 стр. Цена 12 р.

**В. Ключевский.** Древнерусские жития святых как исторический источник. Репринтное издание (1871 год). 512 стр. Цена 10 р.

**И. Кон.** Ребенок и общество. Историко-этнографическая перспектива. 271 стр. Цена 1 р. 60 к.

**И. Хэйзинга.** Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. («Памятники исторической мысли») 540 стр. Цена 5 р. 40 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**М. Белкина.** Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени, людей, обстоятельств. («Писатели о писателях») М. «Книга». 464 стр. Цена 2 р. 70 к.

**М. Булгаков.** Сатиры Малые сатиры. Повести. Театральный роман. Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 431 стр. Цена 5 р.

**Житие протопота Авванума, им самим написанное, и другие его сочинения.** Горный. Волго-Вятское книжное издательство. 288 стр. Цена 1 р. 70 к.

**П. Косенко.** Неэвклидовы параллели Хроника последних лет жизни Ф. М. Достоевского и некоторых его современников Алма-Ата. «Жазушы». 368 стр. Цена 1 р. 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Знедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, И. Б. Роднянская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.88 г. Подписано к печати 09.09.88 г. А 04951.

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)  
27,04 уч.-изд. л.

Тираж 1.110.000 экз. (5-й завод 810.001—1.010.000 экз.). Зак. 4138

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473. Москва, Краснопролетарская, 16.

*«Новый мир» в текущем и в 1989 году  
предполагает опубликовать:*

Ч. АЙТМАТОВ — «Богоматерь в снегах» (роман), В. БЕЛОВ — «Год великого перелома» (роман), А. БИТОВ — «Япония как она есть» (повесть), И. ВЕЛЕМБОВСКАЯ — «Чужеземцы» (роман), Д. ГРАНИН — «Источник любви» (роман), В. КРУПИН — «Бумага» (роман-завещание);

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ С. Антонова, В. Астафьева, В. Быкова, Ф. Искандера, Р. Киреева, Ю. Нагибина, В. Распутина, М. Рощина, Вл. Солоухина, Т. Толстой;

ПОЭЗИЯ будет представлена новыми стихами известных, малоизвестных и неизвестных поэтов разных поколений, школ и национальных традиций;

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ Ю. Афанасьева, Ф. Бурлацкого, И. Клямкина, Г. Лисичкина, А. Нуйкина, В. Овчинникова, В. Селюнина, В. Цветова, Ю. Черныченко, Н. Шмелева;

ПУБЛИКАЦИИ И ОЧЕРКИ из истории отечественной общественной мысли первой половины XX века: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Д. С. Мережковский, В. С. Соловьев, П. Б. Струве, Н. В. Устрялов, Н. Ф. Федоров и другие — под общей редакцией членкора АН СССР С. С. Аверинцева;

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА М. Бабановой, М. Волошиной, Н. Клюева, Н. Кондратьева, В. Короленко, В. Набокова, М. Пришвина, Александры Толстой, В. Ходасевича;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА: размышления о путях современной прозы, о литературной панораме 20—30-х годов, о социально-философской фантастике, о новых тенденциях в изобразительном искусстве и театре; статьи С. Бочарова — о В. Ходасевиче, И. Дедкова — о Вас. Гроссмане, Н. Коржавина — о творчестве А. Ахматовой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Г. Газданова — «Вечер у Клер», А. Ремизова — «Взвихренная Русь», а также Ф. Абрамова, И. Бунина, М. Горького, Ю. Казакова, А. Платонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, М. Шолохова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА: Д. Оруэлл — «1984».

*Подписка на журнал «Новый мир» принимается в пределах тиража текущего года всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.*